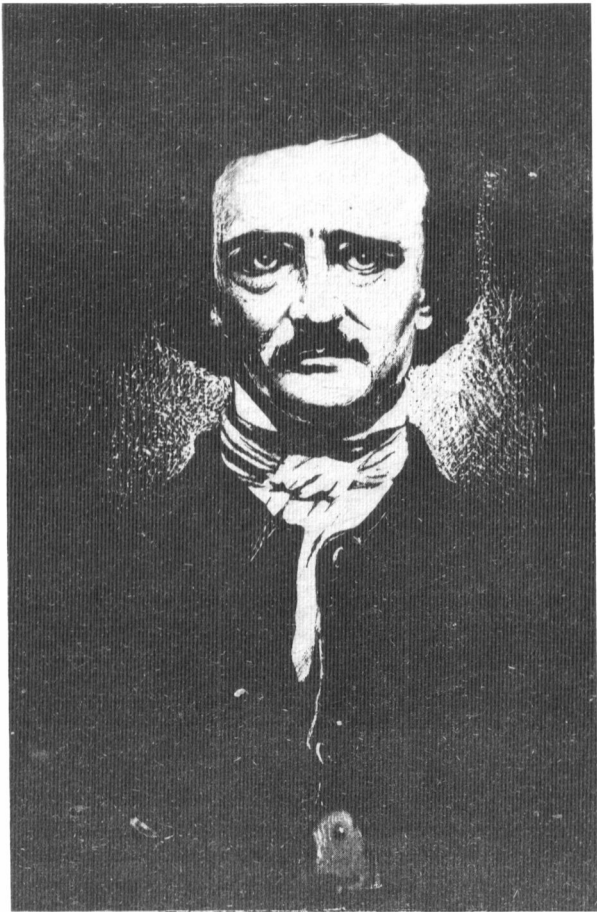


ЭДГЯР
ЛЮ
ДЛЛАН



ПОЛНУДЭР

ЭДГЯР
Ю
ЯЛЛАН



Edgar A Poe

ЭДГАР **ЛЮ** ДЛЛАН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДВУХ ТОМАХ



ТОМ



полиграф

ВОРОНЕЖ

1995

ББК 84.США
П 41
ISBN 5-869372005-1

Переводы с английского

Составление В.Демитриенко

Художник Ю.Поснов

В собрание сочинений американского писателя-романтика, родоначальника детективного жанра, крупнейшего поэта-символиста Эдгара Аллана По вошли его лучшие произведения.

© Составление, оформление и иллюстрации,
АО «Полиграф», 1995.



При упоминании имени американского писателя Эдгара Аллана По в нашей памяти сразу же возникают жутковато-притягательные названия — «Убийства на улице Морг», «Золотой жук», «Заживо погребенные», «Разговор с мумией», «Тайна Мари Роже»... От них веет таинственностью, мистикой, сразу хочется открыть книгу и вновь окунуться в загадочный и причудливый мир героев и событий, созданный творческим гением художника.

Эдгар Аллан По родился в 1809 году, а ушел — в 1849. Но он продолжает свой земной путь в книгах, которые издаются во всем мире, на многих языках.

За 18 лет литературной деятельности Э.По написано две повести («Повесть о приключениях Артура Гордона Пима», 1838, «Дневник Джулиуса Родмена...», 1840), около 70 рассказов, философский трактат «Эврика», учебник «Начала конхилиологии», чуть более 50 стихотворений и поэм. Вроде бы не так и много. Но этим немногим Эдгар По сумел сразу и навсегда завоевать сердца читателей. Вот уже полтора века продолжается победное шествие его поэзии и прозы — с годами интерес к ним не ослабевает.

Чем же так покорила своих поклонников этот человек, которому было отмеряно всего-навсего недолгих — и нелегких — 40 земных лет?..

Родился Эдгар в семье актеров и рано осиротел: ему еще не минуло и трех лет. Мальчика взял на воспитание ричмондский торговец Аллан. Вскоре Эдгара отдали учиться и он провел в закрытых школах и пансионах 5 лет.

Потери и утраты преследовали его всю жизнь. Видно, такова была планида этого человека. Еще будучи учени-

ком, он влюбился в мать своего школьного товарища. Но трогательная первая любовь оборвалась со смертью женщины. За этим ударом судьбы вскоре последовал новый, не менее болезненный: умерла миссис Аллан, приемная мать Эдгара, искренно любившая его и сумевшая одарить ребенка так не хватавшим ему материнским теплом. В те годы к нему впервые пришло по-настоящему душевное одиночество...

Университетский курс Эдгар не сумел завершить: мистер Аллан, на чьем попечении находился студент, отказался платить его карточные и прочие долги. И закружила жизнь юношу: начался непростой поиск себя, своего места, призвания.

Безденежье привело Эдгара сначала в солдаты, а затем и в Вест-Пойнт — американскую военную академию. Э.По делал попытки поступить актером на сцену, был переписчиком бумаг в ричмондских и бостонских контрактах. Жизнь так и продолжала бы его испытывать, если бы По не открыл в себе талант журналиста и редактора. С 1831 года для Э.По завертелся сумасшедший калейдоскоп: редакции различных газет и журналов Балтимора, Нью-Йорка, Филадельфии, опять Нью-Йорка, Провиданса, Ричмонда...

Еще будучи довольно молодым человеком, По выпустил в свет поэтические сборники «Тамерлан» (1827) и «Аль-Аараф» (1829). В 1833 году своей новеллой «Рукопись, найденная в бутылке» он выигрывает литературный конкурс. 1839 год ознаменовался для Эдгара По выходом двух томов новелл и стихов — «Гротески и арабески»; за ними последовали еще три книги рассказов. В 1845-м на прилавках книжных лавок появилась небольшая книга, озаглавленная «Ворон и другие стихотворения» — главный поэтический труд Э.По. Его поэзию отличали музыкальность, звукопись, строфичность, использование внутренних рифм и великолепная образность. К молодому писателю приходит шумная слава. Но это волнует его меньше всего...

Двадцатипятилетнего Эдгара По посещает страстная любовь к Вирджинии, его кузине, которой в то время только исполнилось 12 лет. Через два года она стала его же-

ной. Но и эту любовь у него отбирает смерть: в 1847 году Вирджиния умерла от чахотки. Скольких дорогих и любимых людей потерял Эдгар на своем, таком небольшом, жизненном пути. И потому, наверное, не случайно, что главная тема его произведений — Любовь и Смерть...

Российский читатель впервые познакомился с произведениями «мрачного и блестящего гения», как охарактеризовал Э.По Шарль Бодлер, в середине сороковых годов прошлого века: тогда был переведен и опубликован замечательный рассказ «Золотой жук». Несколько лет спустя появились и первые русские переводы стихотворений, взятых из разных сборников. Но все это были разрозненные публикации. Первую серьезную попытку более-менее основательно представить Эдгара По-новеллиста предпринял Федор Михайлович Достоевский в журнале «Время». В 1861 году он опубликовал сразу три рассказа — «Сердце-обличитель», «Черный кот», «Черт в ратуше», — а годом позже — повесть «Похождения Артура Гордона Пэйма». Достоевского, тонкого ценителя литературы, привлекло в Э.По не только умение строить сюжет и заинтриговывать читателя, но и то, «...с какою силою пронизательности, с какою поражающею верностью рассказывает он о состоянии души... человека! Кроме того, в Эдгаре По есть именно одна черта, которая отличает его решительно от всех других писателей и составляет резкую его особенность: это сила воображения»¹.

Пожалуй, эта оценка великого русского писателя во многом объясняет то пристальное внимание читающей публики, коим пользуется вот уже многие годы творчество «тончайшего из художников, истинного аристократа литературы»...

Эдгар По был родоначальником логического (детективного) рассказа, научно-фантастической новеллы и психологического рассказа. Одного этого бы хватило, чтобы он остался в истории литературы как первооткрыватель новых жанров. Он был первым. Это потом явятся миру писатели, которые будут говорить, что мастерству они

¹ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 тт. Т.19. М., Наука, 1979, с.88.

учились у По. Их имена говорят сами за себя: А.Конан Дойль, А.Кристи, Ж.Верн, Г.Уэллс, С.Крейн, А.Бирс, Р.Л.Стивенсон и многие-многие другие. Бернард Шоу как-то заметил: «Проза По несравненна и недосягаема. О ней нечего сказать. Мы, прочие, снимаем шляпу и пропускаем господина По вперед».

Творчество и жизнь Эдгара Аллана По до сих пор во многом остаются загадкой, тайной, скрытой теперь завесой времени, мифами и легендами, фальсификациями и подтасовками. И до конца разгадать эту загадку нам уже не удастся никогда. Но если кто-то все же захочет попытаться, ключом ему, возможно, могут послужить слова самого По, высказанные им в письме к Дж.Р.Лоуэллу: «Жизнь моя — каприз, импульс, страсть, стремление к одиночеству — презрение ко всему настоящему в своей искренней мечте о будущем...»

Эти предваряющие строки, наверное, нужны, но... Никто не объяснит нам столь глубоко и отчетливо движения и таинства мира, созданного писателем, как это могут сделать его творения — стихи, рассказы, притчи. Так будьте же сами первооткрывателями замечательного мира Эдгара Аллана По. И, может быть, он станет одним из ваших любимых писателей.

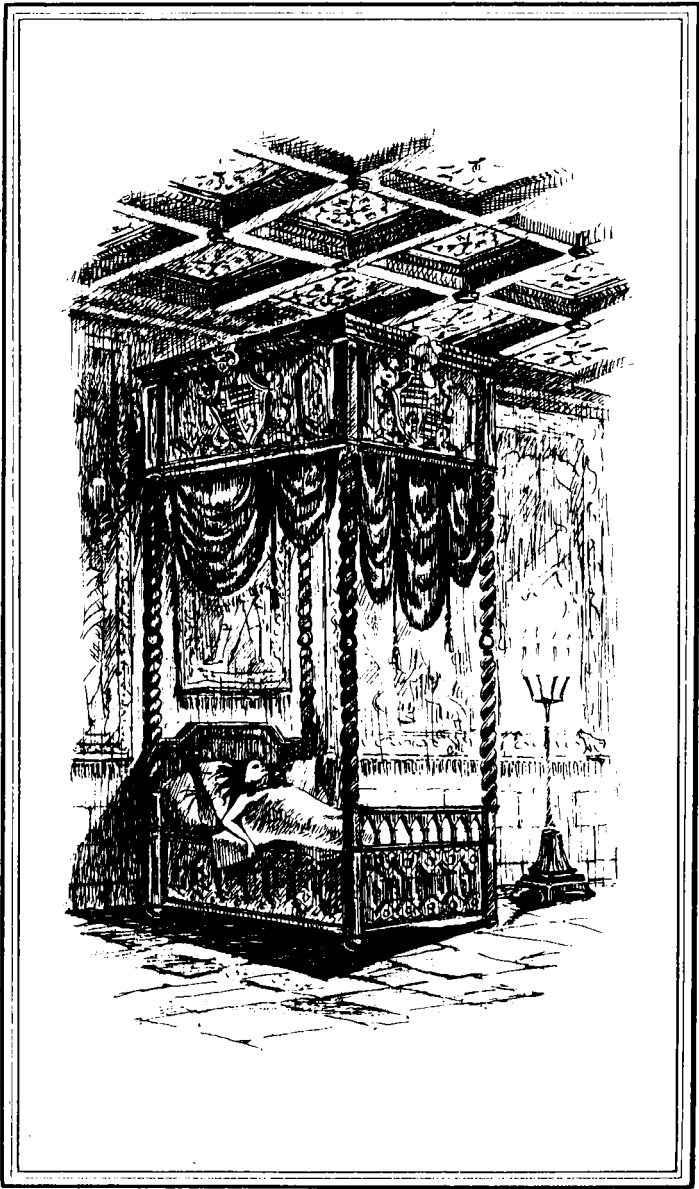
В добрый путь!

А.Бондарев



**РАССКАЗЫ
ПРИТЧИ**







ТИШИНА

Притча

Горные вершины дремлют;
В долинах, утесах и пещерах
тишина.

Алксман

«Внемли мне,— молвил Демон, возлагая мне руку на голову.— Край, о котором я повествую,— унылый край в Ливии, на берегах реки Заиры, и нет там ни покоя, ни тишины».

Воды реки болезненно-шафранового цвета; и они не струятся к морю, но всегда и всегда вздымаются, бурно и судорожно, под алым оком солнца. На многие мили по обеим сторонам илистого русла реки тянутся бледные заросли гигантских водяных лилий. Они вздыхают в безлюдье, и тянут к небу длинные, мертвенные шеи, и вечно кивают друг другу. И от них исходит неясный ропот, подобный шуму подземных вод. И они вздыхают.

Но есть граница их владениям — ужасный, темный, высокий лес. Там, наподобие волн у Гебридских островов, непрестанно колышется низкий кустарник. Но нет ветра в небесах. И высокие первобытные деревья вечно качаются с могучим шумом и грохотом. И с их уходящих ввысь вершин постоянно, одна за другою, падают капли росы. И у корней извиваются в непокойной дремоте странные ядовитые цветы. И над головою, громко гудя, вечно стремятся на запад серые тучи, пока не перекачатся, подобно водопаду, за огненную стену горизонта. Но нет ветра в небесах. И по берегам реки Заиры нет ни покоя, ни тишины.

Была ночь, и падал дождь; и, падая, то был дождь, но, упав, то была кровь. И я стоял в трясине среди высоких

лилий, и дождь падал мне на голову — и лилии кивали друг другу и вздыхали в торжественном запустении.

И мгновенно сквозь прозрачный мертвенный туман поднялась багровая луна. И взор мой упал на громадный серый прибрежный утес, озаренный светом луны. И утес был сер, мертвен, высок, — и утес был сер. На нем были высечены письма. И по трясине, поросшей водяными лилиями, я подошел к самому берегу, дабы прочитать письма, высеченные на камне. Но я не мог их постичь. И я возвращался в трясину, когда еще багровой засияла луна, и я повернулся и вновь посмотрел на утес и на письма, и письма гласили: «Запустение».

И я посмотрел наверх, и на краю утеса стоял человек; и я укрылся в водяных лилиях, дабы узнать его поступки. И человек был высок и величав и завернут от плеч до ступней в тогу Древнего Рима. И очертания его фигуры были неясны — но лик его был ликом Божества; и ризы ночи, тумана, луны и росы не скрыли черт его лица. И чело его было высоко от многих дум, и взор его был безумен от многих забот; и в немногих бороздах его ланит я прочел повествование о скорби, усталости, отвращении к роду людскому и жажде уединения.

И человек сел на скалу и склонил голову на руку и смотрел на запустение. Он смотрел на низкий беспокойный кустарник, и на высокие первобытные деревья, и на полные гула небеса, и на багровую луну. И я затаился в сени водяных лилий и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; но убывала ночь, а он сидел на утесе.

И человек отвел взор от неба и взглянул на унылую реку Заиру, и на мертвенную желтую воду, и на бледные легионы водяных лилий. И человек внимал вздохи водяных лилий и ропот, не умолкавший среди них. И я притаился в моем укрытии и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; но убывала ночь, а он сидел на утесе.

Тогда я спустился в трясину и направился по воде в глубь зарослей водяных лилий и позвал гиппопотамов, живущих на островках среди топи. И гиппопотамы слышали мой зов и пришли с бегемотом к подножию утеса и рычали, громко и устрашающе, под луной. И я

притаился в моем укрытии и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; но убывала ночь, а он сидел на утесе.

Тогда я проклял стихии проклятием буйства; и страшная буря разразилась на небесах, где до того не было ветра. И небо потемнело от ярости бури — и дождь бил по голове человека — и река вышла из берегов — воды ее вспенились от мучений — и водяные лилии пронзительно кричали — и деревья рушились под натиском ветра — и перекатывался гром — и низвергалась молния — и утес был сотрясен до основания. И я притаился в моем укрытии и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; но убывала ночь, а он сидел на утесе.

Тогда я разгневался и проклял проклятием *тишины* реку и лилии, ветер и лес, небо и гром и вздохи водяных лилий. И они стали прокляты и *затихли*. И луна перестала карабкаться ввысь по небесной тропе, и гром заглох, и молния не сверкала, и тучи недвижно повисли, и воды вернулись в берега и застыли, и деревья более не качались, и водяные лилии не кивали друг другу и не вздыхали, и меж ними не слышался ропот, не слышалось и тени звука в огромной, бескрайней пустыне. И я взглянул на письмена утеса и увидел, что они изменились; и они гласили: «Тишина».

И взор мой упал на лицо человека, и лицо его было бледно от ужаса. И он поспешно поднял голову и встал на утесе во весь рост и слушал. Но не было ни звука в огромной бескрайней пустыне, и письмена на утесе были: «Тишина». И человек затрепетал и отвернулся и кинулся прочь, так что я его более не видел.

Да, прекрасные сказания заключены в томах Волхвов, в окованных железом печальных томах Волхвов. Там, говорю я, чудесные летописи о Небе и о Земле, и о могучем море, и о Джиннах, что завладели морем и землей и высоким небом. Много мудрого тайлось и в речениях Сивилл: и священные, священные слова были услышаны встарь под тусклой листвой, трепетавшей вокруг Додоны, но, клянусь Аллахом, ту притчу, что поведал мне Демон, восседая рядом со мною в тени могильного камня, я числю

чудеснейшей всех! И, завершив свой рассказ, Демон снова упал в разверстую могилу и засмеялся. И я не мог смеяться с Демоном, и он проклял меня, потому что я не мог смеяться. И рысь, что вечно живет в могиле, вышла и простерлась у ног Демона и неотрывно смотрела ему в лицо.



ЛИГЕЙЯ

И в этом — воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Ибо Бог — ничто как воля величайшая, проникающая все сущее самой природой своего предназначения. Ни ангелам, ни смерти не предаст себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей.

Джозеф Гленвилл

И ради спасения души я не в силах был бы вспомнить, как, когда и даже где впервые увидел я леди Лигейю. С тех пор прошло много долгих лет, а память моя ослабела от страданий. Но, быть может, я не могу ныне припомнить все это потому, что характер моей возлюбленной, ее редкая ученость, необычная, но исполненная безмятежности красота и завораживающая и покоряющая выразительность ее негромкой музыкальной речи проникали в мое сердце лишь постепенно и совсем незаметно. И все же представляется мне, что я познакомился с ней и чаще всего видел ее в некоем большом, старинном, ветшающем городе вблизи Рейна. Ее семья... о, конечно, она мне о ней говорила... И несомненно, что род ее восходит к глубокой древности. Лигейя! Лигейя! Предаваясь занятиям, которые более всего способны притуплять впечатления от внешнего мира, лишь этим сладостным словом — Лигейя! — воскрешаю я перед своим внутренним взором образ той, кого уже нет. И сейчас, пока я пишу, мне внезапно вспомнилось, что я никогда не знал родового имени той, что была моим другом и невестой, той, что стала участницей моих занятий и в конце концов — возлюбленной

моею супругой. Почему я о нем не спрашивал? Был ли тому причиной шуточный запрет моей Лигейи? Или так испытывалась сила моей нежности? Или то был мой собственный каприз — исступленно романтическое жертвоприношение на алтарь самого страстного обожания? Даже сам этот факт припоминается мне лишь смутно, так удивительно ли, если из моей памяти изгладились все обстоятельства, его породившие и ему сопутствовавшие? И поистине, если дух, именуемый Романтической Страстью, если бледная Аштофет идолопоклонников-египтян и правда, как гласят их предания, витает на туманных крыльях над роковыми свадьбами, то, бесспорно, она председательствовала и на моем брачном пиру.

Но одно дорогое сердцу воспоминание память моя хранит незыблемо. Это облик Лигейи. Она была высокой и тонкой, а в последние свои дни на земле — даже исхудалой. Тщетно старался бы я описать величие и спокойную непринужденность ее осанки или непостижимую легкость и грациозность ее походки. Она приходила и уходила подобно тени. Я замечал ее присутствие в моем уединенном кабинете, только услышав милую музыку ее тихого прелестного голоса, только ощутив на своем плече прикосновение ее беломраморной руки. Ни одна дева не могла сравниться с ней красотой лица. Это было сияние опиумных грез — эфирное, возвышающее дух видение, даже более фантазмагорически божественное, чем фантазии, которые реяли над дремлющими душами дочерей Делоса. И тем не менее в ее чертах не было той строгой правильности, которую нас ложно учат почитать в классических произведениях языческих ваятелей. «Всякая утонченная красота, — утверждает Бэкон, лорд Веруламский, говоря о формах и родах красоты, — всегда имеет в своих пропорциях какую-то странность». И все же хотя я видел, что черты Лигейи лишены классической правильности, хотя я замечал, что ее прелесть поистине «утонченна», и чувствовал, что она исполнена «странности», тем не менее тщетны были мои усилия уловить, в чем заключалась эта неправильность, и понять, что порождает во мне ощущение «странного». Я разглядывал абрис высокого бледного лба — он был безупречен (о, как

холодно это слово в применении к величию столь божественному!), разглядывал его кожу, соперничающую оттенком с драгоценнейшей слоновой костью, его строгую и спокойную соразмерность, легкие выпуклости на висках и, наконец, вороново-черные, блестящие, пышные, завитые самой природой кудри, которые позволяли постигнуть всю силу гомеровского эпитета «гиацинтовые»! Я смотрел на тонко очерченный нос — такое совершенство я видел только на изящных монетах древней Иудеи. Та же нежащая взгляд роскошная безупречность, тот же чуть заметный намек на орлиный изгиб, те же гармонично вырезанные ноздри, свидетельствующие о свободном духе. Я взирал на сладостный рот. Он поистине был торжествующим средоточием всего небесного — великолепный изгиб короткой верхней губы, тихая истома нижней, игра ямочек, выразительность красок и зубы, отражавшие с блеском почти пугающим каждый луч священного света, когда они открывались ему в безмятежной и ясной, но также и самой ликующе-ослепительной из улыбок. Я изучал лепку ее подбородка и находил в нем мягкую ширину, нежность и величие, полноту и одухотворенность греков — те контуры, которые бог Аполлон лишь во сне показал Клеомену, сыну афинянина. И тогда я обращал взор на огромные глаза Лигеи.

Для глаз мы не находим образцов в античной древности. И, может быть, именно в глазах моей возлюбленной заключался секрет, о котором говорил лорд Веруламский. Они, мнится мне, несравненно превосходили величиной обычные человеческие глаза. Они были больше даже самых больших газельих глаз женщин племени, обитающего в долине Нурджахад. И все же только по временам, только в минуты глубочайшего душевного волнения эта особенность Лигеи переставала быть лишь чуть заметной. И в такие мгновенья ее красота (быть может, повинно в этом было одно мое разгоряченное воображение) представлялась красотой существа небесного или не землей рожденного — красотой сказочной гурии турков. Цвет ее очей был блистающе-черным, их осеняли эбеновые ресницы необычной длины. Брови, изогнутые чуть-чуть неправильно, были того же оттенка. Однако «странность», которую

я замечал в этих глазах, заключалась не в их величине, и не в цвете, и не в блеске — ее следовало искать в их выражении. Ах, это слово, лишенное смысла! За обширность его пустаго звучания мы прячем свою неосведомленность во всем, что касается области духа. Выражение глаз Лигейи! Сколько долгих часов я размышлял о нем! Целую ночь накануне Иванова дня я тщетно искал разгадки его смысла! Чем было то нечто, более глубокое, нежели колодец Демокрита, которое таилось в зрачках моей возлюбленной? Что там скрывалось? Меня томило страстное желание узнать это. О, глаза Лигейи! Эти огромные, эти сияющие, эти божественные очи! Они превратились для меня в звезды-близнецы, рожденные Ледой, и я стал преданнейшим из их астрологов.

Среди многих непонятных аномалий науки о человеческом разуме нет другой столь жгуче волнующей, чем факт, насколько мне известно, не привлекая внимания ни одной школы и заключающийся в том, что, пытаясь воскресить в памяти нечто давно забытое, мы часто словно бы уже готовы вот-вот вспомнить, но в конце концов так ничего и не вспоминаем. И точно так же, вглядываясь в глаза Лигейи, я постоянно чувствовал, что сейчас постигну смысл их выражения, чувствовал, что уже постигаю его, — и не мог постигнуть, и он вновь ускользал от меня. И (странная, о, самая странная из тайн!) в самых обычных предметах вселенной я обнаруживал круг подобий этому выражению. Этим я хочу сказать, что с той поры, как красота Лигейи проникла в мой дух и воцарилась там, словно в святилище, многие сущности материального мира начали будить во мне то же чувство, которое постоянно дарили мне и внутри и вокруг меня ее огромные сияющие очи. И все же мне не было дано определить это чувство, или проанализировать его, или хотя бы спокойно обозреть. Я распознавал его, повторяю, когда рассматривал быстро растущую лозу или созерцал ночную бабочку, мотылька, куколку, струи стремительного ручья. Я ощущал его в океане и в падении метеора. Я ощущал его во взорах людей, достигших необычного возраста. И были две-три звезды (особенно одна — звезда шестой величины, двойная и переменная, та, что соседствует с самой большой звездой

Лиры), которые, когда я глядел на них в телескоп, рождали во мне то же чувство. Его несли в себе некоторые звуки струнных инструментов и нередко — строки книг. Среди бесчисленных других примеров мне ясно вспоминается абзац в трактате Джозефа Гленвилла, неизменно (быть может, лишь своей причудливостью — как знать?) пробуждавший во мне это чувство: «И в этом — воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Ибо Бог — ничто как воля величайшая, проникающая все сущее самой природой своего предназначения. Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей».

Долгие годы и запоздалые размышления помогли мне даже обнаружить отдаленную связь между этими строками в труде английского моралиста и некоторыми чертами характера Лигеи. Напряженность ее мысли, поступков и речи, возможно, была следствием или, во всяком случае, свидетельством той колоссальной силы воли, которая за весь долгий срок нашей близости не выдала себя никакими другими, более непосредственными признаками. Из всех женщин, известных мне в мире, она — внешне спокойная, неизменно безмятежная Лигея — с наибольшим иступлением отдавалась в жертву диким коршунам беспощадной страсти. И эту страсть у меня не было никаких средств измерить и постичь, кроме чудодейственного расширения ее глаз, которые и восхищали и страшили меня, кроме почти колдовской мелодичности, модулированности, четкости и безмятежности ее тихого голоса, кроме яростной силы (вдвойне поражающей из-за контраста с ее манерой говорить) тех неистовых слов, которые она так часто произносила.

Я упомянул про ученость Лигеи — поистине гигантскую, какой мне не доводилось встречать у других женщин. В древних языках она была на редкость осведомлена, и все наречия современной Европы — во всяком случае, известные мне самому — она тоже знала безупречно. Да и довелось ли мне хотя бы единый раз обнаружить, чтобы Лигея чего-то не знала — пусть даже речь шла о самых прославленных (возможно, лишь из-за своей запутанности) темах, на которых покоится хваленая эрудиция

Академии? И каким странным путем, с каким жгучим волнением только теперь я распознал эту черту характера моей жены! Я сказал, что такой учености я не встречал у других женщин, но где найдется мужчина, который бы успешно пересек все широчайшие пределы нравственных, физических и математических наук? Тогда я не постигал того, что столь ясно вижу теперь,— что знания Лигеи были колоссальны, необъятны, и все же я настолько сознавал ее бесконечное превосходство, что с детской доверчивостью подчинился ее руководству, погружаясь в хаотический мир метафизики, исследованиям которого я предавался в первые годы нашего брака. С каким бесконечным торжеством, с каким ликующим восторгом, с какой высокой надеждой распознавал я, когда Лигея склонялась надо мной во время моих занятий (без просьбы, почти незаметно), ту восхитительную перспективу, которая медленно разворачивалась передо мной, ту длинную, чудесную, нехоженую тропу, которая обещала привести меня к цели — к мудрости слишком божественной и драгоценной, чтобы не быть запретной!

Так сколь же мучительно было мое горе, когда несколько лет спустя я увидел, как мои окрыленные надежды безвозвратно улетели прочь! Без Лигеи я был лишь ребенком, ощупью бродящим во тьме. Ее присутствие, даже просто ее чтение вслух, озаряло ясным светом многие тайны трансцендентной философии, в которую мы были погружены. Лишенные животворного блеска ее глаз, буквы, сияющие и золотые, становились более тусклыми, чем свинец Сатурна. А теперь эти глаза все реже и реже освещали страницы, которые я штудировал. Лигея заболела. Непостижимые глаза сверкали слишком, слишком ослепительными лучами; бледные пальцы обрели прозрачно-восковой оттенок могилы, а голубые жилки на высоком лбу властно вздувались и опадали от самого легкого волнения. Я видел, что она должна умереть, — и дух мой вел отчаянную борьбу с угрюмым Азраилом. К моему изумлению, жена моя боролась с ним еще более страстно. Многие особенности ее сдержанной натуры внушили мне мысль, что для нее смерть будет лишена ужаса,— но это было не так. Слова бессильны передать, как яростно

сопротивлялась она беспощадной Тени. Я стонал от муки, наблюдая это надрывающее душу зрелище. Я утешал бы, я убеждал бы, но перед силой ее необоримого стремления к жизни, к жизни — только к жизни! — и утешения и уговоры были равно нелепы. И все же до самого последнего мгновения, среди самых яростных конвульсий ее неукротимого духа она не утрачивала внешнего безмятежного спокойствия. Ее голос стал еще нежнее, еще тише — и все же мне не хотелось бы касаться безумного смысла этих спокойно произносимых слов. Моя голова туманилась и шла кругом, пока я заворожено внимал мелодии, недоступной простым смертным, внимал предположениям надеждам, которых смертный род прежде не знал никогда.

О, я не сомневался в том, что она меня любила, и мог бы без труда догадаться, что в подобной груди способна властвовать лишь любовь особенная. Однако только с приходом смерти постиг я всю силу ее страсти. Долгими часами, удерживая мою руку в своей, она исповедовала мне тайны сердца, чья более чем пылкая преданность достигала степени идолопоклонства. Чем заслужил я блаженство подобных признаний? Чем заслужил я мучение разлуки с моей возлюбленной в тот самый час, когда услышал их? Но об этом я не в силах говорить подробнее. Скажу лишь, что в этом более чем женском растворении в любви — в любви, увы, незаслуженной, отданной недостойному — я, наконец, распознал природу неутолимой жажды Лигейи, ее необузданного стремления к жизни, которая теперь столь стремительно отлетала от нее. И вот этой-то необузданной жажды, этого алчного стремления к жизни — только к жизни! — я не могу описать, ибо нет слов, в которые его можно было бы воплотить.

В ночь своей смерти, в глухую полночь, она властным мановением подозвала меня и потребовала, чтобы я прочел ей стихи, сложенные ею лишь несколько дней назад. Я повиновался. Вот эти стихи:

Спектакль-гала! Чу, срок настал,
Печалью лет повит.

Под пеленою покрывал
Сокрыв снега ланит,
Сиин белизной одежд,
Сонм ангелов следит
За пьесой страха и надежд,
И музыка сфер гремит.

По своему подобию Бог
Актеров сотворил.
Игрушки страха и тревог
Напрасно тратят пыл:
Придут, исчезнут, вновь придут,
Покорствуй веленью сил,
Что секют горе и беду
Движеньем кондоровых крыл.

Пестра та драма и глупа,
Но ей забвенья нет:
По кругу мечется толпа
За призраком вослед,
И он назад приводит всех
Тропой скорбей и бед.
Безумие и черный грех
И ужас — ее сюжет.

Но вдруг актеров хоровод
Испуганно затих.
К ним тварь багряная ползет
И пожирает их.
Ползет, свою являя власть,
Жертв не щади своих.
Кровавая зияет пасть —
Владыка судьб людских.

Всюду тьма, им всем гибель — удэл,
Под бури пронзительный вой
На груды трепещущих тел
Пал занавес — мрак гробовой.
Покрывала откинувши, рек
Бледных ангелов плачущий строй,
Что трагедия шла — «Человек»
И был Червь Победитель — герой.

— О Бог! — пронзительно вскрикнула Лигейя, вскакивая и судорожно простирая руки к небесам, когда я прочел последние строки. — О Бог! О Божественный Отец! Должно ли всегда и неизменно быть так? Ужели этот победитель ни разу не будет побежден сам? Или мы не часть Тебя и

не едины в Тебе? Кто... кто постигает тайны воли во всей мощи ее? Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей!

Затем, словно совсем изнемогшая от этого порыва, она уронила белые руки и скорбно вернулась на одр смерти. И когда она испускала последний вздох, вместе с ним с ее губ срывался чуть слышный шепот. Я почти коснулся их ухом и вновь различил все те же слова Гленвилла: «Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей».

Она умерла, и я, сокрушенный печалью во прах, уже не мог более выносить унылого уединения моего жилища в туманном ветшающем городе на Рейне. Я не испытывал недостатка в том, что свет зовет богатством. Лигейя принесла мне в приданое больше,— о, много, много больше,— чем обычно выпадает на долю смертных. И вот после нескольких месяцев тягостных и бесцельных странствий я купил и сделал пригодным для обитания старинное аббатство, которое не назову, в одной из наиболее глухих и безлюдных областей прекрасной Англии. Угрюмое величие здания, дикий вид окрестностей, множество связанных с ними грустных стародавних преданий весьма гармонировали с той безысходной тоской, которая загнала меня в этот отдаленный и никем не посещаемый уголок страны. Однако, хотя наружные стены аббатства, увитые, точно руины, вековым плющом, были сохранены в прежнем своем виде, внутренние его помещения я с ребяческой непоследовательностью, а может быть, и в безотчетной надежде утишить терзавшее меня горе, отделал с более чем королевским великолепием. Ибо еще в детские годы я приобрел вкус к этим суетным пустякам, и теперь он вернулся ко мне, точно знамение второго детства, в которое ввергла меня скорбь. Увы, я понимаю, сколько зарождающегося безумия можно было бы обнаружить в пышно прихотливых драпировках, в сумрачных изваяниях Египта, в невиданных карнизах и мебели, в сумасшедших узорах парчовых ковров с золотой бахромой! Тогда уже я стал рабом опиума, покорно подчинившись его узам, а потому все мои труды и приказы расцветчивались оттенками дурманских грез. Но к чему останавливаться на этих

глупостях! Я буду говорить лишь о том вовеки проклятом покое, куда в минуту помрачения рассудка я привел от алтаря как юную мою супругу, как преемницу незабытой Лигеи белокурую и синеглазую леди Ровену Тремейн из рода Тревейньон.

Каждая архитектурная особенность, каждое украшение этого брачного покоя — все они стоят сейчас перед моими глазами. Где были души надменных родителей и близких новобрачной, когда в жажде золота они допустили, чтобы невинная девушка переступила порог комнаты, вот так украшенной? Я сказал, что помню эту комнату во всех подробностях — я, который столь непростительно забывчив теперь, когда речь идет о предметах величайшей важности; а ведь в этой фантастической хаотичности не было никакой системы, никакого порядка, которые могли бы помочь памяти. Комната эта, расположенная в одной из высоких башен похожего на замок аббатства, была пятиугольной и очень обширной. Всю южную сторону пятиугольника занимало окно — гигантское цельное венецианское стекло свинцового оттенка, так что лучи и солнца и луны, проходя сквозь него, придавали предметам внутри мертвенный оттенок. Над этим колоссальным окном по решетке на массивной стене вились старые виноградные лозы. Необыкновенно высокий сводчатый потолок из темного дуба был покрыт искусной резьбой — самыми химерическими и гротескными образчиками полуготического, полудруидического стиля. Из самого центра этого мрачного свода на единой золотой цепи с длинными звеньями свисала огромная курильница из того же металла сарацинской чеканки, с многочисленными отверстиями, столь хитро расположенными, что из них непрерывно ползли и ползли словно наделенные змеиной жизнью струи разноцветного огня.

Там и сям стояли оттоманки и золотые восточные канделябры, а кроме них — ложе, брачное ложе индийской работы из резного черного дерева, низкое, с погребально-пышным балдахинном. В каждом из пяти углов комнаты вертикально стояли черные гранитные саркофаги из царских гробниц Луксора; с их древних крышек смотрели изваяния незапамятной древности. Но наиболее фантазма-

горичны были, увы, драпировки, которые, ниспадая тяжелыми волнами, сверху донизу закрывали необыкновенно — даже непропорционально — высокие стены комнаты. Это были массивные гобелены, сотканые из того же материала, что и ковер на полу, что и покрывала на оттоманках и кровати из черного дерева, что и ее балдахин, что и драгоценные свитки занавеса, частично затенявшего окно. Материалом этим была бесценная золотая парча. Через неравномерные промежутки в нее были вотканы угольно-черные арабески около фута в поперечнике. Однако арабески эти представлялись просто узорами только при взгляде из одной точки. При помощи способа, теперь широко применяемого и прослеживаемого до первых веков античности, им была придана способность изменяться. Тому, кто стоял на пороге, они представлялись просто диковинными уродствами; но стоило вступить в комнату, как арабески эти начинали складываться в фигуры, и посетитель с каждым новым шагом обнаруживал, что его окружает бесконечная процессия ужасных образов, измышленных суеверными норманнами или возникших в сонных видениях грешного монаха. Жуткое впечатление это еще усиливалось благодаря тому, что позади драпировок был искусственно создан непрерывный и сильный ток воздуха, который, заставляя фигуры шевелиться, наделял их отвратительным и пугающим подбием жизни.

Вот в каких апартаментах, вот в каком свадебном покое провел я с леди Тремейн не осененные благословением часы первого месяца нашего брака — и провел их, не испытывая особой душевной тревоги. Я не мог не заметить, что моя жена страшится моего яростного угрюмого нрава; что она избегает меня и не питает ко мне любви. Но это скорее было мне приятно. Я ненавидел ее исполненной отвращения ненавистью, какая свойственна более демонам, нежели человеку. Память моя возвращалась (о, с каким мучительным сожалением!) к Лигейе — возлюбленной, царственной, прекрасной, погребенной. Я наслаждался воспоминаниями о ее чистоте, о ее мудрости, о ее высокой, ее эфирной натуре, о ее страстной, ее боготворящей любви. Теперь мой дух поистине и щедро пылал пламенем даже

еще более неистовым, чем огонь, снедавший ее. В возбуждении моих опиумных грез (ибо я постоянно пребывал в оковах этого дурмана) я громко звал ее по имени как в ночном безмолвии, так и в уединении лесных лужаек. среди бела дня, словно необузданной тоской, глубочайшей страстью, всепожирающим жаром томления по усопшей я мог вернуть ее на пути, покинутые ею — ужели, ужели навеки? — здесь на земле.

В начале второго месяца нашего брака леди Ровену поразил внезапный недуг, и выздоровление ее было трудным и медленным. Терзавшая ее лихорадка лишала больную ночного покоя, и в тревожном полусне она говорила о звуках и движениях, которыми была наполнена комната в башне, но я полагал, что они порождались ее расстроенным воображением или, быть может, фантазматическим воздействием самой комнаты. В конце концов ей стало легче, а потом она и совсем выздоровела. Однако минул лишь краткий срок, и новый, еще более жестокий недуг опять бросил ее на ложе страданий; здоровье ее никогда не было крепким, а теперь совсем расстроилось. С этого времени ее болезни приобретали все более грозный характер, и еще более грозным было их постоянное возобновление — все знания и все старания ее врачей оказывались тщетными. Усиление хронического недуга, который, по-видимому, укоренился так глубоко, что уже не поддавался излечению человеческими средствами, по моим почти невольным наблюдениям сочеталось с равным усилением нервного расстройства, сопровождавшегося, казалось бы, беспричинной пугливостью. Она все чаще и все упорнее твердила о звуках — о чуть слышных звуках — и о странном движении среди драпировок, про которые упоминала прежде.

Как-то ночью на исходе сентября больная с большей, чем обычно, настойчивостью заговорила со мной об этом тягостном предмете. Она только что очнулась от беспокойной дремоты, и я с тревогой, к которой примешивался смутный ужас, следил за сменой выражений на ее исхудалом лице. Я сидел возле ее ложа черного дерева на одной из индийских оттоманок. Ровена приподнялась и тихим исступленным шепотом говорила о звуках, которые

слышала в это мгновение — но которых я не слышал, о движении, которое она видела в это мгновение — но которого я не улавливал. За драпировками пронесся сильный ветер, и я решил убедить Ровену (хотя, признаюсь, сам этому верил не вполне), что это почти беззвучное дыхание и эти чуть заметные изменения фигур на стенах были лишь естественными следствиями постоянного воздушного тока за драпировками. Однако смертельная бледность, разлившаяся по ее лицу, сказала мне, что мои усилия успокоить ее останутся тщетными. Казалось, она лишается чувств, а возле не было никого из слуг. Я вспомнил, где стоял графин с легким вином, которое предписал ей врач, и поспешно пошел за ним в дальний конец комнаты. Но когда я вступил в круг света, отбрасываемого курильницей, мое внимание было привлечено двумя поразительными обстоятельствами. Я ощутил, как мимо, коснувшись меня, скользнуло нечто невидимое, но материальное, и заметил на золотом ковре в самом центре яркого сияющего круга, отбрасываемого курильницей, некую тень — прозрачное, туманное ангельское подобие: тень, какую могло бы отбросить призрачное видение. Но я был вне себя от возбуждения, вызванного особенно большой дозой опиума, и, сочтя эти явления не стоящими внимания, ничего не сказал о них Ровене. Отыскав графин, я вернулся к ней, налил бокал вина и поднес его к ее губам. Однако она уже немного оправилась и взяла бокал сама, а я опустился на ближайшую оттоманку, не сводя глаз с больной. И вот тогда-то я совершенно ясно расслышал легкие шаги по ковру возле ее ложа, а мгновение спустя, когда Ровена готовилась отпить вино, я увидел — или мне пригрезилось, что я увидел, — как в бокал, словно из невидимого сокрытого в воздухе источника, упали три-четыре большие блистающие капли рубинового цвета. Но их видел только я, а не Ровена. Она без колебаний выпила вино, я же ничего не сказал ей о случившемся, считая, что все это могло быть лишь игрой воображения, воспламененного страхами больной, опиумом и поздним часом.

И все же я не могу скрыть от себя, что сразу же после падения рубиновых капель состояние Ровены быстро ухудшилось, так что на третью ночь руки прислужниц

уже приготовили ее для погребения, а на четвертую я сидел наедине с ее укутанным в саван телом в той же фантазмагорической комнате, куда она вступила моей молодою женой. Перед моими глазами мелькали безумные образы, порожденные опиумом. Я устремлял тревожный взор на саркофаги в углах, на меняющиеся фигуры драпировок, на извивающиеся многоцветные огни курильницы в вышине. Вспоминая подробности недавней ночи, я посмотрел на то освещенное курильницей место, где я увидел тогда неясные очертания тени. Но на этот раз ее там не было, и, вздохнув свободнее, я обратил взгляд на бледную и неподвижную фигуру на ложе. И вдруг на меня нахлынули тысячи воспоминаний о Лигейе — и с бешенством разлившейся реки в мое сердце вновь вернулась та невыразимая мука, с которой я глядел на Лигейю, когда такой же саван окутывал ее. Шли ночные часы, а я, исполненный горчайших дум о единственной и бесконечно любимой, все еще смотрел на тело Ровены.

В полночь — а может быть, позже или раньше, ибо я не замечал времени, — рыдающий вздох, тихий, но ясно различимый, заставил меня очнуться. Мне почудилось, что он донесся с ложа черного дерева, с ложа смерти. Охваченный суеверным ужасом, я прислушался, но звук не повторился. Напрягая зрение, я старался разглядеть, не шевельнулся ли труп, но он был неподвижен. И все же я не мог обмануться. Я бесспорно слышал этот звук, каким бы тихим он ни был, и душа моя пробудилась. С упорным вниманием я не спускал глаз с умершей. Прошло много минут, прежде чем случилось еще что-то, пролившее свет на тайну. Но наконец стало очевидным, что очень слабая, еле заметная краска разлилась по щекам и по крохотным спавшимся сосудам век. Пораженный неизъяснимым ужасом и благоговением, для описания которого в языке смертных нет достаточно сильных слов, я ощутил, что сердце мое перестает биться, а члены каменеют. Однако чувство долга в конце концов заставило меня сбросить парализующее оцепенение. Нельзя было долее сомневаться, что мы излишне поторопились с приготовлениями к похоронам — что Ровена еще жива. Нужно было немедленно принять необходимые меры, но башня находилась далеко в стороне от той части аббатства, где жили слуги

и куда они все удалились на ночь, — чтобы позвать их на помощь, я должен был бы надолго покинуть комнату, а этого я сделать не решался. И в одиночестве я прилагал все усилия, чтобы удержать дух, еще не покинувший тело. Но вскоре стало ясно, что они оказались тщетными, — краски исчезла со щек и век, сменившись более чем мраморной белизной, губы еще больше запали и растянулись в жуткой гримасе смерти, отвратительный липкий холод быстро распространился по телу, и его тотчас сковало обычное окоченение. Я с дрожью упал на оттоманку, с которой был столь страшным образом поднят, и вновь предался страстным грезам о Лигейе.

Так прошел час, а затем (могло ли это быть?) я вторично услышал неясный звук, донесшийся со стороны ложа. Я прислушался, вне себя от ужаса. Звук раздался снова — это был вздох. Кинувшись к труп, я увидел, — да-да, увидел! — как затрепетали его губы. Мгновение спустя они полураскрылись, обнажив блестящую полоску жемчужных зубов. Изумление боролось теперь в моей груди со всепоглощающим страхом, который до этого властвовал в ней один. Я чувствовал, что зрение мое тускнеет, рассудок мутится, и только ценой отчаянного усилия я наконец смог принудить себя к исполнению того, чего требовал от меня долг. К этому времени ее лоб, щеки и горло слегка порозовели и все тело потеплело. Я ощутил даже слабое биение сердца. Она была жива! И с удвоенным жаром я начал приводить ее в чувство. Я растирал и смачивал спиртом ее виски и ладони, я пускал в ход все средства, какие подсказывали мне опыт и немалое знакомство с медицинскими трактатами. Но вгуне! Внезапно розовый цвет исчез, сердце перестало биться, губы вновь сложились в гримасу смерти, и миг спустя тело обрело льдистый холод, свинцовую бледность, жесткое окостенение, угловатость очертаний и все прочие жуткие особенности, которые обретает труп, много дней пролежавший в гробнице.

И вновь я предался грезам о Лигейе, и вновь (удивительно ли, что я содрогаюсь, когда пишу эти строки?), вновь с ложа черного дерева до меня донесся рыдающий вздох. Но к чему подробно пересказывать невыразимые ужасы этой ночи? К чему медлить и описывать, как опять и опять почти до первых серых лучей рассвета повторя-

лась эта жуткая драма оживления, прерываясь новым жестоким и, казалось бы, победным возвращением смерти? Как каждая агония являла черты борьбы с каким-то невидимым врагом и как каждая такая борьба завершалась неопишимо страшным преображением трупа? Нет, я сразу перейду к завершению.

Эта жуткая ночь уже почти миновала, когда та, что была мертва, еще раз шевельнулась — и теперь с большей энергией, чем прежде, хотя восставая из окостенения, более леденящего душу своей полной мертвенностью, нежели все предыдущие. Я уже давно отказался от всяких попыток помочь ей и, бессильно застыв, сидел на оттоманке, охваченный бурей чувств, из которых невыносимый ужас был, пожалуй, наименее мучительным и жгучим, Труп, повторяю, пошевелился, и на этот раз гораздо энергичней, чем раньше. Краски жизни с особой силой вспыхнули на лице, члены расслабились и, если бы не сомкнутые веки и не погребальные покровы, которые все еще сообщали телу могильную безжизненность, я мог бы вообразить, что Ровене удалось наконец сбросить оковы смерти. Но если даже в тот миг я не мог вполне принять эту мысль, то для сомнений уже не было места, когда, восстав с ложа, неверными шагами, не открывая глаз, словно в дурмане тяжкого сна, фигура, завернутая в саван, выступила на самую середину комнаты!

Я не вздрогнул, я не шелохнулся, ибо в моем мозгу пронесся вихрь невыносимых подозрений, рожденных обликом, осанкой, походкой этой фигуры, парализуя меня, превращая меня в камень. Я не шелохнулся и только глядел на это видение. Мысли мои были расстроены, были ввергнуты в неизъяснимое смятение. Неужели передо мной действительно стояла живая Ровена? Неужели это Ровена — белокурая и синеглазая леди Ровена Тремейн из рода Тревейньон? Почему, почему усомнился я в этом? Рот стягивала тугая повязка, но разве он не мог быть ртом очнувшейся леди Тремейн? А щеки — на них цвели розы, как в дни ее беззаботной юности... да, конечно, это могли быть щеки ожившей леди Тремейн. А подбородок с ямочками, говорящими о здоровье, почему он не мог быть ее подбородком? Но в таком случае за дни своей болезни она стала выше ростом?! Какое невыразимое безумие овладело мной при этой мысли? Одним прыжком я

очутился у ее ног. Она отпрянула от моего прикосновения, окутывавшая ее голову жуткая погребальная пелена упала, и гулявший по комнате ветер заиграл длинными спутанными прядями пышных волос — они были чернее вороновых крыл полуночи! И тогда медленно раскрылись глаза стоявшей передо мной фигуры.

— В этом... — пронзительно вскрикнул я, — да, в этом я не могу ошибиться! Это они — огромные, и черные, и пылающие глаза моей потерянной возлюбленной... леди... **ЛЕДИ ЛИГЕЙИ!**



СВИДАНИЕ

Ты подожди меня, постой,
Мы в мир теней уйдем с тобой¹.

(Эпитафия на смерть жены
Генри Кинга, епископа Чичестерского.)

Отмеченный роком, загадочный человек, ослепленный блеском собственного воображения и сгоревший в огне своей страстной юности! Снова твой образ встает в мечтах моих! Опять я вижу тебя — не таким, о, не таким, каким витаешь ты ныне в холодной долине теней, а каким ты мог быть — расточая жизнь и предаваясь роскошным грезам в этом городе смутных призраков, в твоей родной Венеции — счастливом Элизиуме моря, — чьи дворцы, возведенные Палладио, с глубокой и горькой думой смотрятся широкими окнами в безмолвные таинственные воды. Да, повторяю — каким ты мог быть! Конечно, есть иные миры, кроме нашего, иные мысли, кроме мыслей толпы, иные доводы, кроме доводов софистов. Кто же решится призвать тебя к ответу? Кто осудит часы твоих видений и назовет бесплодной растратой жизни занятия, в которых только прорывался избыток твоей неисчерпаемой энергии?

Это было в Венеции, под украшенной барельефами аркой Ponte di Sospiri², — там я в третий или четвертый раз встретил того, о ком говорю. Смутно припоминаются мне обстоятельства нашей встречи. Но я помню — и могу ли забыть? — глубокую полночь, Мост Вздохов, красоту женщины и Гения Романтики, носившегося над узким каналом.

¹ Перевод А. Голембы.

² Мост Вздохов (*ит.*).

Была необыкновенно темная ночь. Большие часы на Пьяцце пробили два часа, — итальянский вечер кончился. Площадь Кампанильи опустела и затихла, огни в старом герцогском дворце погасли один за другим. Я возвращался домой с Пьяцетты по Большому каналу. Но, когда моя гондола поравнялась с устьем канала св. Марка, дикий, отчаянный, протяжный женский вопль внезапно разнесся среди ночной тишины. Пораженный этим воплем, я вскочил, а гондольер выронил свое единственное весло; и так как найти его в этой непроглядной тьме было невозможно, то мы оказались во власти течения, которое в этом месте поворачивает из Большого канала в Малый. Подобно огромному черному кондору, тихонько скользили мы к Мосту Вздохов, когда тысяча огней, загоревшихся в окнах и на лестницах дворца, внезапно превратили эту угрюмую ночь в баровый, неестественный день.

Выскользнув из объятий матери, из верхнего окна высокого здания в глубокий и мрачный канал упал ребенок. Спокойные воды безмолвно сомкнулись над своей жертвой, и, хотя ни одной гондолы, кроме моей, не было поблизости, много смелых пловцов уже разыскивали на поверхности канала соковище, которое — увы! — можно было найти только в его пучинах. На черных широких мраморных плитах у входа во дворец стояла фигура, которую никто, однажды видевший ее, уже не мог забыть. Всего несколько ступенек отделяло ее от воды. То была маркиза Афродита — кумир Венеции, воплощенное веселье, красавица из красавиц — молодая супруга старого интригана Ментони и мать прелестного младенца, первого и единственного, который теперь в глубине темных вод с тоской вспоминал о ласках матери и, тщетно борясь за жизнь, пытался произнести ее имя.

Она стояла одна. Маленькие босые серебристые ножки ее отражались в черном мраморе. Волосы, которые она еще не успела освободить на ночь от бальных украшений, окружали, словно грозди, ее классическую головку, спадая среди мерцающих бриллиантов крутыми кудрями, похожими на завитки распускающихся гиацинтов. Белоснежное покрывало из легкой прозрачной ткани, казалось, составляло ее единственную одежду; но летний ночной

воздух был тяжел, душен и неподвижен, и сама она стояла, как статуя, и поэтому ее воздушный покров ниспадал складками, подобными мраморным одеждам Ниобеи. И — странное дело! — огромные блестящие глаза ее не были обращены вниз — к могиле, поглотившей ее лучезарнейшую надежду, — они устремились совсем в другом направлении. Допускаю, что тюрьма Старой Республики — величественнейшее здание Венеции; но как могла эта женщина смотреть на нее так пристально, когда ее родное дитя задыхалось внизу, у ее ног? Что было в той темной мрачной нише, как раз против окон молодой женщины, в ее тенях, в ее архитектуре, в ее обвитых плющом тяжелых карнизах — чего маркиза де Ментони не видала уже тысячу раз? Нелепость! Кто не знает, что в такие минуты глаза, как разбитое зеркало, умножают отражения своей скорби, и горе, которое здесь, возле них, кажется им таким отдаленным.

На много ступеней выше маркизы, под аркой шлюза, одетый во фрак, стоял сам Ментони, напоминавший сатира. Он был до смерти епнуэ¹ и, давая указания, где искать ребенка, по временам брал аккорды на гитаре. Ошеломленный, охваченный ужасом, я не мог пошевелинуться и, вероятно, показался взволнованной толпе зловещим призраком, когда, выпрямившись, бледный, оцепеневший, плыл мимо нее в своей траурной гондоле.

Все усилия оставались тщетными. Большинство самых сильных пловцов уже прекратило поиски, покорясь угрюмому року. Казалось, остается уже мало надежды (насколько же меньше для матери!), как вдруг из темной ниши, о которой я упоминал, в полосу света выступила мужская фигура, закутанная в плащ, на мгновение остановилась на краю отвесной стены и ринулась в канал. Минуту спустя он уже стоял на мраморных плитах перед маркизой с еще живым и не потерявшим сознания ребенком на руках. Промокший плащ, отяжелев от воды, соскользнул с него и лег складками у его ног, и взорам изумленных зрителей предстала изящная фигура юноши, чье имя гремело тогда по всей Европе.

¹ Раздосадован (фр.).

Ни слова не вымолвил спаситель. Но маркиза! Вот она схватит ребенка, прижмет его к сердцу, обнимет его драгоценное тельце и покроет его бесчисленными поцелуями... Увы! *Другие* руки приняли ребенка, *другие* руки подняли и унесли его, не замеченного матерью, во дворец. А маркиза? Ее губы, ее прекрасные губы дрожат; слезы застилают глаза ее, глаза, к которым можно применить слова Плиния о листьях аканфа: «нежные и почти текучие». Да, слезы стояли в ее глазах — и вот женщина очнулась, статуя ожила. Бледное, мраморное лицо, выпуклость мраморной груди, даже чистый мрамор ног залились волной неудержимого румянца, и легкая дрожь поколебала ее нежные формы, как колеблет тихий ветерок Неаполя пышные серебряные лилии в траве.

Почему бы могла она покраснеть? На этот вопрос нет ответа. Неужели потому, что в ужасе и тревоге материнского сердца забыла надеть туфли на свои крошечные ножки, накинуть покрывало на свои венецианские плечи? Чем еще объяснить этот румянец? Блеск этих зовущих глаз? Необычайное волнение трепещущей груди? Судорожноежатие дрожащей руки — руки, которая случайно опустилась на руку незнакомца, когда Ментони отвернулся, уходя во дворец. Чем еще объяснить тихий, необычайно тихий звук непонятных слов, с которыми она торопливо обратилась к нему на прощание? «Ты победил, — сказала она (или я ошибся и то был ропот вод), — ты победил: через час после восхода солнца мы будем вместе!»

* * *

Смятение прекратилось, огни во дворце погасли, а незнакомец, которого я узнал теперь, еще стоял на ступенях. Он дрожал от неизъяснимого волнения, его взор искал гондолу. Я предложил ему свою, и он принял мое любезное предложение. Раздобыв весло у шлюза, мы поплыли к его дому. Он быстро овладел собой и вспоминал о нашем прежнем мимолетном знакомстве в весьма сердечных выражениях.

Есть вещи, относительно которых я люблю быть точным. Это относится и к личности незнакомца. Я по-прежнему буду так называть его, ибо для всего мира он

все еще оставался незнакомцем. Роста он, пожалуй, был ниже среднего, хотя в минуты страстного волнения тело его как будто выросло и не подходило под это определение. Легкий, почти хрупкий облик обещал скорее отвагу и волю, какие он проявил у Моста Вздохов, нежели геркулесову силу, пример которой он, как известно, не раз выказывал без труда и в более опасных случаях. Рот и подбородок молодого бога, удивительные, страстные, огромные влажные глаза, оттенок которых менялся от чистого орехового тона до блестящей черноты, и густые вьющиеся темные волосы, из-под которых ослепительно сверкал необычайно большой белый лоб,— такова была его наружность. Столь классически правильного лица я не видывал, разве что любясь статуями императора Коммода. Наружность его была из тех, какие случается встретить только раз в жизни. Лицо его не отличалось каким-либо особенным выражением, которое врезается в память; увидев это лицо, вы тотчас забывали о нем, но потом не могли отделаться от смутного и неотвязного желания восстановить его в памяти. Даже самые мимолетные страсти мгновенно отражались на этом лице, как в зеркале, но, подобно зеркалу, оно не сохраняло низких следов исчезнувшей страсти.

Расставаясь со мной в эту ночь, он просил меня, и как будто очень настоятельно, зайти к нему завтра утром пораньше. Исполняя эту просьбу, я вскоре после восхода солнца уже стоял перед его палаццо — одним из тех угрюмых, но сказочных и пышных зданий, которые возвышаются над водами Большого канала, неподалеку от Риальто. Меня провели по широкой витой мозаичной лестнице в приемную, изумительная роскошь которой, едва я вошел, ослепила и ошеломила меня.

Я знал, что мой знакомый богат. О его состоянии ходили слухи, которые я всегда считал нелепым преувеличением. Но, озираясь в этом палаццо, я не мог поверить, чтобы у какого-либо частного лица в Европе нашлось достаточно средств на такое царское великолепие, которое сияло и блистало вокруг меня.

Хотя, как я уже сказал, солнце взошло, но в комнате все еще горели яркие светильники. По этому обстоятель-

саву, а равно и по утомленному виду моего друга я замечал, что в эту ночь он не ложился. В форме и обстановке комнаты заметно было стремление ослепить и поразить. Владелец, очевидно, не заботился ни о том, чтобы выдержать стиль, ни о национальном колорите. Глаза разбегались при виде гротесковых рисунков греческих живописцев, скульптур лучших итальянских мастеров старой школы, резных изделий Древнего Египта. Роскошные завесы слегка дрожали от звуков тихой меланхолической музыки, лившейся неведомо откуда. Голова кружилась от смеси разнообразных благовоний, поднимавшихся из странных витых курильниц вместе с мерцающими, трепетными язычками изумрудного и лилового пламени. Лучи в осходящего солнца озаряли все это сквозь окна с цельными малиновыми стеклами. Просачиваясь бесчисленными струями между завесами, падавшими с высоты карнизов, точно потоки расплавленного серебра, и, отражаясь от них тысячами бликов, лучи естественного света сливались с искусственным и ложились дрожащими полосами на пышный золотистый ковер.

— Ха! ха! ха!.. Ха! ха! ха! — рассмеялся хозяин, знаком приглашая меня садиться и бросаясь на оттоманку.— Я вижу,— прибавил он, заметив, что я смущен этим странным приемом,— я вижу, что вас поражают мои апартаменты, мои статуи... мои картины... моя прихотливость в архитектуре и обстановке!.. Вы совсем опьянели от моей роскоши. Но простите, дорогой мой (тут он заговорил самым сердечным тоном), простите мне этот безжалостный смех. Ваше изумление было так непомерно! Кроме того, бывают вещи до того смешные, что человек должен рассмеяться, иначе он умрет. Умереть смеясь — вот славнейшая смерть. Сэр Томас Мор — прекрасный человек был сэр Томас Мор! — сэр Томас Мор умер смеясь, если помните. И в «Абсурдностях» Равизия Текстора приводится длинный список лиц, которые так же достойно встретили смерть. Знаете, — продолжал он задумчиво, — в Спарте (нынешней Палеохории), в Спарте, к западу от цитадели, среди груды едва заметных развалин, есть камень вроде подножия, на котором до сих пор можно разобрать буквы λαιμ. Без сомнения, это остаток слова

уελοεα. Теперь известно, что в Спарте существовали тысячи храмов и жертвенников самых разнообразных божеств. Как странно, что храм Смеха пережил все остальные! Однако в настоящую минуту, — при этих словах его движения и голос странно изменились, — я не имею права забавляться на ваш счет. Вы, вероятно, поражены. Во всей Европе вы не найдете ничего прекраснее моего царственного кабинета. Остальные комнаты совсем не таковы, — те просто верх модного безвкусыя. Эта же лучше всякой моды, не правда ли? Стоит показать эту комнату, как она сама станет образцом моды, — конечно, для тех, кто может завести себе такую же, хотя бы ценой всего своего состояния. Впрочем, я не допустил бы подобной профанации. За одним только исключением, вы единственный, кто, кроме меня и моего слуги, посвящен в тайны этого царского чертога с тех самых пор, как он воздвигнут.

Я поклонился в знак признательности, так как был совершенно подавлен всем этим великолепием, музыкой, благовониями, а также необычностью речей и манер хозяина, и это помешало мне выразить свое мнение в виде какой-нибудь любезности.

Он встал и, опершись на мою руку, повел меня вокруг комнаты.

— Здесь, — сказал он, — картины от греков до Чимабуэ и от Чимабуэ до наших дней. Как видите, многие из них я выбрал, не считаясь с мнениями знатоков. Вот несколько шедевров, принадлежащих неведомым талантам; вот неоконченные рисунки людей, в свое время прославленных, но чьи имена проницательность академиков отдала безвестности и мне. Что вы скажете, — прибавил он, внезапно обернувшись, — что вы скажете об этой *Madonna dela Pietà*?¹

— Это настоящий Гвидо, — отвечал я с присущим мне энтузиазмом, так как давно уже обратил внимание на чудесную картину. — Настоящий Гвидо! Как удалось вам достать ее? Бесспорно, она в живописи занимает то же место, что Венера в скульптуре.

¹ Скорбящая Божья Матерь (*ит.*).

— А! — сказал он задумчиво.— Венера, прекрасная Венера? Венера Медицейская? Золотоволосая, с миниатюрной головкой? Часть левой руки (здесь голос его понизился до еле слышного шепота) и вся правая рука таврированы, и в кокетливом движении этой правой руки — квинт-эссенция жеманства. А Канова! Его Аполлон тоже подделка, в этом не может быть сомнения, — и я, слепой глупец, никак не могу оценить хваленого вдохновения Аполлона. Я предпочитаю — что делать? — предпочитаю Антиноя. Кто-то — кажется, Сократ — заметил, что скульптор видит свое изваяние еще в глыбе мрамора. В таком случае Микеланджело только повторил чужие слова, сказав:

Non ha l'ottimo artista alcun concetto
Che un marmo solo in se non circonscriva¹.

Замечу, если никто еще не сделал этого до меня, что манеры истинного джентльмена всегда резко отличаются от манер простого человека, хотя не сразу можно определить, в чем состоит различие. Это как нельзя более подходило к внешности моего незнакомца, но — я это почувствовал в то достопамятное утро — оказывалось еще вернее в отношении его характера и внутреннего облика. Я не могу определить ту духовную особенность, которая так отличала его от прочих людей, иначе, как назвав ее привычкой к упорному и сосредоточенному мышлению, сопровождавшему даже его обыденные действия; оно вторгалось в его шутку, переплеталось с порывами веселья — как те змеи, что выползают из глаз смеющихся масок на карнизах Персеполиса.

Я не мог не заметить, однако, в его быстром разговоре, то шутливом, то серьезном, какой-то внутренней дрожи, нервного волнения в речах и поступках, беспокойного возбуждения, которое оставалось для меня совершенно непонятным и по временам тревожило меня. Нередко, остановившись на середине фразы и, очевидно, позабыв

¹ И высочайший гений не прибавит
Единой мысли к тем, что мрамор сам
Таит в избытке (ит.).

(Перевод Л. Эфроси)

ее начало, он прислушивался с глубоким вниманием, точно ожидал какого-то посетителя или внимал звукам, раздававшимся лишь в его воображении.

В одну из этих минут рассеянности или задумчивости я развернул прекрасную трагедию поэта и ученого Полициано «Орфей» (первую национальную итальянскую трагедию), лежавшую подле меня на оттоманке, и увидел место, подчеркнутое карандашом. Это место, в конце третьего акта, хватает за душу, и, хотя оно окрашено земными, грешными желаниями, ни один мужчина не прочтет его без волнения, ни одна женщина — без вздоха. Вся страница была закапана недавними слезами, а на вкладном листке я прочел следующие английские стихи, написанные почерком, до того непохожим на своеобразный почерк моего знакомого, что я с трудом мог признать его руку:

В твоём я видел взоре,
К чему летел мечтой:
Зелёный остров в море,
Ручей, алтарь святой
В плодах волшебных и цветах,
И любой цветок был мой.

Конец мечтам моим!
Мой яркий сон, милей всех снов,
Растаял ты, как дым!
Мне слышен Будущего зов:
«Вперед!» — Но над Былым
Мой дух простерт без чувств, без слов,
Подавлен, недвижим!

Ещё не зажжётся надо мной
Любви моей звезда.
«Нет, никогда — нет, никогда
(Так дюнам говорит прибой)
Не полетит орёл больной.
И ветвь, разбитая грозой,
Вовек не даст плода!»

Мне сны дарят отраду,
И ночь меня ведёт
К пленительному взгляду
В эфирный хоровод,
Где вечно льёт прохладу
Шлееск итальянских вод,

И я живу, тот час кляня,
Когда простор бурливый
Тебя отторгнул от меня
Для ласки нечестивой,
От края, где, главу склоня,
Дрожат и плачут ивы!¹

Стихи были написаны по-английски. Я не знал, что автор владеет этим языком, но это меня ничуть не удивило: он был известен своими обширными познаниями, которые всячески старался скрыть, так что удивляться было нечему,— но меня поразила пометка, стоявшая на листке. Она гласила, что стихи были написаны в Лондоне, затем ее соскоблили, однако не так чисто, чтобы нельзя было ее разобрать. Я говорю, что обстоятельство это поразило меня, ибо я помнил ясно один наш прежний разговор: на мой вопрос, встречался ли он в Лондоне с маркизой Ментони (она провела в этом городе несколько лет до замужества), мой друг ответил, что ему никогда не случалось бывать в столице Великобритании. Замечу кстати, что я не раз слышал (хотя и не придавал веры столь неправдоподобному утверждению), будто человек, о котором я говорю, не только по рождению, но и по воспитанию англичанин.

* * *

— Тут есть одна картина,— сказал он, не заметив, что я раскрыл трагедию,— тут есть одна картина, которой вы еще не видели.— С этими словами он отдернул занавес, и я увидел портрет маркизы Афродиты во весь рост.

Человеческое искусство не могло бы с большим совершенством передать эту сверхчеловеческую красоту. Я увидел опять тот же воздушный образ, что стоял передо мной в прошлую ночь на ступеньках герцогского дворца. Но в выражении лица, озаренного смехом, сквозила (непонятная странность!) чуть заметная печаль, которая кажется неразлучной с совершенством красоты. Правая рука лежала на груди, левая указывала вниз, на какую-то необычайной формы вазу. Маленькая волшебная ножка,

¹ Перевод В. Рогова.

выступавшая из-под одежды, чуть касалась земли, а в искрящемся воздухе, словно оттенявшем и обрамлявшем ее красоту, трепетали два прозрачных легких крыла. Я перевел взгляд с портрета на моего друга, и выразительные слова Чепмена в «Бюсси д'Амбуаз» невольно затрепетали у меня на губах:

Он
Стоит, подобно римским изваяниям!
И будет здесь стоять, покуда Смерть
Не обратит его в холодный мрамор!

— Знаете что, — сказал он наконец, обернувшись к столу из литого серебра, украшенному финифтью, на котором стояли кубки с фантастическим узором и две большие этрусские вазы, такой же странной формы, как изображенная на картине, и наполненные, как мне показалось, иоганнисбергером. — Знаете что, — сказал он отрывисто, — давайте-ка выпьем. Еще рано, но что за беда — выпьем. Действительно, *еще рано*, — продолжал он задумчивым голосом, когда херувим на часах ударил тяжелым золотым молотом, и в комнате прозвенел первый час после восхода солнца, — действительно, еще рано, но что за беда, выпьем! Совершим возлияние солнцу, которое эти пышные лампы и светильники так ревностно стараются затмить! — И, чокаясь со мной, он выпил один за другим несколько бокалов.

— Грезить, — продолжал он в своей прежней бессвязной манере, рассматривая в ярком свете курильницы одну из своих великолепных ваз, — грезить всегда было моим единственным занятием. Вот я и создал для себя царство грез. Мог ли я создать лучшее в сердце Венеции? Правда, вы видите вокруг себя смесь всевозможных стилей. Чистота ионийского стиля оскорбляется рисунками пещерного жителя; египетские сфинксы лежат на золотых коврах. Но все это покажется нелепым только робкому духу. Боязнь несоответствия времени или месту всегда отпугивала человечество от познания возвышенного. Когда-то я сам подчинялся моде. Но эта высшая из человеческих глупостей смертельно наскучила мне. То, что вы видите здесь, вполне отвечает моим стремлениям. Как пламя этих

причудливых курильниц, душа моя трепещет в огне, и безумие убранства подготавливает меня к безумным видениям в стране, где грезы реальны и куда я отхожу теперь. — Он остановился, опустил голову на грудь, точно прислушиваясь к неслышному для меня звуку. Потом выпрямился, взглянул вверх и произнес слова епископа Чичестерского:

Ты подожди меня, постой,
Мы в мир теней уйдем с тобой,—

затем, побежденный силой вина, упал на оттоманку.

Быстрые шаги послышались на лестнице, и кто-то громко постучал в дверь. Я поспешил к двери, чтобы предупредить новый стук, когда в комнату ворвался паж Ментони и, задыхаясь от волнения, проговорил: .

— Моя госпожа!.. Моя госпожа отравилась. Отравилась!.. О прекрасная, о прекрасная Афродита!..

Пораженный, я кинулся к оттоманке, чтобы разбудить спящего. Но члены его оцепенели, губы стали синими, огонь лучезарных глаз был потушен смертью. Я отпрянул к столу — рука моя упала на треснувший и почерневший кубок — и ужасная истина внезапно предстала моей душе.



РАЗГОВОР ЭЙРОС И ХАРМИОНЫ

Πῦρ σοι προσοίσο
Я принесу тебе огонь.
Эврипид. «Андромаха».

Эйрос. Почему ты зовешь меня Эйрос?

Хармиона. Ты будешь зваться так отныне и вовеки. Забудь и мое земное имя и зови меня Хармионой.

Эйрос. Да, это не сон!

Хармиона. Снов более нет с нами; но речь об этих тайнах впереди. Мне отрадно видеть, что тобою сохранены подобие жизни и разум. Теневая пелена сошла с твоих глаз. Исполнишь смелости и ничего не бойся. Назначенные тебе дни оцепенения миновали; и завтра я сама посвящу тебя во все радости и чудеса твоего нового существования.

Эйрос. И вправду, я совсем не чувствую оцепенения. Неистовый недуг и ужасная тьма оставили меня, и мне более не слышен бешеный, стремительный, ужасный звук, подобный «шуму от множества вод». И все же чувства мои в смятении, Хармиона, от остроты восприятия нового.

Хармиона. Через несколько дней все это пройдет; — но я вполне тебя понимаю и сочувствую тебе. Прошло десять земных лет с той поры, как я испытала то, что испытываешь ты, но память об испытанном все же свежа. Все страдания, уготованные тебе в Эдеме, теперь позади.

Эйрос. В Эдеме?

Хармиона. В Эдеме.

Эйрос. О Боже! — сжался надо мной, Хармиона! — меня подавляет величие всего — неведомое, ставшее ведомым — Грядущее, слиток с царственным и определенным Настоящим.

Хармиона. Не пытайся разрешить эти вопросы. Речь о них будет завтра. Волнение твоего неокрепшего ума утешится простыми воспоминаниями. Не смотри ни окрест, ни вперед — но только назад. Я сгораю от нетерпения услышать подробности о грандиозном событии, забросившем тебя к нам. Поведай мне о нем. Побеседуем о привычных предметах на старом привычном языке мира, погибшего столь ужасно.

Эйрос. О, ужасно, ужасно! — да, это не сон.

Хармиона. Снов более нет. Меня много оплакивали, Эйрос?

Эйрос. Оплакивали, Хармиона? О, горько. До самого последнего часа над твоим семейством нависала туча безысходного горя и благочестивой скорби.

Хармиона. И тот последний час — поведай о нем. Не забывай, что, помимо краткого известия о самой катастрофе, я ничего не знаю. Когда, покинув человечество, я прошла через Могилу в Ночь — в ту пору, если я верно помню, бедствия, постигшего вас, никак не ожидали. Но ведь я была мало сведуща в предсказаниях умозрительной философии тех дней.

Эйрос. Как ты сказала, бедствия, постигшего нас, совершенно не ждали; но подобные невзгоды на протяжении долгого времени составляли для астрономов предмет обсуждения. Едва ли стоит говорить тебе, друг мой, что, когда ты ушла от нас, люди истолковали те места из наших Священных Писаний, где повествуется об окончательной гибели всего сущего от огня, как относящиеся лишь к земному шару. Но касательно сил, посредством которых свершится наша гибель, все предположения были ошибочны, начиная с той эпохи развития астрономии, когда перестали считать, что кометы способны уничтожить нас огнем. Была точно установлена весьма невысокая плотность этих небесных тел. Заметили, что они проходят среди спутников Юпитера без какого-либо значительного изменения массы или орбит этих второстепенных планет. Мы давно рассматривали этих небесных скитальцев как крайне разреженные газообразные скопления, никак не способные причинить вред нашему весоному шару даже в случае соприкосновения. Но соприкосновения мы ни в

коей мере не опасались, ибо элементы комет были досконально известны. Что среди них должно искать носителя огненной гибели, много лет считалось недопустимой идеей. Но последнее время причудливые фантазии и вера в чудеса странным образом распространились по свету; и хотя подлинное предчувствие грядущей катастрофы укоренилось лишь среди немногих невежд, но после того, как астрономы объявили о новой комете, эта весть была принята всеми с какой-то тревогой и недоверием.

Немедленно определили элементы незнакомой кометы, и все наблюдатели сразу признали, что ее траектория в перигелии проходит очень близко от Земли. Двое или трое второстепенных астрономов настоятельно утверждали, что соприкосновение неизбежно. Не могу должным образом выразить тебе, какой эффект произвело это сообщение. Несколько дней люди не в силах были поверить утверждению, которое их разум, погруженный в будничные заботы, никак не мог осмыслить. Но правда о чем-то жизненно важном быстро доходит до понимания даже самых тупоумных. Наконец все увидели, что астрономия не лжет, и принялись ожидать комету. Ее приближение на первых порах не казалось особо стремительным; да и вид ничем не поражал. Она была тускло-красная, с еле видимым хвостом. Семь или восемь дней мы не замечали значительного увеличения ее диаметра и видели лишь частичное изменение ее цвета. Тем временем повседневные дела оказались в забросе, и всеобщий интерес был направлен на все расширяющееся обсуждение природы кометы, начатое людьми с философским складом ума. Даже величайшие невежды напрягали свои дремлющие способности ради рассуждений о комете. Теперь ученые не тратили ни интеллекта, ни души на то, чтобы рассеять страхи или защитить любимую теорию. Выбиваясь из сил, они искали правильного взгляда. Они мучительно добивались совершенства знаний. Истина восстала в чистоте силы своей и в беспредельном величии, и мудрые благоговейно простерлись перед нею.

Мнение, будто земной шар или его обитатели подвергнутся урону от предполагаемого соприкосновения с кометой, с каждым часом теряло вес среди мудрых; и муд-

рым теперь предоставлялась свобода власти над разумом и фантазией толпы. Было доказано, что плотность ядра кометы значительно ниже плотности самого разреженного из наших газов; настойчиво подчеркивали факт прохождения подобного небесного гостя среди спутников Юпитера, не имевший никаких опасных последствий, что весьма споспешествовало уменьшению ужаса. Богословы с усердием, вызванным страхом, занимались библейскими пророчествами и толковали их народу с прямолинейностью и простотою, дотоле неведомой. Представление о том, что окончательная гибель Земли настанет от огня, внедрялось с упорством, убеждавшим всех; а что кометы состоят не из пламени (как поняли к тому времени все) — было истиной, в огромной мере ослабившей всеобщее предчувствие предсказанной беды. Заметно было, что принятые суеверия и заблуждения черни относительно эпидемий и войн — заблуждения, широко распространенные при появлении любой кометы — теперь были совершенно неведомы. Слово бы неким судорожным усилием разум в единый миг низверг суеверие с престола. В повышенной любознательности черпал силу и слабейший ум.

В мельчайших подробностях изучался вопрос: каких малых зол можно ожидать от соприкосновения с кометой. Ученые говорили о незначительных геологических сдвигах, о вероятных изменениях климата, а следовательно, и растительности; о возможных магнитных и электрических влияниях. Многие держались того мнения, что никаких видимых или заметных перемен вообще не последует. Покамест продолжались подобные дискуссии, предмет их постепенно приближался, его диаметр возрастал, сияние делалось все ярче. По мере приближения кометы росла тревога человечества. Все дела людские приостановились.

Настало время, когда комета в конце концов достигла величины, превосходящей величину всех подобных явлений, ранее отмеченных. Теперь люди, отбросив всякую оставшуюся надежду на ошибку астрономов, уверились в неотвратимой беде. Ужас потерял свою призрачность. Сердца смелейших бешено стучали. Однако оказалось довольно совсем немногих дней, дабы растворить и подобные чувства в других, вовсе уж не переносимых.

Мы не могли более подходить к неведомой комете с какими-либо привычными мерками. Ее исторические признаки исчезли. Она тяготила нас ужасающе новизною внушаемых эмоций. Каждый из нас видел в ней не астрономический феномен, но инкуба на сердце, тень на разуме. С непостижимой стремительностью она превратилась в гигантский покров разреженного пламени, простертый от горизонта до горизонта.

Еще день, и люди вздохнули свободнее. Стало ясно, что мы уже находимся в сфере влияния кометы; и все-таки живем. Мы даже ощущали необычную телесную гибкость и живость ума. Была очевидна крайняя разреженность кометы, ужасавшей нас: все небесные тела были ясно видны сквозь нее. Тем временем растительность земли заметно изменилась; и мы уверовали по этому ранее предсказанному обстоятельству в прозорливость мудрых. Буйная, роскошная листва, неведомая ранее, покрыла каждое растение.

Еще день — а зло все же не достигло нас до конца. Стало очевидным, что первым дойдет до нас ядро. Все люди безумно изменились; и первое ощущение боли послужило яростным сигналом для всеобщего плача и ужаса. Первое ощущение боли пришло от резкого стеснения грудной клетки и легких и от невыносимой сухости кожи. Нельзя было отрицать, что наша атмосфера поражена; начались споры о составе атмосферы и о допустимых в ней изменениях. Итоги исследования пропустили по всем людским сердцам электрическую искру глубочайшего ужаса.

Давно было известно, что окружавший нас воздух представляет собою смесь кислорода и азота в пропорции двадцати одной доли кислорода к семидесяти девяти азота на каждые сто в атмосфере. Кислород, источник сгорания и проводник тепла, самое могучее и действенное вещество в природе, был абсолютно необходим для поддержания жизни. Азот, напротив, был неспособен поддерживать жизнь или огонь. Протivoестественный избыток кислорода привел бы, как было удостоверено, именно к такому подъему жизненных сил, какой мы незадолго до того испытали. Следование за этой идеей, ее развитие и поро-

дило ужас. К чему привело бы *полное удаление* азота? К воспламенению, неотвратимому, всепожирающему, повсеместному, немедленному; — полностью сбудутся, в мельчайших и устрашающих подробностях, пламенные, вселяющие ужас обличения из пророчеств Священного Писания.

Есть ли нужда, Хармиона, живописать ничем не сдерживаемое истступление человечества? Разреженность кометы, ранее вселявшая в нас надежды, стала теперь источником горестного отчаяния. В ее газообразной неосязаемости мы ясно усмотрели свершение Судьбы. Тем временем прошли еще сутки, унося с собою последнюю тень Надежды. Мы задыхались в стремительно изменяющемся воздухе. Алая кровь, бурля, пронеслась по тесным сосудам. Исступленный бред обуял всех людей; простерев оцепенелые руки к грозящим небесам, они пронзительно кричали, охваченные трепетом. И тут на нас надвинулось ядро разрушительницы; даже здесь, в Эдеме, я содрогаюсь, говоря об этом. Позволь мне быть краткой — краткой, как время, в которое постигла нас гибель. Какой-то миг сверкал зловещий, яростный свет, пронизывающий все. Тогда — позволь мне склониться, Хармиона, пред бесконечным величием всемогущего Бога! — тогда раздался громовой, все наполняющий звук, словно бы исходивший из его уст; а вся масса эфира, в которой мы существовали, в единый миг вспыхнула неким пламенем, ослепительной яркости и всепожирающему жару которого нет имени даже среди ангелов в горнем Небе чистого знания. Так завершилось все.



ОСТРОВ ФЕИ

Nullus enim locus sine genio est.

*Servius*¹

«La musique,— пишет Мармонтель в тех «Contes Mo-
gaux»², которым во всех наших переводах упорно дают
заглавие «Нравственные повести», как бы в насмешку над
их истинным содержанием,— la musique est le seul des
talents qui jouissent de lui-meme; tous les autres veulent
des temoins»³. Здесь он смешивает наслаждение, получа-
емое от нежных звуков, со способностью их творить. Та-
лант музыкальный, не более всякого другого, в силах
доставлять наслаждение в отсутствие второго лица, спо-
собного оценить упражнения в нем. И то, что он создает
эффекты, коими вполне можно наслаждаться в одино-
честве, лишь роднит его с другими талантами. Идея, ко-
торую писатель не то не сумел ясно выразить, не то принес
в жертву присущей его нации любви к острой фразе,—
несомненно, вполне разумная идея о том, что музыку са-
мого высокого рода наилучшим образом можно оценить,
когда мы совсем одни. С положением, выраженным таким
образом, немедленно согласится всякий, кто любит музы-
ку и ради ее самой и ради ее духовного воздействия. Но
есть одно наслаждение, еще доступное падшему роду че-
ловеческому,— и, быть может, единственное — которое
даже в большей мере, нежели музыка, возрастает, буду-
чи сопутствуемо чувством одиночества. Разумею счастье,

¹ Ибо нет места без своего духа-покровителя. *С е р в и у с* (лат).

² Могоах — здесь производное от *moeurs* и означает «о нравах». —
Примеч. автора.

³ Музыкальность — единственный талант, который довольствуется
сам собою; все остальные требуют второго лица (фр.). — *Примеч. автора.*

испытываемое от созерцания природы. Воистину, человек, желающий узреть славу Божию на земле, должен узреть ее в одиночестве. По крайней мере, для меня жизнь — не только человеческая, но в любом виде, кроме жизни безгласных зеленых существ, произрастающих из земли, — портит пейзаж и враждует с духом — покровителем местности. Говоря по правде, я люблю рассматривать темные долины, серые скалы, тихо улыбающиеся воды, леса, что вздыхают в непокойной дремоте, и горделивые, зоркие горы, на все вззирающие свысока, — я люблю рассматривать их как части одного огромного целого, наделенного ощущениями и душой, — целого, чья форма (сферическая) наиболее совершенна и всеобъемлюща; чья тропа пролегает в семье планет; чья робкая прислужница — луна; чей покорный Богу властелин — солнце; чья жизнь — вечность; чья мысль — о некоем Божестве; чье наслаждение — в познании; чьи судьбы теряются в бесконечности; чье представление о нас подобно нашему представлению об *animalculae*¹, кишачих у нас в мозгу, — вследствие чего существо это представляется нам сугубо материальным и неодушевленным, подобно тому, как, наверное, мы представляемся этим *animalculae*.

Наши телескопы и математические исследования постоянно убеждают нас — невзирая на нудные рацеи наиболее невежественной части духовенства, — что пространство и, следственно, объем имеют важное значение для Всевышнего. Звезды движутся по циклам, наиболее годным для вращения наибольшего количества тела без их столкновения. Тела эти имеют в точности такую форму, дабы вместить наивозможно большее количество материи в пределах данной поверхности; а сама поверхность расположена таким образом, дабы разместить на ней большее количество насельников, нежели на той же самой поверхности, расположенной иначе. И бесконечность пространства — не довод против мысли о том, что Бога заботит объем, ибо для его заполнения может существовать бесконечное количество материи. И так как мы ясно видим, что наделение материи жизненной силою является

¹ Микроскопических существ (лат.).

принципом и, насколько мы можем судить, *ведущим* принципом в деяниях Божества, то вряд ли будет логичным предполагать, будто принцип этот ограничивается пределами малого, где мы каждый день усматриваем его проявление, и не распространяется на великое.

Если мы обнаруживаем циклы, до бесконечности вмещающие другие циклы, но все имеющие некий единый отдаленный центр коловращения — Божество, то не можем ли мы по аналогии представить себе существование жизней в жизньях, меньших и больших, и все в пределах Божественного духа? Коротко говоря, мы в своей самонадеянности заблуждаемся до безумия, когда предполагаем, будто человек в своей временной или грядущей жизни значит во Вселенной больше, нежели те «глыбы долины», которые он возделывает и презирает, отказываясь видеть в них душу — лишь на том основании, что он действий этой души не замечал¹.

Эти и им подобные мысли всегда придавали моим раздумьям, когда я находился в горах или в лесах, на речном или на морском берегу, оттенок того, что будничным мир не преминул бы назвать фантастическим. Мои скитания по таким местностям были многочисленны, исполнены любознательности и часто велись в одиночестве; и любопытство, с каким я блуждал по многим тенистым, глубоким долинам или созерцал небеса, отраженные во многих ясных озерах, было любопытство, во много раз усугубленное мыслью о том, что я блуждаю и созерцаю один. Какой это насмешливый француз² сказал относительно известного произведения Циммермана, что «*la solitude est une belle chose; mais il faut quelqu'un pour vous dire que la solitude est une belle chose*»³? Остроумие этой фразы нельзя отрицать; но подобной необходимости и нет.

¹ Говоря о приливах, Помпоний Мела в своем трактате «*De situ orbis*» утверждает, что «или мир — огромное животное, или...» и т. д. — *Примеч. автора.*

² Бальзак; передаю общий смысл — точных слов не помню. — *Примеч. автора.*

³ Одиночество — прекрасная вещь; но ведь необходимо, чтобы кто-то вам сказал, что одиночество — прекрасная вещь. (*фр.*)

Во время одного из моих одиноких странствий по далекому краю гор, краю печально вьющихся рек и уныло дремлющих озер мне довелось набрести на некий ручей и остров. Порою июньского шелеста листвы я неожиданно наткнулся на них и распростерся на дерне под сенью ветвей благоухающего куста неизвестной мне породы, дабы предаться созерцанию и дремоте. Я почувствовал, что видеть окружающее дано было мне одному — настолько оно походило на призрачное видение.

По всем сторонам — кроме западной, где начинало садиться солнце, — поднимались зеленые стены леса. Речка, которая в этом месте делала крутой поворот, казалось, не могла найти выхода и поглощалась на востоке густой зеленой листвой, а с противоположной стороны (так представлялось мне, пока я лежал растянувшись и смотрел вверх) беззвучно и непрерывно низвергался в долину густой пурпурно-золотой каскад небесных закатных потоков.

Примерно посередине небольшого пространства, которое охватывал мой мечтательный взор, на водном лоне дремал круглый островок, покрытый густою зеленью.

Так тень и берег слиты были,
Что словно в воздухе парили,

чистая вода была так зеркальна, что едва было возможно сказать, где именно на склоне, покрытом изумрудным дерном, начинаются ее хрустальные владения.

С того места, где я лежал, я мог охватить взглядом и восточную и западную оконечности острова разом и заметил удивительно резкую разницу в их виде. К западу помещался сплошной лучезарный гарем садовых красавиц. Он сиял и рдел под бросаемыми искоса взглядами солнца и прямо-таки смеялся цветами. Короткая, упругая, ароматная трава пестрела асфоделями. Было что-то от Востока в очертаниях и листве деревьев — гибких, веселых, прямых, — ярких, стройных и грациозных — с корою гладкой, глянцевиной и пестрой. Все как бы пронизывало ощущение полноты жизни и радости; и хотя с

небес не слетало ни дуновения, но все колыхалось — всюду порхали бабочки, подобные крылатым тюльпанам¹.

Другую, восточную часть острова окутывала чернейшая тень. Там царил суровый, но прекрасный и покойный сумрак. Все деревья были темного цвета; они печально клонились, свиваясь в мрачные, торжественные и призрачные очертания, наводящие на мысли о смертельной скорби и безвременной кончине. Трава была темна, словно хвоя кипариса, и никла в бессилии; там и сям среди нее виднелись маленькие неказистые бугорки, низкие, узкие и не очень длинные, похожие на могилы, хотя и не могилы, и поросшие рутой и розмарином. Тень от деревьев тяжело ложилась на воду, как бы погружаясь на дно и пропитывая мраком ее глубины. Мне почудилось, будто каждая тень, по мере того как солнце опускалось ниже и ниже, неохотно отделялась от породившего ее ствола и поглощалась потоком; и от деревьев мгновенно отходили другие тени вместо своих погребенных предтеч.

Эта идея, однажды поразив мою фантазию, возбудила ее, и я погрузился в грезы. «Если и был когда-либо очарованный остров,— сказал я себе,— то это он. Это приют немногих нежных фей, переживших гибель своего племени. Их ли это зеленые могилы? — расстаются ли они со своею милою жизнью, как люди? Или, умирая, они скорее грустно истаивают, мало-помалу отдавая жизнь Богу, как эти деревья отделяют от себя тень за тенью, теряя свою субстанцию? И не может ли жизнь фей относиться к поглощающей смерти, как дерево — к воде, которая впитывает его тень, все чернея и чернея?»

Пока я, полузакрыв глаза, размышлял подобным образом, солнце стремительно клонилось на отдых, и скорые струи кружились и кружились вокруг острова, качая большие, ослепительно белые куски платановой коры, которые так проворно скользили по воде, что быстрое воображение могло превратить их во что угодно, — пока я размышлял подобным образом, мне представилось, что

¹ Florem putares nare per liquidum aethere. P. Commire. [Ты полагаешь, что цветок рождается из текучего эфира. Отец Коммир].— *Примеч. автора.*

фигура одной из тех самых фей, о которых я грезил, медленно перешла во тьму из освещенной части острова. Она выпрямилась в удивительно хрупком челне, держа до прозрачности легкое весло. В медливших погаснуть лучах облик ее казался радостным — но скорбь исказила его, как только она попала в тень. Плавно скользила она и, наконец, обогнув остров, вновь очутилась в лучах. «Круг, только что описанный феей, — мечтательно подумал я, — равен краткому году ее жизни. То были для нее зима и лето. Она приблизилась к кончине на год; ибо я не мог не заметить, что в темной части острова тень ее отпала от нее и была поглощена темною водою, от чего чернота воды стала еще чернее».

И вновь показался челн и фея на нем, но в облике ее сквозили забота и сомнение, а легкая радость уменьшилась. И вновь она вплыла из света во тьму (которая мгновенно сгустилась), и вновь ее тень, отделяясь, погрузилась в эбеновую влагу и поглотилась ее чернотою. И вновь и вновь проплывала она вокруг острова (пока солнце поспешно отходило ко сну), и каждый раз, выходя из темноты, она становилась печальнее, делалась более слабой, неясной и зыбкой, и каждый раз, когда она переходила во тьму, от нее отделялась все более темная тень, растворяясь во влаге, все более черной. И наконец, когда солнце совсем ушло, фея, лишь бледный призрак той, какою была до того, печально вплыла в эбеновый поток, а вышла ли оттуда — не могу сказать, ибо мрак объял все кругом, и я более не видел ее волшебный облик.



МЕСМЕРИЧЕСКОЕ ОТКРОВЕНИЕ

Как бы сомнительны ни оставались пока попытки дать месмеризму *научное* объяснение, поразительность его результатов признана почти безоговорочно. Упорствуют лишь записные скептики, не верящие ни во что просто из принципа,— народ никчемный и доброго слова не стоящий. Теперь мы бы стали ломиться в открытые двери, принявшись *доказывать*, что человек способен, действуя на партнера только усилием воли, привести того в патологическое состояние, необычность которого в том, что оно по своим признакам очень близко напоминает *смерть*, или, во всяком случае, напоминает скорее именно ее, чем какое-либо другое известное нам естественное состояние человека; что, когда человек находится в подобном состоянии, органы чувств почти теряют восприимчивость; но зато по каналам, пока неизвестным, он воспринимает с исключительной чуткостью явления, обычным органам чувств не доступные; более того, уму его чудодейственно сообщаются высота и озаренность; между ним и внушающим ему свою волю устанавливается глубочайшее взаимопонимание, и, наконец, восприимчивость человека к подобному внушению растет в прямой зависимости от частоты и регулярности повторения сеансов, одновременно с чем и поразительные явления, сопровождающие их, *обнаруживают* себя все полней и отчетливей.

Все эти положения, повторяю, суть общие прописи месмеризма, так что и нет нужды докучать ими читателям. Цель у нас совершенно иная. Я решил, чего бы это мне ни стоило и назло всем злопыхателям и маловерам, просто изложить поподробней и без всяких комментариев в высшей степени примечательное содержание моей беседы с человеком, бодрствующим во сне.

Я долгое время пользовал с помощью месмерического воздействия человека, о котором в дальнейшем пойдет речь (мистера Вэнкерка), и резкое усиление внушаемости, а также повышенная месмерическая восприимчивость уже, как и положено, были достигнуты. Много месяцев подряд он боролся с чахоткой, открытый процесс протекал мучительно, и мне удалось посредством ряда манипуляций несколько облегчить его страдания, и вот в ночь со среды на четверг пятнадцатого числа текущего месяца меня позвали к его одру.

Больного мучили острые боли в области сердца, он еле дышал, налицо были все признаки астмы. Как правило, ему при этих спазмах приносили облегчение горчичники, прикладывавшиеся к нервным центрам, но на этот раз, сколько их ни прикладывали, они никакого действия не оказывали.

Когда я вошел, он поздоровался с приветливой улыбкой; несмотря на страдания, он, казалось, был бодр и ясен духом.

— Сегодня я послал за вами, — сказал он, — не за тем, чтобы вы избавили меня от страданий, — я хочу, чтобы вы удовлетворили мое любопытство по поводу некоторых ощущений, поразивших меня в прошлый раз, которые чрезвычайно заинтересовали меня и озадачили. Вы помните, как недоверчиво относился я до сих пор к вопросу о бессмертии души. Не могу отрицать, что где-то, и похоже, как раз в той самой душе, существования которой я не признавал, всегда жила смутная догадка о ее бытии. Но в уверенность она никак не превращалась. И тут я просто терялся. Вполне понятно, что все попытки разобраться логически лишь укрепляли мое недоверие. Мне посоветовали обратиться к Кузену. Я изучал его взгляды и по его собственным трудам, и по книгам его европейских и американских последователей. Мне, например, достали «Чарльза Элвуда» мистера Браунсона. Я читал эту книгу особенно вдумчиво. В целом она показалась мне логичной, но, к сожалению, элементарной логики явно недостает именно тем ее частям, в которых обосновывается неверие ее героя. В итоге — что, как мне кажется, просто бросается в глаза, — ему, при всем его уме, не

удается убедить даже самого себя. В конце он, подобно правительству Тринкуло, уже просто не помнит, о чем шла речь сначала. Короче говоря, я довольно скоро понял, что если человека и можно убедить в его бессмертии, то одними лишь чисто умозрительными теориями, которые испокон веков в таком почете у моралистов Англии, Франции, Германии, тут не обойтись. Умозрения, пожалуй, и заняты и по-своему бесполезны, но для постижения духа нужно что-то другое. Я пришел к выводу, что так уж все мы, видно, устроены, и философия так никогда и не приучит нас рассматривать качества как нечто предметное само по себе. Мы, может быть, и рады бы, но ни ум, ни чувство не приемлют этого.

Так вот, повторяю, я лишь смутно чувствовал в себе душу, но разумом — не верил. Но в последнее время это чувство во мне заметно углубилось, разум же настолько далеко пошел ему навстречу, что сейчас я уже затрудняюсь определить, где кончается одно и где начинается другое. Притом же оказалось нетрудно убедиться, что это положение — результат месмерического воздействия. Объяснить свою мысль яснее я мог бы, только высказав предположение, что месмерическое озарение позволяет мне схватывать самый ход рассуждений, который, пока я нахожусь в этом необычном состоянии, я могу проследить, но который — такова сама месмерическая феноменальность подобного состояния — становится недоступен моему пониманию в нормальных условиях, в сознании остаются лишь *результаты* этих рассуждений. Бодрствующему во сне рассуждения и вывод — то есть причина и конечный результат — даны нераздельно. В естественном же состоянии причина исчезает, и остается — да и то, пожалуй, лишь частично — один результат.

— Эти соображения навели меня на мысль, что если, когда я буду усыплен, мне задать искусней ряд наводящих вопросов, то из этого, пожалуй, вышел бы толк. Вы часто наблюдали, на какое глубокое самопостижение способен бодрствующий во сне — удивительную осведомленность, которую он обнаруживает по части особенностей месмерического транса; на эту его способность к углублению в себя лучше всего и ориентироваться, чтобы составить подобный катехизис по всем правилам.

Я, разумеется, согласился на предложенный эксперимент. Несколько пассив погрузили мистера Вэнкерка в месмерический сон. Он сразу же задышал легче, и, казалось, все его муки тут же как рукой сняло. Разговор принял вот какой оборот: В. в нашем диалоге — это больной, П. — я сам.

П. Вы спите?

В. Да — нет; я предпочел бы заснуть покрепче.

П. *(продслав еще ряд пассив)*. А теперь?

В. Теперь да.

П. Что вы думаете об исходе вашей теперешней болезни?

В. *(после долгих колебаний, говорит словно через силу)*. Только смерть.

П. Печалит ли вас мысль о смерти?

В. *(не задумываясь)*. Нет — нет!

П. Разве подобная перспектива прельщает вас?

В. Если бы я бодрствовал, мне хотелось бы умереть, а сейчас мне все равно. Месмерическое состояние настолько близко к смерти, что мне хорошо и так.

П. Будьте добры, объяснитесь, мистер Вэнкерк.

В. Я бы рад, но боюсь, мне эта задача не по плечу. Вы задаете не те вопросы.

П. Как же тогда мне вас спрашивать?

В. Вы должны начать с самого начала.

П. С начала! Но где оно, это начало?

В. Вы же знаете, что начало есть Бог. *(Сказано это было глухим, прерывистым голосом и, судя по всему, с глубочайшим благоговением.)*

П. Так что же такое Бог?

В. *(несколько минут остается в нерешимости)*. Я не знаю, как это объяснить.

П. Разве Бог — не дух?

В. В бытность свою наяву я знал, что вы понимаете под словом «дух», но теперь оно для меня — слово и больше ничего... Такое же, к примеру, как истина, красота — то есть обозначение какого-то качества.

П. Но ведь Бог нематериален?

В. Нематериальности не существует. Это просто слово. То, что нематериально, не существует вообще, если только не отождествлять предметы с их свойствами.

П. А Бог, стало быть, материален?

В. Нет. (*Этот ответ просто ошелолил меня.*)

П. Так что же он в таком случае?

В. (*после долгого молчания, бессвязно*). Я представляю себе, но словами это передать трудно. (*Снова долгое молчание.*) Он не дух, ибо он — сущий. И вместе с тем он и не материален *в вашем понимании*. Но есть также и ступени превращений материи, о которых человеку ничего не известно; более простые и примитивные пробуждают более тонкие и изощренные, более изощренные пронизывают собою более простые. Атмосфера, например, возбуждает электричество, а электричество насыщает собой атмосферу. Градации материи восходят все выше, по мере утраты ею плотности и компактности, пока мы не добиремся до материи, уже совершенно *лишенной предметности* — нерасторгаемой и единой; и здесь закон, побуждающий к действию силы и проникновения, преобразуется. Эта первоматерия, или нерасторжимая материя, не только проникает собою все сущее, но и побудительная причина всего сущего и, таким образом, сама в себе и *есть* все сущее. Эта материя и есть Бог. И то, что люди селятся воплотить в слове «мысль», есть эта материя в движении.

П. Метафизики утверждают, что всякое деяние сводится к движению и мысли и что вторая является прообразом первого.

В. Да, утверждают; и мне теперь ясно, в чем здесь заблуждение. Движение — это действие *духа*, а не *мысли*. Нерасторжимая материя, или Бог, в покое и есть (насколько мы можем приблизиться к пониманию этого) то, что люди называют духом. А сила самопобуждаемого движения (по своему конечному результату эквивалентного человеческой воле) в нерасторжимой материи является результатом ее неделимости и вездесущности, — как это происходит, я не знаю и теперь ясно понимаю, что никогда уже и не узнаю. Но нерасторжимая материя, приведенная в действие законом или свойством, заключенным в ней самой, и есть мысль.

П. Не можете ли вы уточнить понятие, которое вы называете «нерасторжимой материей»?

В. Известные людям вещества, по мере восхождения материи на более высокие ступени, становятся все менее доступными чувственному восприятию. Возьмем, например: металл, кусок древесины, каплю воды, воздух, газ, теплоту, электричество, светonosный эфир. Мы же называем все эти вещества и явления материей, охватывая таким образом единым и всеобщим определением все материальное; но так или иначе, а ведь не может быть двух представлений, более существенно отличных друг от друга, чем то, которое связано у нас в одном случае с металлом и в другом — со светonosным эфиром. Как только дело доходит до второго, мы чувствуем почти неодолимую потребность отождествить его с бесплотным духом или с пустотой. И удерживает нас от этого только то соображение, что он состоит из атомов; но даже и тогда мы ищем себе опору в понятии об атоме как о чем-то, хотя бы и в бесконечно малых размерах, но все-таки имеющем плотность, осязаемость, вес. Устраните понятие о его атомистичности,— и мы уже не в состоянии будем рассматривать эфир как вполне реальное вещество, или, во всяком случае, как материю. За неимением лучшего определения, нам пришлось бы называть его духом. Сделаем, однако, от рассмотрения светonosного эфира еще один шаг дальше и представим себе вещество, которое настолько же бесплотней эфира, насколько эфир бесплотней металла,— и мы, наконец, приблизимся (вопреки всем ученым догмам) к массе, единственной в своем роде,— к нерасторжимой материи. Потому что, хотя мы и примиряемся с бесконечной малостью самих атомов, бесконечная малость пространства между ними представляется абсурдом. Ибо тогда непременно возникло бы какое-то критическое состояние, какая-то степень разреженности, когда, если атомы достаточно многочисленны, промежуточное пространство между ними должно было бы совершенно исчезнуть и вся их масса — абсолютно уплотниться. Ну а поскольку само понятие об атомистической структуре в данном случае исключается, природа этой массы неизбежно сводится теперь к нашему представлению о духе.

Совершенно очевидно, однако, что наше вещество по-прежнему остается материей. По правде говоря, мы ведь не можем уяснить себе, что такое дух, поскольку не в состоянии представить себе то, чего не существует. И обольщаемся мыслью, будто составили себе о нем какое-то понятие потому только, что обманываем себя представлением о нем как о бесконечно разреженном веществе.

П. По-моему, ваша мысль об абсолютном уплотнении наталкивается на одно возражение, которое невозможно оспаривать; оно заключено в том ничтожно малом сопротивлении, которое испытывают небесные тела при своем обращении в мировом пространстве, сопротивлении, которое, как теперь установлено со всей очевидностью, существует в *каких-то* размерах, но настолько мало, что его совершенно не заметило даже Ньютоново всевидящее око. Мы знаем, что сопротивление тел зависит главным образом от их плотности. Абсолютное уплотнение даст абсолютную плотность. А там, где нет промежуточного пространства, не может быть и податливости. И абсолютно плотный эфир был бы для движения звезд преградой бесконечно более могучей, чем если бы они двигались в алмазной или железной среде.

В. Легкость ответа на ваше возражение прямо пропорциональна кажущейся невозможности на него ответить. Если уж говорить о движении звезды, то ведь совершенно одно и то же, звезда ли проходит через эфир *или эфир сквозь звезду*. И самое странное заблуждение в астрономии — это попытка совместить постоянно наблюдаемое замедление хода комет с их движением в эфире; потому что, какую бы большую разреженность эфира ни допустить, он бы остановил все обращение звезд гораздо раньше срока, положенного астрономами, которые всячески стараются смазать этот вопрос, оказавшийся выше их понимания. С другой же стороны, замедление, которое в действительности имеет место, можно было бы предвидеть заранее, учитывая трение эфира, мгновенно проходящего сквозь светило. В первом случае действие замедляющей силы должно быть единовременным и всецело замкнутым в себе самом, во втором — оно накапливается нескончаемо.

П. Но разве во всем этом — в вашем отождествлении простейшей материи с Богом — нет некоторого непочтения? (*Усыпленный не сразу понял, что я имею в виду, и мне пришлось повторить свой вопрос.*)

В. А вы можете объяснить, почему материя менее почтенна, чем дух? Но вы забыли, что та материя, о которой я говорю, и есть во всех отношениях именно тот самый «дух», «душа», о которых твердят ученые; она наделена всеми их высшими способностями и, более того, остается в то же самое время тем, что те же ученые называют «материей». Бог и все способности, приписываемые «духу», — это всего лишь совершеннейшее состояние материи.

П. Вы, стало быть, утверждаете, что нерасторжимая материя в движении есть мысль.

В. В общем, это движение есть вселенская мысль вселенского разума. Эта мысль созидает. Все, что сотворено, — это не более, как мысль Бога.

П. Вы говорите — «в общем».

В. Да. Вездесущий дух — это Бог. Для каждого нового отдельного бытия необходима *материя*.

П. Но вы говорите сейчас о «духе» и «материи» точно-точно, как метафизики.

В. Да — во избежание путаницы. Когда я говорю «дух», то имею в виду нерасторжимую материю или сверхматерию, под «материей» предполагается все остальное.

П. Вы говорили о том, что «для каждого нового отдельного бытия необходима материя».

В. Да, дух, существующий исключительно сам по себе, — только Бог. Для сотворения самостоятельного, мыслящего существа необходимо воплощение частицы Духа Божия. Так человек получает личное бытие. Без воплощения в телесную оболочку он был бы просто Богом. Ну а обособленное движение частных воплощений нерасторжимой материи — это мысль человеческая, точно так же, как общее ее движение — мысль Божия.

П. Так, по вашим словам, выходит, расставшись с телом, человек станет Богом?

В. (*после мучительных колбаний*). Я не мог так сказать, это — абсурд.

П. (*справляется по своей записи*).— Вы сказали, что «без воплощения в телесную оболочку человек был бы Богом».

В. И воистину. Таким образом, человек стал бы Богом — избавился бы от отдельности своего бытия. Но такого освобождения от плоти ему не дано или, во всяком случае, никогда *такого с ним не бывает*; иначе нам пришлось бы представить себе деяние Божие обращающимся вспять на самого Бога — бесцельным и бессмысленным. Человек — творение. Творения — суть мысли Божьи. А мысль по самой своей природе преходяща.

П. Не совсем понял. Вы говорите, что человеку не дано веками совлечь с себя телесную оболочку?

В. Я говорю, что он никогда не будет бестелесным.

П. Поясните.

В. Есть два вида телесности: зачаточная и полная — соответствующие состояниям гусеницы и бабочки. То, что мы называем словом «смерть», — всего лишь мучительное преобразование. Наше нынешнее воплощение преходяще, предварительно, временно. А грядущее — совершенно, законченно, нетленно. Грядущая жизнь и есть осуществление предначертанного нам.

П. Но ведь метаморфоза гусеницы известна нам досконально.

В. Нам — безусловно, но не гусенице. Вещество, из которого состоит наше рудиментарное тело, по своим свойствам не выходит из пределов восприятия органов этого тела, или; точнее, — наши рудиментарные органы соответствуют веществу, из которого вылеплено наше рудиментарное тело, но материи нашего окончательного претворения они не соответствуют. И, таким образом, конечная наша телесность недоступна нашим рудиментарным чувствам, и мы способны ощущать лишь оболочку, которая спадет, чтобы истлеть, освободив скрытую форму; но и эта сокровенная форма, и оболочка равно доступны восприятию тех, кто уже достиг конечного бытия.

П. Вы часто говорили, что месмерическое состояние очень походит на смерть. Как это надо понимать?

В. Когда я говорю, что оно похоже на смерть, я имею в виду, что оно приближается к конечному бытию; пото-

му что, когда я погружаюсь в транс, мои рудиментарные чувственные восприятия временно выключаются, и я воспринимаю внешние явления прямо, без опосредствования их органами чувств, а через посредника, который будет мне служить в предстоящей жизни, в которой нет нашей упорядоченности.

П. Нет упорядоченности?

В. Да, ведь органы — это приспособления, с помощью которых человек приводится в осмысленное отношение к одним видам и формам материи, а к другим — не приводится. Человеческие органы приспособлены к условиям рудиментарного бытия, и только к ним; и совершенно понятно, что предстоящее бытие человека не нуждается ни в какой организации, ибо оно подчинено прямо Божьей воле, то есть движению нерасторжимой материи. Вы сможете создать себе ясное понятие о теле конечного превращения, если представите себе его как сплошной мозг. Оно не таково; но такого рода допущение все-таки приблизит вас к пониманию, *что же оно такое*. От светящегося тела исходят волны в светоносный эфир. Он, в свою очередь, передает их на сетчатую оболочку глаза, от которой они передаются зрительному нерву. Нерв сообщает их мозгу; мозг — нерасторжимой материи, проходящей сквозь него. Движение этой последней есть мысль, волна которой начинает свой бег с перцепции. Так сознание в рудиментарной жизни сообщается с внешним миром, восприятие этого внешнего мира ограничено в рудиментарной жизни возможностями ее органов. А в предстоящей, не регламентированной органикой, жизни внешний мир воспринимается всем телом (которое состоит из вещества, наделенного, как я уже говорил, примерно теми же свойствами, что и мозг), и нет между ними никакого посредника, кроме эфира, даже еще более бесконечно разреженного, чем светоносный эфир; и все тело вибрирует вместе с этим эфиром, передавая свои колебания нерасторжимой материи. Именно отсутствию локализованности нашего восприятия органами чувств мы и обязаны в предстоящем бытии почти беспредельной восприимчивостью. Для рудиментарных существ органы чувств — клетки, в которых их держат, пока не оперятся.

П. Вы говорите о рудиментарных «существах». Но разве есть, кроме человека, еще и другие мыслящие существа?

В. Бесконечное многообразие разреженной материи в космических туманностях, планетах, солнцах и других телах, не являющихся ни туманностями, ни планетами, ни солнцами, единственно и предназначено для локализованных органов чувств бесчисленных рудиментарных существ. Все эти тела необходимы для рудиментарной жизни, для предстоящего бытия, иначе их и не существовало бы вовсе. Каждое из них заселено определенной породой рудиментарных мыслящих существ, живущих органической жизнью. В общем, свойства органов чувств меняются в зависимости от места обитания этих существ. Когда же наступает смерть, или — метаморфоза, все эти создания, приобщаясь к предстоящей жизни, бессмертию и всех тайн, кроме одной, совершают любое действие и переносятся куда угодно, и для этого им не нужно ничего, кроме проявления воли; они обитают уже не на звездах, представляющихся нам единственной достоверностью и единственно для размещения которых, как мы в слепоте своей полагаем, пространство и создано, — а прямо в мировом пространстве, в бесконечности, сама истинно-сущностная безмерность которой поглощает эти звездные островки, не давая ангелам даже задерживать на них внимания, как словно бы их и не было.

П. Вот вы говорите, что «если бы не их необходимость для рудиментарной жизни, то звезд бы не существовало». Но откуда берется эта необходимость?

В. В неорганической жизни, как и в неживой материи вообще, не может быть никаких препятствий действию одного простого и не имеющего себе подобия закона божественной воли. Чтобы создать ему сопротивление, и была сотворена органическая материя, органическая жизнь (сложная, собственносущностная, стойкая в сопротивлении этому закону).

П. Но зачем же понадобилось создавать ему сопротивление?

В. Результатом подчинения закону является совершенство, истинность, счастье как отсутствие страданий.

Результатом же нарушения закона становятся несовершенство, несправедливость и страдание как таковое. Из-за помех его осуществлению, которые возникают в силу множественности, сложности и собственносущности законов органической жизни и материи, становится практически возможной какая-то мера воздаяния за нарушение высшего закона. Так, невозможное в неорганической жизни, страдание становится возможным в органической.

П. А какая благая цель при этом достигается?

В. Все сущее хорошо или плохо в сравнении с чем-нибудь. Обстоятельное исследование убеждает, что наслаждение во всех случаях является не чем иным, как только противоположностью страдания. И в чистом виде наслаждение — фикция. Радость нам дается лишь там, где мы уже страдали. Не испытать страдания значило бы никогда не познать блаженства. Но я уже указывал, что в неорганической жизни страдание невыносимо, отсюда — необходимость в органической. Страдания в начальной, земной жизни являются залогом блаженства конечной, небесной жизни.

П. Вы употребили также и еще одно выражение, смысла которого я не уразумел: *«истинносущностная безмерность бесконечности»*.

В. По всей видимости, причина этого в том, что само понятие *«сущность»* является у вас недостаточно общим. Его следует рассматривать не как качество, а как ощущение: у мыслящих существ оно является восприятием приспособления материи к собственному их устройству. На земле найдется немало такого, существования чего жители Венеры не могли бы воспринять, и многого, что на Венере видимо и осязаемо, мы бы не были в состоянии заметить и воспринять. Но для существ, не наделенных органичностью, для ангелов, — вся нерасторжимая материя является сущностью, то есть, иначе говоря, все, что мы определяем словом *«пространство»*, для них — вещественнейшая реальность, и в то же время звезды — именно в силу того, что мы считаем доказательством их материальности, — оказываются вне восприятия ангелов, и эта их невосприимчивость прямо пропорциональна тому, в какой мере нерасторжимая материя — в силу тех сво-

их свойств, которые заставляют ее казаться нам не материей вообще, — не поддается восприятию органической.

В то время, как усыпленный уже еле слышно договаривал эти последние слова, я заметил, что лицо его приняло странное выражение, которое встревожило меня и вынудило тут же разбудить его. Но не успел я этого сделать, как он с просветленной улыбкой, озарившей все лицо, откинулся на подушку и испустил дух. Я обратил внимание, что не прошло и минуты, как тело успело окоченеть и стало словно каменным. Лоб его был холоден, как лед. Так обычно бывает лишь после того, как рука Азраила уже долго сжимала человека. Неужели и вправду усыпленный мной со своими последними рассуждениями обращался ко мне уже из царства теней?



БЕРЕНИКА

Dicebant mihi sodales, si sepulchrum
amicae visitarem curas mea
aliquantulum fore levatas.—

*Ebn-Zuiat*¹

Печаль многосложна и многострадальность человеческая необъятна. Она обходит землю, склоняясь, подобно радуге, за ширь горизонта, и обличья ее так же изменчивы, как переливы радуги; столь же непреложен каждый из ее тонов в отдельности, но смежные, сливаясь, как в радуге, становятся неразличимыми, переходят друг в друга. Склоняясь за ширь горизонта, как радуга! Как же так вышло, что красота привела меня к преступлению? Почему мое стремление к мирной жизни накликало беду? Но если в этике говорится, что добро приводит и ко злу, то так же точно в жизни и печаль рождается из радости. И то память о былом блаженстве становится сегодня истязательницей, то оказывается, что причина — счастье, которое *могло бы сбыться* когда-то.

При крещении меня нарекли Эгеем, а фамилию я называть не стану. Но нет в нашем краю дворцов и покоев, более освященных веками, чем сумрачные и угрюмые чертоги, перешедшие ко мне от отцов и дедов. Молва приписывала нам, что в роду у нас все не от мира сего; это поверье не лишено оснований, чему свидетельством многие причуды в устройстве нашего родового гнезда, в росписи стен парадного зала и гобеленах в спальнях покоях, в повторении апокрифических изображений каких-то твердынь в нашем гербовнике, а еще больше в

¹ Мне говорили собратья, что, если я навещу могилу подруги, горе мое исцелится (лат.). — *Иби-Зайат*.

галерее старинной живописи, в обстановке библиотеки и, наконец, в необычайно странном подборе книг в ней.

С этой комнатой и с ее книгами у меня связано все с тех пор, как я помню себя; с книгами, о которых, однако, я не стану говорить. Здесь умерла моя мать. Здесь появился на свет я. Но ведь так только говорится, — словно раньше меня не было совсем, словно душа моя уже не жила какой-то предыдущей жизнью. Вы не согласны? Не будем спорить. Сам я в этом убежден, а убеждать других не охотник. Живет же в нас, однако, память о воздушных образах, о взорах, исполненных глубокого, духовного смысла, о звуках мелодичных, но печальных; и от нее не отделаешься, от этой памяти, подобной тени чего-то, неясной, — изменчивой, ускользающей, робкой; и, как и без тени, я не мыслю без нее своего существования, пока солнце моего разума светит.

В этой вот комнате я и родился. И поскольку, едва опомнившись после долгой ночи кажущегося — но только кажущегося — небытия, я очнулся в сказочных пределах, во дворце воображения, сразу же одиноким схимником мысли и книгоцеем, то *ничего* нет удивительного, что на окружающую жизнь я смотрел пристально-неподвижным взглядом, что отрочество свое я провел за книгами, что, забывшись в грезах, не заметил, как прошла юность; но когда с годами подступившая зрелость застала меня все там же, в отчем доме, то *поистине* странно было, как тогда вся жизнь моя замерла, и удивительно, как все установившиеся было представления поменялись в моем уме местами. Реальная жизнь, как она есть, стала казаться мне видением и не более как видением, зато безумнейшие фантазии теперь не только составляли смысл каждодневного моего бытия, а стали для меня поистине самим бытием, единственным и непреложным.

* * *

Береника доводилась мне кузиной, мы росли вместе, под одной крышей. Но по-разному росли мы: я — хилый и болезненный, погруженный в сумерки; она — стремительная, прелестная; в ней жизнь была ключом, ей — только бы и резвиться на склонах холмов, мне — все

корпеть над книгами отшельником; я — ушедший в себя, предавшийся всем своим существом изнуряющим, мучительным думам; она — беззаботно порхающая по жизни, не помышляя ни о тенях, которые могут лечь у ней на пути, ни о безмолвном полете часов, у которых крылья воронов. Береника!.. я зову ее: Береника! — и в ответ на это имя из серых руин моей памяти вихрем взвывается рой воспоминаний! Ах, как сейчас вижу ее перед собой, как в дни юности, когда она еще не знала ни горя, ни печалей! О, красота несказанная, волшебница! О, силф в чашах Арнгейма! О, наяда, плещущаяся в струях! А дальше... дальше только тайна и ужас, и повесть, которой лучше бы оставаться нерассказанной. Болезнь, роковая болезнь обрушилась на нее, как смерч, и все в ней переменялось до неузнаваемости у меня на глазах, а демон превращения вторгся и ей в душу, исказив ее нрав и привычки, но самой коварной и страшной была в ней подмена ее самой. Увы! разрушитель пришел и ушел! а жертва — где она? Я теперь и не знал, кто это... Во всяком случае, то была уже не Береника!

Из множества недугов, вызванных первым и самым роковым, произведшим такой страшный переворот в душевном и физическом состоянии моей кузины, как особенно мучительный и от которого нет никаких средств, следует упомянуть некую особую форму эпилепсии, припадки которой нередко заканчивались *трансом*, почти неотличимым от смерти; приходила в себя она по большей части с поразительной внезапностью. А тем временем собственная моя болезнь — ибо мне велели иначе ее и не именовать — так вот, собственная моя болезнь тем временем стремительно одолевала меня и вылилась, наконец, в какую-то еще невиданную и необычайную форму мономании, становившейся час от часу и что ни миг, то сильнее и взявшей надо мной в конце концов непостижимую власть. Эта мономания, если можно так назвать ее, состояла в болезненной раздражительности тех свойств духа, которые в метафизике называют *вниманием*. По-видимому, я выражаюсь не особенно вразумительно, но, боюсь, что это и вообще задача невозможная — дать заурядному читателю более или

менее точное представление о той нервной *напряженности интереса* к чему-нибудь, благодаря которой вся энергия и вся воля духа к самососредоточенности, поглощается, как было со мной, созерцанием какого-нибудь сущего пустяка.

Забиться на много часов подряд, задумавшись над какой-нибудь своеобразной особенностью полей страницы или набора книги; проглядеть, не отрываясь, чуть ли не весь летний день на причудливую тень, пересекающую гобелен или легшую вкось на полу; провести целую ночь в созерцании неподвижного язычка пламени в лампе или угольков в очаге; грезить целыми днями, вдыхая аромат цветка; монотонно повторять какое-нибудь самое привычное словцо, пока оно из-за бесконечных повторений не утратит значения; подолгу замирать, окаменев, боясь шелохнуться, пока таким образом не забудешь и о движении, и о собственном физическом существовании — такова лишь малая часть, да и то еще самых невинных и наименее пагубных сумасбродств, вызванных состоянием духа, которое, может быть, и не столь уж необычайно, но анализу оно мало доступно и объяснить его нелегко.

Да не поймут меня, однако, превратно. Это несоразмерное по поводу, слишком серьезное и напряженное внимание к предметам и явлениям, которые сами по себе того совершенно не стоят, не следует смешивать с обычной склонностью заноситься в мыслях, которая присуща всем без исключения, а особенно натурам с пылким воображением. Оно не является даже, как может поначалу показаться, ни крайней степенью этого пристрастия, ни увлечением им до полной потери всякой меры; это — нечто по самой сути своей совершенно иное и непохожее. Бывает, например, что мечтатель или человек увлекающийся, заинтересовавшись каким-то явлением, — но, как правило, отнюдь не ничтожным, — сам того не замечая, упускает его из виду, углубляясь в дебри умозаключений и догадок, на которые навело его это явление, пока, наконец, уже на излете подобного парения мысли, — *чаще всего весьма возвышенного*, — не оказывается, что в итоге *incitamentum*, или побудительная причина его размышлений, уже давно отставлена и забыта. У меня же исходное явление всегда

ыло самым незначительным, хотя и приобретало, из-за моего болезненного визионерства, некое новое преломление и значительность, которой в действительности не имело. Мыслей при этом возникало немного, но и эти умозаключения неуклонно возвращали меня все к тому же явлению как к некоему центру. Сами же эти размышления *никогда* не доставляли радости. Когда же мечтательное забытие подходило к концу, интерес к его побудительной причине, ни на минуту не упускавшей из виду, возрастал уже до совершенно сверхъестественных и невероятных размеров, что и являлось главной отличительной чертой моей болезни. Одним словом, у меня, как я уже говорил, вся энергия мышления тратилась на *сосредоточенность*, в то время как у обычного мечтателя она идет на *полст мысли*.

Книги, которые я в ту пору читал, если и не были прямыми возбудителями моего душевного расстройства, то, во всяком случае, своей фантастичностью, своими мистическими откровениями безусловно отражали характернейшие признаки самого этого расстройства. Из них мне особенно памятны трактат благородного итальянца Целия Секундуса Куриона «De amplitudine beati regni Dei»¹, великое творение Блаженного Августина «О граде Божием» и «de carne Christi»² Тертуллиана, парадоксальное замечание которого «Mortuus est Dei filius; credible est quia ineptum est: et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile est»³, надолго захватило меня и стоило мне многих и многих недель упорнейших изысканий, так и закончившихся ничем.

Отсюда напрашивается сопоставление моего разума, который выбивало из колеи лишь соприкосновение с мелочами, с тем упоминаемым у Птолемея Гефестиона океанским утесом-исполином, который выдерживает, не дрогнув, самые бешеные приступы людской ярости и еще более лютое неистовство ветра и волн, но вздрагивает от прикосновения цветка, который зовется асфоделью. И

¹ «О величии блаженного царства Божия» (лат.).

² «О пресуществлении Христа» (лат.).

³ Умер Сын Божий — заслуживает доверия, ибо целено; умерший воскрес — не подлежит сомнению, ибо невозможно (лат.).

хотя, на самый поверхностный взгляд, может показаться само собой разумеющимся, что перемена, произведенная в душевном состоянии Береники ее губительным недугом, должна была бы доставить обильную пищу самым лихорадочным и безумным из тех размышлений, которые я с немалым трудом пытался охарактеризовать; но ничего подобного на самом деле не было. Правда, когда у меня наступали полосы просветления, мне было больно видеть ее жалкое состояние, и, потрясенный до глубины души крушением этой благородной и светлой жизни, я, конечно же, то и дело предавался горестным думам о чудодейственных силах, которые произвели такую невероятную перемену с такой молниеносностью. Но на эти размышления мои собственные странности как раз не накладывали своего отпечатка; так же точно думало бы на моем месте большинство нормальных представителей рода человеческого. Оставаясь верным себе, мой расстроенный разум жадно упивался переменами в ее облике, которые хотя сказывались не столь уж заметно на *физическом* ее состоянии, но меня как раз и поражали более всего таинственной и жуткой подменой в этом существе его самого.

В самые золотые дни, какие знала ее необыкновенная красота, я не любил ее; конечно, именно так и было. При том отчужденном и совершенно необычном существовании, которое я вел, сердечных переживаний я не знал, и все увлечения мои были всегда чисто головными. На тусклом ли рассвете, меж рядами ли полуденных лесных теней и в ночном безмолвии библиотеки проходила она перед моими глазами, я видел в ней не живую Беренику во плоти, а Беренику-грезу; не земное существо, а некий его символ, не женщину, которой нельзя было не восхищаться, а явление, которое можно анализировать; не живую любимую, а тему самых глубоких, хотя и наиболее хаотических мыслей. *Теперь же...* теперь я трепетал в ее присутствии, бледнел при ее приближении; однако, горюя о том, что она так жалка и безутешна, я напомнил себе, что когда-то она меня любила, и однажды, в недобрый час, заговорил о женитьбе.

И вот, уже совсем незадолго до нашего бракосочетания, в тот далекий зимний полдень, в один из тех не по-зимнему теплых, тихих и туманных дней, когда была взлелеяна красавица Гальциона¹, я сидел во внутреннем покое библиотеки (полагая, что нахожусь в полном одиночестве). Но, подняв глаза, я увидел перед собой Беренику.

Было ли причиной тому только лихорадочность моего воображения или стелющийся туман так давал себя знать, неверный ли то сумрак библиотеки или серая ткань ее платья спадала складками, так облекая ее фигуру, что самые ее очертания представлялись неуловимыми, колышущимися? Я не мог решить. Она стояла молча, а я... я ни за что на свете не смог бы ничего вымолвить! Ледяной холод охватил меня с головы до ног; невыносимая тревога сжала сердце, а затем меня захватило жгучее любопытство, и, откинувшись на спинку стула, я на какое-то время замер и затаил дыхание, не сводя с нее глаз. Увы! вся она была чрезвычайно истощена, и ни одна линия ее фигуры ни единым намеком не выдавала прежней Береники. Мой жадный взгляд обратился к ее лицу.

Лоб ее был высок, мертвенно-бледен и на редкость ясен, волна некогда черных как смоль волос спадала на лоб, запавшие виски были скрыты густыми кудрями, переходящими в огненно-желтый цвет, и эта причудливость окраски резко дисгармонировала с печалью всего ее облика. Глаза были неживые, погасшие и, казалось, без зрачков, и, невольно избегая их стеклянного взгляда, я стал рассматривать ее истончившиеся, увядшие губы. Они раздвинулись, и в этой загадочной улыбке взору моему медленно открылись зубы преображенной Береники. Век бы мне на них не смотреть, о Господи, а взглянув, тут же бы и умереть!

* * *

Опомнился я оттого, что хлопнула дверь, и, подняв глаза, увидел, что кухня вышла из комнаты. Но из

¹ «Ибо в виду того, что Юпитер дважды всякую зиму посылает по семь теплых дней криду, люди стали называть эту ласковую, теплую пору колыбелью красавицы Гальционы» (лат.). — *Симонид*. — *Примеч. автора*.

разоренного чертога моего сознания все не исчезало и, увы! уже не изгнать его было отсюда,— жуткое белое сияние ее зубов. Ни пятнышка на их глянце, ни единого потускнения на эмали, ни зазубринки по краям — и я забыл все, кроме этой ее мимолетной улыбки, которая осталась в памяти, словно выжженная огнем. Я видел их *теперь* даже ясней, чем когда смотрел на них. Зубы! зубы!.. вот они, передо мной, и здесь, и там, и всюду, и до того ясно, что дотронуться в пору: длинные, узкие, ослепительно белые, в обрамлении бескровных, искривленных мукой губ, как в ту минуту, когда она улыбнулась мне. А дальше *мономанил* моя дошла до полного исступления, и я тщетно силился справиться с ее необъяснимой и всесильной властью. Чего только нет в подлунном мире, а я только об этих зубах и мог думать. Они манили меня, как безумца, одержимого одной лишь страстью. И видение это поглотило интерес ко всему на свете, так что все остальное потеряло всякое значение. Они мерещились мне, они, только они со всей их неповторимостью, стали смыслом всей моей душевной жизни. Мысленным взором я видел их то при одном освещении, то при другом. Рассматривал то в одном ракурсе, то в другом. Я присматривался к их форме и строению. Подолгу вникал в особенности каждого в отдельности. Размышлял, сличая один с другим. И вот, во власти видений, весь дрожа, я уже открывал в них способность что-то понимать, чувствовать и, более того,— иметь свое, независимое от губ, доброе или недоброе выражение. О мадемуазель Салле говорили: «*que tous ses pas étaient des sentiments*»¹, а я же насчет Береники был убежден в еще большей степени, «*que toutes ses dents étaient des idées. Des idées!*»² Ах, вот эта глупейшая мысль меня и погубила! *Des idées!* Ах, *потому-то* я и домогался их так безумно! Мне мерещилось, что восстановить мир в душе моей, вернуть мне рассудок может лишь одно — чтобы они достались мне.

А тем временем уже настал вечер, а там и ночная тьма — сгустилась, помедлила и рассеялась, и новый день забрезжил, и вот уже снова поползли вечерние туманы, а

¹ Что каждый ее шаг исполнен чувства (*фр.*).

² Что все зубы ее исполнены смысла. Смысла! (*фр.*).

я так и сидел недвижимо все в той же уединенной комнате, я так и сидел, погруженный в созерцание, и все та же phantasma¹, мерещившиеся мне зубы, все так же не теряла своей страшной власти; такая явственная, до ужаса четкая, она все наплывала, а свет в комнате был то одним, то другим, и тени сменялись тенями. Но вот мои грезы прервал крик, в котором словно слились испуг и растерянность, а за ним, чуть погодя, загудела тревожная многоголосица вперемешку с плачем и горькими стенаниями множества народа. Я встал и, распахнув дверь библиотеки, увидел стоящую в передней заплаканную служанку, которая сказала мне, что Береники... уже нет. Рано утром случился припадок падучей, и вот к вечеру могила уже ждет ее, и все сборы покойницы кончены.

* * *

Оказалось, я в библиотеке и снова в одиночестве. Я чувствовал себя так, словно только что проснулся после какого-то сумбурного, тревожного сна. Я понимал, что сейчас полночь, и ясно представлял себе, что Беренику схоронили сразу после заката. Но что было после, все это тоскливое время, я понятия не имел или, во всяком случае, не представлял себе хоть сколько-нибудь ясно. Но память о сне захлестывала жутью,— тем более гнетущей, что она была необъяснима, ужасом, еще более чудовищным из-за безотчетности. То была страшная страница истории моего существования, вся исписанная неразборчивыми, пугающими, бессвязными воспоминаниями. Я пытался расшифровать их, но ничего не получалось; однако же все это время, все снова и снова, словно отголосок какого-то давно умолкшего звука, мне вдруг начинало чудиться, что я слышу переходящий в визг пронзительный женский крик. Я в чем-то замешан; в чем же именно? Я задавал себе этот вопрос вслух. И многоголосое эхо комнаты шепотом вторило мне: «*В чем же?*»

На столе близ меня горела лампа, а возле нее лежала какая-то коробочка. Обычная шкатулка, ничего особенного, и я ее видел уже не раз, потому что принадлежала она

¹ Призраки (лат.).

нашему семейному врачу; но как она попала сюда, ко мне на стол, и почему, когда я смотрел на нее, меня вдруг стала бить дрожь? Разобраться ни в том, ни в другом никак не удавалось, и в конце концов взгляд мой упал на раскрытую книгу и остановился на подчеркнутой фразе. То были слова поэта Ибн-Зайата, странные и простые: «Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas». Но почему же, когда они дошли до моего сознания, волосы у меня встали дыбом и кровь застыла в жилах?

В дверь библиотеки тихонько постучали, на цыпочках вошел слуга, бледный, как выходец из могилы. Он смотрел одичалыми от ужаса глазами и обратился ко мне срывающимся, сдавленным, еле слышным голосом. Что он сказал? До меня доходили лишь отрывочные фразы. Он говорил о каком-то безумном крике, возмутившем молчание ночи, о сбежавшихся домочадцах, о том, что кто-то пошел на поиски в направлении крика: и тут его речь стала до ужаса отчетливой — он принялся нашептывать мне о какой-то оскверненной могиле, об изувеченной до неузнаваемости женщине в смертном саване, но еще дышащей, корчащейся,— еще живой!

Он указал на мою одежду: она была перепачкана свежей землей, заскорузла от крови. Я молчал, а он потихоньку взял меня за руку: вся она была в отметинах человеческих ногтей. Он обратил мое внимание на какой-то предмет, прислоненный к стене. Несколько минут я присматривался: то был заступ. Я закричал, кинулся к столу и схватил шкатулку. Но все никак не мог ее открыть — сила была нужна не та; выскользнув из моих дрожащих рук, она тяжело ударилась оземь и разлетелась вдребезги; из нее со стуком рассыпались зубоврачебные инструменты вперемешку с тридцатью двумя маленькими, словно выточенными из слоновьего бивня костяшками, раскатившимися по полу врассыпную.



ТЕНЬ ПАРАБОЛА

Если я пойду и долиною тени...

Псалом Давида

Вы, читающие, находитесь еще в числе живых; но я, пишущий, к этому времени давно уйду в край теней. Ибо воистину странное свершится и странное откроется, прежде чем люди увидят написанное здесь. А увидев, иные не поверят, иные усомнятся, и все же немногие найдут пищу для долгих размышлений в письменах, врезанных здесь железным стилосом.

Тот год был годом ужаса и чувств, более сильных, нежели ужас, для коих на земле нет наименования. Ибо много было явлено чудес и знамений, и повсюду, над морем и над сушею, распростерлись черные крыла Чумы. И все же тем, кто постиг движения светил, не было неведомо, что небеса предвещают зло; и мне, греку Ойносу, в числе прочих, было ясно, что настало завершение того семьсот девяносто четвертого года, когда с восхождением Овна планета Юпитер сочетается с багряным кольцом ужасного Сатурна. Особенное состояние небес, если я не ошибаюсь, сказалось не только на вещественной сфере земли, но и на душах, мыслях и воображении человечества.

Над бутылками красного хиосского вина, окруженные стенами роскошного зала, в смутном городе Птолемаиде, сидели мы ночью, всемером. И в наш покой вел только один вход: через высокую медную дверь; и она, вычеканенная искуснейшим мастером Коринносом, была заперта изнутри. Черные завесы угрюмой комнаты отгораживали от нас Луну, зловещие звезды и безлюдные улицы — но

предвешание и память Зла они не могли отгородить. Вокруг нас находилось многое — и материальное и духовное — что я не могу точно описать — тяжесть в атмосфере... ощущение удушья... тревога — и, прежде всего, то ужасное состояние, которое испытывают нервные люди, когда чувства бодрствуют и живут, а силы разума почивают сном. Мертвый груз давил на нас. Он опускался на наши тела, на убранство зала, на кубки, из которых мы пили; и все склонялось и никло — все, кроме языков пламени в семи железных светильниках, освещавших наше пиршество. Вздываясь высокими, стройными полосами света, они горели, бледные и недвижные; и в зеркале, образованном их сиянием на поверхности круглого эбенового стола, за которым мы сидели, каждый видел бледность своего лица и непокойный блеск в опущенных глазах сотрапезников. И все же мы смеялись и веселились присутствием нам образом — то есть истерично; и пели песни Анакреона — то есть безумствовали; и жадно пили — хотя багряное вино напоминало нам кровь. Ибо в нашем покое находился еще один обитатель — юный Зоил. Мертвый, лежал он простертый, завернутый в саван — гений и демон сборища. Увы! он не участвовал в нашем веселье — разве что его облик, искаженный чумою, и его глаза, в которых смерть погасила моровое пламя лишь наполовину, казалось, выражали то любопытство к нашему веселью, какое, быть может, умершие способны выразить к веселью обреченных смерти. Но хотя я, Ойнос, чувствовал, что глаза почившего остановились на мне, все же я заставил себя не замечать гнева в их выражении и, пристально вперив мой взор в глубину эбенового зеркала, громко и звучно пел песни теосца. Но понемногу песни мои прервались, а их отголоски, перекатываясь в черных, как смоль, завесах покоя, стали тихи, неразличимы и, наконец, заглохли. И внезапно из черных завес, заглушивших напевы, возникла темная, зыбкая тень — подобную тень низкая луна могла бы отбросить от человеческой фигуры — но то не была тень человека или Бога или какого-либо ведомого нам существа. И, зыблясь меж завес покоя, она в конце концов застыла на меди дверей. Но тень была неясна, бесформенна и неопределенна, не тень

человека и не тень бога — ни бога Греции, ни бога Халдеи, ни какого-либо египетского бога. И тень застыла на меди дверей, под дверным сводом, и не двинулась, не проронила ни слова, но стала недвижно на месте, и дверь, на которой застыла тень, была, если правильно помню, прямо против ног юного Зоила, облаченного в саван. Но мы семеро, увидев тень выходящего из черных завес, не посмели взглянуть на нее в упор, но опустили глаза и долго смотрели в глубину эбенового зеркала. И наконец я, Ойнос, промолвив несколько тихих слов, спросил тень об ее обителище и прозвании. И тень отвечала: «Я Тень, и обителище мое вблизи от птолемаидских катакомб, рядом со смутными равнинами Элизиума, сопредельными мерзостному Харонову проливу». И тогда мы семеро в ужасе вскочили с мест и стояли, дрожа и трепеща, ибо звуки ее голоса были не звуками голоса какого-либо одного существа, но звуками голосов бесчисленных существ, и, переливаясь из слога в слог, сумрачно поразили наш слух отлично памятные и знакомые нам голоса многих тысяч ушедших друзей.



ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ

Son coeur est un lith suspendu;
Sitôt qu'on le touchi il réssone¹.

Беранже

Весь этот нескончаемый пасмурный день, в глухой осенней тишине, под низко нависшим хмурым небом, я одиноко ехал верхом по безотрадным, неприветливым местам — и наконец, когда уже смеркалось, передо мною предстал сумрачный дом Ашеро́в. Едва я его увидел, мною, не знаю почему, овладело нестерпимое уныние. Нестерпимое оттого, что его не смягчала хотя бы малая толика почти приятной поэтической грусти, какую пробуждают в душе даже самые суровые картины природы, все равно скорбной или грозной. Открывшееся мне зрелище — и самый дом, и усадьба, и однообразные окрестности — ничем не радовало глаз: угрюмые стены... безучастно и холодно глядящие окна... кое-где разросшийся камыш... белые мертвые стволы иссохших деревьев... от всего этого становилось невыразимо тяжело на душе, чувство это я могу сравнить лишь с тем, что испытывает, очнувшись от своих грез, курильщик опиума: с горечью возвращения к постылым будням, когда вновь спадает пелена, обнажая неприкрашенное уродство.

Сердце мое наполнил леденящий холод, томила тоска, мысль цепенела, и напрасно воображение пыталось ее подхлестнуть — она бессильна была настроиться на лад более возвышенный. Отчего же это, подумал я, отчего так угнетает меня один вид дома Ашеро́в? Я не находил

¹ Сердце его — как лютия,
Чуть тронешь — и отзовется (фр.).

разгадки и не мог совладать со смутными, непостижимыми образами, что осаждали меня, пока я смотрел и размышлял. Оставалось как-то успокоиться на мысли, что хотя, безусловно, иные сочетания самых простых предметов имеют над нами особенную власть, однако постичь природу этой власти мы еще не умеем. Возможно, раздумывая, стоит лишь под иным углом взглянуть на те же черты окружающего ландшафта, на подробности той же картины — и гнетущее впечатление смягчится или даже исчезнет совсем; а потому я направил коня к обрывистому берегу черного и мрачного озера, чья недвижная гладь едва поблескивала возле самого дома, и поглядел вниз, — но опрокинутые, отраженные в воде серые камыши, и ужасные остовы деревьев, и холодно, безучастно глядящие окна только заставили меня вновь содрогнуться от чувства еще более тягостного, чем прежде.

А меж тем в этой обители уныния мне предстояло провести несколько недель. Ее владелец, Родерик Ашер, в ранней юности был со мною в дружбе; однако с той поры мы долгие годы не виделись. Но недавно в моей дали я получил от него письмо — письмо бессвязное и настойчивое: он умолял меня приехать. В каждой строчке прорывалась мучительная тревога. Ашер писал о жестоком телесном недуге... о гнетущем душевном расстройстве... о том, как он жаждет повидаться со мной, лучшим и, в сущности, единственным своим другом, в надежде, что мое общество придаст ему бодрости и хоть немного облегчит его страдания. Все это и еще многое другое высказано было с таким неподдельным волнением, так горячо просил он меня приехать, что колебаться я не мог — и принял приглашение, которое, однако же, казалось мне весьма странным.

Хотя мальчиками мы были почти неразлучны, я, по правде сказать, мало знал о моем друге. Он всегда был на редкость сдержан и замкнут. Я знал, впрочем, что род его очень древний и что все Ашеры с незапамятных времен отличались необычайной утонченностью чувств, которая век за веком проявлялась во многих произведениях возвышенного искусства, а в недавнее время нашла выход в добрых делах, в щедрости не напоказ, а также в

увлечении музыкой: в этом семействе музыке предавались со страстью, предпочитая не общепризнанные произведения и всем доступные красоты, но сложность и изысканность. Было мне также известно примечательное обстоятельство: как ни стар род Ашеров, древо это ни разу не дало жизнеспособной ветви; иными словами, род продолжался только по прямой линии, и, если не считать пустячных кратковременных отклонений, так было всегда... Быть может, думал я, мысленно сопоставляя облик этого дома со славой, что шла про его обитателей, и размышляя о том, как за века одно могло наложить свой отпечаток на другое,— быть может, оттого, что не было боковых линий и родовое имение всегда передавалось вместе с именем только по прямой, от отца к сыну, прежнее название поместья в конце концов забылось, его сменило новое, странное и двусмысленное. «Дом Ашеров» — так прозвали здешние крестьяне и родовой замок, и его владельцев.

Как я уже сказал, моя ребяческая попытка подбодриться, заглянув в озеро, только усилила первое тягостное впечатление. Несомненно, оттого, что я и сам сознавал, как быстро овладевает мною суеверное предчувствие (почему бы и не назвать его самым точным словом?), оно лишь еще больше крепло во мне. Такова, я давно это знал, двойственная природа всех чувств, чей корень — страх. И, может быть, единственно по этой причине, когда я вновь перевел взгляд с отражения в озере на самый дом, странная мысль пришла мне на ум — странная до смешного, и я лишь затем о ней упоминаю, чтобы показать, сколь сильны и ярки были угнетавшие меня ощущения. Воображение мое до того разыгралось, что я уже всерьез верил, будто самый воздух над этим домом, усадьбой и всей округой какой-то особенный, он не сродни небесам и просторам, но пропитан духом тления, исходящим от полумертвых деревьев, от серых стен и безмолвного озера,— все окутали тлетворные таинственные испарения, тусклые, медлительные, едва различимые, свинцово-серые.

Стряхнув с себя наваждение — ибо это, конечно же, не могло быть ничем иным,— я стал внимательней всматриваться в подлинный облик дома. Прежде всего поражала невообразимая древность этих стен. За века слиняли и

выцвели краски. Снаружи все покрылось лишайником и плесенью, будто ключья паутины свисали с карнизов. Однако нельзя было сказать, что дом совсем пришел в упадок. Каменная кладка нигде не обрушилась; прекрасная соразмерность всех частей здания странно не соответствовала видимой ветхости каждого отдельного камня. Отчего-то мне представилась старинная деревянная утварь, что давно уже прогнила в каком-нибудь забытом подземелье, но все еще кажется обманчиво целой и невредимой, ибо долгие годы ее не тревожило ни малейшее дуновение извне. Однако, если не считать покрова лишайников и плесени, снаружи вовсе нельзя было заподозрить, будто дом непрочен. Разве только очень пристальный взгляд мог бы различить едва заметную трещину, которая начиналась под самой крышей, зигзагом проходила по фасаду и терялась в хмурых водах озера.

Приметив все это, я подъехал по мощеной дорожке к крыльцу. Слуга принял моего коня, и я вступил под готические своды прихожей. Отсюда неслышно ступающий лакей безмолвно повел меня бесконечными темными и запутанными переходами в «студию» хозяина. Все, что я видел по дороге, еще усилило, не знаю отчего, смутные ощущения, о которых я уже говорил. Резные потолки, темные гобелены по стенам, черный, чуть поблескивающий паркет, причудливые трофеи — оружие и латы, что звоном отзывались моим шагам, — все вокруг было знакомо, нечто подобное с колыбели окружало и меня, и, однако, бог весть почему, за этими простыми, привычными предметами мне мерещилось что-то странное и непривычное. На одной из лестниц нам повстречался домашний врач Ашеров. В выражении его лица, показалось мне, смешались низкое коварство и растерянность. Он испуганно поклонился мне и прошел мимо. Мой провожатый распахнул дверь и ввел меня к своему господину.

Комната была очень высокая и просторная. Узкие стрельчатые окна прорезаны так высоко от черного дубового пола, что до них было не дотянуться. Слабые красноватые отсветы дня проникали сквозь решетчатые витражи, позволяя рассмотреть наиболее заметные предметы обстановки, но тщетно глаз силился различить что-

либо в дальних углах, разглядеть сводчатый резной потолок. По стенам свисали темные драпировки. Все здесь было старинное — пышное, неудобное и обветшалое. Повсюду во множестве разбросаны были книги и музыкальные инструменты, но и они не могли скрасить мрачную картину. Мне почудилось, что самый воздух здесь полон скорби. Все окутано и проникнуто было холодным, тяжким и безысходным унынием.

Едва я вошел, Ашер поднялся с кушетки, на которой перед тем лежал, и приветствовал меня так тепло и оживленно, что его сердечность сперва показалась мне преувеличенной — насильственной любезностью еппуе¹ светского человека. Но, взглянув ему в лицо, я тотчас убедился в его совершенной искренности. Мы сели; несколько мгновений он молчал, а я смотрел на него с жалостью и в то же время с ужасом. Нет, никогда еще никто не менялся так страшно за такой недолгий срок, как переменялся Родерик Ашер! С трудом я заставил себя поверить, что эта бледная тень и есть былой товарищ моего детства. А ведь черты его всегда были примечательны. Восковая бледность; огромные, ясные, какие-то необыкновенно сияющие глаза; пожалуй, слишком тонкий и очень бледный, но поразительно красивого рисунка рот; изящный нос с еврейской горбинкой, но, что при этом встречается не часто, с широко вырезанными ноздрями; хорошо вылепленный подбородок, однако, недостаточно выдавался вперед, свидетельствуя о недостатке решимости; волосы на диво мягкие и тонкие; черты эти дополнял необычайно большой и широкий лоб, — право же, такое лицо нелегко забыть. А теперь все странности этого лица сделались как-то преувеличенно отчетливы, явственней проступило его своеобразное выражение — и уже от одного этого так сильно переменялся весь облик, что я едва не усомнился, с тем ли человеком говорю. Больше всего изумили и даже ужаснули меня ставшая поистине мертвенной бледность и теперь уже поистине сверхъестественный блеск глаз. Шелковистые волосы тоже, казалось, слишком отросли и даже не падали вдоль щек, а окружали

¹ Скучающего, пресыщенного (фр.).

это лицо паутинно-тонким летучим облаком; и, как я ни старался, мне не удавалось в загадочном выражении этого удивительного лица разглядеть хоть что-то, присущее всем обыкновенным смертным.

В разговоре и движениях старого друга меня сразу поразило что-то сбивчивое, лихорадочное; скоро я понял, что этому виною постоянные слабые и тщетные попытки совладать с привычной внутренней тревогой, с чрезмерным нервическим возбуждением. К чему-то в этом роде я, в сущности, был подготовлен — и не только его письмом: я помнил, как он, бывало, вел себя в детстве, да и самое его телосложение и нрав наводили на те же мысли. Он становился то оживлен, то вдруг мрачен. Внезапно менялся и голос — то дрожащий и неуверенный (когда Ашер, казалось, совершенно терял бодрость духа), то твердый и решительный... то речь его становилась властной, внушительной, неторопливой и какой-то нарочитой, то звучала тяжеловесно, размеренно, со своеобразной гортанной певучестью,— так говорит в минуты крайнего возбуждения запойный пьяница или неизлечимый курильщик опиума.

Именно так говорил Родерик Ашер о моем приезде, о том, как горячо желал он меня видеть и как надеется, что я принесу ему облегчение. Он принялся многословно разъяснять мне природу своего недуга. Это — проклятие их семьи, сказал он, наследственная болезнь всех Ашеров, он уже отчаялся найти от нее лекарство,— и тотчас прибавил, что все это от нервов и, вне всякого сомнения, скоро пройдет. Проявляется эта болезнь во множестве противоестественных ощущений. Он подробно описывал их; иные заинтересовали меня и озадачили, хотя, возможно, тут действовали самые выражения и манера рассказчика. Он очень страдает оттого, что все его чувства мучительно обострены; переносит только совершенно пресную пищу; одеваться может далеко не во всякие ткани; цветы угнетают его своим запахом; даже неяркий свет для него пытка; и лишь немногие звуки — звуки струнных инструментов — не внушают ему отвращения.

Оказалось, его преследует необоримый страх.

— Это злосчастное безумие меня погубит,— говорил он, — неминуемо погубит. Таков и только таков будет мой конец. Я боюсь будущего — и не самих событий, которые оно принесет, но их последствий. Я содрогаюсь при одной мысли о том, как любой, даже пустячный случай может сказаться на душе, вечно терзаемой нестерпимым возбуждением. Да, меня страшит вовсе не сама опасность, а то, что она за собою влечет; чувство ужаса. Вот что заранее отнимает у меня силы и достоинство, я знаю — рано или поздно придет час, когда я разом лишусь и рассудка, и жизни в схватке с этим мрачным призраком — СТРАХОМ.

Сверх того не сразу, из отрывочных и двусмысленных намеков я узнал еще одну удивительную особенность его душевного состояния. Им владело странное суеверие, связанное с домом, где он жил и откуда уже многие годы не смел отлучиться: ему чудилось, будто в жилище этом гнездится некая сила, — он определял ее в выражениях столь туманных, что бесполезно их здесь повторять, но весь облик родового замка и даже дерево и камень, из которых он построен, за долгие годы обрели таинственную власть над душою хозяина: предметы материальные — серые стены, башни, сумрачное озеро, в которое они гляделись,— в конце концов повлияли на дух всей его жизни.

Ашер признался, однако, хотя и не без колебаний, что в тягостном унынии, терзающем его, повинно еще одно, более естественное и куда более осязаемое обстоятельство — давняя и тяжкая болезнь нежно любимой сестры, единственной спутницы многих лет, последней и единственной родной ему души, а теперь ее дни, видно, уже сочтены. Когда она покинет этот мир, сказал Родерик с горечью, которой мне вовек не забыть, он — отчаявшийся и хилый — останется последним из древнего рода Ашеров. Пока он говорил, леди Мэдилейн (так звали его сестру) прошла в дальнем конце залы и скрылась, не заметив меня. Я смотрел на нее с несказанным изумлением и даже со страхом, хоть и сам не понимал, откуда эти чувства. В странном оцепенении провожал я ее глазами. Когда за сестрою наконец затворилась дверь, я невольно поспешил

обратить вопрошающий взгляд на брата; но он закрыл лицо руками, и я заметил лишь, как меж бескровными худыми пальцами заструились жаркие слезы.

Недуг леди Мэдилейн давно уже смущал и озадачивал искусных врачей, что пользовали ее. Они не могли определить, отчего больная неизменно ко всему равнодушна, день ото дня тает и в иные минуты все члены ее коченеют и дыхание приостанавливается. До сих пор она упорно противилась болезни и ни за что не хотела вовсе слечь в постель; но в вечер моего приезда (как с невыразимым волнением сообщил мне несколькими часами позже Ашер) она изнемогла под натиском обессиливающего недуга; и когда она на миг явилась мне издали, то было, должно быть, в последний раз: едва ли мне суждено снова ее увидеть — по крайней мере, живою.

В последующие несколько дней ни Ашер, ни я не упоминали даже имени леди Мэдилейн; и все это время я, как мог, старался хоть немного рассеять печаль друга. Мы вместе занимались живописью, читали вслух, или же я, как во сне, слушал внезапную бурную исповедь его гитары. Близость наша становилась все тесней, все свободнее допускал он меня в сокровенные тайники своей души — и все с большей горечью понимал я, сколь напрасны всякие попытки развеселить это сердце, словно наделенное врожденным даром изливать на окружающий мир, как материальный, так и духовный, поток беспросветной скорби.

Навсегда останутся в моей памяти многие и многие сумрачные часы, что провел я наедине с владельцем дома Ашеров. Однако напрасно было бы пытаться описать подробней занятия и раздумья, в которые я погружался, следуя за ним. Все озарено было потусторонним отблеском какой-то страстной, безудержной отрешенности от всего земного. Всегда будут отдаваться у меня в ушах долгие погребальные песни, что импровизировал Родерик Ашер. Среди многого другого мучительно врезалось мне в память, как странно искажил и подчеркнул он бурный мотив последнего вальса Вебера. Полотна, рожденные изысканной и сумрачной его фантазией, с каждым прикосновением кисти становились все непонятней, от их загадочности

меня пробирала дрожь волнения, тем более глубокого, что я и сам не понимал, откуда оно; полотна эти и сейчас живо стоят у меня перед глазами, но напрасно я старался бы хоть в какой-то мере их пересказать — слова здесь бессильны. Приковывала взор и потрясала душу именно совершенная простота, обнаженность замысла. Если удавалось когда-либо человеку выразить красками на холсте чистую идею, человек этот был Родерик Ашер. По крайней мере, во мне при тогдашних обстоятельствах странные отвлеченности, которые ухитрялся мой мрачный друг выразить на своих полотнах, пробуждали безмерный благоговейный ужас — даже слабого подобия его не испытывал я перед бесспорно поразительными, но все же слишком вещественными видениями Фюссли.

Одну из фантазмагорий, созданных кистью Ашера и несколько менее отвлеченных, я попробую хоть как-то описать словами. Небольшое полотно изображало бесконечно длинное подземелье или туннель с низким потолком и гладкими белыми стенами, ровное однообразие которых нигде и ничем не прерывалось. Какими-то намеками художник сумел внушить зрителю, что странный подвал этот лежит очень глубоко под землей. Нигде на всем его протяжении не видно было выхода и не заметно факела или иного светильника; и, однако, все подземелье заливал поток ярких лучей, придавая ему какое-то неожиданное и жуткое великолепие.

Я уже упоминал о той болезненной изощренности слуха, что делала для Родерика Ашера невыносимой всякую музыку, кроме звучания некоторых струнных инструментов. Ему пришлось довольствоваться гитарой с ее своеобразным мягким голосом — быть может, прежде всего это и определило необычайный характер его игры. Но одним этим нельзя объяснить лихорадочную легкость, с какою он импровизировал. И мелодии и слова его буйных фантазий (ибо часто он сопровождал свои музыкальные экспромты стихами) порождала, без сомнения, та напряженная душевная сосредоточенность, что обнаруживала себя, как я уже мельком упоминал, лишь в минуты крайнего возбуждения, до которого он подчас сам себя доводил. Одна его внезапно вылившаяся песнь сразу мне

запомнилась. Быть может, слова ее оттого так явственно запечатлелись в моей памяти, что, пока он пел, в их потаенном смысле мне впервые приоткрылось, как ясно понимает Ашер, что высокий трон его разума шаток и непрочен. Песнь его называлась «Обитель привидений», и слова ее, может быть, не в точности, но приблизительно, были такие:

Божьих ангелов обитель,
Цвел в горах зеленый дол,
Где Разум, края повелитель,
Сияющий дворец возвел.
И ничего прекрасней в мире
Крылом своим
Не осенял, плывя в эфире
Над землею, серафим.

Гордо реяло над банней
Желтых флагов полотно
(Было то не в день вчерашний,
А давным-давно).
Если ветер, гость крылатый,
Пролетал над валом вдруг,
Сладостные ароматы
Он струил вокруг.

Вечерами видел путник,
Направляя к окнам взоры,
Как под мерный рокот лютни
Мерно кружатся танцоры,
Мимо трона пронесясь;
Государь порфирородный,
На танец смотрит с трона князь
С улыбкой властной и холодной,

А двери!.. рубины, аметисты
Но золоту сплели узор —
И той же россыпью искристой
Хвалебный разливался хор;
И пробегали отголоски
Во все концы долины,
В немолчном славя переспеске
И ум и гений властелина.

Но духи зла, черны как ворон,
Вошли в чертог, —
И свержен князь (с тех пор он
Встречать зарю не мог).

А прежнее великородье
Осталось для страны
Преданием почившей в склепе
Неповторимой старины.

Бывает, странник зрит воочью,
Как зажигается багрянец
В окне — и кто-то пляшет ночью
Чуждый музыке дикий танец,
И рой теней, глумливый рой,
Из тусклой двери рвется — зыбкой,
Призрачной рекой...
И слышен смех — смех без улыбки¹.

Помню, потом мы беседовали об этой балладе и друг мой высказал мнение, о котором я здесь упоминаю не столько ради его новизны (те же мысли высказывали и другие люди)², сколько ради упорства, с каким он это свое мнение отстаивал. В общих чертах оно сводилось к тому, что растения способны чувствовать. Однако безудержная фантазия Родерика Ашера довела эту мысль до крайней дерзости, переходящей подчас все границы разумного. Не нахожу слов, чтобы вполне передать пыл искреннего самозабвения, с каким доказывал он свою правоту. Эта вера его была связана (как я уже ранее намекал) с серым камнем, из которого сложен был дом его предков. Способность чувствовать, казалось ему, порождается уже самым расположением этих камней, их сочетанием, а также сочетанием мхов и лишайников, которыми они поросли, и обступивших дом полумертвых деревьев — и, главное, тем, что все это, ничем не потревоженное, так долго оставалось неизменным и повторялось в недвижных водах озера. Да, все это способно чувствовать, в чем можно убедиться воочию, говорил Ашер (при этих словах я даже вздрогнул), — своими глазами можно видеть, как медленно, но с несомненностью сгущается над озером и вокруг стен дома своя особенная атмосфера. А следствие этого, прибавил он, — некая безмолвная и, однако же, неодолимая и грозная сила, она веками лепит по-своему

¹ Перевод Н. Вольпин.

² Уотсон, доктор Парсивел, Спалланцани и в особенности епископ Лондаф. — *Примеч. автора.*

судьбы всех Ашеров, она и его сделала тем, что он есть, — таким, как я вижу его теперь. О подобных воззрениях сказать нечего, и я не стану их разъяснять.

Нетрудно догадаться, что наши книги — книги, которыми долгие годы питался ум моего больного друга, — вполне соответствовали его причудливым взглядам. Нас увлекали «Вер-Вер» и «Монастырь» Грессэ, «Бельфегор» Макиавелли, «Рай и ад» Сведенборга, «Подземные странствия Николаса Климма» Хольберга; «Хиромантия» Роберта Флада, труды Жана д'Эндажинэ и Делашамбра, «Путешествие в голубую даль» Тика и «Город солнца» Кампанеллы. Едва ли не любимой книгой был томик *in octavo* «Директориум Инквизиториум» доминиканца Эймерика Херонна. Часами в задумчивости сжививал Ашер и над иными страницами Помпония Мелы о древних африканских сатирах и эгипанах. Но больше всего наслаждался он, перечитывая редкостное готическое издание *in quarto* — требник некоей забытой церкви — *Vigiliae Mortuorum Secundum Chorom Ecclesiae Maguntinae*¹.

Должно быть, неистовый дух этой книги, описания странных и мрачных обрядов немало повлияли на моего болезненно впечатлительного друга, невольно подумал я, когда однажды вечером он отрывисто сказал мне, что леди Мэдилейн больше нет и что до погребения он намерен две недели хранить ее тело в стенах замка, в одном из подземелий. Однако для этого необычайного поступка был и вполне разумный повод, так что я не осмелился спорить. По словам Родерика, на такое решение натолкнули его особенности недуга, которым страдала сестра, настойчивые и неотвязные расспросы ее докторов и еще мысль о том, что кладбище рода Ашер расположено слишком далеко от дома и открыто всем стихиям. Мне вспомнился зловещий вид эскулапа, с которым в день приезда я повстречался на лестнице, — и, признаться, не захотелось противиться тому, что, в конце концов, можно было счесть просто безобидной и естественной предосторожностью.

¹ Бдения по усопшим согласно хору магунтинской церкви (*лат.*).

По просьбе Ашера я помог ему совершить это временное погребение. Тело еще раньше положено было в гроб, и мы вдвоем снесли его вниз. Подвал, где мы его поместили, расположен был глубоко под землею, как раз под той частью дома, где находилась моя спальня; он был тесный, сырой, без малейшей отдушины, которая давала бы доступ свету, и так давно не открывался, что наши факелы едва не погасли в затхлом воздухе и мне почти ничего не удалось разглядеть. В давние феодальные времена подвал этот, по-видимому, служил темницей, а в пору более позднюю здесь хранили порох или иные горючие вещества, судя по тому, что часть пола, так же как и длинный коридор, приведший нас сюда, покрывали тщательно пригнанные медные листы. Так же защищена была от огня и массивная железная дверь. Непомерно тяжелая, она повернулась на петлях с громким, пронзительным скрежетом.

В этом ужасном подземелье мы опустили нашу горестную ношу на деревянный помост и, сдвинув еще не закрепленную крышку гроба, посмотрели в лицо покойницы. Впервые мне бросилось в глаза разительное сходство между братом и сестрой; должно быть, угадав мои мысли, Ашер пробормотал несколько слов, из которых я понял, что он и леди Мэдилейн были близнецы и всю жизнь души их оставались удивительно, nepocтижимо созвучны.

Однако наши взоры лишь ненадолго остановились на лице умершей, — мы не могли смотреть на него без трепета. Недуг, сразивший ее в расцвете молодости, оставил (как это всегда бывает при болезнях каталептического характера) подобие слабого румянца на ее щеках и едва заметную улыбку, столь ужасную на мертвых устах. Мы вновь плотно закрыли гроб, привинтили крышку, надежно заперли железную дверь и, обессиленные, поднялись наконец в жилую, а впрочем, почти столь же мрачную часть дома.

Прошло несколько невыразимо скорбных дней, и я уловил в болезненном душевном состоянии друга некие перемены. Все его поведение стало иным. Он забыл или забросил обычные занятия. Торопливыми неверными шагами бесцельно бродил он по дому. Бледность его

сделалась, кажется, еще более мертвенной и пугающей, но глаза угасли. В голосе уже не слышались хотя бы изредка звучные, сильные ноты, — теперь в нем постоянно прорывалась дрожь нестерпимого ужаса. Порою мне чудилось даже, что смятенный ум его тяготит какая-то страшная тайна и он мучительно силится собрать все свое мужество и высказать ее. А в другие минуты, видя, как он часами сидит недвижимо и смотрит в пустоту, словно бы напряженно вслушивается в какие-то воображаемые звуки, я поневоле заключал, что все это попросту беспричинные странности самого настоящего безумца. Надо ли удивляться, что его состояние меня ужасало... что оно было заразительно. Я чувствовал, как медленно, но неотвратимо закрадываются и в мою душу его сумасбродные фантастические и, однако же, неодолимо навязчивые страхи.

С особенной силой и остротой я испытал все это однажды поздно ночью, когда уже лег в постель, на седьмой или восьмой день после того, как мы снесли тело леди Мэдилейн в подземелье. Томительно тянулся час за часом, а сон упорно бежал моей постели. Я пытался здоровыми рассуждениями побороть владевшее мною беспокойство. Я уверял себя, что многие, если не все мои ощущения вызваны на редкость мрачной обстановкой, темными ветхими драпировками, которые метались по стенам и шуршали о резную кровать под дыханием надвигающейся бури. Но напрасно я старался. Чем дальше, тем сильнее была меня необоримая дрожь. И наконец, сердце мое стиснул злой дух необъяснимой тревоги. Огромным усилием я стряхнул его, поднялся на подушках и, всматриваясь в темноту, стал прислушиваться — сам не знаю почему, разве что побуждаемый каким-то внутренним чутьем, — к смутным глухим звукам, что доносились неведомо откуда в те редкие мгновенья, когда утихал вой ветра. Мною овладел как будто беспричинный, но нестерпимый ужас, и, чувствуя, что мне в эту ночь не уснуть, я торопливо оделся, начал быстро шагать из угла в угол и тем отчасти одолел сковавшую меня недостойную слабость.

Так прошел я несколько раз взад и вперед по комнате, и вдруг на лестнице за стеною послышались легкие шаги. Я узнал походку Ашера. И сейчас же он тихонько постучался ко мне и вошел, держа в руке фонарь. По обыкновению, он был бледен, как мертвец, но глаза сверкали каким-то безумным весельем, и во всей его повадке явственно сквозило еле сдерживаемое лихорадочное волнение. Его вид ужаснул меня... но что угодно было лучше, нежели мучительное одиночество, и я даже обрадовался его приходу.

Несколько мгновений он молча осматривался, потом спросил отрывисто:

— А ты не видел? Так ты еще не видел? Ну, подожди! Сейчас увидишь!

С этими словами, заботливо заслонив фонарь, он бросился к одному из окон и распахнул его навстречу буре.

В комнату ворвался яростный порыв ветра и едва не сбил нас с ног. То была бурная, но странно прекрасная ночь, ее суровая и грозная красота ошеломила меня. Должно быть, где-то по соседству рождался и набирал силы ураган, ибо направление ветра то и дело резко менялось; необычайно плотные, тяжелые тучи нависали совсем низко, задевая башни замка, и видно было, что они со страшной быстротой мчатся со всех сторон, сталкиваются — и не уносятся прочь! Повторяю, как ни были они густы и плотны, мы хорошо различали это странное движение, а меж тем не видно было ни луны, ни звезд и ни разу не сверкнула молния. Однако снизу и эти огромные массы взбаламученных водяных паров, и все, что окружало нас на земле, светилось в призрачном сиянии, которое испускала слабая, но явственно различимая дымка, нависшая надо всем и окутавшая замок.

— Не смотри... не годится на это смотреть, — с невольной дрожью сказал я Ащеру, мягко, но настойчиво увлек его прочь от окна и усадил в кресло. — Это поразительное и устрашающее зрелище — довольно обычное явление природы, оно вызвано электричеством... а может быть, в нем повинны зловредные испарения озера. Давай закроем

окно... ледяной ветер для тебя опасен. Вот одна из твоих любимых книг. Я почитаю тебе вслух — и так мы вместе скоротаем эту ужасную ночь.

И я раскрыл старинный роман сэра Ланселота Каннинга «Безумная печаль»; назвав его любимой книгой Ашера, я пошутил, и не слишком удачно; по правде говоря, в этом неуклюжем, тягучем многословии, чуждом истинного вдохновения, мало что могло привлечь возвышенный поэтический дух Родерика. Но другой книги под рукой не оказалось; и я смутно надеялся (история умственных расстройств дает немало поразительных тому примеров), что именно крайние проявления помешательства, о которых я намеревался читать, помогут успокоить болезненное волнение моего друга. И в самом деле, сколько возможно было судить по острому напряженному вниманию, с которым он вслушивался — так мне казалось — в каждое слово повествования, я мог себя поздравить с удачной выдумкой.

Я дошел до хорошо известного места, где рассказывается о том, как Этелред, герой романа, после тщетных попыток войти в убежище пустычника с согласия хозяина, врывается туда силой. Как все хорошо помнят, описано это в следующих словах:

«И вот Этелред, чью природную доблесть утроило выпитое вино, не стал более тратить время на препирательства с пустынником, который поистине нрава был упрямого и злобного, но, уже ощущая, как по плечам его хлещет дождь, и опасаясь, что разразится буря, поднял палицу и могучими ударами быстро пробил в дощатой двери отверстие, куда прошла его рука в латной перчатке, — и с такою силой он бил, тянул, рвал и крошил дверь, что треск и грохот ломающихся досок разнесся по всему лесу».

Дочитав эти строки, я вздрогнул и на минуту замер, ибо мне показалось (впрочем, я тотчас решил, что меня просто обманывает разыгравшееся воображение), будто из дальней части дома смутно донеслось до моих ушей нечто очень похожее (хотя, конечно, слабое и приглушенное) на тот самый шум и треск, который столь усердно живописал сэр Ланселот. Несомненно, только это совпаде-

ние и задело меня; ведь сам по себе этот звук, смешавшийся с хлопаньем ставен и обычным многоголосым шумом усиливающейся бури, отнюдь не мог меня заинтересовать или встревожить. И я продолжал читать:

«Когда же победоносный Этелред переступил порог, он был изумлен и жестоко разгневан, ибо злобный пустынный не явился его взору; а взамен того пред рыцарем, весь в чешуе, предстал огромный грозный дракон, изрыгающий пламя; чудище сие сторожило золотой дворец, где пол был серебряный, а на стене висел щит из сверкающей меди, на щите же виднелась надпись:

О ты, сюда вступивший, ты победитель будешь,
Дракона поразивший, сей щит себе добудешь.

И Этелред взмахнул палицею и ударил дракона по голове, и дракон пал пред ним, испустив свой зловонный дух вместе с воплем страшным и раздирающим, таким невыносимо пронзительным, что Этелред поневоле зажал уши, ибо никто еще не слышал звука столь ужасного».

Тут я снова умолк, пораженный сверх всякой меры, и немудрено: в этот самый миг откуда-то (но я не мог определить, с какой именно стороны) и вправду донесся слабый и, видимо, отдаленный, но душераздирающий, протяжный и весьма странный то ли вопль, то ли скрежет, — именно такой звук, какой представлялся моему воображению, пока я читал в романе про сверхъестественный вопль, вырвавшийся у дракона.

Это — уже второе — поразительное совпадение вызвало в душе моей тысячи противоборствующих чувств, среди которых преобладали изумление и неизъяснимый ужас, но, как ни был я подавлен, у меня достало присутствия духа не возбудить еще сильней болезненную чувствительность Ашера неосторожным замечанием. Я вовсе не был уверен, что и его слух уловил странные звуки; впрочем, несомненно, за последние минуты все поведение моего друга переменилось. Прежде он сидел прямо напротив меня, но постепенно повернул свое кресло так, чтобы оказаться лицом к двери; теперь я видел его только сбоку, но все же заметил, что губы его дрожат, словно что-то беззвучно шепчут. Голова его склонилась на грудь,

и, однако, он не спал — в профиль мне виден был широко раскрытый и словно бы остановившийся глаз. Нет, он не спал, об этом говорили и его движения: он слабо, но непрестанно и однообразно покачивался из стороны в сторону. Все это я уловил с одного взгляда и вновь принялся за чтение. Сэр Ланселот продолжает далее так:

«Едва храбрец избежал ярости грозного чудища, как мысль его обратилась к медному щиту, с коего были теперь сняты чары, и, отбросив с дороги убитого дракона, твердо ступая по серебряным плитам, он приблизился к стене, где сверкал щит; а расколдованный щит, не дожидаясь, пока герой подойдет ближе, сам с грозным, оглушительным звоном пал на серебряный пол к его ногам».

Не успел я произнести последние слова, как откуда-то — будто и вправду на серебряный пол рухнул тяжелый медный щит — вдруг долетел глухой, прерывистый, но совершенно явственный, хоть и смягченный расстоянием, звон металла. Вне себя я вскочил. Ашер же по-прежнему мерно раскачивался в кресле. Я кинулся к нему. Взор его был устремлен в одну точку, черты недвижны, словно высеченные из камня. Но едва я опустил руку ему на плечо, как по всему телу его прошла дрожь, страдальческая улыбка искривила губы; и тут я услышал, что он тихо, торопливо и невнятно что-то бормочет, будто не замечая моего присутствия. Я склонился к нему совсем близко и наконец уловил чудовищный смысл его слов.

— Теперь слышишься.. Да, слышу, давно уже слышу. Долго... долго... долго... сколько минут, сколько часов, сколько дней я это слышал... и все же не смел... о я несчастный, я трус и ничтожество!.. я не смел... НЕ СМЕЛ сказать! МЫ ПОХОРОНИЛИ ЕЕ ЗАЖИВО! Разве я не говорил, что чувства мои обострены? Вот теперь я тебе скажу — я слышал, как она впервые еле заметно пошевелилась в гробу. Я услышал это... много, много дней назад... и все же не смел... НЕ СМЕЛ СКАЗАТЬ! А теперь... сегодня... ха-ха! Этелред взломал дверь в жилище пустытника, и дракон испустил предсмертный вопль, и со звоном упал щит... скажи лучше, ломались доски ее гроба, и скрежетала на петлях железная дверь ее темницы, и она билась о медные стены подземелья! О, куда мне бежать? Везде

она меня настигнет! Ведь она спешит ко мне с укором — зачем я поторопился? Вот ее шаги на лестнице! Вот уже я слышу, как тяжело, страшно стучит ее сердце! Безумец! — Тут он вскочил на ноги и закричал отчаянно, будто сама жизнь покидала его с этим воплем: — БЕЗУМЕЦ! ГОВОРЮ ТЕБЕ, ОНА ЗДЕСЬ, ЗА ДВЕРЬЮ!

И словно сверхчеловеческая сила, вложенная в эти слова, обладала властью заклинания, огромные старинные двери, на которые указывал Ашер, медленно раскрыли свои тяжелые черные челюсти. Их растворил мощный порыв ветра — но там, за ними, высокая, окутанная саваном, и вправду стояла леди Мэдилейн. На белом одеянии виднелись пятна крови, на страшно исхудалом теле — следы жестокой борьбы. Минуту, вся дрожа и шатаясь, она стояла на пороге... потом с негромким протяжным стоном покачнулась, пала брату на грудь — и в последних смертных судорогах увлекла за собою на пол и его, уже бездыханного, — жертву всех ужасов, которые он предчувствовал.

Объятый страхом, я кинулся прочь из этой комнаты, из этого дома. Буря еще неистовствовала во всей своей ярости, когда я миновал старую мощеную дорожку. Внезапно путь мой озарился ярчайшей вспышкой света, и я обернулся, не понимая, откуда исходит этот необычайный блеск, ибо позади меня оставался лишь огромный дом, тонувший во тьме. Но то сияла, заходя, багрово-красная полная луна, яркий свет ее лился сквозь трещину, о которой я упоминал раньше, что зигзагом пересекала фасад от самой крыши до основания, — когда я подъезжал сюда впервые, она была едва различима. Теперь, у меня на глазах, трещина эта быстро расширялась... налетел свирепый порыв урагана... и слепящий лик луны полностью явился предо мною... я увидел, как рушатся высокие древние стены, и в голове у меня помутилось... раздался дикий оглушительный грохот, словно рев тысячи водопадов... и глубокие воды зловещего озера у моих ног безмолвно и угрюмо сомкнулись над обломками дома Ашеров.



МОРЕЛЛА

'Αὐτὸ χατ' αὐτὰ μετ' αὐτοῦ
μονοειδὲς αἰεὶ φῶν¹

Πλάτων. Πυρ, 211

Глубокую, но поистине странную привязанность питал я к Морелле, моему другу. Много лет назад случай познакомил нас, и с первой встречи моя душа запылала пламенем, прежде ей неведомым, однако пламя это зажег не Эрос, и горечь все больше терзала мой дух, пока я постепенно убеждался, что не могу постичь его неведомого смысла и не могу управлять его туманным пыланием. Но мы встретились, и судьба связала нас пред алтарем; и не было у меня слов страсти, и не было мысли о любви. Она же бежала общества людей и, посвятив себя только мне одному, сделала меня счастливым. Ибо размышлять есть счастье, ибо грезить есть счастье.

Начитанность Мореллы не знала пределов. Жизнью клянусь, редкостными были ее дарования, а сила ума — велика и необычна. Я чувствовал это и многому учился у нее. Однако уже вскоре я заметил, что она (возможно, из-за своего пресбургского воспитания) постоянно предлагала мне мистические произведения, которые обычно считаются всего лишь жалкой накипью ранней немецкой литературы. По непостижимой для меня причине они были ее постоянным и любимым предметом изучения, а то, что со временем я и сам занялся ими, следует приписать просто властному влиянию привычки и примера.

¹ С собой, только собой, в своем вечном единстве (греч.).

Рассудок мой — если я не обманываю себя — несколько к этому причастен не был. Идеальное — разве только я себя совсем не знаю — ни в чем не воздействовало на мои убеждения, и ни мои поступки, ни мои мысли не были окрашены — или я глубоко заблуждаюсь — тем мистицизмом, которым было проникнуто мое чтение. Твердо веря в это, я полностью подчинился руководству моей жены и с недогнувшим сердцем последовал за ней в сложный лабиринт ее изысканий. И когда... когда, склоняясь над запретными страницами, я чувствовал, что во мне просыпается запретный дух, Морелла клала холодную ладонь на мою руку и извлекала из остывшего пепла мертвой философии приглушенные необычные слова, таинственный смысл которых выжигал неизгладимый след в моей памяти. И час за часом я сидел возле нее и внимал музыке ее голоса, пока его мелодия не начинала внушать страха — и на мою душу падала тень, и я бледнел и внутренне содрогался от этих звуков, в которых было столь мало земного. Вот так радость внезапно преображалась в ужас и воплощение красоты становилось воплощением безобразия, как Гинном стал Ге-Енной.

Нет нужды излагать содержание этих бесед, темы которых подсказывали упомянутые мною трактаты, но в течение долгого времени иных разговоров мы с Мореллой не вели. Люди, изучавшие то, что можно назвать теологической моралью, легко представят себе, о чем мы говорили, непосвященным же беседы наши все равно не были бы понятны. Буйный пантеизм Фихте; видоизмененная *καλλυψήναι*¹ пифагорейцев и, главное, доктрина тождества, как ее излагал Шеллинг, — вот в чем впечатлительная Морелла обычно находила особую красоту. Тождество, называемое личным, мистер Локк, если не ошибаюсь, справедливо определяет как здравый рассудок мыслящего существа. А так как под «личностью» мы понимаем рациональное начало, наделенное рассудком, и так как мышлению всегда сопутствует сознание, то именно они и делают нас нами самими, в отличие от всех других

¹ Вторичное рождение (греч.).

сущестъ, которые мыслят Principium individuationis, представление о личности, которая исчезает — или не исчезает — со смертью, всегда меня жгуче интересовало. И не столько даже из-за парадоксальной и притягательной природы его следствий, сколько из-за волнения, с которым говорила о них Морелла.

Но уже настало время, когда непостижимая таинственность моей жены начала гнестить меня, как злое заклятие. Мне стали невыносимы прикосновения ее тонких полупрозрачных пальцев, ее тихая музыкальная речь, мягкий блеск ее печальных глаз. И она понимала это, но не упрекала меня; казалось, что она постигала мою слабость, или мое безумие, и с улыбкой называла его Роком. И еще казалось, что она знает неведомую мне причину, которая вызвала мое постепенное отчуждение, но ни словом, ни намеком она не открыла мне ее природу. Однако она была женщиной и таяла с каждым днем. Пришло время, когда на ее щеках запыхали два алых пятна, а синие жилки на бледном лбу стали заметнее; и на миг моя душа исполнялась жалости, но в следующий миг я встречал взгляд ее говорящих глаз, и мою душу поражали то смятение и страх, которые овладевают человеком, когда он, охваченный головокружением, смотрит в мрачные глубины неведомой бездны.

Сказать ли, что я с томительным нетерпением ждал, чтобы Морелла наконец умерла? Да, я ждал этого, но хрупкий дух еще много дней льнул к брэнной оболочке — много дней, много недель и тягостных месяцев, пока мои истерзанные нервы не взяли верх над рассудком и я не впал в исступление из-за этой отсрочки, с демонической яростью проклиная дни, часы и горькие секунды, которые словно становились все длиннее и длиннее по мере того, как угасала ее кроткая жизнь, — так удлиняются тени, когда умирает день.

Но однажды в осенний вечер, когда ветры уснули в небесах, Морелла подозвала меня к своей постели. Над всей землей висел прозрачный туман, мягкое сияние лежало на водах, и на пышную листву октябрьских лесов с вышины пала радуга.

— Это день дней,— сказала она, когда я приблизился.— Это день дней, чтобы жить и чтобы умереть. Дивный день для сынов земли и жизни... но еще более дивный для дочерей небес и смерти!

Я поцеловал ее в лоб, а она продолжала:

— Я умираю, и все же я буду жить.

— Морелла!

— Не было дня, когда бы ты любил меня, но ту, которая внушала тебе отвращение при жизни, в смерти ты будешь боготворить.

— Морелла!

— Я говорю, что я умираю. Но во мне сокрыт плод той нежности — о, такой малой! — которую ты питал ко мне, к Морелле. И когда мой дух отлетит, дитя будет жить — твое дитя и мое, Мореллы. Но твои дни будут днями печали, той печали, которая долговечней всех чувств, как кипарис нетленней всех деревьев. Ибо часы твоего счастья миновали, и цветы радости не распускаются дважды в одной жизни, как дважды в год распускались розы Пестума. И более ты не будешь играть со временем, подобно Анакреонту, но, отлученный от мирта и лоз, понесешь с собой по земле свой саван, как мусульманин в Мекке.

— Морелла! — вскричал я.— Морелла, как можешь ты знать это!

Но она отвернула лицо, по ее членам пробежала легкая дрожь; так она умерла, и я больше не слышал ее голоса.

Но как она предрекла, ее дитя, девочка, которую, умирая, она произвела на свет, которая вздохнула, только когда прервалось дыхание ее матери, это дитя осталось жить. И странно развивалась она телесно и духовно, и была точным подобием умершей, и я любил ее такой могучей любовью, какой, думалось мне прежде, нельзя испытывать к обитателям земли.

Но вскоре небеса этой чистейшей нежности померкли и их заволкли тучи тревоги, ужаса и горя. Я сказал, что девочка странно развивалась телесно и духовно. Да, странен был ее быстрый рост, но ужасны, о, как ужасны были смятенные мысли, которые овладевали мной, когда я следил за развитием ее духа! И могло ли быть иначе,

если я ежедневно обнаруживал в словах ребенка мышление и способности взрослой женщины? Если младенческие уста изрекали наблюдения зрелого опыта? И если в ее больших задумчивых глазах я ежечасно видел мудрость и страсти иного возраста? Когда, повторяю, все это стало очевидно моим пораженным ужасом чувствам, когда я уже был не в силах скрывать это от моей души, не в силах далее бороться с жаждой уверовать, — можно ли удивляться, что мною овладели необычайные и жуткие подозрения, что мои мысли с трепетом обращались к невероятным фантазиям и поразительным теориям покоящейся в склепе Мореллы? Я укрыл от любопытных глаз мира ту, кого судьба принудила меня боготворить, и в строгом уединении моего дома с мучительной тревогой следил за возлюбленным существом, не жалея забот, не упуская ничего.

И по мере того как проходили годы и я день за днем смотрел на ее святое, кроткое и красноречивое лицо, на ее формирующийся стан, день за днем я находил в дочери новые черты сходства с матерью, скорбной и мертвой. И ежечасно тени этого сходства сгущались, становились все более глубокими, все более четкими, все более непонятными и полными леденящего ужаса. Я мог снести сходство ее улыбки с улыбкой матери, но я содрогался от их тождественности; я мог бы выдержать сходство ее глаз с глазами Мореллы, но они все чаще заглядывали в самую мою душу с властным и непознанным смыслом, как смотрела только Морелла. И очертания высокого лба, и шелковые кудри, и тонкие полупрозрачные пальцы, погружающиеся в них, и грустная музыкальность голоса, и главное (о да, главное!), слова и выражения мертвой на устах любимой и живой питали одну неотвязную мысль и ужас — червя, который не умирал!

Так прошли два люстра ее жизни, и моя дочь все еще жила на земле безымянной. «Дитя мое» и «любовь моя» — отцовская нежность не нуждалась в иных наименованиях, а строгое уединение, в котором она проводила свои дни, лишало ее иных собеседников. Имя Мореллы умерло с ее смертью. И я никогда не говорил дочери о ее матери — говорить было невозможно. Нет, весь краткий срок ее

существования внешний мир за тесными пределами ее затворничества оставался ей неведом. Но в конце концов обряд крещения представился моему смятенному уму спасением и избавлением от ужасов моей судьбы. И у купели я заколебался, выбирая ей имя. На моих губах теснилось много имен мудрых и прекрасных женщин и былых и нынешних времен, обитательниц моей страны и дальних стран, и много красивых имен женщин, которые были кротки душой, были счастливы, были добры. Так что же подвигло меня потревожить память мертвой и погребенной? Какой демон подстрекнул меня произнести тот звук, одно воспоминание о котором заставляло багряную кровь потоками отхлынуть от висков к сердцу? Какой злой дух заговорил из недр моей души, когда среди сумрачных приделов и в безмолвии ночи я шепнул священнослужителю эти три слога — Морелла? И некто больший, нежели злой дух, искажил черты моего ребенка и стер с них краски жизни, когда, содрогнувшись при этом чуть слышном звуке, она возвела стекленеющие глаза от земли к небесам и, бессильно опускаясь на черные плиты нашего фамильного склепа, ответила:

— Я здесь.

Четко, так бесстрастно и холодно четко раздалась эти простые звуки в моих ушах и оттуда расплавленным свинцом, шипя, излились в мой мозг. Годы... годы могут исчезнуть бесследно, но память об этом мгновении — никогда! И не только не знал я более цветов и лоз, но цикута и кипарис склонялись надо мной ночью и днем. И более я не замечал времени, не ведал, где я, и звезды моей судьбы исчезли с небес, и над землей сомкнулся мрак, и жители ее скользили мимо меня, как неясные тени, и среди них всех я видел только — Мореллу! Ветры шептали мне в уши только один звук, и рокот моря повторял вовек — Морелла. Но она умерла; и сам отнес я ее в гробницу, и рассмеялся долгим и горьким смехом, не обнаружив в склепе никаких следов первой, когда положил там вторую Мореллу.



МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ

Уже давно опустошала страну Красная смерть. Ни одна эпидемия еще не была столь ужасной и губительной. Кровь была ее гербом и печатью — жуткий багрянец крови! Неожиданное головокружение, мучительная судорога, потом из всех пор начинала сочиться кровь — и приходила смерть. Едва на теле жертвы, и особенно на лице, выступали багровые пятна — никто из ближних уже не решался оказать поддержку или помощь зачумленному. Болезнь, от первых ее симптомов до последних, протекала меньше чем за полчаса.

Но принц Просперо был по-прежнему весел — страх не закрался в его сердце, разум не утратил остроту. Когда владения его почти обезлюдели, он призвал к себе тысячу самых ветреных и самых выносливых своих приближенных и вместе с ними удалился в один из своих укрепленных монастырей, где никто не мог потревожить его. Здание это — причудливое и величественное, выстроенное согласно царственному вкусу самого принца, — было опоясано крепкой и высокой стеной с железными воротами. Вступив за ограду, придворные вынесли к воротам горны и тяжелые молоты и намертво заклепали засовы. Они решили закрыть все входы и выходы, дабы как-нибудь не прокралось к ним безумие и не поддались они отчаянию. Обитель была снабжена всем необходимым, и придворные могли не бояться заразы. А те, кто остался за стенами, пусть сами о себе позаботятся! Глупо было сейчас грустить или предаваться раздумью. Принц постарался, чтобы не было недостатка в развлечениях. Здесь были фигляры и импровизаторы, танцовщицы и музыканты, красавицы и вино. Все это было здесь, и еще здесь была безопасность. А снаружи царила Красная смерть.

Когда пятый или шестой месяц их жизни в аббатстве был на исходе, а моровая язва свирепствовала со всей яростью, принц Просперо созвал тысячу своих друзей на бал-маскарад, великолепней которого еще не видывали.

Это была настоящая вакханалия, этот маскарад. Но сначала я опишу вам комнаты, в которых он происходил. Их было семь — семь роскошных покоев. В большинстве замков такие покои идут длинной прямой анфиладой; створчатые двери распахиваются настежь, и ничто не мешает охватить взором всю перспективу. Но замок Просперо, как и следовало ожидать от его владельца, отверженного ко всему *bizarre*¹, был построен совсем по-иному. Комнаты располагались столь причудливым образом, что сразу была видна только одна из них. Через каждые двадцать — тридцать ярдов вас ожидал поворот, и за каждым поворотом вы обнаруживали что-то новое. В каждой комнате, справа и слева, посреди стены находилось высокое узкое окно в готическом стиле, выходившее на крытую галерею, которая повторяла зигзаги анфилады. Окна эти были из цветного стекла, и цвет их гармонировал со всем убранством комнаты. Так, комната в восточном конце галереи была обтянута голубым, и окна в ней были ярко-синие. Вторая комната была убрана красным, и стекла здесь были пурпурные. В третьей комнате, зеленой, такими же были и оконные стекла. В четвертой комнате драпировка и освещение были оранжевые, в пятой — белые, в шестой — фиолетовые. Седьмая комната была затянута черным бархатом: черные драпировки спускались здесь с самого потолка и тяжелыми складками ниспадали на ковер из такого же черного бархата. И только в этой комнате окна отличались от обивки: они были ярко-багряные — цвета крови. Ни в одной из семи комнат среди многочисленных золотых украшений, разбросанных повсюду и даже спускавшихся с потолка, не видно было ни люстр, ни канделябров, — не свечи и не лампы освещали комнаты: на галерее, окружавшей анфиладу, против каждого окна стоял массивный треножник с пылающей жаровней, и огни, проникая сквозь стекла, заливали по-

¹ Странному (фр.).

кои цветными лучами, отчего все вокруг приобретало какой-то призрачный, фантастический вид. Но в западной, черной, комнате свет, струившийся сквозь кроваво-красные стекла и падавший на темные занавеси, казался особенно таинственным и столь дико искажал лица присутствующих, что лишь немногие из гостей решались переступить ее порог.

А еще в этой комнате, у западной ее стены, стояли гигантские часы черного дерева. Их тяжелый маятник с монотонным приглушенным звоном качался из стороны в сторону, и, когда минутная стрелка завершала свой оборот и часам наступал срок бить, из их медных легких вырывался звук отчетливый и громкий, проникновенный и удивительно музыкальный, но до того необычный по силе и тембру, что оркестранты принуждены были каждый час останавливаться, чтобы прислушаться к нему. Тогда вальсирующие пары невольно переставали кружиться, ватага весельчаков на миг замирала в смущении и, пока часы отбивали удары, бледнели лица даже самых беспутных, а те, кто был постарше и порассудительней, невольно проводили рукой по лбу, отгоняя какую-то смутную думу. Но вот бой часов умолкал, и тотчас же веселый смех наполнял покои; музыканты с улыбкой переглядывались, словно посмеиваясь над своим нелепым испугом, и каждый тихонько клялся другому, что в следующий раз он не поддастся смущению при этих звуках. А когда пробегали шестьдесят минут — три тысячи шестьсот секунд быстротечного времени — и часы снова начинали бить, наступало прежнее замешательство, и собравшимися овладевали смятение и тревога.

И все же это было великолепное и веселое празднество. Принц отличался своеобразным вкусом: он с особой остротой воспринимал внешние эффекты и не заботился о моде. Каждый его замысел был смел и необычен и воплощался с варварской роскошью. Многие сочли бы принца безумным, но приспешники его были иного мнения. Впрочем, поверить им могли только те, кто слышал и видел его, кто был к нему близок.

Принц самолично руководил почти всем, что касалось убранства семи покоев к этому грандиозному *fete*¹. В подборе масок тоже чувствовалась его рука. И уж конечно — это были гротески! Во всем — пышность и мишура, иллюзорность и пикантность, наподобие того, что мы позднее видели в «Эрнани». Повсюду кружились какие-то фантастические существа, и у каждого в фигуре или одежде было что-нибудь нелепое.

Все это казалось порождением какого-то безумного, горячечного бреда. Многое здесь было красиво, многое — безнравственно, многое — *bizarre*, иное наводило ужас, а часто встречалось и такое, что вызывало невольное отвращение. По всем семи комнатам во множестве разгуливали видения наших снов. Они — эти видения, — корчась и извиваясь, мелькали тут и там, в каждой новой комнате меняя свой цвет, и чудилось, будто дикие звуки оркестра — всего лишь эхо их шагов. А по временам из залы, обтянутой черным бархатом, доносился бой часов. И тогда на миг все замирало и цепенело — все, кроме голоса часов, — а фантастические существа словно прирастали к месту. Но вот бой часов смолк — он слышался всего лишь мгновение, — и тотчас же веселый, чуть приглушенный смех снова наполнял анфиладу, и снова гремела музыка, снова оживали видения, и еще смешнее прежнего кривлялись повсюду маски, принимая оттенки многоцветных стекол, сквозь которые жаровни струили свои лучи. Только в комнату, находившуюся в западном конце галереи, не решался теперь вступить ни один из ряженных: близилась полночь, и багряные лучи света уже сплошным потоком лились сквозь кроваво-красные стекла, отчего чернота траурных занавесей казалась особенно жуткой. Тому, чья нога ступала на траурный ковер, в звоне часов слышались погребальные колокола, и сердце его при этом звуке сжималось еще сильнее, чем у тех, кто предавался веселью в дальнем конце анфилады.

Остальные комнаты были переполнены гостями — здесь лихорадочно пульсировала жизнь. Празднество было в самом разгаре, когда часы начали отбивать полночь.

¹ Празднеству (фр.).

Стихла, как прежде, музыка, перестали кружиться в вальсе танцоры, и всех охватила какая-то непонятная тревога. На сей раз часам предстояло пробить двенадцать ударов, и, может быть, поэтому, чем дольше они били, тем сильнее закрадывалась тревога в души самых рассудительных. И, может быть, поэтому, не успел еще стихнуть в отдалении последний отзвук последнего удара, как многие из присутствующих вдруг увидели маску, которую до той поры никто не замечал. Слух о появлении новой маски разом облетел гостей; его передавали шепотом, пока не загудела, не зажужжала вся толпа, выражая сначала недовольство и удивление, а под конец — страх, ужас и негодование.

Появление обычного ряженого не вызвало бы, разумеется, никакой сенсации в столь фантастическом сборище. И хотя в этом ночном празднестве царила поистине необузданная фантазия, новая маска перешла все границы дозволенного — даже те, которые признавал принц. В самом безрассудном сердце есть струны, коих нельзя коснуться, не заставив их трепетать. У людей самых отчаянных, готовых шутить с жизнью и смертью, есть нечто такое, над чем они не позволяют себе смеяться. Казалось, в эту минуту каждый из присутствующих почувствовал, как несмешон и неуместен наряд прищельца и его манеры. Гость был высок ростом, изможден и с головы до ног закутан в саван. Маска, скрывавшая его лицо, столь точно воспроизводила застывшие черты трупа, что даже самый пристальный и придирчивый взгляд с трудом обнаружил бы обман. Впрочем, и это не смутило бы безумную ватагу, а, может быть, даже вызвало бы одобрение. Но шутник дерзнул придать себе сходство с Красной смертью. Одежда его была забрызгана кровью, а на челе и на всем лице проступал багряный ужас.

Но вот принц Просперо узрел этот призрак, который, словно для того, чтобы лучше выдержать роль, торжественной поступью расхаживал среди танцующих, и все заметили, что по телу принца пробежала какая-то странная дрожь — не то ужаса, не то отвращения, а в следующий миг лицо его побагровело от ярости.

— Кто посмел?! — обратился он хриплым голосом к окружавшим его придворным.— Кто позволил себе эту дьявольскую шутку? Схватить его и сорвать с него маску, чтобы мы знали, кого нам поутру повесить на крепостной стене!

Слова эти принц Просперо произнес в восточной, голубой, комнате. Громко и отчетливо прозвучали они во всех семи покоях, ибо принц был человек сильный и решительный, и тотчас по мановению его руки смолкла музыка.

Это происходило в голубой комнате, где находился принц, окруженный толпой побледневших придворных. Услышав его приказ, толпа метнулась было к стоявшему поблизости прищельцу, но тот вдруг спокойным и уверенным шагом направился к принцу. Никто не решился поднять на него руку — такой непостижимый ужас внушало всем высокомерие этого безумца. Беспрепятственно прошел он мимо принца,— гости в едином порыве прижались к стенам, чтобы дать ему дорогу,— и все той же размеренной и торжественной поступью, которая отличала его от других гостей, двинулся из голубой комнаты в красную, из красной — в зеленую, из зеленой — в оранжевую, оттуда — в белую и, наконец,— в черную, а его все не решались остановить. Тут принц Просперо, вне себя от ярости и стыда за минутное свое малодушие, бросился в глубь анфилады; но никто из придворных, одержимых смертельным страхом, не последовал за ним. Принц бежал с обнаженным кинжалом в руке, и, когда на пороге черной комнаты почти уже настиг отступающего врага, тот вдруг обернулся и вперил в него взор. Раздался пронзительный крик, и кинжал, блеснув, упал на траурный ковер, на котором спустя мгновение распростерлось мертвое тело принца. Тогда, призвав на помощь все мужество отчаяния, толпа пирующих кинулась в черную комнату. Но едва они схватили зловещую фигуру, застывшую во весь рост в тени часов, как почувствовали, к невыразимому своему ужасу, что под саваном и жуткой маской, которые они в исступлении пытались сорвать, ничего нет.

Теперь уже никто не сомневался, что это Красная смерть. Она прокралась, как тать в ночи. Один за другим

падали бражники в забрызганных кровью пиршественных залах и умирали в тех самых позах, в каких наступила их смерть. И с последним из них угасла жизнь эбеновых часов, потухло пламя в жаровнях, и над всем безраздельно воцарились Мрак, Гибель и Красная смерть.



Колодец и маятник

Impia tortorum longas hic turba furores
Sanguinis innocui non satiata, aluit
Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro,
Mors ubi dira fuit, vita salusque patent.¹

*Четверостишие, сочиненное для во-
рот рынка, который решено открыть на
месте Якобинского клуба в Париже.*

Я устал, смертельно устал от этой затянувшейся пытки; и, когда наконец меня развязали и я смог сесть, я почувствовал, что сознание покидает меня. Приговор, страшный смертный приговор еще отчетливо прозвучал в моих ушах, но сразу вслед за тем голоса инквизиторов слились в далекий, невнятный гул. Он вызвал во мне образ какого-то кружения — быть может, напомним шум мельничного колеса. И то — лишь на миг, ибо в следующий миг я уже не слышал ничего. Зато некоторое время я еще видел — и с какой ужасающей, чудовищной отчетливостью! Я видел губы судей, облаченных в черное. Мне они казались белыми — белее листа, на котором я пишу эти строки, и тонкими, до уродливости тонкими; их как бы сплющило и вытянуло напряженное выражение беспощадности, непреклонной решимости и угрюмого презрения к человеческому страданию. Я видел, как слова, которые были моею Судьбой, продолжали стекать с этих губ. Я видел, как они растягивались, вещая о смерти. Я видел, как они выговаривали звуки моего имени; и я содрогался, потому что не слышал ничего. В эти мгновения безумного страха я видел еще, как слегка, едва заметно колышутся черные драпировки, которыми были обиты стены зала. Потом мой взгляд остановился на семи длинных свечах, горевших на столе. Сначала они показались мне символами милосердия, белыми, стройными анге-

¹Кровью невинных насытая, шайка убийц нечестивых
Долго лелеяла здесь злое безумье свое.
Ныне разрушен застенок, родина ныне свободна;
В логово лютых смертей жизнь и спасенье пришли (лат.)

лами, которые посланы, чтобы меня спасти; но сразу же вслед за тем волна нестерпимой тошноты вдруг захлестнула меня, и я почувствовал, как каждый нерв в моем теле затрепетал, словно я коснулся проводов гальванической батареи, ангелы стали бесплотными призраками с огненными головами, — и я понял, что ждать от них помощи безнадежно. А потом, словно певучая музыкальная фраза, в душу прокралась мысль, как, должно быть, сладок могильный покой. Она пришла осторожно и бесшумно, и казалось, задолго до того, как разум постиг ее до конца; но в тот самый миг, когда мой дух воспринял ее отчетливо и окончательно, фигуры судей перед моими глазами растаяли, точно по волшебству, длинные свечи исчезли, их огоньки погасли, и наступил непроглядный мрак; все чувства мои были словно проглочены этим отчаянным, стремительным нисхождением — так душа нисходит в Аид. А затем — беспредельная тишина, покой и ночь.

Это был обморок, и все же я не могу сказать, что сознание покинуло меня вовсе. Того, что осталось, я не стану ни определять, ни даже просто описывать, — скажу только, что исчезло не все. В глубочайшем забытии — нет, мало! — в бреду — мало! — в обмороке — мало! — в могиле... да! даже в могиле *что-то остается*. А иначе бессмертие наше — пустой звук! Пробуждаясь от самого глубокого сна, мы разрываем паутину *какого-то* сновидения. Но уже в следующий миг мы не помним, что нам снилось, — до того легка эта паутина. После обморока человек, возвращаясь к жизни, проходит две ступени: сначала возникает ощущение интеллектуального или духовного бытия, а потом — чувство жизни физической. И если бы, достигнув второй ступени, мы смогли воскресить в памяти впечатление первой, то весьма вероятно, что эти впечатления поведали бы нам о потусторонней бездне. Но что она такое — эта бездна? Как отличить ее тени от теней могилы?.. Однако, если впечатление, оставленное тем, что я назвал первой ступенью, нельзя оживить силою воли, то разве не появляются они сами спустя долгое время — непрошенные, неведомо откуда? Тот, кто никогда не лишался чувств, не увидит в тлеющих угольях ни причудливых замков, ни до боли знакомых лиц; он не заметит парящих в воздухе печальных образов, незримых толпе; он не остановится в раздумье, вдохнув аромат неведомого цветка; он не из тех, чей ум смутят несколько музыкальных тактов, никогда прежде не привлекавших его внимание.

Среди частых и сосредоточенных попыток вспомнить, среди напряженных усилий свести воедино приметы мнимого небытия, в которое окунулась тогда моя душа, бывали минуты, когда мне казалось, что я достиг успеха; случались краткие, очень краткие проблески воспоминаний, которые рассудок, прояснившийся позднее, мог отнести лишь к тогдашнему состоянию бессознательности. Эти тени памяти сбивчиво повествуют о каких-то длинных фигурах, которые безмолвно подняли меня и понесли вниз — все вниз, вниз, вниз! — до тех пор, пока отвратительное головокружение не охватило меня от одной только мысли о бесконечности этого спуска. Еще они повествуют о смутном ужасе моего сердца, вызванном противоестественным спокойствием и тишиною в этом сердце. Затем приходит неожиданное ощущение неподвижности, сковавшей все, — словно те, кто нес меня (о, этот путь!), переступив в своем движении вниз пределы беспредельного, остановились на миг передохнуть от своего однообразного, тяжелого труда. Вслед за тем душу пронизывают апатия и тоска; и наконец все захлестывает *безумие* — безумие памяти, вступившей в запретные области.

Совершенно неожиданно возвращаются движение и звук — громко и беспорядочно бьется сердце, и удары его шумно отдаются в ушах. Затем — провал: пустота, ничего, кроме пустоты. Затем снова звук, движение, прикосновение, и какая-то дрожь пронизывает все мое существо. Затем простое ощущение бытия, без всякой мысли — состояние, которое долго не проходит. И вдруг — мысль, и ужас, потрясший меня с головы до пят, и напряженное стремление осознать, что же все-таки со мной происходит. Затем страстное желание погрузиться в беспмятство. Затем стремительное воскрешение духа и успешная попытка пошевелиться. И тут — полное и ясное воспоминание о процессе, судьях, траурных драпировках, о приговоре, о слабости, об обмороке. Затем — абсолютное забвение всего, что последовало; лишь гораздо позже и ценою самых напряженных усилий мне удалось, хотя и смутно, восстановить все это в памяти.

Я еще долго не открывал глаз. Я чувствовал, что лежу на спине, что оковы сняты. Я вытянул руку, и она тяжело опустилась на что-то влажное и твердое. Так пролежала она немало времени, в продолжение которого я силился сообразить, где я и что со мною случилось. Я не хотел и не решался обратиться за ответом к зрению, страшась первого взгляда на то, что меня окружа-

ло. Боязнь увидеть нечто ужасное удерживала меня, и я весь замирал при мысли о том, что сейчас подниму веки и ... не увижу *ничего*. Наконец, с безрассудством отчаяния в сердце, я открыл глаза. Увы, мои худшие опасения подтвердились. Вокруг была чернота вечной ночи. Я задыхался: густота мрака словно придавила меня и старалась удушить. Воздух был невыносимо спертый. Я лежал по-прежнему неподвижно, пытаюсь собраться с мыслями. Я припоминал судебные обычаи инквизиции и старался угадать истинное свое положение. Приговор был вынесен, и мне казалось, что с тех пор прошел уже очень долгий срок. И все-таки ни на минуту я не мог допустить, что я в самом деле мертв: такая мысль — вопреки всему, что мы читаем в романах, — совершенно несовместима с реальным существованием. Но где же я и что со мной? Я знал, что осужденные на смерть обыкновенно расстаются с жизнью на аутодафе и что одно из них было назначено на вечер того дня, когда меня судили. Неужели меня снова бросили в мою темницу, чтобы сохранить до следующей гекатомбы, которая будет совершена лишь через несколько месяцев? Нет, этого быть не может: ведь обычно жертву вели на заклание без малейшего отлагательства. К тому же прежняя моя темница, как и все камеры смертников в Толедо, была вымощена камнем и свет все же проникал в нее.

Вдруг — страшная мысль, от которой вся кровь стремительно прихлынула к сердцу; на короткое время я снова потерял сознание. Придя в себя, я сразу вскочил на ноги, каждая жилка во мне дрожала. Я испуганно шарил вокруг себя во всех направлениях. И, хотя руки встречали одну лишь пустоту, я не решался ступить ни шагу — боясь натолкнуться на стену *склепа*. Обильный пот выступил из всех пор и крупными холодными каплями застыл на лбу. Наконец мука неизвестности сделалась нестерпимой, и я осторожно двинулся вперед, вытянув руки и с таким напряжением ловя хоть самый слабый проблеск света, что глаза вылезали из орбит. Я ступил раз, другой, третий — много раз, но кругом были все те же мрак и пустота. Я вздохнул свободнее: теперь мне казалось бесспорным, что моя участь — не самая страшная из всех возможных.

И пока я продолжал по-прежнему осторожно пробираться вперед, в памяти моей ожили сотни смутных слухов об ужасах в Толедо. Удивительные рассказы ходили об этих темницах; правда, я всегда считал их пустыми баснями, и все же они были до

того странными и жуткими, что их повторяли только шепотом. Предстояло ли мне погибнуть голодной смертью в мире подземного мрака? Или какая-нибудь иная, еще более тяжкая участь ожидала меня? Что концом моего заключения будет смерть, и смерть утонченно жестокая, я не сомневался — слишком уж хорошо знал я своих судей. Способ и срок — вот все, что меня занимало и не давало мне покоя.

Мои вытянутые руки в конце концов наткнулись на какое-то неподвижное препятствие. Это была стена, по-видимому, каменной кладки, — очень гладкая, осклизлая и холодная. Я пошел вдоль нее, ступая со всею предусмотрительной недоверчивостью, какую мне внушили иные из тех старинных историй. Однако таким образом мне никогда не удалось бы установить размеры моей темницы: я мог обойти ее кругом и вернуться к отправной точке, не заметив этого, — настолько неразлично однообразной казалась стена. Поэтому я стал искать нож, который был у меня в кармане, когда меня вели в зал суда, — но его не оказалось; вместо прежнего платья на мне был балахон из грубой саржи. Я рассчитывал всунуть лезвие в какую-нибудь щелочку между камнями и таким образом отметить начало пути. Возникшее затруднение было ничтожным, но расстройство мыслей делало его на первый взгляд непреодолимым. Я оторвал кусок подола от моего балахона и растянул на полу во всю длину, под прямым углом к стене. Обходя ощупью свою тюрьму, я непременно должен был наткнуться на этот лоскут, завершив полный круг. Так, по крайней мере, я думал; но я не принял в расчет ни возможных размеров темницы, ни собственной слабости. Под ногами было сыро и скользко. Какое-то время я, пошатываясь, двигался вперед, потом споткнулся и упал. Тут обнаружились последствия крайнего истощения сил: я остался лежать навзничь и, так и не поднявшись, скоро уснул.

Проснувшись и вытянув вперед руку, я нащупал подле себя хлебец и кувшин. Я был слишком измучен, чтобы размышлять, откуда они взялись, жадно съел хлеб и выпил воду. Спустя немного я возобновил свое путешествие вокруг темницы и после долгих усилий добрал, наконец, до обрывка саржи. К тому мгновению, когда я упал, я насчитал пятьдесят два шага, а теперь еще сорок восемь. Таким образом, всего получалось сто шагов; и, полагая ярд равным двум шагам, я решил, что моя тюрьма имеет пятьдесят ярдов в окружности. Но, так как во многих мес-

тах стена выступала углами, невозможно было сообразить, каковы истинные очертания sklepa, — я не мог отделаться от мысли, что это все-таки склеп. Во всех моих разысканиях не было, пожалуй, определенной цели и, разумеется, ни капли надежды. Но какое-то непонятное любопытство побуждало меня продолжать их. Оторвавшись от стены, я решил пересечь этот каменный мешок. Сначала я двигался с величайшей осторожностью, ибо пол хоть и казался надежным, но был предательски скользким. Мало-помалу я осмелел и начал ступать твердо и уверенно, стараясь по возможности не сбиваться с прямой линии. Таким образом я прошел шагов десять — двенадцать, когда запутался в подоле своего балахона и упал как подкошенный, лицом вниз.

Я не сразу опомнился после падения, и потому сначала от меня ускользнуло одно удивительное обстоятельство; очень быстро, однако ж, еще до того, как я успел подняться, оно привлекло мое внимание. Дело в следующем: мой подбородок касался пола камеры, но губы и верхняя половина головы как бы повисли в воздухе, хотя, по-видимому, были опущены несколько ниже подбородка. В то же время лоб окутали какие-то холодные испарения, и специфический запах гнили и плесени касался моих ноздрей. Я вытянул руку и с дрожью удостоверился, что упал на самом краю круглого колодца, глубину которого я, разумеется, никак не мог определить в ту минуту. Ощупывая стыки плит у самого колодца, я ухитрился отковырнуть маленький кусочек цемента и бросил его вниз, в бездну. Долгие секунды я слышал, как он гулко отскакивает от стен зиявшего передо мной провала; наконец сердитый всплеск воды и громкое эхо. И в тот же миг раздался какой-то звук, словно быстро распахнули и так же быстро захлопнули дверь у меня над головой, слабый луч света неожиданно прорезал мрак и так же неожиданно погас.

Теперь я понял, какая участь была мне уготована, и благословлял случай, который меня спас. Еще один шаг — и мир никогда больше не увидел бы меня. Смерть, только что пролетевшая мимо, словно вышла из тех самых рассказов об инквизиции, которые я считал неправдоподобными и вздорными. У жертв инквизиции не было иного выбора, кроме смерти в жесточайших телесных муках или той же смерти, но в самых страшных пытках нравственных. Меня, видимо, приберегали для последнего: долгие страдания до того ослабили мои нервы, что я трепетал от

звука собственного голоса, и вообще трудно было выбрать жертву более подходящую для той пытки, которая меня ожидала.

Дрожа всем телом, я отполз назад к стене, решив лучше умереть подле нее, чем подвергать себя риску провалиться в один из этих чудовищных колодцев: воображение уже рисовало их мне во множестве, по всей темнице. В ином состоянии духа я, вероятно, нашел бы в себе мужество броситься в пропасть и разом покончить со всеми своими бедствиями, — но теперь я был самым жалким из трусов. Вдобавок я не мог забыть того, что читал об этих колодцах: они предназначены для чего угодно, только не для того, чтобы обрывать нить жизни *мгновенно*.

Много часов подряд возбуждение не давало мне уснуть, но, в конце концов, я снова задремал. Проснувшись, я, как и в тот раз, нашел подле себя хлебец и воду. Меня томила жгучая жажда и я залпом осушил кувшин. Должно быть, в воду подмешали какого-то зелья: не успел я допить до конца, как меня охватила неодолимая дремота. Я уснул глубоким сном, сном, похожим на могильный покой. Долго ли он тянулся, я, разумеется, не знаю; но, когда я снова открыл глаза, я увидел то, что меня окружало. При фантастическом, зеленовато-желтом освещении, источник которого я обнаружил не сразу, мне открылись размеры и устройство моей тюрьмы.

Оказалось, что я сильно ошибся: протяженность стен не превышала двадцати пяти ярдов. В течение нескольких минут это обстоятельство служило для меня источником немалой, но бессмысленной тревоги — вот уже поистине бессмысленной: ибо что могло иметь меньшее значение в этих страшных обстоятельствах, нежели размеры темницы? Но мой дух проникся неизъяснимым интересом к мелочам, и я погрузился в размышления, пытаюсь объяснить ошибку в расчетах, которую я допустил. Наконец меня осенило. В первую половину обследования я насчитал пятьдесят два шага; в момент падения я был, вероятно, в одном или двух шагах от обрывка саржи, то есть почти закончил обход sklepa. Потом я заснул, а проснувшись, по всей видимости, пошел в обратном направлении. Вот почему я и представил себе протяженность темницы почти вдвое большей, чем она была на самом деле. Смятение в мыслях помешало мне заметить, что стена, которая вначале была слева от меня, потом оказалась справа.

Заблуждался я и относительно очертаний своей тюрьмы. Подвигаясь ощупью, я обнаружил множество углов, и отсюда пришел

к заключению о чрезвычайной неправильности ее формы, — с такой силой воздействует полный мрак на человека, пробудившегося от летаргии или даже просто от крепкого сна. Углы оказались самыми обыкновенными впадинами или нишами, расположенными на неодинаковом расстоянии одна от другой. В целом же камера была квадратной. То, что я принял за каменную кладку, теперь превратилось в огромные плиты из железа или какого-то другого металла, а швы или стыки между ними и образовали впадины. Поверхность металла была грубо размалевана всеми страшными и отталкивающими эмблемами, какие только могли подсказать монахам их суеверные представления о загробной жизни. Злые духи в виде скелетов с грозно занесенною рукой и другие, менее фантастические, но еще более страшные изображения покрывали и безобразили стены. Я заметил, что, хотя контуры этих страшилищ выступают отчетливо, краски, казалось, поблекли и расплылись, — словно под действием влаги. Я увидел также, что пол подо мною каменный. В середине зияло круглое отверстие колодца, пасти которого мне удалось избежать; но других колодцев, кроме этого, в моей темнице не было.

Все это я различал лишь смутно и с большим трудом, ибо мое собственное положение за время сна резко переменялось. Теперь я лежал на спине, вытянувшись во весь рост на чем-то вроде низкой деревянной скамейки, крепко привязанный к ней длинным ремнем, похожим на подпругу. Он многократно обвивал мое туловище и конечности, оставляя свободной голову, а также левую руку, — но лишь настолько, чтобы я после долгих усилий мог дотянуться до глиняной миски с едою, стоявшей подле на полу. К своему ужасу, я обнаружил, что кувшин унесли. Я говорю «к ужасу» — потому что меня томила нестерпимая жажда. Вероятно, в намерения моих мучителей входило распалить эту жажду еще сильнее, ибо в миске лежало приправленное пряностями мясо.

Подняв глаза, я увидел потолок моей тюрьмы. Он был в тридцати или сорока футах надо мной и выглядел примерно так же, как и стены. Необычайного вида фигура, написанная на одной из его плит, приковала мое внимание. Это была фигура Времени, каким его обычно изображают, только вместо косы оно держало в руках какой-то предмет, при беглом взгляде напомнивший мне длинный маятник, вроде тех, что мы видим на старинных часах. Было, однако, в этом маятнике что-то такое, что заставило меня

всмотреться в него повнимательнее. И когда я пристально глядел прямо вверх (маятник находился как раз надо мною), мне вдруг почудилось, что он движется. В следующий миг это впечатление подтвердилось. Размахи маятника были короткие и очень медленные. Несколько минут я следил за ним со смутным чувством страха, но еще больше — изумления. Устав, наконец, наблюдать за этими однообразными движениями, я принялся смотреть по сторонам.

Легкий шум донесся до моих ушей, и, взглянув на пол, я увидел множество огромных крыс, бегавших от стены к стене. Они вылезали из колодца, который находился справа от меня, в поле моего зрения. Они появлялись целыми полчищами прямо у меня на глазах — поспешно, жадно, привлеченные запахом мяса. Мне стоило немалого труда удержать их на расстоянии от миски.

Прошло, пожалуй, полчаса, а может быть, и час (я мог судить о времени лишь очень приблизительно), прежде чем я снова поднял глаза к потолку. То, что я увидел, смутило и озадачило меня. Размахи маятника удлиннились примерно на целый ярд. Вместе с тем и скорость стала гораздо больше. Но сильнее всего меня взволновала мысль о том, что маятник заметно *опустился*. Теперь я рассмотрел, — надо ли говорить, с каким ужасом? — что нижняя его часть представляла собой сверкающий стальной полумесяц длиной с фут (от рога до рога); кончики рогов были обращены вверх, а лезвие казалось острым, как бритва. Выше, над лезвием, полумесяц утолщался — тоже, как бритва, — и был, по-видимому, массивным, тяжелым, несокрушимым. Он висел на толстом медном стержне и с громким *свистом* рассекал воздух. Так вот, значит, какую смерть избрала для меня монашеская изобретательность в пытках! То, что я разгадал тайну колодца, стало известно инквизиторам, — *колодца*, ужасам которого обрекали дерзких, нераскаявшихся грешников вроде меня; *колодца*, который был, по слухам, прообразом ада — *Ultima Thule** всех казней. Чистая случайность спасла меня от падения в этот колодец; а я знал, что неожиданность, внезапность были неотъемлемым спутником любой изощренной пытки в этом застенках. Но я оступился раньше, чем следовало, и это нарушило дьявольский план низвержения преступника в бездну, а потому (иного выхода не было) меня ожидала другая, более милосердная смерть. Милосердная! Я даже улыбнулся при мысли о таком применении такого слова.

Что пользы рассказывать о долгих, долгих часах более чем смертельного ужаса, в продолжение которых я непрерывно считал стремительные размахи стали. Дюйм за дюймом, линия за линией, удлиняясь так медленно, что, казалось, протекали века, пока это становилось заметным, — все ниже и ниже опускался маятник! Прошли дни, может быть, много дней — и вот он уже проносится так близко, что веет мне в лицо своим едким дыханием. Запах остро отточенной стали врывается в мои ноздри. Я молился, я непрестанно молил небеса ускорить его спуск. Обезумев, я рвался вверх, навстречу размахам чудовищного ятагана. А потом внезапно опускался на свою скамейку и лежал спокойно, улыбаясь сверкающей смерти, словно дитя — редкостной игрушке.

И снова — провал, глубочайшее забытье; оно было непродолжительным, ибо, вернувшись к жизни, я не заметил, чтобы маятник сколько-нибудь опустился. Но оно могло быть и долгим: ведь демоны инквизиции (я знал это наверное) следили за мной и, заметив мой обморок, могли умышленно остановить маятник. Очнувшись, я почувствовал крайнюю — нет, больше! — невыразимую усталость и слабость, словно после долгого, изнурительного поста. Невзирая на все страдания, моя человеческая природа властно требовала пищи. С мучительным усилием я вытянул руку, насколько позволяли мои путы, и добрался до ничтожных объедков, оставленных мне крысами и когда я положил первый кусок в рот, в моем сознании сверкнуло какое-то подобие радости... надежды. Я — и надежда? нет, невозможно, несовместимо! Но я уже сказал, что это было одно из тех зыбких подобию, которые часто рождаются в человеческом сознании и гибнут в самом зародыше. Я ощущал радость и надежду, но я ощущал также, что они увяли, не распустившись. Напрасны были усилия углубить их... вернуть: долгие страдания лишили мой дух почти всей его силы, всех способностей. Я превратился в слабоумного, в идиота. Мое тело лежало под прямым углом к плоскости размаха маятника. Я видел, что полумесяц должен рассечь мне грудь как раз там, где бьется сердце. Он прорвет саржу моего халата, он будет уходить и возвращаться, уходить и возвращаться, уходить и возвращаться — снова, снова и снова. Несмотря на ужасающую ширь его размахов (футов в тридцать, а то и больше), на мощь его свистящего падения, достаточную, чтобы разрушить даже эти стены из железа, все же в течение нескольких минут он

будет продирать мой халат — и только. На этой мысли я остановился. Я не дерзнул пойти дальше. Я держался за нее настойчиво и цепко, словно такая задержка способна была предотвратить *дальнейший* спуск стального лезвия. Я заставил себя думать о том, с каким звуком будет скользить полумесяц по платью, об особой дрожи, которую сообщает нервам трение одежды о тело. Я размышлял об этих пустяках до тех пор, пока не заскрипел зубами от отвращения.

Вниз — тихо и непреклонно маятник сползал вниз. Я находил какое-то исступленное удовольствие, сравнивая это движение вниз со скоростью его размахов. Вправо — влево — то удаляясь — то снова приближаясь — визжа, точно грешники в аду! Стопою тигра крадется он к моему сердцу! И я то хохотал, то выл — в зависимости от того, какие чувства брали вверх. Вниз, вниз — уверенно и безжалостно! Вот он уже проносится в трех дюймах от моей груди. Я извивался в своих путах бешено, неистово, чтобы высвободить левую руку. Она была свободна лишь от локтя до кисти. С большим трудом я мог двигать ею в пространстве между глиняной миской рядом со скамьей и моим ртом, — но не дальше. Если бы мне удалось разорвать путы, стягивающие локоть, я бы попытался схватить маятник, остановить его! С таким же успехом мог бы я остановить лавину.

Вниз, вниз — все так же упорно, все так же неотвратимо! Я задышался и корчился при каждом взмахе, пытаюсь вдавить свое тело в скамью, когда он проносился надо мною. Мой взор следовал за взлетами и падениями маятника с упорством и бессмысленностью предельного отчаянья; видя его приближение, я всякий раз судорожно жмурился, хотя смерть была бы блаженным избавлением — о! несказанно блаженным! И все же каждый нерв во мне трепетал при мысли о том, какое ничтожное движение механизма обрушит этот острый сверкающий топор на мою грудь. То была *надежда*: слыша ее голос, трепетали нервы... скамейка точно уходила в пол... То была *надежда* — та самая надежда, которая торжествует победу даже на дыбе — и даже в застенках инквизиции шепчет осужденному на смерть слово утешения.

Я увидел, что еще десять — двенадцать взмахов, и сталь коснется моего платья; вместе с этим наблюдением ко мне пришла вся ясность, вся собранность, все спокойствие отчаяния. И впервые за много часов (а может быть, дней) я начал *думать*. Я вдруг сообразил, что подруга или путы, которыми я обвит, — это

цельный кусок. Я был связан *одним-единственным* ремнем. Первый же удар острого, как бритва, полумесяца, — при условии, что он заденет ремень, — рассек бы его, и я оказался бы в состоянии левой рукой распустить стягивающие меня витки. Но как ужасающе близко скользнет в этот миг сталь! Каким смертоносным может оказаться малейшее неверное движение! Да и мыслимое ли дело, чтобы подручные палача не предвидели, не предугадали такой возможности?! Есть ли хоть какая-нибудь вероятность, что ремень у меня на груди скрещивается с линией движения маятника? Страшась обмануться в моей слабой и, по-видимому, последней надежде, я приподнял голову настолько, чтобы получше разглядеть свою грудь. Тугие кольца «подпруги», охватывающие мои конечности и туловище, шли во всех направлениях, — *но на пути губительного полумесяца их не было.*

Не успел я снова опустить голову, как вдруг меня осенило. Это была, — я не могу описать ее иначе, — зыбкая и бесформенная прежде половина того плана избавления, о котором я уже упоминал; другая его часть смутно проплыла в моем сознании, когда я подносил пищу к своим запекшимся губам. Теперь я держал в руках всю мысль полностью — пусть бледную, пусть едва ли здравую и не совсем отчетливую, но всю целиком, и тут же с лихорадочной энергией и отчаянием приступил к ее исполнению.

Уже много часов пол вокруг низкой скамьи, на которой я лежал, буквально кишел крысами — хищными, наглыми, алчными: их красные глазки смотрели на меня пристально и свирепо, словно они были уверены, что добыча от них не уйдет, и только ждали, когда я перестану шевелиться. «Чем же они обычно питаются в этом подземелье?» — думал я.

Невзирая на все мои усилия их отогнать, они сожрали почти все, что было в миске, оставив лишь жалкие объедки. Я непрерывно размахивал рукою над миской, и в конце концов невольное однообразие этого движения лишило его всякой действенности. Прожорливые грызуны то и дело впивались мне в пальцы своими острыми клыками. Уцелевшими кусочками жирного, остро приправленного кушанья я густо натер ремень повсюду, куда только смог дотянуться; потом перестал махать рукой и оцепенел, затаив дыхание.

В первую минуту маленькие хищники были озадачены и испуганы этой переменной — внезапной неподвижностью их жертвы. В тревоге они отпрянули, многие юркнули в колодец. Но это

длилось лишь минуту. Мои расчеты на их прожорливость оправдались. Заметив, что я по-прежнему недвижим, две или три из числа самых отчаянных вспрыгнули на скамью и принялись обнюхивать «подпругу». Это послужило как бы сигналом к общему нападению. Из колодца хлынули новые орды крыс. Они карабкались по ножкам деревянной скамьи, взбирались на нее, сотнями бежали по моему телу. Размеренное движение маятника нимало их не беспокоило. Увертываясь от ударов, они занялись смазанным жиром ремнем. Они теснили и сталкивали друг друга, их полчище все росло и росло. Они копошились у меня на шее, их холодные губы тыкались в мои губы, я уже задыхался под их тяжестью; чудовищное отвращение, которому нет имени на земном языке, стиснуло мне грудь и каким-то липким холодом заливало сердце. Но еще минута — и я понял, что дело идет к концу. Я отчетливо чувствовал, как ослабевают путы. Я знал, что в нескольких местах они уже, должно быть, разгрызены. И сверхчеловеческим усилием воли я заставил себя лежать неподвижно.

Я не ошибся в своих расчетах, и мое терпение не было тщетным! Наконец-то я почувствовал себя свободным. Обрывки ремня свисали на пол. Но маятник почти касался уже моей груди. Он рассек саржу халата, он разрезал белье; еще два размаха — и острая боль пронизала каждый мой нерв. Но миг спасения настал. Я шевельнул рукой, и мои избавители с шумом кинулись кто куда. Ровным движением — осторожно, медленно, вбок и назад — я выскользнул из тесных объятий ремня и стал недосыгаем для кривого лезвия. Чтобы не случилось дальше, в этот миг я был свободен.

Свободен — и в когтях у инквизиции! Едва я поднялся со своего деревянного ложа — ложа ужаса! — и ступил на каменный пол темницы, как движение дьявольского механизма прекратилось, и какая-то невидимая сила подняла его вверх, через потолок. Это было уроком для меня, уроком, который наполнил мое сердце отчаянием. За каждым моим движением, несомненно, следят. Свободен! Ха! Я избежал мучительной смерти в одном из ее обличий лишь для того, чтобы увидеть иное, еще более страшное, чем сама смерть. С этой мыслью я беспокойно обвел взглядом железные плиты, которые скрывали меня от мира. Что-то новое, какое-то явное изменение, — сначала я не мог сообразить, какое именно, — произошло в обличии камеры. Дрожь от возбужде-

ния, теряясь в бессвязных догадках, я на несколько минут погрузился в странную мечтательную рассеянность. Тут я впервые отдал себе отчет в том, откуда исходит тот фосфорический свет, озаряющий мою тюрьму. Он лился сквозь щель шириной в полдвойма, которая опоясывала всю камеру у самого основания стен; таким образом, стены, по-видимому, не были соединены с полом. Я попытался выглянуть через эту щель, но, разумеется, безуспешно.

Когда вслед за этим я снова выпрямился, загадочные перемены, происходившие вокруг, стали мне вдруг понятны. Я уже говорил, что, хотя очертания фигур на стенах были довольно отчетливы, краски казались потускневшими, расплывшимися. Теперь эти краски засверкали, и с каждым мигом их пугающий блеск становился все ярче, что придавало дьявольским, призрачным изображениям такой вид, который способен был привести в трепет и более крепкие нервы, нежели мои. Очи демонов, тысяча очей, с жутью, с чудовищной живостью пристально глядели на меня отовсюду, даже оттуда, где раньше не было видно ничего, и мерцали зловещим огнем, который мое воображение не в силах было представить себе нематериальным.

Нематериальным — как бы не так! До моих ноздрей уже доносилось дыхание раскаленного железа. Удушающие пары наполнили темницу. Все жарче разгорались глаза, неотступно следившие за моими страданиями. Все ярче становился багровый свет, заливавший кровавые фигуры на стенах. Я задыхался! Я судорожно ловил ртом воздух! Можно ли было еще сомневаться в намерениях моих палачей — о-о-о! самых безжалостных, самых неумолимых среди исчадий ада! Пятясь от раскаленного металла, я отступал к центру темницы. Среди дум об огненной гибели, которая меня ожидала, мысль о прохладе колодца пролилась на душу бальзамом. Я ринулся к его смертоносному краю. Я устремил свой истомившийся взор вниз. Сияние, исходившее от пламенеющей кровли, освещало самые укромные закоулки внутри колодца. И все же в продолжение какого-то мига дух мой, словно помутившись, отказывался постигнуть значение того, что я увидел. Но в конце концов оно пробилось... с силой проложило себе путь в сознание... ожогом врезалось в мой содрогающийся рассулок! О! Язык мне не повинуется... О! какой ужас... ужас, несравнимый ни с чем на свете! С воплем я отпрянул назад и, спрятав лицо в ладони, зарыдал.

Жар быстро усиливался и, трясясь словно в приступе лихорадки, я снова поднял глаза. Опять перемены — на этот раз заметно переменялась форма темницы. Как и раньше, первая попытка правильно оценить или хотя бы понять, что творится вокруг, была безуспешной. Но растерянность и сомнения были недолги. Дважды ускользнув от смерти, я заставил инквизиторов поспешить с возмездием, повелитель ужасов не был склонен терять время попусту. Прежде камера была квадратной. Теперь я увидел, что два ее железных угла сделались острыми, а два других — в согласии с этим — тупыми. Это страшное различие стремительно возрастало с каким-то глухим грохотом, а может быть, и стоном. В одно мгновение комната приняла форму ромба. Но движение стен не остановилось... и сам я уже не надеялся, да и не хотел, чтобы оно остановилось. Поскорее бы сдавили мою грудь эти багровые плиты — ризы вечного успокоения. «Смерть, — твердил я, — любая смерть, только не в колодеце!» Глупец! Как это я сразу не догадался, что именно в колодеце должно загнать меня раскаленной железом! Мог ли я выдержать жар этих стен? А если бы даже и мог — в силах ли я был не отступить перед их напором? А ромб делался все уже, — с быстротою, не оставлявшей времени для размышлений. Его центр и, следовательно, наиболее широкая его часть находилась в точности над зияющей пропастью. Я пятился назад, но сдвигающиеся стены с непреодолимой силой толкали меня вперед. В конце концов для моего опаленного, истерзанного тела не осталось и дюйма на твердом полу тюрьмы. Я больше не сопротивлялся, но предсмертные муки моей души излились в одном громком, долгом, последнем вопле отчаяния. Я чувствовал, что балансирую на самом краю... Я отвернул лицо...

И вдруг... Нестройный гул человеческих голосов! Громкий рев, словно взвыли тысячи труб! Резкий, скрипучий удар, словно грянули тысячи громов! Огненные стены отпрянули! Чья-то протянутая рука поймала мою руку в то самое мгновение, когда я, теряя сознание, уже падал в бездну. То был генерал Ласаль. Французские войска вошли в Толедо. Инквизиция была в руках ее врагов.



ВИЛЬЯМ ВИЛЬСОН

· Что скажет совесть,
Злой призрак на моем пути?

Чемберлен. Фаронида

Позвольте мне на сей раз назваться Вильямом Вильсоном. Нет нужды пятнать своим настоящим именем чистый лист бумаги, что лежит сейчас передо мною. Имя это внушило людям слишком сильное презрение, ужас, ненависть. Ведь негодующие ветры уже разнесли по всему свету молву о неслыханном моем позоре. О, низкий из низких, всеми отринутый! Разве не потерял ты навек для всего сущего, для земных почестей, и цветов, и благородных стремлений? И разве не скрыты от тебя навек небеса бескрайней непроницаемой и мрачной завесой? Я предпочел бы, если можно, не рассказывать здесь сегодня о своей жизни в последние годы, о невыразимом моем несчастье и неслыханном злодеянии. В эту пору моей жизни, в последние эти годы я вдруг особенно преуспел в бесчестье, об истоках которого единственно и хотел здесь поведать. Негодяем человек обычно становится постепенно. С меня же вся добродетель спала в один миг, точно плащ. От сравнительно мелких прегрешений я гигантскими шагами перешел к злодеяниям, достойным Гелиогабала. Какой же случай, какое событие виной этому недоброму превращению? Вооружись терпением, читатель, я обо всем расскажу своим чередом.

Приближается смерть, и тень ее, неизменная ее предвестница, уже пала на меня и смягчила мою душу. Переходя в долину теней, я жажду людского сочувствия, чуть было не сказал — жалости. О, если бы мне поверили, что в какой-то мере я был рабом обстоятельств, человеку

не подвластных. Пусть бы в подробностях, которые я расскажу, в пустыне заблуждений они увидели крохотный оазис рока. Пусть бы они признали, — не могут они этого не признать, — что хотя соблазны, быть может, существовали и прежде, но никогда еще человека так не искушали и, конечно, никогда он не падал так низко. И уж не потому ли никогда он так тяжело не страдал? Разве я не жил как в дурном сне? И разве умираю я не жертвой ужаса, жертвой самого непостижимого, самого безумного из всех подлунных видений?

Я принадлежу к роду, который во все времена отличался пылкостью нрава и силой воображения, и уже в раннем детстве доказал, что полностью унаследовал эти черты. С годами они проявлялись все определеннее, внушая, по многим причинам, серьезную тревогу моим друзьям и принося безусловный вред мне самому. Я рос своевольным сумасбродом, рабом самых диких прихотей, игрушкой необузданных страстей. Родители мои, люди недалекие и осаждаемые теми же наследственными недугами, что и я, не способны были пресечь мои дурные наклонности. Немногие робкие и неумелые их попытки окончились совершеннейшей неудачей и, разумеется, полным моим торжеством. С тех пор слово мое стало законом для всех в доме, и в том возрасте, когда ребенка обыкновенно еще водят на помочах, я был всецело предоставлен самому себе и всегда и во всем поступал как мне заблагорассудится.

Самые ранние мои школьные воспоминания связаны с большим, несуразно построенным домом времен королевы Елизаветы, в туманном сельском уголке, где росло множество могучих шишковатых деревьев и все дома были очень старые. Почтенное и древнее селение это было местом поистине сказочно мирным и безмятежным. Вот я пишу сейчас о нем и вновь ощущаю свежесть и прохладу его тенистых аллей, вдыхаю аромат цветущего кустарника и вновь трепещу от неизъяснимого восторга, заслышав глухой и низкий звон церковного колокола, что каждый час неожиданно и гулко будит тишину и сумрак, погруженной в дрему готической резной колокольни.

Я перебираю в памяти мельчайшие подробности школьной жизни, всего, что с ней связано, и воспоминания эти радуют меня, насколько я еще способен радоваться. Погруженному в пучину страдания, страдания, увы! слишком неподдельного, мне простятся поиски утешения, пусть слабого и мимолетного, в случайных беспорядочных подробностях. Подробности эти, хотя и весьма обыденные и даже смешные сами по себе, особенно для меня важны, ибо они связаны с той порою, когда я различил первые неясные предостережения судьбы, что позднее полностью мною завладела, с тем местом, где все это началось. Итак, позвольте мне перейти к воспоминаниям.

Дом, как я уже сказал, был старьй и нескладный. Двор — обширный, окруженный со всех сторон высокой и массивной кирпичной оградой, верх которой был утыкан битым стеклом.

Эти, совсем тюремные, стены ограничивали наши владения, мы выходили за них всего трижды в неделю — по субботам после полудня, когда нам разрешали выйти всем вместе в сопровождении двух наставников на недолгую прогулку по соседним полям, и дважды по воскресеньям, когда нас, так же строем, водили к утренней и вечерней службе в сельскую церковь. Священником в этой церкви был директор нашего пансиона. В каком глубоком изумлении, в каком смущении пребывала моя душа, когда с нашей далекой скамьи на хорах я смотрел, как медленно и величественно он поднимается на церковную кафедру! Неужто этот почтенный проповедник, с лицом столь благолепно милостивым, в облачении столь пышном, столь торжественно ниспадающем до полу, — в парике, напудренном столь тщательно, таком большом и внушительном, — неужто это он, только что сердитый и угрюмый, в обсыпанном нюхательным табаком сюртуке, с линейкой в руках, творил суд и расправу по драконовским законам нашего заведения? О, безмерное противоречие, ужасное в своей непостижимости!

Из угла массивной ограды, насупясь, глядели еще более массивные ворота. Они были усажены множеством железных болтов и увенчаны острыми железными зубьями. Какой глубокий благоговейный страх они внушали!

Они всегда были на запоре, кроме тех трех наших выходов, о которых уже говорилось, и тогда в каждом скрипе их могучих петель нам чудились всевозможные тайны — мы находили великое множество поводов для сумрачных замечаний и еще более сумрачных раздумий.

Владения наши имели неправильную форму, и там было много уединенных площадок. Три-четыре самые большие предназначались для игр. Они были ровные, посыпаны крупным песком и хорошо утрамбованы. Помню, там не было ни деревьев, ни скамеек, ничего. И располагались они, разумеется, за домом. А перед домом был разбит небольшой цветник, обсаженный вечнозеленым самшитом и другим кустарником, но по этой запретной земле мы проходили только в самых редких случаях — когда впервые приезжали в школу, или навсегда ее покидали, или, быть может, когда за нами заезжали родители или друзья и мы радостно отправлялись под отчий кров на Рождество или на летние вакации.

Но дом! какое же это было причудливое старое здание! Мне он казался поистине заколдованным замком! Сколько там было всевозможных запутанных переходов, сколько самых неожиданных уголков и закоулков. Там никогда нельзя было сказать с уверенностью, на каком из двух этажей вы сейчас находитесь. Чтобы попасть из одной комнаты в другую, надо было непременно подняться или спуститься по двум или трем ступенькам. Коридоров там было великое множество, и они так разветвлялись и петляли, что, сколько ни пыгались мы представить себе в точности расположение комнат в нашем доме, представление это получалось не отчетливой, чем наше понятие о бесконечности. За те пять лет, что я провел там, я так и не сумел точно определить, в каком именно отдаленном уголке расположен тесный дортуар, отведенный мне и еще восемнадцати или двадцати делившим его со мной ученикам.

Классная комната была самая большая в здании и, как мне тогда казалось, во всем мире. Она была очень длинная, узкая, с гнетуще низким дубовым потолком и стрельчатыми готическими окнами. В дальнем, внушающем страх углу было отгорожено помещение футов в

восемь-десять — кабинет нашего директора, преподающего доктора Брэнсби. И в отсутствие хозяина мы куда охотней погibli бы под самыми страшными пытками, чем переступили бы порог этой комнаты, отделенной от нас массивной дверью. Два другие угла были тоже отгорожены, и мы взирали на них с куда меньшим почтением, но, однако же, с благоговейным страхом. В одном пребывал наш преподаватель древних языков и литературы, в другом — учитель английского языка и математики. По всей комнате, вдоль и поперек, в беспорядке стояли многочисленные скамейки и парты — черные, ветхие, заваленные горами захватанных книг и до того изуродованные инициалами, полными именами, нелепыми фигурами и множеством иных проб перочинного ножа, что они вовсе лишились своего первоначального, хоть сколько-нибудь пристойного вида. В одном конце комнаты стояло огромное ведро с водой, в другом весьма внушительных размеров часы.

В массивных стенах этого почтенного заведения я провел (притом без скуки и отвращения) третье пятилетие своей жизни. Голова ребенка всегда полна; чтобы занять его или развлечь, вовсе не требуются события внешнего мира, и унылое однообразие школьного бытия было насыщено для меня куда более напряженными волнениями, чем те, какие в юности я черпал из роскоши, а в зрелые годы — из преступления. Однако в моем духовном развитии ранней поры было, по-видимому, что-то необычное, что-то *ourte*¹. События самых ранних лет жизни редко оставляют в нашей душе столь заметный след, чтобы он сохранился и в зрелые годы. Они превращаются обычно лишь в серую дымку, в неясное беспорядочное воспоминание — смутное скопище малых радостей и невообразимых страданий. У меня же все по-иному. Должно быть, в детстве мои чувства силою не уступали чувствам взрослого человека, и в памяти моей все события запечатлелись столь же отчетливо, глубоко и прочно, как надписи на карфагенских монетах.

Однако же, с общепринятой точки зрения, как мало во всем этом такого, что стоит помнить! Утреннее пробуж-

¹ Преувеличенно (фр.).

дение, ежевечерние призывы ко сну; зубрежка, ответы у доски; праздничные дни; прогулки; площадка для игр — стычки, забавы, обиды и козни; все это, по волшебной и давно уже забытой магии духа, в ту пору порождало множество чувств, богатый событиями мир, вселенную разнообразных переживаний, волнений самых пылких и будоражающих души. «O le bon temps, que ce siecle de fer!»¹.

И в самом деле, пылкость, восторженность и властность моей природы вскоре выделили меня среди моих одноклассников и неспешно, но с вполне естественной неуклонностью подчинили мне всех, кто был немногим старше меня годами — всех, за исключением одного. Исключением этим оказался ученик, который, хотя и не состоял со мною в родстве, звался, однако, так же, как и я, — обстоятельство само по себе мало примечательное, ибо, хотя я и происхожу из рода знатного, имя и фамилия у меня самые заурядные, каковы — так уж повелось с незапамятных времен — всегда были достоянием простонародья. Оттого в рассказе моем я назвался Вильямом Вильсоном, — вымышленное это имя очень схоже с моим настоящим. Среди тех, кто, выражаясь школьным языком, входил в «нашу компанию», единственно мой тезка позволял себе соперничать со мною в классе, в играх и стычках на площадке, позволял себе сомневаться в моих суждениях и не подчиняться моей воле — иными словами, во всем, в чем только мог, становился помехой моим деспотическим капризам. Если существует на свете крайняя, неограниченная власть, — это власть сильной личности над более податливыми натурами сверстников в годы отрочества.

Бунтарство Вильсона было для меня источником величайших огорчений; в особенности же оттого, что, хотя на людях я взял себе за правило пренебрегать им и его притязаниями, втайне я его страшился, ибо не мог не думать, что легкость, с какой он оказывался со мною ровень, означала истинное его превосходство, ибо первенство давалось мне нелегко. И, однако, его превосходства или хотя бы равенства не замечал никто, кроме меня;

¹ О дивная пора — железный этот век! (фр.)

товарищи наши по странной слепоте, казалось, об этом и не подозревали. Соперничество его, противодействие и в особенности дерзкое и упрямое стремление помешать были скрыты от всех глаз и явственны для меня лишь одного. По-видимому, он равно лишен был и честолюбия, которое побуждало меня к действию, и страстного нетерпения ума, которое помогало мне выделиться. Можно было предположить, что соперничество его вызывалось единственно прихотью, желанием перечить мне, поразить меня или уязвить; хотя, случалось, я замечал со смешанным чувством удивления, унижения и досады, что, когда он и прекословил мне, язвил и оскорблял меня, во всем этом сквозила некая совсем уж неуместная и непрощеная нежность. Странность эта проистекала, на мой взгляд, из редкостной самонадеянности, принявшей вид снисходительного покровительства и попечения.

Быть может, именно эта черта в поведении Вильсона вместе с одинаковой фамилией и с простой случайностью, по которой оба мы появились в школе в один и тот же день, навела старший класс нашего заведения на мысль, будто мы братья. Старшие ведь обыкновенно не очень-то вникают в дела младших. Я уже сказал или должен был сказать, что Вильсон не состоял с моим семейством ни в каком родстве, даже самом отдаленном. Но будь мы братья, мы бы, несомненно, должны были быть близнецами; ибо уже после того, как я покинул заведение мистера Брэнсби, я случайно узнал, что тезка мой родился девятнадцатого января 1813 года, — весьма замечательное совпадение, ибо в этот самый день появился на свет и я.

Может показаться странным, что, хотя соперничество Вильсона и присущий ему несносный дух противоречия постоянно мне досаждали, я не мог заставить себя окончательно его возненавидеть. Почти всякий день меж нами вспыхивали ссоры, и, публично вручая мне пальму первенства, он каким-то образом ухитрялся заставить меня почувствовать, что на самом деле она по праву принадлежит ему; но свойственная мне гордость и присущее ему подлинное чувство собственного достоинства способствовали тому, что мы, так сказать, «не раззнакомились», однако же нравом мы во многом были схожи, и это

вызывало во мне чувство, которому, быть может, одно только необычное положение наше мешало обратиться в дружбу. Поистине нелегко определить или хотя бы описать чувства, которые я к нему питал. Они составляли пеструю и разнородную смесь: доля раздражительной враждебности, которая еще не стала ненавистью, доля уважения, большая доля почтения, немало страха и бездна тревожного любопытства. Знаток человеческой души и без дополнительных объяснений поймет, что мы с Вильсоном были поистине неразлучны.

Без сомнения, как раз причудливость наших отношений направляла все мои нападки на него (а было их множество — и открытых, и завуалированных) в русло подтрунивания или грубоватых шуток (которые разыгрывались словно бы ради забавы, однако все равно больно ранили) и не давала отношениям этим вылиться в открытую вражду. Но усилия мои отнюдь не всегда увенчивались успехом, даже если и придумано все было наиостроумнейшим образом, ибо моему тезке присуща была та спокойная непритязательная сдержанность, у которой не сыщешь ахиллесовой пяты, и поэтому, радуясь остроте своих собственных шуток, он оставлял мои совершенно без внимания. Мне удалось обнаружить у него лишь одно уязвимое место, но то было особое его свойство, вызванное, вероятно, каким-то органическим заболеванием, и воспользоваться этим мог лишь такой зашедший в тупик противник, как я: у соперника моего были, видимо, слабые голосовые связки, и он не мог говорить громко, а только еле слышным шепотом. И уж я не упустил самого ничтожного случая отыграться на его недостатке.

Вильсон находил множество случаев отплатить мне, но один из его остроумных способов досаждал мне всего более. Как ему удалось угадать, что такой пустяк может меня бесить, ума не приложу; но, однажды поняв это, он пользовался всякою возможностью мне досадить. Я всегда питал неприязнь к моей неизысканной фамилии и к чересчур заурядному, если не плебейскому имени. Они были ядом для моего слуха, и когда в день моего прибытия в пансион там появился второй Вильям Вильсон, я разозлился на него за то, что он носит это имя, и вдвойне

вознегодовал на имя за то, что его носит кто-то еще, отчего его станут повторять вдвое чаще, а тот, кому оно принадлежит, постоянно будет у меня перед глазами, и поступки его, неизбежные и привычные в повседневной школьной жизни, из-за отвратительного этого совпадения будут часто путать с моими.

Порожденная таким образом досада еще усиливалась всякий раз, когда случай явственно показывал внутреннее или внешнее сходство меж моим соперником и мною. В ту пору я еще не обнаружил того примечательного обстоятельства, что мы были с ним одних лет; но я видел, что мы одного роста, и замечал также, что мы на редкость схожи телосложением и чертами лица. К тому же я был уязвлен слухом, будто мы с ним в родстве, который распространился среди учеников старших классов. Коротко говоря, ничто не могло сильнее меня задеть (хотя я тщательно это скрывал), нежели любое упоминание о сходстве наших душ, наружности или обстоятельств. Но сказать по правде, у меня не было причин думать, что сходство это обсуждали или хотя бы замечали мои товарищи; говорили только о нашем родстве. А вот Вильсон явно замечал это во всех проявлениях, и притом столь же ревниво, как я; к тому же он оказался на редкость изобретателен на колкости и насмешки — это свидетельствовало, как я уже говорил, об его удивительной проницательности.

Его тактика состояла в том, чтобы возможно точнее подражать мне и в речах и в поступках; и здесь он достиг совершенства. Скопировать мое платье ничего не стоило; походку мою и манеру держать себя он усвоил без труда; и, несмотря на присущий ему органический недостаток, ему удавалось подражать даже моему голосу. Громко говорить он, разумеется, не мог, но интонация была та же; и сам его своеобразный шепот стал поистине моим эхом.

Какие же муки причинял мне превосходный этот портрет (ибо по справедливости его никак нельзя было назвать карикатурой), мне даже сейчас не описать. Одно только меня утешало, — что подражание это замечал единственно я сам и терпеть мне приходилось многозначи-

тельные и странно язвительные улыбки одного только моего тезки. Удовлетворенный тем, что вызвал в душе моей те самые чувства, какие желал, он, казалось, втайне радовался, что причинил мне боль, и решительно не ждал бурных аплодисментов, какие с легкостью мог принести ему его остроумно достигнутый успех. Но долгие беспокойные месяцы для меня оставались неразрешимой загадкой, как же случилось, что в пансионе никто не понял его намерений, не оценил действий, а стало быть, не глумился с ним вместе. Возможно, постепенность, с которой он подделывался под меня, мешала остальным заметить, что происходит, или — это более вероятно — своею безопасностью я был обязан искусству подражателя, который полностью пренебрег чисто внешним сходством (а только его и замечают в портретах люди туповатые), зато, к немалой моей досаде, мастерски воспроизводил дух оригинала, что видно было мне одному.

Я уже не раз упоминал об отвратительном мне покровительственном тоне, который он взял в отношении меня, и о его частом назойливом вмешательстве в мои дела. Вмешательство его нередко выражалось в непрошенных советах; при этом он не советовал прямо и открыто, но говорил намеками, обиняками. Я выслушивал эти советы с отвращением, которое год от году росло. Однако ныне, в столь далекий от той поры день, я хотел бы отдать должное моему сопернику, признать хотя бы, что ни один его совет не мог бы привести меня к тем ошибкам и глупостям, какие столь свойственны людям молодым и, казалось бы, неопытным; что нравственным чутьем, если не талантливостью природы и жизненной умудренностью, он во всяком случае намного меня превосходил и что, если бы я не так часто отвергал его советы, сообщаемые тем многозначительным шепотом, который тогда я слишком горячо ненавидел и слишком ожесточенно презирал, я, возможно, был бы сегодня лучше, а значит, и счастливей.

Но при том, как все складывалось, под его постылым надзором я в конце концов дошел до крайней степени раздражения и день ото дня все более открыто возмущался его, как мне казалось, несносной самонадеянностью. Я уже говорил, что в первые годы в школе чувство мое к нему

легко могло бы перерасти в дружбу; но в последние школьные месяцы, хотя навязчивость его, без сомнения, несколько уменьшилась, чувство мое почти в той же степени приблизилось к настоящей ненависти. Как-то раз он, мне кажется, это заметил и после того стал избегать меня или делал вид, что избегает.

Если память мне не изменяет, примерно в это же самое время мы однажды крупно поспорили, и в пылу гнева он отбросил привычную осторожность и заговорил и повел себя с несвойственной ему прямоотой — и тут я заметил (а может быть, мне почудилось) в его речи, выражении лица, во всем облике нечто такое, что сперва испугало меня, а потом живо заинтересовало, ибо в памяти моей всплыли картины младенчества, — беспорядочно теснящиеся смутные воспоминания той далекой поры, когда сама память еще не родилась. Лучше всего я передам чувство, которое угнетало меня в тот миг, если скажу, что не мог отделаться от ощущения, будто с человеком, который стоял сейчас передо мною, я был уже когда-то знаком, давным-давно, во времена бесконечно далекие. Иллюзия эта, однако, тотчас же рассеялась; и упоминаю я о ней единственно для того, чтобы обозначить день, когда я в последний раз беседовал со своим странным тезкой.

В громадном старом доме, с его бесчисленными помещениями, было несколько смежных больших комнат, где спали почти все воспитанники. Было там, однако (это неизбежно в столь неудобно построенном здании), много каморок, образованных не слишком разумно возведенными стенами и перегородками; изобретательный директор доктор Брэнсби их тоже приспособил под дортуары, хотя первоначально они предназначались под чуланы и каждый мог вместить лишь одного человека. В такой вот спальне помещался Вильсон.

Однажды ночью, в конце пятого года пребывания в пансионе и сразу после только что описанной ссоры, я дождался, когда все погрузились в сон, встал и, с лампой в руке, узкими запутанными переходами прокрался из своей спальни в спальню соперника. Я уже давно замышлял сыграть с ним одну из тех злых и грубых шуток, какие до сих пор мне неизменно не удавались. И вот теперь

я решил осуществить свой замысел и дать ему почувствовать всю меру переполнявшей меня злобы. Добравшись до его каморки, я оставил прикрытую колпаком лампу за дверь, а сам бесшумно переступил порог. Я шагнул вперед и прислушался к спокойному дыханию моего тезки. Уверившись, что он спит, я возвратился в коридор, взял лампу и с нею вновь приблизился к постели. Она была завешена плотным пологом, который, следуя своему плану, я потихоньку отодвинул, — лицо спящего залил яркий свет, и я впился в него взором. Я взглянул — и вдруг оцепенел, меня обдало холодом. Грудь моя тяжело вздымалась, колени задрожали, меня объял беспричинный и, однако, нестерпимый ужас. Я перевел дух и поднес лампу еще ближе к его лицу. Неужели это... это лицо Вильяма Вильсона? Я, конечно, видел, что это его лицо, и все же не мог этому поверить, и меня била лихорадочная дрожь. Что же в этом лице так меня поразило? Я смотрел, а в голове моей кружилась вихрь беспорядочных мыслей. Когда он бодрствовал, в суете дня, он был не такой, как сейчас, нет, конечно, не такой. То же имя! те же черты! тот же день прибытия в пансион! Да еще упорное и бессмысленное подражание моей походке, голосу, моим привычкам и повадкам! Неужели то, что представилось моему взору, — всего лишь следствие привычных упражнений в язвительном подражании? Охваченный ужасом, я с трепетом погасил лампу, бесшумно выскользнул из каморки и в тот же час покинул стены старого пансиона, чтобы уже никогда туда не возвращаться.

После нескольких месяцев, проведенных дома в совершенной праздности, я был определен в Итон. Короткого этого времени оказалось довольно, чтобы память о событиях, происшедших в пансионе доктора Брэнсби, потускнела, по крайней мере, я вспоминал о них с совсем иными чувствами. Все это больше не казалось таким подлинным и таким трагичным. Я уже способен был усомниться в свидетельстве своих чувств, да и вспоминал все это не часто, и всякий раз удивлялся человеческому легковерию, и с улыбкой думал о том, сколь живое воображение я унаследовал от предков. Характер жизни, которую я вел в Итоне, нисколько не способствовал тому, чтобы у меня

поубавилось подобного скептицизма. Водоворот безрассудств и легкомысленных развлечений, в который я кинулся так сразу очертя голову, мгновенно смыл все, кроме пены последних часов, поглотил все серьезные, устоявшиеся впечатления и оставил в памяти лишь пустые сумасбродства прежнего моего существования.

Я не желаю, однако, описывать шаг за шагом прискорбное распутство, предаваясь которому мы бросали вызов всем законам и ускользали от строгого ока нашего колледжа. Три года безрассудств протекли без пользы, у меня лишь укоренились порочные привычки, да я еще как-то вдруг вырос и стал очень высок ростом; и вот однажды после недели бесшабашного разгула я пригласил к себе на тайную пирушку небольшую компанию самых беспутных своих приятелей. Мы собрались поздним вечером, ибо так уж у нас было заведено, чтобы попойки затягивались до утра. Вино лилось рекой, и в других, быть может, более опасных, соблазнах тоже не было недостатка; так что, когда на востоке стал пробиваться хмурый рассвет, сумасбродная наша попойка была еще в самом разгаре. Отчаянно раскрасневшись от карт и вина, я упрямо провозглашал тост, более обыкновенного богохульный, как вдруг внимание мое отвлекла порывисто открывшаяся дверь и встревоженный голос моего слуги. Не входя в комнату, он доложил, что какой-то человек, который очень торопится, желает говорить со мною в прихожей.

Крайне возбужденный выпитым вином, я скорее обрадовался, нежели удивился неожиданному гостю. Нетвердыми шагами я тотчас вышел в прихожую. В этом тесном помещении с низким потолком не было лампы; и сейчас сюда не проникал никакой свет, лишь серый свет утра пробивался через полукруглое окно. Едва переступив порог, я увидел юношу примерно моего роста, в белом казимириновом сюртуке такого же новомодного покроя, что и тот, какой был на мне. Только это я и заметил в полутьме, но лица гостя разглядеть не мог. Когда я вошел, он поспешно шагнул мне навстречу, порывисто и нетерпеливо схватил меня за руку и прошептал мне в самое ухо два слова: «Вильям Вильсон».

Я мигом отрезвел.

В повадке незнакомца, в том, как задрожал у меня перед глазами его поднятый палец, было что-то такое, что безмерно меня удивило, но не это взволновало меня до глубины души. Мрачное предостережение, что таилось в его своеобразном, тихом, шипящем шепоте, а более всего то, как он произнес эти несколько простых и знакомых слогов, его тон, самая интонация, всколыхнувшая в душе моей тысячи бессвязных воспоминаний из давнего прошлого, ударили меня, точно я коснулся гальванической батареи. И еще прежде, чем я пришел в себя, гостя и след простыл.

Хотя случай этот сильно подействовал на мое расстроенное воображение, однако же впечатление от него быстро рассеялось. Правда, первые несколько недель я всерьез наводил справки либо предавался мрачным раздумьям. Я не пытался утаить от себя, что это все та же личность, которая столь упорно мешалась в мои дела и допекала меня своими вкрадчивыми советами. Но кто такой этот Вильсон? Откуда он взялся? Какую преследовал цель? Ни на один вопрос я ответа не нашел, узнал лишь, что в вечер того дня, когда я скрылся из заведения доктора Брэнсби, он тоже оттуда уехал, ибо дома у него случилось какое-то несчастье. А вскорости я совсем перестал о нем думать, ибо мое внимание поглотил предполагаемый отъезд в Оксфорд. Туда я скоро и в самом деле отправился, а нерасчетливое тщеславие моих родителей снабдило меня таким гардеробом и годовым содержанием, что я мог купаться в роскоши, столь уже дорогой моему сердцу, — соперничать в расточительстве с высокомернейшими наследниками самых богатых и знатных семейств Великобритании.

Теперь я мог грешить, не зная удержу, необузданно предаваться пороку, и пылкий нрав мой взыграл с удвоенной силой, — с презрением отбросив все приличия, я кинулся в омут разгула. Но нелепо было бы рассказывать здесь в подробностях обо всех моих сумасбродствах. Довольно будет сказать, что я всех превзошел в мотовстве и изобрел множество новых безумств, которые составили

немалое дополнение к длинному списку пороков, каковыми славились питомцы этого по всей Европе известного своей распущенностью университета.

Вы с трудом поверите, что здесь я пал столь низко, что свел знакомство с профессиональными игроками, перенял у них самые наиподлейшие приемы и, преуспев в этой презренной науке, стал пользоваться ею как источником увеличения и без того огромного моего дохода за счет доверчивых собутыльников. И, однако же, это правда. Преступление мое против всего, что в человеке мужественно и благородно, было слишком чудовищно — и, может быть, лишь поэтому оставалось безнаказанным. Что и говорить, любой, самый распутный мой сотоварищ скорее усомнился бы в явственных свидетельствах своих чувств, нежели заподозрил в подобных действиях веселого, чистосердечного, щедрого Вильяма Вильсона — самого благородного и самого великодушного студента во всем Оксфорде, чьи безрассудства (как выражались мои прихлебатели) были единственно безрассудствами юности и необузданного воображения, чьи ошибки всего лишь неподражаемая прихоть, чьи самые непростимые пороки не более как беспечное и лихое сумасбродство.

Уже два года я успешно следовал этим путем, когда в университете нашем появился молодой выскочка из новой знати, по имени Гленденнинг, — по слухам, богатый, как сам Ирод Аттик, и столь же легко получивший свое богатство. Скоро я понял, что он не блещет умом, и, разумеется, счел его подходящей для меня добычей. Я часто вовлекал его в игру и, подобно всем нечистым на руку игрокам, позволял ему выигрывать изрядные суммы, чтобы тем вернее заманить в мои сети. Основательно обдумав все до мелочей, я решил, что пора наконец привести в исполнение мой замысел, и мы встретились с ним на квартире нашего общего приятеля-студента (мистера Престона), который, надо признаться, даже и не подозревал о моем намерении. Я хотел придать всему вид самый естественный и потому заранее озаботился, чтобы предложение играть выглядело словно бы случайным и исходило от того самого человека, которого я замыслил обобрать. Не стану распространяться о мерзком этом пред-

мете, скажу только, что в тот вечер не было упущено ни одно из гнусных ухищрений, ставших столь привычными в подобных случаях; право же, непостижимо, как еще находятся простаки, которые становятся их жертвами.

Мы засиделись до глубокой ночи, и мне наконец удалось так все подстроить, что выскочка Гленденнинг оказался единственным моим противником. Притом игра шла моя излюбленная — экарте. Все прочие, заинтересовавшись размахом нашего поединка, побросали карты и столпились вокруг нас. Гленденнинг, который в начале вечера благодаря моим уловкам сильно выпил, теперь тасовал, сдавал и играл в таком неистовом волнении, что это лишь отчасти можно было объяснить воздействием вина. В самом непродолжительном времени он был уже моим должником на круглую сумму, и тут, отпив большой глоток портвейна, он сделал именно то, к чему я хладнокровно вел его весь вечер, — предложил удвоить наши и без того непомерные ставки. С хорошо разыгранной неохотой и только после того, как я дважды отказался и тем заставил его погорячиться, я наконец согласился, всем своим видом давая понять, что лишь уступаю его гневной настойчивости. Жертва моя повела себя в точности как я предвидел: не прошло и часу, как долг Гленденнинга возрос вчетверо. Еще до того с лица его постепенно сходил румянец, сообщенный вином, но тут он, к моему удивлению, страшно побледнел. Я сказал: к моему удивлению. Ибо заранее с пристрастием расспросил всех, кого удалось, и все уверяли, что он безмерно богат, а проигрыш его, хоть и немалый сам по себе, не мог, на мой взгляд, серьезно его огорчить и уж того более — так потрясти. Сперва мне пришло в голову, что всему виною недавно выпитый портвейн. И скорее желая сохранить свое доброе имя, нежели из иных, менее корыстных видов, я уже хотел прекратить игру, как вдруг чьи-то слова за мою спиной и полный отчаяния возглас Гленденнинга дали мне понять, что я совершенно его разорил, да еще при обстоятельствах, которые, сделав его предметом всеобщего сочувствия, защитили бы и от самого отъявленного злодея.

Как мне теперь следовало себя вести, сказать трудно. Жалкое положение моей жертвы привело всех в растерян-

ность и уныние; на время в комнате установилась глубокая тишина, и я чувствовал, как под множеством горящих презрением и упреком взглядов моих менее испорченных товарищей щеки мои запылали. Признаюсь даже, что, когда эта гнетущая тишина была внезапно и странно нарушена, нестерпимая тяжесть на краткий миг упала с моей души. Массивные створчатые двери вдруг распахнулись с такой силой и так быстро, что все свечи в комнате, точно по волшебству, разом погасли. Но еще прежде, чем воцарилась тьма, мы успели заметить, что на пороге появился незнакомец примерно моего роста, окутанный плащом. Тьма, однако, стала такая густая, что мы лишь ощущали его присутствие среди нас. Мы еще не успели прийти в себя, ошеломленные грубым вторжением, как вдруг раздался голос незваного гостя.

— Господа,— произнес он глухим, отчетливым и забываемым шепотом, от которого дрожь пробрала меня до мозга костей,— господа, прошу извинить меня за бесцеремонность, но мною движет долг. Вы, без сомнения, не осведомлены об истинном лице человека, который выиграл нынче вечером в экарте крупную сумму у лорда Гленденнинга. А потому я позволю себе предложить вам скорый и убедительный способ получить эти весьма важные сведения. Благоволите осмотреть подкладку его левой манжеты и те пакетики, которые, надо полагать, вы обнаружите в довольно вместительных карманах его сюртука.

Во время его речи стояла такая тишина, что, упав на пол булавка, и то было бы слышно.

Сказав все это, он тотчас исчез — так же неожиданно, как и появился. Сумею ли я, дано ли мне передать обуявшие меня чувства? Надо ли говорить, что я испытал все муки грешника в аду? Уж конечно, у меня не было времени ни на какие размышления. Множество рук тут же грубо меня схватили, тотчас были зажжены свечи. Начался обыск. В подкладке моего рукава обнаружены были все фигурные карты, необходимые при игре в экарте, а в карманах сюртука несколько колод, точно таких, какие мы употребляли для игры, да только мои были так называемые *arrondees*: края старших карт были слегка

выгнуты. При таком положении простофиля, который, как принято, снимает колоду в длину, неизбежно даст своему противнику старшую карту, тогда как шулер, снимающий колоду в ширину, наверняка не сдаст своей жертве ни одной карты, которая могла бы определить исход игры.

Любой взрыв негодования не так оглушил бы меня, как то молчаливое презрение, то язвительное спокойствие, какое я читал во всех взглядах.

— Мистер Вильсон,— произнес хозяин дома, наклонясь, чтобы поднять с полу роскошный плащ, подбитый редкостным мехом,— мистер Вильсон, вот ваша собственность. (Погода стояла холодная, и, выходя из дому, я накинул поверх сюртука плащ, но здесь, подойдя к карточному столу, сбросил его.) Я полагаю, нам нет надобности искать тут,— он с язвительной улыбкой указал глазами на складки плаща,— дальнейшие доказательства вашей ловкости. Право же, нам довольно и тех, что мы уже видели. Надеюсь, вы поймете, что вам следует покинуть Оксфорд и, уж во всяком случае, немедленно покинуть мой дом.

Униженный, втоптаный в грязь, я, наверно, все-таки не оставил бы безнаказанными его оскорбительные речи, если бы меня в эту минуту не отвлекло одно ошеломляющее обстоятельство. Плащ, в котором я пришел сюда, был подбит редчайшим мехом; сколь редким и сколь дорогим, я даже не решаюсь сказать. Фасон его к тому же был плодом моей собственной фантазии, ибо в подобных пустяках я, как и положено щеголю, был до смешного привередлив. Поэтому, когда мистер Престон протянул мне плащ, что он поднял с полу у двери, я с удивлением, даже с ужасом, обнаружил, что мой плащ уже перекинут у меня через руку (без сомнения, я, сам того не заметив, схватил его), а тот, который мне протянули, в точности, до последней мельчайшей мелочи его повторяет.

Странный посетитель, который столь губительно меня разоблачил, был, помнится, закутан в плащ. Из всех собравшихся в тот вечер в плаще пришел только я. Сохраняя по возможности присутствие духа, я взял плащ, протянутый Престоном, незаметно кинул его поверх своего,

с видом разгневанным и вызывающим вышел из комнаты, а на другое утро, еще до свету, в муках стыда и страха поспешно отбыл из Оксфорда на континент.

Но бежал я напрасно! Мой злой гений, словно бы упиваясь своим торжеством, последовал за мной и явственно показал, что его таинственная власть надо мною только еще начала себя обнаруживать. Едва я оказался в Париже, как получил новое свидетельство бесившего меня интереса, который питал к моей судьбе этот Вильсон. Пролетали годы, а он все не оставлял меня в покое. Негодяй! В Риме — как невовремя и притом с какой беззастенчивой наглостью — он встал между мною и моей целью! То же и в Вене... а потом и в Берлине... и в Москве! Найдется ли такое место на земле, где бы у меня не было причин в душе его проклинать? От его загадочного деспотизма я бежал в страхе, как от чумы, но и на край света я бежал напрасно!

Опять и опять в тайниках своей души искал я ответа на вопросы: «Кто он?», «Откуда явился?», «Чего ему надобно?». Но ответа не было. Тогда я с величайшим тщанием проследил все формы, способы и главные особенности его неуместной опеки. Но и тут мне почти не на чем было строить догадки. Можно лишь было сказать, что во всех тех многочисленных случаях, когда он в последнее время становился мне поперек дороги, он делал это, чтобы расстроить те планы и воспрепятствовать тем поступкам, которые, удайся они мне, принесли бы истинное зло. Какое жалкое оправдание для власти, присвоенной столь дерзко! Жалкая плата за столь упрямое, столь оскорбительное посягательство на право человека поступать по собственному усмотрению!

Я вынужден был также заметить, что мучитель мой (по странной прихоти с тщанием и поразительной ловкостью совершенно уподобясь мне в одежде), постоянно разнообразными способами мешая мне действовать по собственной воле, очень долгое время ухитрялся ни разу не показать мне своего лица. Кем бы ни был Вильсон, уж это, во всяком случае, было с его стороны чистейшим актерством или же просто глупостью. Неужто он хоть на миг предположил, будто в моем советчике в Итоне, в

погубителе моей чести в Оксфорде, в том, кто не дал осуществиться моим честолюбивым притязаниям в Риме, моей мести в Париже, моей страстной любви в Неаполе или тому, что он ложно назвал моей алчностью в Египте, — будто в этом моем архивраге и злом гении я мог не узнать Вильяма Вильсона моих школьных дней, моего тезку, однокашника и соперника, ненавистного и внушающего страх соперника из заведения доктора Брэнсби? Не может того быть! Но позвольте мне поспешить к последнему, богатому событиями действию сей драмы.

До сих пор я безвольно покорялся этому властному господству. Благоговейный страх, с каким привык я относиться к этой возвышенной натуре, могучий ум, вездесущность и всецелое Вильсона вместе с вполне понятным ужасом, который внушали мне иные его черты и поступки, до сих пор заставляли меня полагать, будто я беспомощен и слаб, и приводили к тому, что я безоговорочно, хотя и с горькою неохотой подчинялся его деспотической воле. Но в последние дни я всецело предался вину; оно будоражило мой и без того беспокойный нрав, и я все нетерпеливей стремился вырваться из оков. Я стал роптать... колебаться... противиться. И неужто мне только чудилось, что чем тверже я держался, тем менее настойчив становился мой мучитель? Как бы там ни было, в груди моей загорелась надежда и вскормила в конце концов непреклонную и отчаянную решимость выйти из порабощения.

В Риме, во время карнавала 18... года я поехал на маскарад в палаццо неаполитанского герцога Ди Брельо. Я пил более обыкновенного; в переполненных залах стояла духота, и это безмерно меня раздражало. Притом было нелегко прокладывать себе путь в толпе гостей, и это еще усиливало мою досаду, ибо мне не терпелось отыскать (позволю себе не объяснять, какое недостойное побуждение двигало мною) молодую, веселую красавицу — жену одряхлевшего Ди Брельо. Забыв о скромности, она заранее сказала мне, какой на ней будет костюм, и, наконец заметив ее в толпе, я теперь спешил приблизиться к ней. В этот самый миг я ощутил легкое прикосновение руки к моему плечу и услышал проклятый незабываемый глухой шепот.

Обезумев от гнева, я стремительно оборотился к тому, кто так некстати меня задержал, и яростно схватил его за воротник.

Наряд его, как я и ожидал, в точности повторял мой: испанский плащ голубого бархата, стянутый у талии алым поясом, сбоку рапира. Лицо совершенно закрывала черная шелковая маска.

— Негодяй! — произнес я хриплым от ярости голосом и от самого слова этого распалился еще более.— Негодяй! Самозванец! Проклятый злодей! Нет, довольно, ты больше не будешь преследовать меня! Следуй за мной, не то я заколю тебя на месте! — И я кинулся из бальной залы в смежную с ней маленькую прихожую, я увлекал его за собою — и он ничуть не сопротивлялся.

Очутившись в прихожей, я в бешенстве оттолкнул его. Он пошатнулся и прислонился к стене, а я тем временем с проклятиями затворил дверь и приказал ему стать в позицию. Он заколебался было, но чрез мгновение с легким вздохом молча вытащил рапиру и встал в позицию.

Наш поединок длился недолго. Я был взбешен, разъярен, и рукою моей двигала энергия и сила, которой хватило бы на десятерых. В считанные секунды я прижал его к панели и, когда он таким образом оказался в полной моей власти, с кровожадной свирепостью несколько раз подряд пронзил его грудь рапирой.

В этот миг кто-то дернул дверь, запертую на задвижку. Я поспешил получше ее запереть, чтобы никто не вошел, и тут же вернулся к моему умирающему противнику. Но какими словами передать то изумление, тот ужас, которые объяли меня перед тем, что предстало моему взору? Короткого мгновения, когда я отвел глаза, оказалось довольно, чтобы в другом конце комнаты все переменялось. Там, где еще минуту назад я не видел ничего, стояло огромное зеркало — так, по крайней мере, мне почудилось в этот первый миг смятения; и когда я в неопишемом ужасе шагнул к нему, навстречу мне нетвердой походкой выступило мое собственное отражение, но с лицом бледным и обрызганным кровью.

Я сказал — мое отражение, но нет. То был мой противник — предо мною в муках погибал Вильсон. Маска

его и плащ валялись на полу, куда он их прежде бросил. И ни единой нити в его одежде, ни единой черточки в его приметном и своеобразном лице, которые не были бы в точности такими же, как у меня.

То был Вильсон; но теперь говорил он не шепотом; можно было даже вообразить, будто слова, которые я услышал, произнес я сам:

— Ты победил, и я покоряюсь. Однако отныне ты тоже мертв — ты погиб для мира, для небес, для надежды! Мною ты был жив, а убив меня,— взгляни на этот облик, ведь это ты,— ты бесповоротно погубил самого себя!



МЕТЦЕНГЕРШТЕЙН

Pestis eram vivus — moriens tua mors ero.

Martin Luther¹

Ужас и рок преследовали человека извечно. Зачем же в таком случае уточнять, когда именно сбылось то пророчество, к которому я обращаюсь? Достаточно будет сказать, что в ту пору, о которой пойдет речь, в самых недрах Венгрии еще жива и крепка была вера в откровения и таинства учения о переселении душ. О самих этих откровениях и таинствах, заслуживают ли они доверия или ложны, умолчу. Полагаю, однако, что недоверчивость наша (как говаривал Лабрюйер обо всех наших несчастьях, вместе взятых) в значительной мере «vient de ne pouvoir etre seule»^{2,3}.

Но в некоторых своих представлениях венгерская мистика придерживалась крайностей, почти уже абсурдных. Они, венгры, весьма существенно отличались от своих властителей с Востока. И они, например, утверждали: «Душа» (привожу дословно сказанное одним умнейшим и очень глубоким парижанином) «ne demeure qu'une seule fois dans un corps sensible: au reste — un cheval, un chien, un homme meme, n'est que la ressemblance peu tangible de ces animaux»⁴.

¹ При жизни был для тебя несчастьем; умирая, буду твоей смертью (лат.). Мартин Лютер.

² Проистекает от того, что мы не умеем быть одни (фр.).

³ Учение о метампсихозе решительно поддерживает Мерсье в «L'an deux mille quatre cent quarante», а И. Дизраэли говорит, что «нет ни одной другой системы, столь же простой и воспринятию которой наше сознание противилось бы так же слабо». Говорят, что ревностным поборником идеи метампсихоза был и полковник Итен Аллен, один из «ребят с Зеленой горы». — *Примеч. автора.*

⁴ Лишь один раз вселяется в живое пристанище, будь то лошадь, собака, даже человек, впрочем, разница между ними не так уж велика (фр.).

Распря между домами Берлифитцингов и Метценгерштейнов исчисляла свою давность веками. Никогда еще два рода столь же именитых не враждовали так люто и непримиримо. Первопричину этой вражды искать, кажется, следовало в словах одного древнего прорицания: «Страшен будет закат высокого имени, когда, подобно всаднику над конем, смертность Метценгерштейна восторжествует над бессмертием Берлифитцинга».

Конечно, сами по себе слова эти маловразумительны, если не бессмысленны вообще. Но ведь событиям столь же бурным случалось разыгрываться, и притом еще на нашей памяти, и от причин, куда более ничтожных. Кроме же всего прочего, смежность имений порождала раздоры, отражавшиеся и на государственной политике. Более того, близкие соседи редко бывают друзьями, а обитатели замка Берлифитцинг могли с бойниц своей твердыни смотреть прямо в окна дворца Метценгерштейн. Подобное же лицезрение неслыханной у обычных феодалов роскоши меньше всего могло способствовать умиротворению менее родовитых и менее богатых Берлифитцингов. Стоит ли удивляться, что при всей нелепости старого предсказания из-за него все же разгорелась неугасимая вражда между двумя родами, и без того всячески подстрекаемыми застарелым соперничеством и ненавистью. Пророчество это, если принимать его хоть сколько-нибудь всерьез, казалось залогом конечного торжества дома и так более могущественного, и, само собой, при мысли о нем слабейший и менее влиятельный бесновался все более злобно.

Вильгельм, граф Берлифитцинг, при всей его высокородности, был к тому времени, о котором идет наш рассказ, немощным, совершенно впавшим в детство старцем, не примечательным ровно ничем, кроме безудержной, закоснелой ненависти к каждому из враждебного семейства, да разве тем еще, что был столь завзятым лошадиником и так помешан на охоте, что при всей его дряхлости, преклонном возрасте и старческом слабоумии у него, бывало, что ни день, то снова лов.

Фредерик же, барон Метценгерштейн, еще даже не достиг совершеннолетия. Отец его, министр Г., умер совсем молодым. Мать, леди Мари, ненадолго пережила супруга.

Фредерику в ту пору шел восемнадцатый год. В городах восемнадцать лет — еще не возраст; но в дремучей глуши, в таких царственных дебрях, как их старое княжество, каждый взмах маятника куда полновесней.

В силу особых условий, оговоренных в духовной отцом, юный барон вступал во владение всем своим несметным богатством сразу же после кончины последнего. До него мало кому из венгерской знати доставались такие угодья. Замкам его не было счета. Но всех их затмевал своей роскошью и грандиозностью размеров дворец Метценгерштейн. Угодья его были немерены, и одна только граница дворцового парка тянулась целые пятьдесят миль, прежде чем замкнуться.

После вступления во владение таким баснословным состоянием господина столь юного и личности столь заметной недолго пришлось гадать насчет того, как он проявит себя. И верно, не прошло и трех дней, как наследник переиродил самого царя Ирода и положительно посрамил расчеты самых закрубелых из своих выдавших виды холопов. Гнусные бесчинства, ужасающее вероломство, неслыханные расправы очень скоро убедили его трепещущих вассалов, что никаким раболепством его не умилоставишь, а совести от него и не жди, и, стало быть, не может быть ни малейшей уверенности, что не попадешь в безжалостные когти местного Калигулы. На четвертую ночь запылали конюшни в замке Берлифитцинг, и стоустая молва по всей округе прибавила к страшному и без того списку преступлений и бесчинств барона еще и поджог.

Но пока длился переполох, поднятый этим несчастьем, сам юный вельможа сидел, видимо, весь уйдя в свои думы, в огромном, пустынном верхнем зале дворца Метценгерштейн. Бесценные, хотя и выцветшие от времени гобелены, хмуро смотревшие со стен, запечатлели темные, величественные лики доброй тысячи славных предков. Здесь прелаты в горностаевых мантиях и епископских митрах по-родственному держали совет с всеильным временщиком и сувереном о том, как не давать воли очередному королю, или именем папского всемогущества отражали скипетр сатанинской власти. Там высокие темные фигуры

князей Метценгерштейн на могучих боевых конях, скачущих по телам поверженных врагов, нагоняли своей злобной выразительностью страх на человека с самыми крепкими нервами; а здесь обольстительные фигуры дам невозвратных дней лебедями проплывали в хороводе какого-то неземного танца, и его напев, казалось, так и звучит в ушах.

Но пока барон прислушивался или старался прислушаться к оглушительному гаму в конюшнях Берлифитцинга или, может быть, замышлял уже какое-нибудь бесчинство поновей и еще отчаянней, взгляд его невзначай обратился к гобелену с изображением огромного коня диковинной масти, принадлежавшего некогда сарацинскому предку враждебного рода. Кошь стоял на переднем плане, замерев, как статуя, а чуть поодаль умирал его хозяин, заколотый кинжалом одного из Метценгерштейнов.

Когда Фредерик сообразил, наконец, на что невольно, сам собой обратился его рассеянный взгляд, губы его исказила дьявольская гримаса. Но оцепенение не прошло. Напротив, он и сам не мог понять, что за неодолимая тревога застигает, словно пеленой, все, что он видит и слышит. И нелегко ему было примирить свои дремотные, бессвязные мысли с сознанием, что все это творится с ним не во сне, а наяву. Чем больше присматривался он к этой сцене, тем невероятней казалось, что ему вообще удастся оторвать от нее глаза — так велика была притягательная сила картины. Но шум за стенами дворца вдруг стал еще сильнее, и когда он с нечеловеческим усилием заставил себя оторваться от картины, то увидел багровые отблески, которые горящие конюшни отбрасывали в окна дворцового зала.

Но, отвлекшись было на миг, его замороженный взгляд сразу послушно вернулся к той же стене. К его неописуемому изумлению и ужасу, голова коня-великана успела тем временем изменить свое положение. Шея коня, прежде выгнутая дугой, когда он, словно скорбя, склонял голову над простертым телом своего повелителя, теперь вытянулась во всю длину по направлению к барону. Глаза, которых прежде не было видно, смотрели теперь настой-

чиво, совсем как человеческие, пылая невиданным кровавым огнем, а пасть разъяренной лошади вся ощерилась, скаля жуткие, как у мертвеца, зубы.

Пораженный ужасом, барон неверным шагом устремился к выходу. Едва только он распахнул дверь, ослепительный красный свет, сразу заливший весь зал, отбросил резкую, точно очерченную тень барона прямо на заколыхавшийся гобелен, и он содрогнулся, заметив, что тень его в тот миг, когда он замешкался на пороге, в точности совпала с контуром безжалостного, ликующего убийцы, сразившего сарацина Берлифитцинга.

Чтобы рассеяться, барон поспешил на свежий воздух. У главных ворот он столкнулся с тремя конюхами. Выбываясь из сил, несмотря на смертельную опасность, они удерживали яростно вырывающегося коня огненно-рыжей масти.

— Чья лошадь? Откуда? — спросил юноша резким, но вдруг сразу охрипшим голосом, ибо его тут же осенило, что это бешеное животное перед ним — живой двойник загадочного скакуна в гобеленовом зале.

— Она ваша, господин, — отвечал один из конюхов, — во всяком случае другого владельца пока не объявилось. Мы переняли ее, когда она вылетела из горящих конюшен в замке Берлифитцинг — вся взмыленная, словно взбесилась. Решив, что это конь из выводных скакунов с графского завода, мы отвели было его назад. Но тамошние конюхи говорят, что у них никогда не было ничего похожего, и это совершенно непонятно — ведь он чудом уцелел от огня.

— Отчетливо видны еще и буквы «В. Ф. Б», выжженные на лбу, — вмешался второй конюх, — я решил, что они безусловно обозначают имя: «Вильгельм фон Берлифитцинг», но все в замке в один голос уверяют, что лошадь не их.

— Весьма странно! — заметил барон рассеянно, явно думая о чем-то другом. — А лошадь, действительно, великолепна, чудо, что за конь! Хотя, как ты правильно заметил, норовиста, с такой шутки плохи; что ж, ладно, — беру, — прибавил он, помолчав, — такому ли наезднику, как Фредерик Метценгерштейн, не объездить хоть самого черта с конюшен Берлифитцинга!

— Вы ошибаетесь, господин; лошадь, как мы, помнится, уже докладывали, не из графских конюшен. Будь оно так, уж мы свое дело знаем и не допустили бы такой оплошности, не рискнули бы показаться с ней на глаза никому из благородных представителей вашего семейства.

— Да, конечно,— сухо обронил барон, и в тот же самый миг к нему, весь красный от волнения, подлетел слуга, примчавшийся со всех ног из дворца. Он зашептал на ухо господину, что заметил исчезновение куса гобелена. И принялся сообщать какие-то подробности, но говорил так тихо, что изнывающие от любопытства конюхи не расслышали ни слова.

В душе у барона, пока ему докладывали, казалось, царила полнейшая сумятица. Скоро он, однако, овладел собой; на лице его появилось выражение злобной решимости, и он распорядился сейчас же запереть зал, а ключ передать ему в собственные руки.

— Вы уже слышали о жалком конце старого охотника Берлифитцинга? — спросил кто-то из вассалов, когда слуга скрылся, а огромного скакуна, которого наш вельможа только что приобщил к своей собственности, уже вели, беснующегося и рвущегося, по длинной аллее от дворца к конюшням.

— Нет! — отозвался барон, резко повернувшись к спросившему. — Умер? Да что вы говорите!

— Это так, ваша милость, и для главы вашего семейства это, по-моему, не самая печальная весть.

Мимолетная улыбка скользнула по губам барона:

— И как же он умер?

— Он бросился спасать своих любимцев из охотничьего выезда и сам сгорел.

— В са-мом де-ле! — протянул барон, который, казалось, медленно, но верно проникался сознанием правильности какой-то своей догадки.

— В самом деле, — повторил вассал.

— Прискорбно! — сказал юноша с полным равнодушием и не спеша повернул во дворец.

С того самого дня беспутного юного барона Фредерика фон Метценгерштейна словно подменили. Правда, его теперешний образ жизни вызывал заметное разочаро-

вание многих хитроумных маменек, но еще меньше его новые замашки вязались с понятиями аристократических соседей. Он не показывался за пределами своих владений, и на всем белом свете не было у него теперь ни друга, ни приятеля, если, правда, не считать той непонятной, неукротимой огненно-рыжей лошади, на которой он теперь разъезжал постоянно и которая, единственная, по какому-то загадочному праву именовалась его другом.

Однако еще долгое время бесчисленные приглашения от соседей сыпались ежедневно. «Не окажет ли барон нашему празднику честь своим посещением?..», «Не соизволит ли барон принять участие в охоте на кабана?». «Метценгерштейн не охотится», «Метценгерштейн не прибудет»,— был высокомерный и краткий ответ.

Для заносчивой знати эти бесконечные оскорбления были нестерпимы. Приглашения потеряли сердечность, становились все реже, а со временем прекратились совсем. По слухам, вдова злополучного графа Берлифитцинга высказала даже уверенность, что «барон, видимо, отсиживается дома, когда у него нет к тому ни малейшей охоты, так как считает общество равных ниже своего достоинства; и ездит верхом, когда ему совсем не до езды, так как предпочитает водить компанию с лошадьёю». Это, разумеется, всего лишь нелепый образчик вошедшего в семейный обычай злословия, и только то и доказывает, какой бессмыслицей могут обернуться наши слова, когда нам неимется высказаться повыразительней.

Люди же более снисходительные объясняли внезапную перемену в поведении молодого вельможи естественным горем безвременно осиротевшего сына, забыв, однако, что его зверства и распутство начались чуть ли не сразу же после этой утраты. Были, конечно, и такие, кто высказывал, не обинуясь, мысль о самомнении и надменности. А были еще и такие — среди них не мешаает упомянуть домашнего врача Метценгерштейнов,— кто с полным убеждением говорил о черной меланхолии и нездоровой наследственности; среди черни же в ходу были неясные догадки еще более нелестного толка.

Действительно, ни с чем не сообразное пристрастие барона к его новому коню, пристрастие, которое словно

бы переходило уже в одержимость от каждого нового проявления дикости и дьявольской свирепости животного, стало в конце концов представляться людям благоразумным каким-то чудовищным и совершенно противоестественным извращением. В полуденный зной или в глухую ночную пору, здоровый ли, больной, при ясной погоде или в бурю, юный Метценгерштейн, казалось, был прикован к седлу этой огромной лошади, чья безудержная смелость была так под стать его нраву.

Были также обстоятельства, которые вкупе с недавними событиями придавали этой мании наездника и невиданной мощи коня какой-то мистический, зловещий смысл. Замерив аккуратнейшим образом скачок лошади, установили, что действительная его длина превосходит самые невероятные предположения людей с самым необузданным воображением настолько, что разница эта просто не укладывается в уме. Да к тому же еще барон держал коня, так и не дав ему ни имени, ни прозвища, а ведь все его лошади до единой носили каждая свою и всегда меткую кличку. Конюшня ему тоже была отведена особая, поодаль от общих; а что же касается ухода за конем, то ведь никто, кроме самого хозяина, не рискнул бы не то что подступить к коню, а хотя бы войти к нему в станок, за ограду. Не осталось без внимания также и то обстоятельство, что перенять-то его, когда он вырывался с пожараща у Берлифитцинга, трое конюхов переняли, обратав его арканом и цепною уздой, но ни один из них не мог сказать, не покривив душой, что во время отчаянной схватки или после ему удалось хотя бы тронуть зверя. Не стоит приводить в доказательство поразительного ума, проявленного благородным и неприступным животным, примеры, тешившие праздное любопытство. Но были и такие подробности, от которых становилось не по себе самым отъявленным скептикам и людям, которых ничем не проймешь; и рассказывали, будто временами лошадь начинала бить землю копытом с такой зловещей внушительностью, что толпа зевак, собравшихся вокруг поглазеть, в ужасе кидалась прочь,— будто тогда и сам юный Метценгерштейн бледнел и шарахался от быстрого, пытливого взгляда ее человеческих глаз.

Однако из всей челяди барона не было никого, кто усомнился бы в искренности восхищения молодого вельможи бешеным нравом диковинного коня,— таких не водилось, разве что убогий уродец паж, служивший общим посмешищем и мнения которого никто бы и слушать не стал. Он же (если его догадки заслуживают упоминания хотя бы мимоходом) имел наглость утверждать, будто хозяин, хотя это и не всякому заметно со стороны, каждый раз, вскакивая в седло, весь дрожит от безотчетного ужаса, а после обычной долгой проскачки возвращается каждый раз с лицом, перекошенным от злобного ликования.

Однажды, ненастной ночью, пробудившись от глубокого сна, Метценгерштейн с упорством маньяка вышел из спальни и, стремительно вскочив в седло, поскакал в дремучую лесную чащу. Это было делом настолько привычным, что никто и не обратил на отъезд барона особого внимания, но домочадцы всполошились, когда через несколько часов, в его отсутствие высокие, могучие зубчатые стены твердыни Метценгерштейнов вдруг начали давать трещины и рушиться до основания под напором могучей лавины синевато-багрового огня, справиться с которым нечего было и думать.

Так как пожар заметили, когда пламя успело разгореться уже настолько, что отстоять от огня хотя бы малую часть здания было уже делом явно безнадежным, то пораженным соседям оставалось лишь безучастно стоять кругом в немом, если не сказать благоговейном изумлении. Но вскоре новое страшное явление заставило все это сборище тут же забыть о пожаре, засвидетельствовав тем самым, насколько увлекательней для толпы вид человеческих страданий, чем самые захватывающие зрелища разгула стихий.

В дальнем конце длинной аллеи вековых дубов, которая вела из леса к парадному подъезду дворца Метценгерштейн, показался скакун, мчащий всадника с непокрытой головой и в растерзанной одежде таким бешеным галопом, что за ним не угнаться бы и самому Князю Тьмы.

Лошадь несла, уже явно не слушаясь всадника. Искривленное мукой лицо, сведенное судорогой тело говорили о нечеловеческом напряжении всех сил; но, кроме одного-

единственного короткого вскрика, ни звука не сорвалось с истерзанных, искусанных в бессильной ярости губ. Миг — и громкий, настойчивый перестук копыт покрыл рев пламени и завывания ветра; еще мгновение — и скакун единым махом пролетел в ворота и через ров, мелькнул по готовой вот-вот рухнуть дворцовой лестнице и сгинул вместе с всадником в огненном смерче.

И сразу же унялась ярость огненной бури, мало-помалу все стихло. Белесое пламя еще облекало саваном здание и, струясь в мирную заоблачную высь, вдруг вспыхнуло, засияло нездешним светом, и тогда тяжело нависшая над зубчатыми стенами туча дыма приняла явственные очертания гигантской фигуры коня.



НИЗВЕРЖЕНИЕ В МАЛЬСТРЕМ

Пути Господни в Природе и в Предначертаниях — не наши пути, и уподобления, к которым мы прибегаем, никоим образом несоизмеримы с необъятностью, неисчерпаемостью и непостижимостью его деяний, глубина коих превосходит глубину Демокритова колодца.

Джозеф Гленвилл

Мы очутились на вершине самой высокой скалы. В течение нескольких минут старик, по-видимому, не мог говорить от изнеможения.

— Еще не так давно, — наконец промолвил он, — я мог бы провести вас по этой тропе с такой же легкостью, как мой младший сын; но без малого три года тому назад со мной случилось происшествие, какого еще никогда не выпадало на долю смертного, и уж, во всяком случае, я думаю, нет на земле человека, который, пройдя через такое испытание, остался бы жив и мог рассказать о нем. Шесть часов пережитого мною смертельного ужаса сломили мой дух и мои силы. Вы думаете, я глубокий старик, но вы ошибаетесь. Меньше чем за один день мои волосы, черные как смоль, стали совсем седыми, тело мое ослабло и нервы до того расшатались, что я дрожу от малейшего усилия и пугаюсь тени. Вы знаете, стоит мне только поглядеть вниз с этого маленького утеса, и у меня сейчас же начинает кружиться голова.

«Маленький утес», на краю которого он так непри-
нужденно разлегся, что большая часть его тела оказа-
лась на весу, держалась только тем, что он опирался
локтем на крутой и скользкий выступ, — этот «маленький

утес» поднимался над пропастью прямой, отвесной глянцеви́то-черной каменной глыбой футов на полтора́ста выше гряды скал, теснившихся под нами. Ни за что на свете не осмелился бы я подойти хотя бы на пять-шесть шагов к его краю. Признаюсь, что рискованная поза моего спутника повергла меня в такое смятение, что я бросился ничком на землю и, уцепившись за торчавший около меня кустарник, не решался даже поднять глаза. Я не мог отделаться от мысли, что вся эта скалистая глыба может вот-вот обрушиться от бешеного натиска ветра. Прошло довольно много времени, прежде чем мне удалось несколько овладеть собой и я обрел в себе мужество приподняться, сесть и оглядеться кругом.

— Будет вам чудить, — сказал мой проводник, — ведь я вас только затем и привел сюда, чтобы показать место того происшествия, о котором я говорил, потому что, если вы хотите послушать эту историю, надо, чтобы вся картина была у вас перед глазами.

— Мы сейчас находимся, — продолжал он с той же неизменной обстоятельностью, коей отличался во всем, — над самым побережьем Норвегии, на шестьдесят восьмом градусе широты, в обширной области Нордланд, в суровом краю Лофодена. Гора, на вершине которой мы с вами сидим, называется Хмурый Хельсегген. Теперь поднимитесь-ка немножко повыше — держитесь за траву, если у вас кружится голова, вот так, — и посмотрите вниз, вон туда, за полосу туманов под нами, в море.

Я посмотрел, и у меня потемнело в глазах: я увидел широкую гладь океана такого густого черного цвета, что мне невольно припомнилось *Mare Tenebrarum*¹, в описании нубийского географа. Нельзя даже и вообразить себе более безотрадное, более мрачное зрелище. Направо и налево, насколько мог охватить глаз, простирались гряды отвесных чудовищно-черных нависших скал, как бы заслонивших весь мир. Их зловеющая чернота казалась еще чернее из-за бурунов, которые, высоко вздыбливая свои белые страшные гребни, обрушивались на них с немолчным ревом и воем. Прямо против мыса, на вершине

¹ Море мрака (лат.).

которого мы находились, в пяти-шести милях от берега, виднелся маленький плоский островок; вернее было бы сказать, что вы угадывали этот островок по яростному клочкотанию волн, вздымавшихся вокруг него. Миля на две поближе к берегу виднелся другой островок, поменьше, чудовищно изрезанный, голый и окруженный со всех сторон выступающими там и сям темными зубцами скал.

Поверхность океана на всем пространстве между дальним островком и берегом имела какой-то необычайный вид. Несмотря на то, что ветер дул с моря с такой силой, что небольшое судно, двигавшееся вдалеке под глухо зарифленным триселем, то и дело пропадало из глаз, зарываясь всем корпусом в волны, все же это была не настоящая морская зыбь, а какие-то короткие, быстрые, гневные всплески во все стороны — и по ветру, и против ветра. Пены почти не было, она бурлила только у самых скал.

— Вот тот дальний островок,— продолжал старик, — зовется у норвежцев Вург. Этот, поближе, — Моске. Там, на милю к северу,— Амбаарен. Это Ифлезен, Гойхольм, Килдхольм, Суарвен и Букхольм. Туда подальше, между Моске и Бургом,— Отгерхольм, Флимен, Сандфлезен и Скархольм. Вот вам точные названия этих местечек, но зачем их, в сущности, понадобилось как-то называть, этого ни вам, ни мне уразуметь не дано. Вы слышите что-нибудь? Не замечаете вы никакой перемены в воде?

Мы уже минут десять находились на вершине Хельсеггена, куда поднялись из внутренней части Лофодена, так что мы только тогда увидели море, когда оно внезапно открылось перед нами с утеса. Старик еще не успел договорить, как я услышал громкий, все нарастающий гул, похожий на рев огромного стада буйволов в американской прерии; в ту же минуту я заметил, что эти всплески на море, или, как говорят моряки, «сечка», стремительно перешли в быстрое течение, которое неслось на восток. У меня на глазах (в то время как я следил за ним) это течение приобретало чудовищную скорость. С каждым мгновением его стремительность, его напор возрастали. В какие-нибудь пять минут все море до самого Вурга заклокотало в неукротимом бешенстве, но сильнее всего оно

бушевало между Моске и берегом. Здесь водная ширь, изрезанная, изрубцованная тысячью встречных потоков, вдруг вздыбившись в неистовых судорогах, шипела, бурлила, свистела, закручивалась спиралью в бесчисленные гигантские воронки и вихрем неслась на восток с такой невообразимой быстротой, с какой может низвергаться голько водопад с горной кручи.

Еще через пять минут вся картина снова изменилась до неузнаваемости. Поверхность моря стала более гладкой, воронки одна за другой исчезли, но откуда-то появились громадные полосы пены, которых раньше совсем не было. Эти полосы разрастались, охватывая огромное пространство, и, сливаясь одна с другой, вбирали в себя вращательное движение осевших водоворотов, словно готовясь стать очагом нового, более обширного. Неожиданно — совсем неожиданно — он вдруг выступил совершенно отчетливым и явственным кругом, диаметр которого, пожалуй, превышал полмили. Водоворот этот был опоясан широкой полосой сверкающей пены; но ни один клочок этой пены не залетал в пасть чудовищной воронки: внутренность ее, насколько в нее мог проникнуть взгляд, представляла собой гладкую, блестящую, черную, как агат, водяную стену с наклоном к горизонту под углом примерно в сорок пять градусов, которая бешено вращалась стремительными судорожными рывками и оглашала воздух таким душераздирающим воем — не то воплем, не то ревом, — какого даже могучий водопад Ниагары никогда не воссылает к небесам.

Гора содрогалась до самого основания, и утес колебался. Я приник лицом к земле и в невыразимом смятении вцепился в чахлую траву.

— Это, конечно, и есть, — прошептал я, обращаясь к старику, — великий водоворот Мальстрем?

— Так его иногда называют, — отозвался старик. — Мы, норвежцы, называем его Москестрем — по имени острова Моске, вон там, посредине.

Обычные описания этого водоворота отнюдь не подготовили меня к тому, что я теперь видел. Описание Ионаса Рамуса, пожалуй, самое подробное из всех, не дает ни малейшего представления ни о величии, ни о грозной

красоте этого зрелища, ни о том непостижимо захватывающем ощущении необычности, которое потрясает зрителя. Мне не совсем ясно, откуда наблюдал автор это явление и в какое время, — во всяком случае, не с вершины Хельсеггена и не во время шторма. Некоторые места из его описания стоит привести ради кое-каких подробностей, но язык его так беден, что совершенно не передает впечатления от этого страшного котла.

«Между Лофоденом и Моске, — говорит он, — глубина океана доходит до тридцати шести — сорока морских саженей; но по другую сторону, к Вургу, она настолько уменьшается, что здесь нет сколько-нибудь безопасного прохода для судов и они всегда рискуют разбиться о камни даже при самой тихой погоде. Во время прилива течение между Лофоденом и Моске бурно устремляется к берегу, но оглушительный гул, с которым оно во время отлива несется обратно в море, едва ли может сравниться даже с шумом самых мощных водопадов. Гул этот слышен за несколько десятков километров, а глубина и размеры образующихся здесь ям или воронок таковы, что судно, попадающее в сферу их притяжения, неминуемо захватывается водоворотом, идет ко дну и там разбивается о камни; когда море утихает, обломки выносит на поверхность. Но это затишье наступает только в промежутке между приливом и отливом в спокойную погоду и продолжается всего четверть часа, после чего волнение снова постепенно нарастает. Когда течение бушует и ярость его еще усиливается штормом, опасно приближаться к этому месту на расстояние норвежской мили¹. Шхуны, яхты, корабли, вовремя не заметившие опасности, погибают в пучине. Часто случается, что киты, очутившиеся слишком близко к этому котлу, становятся жертвой яростного водоворота; и невозможно описать их неистовое мычание и рев, когда они тщетно пытаются выплыть. Однажды медведя, который плыл от Лофодена к Моске, затянуло в воронку, и он так ревел, что рев его был слышен на берегу. Громадные стволы сосен и елей, поглощенные течением, выносит обратно в таком растерзанном

¹ Норвежская миля — 11295 метров.

виде, что щепы на них торчат, как щетина. Это, несомненно, указывает на то, что дно здесь покрыто острыми рифами, о которые и разбивается все, что попадает в крутящийся поток. Водоворот этот возникает в связи с приливом и отливом, которые чередуются каждые шесть часов. В 1645 году, рано утром в вербное воскресенье, он бушевал с такой силой и грохотом, что от домов, стоящих на берегу, не осталось камня на камне».

Что касается глубины, я не представляю себе, каким образом можно было определить ее в непосредственной близости к воронке. «Сорок саженей» указывают, по-видимому, на глубину прохода возле берегов Моске или Лофодена. Глубина в середине течения Москестрема, конечно, неизмеримо больше. И для этого не требуется никаких доказательств: достаточно бросить хотя бы один беглый взгляд в пучину водоворота с вершины Хельсеггена. Глядя с этого утеса на ревуший внизу Флегетон, я не мог не улыбнуться тому простодушию, с каким почтенный Ионас Рамус рассказывает, как о чем-то мало-правдоподобном, о случаях с китами и медведями, ибо мне, признаться, казалось совершенно очевидным, что самый крупный линейный корабль, очутившись в пределах смертоносного притяжения, мог бы противиться ему не больше, чем перышко — урагану, и был бы мгновенно поглощен водоворотом.

Попытки объяснить это явление казались мне, насколько я их помню, довольно убедительными. Но теперь я воспринял их совсем по-другому, и они отнюдь не удовлетворяли меня. По общему признанию, этот водоворот, так же как и три других небольших водоворота между островами Фере, обязан своим происхождением не чему иному, как столкновению волн, которые, во время прилива и отлива сдавленные между грядами скал и рифов, яростно взмываются вверх и обрушиваются с неистовой силой; таким образом, чем выше водяной столб, тем больше глубина его падения, и естественным результатом этого является воронка, или водоворот, удивительная способность всасывания коего достаточно изучена на менее грандиозных примерах. Вот что говорится по этому поводу в Британской энциклопедии. Кирхер и другие считают, что

в середине Мальстрема имеется бездонная пропасть, которая выходит по ту сторону земного шара, в какой-нибудь отдаленной его части, например, в Ботническом заливе, как определенно утверждают мне. Это само по себе нелепое утверждение сейчас, когда вся картина была у меня перед глазами, казалось мне вполне правдоподобным, но, когда я обмолвился об этом моему проводнику, я с удивлением услышал от него, что, хотя почти все норвежцы и придерживаются этого мнения, он сам не разделяет его. Что же касается приведенного выше объяснения, он просто сознался, что не в состоянии этого понять; и я согласился с ним, потому что, как оно ни убедительно на бумаге, здесь, перед этой ревущей пучиной, оно кажется невразумительным и даже нелепым.

— Ну, вы достаточно нагляделись на водоворот,— сказал старик,— так вот теперь, если вы осторожно обогнете утес и сядете здесь, с подветренной стороны, где не так слышен этот рев, я расскажу вам одну историю, которая убедит вас, что я-то кое-что знаю о Москестреме...

Я примостился там, где он мне посоветовал, и он приступил к рассказу:

— Я и двое моих братьев владели когда-то сообща хорошо оснащенный парусным судном, тонн этак на семьсот, и на этом паруснике мы обычно отправлялись ловить рыбу к островам за Моске, ближе к Вургу. Во время бурных приливов в море всегда бывает хороший улов, надо только выбрать подходящую минуту и иметь достаточно мужества, чтобы не упустить ее; однако изо всех лофоденских рыбаков только мы трое ходили промыслять к островам. Обычно лов рыбы производится значительно ниже, к югу, где можно безо всякого риска рыбачить в любое время,— поэтому все и предпочитают охотиться там. Но здесь, среди скал, были кое-какие местечки, где мало того что водилась разная редкая рыба, но и улов был много богаче, так что нам иногда удавалось за один день наловить столько, сколько люди более робкого десятка не добывали и за неделю. Словом, это было своего рода отчаянное предприятие: вместо того чтобы вкладывать в него труд, мы рисковали головой, отвага заменяла нам капитал.

Мы держали наш парусник в небольшой бухте, примерно миль на пять выше отсюда по побережью, и обычно в хорошую погоду, пользуясь затишьем, которое длилось четверть часа, мы пересекали главное течение Мальстрема, намного выше водоворота, и бросали якорь где-нибудь около Оттерхольма или Сандфлезена, где не так бушует прибой. Мы оставались здесь, пока снова не наступало затишье, и тогда, снявшись с якоря, возвращались домой. Мы никогда не пускались в это путешествие, если не было надежного бейдевинда (такого, за который можно было поручиться, что он не стихнет до нашего возвращения), и редко ошибались в наших расчетах. За шесть лет мы только два раза вынуждены были простоять ночь на якоре из-за мертвого штиля — явление поистине редкое в здешних местах; а однажды нам пришлось целую неделю задержаться на промысле, и мы чуть не подошли с голоду, потому что, едва только мы прибыли на лов, как поднялся шторм и нечего было даже думать о том, чтобы пересечь разбушевавшееся течение. Нас бы, конечно, все равно унесло в море, потому что шхуну так швыряло и крутило, что якорь запутался и волочился по дну; но, к счастью, мы попали в одно из перекрестных течений — их много здесь, нынче оно тут, а завтра нет, — и оно прибило нас к острову Флимен, где нам удалось стать на якорь.

Я не могу описать и двадцатую долю тех затруднений, с которыми нам приходилось сталкиваться на промысле (скверное это место даже и в тихую погоду). Однако мы ухитрялись всегда благополучно миновать страшную пропасть Москестрема; хотя, признаюсь, у меня иной раз душа уходила в пятки, когда нам случалось очутиться в его водах на какую-нибудь минуту раньше или позже затишья. Бывало, что ветер оказывался слабее, чем нам казалось, когда мы выходили на лов, и наш парусник двигался не так быстро, как нам хотелось, а управлять им мешало течение. У моего старшего брата был сын восемнадцати лет, и у меня тоже было двое здоровых молодцов. Они, разумеется, были бы нам большой подмогой в таких случаях — и на веслах, да и во время лова, — но, хотя сами мы всякий раз шли на риск, у нас не хватало

духу подвергать опасности жизнь наших детей, потому что, сказать правду, это была смертельная опасность.

Через несколько дней исполнится три года с тех пор, как произошло то, о чем я вам хочу рассказать. Это случилось десятого июля 18.. года. Жители здешних мест никогда не забудут этого дня, ибо такого страшного урагана, какой свирепствовал в тот день, еще никогда не посылали небеса. Однако все утро и после полудня дул мягкий устойчивый юго-западный ветер и солнце светило ярко, так что самый что ни на есть старожил из рыбаков не мог предугадать того, что случилось.

Около двух часов пополудни мы втроем — два моих брата и я — пристали к островам и очень скоро нагрузили нашу шхуну превосходной рыбой, которая в этот день, как мы все заметили, шла в таком изобилии, как никогда. Было ровно семь по моим часам, когда мы снялись с якоря и пустились в обратный путь, чтобы пересечь опасное течение Стрема в самое затишье, а оно, как мы хорошо знали, должно было наступить в восемь часов.

Мы вышли под свежим ветром, который нас подгонял с штирборта, и некоторое время быстро двигались вперед, не думая ни о какой опасности, потому что и в самом деле не видели никаких причин для опасений. Вдруг ни с того ни с сего навстречу нам подул ветер с Хельсеггена. Это было что-то совсем необычное, никогда такого не бывало, и мне, сам не знаю почему, стало как-то не по себе. Мы поставили паруса под ветер, но все равно не двигались с места из-за встречного течения, и я уже собирался было предложить братьям повернуть обратно и стать на якорь, но в эту минуту, оглянувшись, мы увидели, что над горизонтом нависла какая-то необыкновенная, совершенно медная туча, которая росла с невероятной быстротой. Между тем налетевший на нас спереди ветер утих, наступил мертвый штиль, и нас только мотало во все стороны течением. Но это продолжалось так недолго, что мы даже не успели подумать, что бы это значило. Не прошло и минуты, как на нас налетел шторм, еще минута — небо заволочло, море вспенилось, и внезапно наступил такой мрак, что мы перестали видеть друг друга. Бессмысленно и пытаться описать этот ураган. Ни один из самых ста-

рых норвежских моряков не видал ничего подобного. Мы успели убрать паруса, прежде чем на нас налетел шквал, но при первом же порыве ветра обе наши мачты рухнули за борт, будто их спилили, и грот-мачта увлекла за собой моего младшего брата, который привязал себя к ней из предосторожности.

Наше судно отличалось необыкновенной легкостью, оно скользило по волнам, как перышко. Палуба у него была сплошного настила, с одним только небольшим люком в носовой части; этот люк мы обычно задраивали, перед тем как переправляться через Стрем, чтобы нас не захлестнуло «сечкой». И если бы не эта предосторожность, то мы сразу пошли бы ко дну, потому что на несколько секунд совершенно зарылись в воду.

Каким образом мой старший брат избежал гибели, я не могу сказать, мне не пришлось его об этом спросить. А я, как только у меня вырвало из рук фок, бросился ничком на палубу и, упершись ногами в планшир, уцепился что было сил за рымболт у основания фок-мачты. Конечно, я это сделал совершенно инстинктивно, — и это лучшее, что я мог сделать, потому что в ту минуту я не был способен думать.

На несколько секунд, как я уже вам говорил, нас совершенно затопило, и я лежал не дыша, цепляясь обеими руками за рым. Когда я почувствовал, что силы изменяют мне, я приподнялся на колени, не выпуская кольца из рук, и голова моя оказалась над водой. В это время наше суденышко встряхнулось, точь-в-точь как пес, выскочивший из воды, и каким-то образом нас вынесло наверх. Я был точно в столбняке, но изо всех сил старался овладеть собой и сообразить, что мне делать, как вдруг кто-то схватил меня за руку. Оказалось, это мой старший брат, и я страшно обрадовался, потому что я ведь уже был уверен, что его смыло за борт. Но радость моя мгновенно сменилась ужасом, когда он, приблизив губы к моему уху, выкрикнул одно слово: «Москестрем!» Нельзя передать, что почувствовал я в эту минуту. Я затрясся с головы до ног, точно в каком-то страшном лихорадочном ознобе. Я хорошо понял, что означало в его устах это одно-единственное слово. Ветер гнал нас вперед, прямо к водовороту Стрема, и ничто не могло нас спасти.

Вы понимаете, что обычно, пересекая течение Стрема, мы всегда старались держаться как можно выше, подальше от водоворота, даже в самую тихую погоду, и при этом зорко следили за началом затишья, а теперь нас несло в самый котел, да еще при таком урагане. «Но ведь мы, наверно, попадем туда в самое затишье, — подумал я. — Есть еще маленькая надежда». И тут же обругал себя: только сумасшедший мог на что-то надеяться.

К этому времени первый бешеный натиск шторма утих, или, может быть, мы не так ощущали его, потому что ветер дул нам в корму, но зато волны, которые сперва ложились низко, прибитые ветром, и только пенились, теперь вздыбились и превратились в целые горы... В небе также произошла какая-то странная перемена. Кругом со всех сторон оно было черное, как деготь, и вдруг прямо у нас над головой прорвалось круглое оконце, и в этом внезапном просвете чистой, ясной, глубокой синевы засияла полная луна таким ярким светом, какого я никогда в жизни не видывал. Она озарила все кругом, и все выступило с необыкновенной отчетливостью. О Боже, какое зрелище осветила она своим сиянием!

Я несколько раз пытался заговорить с братом, но непонятно почему, шум до такой степени усилился, что, как я ни старался, он не мог расслышать ни одного слова, несмотря на то, что я изо всех сил кричал ему прямо в ухо. Вдруг он покачал головой и, бледный как смерть, поднял палец, словно желая сказать: «Слушай!»

Сперва я не мог понять, на что он хочет обратить мое внимание, но тотчас же у меня мелькнула страшная мысль. Я вытащил из кармана часы, поднял их на свет и поглядел на циферблат. Они остановились в семь часов! Мы пропустили время затишья, и водоворот Стрема сейчас бушевал всюю.

Если судно сбито прочно, хорошо оснащено и не слишком нагружено, при сильном шторме в открытом море волны всегда словно выскальзывают из-под него; людям, непривычным к морю, это кажется странным, а у нас на морском языке это называется «оседлать волны».

Так вот, до сих пор мы очень благополучно «держались в седле», как вдруг огромная волна подхватила нас

прямо под корму и, взметнувшись, потащила вверх, выше, выше, словно в самое небо. Я бы никогда не поверил, что волна может так высоко подняться. А потом, крутясь и скользя, мы стремглав полетели вниз, так что у меня захватило дух и потемнело в глазах, будто я падал во сне с высокой-высокой горы. Но, пока мы еще были наверху, я успел бросить взгляд по сторонам, и одного этого взгляда было достаточно. Я тотчас же понял, где мы находимся. Водоворот Москестрема лежал прямо перед нами, на расстоянии всего четверти мили, но он был так непохож на обычный Москестрем, как вот этот водоворот, который вы видите, на мельничный ручей. Если бы я еще раньше не догадался, где мы и к чему мы должны быть готовы, я бы не узнал этого места. И я невольно закрыл глаза от ужаса. Веки мои сами собой судорожно сомкнулись.

Прошло не больше двух-трех минут, как вдруг мы почувствовали, что волны отхлынули и нас обдает пеной. Судно круто повернуло на левый борт и стремительно рванулось вперед. В тот же миг оглушительный грохот волн совершенно потонул в каком-то пронзительном свисте, — представьте себе несколько тысяч пароходов, которые все сразу вместе гудят, выпуская пары. Мы очутились теперь в полосе пены, всегда окружающей водоворот, и я подумал, что нас, конечно, сейчас швырнет в бездну, которую мы только смутно различали, потому что кружили над ней с невероятной быстротой. Шхуна наша как будто совсем не погружалась в воду, а скользила, как пузырь, по поверхности зыби. Правый борт был обращен к водовороту, а слева громоздился необъятный, покинутый нами океан. Он высился подобно огромной стене, которая судорожно вздыбливалась между нами и горизонтом.

Это может показаться странным, но теперь, когда мы уже очутились в самой пасти водяной бездны, я был спокойнее, чем тогда, когда мы еще только приближались к ней. Сказав себе, что надеяться не на что, я почти избавился от того страха, который так парализовал меня вначале. Должно быть, отчаяние взвинтило мои нервы.

Можно подумать, что я хвастаюсь, но я вам говорю правду: мне представлялось, как это должно быть величественно — погибнуть такой смертью, и как безрассуд-

но перед столь чудесным проявлением всемогущества Божьего думать о таком пустяке, как моя собственная жизнь. Мне кажется, я даже вспыхнул от стыда, когда эта мысль мелькнула у меня в голове. Спустя некоторое время мысли мои обратились к водовороту, и мной овладело чувство жгучего любопытства. Меня положительно тянуло проникнуть в его глубину, и мне казалось, что для этого стоит пожертвовать жизнью. Я только очень сожалел о том, что никогда уже не смогу рассказать старым товарищам, оставшимся на суше, о тех чудесах, которые увижу. Конечно, это странно, что у человека перед лицом смерти возникают такие нелепые фантазии; я потом часто думал, что, может быть, это бесконечное кружение над бездной несколько помutilo мой разум.

Было, между прочим, еще одно обстоятельство, которое помогло мне овладеть собой: это отсутствие ветра, теперь не достигавшего нас. Как вы сами видели, полоса пены находится значительно ниже уровня океана — он громоздился над нами высокой, черной, необозримой стеной. Если вам никогда не случалось быть на море во время сильного шторма, вы не в состоянии даже представить себе, до какого иступления может довести ветер и хлестанье волн. Они слепят, оглушают, не дают вздохнуть, лишают вас всякой способности действовать и соображать. Но теперь мы были почти избавлены от этих неприятностей, — так осужденный на смерть преступник пользуется в тюрьме некоторыми маленькими льготами, которых он был лишен, когда участь его еще не была решена.

Сколько раз совершили мы круг по краю водоворота, сказать невозможно. Нас кружило, может быть, около часа; мы не плыли, а словно летели, подвигаясь все больше к середине пояса, потом все ближе и ближе к его зловецемому внутреннему краю. Все это время я не выпускал из рук рыма. Мой старший брат лежал на корме, ухватившись за большой пустой бочонок, принайтованный к корме; это была единственная вещь на палубе, которую не снесло за борт налетевшим ураганом. Но вот, когда мы уже совсем приблизились к краю воронки, брат вдруг выпустил из рук бочонок и, бросившись к рыму, вне себя от ужаса, пытался оторвать от него мои руки, так как

вдвоем за него уцепиться было нельзя. Никогда в жизни не испытывая я такого огорчения, как от этого его поступка, хотя я и понимал, что у него, должно быть, отшибло разум, что он совсем помешался от страха. У меня и в мыслях не было вступать с ним в борьбу. Я знал, что никому из нас не поможет, будем мы за что-нибудь держаться или нет. Я уступил ему кольцо и перебрался на корму к бочонку. Сделать это не представляло большого труда, потому что шхуна наша в своем вращении держалась довольно устойчиво, не кренилась на борт и только покачивалась взад и вперед от гигантских рывков и содроганий водоворота. Едва я успел примоститься на новом месте, как вдруг мы резко опрокинулись на правый борт и стремглав понеслись в бездну. Я поспешно прошептал молитву и решил, что все кончено.

Во время этого головокружительного падения я инстинктивно вцепился изо всех сил в бочонок и закрыл глаза. В течение нескольких секунд я не решался их открыть; я ждал, что вот-вот мы погибнем, и не понимал, почему я еще не вступил в смертельную схватку с потоком. Но секунды проходили одна за другой — я был жив. Я перестал чувствовать, что мы летим вниз; шхуна, казалось, двигалась совершенно так же, как и раньше, когда она была в полосе пены, с той только разницей, что теперь она как будто глубже сидела в воде. Я собрался с духом, открыл глаза и бросил взгляд сначала в одну, потом в другую сторону.

Никогда не забуду я ощущения благоговейного трепета, ужаса и восторга, охвативших меня. Шхуна, казалось, повисла, задержанная какой-то волшебной силой, на половине своего пути в бездну, на внутренней поверхности огромной круглой воронки невероятной глубины; ее совершенно гладкие стены можно было бы принять за черное дерево, если бы они не вращались с головокружительной быстротой и не отбрасывали от себя мерцающее, призрачное сияние лунных лучей, которые золотым потоком струились вдоль черных склонов, проникая далеко вглубь, в самые недра пропасти.

Сначала я был так ошеломлен, что не мог ничего разглядеть. Грозное, всеобъемлющее величие — вот все, что

открылось моему зрению. Когда я немножко пришел в себя, взгляд мой невольно устремился вниз. В этом направлении для глаза не было никаких преград, ибо шхуна висела на наклонной поверхности воронки. Она держалась совершенно ровно, иначе говоря — палуба ее представляла собой плоскость, параллельную плоскости воды, но эта последняя круто опускалась, образуя угол больше сорока пяти градусов, так что мы как бы лежали на боку. Однако я не мог не заметить, что и при таком положении я почти без труда сохранял равновесие; должно быть, это объяснялось скоростью нашего вращения.

Лунные лучи, казалось, ощупывали самое дно пучины; но я по-прежнему не мог ничего различить, так как все было окутано густым туманом, а над ним висела сверкающая радуга, подобная тому узкому, колеблющемуся мосту, который, по словам мусульман, является единственным переходом из Времени в Вечность. Этот туман, или водяная пыль, возникали, вероятно, от столкновения гигантских стен воронки, когда они все сразу сшибались на дне; но вопль, который поднимался из этого тумана и летел к небесам, я не берусь описать.

Когда мы оторвались от верхнего пояса пены и очутились в бездне, нас сразу увлекло на очень большую глубину, но после этого мы спускались отнюдь не равномерно. Мы носились кругом и кругом не ровным, плавным движением, а стремительными рывками и толчками, которые то швыряли нас всего на какую-нибудь сотню футов, то заставляли лететь так, что мы сразу описывали чуть не полный круг. И с каждым оборотом мы опускались ниже, медленно, но очень заметно.

Озираясь кругом и вглядываясь в огромную черную пропасть, по стенам которой мы кружились, я заметил, что наше судно было не единственной добычей, захваченной пастью водоворота.

Над нами и ниже нас виднелись обломки судов, громадные бревна, стволы деревьев и масса мелких предметов — разная домашняя утварь, разломанные ящики, доски, бочонки. Я уже говорил о том неестественном любопытстве, которое овладело мною, выгеснив первоначальное чувство безумного страха. Оно как будто все сильнее

разгоралось во мне, по мере того как я все ближе и ближе подвигался к страшному концу. Я с необычайным интересом разглядывал теперь все эти предметы, кружившиеся вместе с нами. Быть может, я был в бреду, потому что мне даже доставляло удовольствие загадывать, какой из этих предметов скорее умчится в клокочущую пучину. Вот эта сосна, говорил я себе, сейчас непременно сделает роковой прыжок, нырнет и исчезнет, — и я был очень разочарован, когда остов голландского торгового судна опередил ее и нырнул первым. Наконец, после того как я несколько раз загадывал и всякий раз ошибался, самый этот факт — неизменной ошибочности моих догадок — натолкнул меня на мысль, от которой я снова весь задрожал с головы до ног, а сердце мое снова неистово заколотилось.

Но причиной этому был не страх, а смутное предчувствие *надежды*. Надежда эта была вызвана к жизни некоторыми воспоминаниями и в то же время моими теперешними наблюдениями. Я припомнил весь тот разнообразный хлам, которым усеян берег Лофодена, все, что когда-то было поглощено Москестремом и потом выброшено им обратно. Большей частью это были совершенно изуродованные обломки, истерзанные и искромсанные до такой степени, что щепка на них стояла торчком, но среди этого хлама иногда попадались предметы, которые совсем не были изуродованы. Я не мог найти этому никакого объяснения, кроме того, что из всех этих предметов только те, что превратились в обломки, были увлечены на дно, другие же — потому ли, что они много позже попали в водоворот, или по какой-то иной причине — опускались очень медленно и не успевали достичь дна, так как наступал прилив или отлив. Я готов был допустить, что и в том и в другом случае они могли быть вынесены на поверхность океана, не подвергшись участи тех предметов, которые были втянуты раньше или почему-то затонули скорее. При этом я сделал еще три важных наблюдения. Первое: как общее правило — чем больше были предметы, тем скорее они опускались; второе: если из двух тел одинакового объема одно было сферическим, а другое какой-нибудь иной формы, сферическое опуска-

лось быстрее; третье: если из двух тел одинаковой величины одно было цилиндрическим, а другое любой иной формы — цилиндрическое погружалось медленнее. После того как я спасся, я несколько раз беседовал на эту тему с нашим старым школьным учителем. От него я и научился употреблению этих слов — «цилиндр» и «сфера». Он объяснил мне, хоть я и забыл это объяснение, каким образом то, что мне пришлось наблюдать, являлось, в сущности, естественным следствием той формы, какую имели плывущие предметы, и почему так получалось, что цилиндр, попавший в водоворот, оказывал большее сопротивление его всасывающей силе и втягивался труднее, чем какое-нибудь другое, равное ему по объему тело, обладающее любой иной формой¹.

Еще одно удивительное обстоятельство в большей мере подкрепляло мои наблюдения, оно-то главным образом и побудило меня воспользоваться ими для своего спасения: каждый раз, описывая круг, мы обгоняли то бочонок, то рею или обломок мачты, и многие из этих предметов, которые были на одном уровне с нами в ту минуту, когда я только что открыл глаза и увидел эти чудеса водоворота, теперь кружили высоко над нами и как будто почти не сдвинулись со своего первоначального уровня.

Я больше не колебался. Я решил привязать себя как можно крепче к бочонку для воды, за который я держался, отрезать найтов, прикреплявший его к корме, и броситься в воду. Я попытался знаками привлечь внимание брата, я показывал ему на проплывавшие мимо нас бочки и всеми силами старался объяснить ему, что именно я собираюсь сделать. Мне кажется, он в конце концов понял мое намерение, но — так это было или нет — он только безнадежно покачал головой и не захотел двинуться с места. Дотянуться до него было невозможно; каждая секунда промедления грозила гибелью. Итак, я скрепя сердце предоставил брата его собственной участи, привязал себя к бочонку той самой веревкой, которой он был принайтован к корме, и не задумываясь бросился в пучину.

¹ См. А р х и м е д. De incidentibus in fluido, lid. 2 [«О плавающих телах». Кн. 2].— *Примеч. автора.*

Результат оказался в точности таким, как я и надеялся. Так как я сам рассказываю вам эту историю и вы видите, что я спасся, и знаете из моих слов, каким образом мне удалось спастись, а следовательно, можете уже сейчас предугадать все, чего я еще не досказал, я постараюсь в немногих словах закончить мой рассказ. Прошел, быть может, час или немногим больше, после того как я покинул шхуну, которая уже успела спуститься значительно ниже меня, как вдруг она стремительно перевернулась три-четыре раза и, унося с собой моего дорогого брата, нырнула в пучину и навсегда исчезла из глаз в бушующей пене. Бочонок, к которому я был привязан, прошел чуть больше половины расстояния до дна воронки от того места, где я прыгнул, когда в самых недрах водоворота произошла решительная перемена. Покатые стены гигантской воронки стали внезапно и стремительно терять свою крутизну, их бурное вращение постепенно замедлялось. Туман и радуга мало-помалу исчезли, и дно пучины как будто начало медленно подниматься. Небо было ясное, ветер затих, и полная луна, сияя, катилась к западу, когда я очутился на поверхности океана против берегов Лофодена, над тем самым местом, где только что зияла пропасть Москестрема. Это было время затишья, но море после урагана все еще дыбилось громадными волнами. Течение Стрема подхватило меня и через несколько минут вынесло к рыбацким промыслам. Я был еле жив и теперь, когда опасность миновала, не в силах был вымолвить ни слова и не мог опомниться от пережитого мной ужаса. Меня подобрала мои старые приятели и товарищи, но они не узнали меня, как нельзя узнать выходца с того света. Волосы мои, еще накануне черные как смоль, стали, как вы сами видите, совершенно седыми. Говорят, будто и лицо у меня стало совсем другое. Я потом рассказал им всю эту историю, но они не поверили мне. Теперь я рассказал ее вам, но я сильно сомневаюсь, что вы поверите мне больше, чем беспечные лофоденские рыбаки.



РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В БУТЫЛКЕ

Тому, кому осталось жить
не более мгновенья,
Уж больше нечего терять.

Филипп Кино. Атис

Об отечестве моем и семействе сказать мне почти нечего. Несправедливость изгнала меня на чужбину, а долгие годы разлуки отдалили от родных. Богатое наследство позволило мне получить изрядное для тогдашнего времени образование, а врожденная пытливость ума дала возможность привести в систему сведения, накопленные упорным трудом в ранней юности. Превыше всего любил я читать сочинения немецких философов-моралистов — не потому, что красноречивое безумие последних внушало мне неразумный восторг, а лишь за ту легкость, с какою привычка к логическому мышлению помогала обнаруживать ложность их построений. Меня часто упрекали в сухой рассудочности, недостаток фантазии вменялся мне в вину как некое преступление, и я всегда слыл последователем Пиррона. Боюсь, что чрезмерная приверженность к натурфилософии и вправду сделала меня жертвою весьма распространенного заблуждения нашего века — я имею в виду привычку объяснять все явления, даже те, которые меньше всего поддаются подобному объяснению, принципами этой науки. Вообще говоря, казалось почти невероятным, чтобы *ignes fatui*¹ суеверия могли увлечь за суровые пределы истины человека моего склада. Я счел уместным предварить свой рассказ этим небольшим вступлением, дабы необыкновенные происшествия,

¹ Блуждающие огни (лат.).

которые я намереваюсь изложить, не были сочтены скорее плодом безумного воображения, нежели действительным опытом человеческого разума, совершенно исключившего игру фантазии как пустой звук и мертвую букву.

Проведши много лет в заграничных путешествиях, я не имел причин ехать куда бы то ни было, однако же, снедаемый каким-то нервным беспокойством, — словно сам дьявол в меня вселился, — я в 18... году выехал из порта Батавия, что на богатом и густо населенном острове Ява, в качестве пассажира корабля, совершавшего плавание вдоль островов Зондского архипелага. Корабль наш, великолепный парусник водоизмещением около четырехсот тонн, построенный в Бомбее из малабарского типового дерева и обшитый медью, имел на борту хлопок и хлопковое масло с Лаккадивских островов, а также копру, пальмовый сахар, топленое масло из молока буйволиц, кокосовые орехи и несколько ящиков опиума. Погрузка была сделана кое-как, что сильно уменьшало **устойчивость** судна.

Мы покинули порт при еле заметном ветерке и в течение долгих дней шли вдоль восточного берега Явы. Однообразие нашего плавания лишь изредка нарушалось встречей с небольшими каботажными судами с тех островов, куда мы держали свой путь.

Однажды вечером я стоял, прислонившись к поручням на юте, и вдруг заметил на северо-западе какое-то странное одинокое облако. Оно поразило меня как своим цветом, так и тем, что было первым, какое мы увидели со дня отплытия из Батавии. Я пристально наблюдал за ним до самого заката, когда оно внезапно распространилось на восток и на запад, опоясав весь горизонт узкою лентой тумана, напоминавшей длинную полосу низкого морского берега. Вскоре после этого мое внимание привлек темно-красный цвет луны и необычайный вид моря. Последнее менялось прямо на глазах, причем вода казалась гораздо прозрачнее обыкновенного. Хотя можно было совершенно ясно различить дно, я бросил лот и убедился, что под килем ровно пятнадцать фатомов. Воздух стал невыносимо горячим и был насыщен испарениями, которые клубились, словно жар, поднимающийся от раскаленного железа. С

приближением ночи замерло последнее дыхание ветерка и воцарился совершенно невообразимый штиль. Ничто не колебало пламени свечи, горевшей на юте, а длинный волос, который я держал указательным и большим пальцем, не обнаруживал ни малейшей вибрации. Однако капитан объявил, что не видит никаких признаков опасности, а так как наш корабль сносило лагом к берегу, он приказал убрать паруса и отдать якорь. На вахту никого не поставили, и матросы, большей частью малайцы, лениво растянулись на палубе. Я спустился вниз — признаться, не без дурных предчувствий. И в самом деле, все свидетельствовало о приближении тайфуна. Я поделился своими опасениями с капитаном, но он не обратил никакого внимания на мои слова и ушел, не удостоив меня ответом. Тревога, однако, не давала мне спать, и ближе к полуночи я снова поднялся на палубу. Поставив ногу на верхнюю ступеньку трапа, я вздрогнул от громкого гула, напоминавшего звук, производимый быстрым вращением мельничного колеса, но прежде чем смог определить, откуда он исходит, почувствовал, что судно задрожало всем своим корпусом. Секунду спустя огромная масса вспененной воды положила нас на бок и, прокатившись по всей палубе от коса до кормы, унесла в море все, что там находилось.

Между тем этот неистовый порыв урагана оказался спасительным для нашего корабля. Ветер сломал и сбросил за борт мачты, вследствие чего судно медленно выпрямилось, некоторое время продолжало шататься под страшным натиском шквала, но в конце концов стало на ровный киль.

Каким чудом избежал я гибели — объяснить невозможно. Оглушенный ударом волны, я постепенно пришел в себя и обнаружил, что меня зажало между румпелем и фальшбортом. С большим трудом поднявшись на ноги и растерянно оглядевшись, я сначала решил, что нас бросило на рифы, ибо даже самая буйная фантазия не могла бы представить себе эти огромные вспененные буруны, словно стены, вздымавшиеся ввысь. Вдруг до меня донесся голос старого шведа, который сел на корабль перед самым отплытием из порта. Я что было силы закричал ему в ответ, и он, шатаясь, пробрался ко мне на корму. Вскоре

оказалось, что в живых остались только мы двое. Всех, кто находился на палубе, кроме нас со шведом, смыло за борт, что же касается капитана и его помощников, то они, по-видимому, погибли во сне, ибо их каюты были доверху залиты водой. Лишенные всякой помощи, мы вдвоем едва ли могли предпринять что-либо для безопасности судна, тем более что вначале, пораженные ужасом, с минуты на минуту ожидали конца. При первом же порыве урагана наш якорный канат, разумеется, лопнул, как тонкая бечевка, и лишь благодаря этому нас тут же не перевернуло вверх дном. Мы с невероятной скоростью неслись вперед, и палубу то и дело захлестывало водой. Кормовые шпангоуты были основательно расшатаны, и все судно было сильно повреждено, однако, к великой нашей радости, мы убедились, что помпы работают исправно и что балласт почти не сместился. Буря уже начала стихать, и мы не усматривали большой опасности в силе ветра, а, напротив, со страхом ожидали той минуты, когда он прекратится совсем, в полной уверенности, что мертвая зыбь, которая за ним последует, непременно погубит наш потрепанный корабль. Но это вполне обоснованное опасение как будто ничем не подтверждалось. Пять суток подряд, — в течение коих единственное наше пропитание составляло небольшое количество пальмового сахара, который мы с великим трудом добывали на баке, — наше разбитое судно, подгоняемое шквальным ветром, который хотя и уступал по силе первым порывам тайфуна, был тем не менее гораздо страшнее любой пережитой мною прежде бури, мчалось вперед со скоростью, не поддающейся измерению. Первые четыре дня нас несло с незначительными отклонениями на юго-юго-восток, и мы, по-видимому, находились уже недалеко от берегов Новой Голландии. На пятый день холод стал невыносимым, хотя ветер изменил направление на один румб к северу. Взошло тусклое желтое солнце; поднявшись всего лишь на несколько градусов над горизонтом, оно почти не излучало света. Небо было безоблачно, но ветер свежел и налетал яростными порывами. Приблизительно в полдень — насколько мы могли судить — наше внимание опять привлек странный вид солнца. От него исходил не свет, а какое-то мутное, мрачное свечение,

которое совершенно не отражалось в воде, как будто все его лучи были поляризованы. Перед тем как погрузиться в бушующее море, свет в середине диска внезапно погас, словно стертый какой-то неведомою силой, и в бездонный океан канул один лишь тусклый серебристый ободок.

Напрасно ожидали мы наступление шестого дня — для меня он и по сей час еще не наступил, а для старого шведа не наступит никогда. С этой поры мы были объаты такой непроглядною тьмой, что в двадцати шагах от корабля невозможно было ничего разобрать. Все плотнее окутывала нас вечная ночь, не нарушаемая даже фосфорическим свечением моря, к которому мы привыкли в тропиках. Мы также заметили, что хотя буря продолжала свирепствовать с неудержимою силой, вокруг больше не было обычных вспененных бурунов, которые сопровождали нас прежде. Везде царил только ужас, непроницаемый мрак и вихрящаяся черная пустота. Суеверный страх постепенно овладел душою старого шведа, да и мой дух тоже был объят немым смятением. Мы перестали следить за кораблем, считая это занятие более чем бесполезным, и, как можно крепче привязав друг друга к основанию сломанной бизань-мачты, с тоскою взирали на бесконечный океан. У нас не было никаких средств для отсчета времени и никакой возможности определить свое местоположение. Правда, мы ясно видели, что продвинулись на юг дальше, чем кто-либо из прежних мореплавателей, и были чрезвычайно удивлены тем, что до сих пор не натолкнулись на обычные для этих широт льды. Между тем каждая минута могла стать для нас последней, ибо каждый огромный вал грозил опрокинуть наше судно. Высота их превосходила всякое воображение, и я считал за чудо, что мы до сих пор еще не покоимся на дне пучины. Мой спутник упомянул о легкости нашего груза и обратил мое внимание на превосходные качества нашего корабля, но я невольно ощущал всю безнадежность надежды и мрачно приготовился к смерти, которую, как я полагал, ничто на свете не могло оттянуть более чем на час, ибо с каждою милей мертвая зыбь усиливалась и гигантские черные валы становились все страшнее и страшнее. Порой у нас захватывало дух при подъеме на высоту, недоступ-

ную даже альбатросу, порою темнело в глазах при спуске в настоящую водяную преисподнюю, где воздух был зловонен и сперт и ни единый звук не нарушал дремоту морских чудовищ.

Мы как раз погрузились в одну из таких пропастей, когда в ночи раздался пронзительный вопль моего товарища. «Смотрите, смотрите! — кричал он мне прямо в ухо, — о, всемогущий Боже! Смотрите!» При этих словах я заметил, что стены водяного ущелья, на дне которого мы находились, озарило тусклое багровое сияние; его мерцающий отблеск ложился на палубу нашего судна. Подняв свой взор кверху, я увидел зрелище, от которого кровь заледенела у меня в жилах. На огромной высоте прямо над нами, на самом краю крутого водяного обрыва вздыбился гигантский корабль водоизмещением не меньше четырех тысяч тонн. Хотя он висел на гребне волны, во сто раз превышавшей его собственную высоту, истинные размеры его все равно превосходили размеры любого существующего на свете линейного корабля или судна Ост-Индской компании. Его колоссальный тускло-черный корпус не оживляли обычные для всех кораблей резные украшения. Из открытых портов торчали в один ряд медные пушки, полированные поверхности которых отражали огни бесчисленных боевых фонарей, качавшихся на снастях. Но особый ужас и изумление внушило нам то, что, презрев бушевавшее с неукротимой яростию море, корабль этот неся на всех парусах навстречу совершенно сверхъестественному ураганному ветру. Сначала мы увидели только нос корабля, медленно поднимавшегося из жуткого темного провала позади него. На одно полное невыразимого ужаса мгновение он застыл на головокружительной высоте; как бы упиваясь своим величием, затем вздрогнул, затрепетал и — обрушился вниз. В этот миг в душу мою снизошел непонятный покой. С трудом пробравшись как можно ближе к корме, я без всякого страха ожидал неминуемой смерти. Наш корабль не мог уже больше противостоять стихии и зарылся носом в надвигавшийся вал. Поэтому удар падавшей вниз массы пришелся как раз в ту часть его корпуса, которая была уже почти под водой, и как неизбежное следствие этого

меня со страшною силой швырнуло на винты незнакомого судна.

Когда я упал, это судно сделало поворот оверштаг, и, очевидно, благодаря последовавшей затем суматохе, никто из команды не обратил на меня внимания. Никем не замеченный, я без труда отыскал грот-люк, который был слегка приоткрыт, и вскоре получил возможность спрятаться в трюме. Почему я так поступил, я, право, не могу сказать. Быть может, причиной моего стремления укрыться был беспредельный трепет, охвативший меня при виде матросов этого корабля. Я не желал вверять свою судьбу существам, которые при первом же взгляде поразили меня своим зловещим и странным обличем. Поэтому я счел за лучшее соорудить себе тайник в трюме и отодвинул часть временной переборки, чтобы в случае необходимости спрятаться между огромными шпангоутами.

Едва успел я подготовить свое убежище, как звук шагов в трюме заставил меня им воспользоваться. Мимо моего укрытия тихой, нетвердой поступью прошел какой-то человек. Лица его я разглядеть не мог, но имел возможность составить себе общее представление об его внешности, которая свидетельствовала о весьма преклонном возрасте и крайней немощи. Колени его сгибались под тяжестью лет, и все его тело дрожало под этим непосильным бременем. Слабым, прерывистым голосом бормоча что-то на неизвестном мне языке, он шарил в углу, где были свалены в кучу какие-то диковинные инструменты и полуистлевшие морские карты. Вся его манера являла собою смесь капризной суетливости впавшего в детство старика и величавого достоинства Бога. В конце концов он возвратился на палубу, и больше я его не видел.

.....

Душой моей владеет новое чувство, имени которого я не знаю, ощущение, не поддающееся анализу, ибо для него нет объяснений в уроках былого, и даже само грядущее, боюсь, не подберет мне к нему ключа. Для человека моего склада последнее соображение убийственно. Никогда — я это знаю твердо — никогда не смогу я точно истолковать

происшедшее. Однако нет ничего удивительного в том, что мое истолкование будет неопределенным — ведь оно обращено на предметы столь абсолютно неизведанные. Дух мой обогатился каким-то новым знанием, проник в некую новую субстанцию.

.....

Прошло уже немало времени с тех пор, как я вступил на палубу этого ужасного корабля, и мне кажется, что лучи моей судьбы уже начинают собираться в фокус. Непостижимые люди! Погруженные в размышления, смысл которых я не могу разгадать, они, не замечая меня, проходят мимо. Прятаться от них в высшей степени бессмысленно, ибо они упорно не желают видеть. Не далее как сию минуту я прошел прямо перед глазами у первого помощника; незадолго перед тем я осмелился проникнуть в каюту самого капитана и вынес оттуда письменные принадлежности, которыми пишу и писал до сих пор. Время от времени я буду продолжать эти записки. Правда, мне может и не представиться okazия передать их людям, но я все же попытаюсь это сделать. В последнюю минуту я вложу рукопись в бутылку и брошу ее в море.

.....

Произошло нечто, давшее мне новую пищу для размышлений. Не следует ли считать подобные явления нечаянной игрою случая? Я вышел на палубу и, не замечаемый никем, улегся на куче старых парусов и канатов, сваленных на дне шлюпки. Раздумывая о превратностях своей судьбы, я машинально водил кистью для дегтя по краю аккуратно сложенного лиселя, лежавшего возле меня на бочонке. Сейчас этот лисель поднят, и мои бездумные мазки сложились в слово ОТКРЫТИЕ.

В последнее время я сделал много наблюдений по части устройства этого судна. Несмотря на изрядное вооружение, оно, по-моему, никак не может быть военным кораблем. Его архитектура, оснастка и вообще все оборудование опровергают предположение подобного рода. Чем оно не может быть, я хорошо понимаю, а вот чем оно может быть, боюсь, сказать невозможно. Сам не знаю почему, но, когда я внимательно изучаю его необычные обводы и своеобразный рангоут, его огромные размеры и избыток парусов,

строгую простоту его носа и старинную форму кормы, в уме моем то и дело проносятся какие-то знакомые образы и вместе с этой смутной тенью воспоминаний в памяти безотчетно всплывают древние иноземные хроники и века давно минувшие.

.....

Я досконально изучил тимберсы корабля. Он построен из неизвестного мне материала. Это дерево обладает особым свойством, которое, как мне кажется, делает его совершенно непригодным для той цели, которой оно должно служить. Я имею в виду его необыкновенную пористость, даже независимо от того, что он весь источен червями (естественное следствие плавания и этих морях), не говоря уже о трухлявости, неизменно сопровождающей старость. Пожалуй, мое замечание может показаться слишком курьезным, но это дерево имело бы все свойства испанского дуба, если бы испанский дуб можно было каким-либо сверхъестественным способом растянуть.

При чтении последней фразы мне приходит на память афоризм одного старого, выдавшего виды голландского морехода. Когда кто-нибудь высказывал сомнение в правдивости его слов, он, бывало, говаривал: «Это так же верно, как то, что есть на свете море, где даже судно растет подобно живому телу моряка».

.....

Час назад, набравшись храбрости, я решился подойти к группе матросов. Они не обращали на меня ни малейшего внимания и, хотя я затесался в самую их гущу, казалось, совершенно не замечали моего присутствия. Подобно тому, кого я в первый раз увидел в трюме, все они были отмечены печатью глубокой старости. Колени их дрожали от немощи, дряхлые спины сгорбились, высохшая кожа шуршала на ветру, надтреснутые голоса звучали глухо и прерывисто, глаза были затянуты мутной старческой пленюю, а седые волосы бешено трепала буря. Вся палуба вокруг них была завалена математическими инструментами необычайно замысловатой, устаревшей конструкции.

.....

Недавно я упомянул о том, что подняли лисель. С этого времени корабль шел в полный бакштаг, продолжая свой

зловещий путь прямо на юг под всеми парусами и поминутно окуная ноки своих брамрей в непостижимую для человеческого ума чудовищную бездну вод. Я только что ушел с палубы, где совершенно не мог устоять на ногах, между тем как команда, казалось, не испытывала никаких неудобств. Чудом из чудес представляется мне то обстоятельство, что огромный корпус нашего судна раз и навсегда не поглотила пучина. Очевидно, мы обречены постоянно пребывать на краю вечности, но так никогда и не рухнуть в бездну. С гребня валов, фантастические размеры которых в тысячу раз превосходят все, что мне когда-либо доводилось видеть, мы с легкой стремительностью чайки соскальзываем вниз, и колоссальные волны возносят над нами свои головы, словно демоны адских глубин, однако демоны, коим дозволены одни лишь угрозы, но не дано уничтожать. То, что мы все время чудом уходим от гибели, я склонен приписать единственной натуральной причине, которая может вызвать подобное следствие. Очевидно, корабль находится под воздействием какого-то сильного течения или бурного глубинного потока.

.....

Я столкнулся лицом к лицу с капитаном, и притом в его же собственной каюте, но, как я и ожидал, он не обратил на меня ни малейшего внимания. Пожалуй, ни одна черта его наружности не могла бы навести случайного наблюдателя на мысль, что он не принадлежит к числу смертных, и все же я взирал на него с чувством благоговейного трепета, смешанного с изумлением. Он приблизительно одного со мною роста, то есть пяти футов восьми дюймов, и крепко, но пропорционально сложен. Однако необыкновенное выражение, застывшее на его лице, — напряженное, невиданное, вызывающее нервную дрожь свидетельство старости столь бесконечной, столь несказанно глубокой, — вселяет мне в душу ощущение неизъяснимое. Чело его, на котором почти не видно морщин, отмечено, однако, печатью неисчислимого множества лет. Его седые бесцветные волосы — свидетели прошлого, а выцветшие серые глаза — пророчицы грядущего. На полу каюты валялось множество диковинных фолиантов с медными застежками, позеленевших научных инстру-

ментов и древних, давно забытых морских карт. Склонившись головою на руки, он вперил свой горячий, беспокойный взор в какую-то бумагу, которую я принял за капитанский патент и которая, во всяком случае, была скреплена подписью монарха. Он сердито бормотал про себя — в точности как первый моряк, которого я увидел в трюме, — слова какого-то чужеземного наречия, и, хотя я стоял почти рядом, его глухой голос, казалось, доносился до меня с расстояния в добрую милю.

.....

Корабль и все, находящиеся на нем, проникнуты духом Старины. Моряки скользят взад-вперед, словно призраки погребенных столетий, глаза их сверкают каким-то лихорадочным, тревожным огнем, и, когда в грозном мерцании боевых фонарей руки их нечаянно преграждают мне путь, я испытываю чувства доселе не испытанные, хотя всю свою жизнь занимался торговлею древностями и так долго дышал тенями рухнувших колоннад Баальбека, Тадмора и Персеполя, что душа моя и сама превратилась в руину.

.....

Оглядываясь вокруг, я стыжусь своих прежних опасений. Если я дрожал от шквала, сопровождавшего нас до них пор, то разве не должна поразить меня ужасом схватка океана и ветра, для описания коей слова «смерч» и «тайфун», пожалуй, слишком мелки и ничтожны? В непосредственной близости от корабля царит непроглядный мрак вечной ночи и хаос беспенных волн, но примерно в одной лиге по обе стороны от нас виднеются там и сям смутные силуэты огромных ледяных глыб, которые, словно бастионы мироздания, возносятся в пустое безотрадное небо свои необозримые вершины.

.....

Как я и думал, корабль попал в течение, если это наименование может дать хоть какое-то понятие о бешеном грозном потоке, который, с неистовым ревом прорываясь сквозь белое ледяное ущелье, стремительно катится к югу.

.....

Постигнуть весь ужас моих ощущений, пожалуй, совершенно невозможно; однако страстное желание проникнуть в тайны этого чудовищного края превосходит

даже мое отчаяние и способно примирить меня с самым ужасным концом, Мы, без сомнения, быстро приближаемся к какому-то ошеломляющему открытию, к разгадке некоей тайны, которой ни с кем не сможем поделиться, ибо заплатим за нее своею жизнью. Быть может, это течение ведет нас прямо к Южному полюсу. Следует признать, что многое свидетельствует в пользу этого предположения, на первый взгляд, по-видимому, столь невероятного.

.....

Матросы беспокойным, неверным шагом с тревогою бродят по палубе, но на лицах их написана скорее трепетная надежда, нежели безразличие отчаяния.

Между тем ветер все еще дует нам в корму, а так как мы несем слишком много парусов, корабль по временам прямо-таки взмывает в воздух! Внезапно — о беспредельный чудовищный ужас! — справа и слева от нас льды расступаются и мы с головокружительной скоростью начинаем описывать концентрические круги вдоль краев колоссального амфитеатра, гребни стен которого теряются в непроглядной дали. Однако для размышлений об ожидающей меня участи остается теперь слишком мало времени! Круги быстро сокращаются — мы стремглав ныряем в самую пасть водоворота, и среди неистового рева, грохота и воя океана и бури наш корабль вздрагивает и — о Боже! — низвергается в бездну!

П р и м е ч а н и е. «Рукопись, найденная в бутылке» была впервые опубликована в 1831 году, и лишь много лет спустя я познакомился с картами Меркатора, на которых океан представлен в виде четырех потоков, устремляющихся в (северный) Полярный залив, где его должны поглотить недра земли, тогда как самый полюс представлен в виде черной скалы, вздымающейся на огромную высоту.



СИСТЕМА ДОКТОРА СМОЛЯ И ПРОФЕССОРА ПЕРРО

Осенью 18... года, путешествуя по самым южным департаментам Франции, я оказался в нескольких милях от одного *Maison de Sante*¹, или частной лечебницы для душевнобольных, о которой я много слышал от знакомых парижских врачей. Я никогда не бывал в подобного рода заведениях и вот, решив не упускать представившейся мне возможности, предложил своему попутчику (господину, с которым случайно познакомился несколькими днями раньше) сделать небольшой крюк и потратить часок-другой на осмотр лечебницы. Но спутник мой отказался, сославшись, во-первых, на то, что очень спешит, и, во-вторых, на вполне естественное чувство страха перед умалишенными. Впрочем, он просил меня не стесняться и сказал, что соображения вежливости не должны помещать мне удовлетворить свое любопытство; он добавил, что поедет не спеша и что я смогу догнать его сегодня же или, в крайнем случае, завтра. Когда мы прощались, мне пришлось в голову, что доступ в лечебницу может быть затруднен и меня, пожалуй, не впустят туда; опасениями на этот счет я поделился со своим спутником. Он ответил, что затруднения действительно могут возникнуть, если только я не знаком лично с главным врачом, мосье Майаром, и не располагаю никакими рекомендательными письмами: ведь порядки в таких частных заведениях гораздо более строгие, чем в казенных больницах. Сам он, как выяснилось, познакомился где-то с Майаром несколько лет назад и берется проводить и представить меня; ему же

¹ Сумасшедшего дома (франц.).

самому чувство страха, о котором он говорил, не позволяет переступить порог этого дома.

Я поблагодарил его, и мы свернули с большой дороги на заросший травой проселок. Не прошло и получаса, как он почти совсем затерялся в густом лесу у подножия горы. Мы проехали около двух миль сквозь эту сырую мрачную чащу, и вот наконец нашим взорам предстал Maison de Sante. Это был причудливой постройки chateau¹, столь пострадавший от времени, такой обветшалый и запущенный, что, право, казалось невероятным, чтобы здесь жили люди. При виде этого дома я содрогнулся от страха, остановил лошадь и был уже готов повернуть назад. Впрочем, вскоре я устыдился своей слабости и продолжал путь.

Мы подъехали к воротам. Я заметил, что они приотворены и какой-то человек выглядывает из-за них. В следующее мгновение этот человек вышел нам навстречу, окликнул моего спутника по имени, радушно пожал ему руку и попросил спешиться. Это был сам мосье Майар, видный и красивый джентльмен старого закала — с изящными манерами и тем особым выражением лица, важным, внушительным и полным достоинства, которое производит столь сильное впечатление на окружающих.

Мой друг представил меня, сообщил о моем желании осмотреть больницу и, выслушав заверения мосье Майара в том, что мне будет уделено все возможное внимание, тут же откланялся. С тех пор я больше его не видел.

Когда он уехал, главный врач провел меня в маленькую, но чрезвычайно изящно убранную гостиную, где все свидетельствовало о тонком вкусе: книги, рисунки, горшки с цветами, музыкальные инструменты и многое другое. В камине весело пылал огонь. За фортепьяно сидела молодая, очень красивая женщина и пела арию из какой-то оперы Беллини. Увидев гостя, она прервала пение и приветствовала меня с очаровательной любезностью. Говорила она негромко, во всей манере сквозила какая-то покорная мягкость. Мне почудилась скрытая печаль в ее лице, удивительная бледность которого была, на мой вкус,

¹ Замок (франц.).

не лишена приятности. Она была в глубоком трауре и пробуждала в моем сердце смешанное чувство уважения, интереса и восхищения.

Мне приходилось слышать в Париже, что заведение мосье Майара основано на тех принципах, которые в просторечии именуется «системой поблажек», что наказания здесь не применяются вовсе, что даже к изоляции стараются прибегать пореже, что пациенты, находясь под тайным надзором, пользуются на первый взгляд немалой свободой и что большинству из них разрешается разгуливать по дому и саду в обычной одежде, какую носят здоровые люди.

Памятуя обо всем этом, я держался весьма осмотрительно, беседуя с молодой дамой, ибо полной уверенности, что она в здравом уме, у меня не было; и точно, в глазах ее я заметил какой-то беспокойный блеск, который почти убедил меня в противном. Поэтому я ограничивался общими темами и такими замечаниями, которые, по моему разумению, не могли рассердить или взволновать даже сумасшедшего. На все, что я говорил, она отвечала вполне разумно, а собственные ее высказывания были исполнены трезвости и здравого смысла. Однако продолжительные занятия теорией mania¹ научили меня относиться с недоверием к подобным доказательствам душевного равновесия, и на протяжении всего разговора я сохранял ту же осторожность, какую проявил в самом начале.

Вскоре появился расторопный лакей в ливрее и с подносом в руках. Я занялся принесенными им фруктами, вином и закусками, а дама тем временем покинула комнату. Когда она ушла, я повернулся к хозяину и вопрошающе взглянул на него.

— Нет, — сказал он, — нет, что вы! Это моя родственница — племянница, весьма образованная женщина.

— О, тысяча извинений! — воскликнул я. — Простите мне мою ошибку, но вы, бесспорно, и сами понимаете, чем ее можно оправдать. Превосходная постановка дела здесь у вас хорошо известна в Париже, и я счел вполне возможным... вы понимаете...

¹ Безумия (греч.).

— Да, да! Не стоит об этом говорить! Скорее уж мне надлежит благодарить вас за вашу похвальную осторожность. Редко встретишь в молодых людях такую осмотрительность, и я могу привести не один пример весьма плачевных *contre-temps*, которые были следствием легкомыслия наших посетителей. Пока действовала моя прежняя система и пациентам предоставлялось разгуливать, где им вздумается, они часто впадали в состояние крайнего возбуждения по вине неблагоприятных посетителей, приезжавших осматривать наш дом. Поэтому мне пришлось ввести систему жестких ограничений, и теперь в лечебницу не допускается ни один человек, чья способность соответствующим образом держать себя внушала бы сомнения.

— Пока действовала ваша прежняя система?! — повторил я вслед за ним. — Правильно ли я понял вас? Значит, «система поблажек», о которой я столько слышал, больше не применяется?

— Да, — ответил он. — Вот уже несколько недель, как мы решили отказаться от нее навсегда.

— Не может быть! Вы меня удивляете!

— Мы сочли совершенно необходимым, сэр, — сказал он со вздохом, — вернуться к традиционным методам. Опасность, связанная с «системой поблажек», значительна, а преимущества ее сильно преувеличены. Уж если эта система и подвергалась где-нибудь добросовестной проверке, так именно у нас, сэр, смею вас заверить. Мы делали все, что подсказывала разумная гуманность. Как жаль, что вы не побывали у нас прежде, — вы бы могли обо всем судить сами. Насколько я понимаю, «система поблажек» знакома вам во всех подробностях, не так ли?

— Не совсем так. Все мои сведения — из третьих или четвертых рук.

— Что ж, в общих чертах я определил бы ее, пожалуй, как такую систему, когда больного *menagent*¹ и во всем ему потакают. Что бы сумасшедшему ни взбрело в голову — он не встречает ни малейшего противодействия с нашей стороны. Мы не только не мешали, но, напротив,

¹ Щадят (франц.).

потворствовали их причудам, на этом были основаны многие случаи излечения, и к тому же — наиболее устойчивого. Нет для ослабевшего, больного рассудка аргумента более убедительного, чем *reductia ad absurdum*¹. Были у нас, например, пациенты, вообразившие себя цыплятами. Лечение состояло в том, что мы признали их фантазии фактом и настаивали на нем: бранили больного за бесполое, если он недостаточно глубоко сознавал этот факт, и на этом основании кормили его в течение целой недели только тем, что едят цыплята. Какая-нибудь горсть зерна и мелких камешков творила в таких случаях настоящие чудеса.

— Но разве к подобного рода потачкам сводилось все?

— Ну, разумеется, нет. Значительную роль играли нехитрые развлечения — такие, как музыка, танцы, всякого рода гимнастические упражнения, карты, некоторые книги и так далее. Мы делали вид, будто лечим каждого от какого-нибудь заурядного телесного недуга, и слово «безумие» никогда не произносилось. Было очень важно заставить каждого сумасшедшего наблюдать за поступками всех остальных. Дайте понять умалишенному, что вы полагаетесь на его благоразумие и сообразительность, — и он ваш телом и душой. Действуя таким образом, мы избавились от необходимости содержать целый штат надзирателей, которые обходятся недешево.

— И у вас не было никаких наказаний?

— Никаких.

— И вы никогда не изолировали своих пациентов?

— Крайне редко. Время от времени с кем-нибудь из них случался неожиданный припадок буйства или наступало обострение болезни. Тогда мы помещали больного в отдельную камеру, чтобы он не влиял заражающе на других, и он оставался там до тех пор, пока не представлялась возможность передать его в руки родных; буйных мы не держим, обычно их увозят в казенные больницы.

— А теперь у вас все по-новому, и, вы полагаете, лучше, чем прежде?

¹ Приведение к нелепости (*лат.*).

— Да, бесспорно. У этой системы были свои слабые и даже опасные стороны. Теперь она, к счастью, уже изгнана во Франции из всех *Maison de Sante*.

— Ваши слова, — возразил я, — изумляют меня до крайности; я был твердо уверен, что нет сейчас во всей стране ни одного заведения, где применяется какой-либо иной метод лечения душевных болезней.

— Вы еще молоды, друг мой, — отвечал хозяин, — но придет время, и обо всем, что происходит на свете, вы научитесь судить самостоятельно, не полагаясь на чужую болтовню. Ушам своим не верьте вовсе, а глазам — только наполовину. Так вот и с нашим *Maison de Sante*: какой-нибудь невежда ввел вас в заблуждение, это ясно. Впрочем, после обеда, когда вы как следует отдохнете с дороги, я с великим удовольствием покажу вам дом и познакомлю вас с системой, которая, по моему мнению, а также по мнению всех, кому случалось видеть ее в действии, несравненно эффективнее всего, что удавалось раньше придумать.

— Это ваша собственная система? — спросил я. — Вы сами ее создали?

— Да, и я горд, что могу назвать ее своей — во всяком случае, до некоторой степени.

Так мы беседовали с мосье Майаром час или два, в продолжение которых он показывал мне сад и оранжерею.

— Ваше знакомство с пациентами придется несколько отложить, — объявил он. — Для впечатлительного ума всегда есть что-то более или менее гнетущее в таких зрелищах, а я не хотел бы лишать вас аппетита перед обедом. Мы непременно пообедаем. Я угощу вас телятиной а-ля Мену с цветною капустой в соусе *veloute*¹, и вы запьете ее стаканом кло-де-вужо. Тогда уж мы как следует укрепим ваши нервы.

В шесть позвали к обеду; мой хозяин провел меня в *salle a manger*², просторную комнату, где нас уже ждало весьма многочисленное общество — всего человек двад-

¹ Бархатном (франц.).

² Столовую (франц.).

цать пять — тридцать. Это были, по-видимому, люди знатного происхождения и, несомненно, наилучшего воспитания, хотя должен признаться, что наряды их показались мне непомерно роскошными, как-то слишком грубо напоминавшими показную пышность *vieille cour*¹. Мое внимание привлекали дамы: они составляли почти две трети приглашенных, и некоторые были одеты так, что парижанин не нашел бы в их туалетах даже намека на то, что сегодня принято считать хорошим вкусом. Так, многие женщины в возрасте никак не менее семидесяти оказались прямо-таки обвешанными драгоценностями — кольцами, браслетами, серьгами, а их грудь и плечи были бесстыдно обнажены. Я заметил также, что очень немногие наряды были хорошо сшиты, — во всяком случае, очень немногие из них хорошо сидели на своих владельцах. Оглядевшись, я заметил красивую девушку, которой мосье Майяр представил меня в маленькой гостиной; но каково же было мое изумление, когда я увидел на ней юбку с фижмами, туфли на высоком каблуке и грязный чепец из брюссельских кружев, который был ей настолько велик, что лицо выглядело до смешного маленьким. Когда я видел ее в первый раз, она была в глубоком трауре, что очень к ней шло.

Одним словом, в одежде всех собравшихся чувствовалось нечто странное — нечто такое, что в первую минуту снова вернуло меня к прежним мыслям о «системе поблажек», и я подумал, что мосье Майяр решил до конца обеда держать меня в неведении относительно того, кто такие наши соседи: по-видимому, он опасался, что обед за одним столом с сумасшедшими не доставит мне особенного удовольствия. Однако же я сразу вспомнил рассказы парижских друзей о южанах — какой это странный, эксцентричный народ и как упорно они держатся за свои старые понятия, — а разговор с двумя-тремя гостями немедленно и окончательно рассеял все мои подозрения.

Что касается самой столовой, то ей не хватало изящества, хотя, пожалуй, в удобстве и достаточно больших

¹ Старого двора (*франц.*).

размерах ей нельзя было отказать. Ковра на полу не было, — впрочем, во Франции часто обходятся без ковров; не было и занавесей на окнах, ставни были закрыты и заперты крепкими железными засовами, положенными крест-накрест, какие мы видим обыкновенно на ставнях лавок. Столовая, как я успел установить, занимала одно из прямоугольных крыльев *chateau*. Окна выходили на три стороны, а дверь — на четвертую; всего я насчитал не меньше десяти окон.

Стол был сервирован роскошно, сплошь уставлен блюдами и ломился от всевозможных тонких яств. Это поистине варварское изобилие не поддается описанию. Мяса было столько, что хватило бы для пира сынов Енаковых. Никогда в жизни не видывал я столь широкого, столь необузданного расточения жизненных благ. Но вкуса во всем этом ощущалось очень немного, и мои глаза, привыкшие к ровному мягкому свету, жестоко страдали от ослепительного сверкании бесчисленных восковых свечей в серебряных канделябрах, которые были расставлены на столе и по всей комнате — везде, где только удалось найти для них место. Прислуживало несколько расторопных лакеев, а за большим столом в дальнем углу сидело человек семь-восемь со скрипками, флейтами, тромбонами и барабаном. Эти молодцы жестоко досаждали мне за обедом, извлекая время от времени из своих инструментов бесконечно разнообразные звуки, которые должны были изображать музыку, и, по-видимому, доставляли большое удовольствие всем присутствовавшим, за исключением меня.

В общем, я никак не мог избавиться от мысли, что во всем происходящем перед моими глазами очень много *bizarre*; но ведь в конце-то концов на свете встречаешь людей любого склада, с любым образом мыслей, любыми традициями и привычками. К тому же я достаточно путешествовал, чтобы стать приверженцем принципа *nil admirari*¹, и вот, сохраняя полное хладнокровие, я занял место по правую руку от хозяина и, отнюдь не страдая отсутствием аппетита, отдал должное щедрому угощению, которое передо мною стояло.

¹ Ничему не удивляться (*лат.*).

Беседа за столом была оживленной и общей. Дамы, как водится, болтали без умолку. Вскорости я убедился, что общество почти целиком состояло из людей образованных; а сам хозяин оказался неисчерпаемым источником веселых анекдотов. Видимо, он любил поговорить о своих обязанностях директора Maison de Sante и вообще все присутствовавшие, к великому моему изумлению, с большой охотой рассуждали о помешательстве. Забавные истории относительно разных «пунктиков» пациентов следовали одна за другой.

— Был у нас здесь один тип, — заявил низенький толстяк, сидевший справа от меня, — был у нас здесь один тип, который вообразил себя чайником. К слову сказать, прямо поразительно, как часто в мозгу у помешанных застревают именно эта бредовая идея. Едва ли найдется во Франции хоть один сумасшедший дом без такого человека-чайника. Наш господин был чайником английского производства и каждое утро исправно начищал себя оленьей замшей и мелом.

— А еще, — подхватил высокий мужчина, сидевший напротив, — был у нас здесь не так давно один субъект, который вбил себе в голову, что он осел, — говоря в переносном смысле, он был совершенно прав, этого нельзя не признать. И какой же беспокойный был пациент, сколько трудов нам стоило держать его в узде! Одно время он не желал есть ничего, кроме чертополоха; но от этой фантазии мы его живо избавили, настаивая на том, чтобы он ничего другого не ел. А к тому же он еще постоянно лягался — вот так... вот так.

— Мосье де Кок, извольте вести себя прилично, — прервала оратора пожилая дама, сидевшая рядом с ним. — Поосторожнее, прошу вас, не дрыгайте ногами. Вы мне испортили все платье, а ведь оно парчовое! Разве так уж необходимо, в самом деле, иллюстрировать свою мысль столь наглядным способом? Наш друг легко понял бы вас и без того. Честное слово, вы почти такой же осел, каким воображал себя тот бедняга. У вас все это так естественно получается, право!

— Mille pardons, ma'mselle!¹ — отвечал мосье де Кок, выслушав такое внушение. — Тысяча извинений! У меня и в мыслях не было причинить вам хоть малейшее неудобство! Мадемуазель Лаплас, мосье де Кок имеет честь пить за ваше здоровье!

С этими словами мосье де Кок низко поклонился, весьма церемонно поцеловал кончики своих пальцев и чокнулся с мадемуазель Лаплас.

— Разрешите мне, mon ami, — сказал мосье Майар, обращаясь ко мне, — разрешите предложить вам кусочек этой телятины а-ля святой Мену — она бесподобна, вот увидите!

В это мгновение трое дюжих лакеев после долгих усилий благополучно водрузили наконец на стол огромное блюдо, или, вернее, целую платформу, на которой, как я сначала решил, покоилось monstrum, horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum². При ближайшем рассмотрении оказалось, впрочем, что это всего-навсего маленький теленок: он был зажарен целиком и стоял на коленях, а во рту у него было яблоко, — так обычно жарят в Англии зайцев.

— Благодарю вас, не беспокойтесь, — ответил я. — Сказать по правде, я не такой уж поклонник телятины а-ля святой... как бишь вы ее назвали? Мне кажется, что желудок мой с ней не справится. Попробую-ка я, с вашего разрешения, кролика, — вот только тарелку переменяю.

На столе было еще несколько блюд поменьше, с обыкновенной, как мне показалось, крольчатинной по-французски, — лакомейший porcseau³, смею вас заверить.

— Пьер, — крикнул хозяин, — перемените господину тарелку и положите ему этого кролика au chat⁴.

— Этого... как?

— Этого кролика au chat.

— Гм, благодарю вас, не стоит, пожалуй. Лучше я возьму себе ветчины.

¹ Тысяча извинений, мамзель! (франц.).

² Страшное, нечто огромное, жуткое, детище мрака (лат).

³ Кусочек (франц.).

⁴ Под кошку (франц.).

«Никогда не знаешь толком, чем тебя кормят за столом у этих провинциалов, — подумал я про себя. — Благодарю покорно, не нужно мне ни их кролика под кошку, ни в равной мере кошек под кролика».

— А еще,— подхватил оборвавшуюся было нить разговора какой-то гость с бледным, как у мертвеца, лицом, сидевший в конце стола, — а еще, припоминаю, был у нас однажды среди прочих забавных чудаков пациент, который упорно утверждал, будто он кордовский сыр, и ходил повсюду с ножом в руке, приставая к приятелям и умоляя их отрезать у него ломтик от ноги.

— Да, несомненно, он был полный идиот, — вмешался тут еще кто-то, — но все же его и сравнивать нельзя с тем экземпляром, который каждому из нас известен, за исключением лишь вот этого приезжего господина. Я говорю о человеке, который принимал себя за бутылку шампанского и то и дело откупоривался, стреляя пробкой и шипя, — вот таким манером...

Тут говоривший (на мой взгляд, это было верхом невоспитанности) засунул большой палец правой руки за левую щеку и выдернул его со звуком, напоминавшим хлопанье пробки, а затем, подражая пенящемуся шампанскому и ловко прижимая язык к зубам, издал резкий свист и шипение, не прекращавшиеся в течение нескольких минут. Я отчетливо увидел, что такое поведение пришлось не совсем по вкусу мосье Майару, но он не промолвил ни слова, и в разговор вступил очень тощий и очень маленький человечек в большом парике.

— А еще был здесь один простофиля, — сказал он, — которому казалось, что он лягушка. К слову сказать, он ни капельки не походил на лягушку. Жаль, что вам не довелось встретиться с ним, сэр, — продолжал тощий господин, обращаясь ко мне, — вы получили бы истинное наслаждение, видя, какой естественности ему удалось достигнуть. Если, сэр, этот человек не был лягушкой, то я могу только выразить сожаление по этому поводу. Ах, уж это его кваканье — вот так: о-о-гх! о-о-о-гх! Прекраснейший звук в мире!. Си-бемоль, да и только! А когда он, бывало, выпьет стаканчик-другой вина, да положит локти на стол, — вот так! — да растянет рот до ушей, — вот

так! — да как заворочает глазами, — вот так! — да как заморгает с быстротою, уму непостижимой, — ну, сэр, тут уж (беру на себя смелость прямо заявить вам об этом), тут уж вы решительно остолбенели бы, восхищаясь талантами этого человека!

— Нисколько в этом не сомневаюсь, — отозвался я.

— А еще, — сказал кто-то из сидевших за столом, — был здесь премилый проказник, который принимал себя за понюшку табака и все страдал, что никак не может зажать самого себя между указательным и большим пальцами.

— А еще был здесь некто Жюль Дезульер. Вот уж у него действительно были какие-то странные фантазии: он помешался на том, будто он тыква, и без конца надо-едал кухарке, умоляя запечь его в пирог, — но кухарка с негодованием отказывалась. Что до меня, то я глубоко убежден, что этот пирог с тыквой а-ля Дезульер, право, был бы не слишком аппетитным блюдом!

— Удивительно! — воскликнул я и вопрошающе взглянул на мосье Майара.

— Ха-ха-ха! — заливался смехом этот джентльмен.— Хе-хе-хе! хи-хи-хи! хо-хо-хо! ху-ху-ху! Право же, великолепно! Не удивляйтесь, mon ami, наш друг — остряк, этакий, знаете ли, drole¹, не понимайте его слишком буквально!

— А еще, — раздался голос с другого конца стола, — еще был здесь один шут гороховый — тоже выдающаяся личность в своем роде. Он свихнулся от любви и вообразил, будто у него две головы: одна — Цицерона, а другая — составная: от макушки до рта — Демосфенова, а ниже, до подбородка, — лорда Брума. Может быть, он и ошибался, но он любого сумел бы убедить в своей правоте — уж очень был красноречив! У него была настоящая страсть к публичным выступлениям, страсть непреодолимая и необузданная. Бывало, как вскочит на обеденный стол — вот так!...— и как...

Тут сосед и, по-видимому, один из приятелей говорившего положил ему руку на плечо и прошептал на ухо

¹ Проказник (франц.).

несколько слов; тот немедленно оборвал свою речь и опустился на стул.

— А еще, — заявил во всеуслышание, перестав шептать, приятель предыдущего оратора, — был здесь Буллар-волчок. Я называю его волчком потому, что им овладела забавная, но вовсе не столь уж нелепая фантазия — будто он стал волчком. Вы бы от смеха померли, если б на него поглядели. Он мог вертеться на одном каблуке целый час без передышки — вот так...

Тут приятель, которого он сам только что угомонил, оказал ему в точности такую же услугу.

— А все-таки, — крикнула во всю мочь старая леди, — тот мосье Буллар в лучшем случае — сумасшедший, и к тому же крайне глупый сумасшедший: человек-юла! Слыханное ли это дело, позвольте спросить? Чепуха! Вот мадам Жуаез — та была гораздо благоразумнее, как нам известно. У нее тоже была своя фантазия, но фантазия, исполненная здравого смысла и доставлявшая удовольствие всякому, кто имел честь быть знакомым с этой особой. После долгих размышлений она обнаружила, что по какой-то случайности обратилась в молодого петушка, и стала держать себя соответствующим образом. Она хлопала крыльями поразительно удачно — вот так! вот так! А ее пение — ах, оно было просто восхитительно! Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку-у-у-у-у!

— Мадам Жуаез, прошу вас вести себя прилично! — вмешался тут наш хозяин, весьма рассерженный. — Либо держите себя так, как подобает даме, либо сейчас же уйдите вон из-за стола! Выбирайте!

Мадам Жуаез (я был немало удивлен, услышав, как после описания мадам Жуаез, только что сделанного пожилой дамой, ее называют этим же именем) вспыхнула до корней волос и была, казалось, до крайности сконфужена выговором. Она опустила голову и не произнесла в ответ ни звука. Но другая, на сей раз более молодая леди, поддержала разговор. Это была моя старая знакомая — красивая девушка из маленькой гостиной.

— О, мадам Жуаез и в самом деле была дура! — воскликнула она. — Зато во взглядах Эжени Сальсафетт действительно чувствовался трезвый ум. Это была очень

красивая и до болезненности скромная молодая дама, которая считала обычный способ одеваться непристойным и хотела изменить его так, чтобы быть вне, а не внутри своего платья. В конце концов это не так уж сложно. Вы должны только сделать так... а потом так... так... так... и так...

— Mon Dieu! Мадемуазель Сальсафетт, — раздался одновременно десяток голосов. — Что вы задумали? Довольно! Достаточно! Нам уже вполне ясно, как это делается! Хватит! Хватит! — И несколько человек вскочили со своих мест, чтобы помешать мадемуазель Сальсафетт предстать перед нами в costume Венеры Медицейской, но вдруг, как бы завершая эту эффектную сцену, раздались громкие, пронзительные крики и вопли, доносившиеся откуда-то из центральной части chateau.

На мои нервы эти вопли произвели очень тяжелое впечатление, но все же я не мог не почувствовать искреннего сострадания ко всей остальной компании: за всю мою жизнь не видел я у нормальных людей такого смертельного испуга. Все они побелели, как стена, и, съездившись на своих стульях, дрожали и лязгали зубами от страха, прислушиваясь, не повторятся ли звуки снова. И они повторились — громче и, как мне показалось, ближе, а потом в третий раз — очень громко, а потом в четвертый, — но сила их явно пошла на убыль. Когда не осталось больше сомнений, что шум затихает, настроение собравшихся мгновенно улучшилось, все опять оживилось, опять посыпались забавные истории. Тут я рискнул осведомиться о причине недавнего смятения.

— Суцая bagatelle¹, — заявил мосье Майар. — Мы уже привыкли к подобным происшествиям и не обращаем на них внимания. Время от времени сумасшедшие поднимают вой: один начинает, другой подхватывает, как бывает иной раз по ночам в собачьих сворах. Иногда, правда, такой concerto² сопровождается попыткой вырваться на свободу; в этих случаях некоторая опасность, конечно, существует.

¹ Безделица (франц.).

² Концерт (итал.).

— А сколько больных у вас на попечении?

— В настоящее время не более десяти.

— В основном женщины, я полагаю?

— О нет, одни мужчины, и к тому же здоровенные, скажу я вам.

— Вот как? А я всегда был уверен, что большинство сумасшедших — особы женского пола.

— Обычно это так, но не всегда. Еще недавно здесь было что-то около двадцати семи пациентов; не менее восемнадцати из этого числа были женщины. Но затем положение резко изменилось, как видите.

— Да, резко изменилось, как видите, — вмешался господин, который, брыкаясь, едва не переломал ноги мадемуазель Лаплас.

— Да, резко изменилось, как видите, — подхватили хором все собравшиеся.

— Эй, вы, попридержите языки! — закричал в сильном гневе хозяин.

Немедленно воцарилась мертвая тишина, продолжавшаяся около минуты. А одна леди поняла требование мосье Майара буквально и, высунув язык, оказавшийся необыкновенно длинным, покорно схватила его обеими руками, да так и держала до конца обеда.

— А эта дама, — сказал я, наклонившись к мосье Майару и обращаясь к нему шепотом, — эта милая леди, которая недавно говорила и кукарекала... она... я полагаю, безобидна, вполне безобидна... а?

— Безобидна?! — воскликнул он в неподдельном изумлении. — То есть как это? Что вы имеете в виду?

— Чуть-чуть не в себе, — сказал я, притрагиваясь к своей голове. — По-моему, она не особенно... не опасно больна, а?

— Mon Dieu! Что это вы придумали?! Эта леди — мадам Жуаез, мой близкий, старый друг; она так же абсолютно здорова, как я сам. У нее есть свои маленькие странности, это верно, но вы ведь сами знаете... старые женщины... все очень старые женщины страдают этим в той или иной мере.

— Разумеется, — сказал я, — разумеется... А остальные леди и джентльмены...

— Мои друзья и помощники,— закончил мосье Май-ар, выпрямляясь с высокомерным видом, — мои очень близкие друзья и сослуживцы.

— Как? Все до одного?— спросил я.— И женщины тоже?

— Ну, конечно! Нам бы без них не управиться. Никто в мире не ухаживает за сумасшедшими лучше, чем они. У них, знаете ли, свои приемы: эти блестящие глаза оказывают изумительное действие — что-то вроде зачаровывающего змеиного взгляда, знаете ли.

— Да, разумеется,— подтвердил я,— разумеется! Но в них есть что-то чудное, они немного не того, а? Вам не кажется?

— Чудное? Немного не того? Вам в самом деле так кажется? Бесспорно, мы не слишком-то любим стеснять себя здесь, на Юге... делаем, что хотим, наслаждаемся жизнью... и всякое такое, знаете ли...

— Да, разумеется,— подтвердил я,— разумеется.

— А потом, может быть, это кло-де-вужо слишком крепкое, знаете ли, слишком забористое... вы меня поняли, не так ли?

— Да, разумеется,— подтвердил я,— разумеется. Кстати, мосье, вы, кажется, говорили, что новая система, которую вы ввели взамен прославленной «системы поблажек», отличается крайней строгостью и суровостью. Верно ли я вас понял?

— Отнюдь нет. Правда, режим у нас крутой, но это неизбежно. Зато такого ухода, как у нас (я имею в виду медицинский уход), никакая другая система больному не даст.

— А эта новая система создана вами?

— Не вполне. В известной мере ее автором может считаться профессор Смоль, о котором вы несомненно слышали; а с другой стороны, я счастлив заявить, что отдельными деталями своего метода я обязан знаменитому Перро, с которым вы, если не ошибаюсь, имеете честь быть близко знакомым.

— Мне очень стыдно, но я должен сознаться, что никогда до сих пор не слыхал даже имен этих господ.

— Боже правый!— воскликнул мой хозяин, резко отодвинув свой стул и воздев руки к небу.— Нет, я, несомненно, ослышался! Ведь не хотите же вы сказать, что никогда не слышали ни об ученойшем докторе Смоле, ни о знаменитом профессоре Перро?!

— Вынужден признаться в моем невежестве,— ответил я,— но истина превыше всего. Однако при этом я чувствую себя просто поверженным в прах — какой позор: ничего не знать о работах этих, без сомнения, выдающихся людей. Я обязательно разыщу их сочинения и буду изучать их с особым вниманием. Мосье Майар, после ваших слов мне действительно,— поверьте!— действительно стыдно за себя!

Так оно и было.

— Оставим это, мой милый юный друг,— произнес ласково мосье Майар, пожимая мне руку.— Выпейте-ка со мной стаканчик сотерна.

Мы выпили. Собравшиеся последовали нашему примеру, потом еще раз, еще раз, и так без конца. Они болтали, шутили, смеялись, делали глупость за глупостью; визжали скрипки, грохотал барабан, как медные быки Фаларида ревели тромбоны, и сцена, становясь, по мере того как винные пары затуманивали головы, все более ужасной, наконец превратилась в какой-то шабаш *in petto*¹. Тем временем мы — мосье Майар и я,— склонившись над стаканами сотерна и вужо, стоявшими перед нами, продолжали наш разговор, повысив голос до крика: слово, произнесенное обычным тоном, имело не больше шансов дойти до слуха собеседника, чем голос рыбы со дна Ниагарского водопада.

— Сэр,— прокричал я в ухо мосье Майору,— сэр, перед обедом вы упомянули об опасности, связанной со старой «системой поблажек». Что вы имели в виду?

— Да,— отвечал он,— время от времени у нас действительно складывалось очень опасное положение. Всех причуд умалишенных не предугадаешь, и, по моему мнению, равно как и по мнению доктора Смоля и профессора Перро, никогда нельзя оставлять их без всякого присмот-

¹ Здесь: в зародыше (*итал.*).

ра. Вы можете в течение того или иного времени делать, что называется, «поблажки» умалишенному, но в конце концов он весьма склонен к буйству. С другой стороны, его хитрость настолько велика, что вошла в поговорку. Если он что-нибудь задумал, то скрывает свой план с изобретательностью, поистине уму непостижимой. А ловкость, с которой он симулирует здоровье, ставит перед философами, изучающими человеческий разум, одну из наиболее загадочных проблем. Когда сумасшедший кажется совершенно здоровым — самое время надевать на него смирительную рубашку.

— Но та опасность, дорогой сэр, о которой вы говорили... судя по вашему собственному опыту... по опыту управления этой лечебницей... есть ли у вас реальные основания считать предоставление свободы умалишенным делом рискованным?

— В этом доме... по моему собственному опыту?.. Что ж, пожалуй, да. Например, не так давно в этом самом доме произошел необыкновенный случай. «Система поблажек», как вам известно, была тогда в действии, и пациенты делали что хотели. Они вели себя удивительно хорошо, даже слишком хорошо! Любой здравомыслящий человек догадался бы, что тут зреет какой-то адский замысел, уже судя по одному тому, как удивительно хорошо вели себя эти субъекты. И вот в одно прекрасное утро надзиратели оказались связанными по рукам и ногам и были брошены в изоляторы, как будто сумасшедшими были они, а настоящие сумасшедшие, присвоив себе обязанности надзирателей, взялись их охранять.

— Да не может быть! Никогда в жизни не слыхивал о такой нелепости!

— Факт! Все это случилось по вине одного болвана-сумасшедшего: почему-то он вбил себе в голову, что открыл новую систему управления, лучше всех старых, которые были известны прежде, — систему, когда управляют сумасшедшие. Вероятно, он хотел проверить свое открытие на деле, — и вот он убедил всех остальных пациентов присоединиться к нему и вступить в заговор для свержения существующих властей.

— И он действительно добился своего?

— Вне всякого сомнения. Надзирателям вскорости пришлось поменяться местами со своими поднадзорными, и даже более того: сумасшедшие прежде разгуливали на свободе, а надзирателей немедленно заперли в изоляторы и обходились с ними, к сожалению, до крайности бесцеремонно.

— Но, я полагаю, контрпереворот не заставил себя ждать? Такое положение дел не могло сохраниться надолго. Крестьяне из соседних деревень, посетители, приезжавшие, чтобы осмотреть заведение, — ведь они подняли бы тревогу!

— Вот тут-то вы и ошибаетесь. Глава бунтовщиков был слишком хитер. Он вовсе перестал допускать посетителей и сделал исключение только для одного молодого джентльмена, с виду весьма недалекого, опасаться которого не было никаких оснований. Он принял его и показал ему дом — просто для развлечения, чтобы немного позабавиться на его счет. Поморочив его вволю, он отпустил его и выставил за ворота!

— А сколько же времени держал этот сумасшедший бразды правления?

— О, очень долго, с месяц-то наверняка, а сколько точно — не скажу. Для сумасшедших это были славные денечки, можете мне поверить! Они сбросили свои обноски и свободно распоряжались всем платьем и драгоценностями, какие нашлись в доме. Вина в подвалах chateau было хоть отбавляй, а ведь что касается выпивки, то в ней сумасшедшие знают толк, тут они настоящие дьяволы. И, скажу вам, жили они недурно.

— Ну, а лечение? Какие новые методы лечения применил вождь бунтовщиков?

— Что ж, сумасшедшему, как я уже говорил, далеко не обязательно быть дураком, и я убежден, что его метод лечения оказался гораздо удачнее прежнего. Право же, это была превосходная система — простая, ясная, никакого беспокойства, прелесть, да и только! Это была...

Тут речь моего хозяина неожиданно прервал новый взрыв воплей, в точности походивший на те, что уже раз привели в замешательство всю компанию. Но теперь, по

всей видимости, люди, издававшие эти вопли, быстро приближались.

— Боже мой!— воскликнул я.— Сумасшедшие вырвались на волю, это ясно как день!

— Боюсь, что вы правы,— согласился мосье Майар, страшно побледнев.

Не успел он произнести эти слова, как под окнами раздались громкие крики и проклятия; и сразу же стало ясно, что какие-то люди снаружи пытаются ворваться в комнату. В дверь чем-то колотили, по-видимому, кувалдой, а ставни кто-то неистово тряс, стараясь сорвать.

Поднялась ужасная сумятица. Мосье Майар, к моему крайнему изумлению, юркнул за буфет. Я ожидал от него большего самообладания. Оркестранты, которые вот уже с четверть часа были, по-видимому, слишком пьяны, чтобы заниматься своим делом, все разом вскочили на ноги, бросились к инструментам и, вскарабкавшись на свой стол, дружно заиграли «Янки Дудл», исполнив его на фоне этого шума и гама, может быть, не совсем точно, но зато с воодушевлением сверхъестественным.

Тем временем на главный обеденный стол вскочил, опрокидывая бутылки и стаканы, тот самый господин, которого недавно с таким трудом удалось удержать от этого поступка. Устроившись поудобнее, он начал произносить речь, и она, несомненно, оказалась бы блестящей, если бы только была малейшая возможность ее услышать. В ту же минуту человек, питавший пристрастие к волчкам, принялся с неисчерпаемой энергией кружиться по комнате, вытянув руки под прямым углом к туловищу, так что он, и правда, в точности походил на волчок и сшибал с ног всех, кто попадался ему на пути. А тут еще, услышав бешеное хлопанье пробки и шипение шампанского, я обнаружил в конце концов, что оно исходит от того субъекта, который во время обеда изображал бутылку этого благородного напитка. Затем и человек-лягушка принялся квакать с таким усердием, как будто от каждого издаваемого им звука зависело спасение его души. Вдобавок ко всему над этой дикой какофонией раздался неумолкающий рев осла. Что касается моей старой приятельницы мадам Жуаез, то мне было от души жаль бед-

няжку, до того она была потрясена: она стояла в углу у камина и непрерывно кукарекала во весь голос: «Ку-ка-ре-е-е-ку-у-у-у!»

И тут события достигли, так сказать, кульминационного пункта, наступила развязка драмы. Поскольку, не считая криков, воя и кукареканья, никакого сопротивления натиску снаружи оказано не было, то очень скоро все десять окон вылетели почти одновременно. Мне никогда не забыть того чувства изумления и ужаса, с которым я глядел, как, прыгая в эти окна, обрушиваясь вниз и смешиваясь с нами *rele-mele*¹, колотя по чем попало, лягаясь, царапаясь и истошно вопя, в зал ворвалась целая армия каких-то существ, которых я принял за шимпанзе, орангутангов или громадных черных бабуинов с мыса Доброй Надежды.

Я получил страшный удар и, закатившись под диван, лежал не шевелясь. Пробыв в таком положении больше часа, на протяжении которого я внимательнейшим образом прислушивался к тому, что происходило в комнате, я дождался благоприятного завершения этой трагедии. Оказалось, что мосье Майар, излагая мне историю сумасшедшего, который подговорил своих товарищей взбунтоваться, просто-напросто рассказывал о своих собственных подвигах. Года два-три тому назад этот джентельмен действительно был главным врачом этой лечебницы, но сам помешался и превратился, таким образом, в пациента. Мой попутчик, который меня представил, ничего об этом не знал. Захватив врасплох надзирателей (их было десять человек), сумасшедшие прежде всего как следует вымазали их смолой, потом старательно вываляли в перьях и, наконец, заперли в подвале, в изоляторах. Так они пробыли в заключении больше месяца, и все это время мосье Майар благородно снабжал их не только смолой и перьями (которые были составными частями его «системы»), но также хлебом в известном количестве и водою — в избытке. Эту последнюю им ежедневно накачивали в камеры насосом. В конце концов один из них выбрался через сточную трубу и освободил всех остальных.

¹ Беспорядочно, в одну кучу (*франц.*).

«Система поблажек», с необходимыми поправками, вновь заняла свое место в *chateau*. Все же я не могу не согласиться с мосье Майаром, что его «метод лечения» был в своем роде чрезвычайно удачен. Как он справедливо заметил, это была система простая, ясная, никакого беспокойства не доставляла, никакого — даже самого ничтожного!

Должен только добавить, что все мои поиски сочинений доктора Смоля и профессора Перро, — а в погоне за ними я обшарил все библиотеки Европы, — окончились ничем, и я по сей день не достал ни одного из их трудов.



ЛОСЬ

(Утро на Виссахиконе)

Природу Америки часто противопоставляют, и в общем и в частности, пейзажам Старого Света — особенно Европы; причем и та и другие имеют своих приверженцев, столь же восторженных, сколь несогласных между собой. Спор этот едва ли скоро окончится, ибо, хотя многое уже сказано обеими сторонами, кое-что остается еще добавить.

Наиболее известные из английских путешественников, пытавшихся проводить такое сравнение, очевидно принимают наше северное и восточное побережье за всю Америку или по крайней мере за все Соединенные Штаты, заслуживающие внимания. Они почти не упоминают — ибо еще меньше знают — великолепную природу некоторых внутренних областей нашего Запада и Юга, например, обширной долины Луизианы, этого истинного воплощения самых смелых видений рая. Эти путешественники по большей части довольствуются беглым осмотром лишь самых очевидных достопримечательностей страны — Гудзона,尼亚гары, Кэтскиллских гор, Харперс-Ферри, озер Нью-Йорка, реки Огайо, прерий и Миссисипи. Все это, разумеется, весьма достойно внимания даже того, кто только что взбирался к рейнским замкам или бродил там,

где мчится Рона,
Лазурная, подобная стреле.

Однако это еще не все, чем мы можем похвастаться; и я даже осмеливаюсь утверждать, что в пределах Соединенных Штатов имеются бесчисленные уединенные и почти не исследованные места, которые подлинный художник

или просвещенный любитель величавых и прекрасных творений Всевышнего предпочтет всем и каждому из упомянутых мною давно описанных и широко известных пейзажей.

В самом деле, подлинные райские кущи страны находятся вдали от маршрутов даже наиболее неторопливых из наших путешественников — и тем более недоступны они иностранцу, который, взявшись доставить своему издателю известное количество страниц американских заметок к известному сроку, может надеяться выполнить свои обязательства, не иначе как проехав поездом или пароходом с записной книжкой в руках лишь по самым проторенным путям!

Я только что упомянул долину Луизианы. Из всех красивых местностей это, быть может, самая прекрасная. Никакой вымысел не сможет с нею сравниться. Самое богатое воображение сумеет нечто почерпнуть из ее пышной красоты. Ибо именно красота является ее определяющим признаком. Величавого там почти или вовсе нет. Пологие холмы, пересеченные причудливыми прозрачными ручьями, которые текут то среди усеянных цветами лугов, то среди лесов с огромными, пышными деревьями, населенных яркими птицами и напоенных ароматами, — все это превращает долину Луизианы в самый сладостный и роскошный на свете ландшафт.

Но и в этой прелестной местности лучшие уголки доступны одному лишь пешему путнику. Вообще в Америке путешественник, ищущий наиболее красивых пейзажей, должен добираться к ним не поездом, не пароходом, не дилижансом, не в собственной карете и даже не верхом — но только пешком. Он должен идти, перепрыгивать через расселины, преодолевать пропасти, рискуя сломать себе шею, — иначе он не увидит подлинного, недоступного словам великолепия нашей страны.

В большей части Европы в этом нет необходимости. В Англии ее не существует вовсе. Самый франтоватый путешественник может там посетить любую заслуживающую внимания местность без ущерба для своих шелковых чулок, настолько хорошо известны все места, представляющие интерес, и настолько удобны ведущие туда до-

роги. Это обстоятельство никогда достаточно не учитывалось при сравнении природы Старого и Нового Света. Все красоты первого сравниваются лишь с наиболее прославленными и отнюдь не самыми примечательными из красот второго.

Речные пейзажи, бесспорно, обладают всеми основными чертами прекрасного и с незапамятных времен принадлежат к излюбленным темам поэтов. А между тем слава их в значительной степени объясняется легкостью речных путешествий — по сравнению с путешествием в горах. Точно так же большим рекам, обычно являющимся главными путями сообщения, всюду незаслуженно достается львиная доля восхищения. Их чаще видят и, следовательно, чаще о них говорят, чем о менее крупных, но зачастую более интересных реках.

Разительным примером может служить Виссахикон — ручей (ибо рекой его, пожалуй, не назовешь), впадающий в реку Скулкил примерно в шести милях к западу от Филадельфии. Виссахикон отличается такой красотой, что, если бы он протекал в Англии, его воспевали бы все барды и расхваливали все языки. Но скорее всего его берега были бы разбиты на баснословно дорогие участки, а затем застроены виллами богачей. А между тем всего лишь несколько лет назад Виссахикон был известен разве только понаслышке, хотя более крупная и судоходная река, в которую он впадает, уже давно славится как одна из красивейших рек Америки. Скулкил, чьи красоты сильно преувеличены, а берега — по крайней мере в окрестностях Филадельфии — болотисты, как и берега Делавэра, не может сравниться по живописности с более скромной и менее известной речушкой, о которой идет речь.

Только после того как Фанни Кембл в своей забавной книжке о Соединенных Штатах указала жителям Филадельфии на редкую красоту ручья, протекающего у самых их порогов, наиболее отважные из местных любителей прогулок познакомились с этой красотой воочию. «Дневник» открыл всем глаза, и для Виссахикона началась некоторая известность. Я говорю «некоторая», ибо подлинную его красоту следует искать там, куда не доходит маршрут филадельфийских охотников за живописным, кото-

рые редко отдаляются более чем на милю-другую от устья — по той простой причине, что там кончается проезжая дорога. Я посоветовал бы отважному путнику, который желает полюбоваться лучшими видами, идти по Ридж Роуд, выходящей из города в западном направлении, а после шестой мили свернуть на вторую просеку и следовать по ней до конца. Он увидит тогда один из красивейших изгибов Виссахикона; пробираясь вдоль берега или же по воде, в лодке, он сможет спуститься или подняться по течению, как ему вздумается, и в любом случае будет вознагражден за свои труды.

Я уже говорил, или мне следовало бы сказать, что речка эта — узкая. Берега ее почти всюду круты, ибо она течет среди высоких холмов, ближе к воде поросших чудесным кустарником, а выше — некоторыми из красивейших пород американских деревьев, среди которых выделяется *Liriodendron Tulipiferum*. Она струится между берегов, одетых мхом, и прозрачная вода в своем задумчивом течении плещет о них, как плещут синие волны Средиземного моря о мраморные ступени дворцов. Кое-где в тени утесов приютились небольшие площадки, поросшие сочной травой, — самое живописное место для домика с садом, какое только может представиться прихотливому воображению. Речка изобилует крутыми излучинами, как обычно бывает при отвесных берегах, так что взору путника открывается бесконечная череда разнообразнейших маленьких озер или, вернее, озерков. Но Виссахикон следует посещать не при свете луны, как Мелрозское аббатство, и даже не в облачную погоду, а при ярком полуденном солнце; ибо узкая лощина, где он протекает, высокие холмы, окружающие его, и густая листва создают сумрачный, почти угрюмый колорит, от которого его красота несколько проигрывает, когда не освещена достаточно ярким светом.

Недавно я отправился туда описанным выше путем и провел в лодке большую часть жаркого дня. Утомленный зноем, я доверился медленному течению и погрузился в некий полусон, унесший меня к Виссахикону давно минувших дней — того «доброе старое времени», когда еще не было Демона Машин, когда пикники были неведо-

мы, «водные угодья» не покупались и не продавались и когда по этим холмам ступали лишь лось да краснокожий. Пока эти грезы постепенно овладевали мною, ленивый ручей успел пронести меня вокруг одного мыса, а за ним, в каких-нибудь сорока или пятидесяти ярдах, оказался второй. Это был отвесный утес, далеко вдававшийся в ручей и гораздо более напомилавший пейзажи Сальватора, чем все, только что прошедшее перед моими глазами. То, что я увидел на этом утесе, хотя и было весьма необычно в таком месте и в такое время года, поначалу ничуть меня не поразило — настолько оно гармонировало с моими полусонными видениями. На краю обрыва, — или это мне пригрезилось? — вытянув шею, насторожив уши и всем своим видом выражая глубокое и печальное любопытство, стоял один из тех старых, отважных лосей, которые только что грезились мне вместе с краснокожими.

Я сказал, что в первые мгновения это зрелище не испугало и не удивило меня. Душа моя была полна одним лишь глубоким сочувствием. Мне казалось, что лось не только дивится, но и сетует на те явные перемены к худшему, которые беспощадные утилитаристы принесли за последние годы на берега ручья. Легкое движение его головы развеяло мою дремоту и заставило осознать всю необычность моего приключения. Я приподнялся на одно колено, но пока я решал, надо ли остановить лодку или дать ей подплыть поближе к предмету моего удивления, из кустов над моей головой послышалось быстрое и осторожное «тсс!», «тсс!». Мгновение спустя из чащи, осторожно раздвигая ветви и стараясь ступать бесшумно, появился негр. На ладони у него была соль, и, протягивая ее лосю, он приближался к нему медленно, но неуклонно. Благородное животное несколько обеспокоилось, но не пыталось уйти. Негр приблизился и дал ему соль, произнося при этом какие-то успокоительные слова. Лось переступил ногами, пригнул голову, а затем медленно лег и дал надеть на себя узду.

Тем и окончилась моя романтическая встреча с лосем. Это был очень старый ручной зверь, собственность английской семьи, имевшей неподалеку усадьбу.



ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЕ

Есть темы, проникнутые всепокоряющим интересом, но слишком ужасные, чтобы стать законным достоянием литературы. Обыкновенно романисту надлежит их избегать, если он не хочет оскорбить или оттолкнуть читателя. Прикасаться к ним подобает лишь в том случае, когда они освящены и оправданы непреложностью и величием истины. Так, например, мы содрогаемся от «сладостной боли», читая о переправе через Березину, о землетрясении в Лиссабоне, о чуме в Лондоне, о Варфоломеевской ночи или о том, как в калькуттской Черной Яме задохнулись сто двадцать три узника. Но в этих описаниях волнует сама достоверность — сама подлинность — сама история. Будь они вымышлены, мы не испытали бы ничего, кроме отвращения.

Я перечислил лишь некоторые из знаменитейших и величайших исторических трагедий; но самая их огромность потрясает воображение ничуть не меньше, чем зловещая сущность. Мне нет нужды напоминать читателю, что из длинного и мрачного перечня людских несчастий я мог бы извлечь немало отдельных свидетельств подлинного страдания, гораздо более жестоких, нежели любое из этих всеобщих бедствий. Воистину, настоящее горе, наивысшая боль всегда единственны, неповторимы. И коль скоро испить до дна эту горькую чашу приходится лишь человеку, а не человечеству — возблагодарим за это милосердного творца!

Погребение заживо, несомненно, чудовищнее всех ужасов, какие выпали на долю смертного. И здравомыслящий человек едва ли станет отрицать, что это случилось часто, очень часто. Грань, отделяющая Жизнь от Смерти, в лучшем случае, обманчива и неопределенна.

Кто может сказать, где кончается одно и начинается другое? Известно, что есть болезни, при которых исчезают все явные признаки жизни, но, строго говоря, они не исчезают совершенно, а лишь прерываются. Возникает временная остановка в работе неведомого механизма. Наступает срок, и некое незримое таинственное начало вновь приводит в движение волшебные крыла и магические колеса. Серебряная нить не оборвана навеки, и золотой сосуд не разбит безвозвратно. Но где в эту пору обреталась душа?

Однако, кроме неизбежного заключения априори, что соответствующие причины влекут за собой соответствующие следствия, и поскольку известны случаи, когда жизнедеятельность прерывается, не подлежит сомнению, что людей иногда хоронят заживо,— кроме этого общего соображения, опыт медицины и самой жизни прямо свидетельствует, что это действительно бывало не раз. При необходимости я мог бы сослаться на целую сотню самых достоверных примеров. Один такой случай, весьма примечательный и, вероятно, еще не изгладившийся из памяти некоторых читателей, имел место не столь давно в соседнем городе Балтиморе и произвел на многих потрясающее, неотразимое впечатление. Супругу одного из самых почтенных граждан — известного юриста и члена конгресса — постигла внезапная и необъяснимая болезнь, перед которой оказалось бессильно все искусство медиков. После тяжких страданий наступила смерть или состояние, которое сочли смертью. Никто даже не подозревал, да и не имел причин подозревать, что она вовсе не умерла. Обнаружились все обычные признаки смерти. Лицо осунулось, черты его заострились. Губы стали белее мрамора. Глаза помутнели. Наступило окоченение. Сердце не билось. Так она пролежала три дня, и за это время тело сделалось твердым, как камень. Одним словом, надо было поспешить с похоронами, поскольку труп, казалось, быстро разлагается.

Ее похоронили в семейном склепе, и три года никто не тревожил могильный покой. По прошествии этого времени склеп открыли, чтобы установить там саркофаг,— но увы! — какое страшное потрясение ожидало ее супру-

га, который своими руками отворил дверь! Едва створки распахнулись наружу, что-то, закутанное в белое, со стуком упало прямо в его объятия. То был скелет его жены в еще не истлевшем саване.

Тщательное расследование показало, что она ожила через два дня после погребения и билась в гробу, который упал на пол с уступа или с возвышения и раскололся, так что ей удалось встать. Случайно забытый масляный фонарь, налитый доплна, теперь оказался пуст; впрочем, масло могло улечуться само по себе. На верхней ступени лестницы при входе в зловещую гробницу валялся большой обломок гроба, которым она, по всей видимости, колотила в железную дверь, призывая на помощь. При этом она, вероятно, лишилась чувств или умерла от страха; падая, она зацепилась саваном за какой-то железный крюк, торчавший из стены. Так и осталась она на месте, так и истлела стоя.

В 1810 году во Франции был случай погребения заживо, который красноречиво свидетельствует, что подлинные события воистину бывают удивительней вымыслов сочинителей. Героиней этой истории стала мадемуазель Викторина Лафуркад, юная девица из знатного семейства, богатая и на редкость красивая. Среди ее многочисленных поклонников был Жульен Боссюз, бедный парижский *littérateur*¹ или журналист. Его таланты и обаяние пленили богатую наследницу, и она, кажется, полюбила его всем сердцем; но из сословного высокомерия она все же решила отвергнуть его и отдать руку мсье Ренелю, банкиру и довольно известному дипломату. После свадьбы, однако, супруг тотчас к ней охладел и, вероятно, дурно с нею обращался. Прожив несколько лет в несчастном браке, она умерла — по крайней мере состояние ее было столь похоже на смерть, что ни у кого не возникло и тени сомнения. Ее похоронили, — но не в склепе, а в обыкновенной могиле близ усадьбы, где она родилась. Влюбленный юноша, терзаемый отчаяньем и все еще волнуемый былой страстью, отправляется из столицы в далекую провинцию с романтическим намерением вырыть

¹ Литератор (фр.).

тело и взять на память чудесные локоны покойной. Он разыскивает могилу. В полночь он откапывает гроб и принимается уже состригать локоны, как вдруг его возлюбленная открывает глаза. Как оказалось, она была похоронена заживо. Жизнь не вполне покинула несчастную; ласки влюбленного пробудили ее от лѣтаргии, ошибочно принятой за смерть. Он поспешил перенести ее в свою комнату на постоялом дворе. Обладая немалыми познаниями в медицине, он применил самые сильные укрепляющие лекарства. Наконец она ожила. Она узнала своего спасителя. Она оставалась с ним до тех пор, пока здоровье ее понемногу не восстановилось. Женское сердце не камень, и последний урок, преподанный любовью, смягчил его совершенно. Она отдала свое сердце Боссюэ. Она не вернулась к супругу, но, сохранив свое воскресение в тайне, уехала вместе с верным возлюбленным в Америку. Через двадцать лет оба вернулись во Францию, уверенные, что время достаточно изменило ее внешность и даже близкие ее не узнают. Однако они ошиблись; при первой же встрече мсье Ренель тотчас узнал супругу и потребовал, чтобы она к нему вернулась. Она отвергла его притязания; и беспристрастный суд решил дело в ее пользу, постановив, что в силу особых обстоятельств, а также за давностью времени супружеские права утрачены не только по справедливости, но и по букве закона.

Лейпцигский «Хирургический журнал» — весьма уважаемый и заслуживающий доверия печатный орган, достойный того, чтобы кто-нибудь из американских издателей выпускал его в переводе на наш язык,— сообщает в последнем номере о подобном же прискорбном происшествии.

Один артиллерийский офицер, человек огромного роста и несокрушимого здоровья, был сброшен норовистой лошадей и сильно ушиб голову, отчего мгновенно лишился чувств; в черепе обнаружилась небольшая трещина, но врачи не видели прямой опасности для жизни. Трепанация черепа прошла успешно. Больному пустили кровь и пользовали его прочими обычными средствами. Но постепенно он впадал во все более глубокое оцепенение, и наконец, казалось, наступила смерть.

Стояла жара, и его похоронили поспешно до неприличия где-то на общем кладбище. Похороны были в четверг. В ближайшее воскресенье многие, как обычно, пришли навестить могилы, и около полудня один крестьянин произвел сильное волнение, утверждая, что присел отдохнуть на могилу офицера и вдруг почувствовал сотрясение земли, словно покойник норовил встать из гроба. Поначалу его рассказу мало кто верил, но неподдельный ужас и твердая убежденность, с которыми он доказывал истинность своих слов, в конце концов возымели действие на толпу. Бросились за лопатами, в несколько минут раскопали могилу, такую мелкую, что стыдно было смотреть, и голова офицера предстала на свет. Казалось, он был мертв, но сидел скорчившись в гробу, крышку которого ему удалось приподнять отчаянным усилием.

Его тотчас отвезли в ближайшую больницу, где выяснилось, что он жив, хотя и лишился чувств от удушья. Через несколько часов он пришел в себя, стал узнавать знакомых и, путаясь в словах, рассказал о невыносимых страданиях, которые претерпел в могиле.

Судя по его рассказу, сознание теплилось в нем более часа после похорон, а затем он впал в беспамятство. Могила была наспех забросана рыхлой землей, так что оставался некоторый приток воздуха. Он услышал над головой топот множества ног и попытался привлечь к себе внимание. Как он объяснил, шум на кладбище пробудил его от мертвого сна, но, едва очнувшись, он сразу понял всю безысходность своего положения.

Сообщают, что больной уже поправлялся и был на пути к полному выздоровлению, но по вине шарлатанов пал жертвой медицинского опыта. Они применили гальваническую батарею, и он скончался во время бурного приступа, вызванного, как это бывает, действием тока.

Поскольку речь зашла о гальванической батарее, мне вспомнился, кстати, широко известный и воистину поразительный случай, когда ее действие вернуло к жизни молодого лондонского стряпчего, два дня пролежавшего в могиле. Случай этот произошел в 1831 году и наделал в свое время немало шума.

Больной, мистер Эдвард Стэплтон, умер, по всей вероятности, от тифозной горячки с некоторыми странными симптомами, которые вызвали любопытство лечивших его врачей. После мнимой смерти врачи попросили у его близких согласия на посмертное вскрытие, но получили решительный отказ. Как это часто случается, они решили выкопать труп и тайно вскрыть его без помех. Не составляло труда сговориться с шайкой похитителей трупов, которых так много в Лондоне; и на третью ночь после похорон тело, которое считали мертвым, было вырыто из могилы глубиной в восемь футов и перенесено в секционную палату одной частной больницы.

Уже сделав изрядный надрез на животе, врачи обратили внимание на то, что тело ничуть не разложилось, и решили испробовать батарею. Опыт следовал за опытом без особого успеха, разве что в некоторых случаях судорожные подергивания более обыкновенного походили на движения живого организма.

Время истекало. Близился рассвет, и наконец решено было безотлагательно приступить к вскрытию. Но один из врачей непременно желал проверить какую-то свою теорию и убедил всех подвергнуть действию тока одну из грудных мышц. Грубо рассекли кожный покров, кое-как присоединили проволоки; вдруг мертвец стремительным, но отнюдь не похожим на судорогу движением соскользнул со стола на пол, постоял немного, тревожно озираясь, и заговорил. Понять его слова не удалось; и все же это, безусловно, были слова, — некое подобие членораздельной речи. Умолкнув, он тяжело рухнул на пол.

Сначала все оцепенели от ужаса — но медлить было нельзя, и врачи вскоре овладели собой. Оказалось, что мистер Стэплтон жив, хотя и в глубоком обмороке. С помощью эфира его привели в чувство, а через несколько времени он совсем поправился и мог вернуться к своим близким, от которых его воскресение скрывали до тех пор, пока не перестали опасаться повторного приступа. Их восторг, их радостное удивление нетрудно себе представить.

Но самое потрясающее во всей истории — это свидетельство самого мистера С. Он уверяет, что ни на миг не

впадал в полное беспмятство, что смутно и туманно он сознавал все происходящее с той минуты, как врачи объявили его мертвым, и вплоть до того времени, когда он лишился чувств в больнице. «Я жив», — таковы были невнятные слова, которые он в отчаянье пытался вымолвить, поняв, что попал в мертвецкую.

Мне нетрудно было бы рассказать еще много подобных историй, но я полагаю это излишним — ведь и без того не остается сомнений, что людей в самом деле хоронят заживо. И если учесть, как редко, в силу своего характера, такие случаи становятся нам известны, мы вынуждены будем признать, что они, вероятно, часто происходят неведомо для нас. Право же, едва ли не всякий раз, как землекопам случается работать на кладбище, скелеты обнаруживают в таких позах, что возникают самые ужасные подозрения.

Но как ни ужасны подозрения, несравненно ужасней участь самих несчастных! Можно с уверенностью сказать, что никакая иная судьба не уготовила человеку столь безысходные телесные и душевные муки, как погребение заживо. Невыносимое стеснение в груди, удушливые испарения сырой земли, холодные объятия савана, давящая теснота последнего жилища, мрак беспросветной Ночи, безмолвие, словно в пучине моря, незримое, но осязаемое присутствие Червя-Победителя — все это и вдохавок мысли о воздухе и зеленой траве над головой, воспоминания о любимых друзьях, которые поспешили бы на помощь, если б только узнали о твоей беде, и уверенность, что этого им никогда не узнать, что ты обречен навеки покоиться среди мертвецов, — все это, говорю я вам, исполняет еще трепещущее сердце леденящим и нестерпимым ужасом, перед которым отступает самое смелое воображение. Нам не дано изведать таких страданий на Земле — мы не в силах представить себе ничего подобного даже на дне Преисподней. Вполне понятно, что рассказы об этом вызывают глубочайший интерес; однако ж интерес этот, под влиянием благоговеющего ужаса перед самой темой, оправдывается исключительно нашим убеждением в истинности самих рассказов. То, что мне предстоит описать далее, я знаю доподлинно — все это я пережил и испытал на себе.

Несколько лет подряд меня терзали приступы таинственной болезни, которую врачи условно называют каталепсией, так как не находят для нее более точного определения. Хотя не только прямые и косвенные причины, но даже самый диагноз этой болезни остается загадкой, внешние симптомы изучены достаточно хорошо. Формы ее, видимо, отличаются друг от друга лишь своей тяжестью. Иногда больной лежит всего день или того меньше, погруженный в глубочайшую летаргию. Он теряет сознание и не может пошевелиться; но в груди прослушиваются слабые биения сердца; тело хранит едва ощутимую теплоту; на скулах еще заметны следы румянца; приложив к губам зеркало, можно обнаружить редкое, неровное, прерывистое дыхание. Иногда же оцепенение длится недели — и даже месяцы; при этом самое пристальное наблюдение, самые тщательные медицинские анализы не выявят никакой осязаемой разницы между подобным приступом и тем необратимым состоянием, которое называют смертью. От погребения заживо такого больного обычно спасают друзья, которые знают о его подверженности каталепсии и, естественно, начинают подозревать неладное, в особенности если нет признаков распада. По счастью, болезнь развивается постепенно. Первые же ее проявления, хоть и скрытые, не оставляют сомнений. С каждым разом приступы становятся все сильней и длительней. В этом главная гарантия от погребения. Несчастный, с которым сразу случится тяжелый припадок, как это порой бывает, почти неизбежно обречен заживо лечь в могилу.

Моя болезнь не отличалась сколько-нибудь заметно от случаев, описанных в медицинской литературе. Иногда, безо всякой видимой причины, я мало-помалу впадал в полубоморок или в полубесчувствие; и в этом состоянии, не испытывая боли, утратив способность шевелиться и, в сущности, даже думать, но смутно сознавая в летаргическом сне, что я жив и меня окружают люди, я пребывал до тех пор, пока не наступал кризис, который внезапно возвращал меня к жизни. Иногда же недуг одолевал меня бурно и стремительно. Я чувствовал дурноту, скованность, холод во всем теле, головокружение и падал

замертво. После этого целые недели меня окружали пустота, мрак, безмолвие, и весь мир превращался в Ничто. Я погружался в полнейшее небытие. Но чем быстрее наступали такие припадки, тем медленней я приходил в себя. Подобно тому, как брезжит рассвет для одинокого, бесприютного нищего, который бродит по улицам в долгую и глухую зимнюю ночь, — так же запоздало, так же томительно, так же радостно возвращался ко мне свет Души.

Но помимо этой склонности к оцепенению, в остальном здоровье мое не пошатнулось; чувствовал я себя вполне хорошо — если не считать болезненного расстройства обычного сна. Просыпаясь, я не вдруг приходил в себя и на время оказывался во власти самого нелепого смятения; в такие минуты все мои умственные способности, и в особенности память, отказывались мне служить.

Я не испытывал никаких телесных страданий, но душа моя изнывала от мук. Воображение рисовало мне темные склепы. Я без конца говорил «об эпитафиях, гробницах и червях». Я предавался бредням о смерти, и навязчивый страх перед погребением заживо терзал меня неотступно. Зловещая опасность, нависшая надо мной, не давала мне покоя ни днем, ни ночью. Днем мне было невыносимо думать о ней; ночью же это превращалось в настоящую пытку. Когда грозный Мрак поглощал Землю, я трепетал при одной мысли об этом — трепетал, как легкие перья на катафалке. Когда же самое мое Естество изнемогало от бессонницы, я смыкал глаза лишь после долгой внутренней борьбы — так страшило меня предчувствие, что я проснусь в могиле. И едва я погружался в сон, меня тотчас обступал мир призраков, над которыми витал, распластав широкие, черные, чудовищные крылья, тот же вездесущий Дух смерти.

Кошмары, душившие меня во сне, были неисчислимы, но здесь я упомяну лишь об одном видении. Мне приснилось, будто я впал в каталептическое состояние, которое было длительнее и глубже обычного. Вдруг ледяная рука коснулась моего лба и тревожный дрожащий голос шепнул мне на ухо: «Восстань!»

Я сел. Вокруг была непроглядная тьма. Я не мог видеть того, кто меня разбудил. Я не помнил ни времени, когда впал в оцепенение, ни места, где это случилось. Я не двигался и пробовал собраться с мыслями, а холодная рука меж тем исступленно стиснула мое запястье, встряхивая меня в нетерпении, и дрожащий голос повторил:

— Восстань! Разве не повелел я тебе восстать от сна?

— Но кто ты? — спросил я.

— Там, где я обитаю, у меня нет имени, — печально отвечал голос. — некогда я был смертным, ныне я дух. некогда я был беспощаден, ныне я исполнен милосердия. Ты чувствуешь, я дрожу. Я взываю к тебе, а зубы мои стучат, но отнюдь не от холода ночи — ночи, что пребудет во веки веков. Ибо мерзость сия мне противна. Как можешь ты безмятежно спать? Мне не дает покоя глас предсмертных мучений. Видеть это превыше моих сил. Восстань! Ступай за мной в бездну Ночи, и я разверзну пред тобой могилы. Это ли не юдоль скорби?.. Воззри!

Я взгляделся; и волею невидимого, который все еще сжимал мое запястье, предо мной отверзлись все могилы на лике земли, и каждая источала слабый фосфорический свет, порожденный тлением, так что взор мой проникал в сокровенные глубины и различал тела, закутанные в саваны, печально и торжественно опочившие среди могильных червей. Но увы! Не все они уснули беспробудным сном, на много миллионов больше было других, не уснувших навек; и происходили слабые борения; и отовсюду возносился безутешный ропот; и из глубин несчетных могил исходил унылый шелест погребальных покровов; и я увидел, что многие, казалось бы, покоящиеся в мире, так или иначе изменили те застывшие, неудобные позы, в которых их предали земле. Я все смотрел, а голос шепнул снова:

— Это ли... Ах, это ли не юдоль скорби?

Но прежде чем я успел вымолвить хоть слово, холодная рука выпустила мое запястье, фосфорические огни погасли и земля сомкнулась над могилами, а оттуда вырвался все тот же отчаянный вопль:

— Это ли... О Господи, это ли, воистину, не юдоль скорби?

Кошмары, отравлявшие мой сон по ночам, часто мучили меня и наяву. Нервы мои совершенно расстроились, и я стал жертвой неотступных страхов. Я не решался ни ездить верхом, ни ходить, лишил себя прогулок и безвыходно сидел дома. Словом, я не смел даже на короткое время расстаться с людьми, которые знали о моей подверженности катаlepsии, из опасения, что со мной случится припадок и меня, не долго думая, предадут могиле. Я не доверял заботам и преданности ближайших своих друзей. Я боялся, как бы во время затяжного приступа их не убедили в том, что меня невозможно вернуть к жизни. Мало того, я опасался, что доставляю им слишком много хлопот и при первом же длительном припадке они будут только рады избавиться от меня навсегда. Тщетно пытались они успокоить меня самыми торжественными заверениями. Я требовал священных клятв, что меня похоронят лишь после того, как явные признаки распада сделают дальнейшее промедление немислимым. Но все равно, объятый смертным страхом, я был глух к гласу разума и не знал покоя. Я придумал множество хитроумных предосторожностей. Между прочим, я распорядился так перестроить семейный склеп, чтобы его можно было с легкостью открыть изнутри. От малейшего нажима на длинный рычаг, выведенный далеко в глубину гробницы, железные двери тотчас распахивались. Были сделаны отдушины, пропускавшие воздух и свет, а также удобные хранилища для пищи и воды, до которых можно было свободно дотянуться из уготованного для меня гроба. Самый гроб был выстлан изнутри мягкой и теплой обивкой, и крышку его снабдили таким же приспособлением, что и двери склепа, с пружинами, которые откидывали ее при малейшем движении тела. Кроме того, под сводом склепа был подвешен большой колокол, и веревку от него должны были пропустить через отверстие в гробу и привязать к моей руке. Но увы! Что толку в предусмотрительности пред волей Судьбы? Даже эти хитроумные устройства не могли избавить от адских мук погребения заживо несчастного, который был на них обречен!

Настал срок — как случилось уже не раз, — когда среди полнейшего бесчувствия во мне забрезжили пер-

вые, еще слабые и смутные проблески бытия. Медленно — черепащим шагом — растекался в моей душе тусклый, серый рассвет. Смутное беспокойство. Безучастность к глухой боли. Равнодушие... безнадежность... упадок сил. И вот, долгое время спустя, звон в ушах; вот, спустя еще дольше, покалывание или зуд в конечностях; вот целая вечность блаженного покоя, когда пробуждающиеся чувства воскрешают мысль; вот снова краткое небытие; вот внезапный возврат к сознанию. Наконец, легкая дрожь век и тотчас же, словно электрический разряд, ужас, смертельный и необъяснимый, от которого кровь приливает к сердцу. Затем — первая сознательная попытка мыслить. Первая попытка вспомнить. Это удастся с трудом. Но вот уже память настолько обрела прежнюю силу, что я начинаю понимать свое положение. Я понимаю, что не просто пробуждаюсь от сна. Я вспоминаю, что со мной случился приступ каталепсии. И вот наконец мою трепещущую душу, как океан, захлестывает одна зловещая Опасность — одна гробовая, всепоглощающая мысль.

Когда это чувство овладело мною, я несколько минут лежал недвижно. Но почему? Просто у меня не доставало мужества шевельнуться. Я не смел сделать усилие, которое обнаружило бы мою судьбу — и все же некий внутренний голос шептал мне, что сомнений нет. Отчаянье, перед которым меркнут все прочие человеческие горести, — одно лишь отчаянье заставило меня, после долгих колебаний, приподнять тяжелые веки. И я приподнял их. Вокруг была тьма — кромешная тьма. Я знал, что приступ прошел. Знал, что кризис моей болезни давно позади. Знал, что вполне обрел способность видеть — и все же вокруг была тьма, кромешная тьма, сплошной и непроницаемый мрак Ночи, нескончаемой во веки веков.

Я попытался крикнуть; мой губы и запекшийся язык дрогнули в судорожном усилии — но я не исторг ни звука из своих бессильных легких, которые изнемогали, словно на них навалилась огромная гора, и трепетали, вторя содроганиям сердца, при каждом тяжком и мучительном вздохе.

Когда я попробовал крикнуть, оказалось, что челюсть у меня подвязана, как у покойника. К тому же я чувство-

вал под собою жесткое ложе; и нечто жесткое давило меня с боков. До того мгновения я не смел шевельнуть ни единым членам — но теперь я в отчаянье вскинул кверху руки, скрещенные поверх моего тела. Они ударились о твердые доски, которые оказались надо мною в каких-нибудь шести дюймах от лица. У меня более не оставалось сомнений в том, что я лежу в гробу.

И тут, в бездне отчаянья, меня, словно ангел, посетила благая Надежда — я вспомнил о своих предосторожностях. Я извивался и корчился, силясь откинуть крышку: но она даже не шелохнулась. Я ощупывал свои запястья, пытаюсь нащарить веревку, протянутую от колокола: но ее не было. И тут Ангел-Утешитель отлетел от меня навсегда, и Отчаянье, еще неумолимей прежнего, восторжествовало вновь; ведь теперь я знал наверняка, что нет мягкой обивки, которую я так заботливо приготовил; и к тому же в ноздри мне вдруг ударил резкий, характерный запах сырой земли. Оставалось признать неизбежное. Я был не в склепе. Припадок случился со мной вдали от дома, среди чужих людей, когда и как, я не мог вспомнить; и эти люди похоронили меня, как собаку, заколотили в самом обыкновенном гробу, глубоко закопали на веки вечные в простой, безвестной могиле.

Когда эта неумолимая уверенность охватила мою душу, я вновь попытался крикнуть; и крик, вопль, исполненный смертного страдания, огласил царство подземной ночи.

— Эй! Эй, в чем дело? — отозвался грубый голос.

— Что еще за чертовщина! — сказал другой голос.

— Вылазь! — сказал третий.

— С чего это тебе взбрело в башку устроить кошачью музыку? — сказал четвертый; тут ко мне скопом подступили какие-то головорезы злодейского вида и бесцеремонно принялись меня трясти. Они не разбудили меня — я уже проснулся, когда крикнул,— но после встряски память вернулась ко мне окончательно.

Дело было неподалеку от Ричмонда, в Виргинии. Вместе с одним другом я отправился на охоту, и мы прошли несколько миль вниз по Джеймс-Ривер. Поздним вечером нас застигла гроза. Укрыться можно было лишь в каюте небольшого шлюпа, который стоял на якоре с гру-

зом перегноя, предназначенного на удобрение. За неимением лучшего нам пришлось заночевать на борту. Я лег на одну из двух коек, — можете себе представить, что за койки на шлюпе грузоподъемностью в шестьдесят или семьдесят тонн. На моей койке не было даже подстилки. Ширина ее не превышала восемнадцати дюймов. И столько же было от койки до палубы. Я с немалым трудом втиснулся в тесное пространство. Тем не менее спал я крепко; и все, что мне привиделось — ведь это не было просто кошмарным сном, — легко объяснить неудобством моего ложа, обычным направлением моих мыслей, а также тем, что я, как уже было сказано, просыпаясь, не мог сразу прийти в себя и подолгу лежал без памяти. Трясли меня матросы и наемные грузчики. Запах земли исходил от перегноя. Повязка, стягивавшая мне челюсть, оказалась шелковым носовым платком, которым я воспользовался взамен ночного колпака.

И все же в ту ночь я пережил такие страдания, словно меня в самом деле похоронили заживо. Это была ужасная, немыслимая пытка; но нет худа без добра, и сильнейшее потрясение вызвало неизбежный перелом в моем рассудке. Я обрел душевную силу — обрел равновесие. Я уехал за границу. Я усердно занимался спортом. Я дышал вольным воздухом под сводом Небес. Я и думать забыл о смерти. Я выкинул вон медицинские книги. Бьюкена я сжег. Я бросил читать «Ночные мысли» — всякие кладбищенские страсти, жуткие истории, вроде этой. Словом, я сделался совсем другим человеком и начал новую жизнь. С той памятной ночи я навсегда избавился от страхов перед могилой, а с ними и от каталепсии, которая была скорее их следствием, нежели причиной.

Бывают мгновения, когда даже бесстрастному взору Разума печальное Бытие человеческое представляется подобным аду, но нашему воображению не дано безнаказанно проникать в сокровенные глубины. Увы! Зловещий легион гробовых ужасов нельзя считать лишь пустым вымыслом; но, подобные демонам, которые сопутствовали Афрасиабу в его плавании по Оксусу, они должны спать, иначе они растерзают нас, — а мы не должны посягать на их сон, иначе нам не миновать гибели.



СИЛА СЛОВ

Ойнос. Прости, Агатос, немощь духа, лишь недавно наделенного бессмертием!

Агатос. Ты не сказал ничего, мой Ойнос, за что следовало бы просить прощения. Даже и здесь познание не приобретается наитием. Что до мудрости, вопрошай без стеснения ангелов, и дастся тебе!

Ойнос. Но я мечтал, что в этом существовании я сразу стану всеведущим и со всеведением сразу обрету счастье.

Агатос. Ах, не в познании счастье, а в его приобретении! Вечно познавая, мы вечно блаженны; но знать все — проклятие нечистого.

Ойнос. Но разве Всевышний не знает всего?

Агатос. Это (ибо он и Всеблаженнейший) должно быть единственным, неведомым даже ему.

Ойнос. Но если познания наши растут с каждым часом, ужели мы наконец не узнаем всего?

Агатос. Направь взор долу, в бездну пространств! — попытайся продвинуть его вдоль бесчисленных звездных верениц, пока мы медленно проплываем мимо — так — и так! — и так! Разве даже духовное зрение не встречает повсюду преграды бесконечных золотых стен вселенной? — стен из мириад сверкающих небесных тел, одною своею бесчисленностью слитых воедино?

Ойнос. Вижу ясно, что бесконечность материи — не греза.

Агатос. В Эдеме нет грез, но здесь говорят шепотом, что единственная цель бесконечности материи — создать бесконечное множество источников, у которых душа может утолять жажду познания, вечно неутолимую в пределах материи, ибо утолить эту жажду — значит уничтожить бытие души. Вопрошай же меня, мой Ойнос, без

смущения и страха. Ну же! — оставим слева громозвучную гармонию Плеяд и воспарим от престола к звездным лугам за Орион, где вместо фиалок и нарциссов расцветают тройные и троецветные солнца.

Ойнос. А теперь, Агатос, пока мы в пути, наставь меня! — вещай мне привычным земным языком. Я не понимаю твоих слов: только что ты намекнул мне на образ или смысл того, что, будучи смертными, мы привыкли именовать Творением. Не хочешь ли ты сказать, что Творец — не Бог?

Агатос. Я хочу сказать, что Божество не творит.

Ойнос. Поясни.

Агатос. Только вначале Оно творило. Те кажущиеся создания, которые ныне во всей вселенной постоянно рождаются для жизни, могут считаться лишь косвенными или побочными, а не прямыми или непосредственными итогами божественной творческой силы.

Ойнос. Среди людей, мой Агатос, эту идею сочли бы крайне еретической.

Агатос. Среди ангелов, мой Ойнос, очевидно, что она — всего лишь простая истина.

Ойнос. Насколько я могу тебя покамест понять, от некоторых действий того, что мы называем Природой или естественными законами, при известных условиях возникает нечто, имеющее полную *видимость* творения. Я отлично помню, что незадолго до окончательной гибели Земли было поставлено много весьма успешных опытов того, что у некоторых философов хватило неразумия назвать созданием *animalculae*¹.

Агатос. Случаи, о которых ты говоришь, на самом деле являлись примерами вторичного творения — *единственной* категории творения, имевшей место с тех пор, как первое слово вызвало к жизни первый закон.

Ойнос. А ужели звездные миры, что ежечасно вырываются в небеса из бездны небытия, — ужели все эти звездды, Агатос, не сотворены самим Царем?

Агатос. Позволь мне попытаться, мой Ойнос, ступень за ступенью подвести тебя к желаемому пониманию. Ты

¹ Микроскопических существ (*лат.*).

отлично знаешь, что, подобно тому, как никакая мысль не может погибнуть, так же всякое действие рождает бесконечные следствия. К примеру, когда мы жили на Земле, то двигали руками, и каждое движение сообщало вибрацию окружающей атмосфере. Эта вибрация беспредельно распространялась, пока не сообщала импульс каждой частице земного воздуха, в котором с той поры и *навсегда* нечто было определено единым движением руки. Этот факт был хорошо известен математикам нашей планеты. Они достигали особых эффектов при сообщении жидкости особых импульсов, что поддавалось точному исчислению — так что стало легко определить, за какой именно период импульс данной величины опояшет земной шар и окажет воздействие (вечное) на каждый атом окружающей атмосферы. Идя назад, они без труда могли по данному эффекту в данных условиях определить характер первоначального импульса. А математики, постигшие, что следствия каждого данного импульса абсолютно бесконечны и что часть этих следствий точно определима путем алгебраического анализа, а также то, что определение исходной точки не составляет труда, — эти ученые в то же время увидели, что сам метод анализа заключает в себе возможности бесконечного прогресса, что его совершенствование и применимость не знают пределов, за исключением умственных пределов тех, кто его совершенствует и применяет. Но тут наши математики остановились.

Ойнос. А почему, Агатос, им следовало идти дальше?

Агатос. Потому что им пришли в голову некоторые соображения, полные глубокого интереса. Из того, что они знали, можно было вывести, что наделенному бесконечным знанием, сполна постигшему *совершенство* алгебраического анализа, не составит труда проследить за каждым импульсом, сообщенным воздуху, а также межвоздушному эфиру — до отдаленнейших последствий, что возникнут даже в любое бесконечно отдаленное время. И в самом деле, можно доказать, что каждый такой импульс, *сообщенный воздуху, должен в конечном счете* воздействовать на каждый обособленный предмет в *предслах вселенной*; — и существо, наделенное бесконечным

знанием, — существо, которое мы вообразим, — способно проследить все отдаленные колебания импульса — проследить по восходящей все их влияния на каждую частицу материи — вечно по восходящей в их модификациях старых форм — или, иными словами, *в их творении нового* — пока не найдет их *наконец-то* бездейственными, отраженными от престола Божества. И не только это, но если в любую эпоху дать ему некое явление — например, если предоставить ему на рассмотрение одну из этих бесчисленных комет, — ему бы не составило труда определить аналитическим путем, каким первоначальным импульсом она была вызвана к существованию. Эта возможность анализа в абсолютной полноте и совершенстве — эта способность во все эпохи относить все следствия ко всем причинам, конечно, является исключительной прерогативой Божества — но в любой степени, кроме абсолютного совершенства, эту способность обладают в совокупности все небесные Интеллекты.

Ойнос. Но ты говоришь всего-навсего об импульсах, сообщаемых воздуху.

Агатос. Говоря о воздухе, я касался только Земли; но общее положение относится к импульсам, сообщаемым эфиру, — а так как эфир, и только эфир, пронизывает все пространство, то он и является великой средой *творения*.

Ойнос. Стало быть, творит всякое движение, независимо от своей природы?

Агатос. Так должно быть; но истинная философия давно учит нас, что источник всякого движения — мысль, а источник всякой мысли...

Ойнос. Бог.

Агатос. Я поведал тебе как сыну недавно погибшей прекрасной Земли, Ойнос, об импульсах земной атмосферы.

Ойнос. Да.

Агатос. И пока я говорил, не проскользнула ли в твоём сознании некая мысль о *материальной силе слов*? Разве каждое слово — не импульс, сообщаемый воздуху?

Ойнос. Но почему, Агатос, ты плачешь? — и почему, о почему крыла твои никнут, пока мы парим над этой пре-

красной звездой — самой зеленой и все же самой ужасной изо всех, увиденных нами в полете? Ее лучезарные цветы подобны волшебному сновидению — но ее яростные вулканы подобны страстям смятенного сердца.

Агатос. Это так! — это так! — Три столетия миновало с той поры, как, ломая руки и струя потоки слез у ног моей возлюбленной, я создал эту мятежную звезду моими словами — немногими фразами, полными страсти. Ее лучезарные цветы — и вправду самые дорогие из моих несбывшихся мечтаний, а яростные вулканы — и вправду страсти самого смятенного и нечестивого из сердец.



СЕРДЦЕ-ОБЛИЧИТЕЛЬ

Правда! Я нервный — очень даже нервный, просто до ужаса, таким уж уродился; но как можно называть меня сумасшедшим? От болезни чувства мои только обострились — они вовсе не ослабели, не притупились. И в особенности — тонкость слуха. Я слышал все, что совершалось на небе и на земле. Я слышал многое, что совершалось в аду. Какой я после этого сумасшедший? Слушайте же! И обратите внимание, сколь здраво, сколь рассудительно могу я рассказать все от начала и до конца.

Сам не знаю, когда эта мысль пришла мне в голову; но, явившись однажды, она уже не покидала меня ни днем, ни ночью. Никакого повода у меня не было. И бешенства я никакого не испытывал. Я любил этого старика. Он ни разу не причинил мне зла. Ни разу не нанес обиды. Золото его меня не прельщало. Пожалуй, виной всему был его глаз! Да, именно! Один глаз у него был, как у хищной птицы, — голубоватый, подернутый пленкой. Стоило ему глянуть на меня, и кровь стыла в моих жилах; мало-помалу, исподволь, я задумал прикончить старика и навсегда избавиться от его глаза.

В этом-то вся суть. По-вашему, я сумасшедший. Сумасшедшие ничего не соображают. Но видели бы вы меня. Видели бы вы, как мудро я действовал — с какой осторожностью, с какой предусмотрительностью, с каким искусным притворством принялся я за дело! Всю неделю, перед тем как убить старика, я был с ним сама любезность. И всякую ночь, около полуночи, я поднимал щекотку и приотворял его дверь — тихо-тихо! А потом, когда в щель могла войти моя голова, я вводил туда затемненный фонарь, закрытый наглухо, так плотно, что и капли света не могло просочиться, а следом засовывал и голову.

Ах, вы не удержались бы от смеха, если б видели, до чего ловко я ее засовывал! Я делал это медленно — очень, очень медленно, чтобы не потревожить сон старика. Лишь через час голова моя оказывалась внутри, так что я мог видеть старика на кровати. Ха!.. Да разве мог бы сумасшедший действовать столь мудро? А когда моя голова проникала в комнату, я открывал фонарь с осторожностью — с превеликой осторожностью, — открывал его (ведь петли могли скрипнуть) ровно настолько, чтобы один-единственный тоненький лучик упал на птичий глаз. И все это я проделывал семь долгих ночей — всегда ровно в полночь,— но глаз неизменно бывал закрыт, и я никак не мог покончить с делом, потому что не сам старик досаждал мне, а его Дурной Глаз. И всякое утро, когда светало, я преспокойно входил в комнату и без робости заговаривал с ним, приветливо окликал его по имени и справлялся, как ему спалось ночью. Сами видите, лишь очень проникательный человек мог бы заподозрить, что каждую ночь, ровно в двенадцать, я заглядывал к нему, пока он спал.

На восьмую ночь я отворил дверь с особенной осторожностью. Рука моя скользила медленней, чем минутная стрелка на часах. До той ночи я никогда еще так не упивался своим могуществом, своей прозорливостью. Я едва мог сдерживать торжество. Подумать только, я потихоньку отворял дверь, а старику и во сне не снились мои тайные дела и помыслы. Когда это пришло мне на ум, я даже прыснул со смеху, и он, верно, услышал, потому что вдруг шевельнулся, потревоженный во сне. Вы, может быть, подумаете, что я отступил — но ничуть не бывало. В комнате у него было темным-темно (он боялся воров и плотно закрывал ставни), поэтому я знал, что он не видит, как приотворяется дверь, и потихоньку все налегал на нее, все налегал.

Я просунул голову внутрь и хотел уже было открыть фонарь, даже нащупал пальцем жестяную защелку, но тут старик подскочил, сел на кровати и крикнул: «Кто там?»

Я затаился и молчал. Целый час я простоял не шелохнувшись, и все это время не слышно было, чтобы он

опять лег. Он сидел на кровати и прислушивался — точно так же, как я ночь за ночью прислушивался к бессонной гробовой тишине в четырех стенах.

Но вот я услышал слабый стон и понял, что стон этот исторгнут смертным страхом. Не боль, не горечь исторгли его, — о нет! — то было тихое, сдавленное стенание, какое изливается из глубины души, терзаемой страхом. Уж я-то знаю. Сколько раз, ровно в полночь, когда весь мир спал, этот стон рвался из собственной моей груди, умножая своим зловещим эхом страхи, которые раздирали меня. Кому уж знать, как не мне. Я знал, что почувствует старик, и жалел его, но все же посмеивался над ним про себя. Я знал, что ему стало не до сна с того самого мгновения, как легкий шум заставил его шевельнуться на кровати. Ужас одолевал его все сильней. Он пытался убедить себя, что это пустое беспокойство, и не мог. Он твердил себе: «Это всего лишь ветер прошелестел в трубе, это только мышка прошмыгнула по полу», — или: «Это попросту сверчок застрекотал и умолк». Да, он пытался успокоить себя такими уговорами; но все было тщетно. Все тщетно; потому что черная тень Смерти подкрадывалась к нему и уже накрыла свою жертву. И неотвратимое присутствие этой бесплотной тени заставило его почувствовать — незримо и неслышимо почувствовать, что моя голова здесь, в комнате.

Я ждал долго и терпеливо, но не слышал, чтобы он лег снова, и тогда решился приоткрыть фонарь — разомкнуть тонкую-претонкую щелочку. Я стал его приоткрывать — спокойно-преспokoйно, так что трудно даже этому поверить, — и вот наконец один-единственный лучик не толще паутинки пробился сквозь щель и упал на птичий глаз.

Он был открыт, широко-прешироко открыт, и от одного его вида я пришел в ярость. Он был передо мной как на ладони, — голубоватый, подернутый отвратительной пленкой, от которой я весь похолодел, но лицо и все тело старика скрывала темнота, потому что я, словно по наитию, направил луч прямо в проклятую глазницу.

Ну, не говорил ли я вам, что вы полагаете сумасшествием лишь крайнее обострение чувств? Так вот, в ушах

у меня послышался тихий, глухой, частый стук, будто тикали часы, завернутые в вату. Мне ли не знать этого звука. То билось сердце старика. Его удары распалили мою ярость, подобно тому как барабанный бой будит отвагу в душе солдата.

Но даже тогда я сдержал себя и не шелохнулся. Я затаил дыхание. Фонарь не дрогнул в моей руке. Я проверил, насколько твердо я могу удерживать луч, направленный в его глаз. А меж тем адский барабанный грохот сердца нарастал. Что ни миг, он становился все быстрее и быстрее, все громче и громче. Страх старика неотвратимо дошел до крайности! С каждым мгновением сердце его билось все громче, да, все громче!.. Понятно вам? Я же сказал, что я нервный: это так. И тогда, глухой ночью, в зловещем безмолвии старого дома, неслышанный этот звук поверг меня самого в беспредельный ужас. И все же еще несколько минут я сдерживал себя и не шелохнулся. Но удары звучали все громче, громче! Казалось, сердце вот-вот разорвется. И тут у меня возникло новое опасение — ведь стук мог услышать кто-нибудь из соседей! Час старика пробил! С громким воплем я сорвал заслонку с фонаря и прыгнул в комнату. Старик вскрикнул только раз — один-единственный раз. Я мигом стащил его на пол и придавил тяжелой кроватью. Дело было сделано на славу, и я сиял от радости. Но долгие минуты сердце еще глухо стучало. Однако это меня не беспокоило; теперь уж его не могли услышать за стеной. Наконец все смолкло. Старик был мертв. Я оттащил кровать и осмотрел труп. Да, он был навеки, навеки мертв. Я приложил руку к его груди, против сердца, и держал так долгие минуты. Сердце не билось. Он был навеки мертв. Его глаз больше не потревожит меня.

Если вы все еще считаете меня сумасшедшим, вам придется переменить свое мнение, когда я расскажу о тех мудрых предосторожностях, с какими я спрятал тело. Ночь была уже на исходе, и я действовал поспешно, но без шума. Первым делом я расчленил труп. Отрезал голову, руки и ноги.

Потом я оторвал три половицы и уложил все останки меж брусьев. После этого приладил доски на место так

хитроумно, так ловко, что никакой человеческий глаз — даже его глаз — не заметил бы ничего подозрительного. Смывать следы не пришлось: нигде ни пятнышка, ни капельки крови. Уж об этом я позаботился. Все попало прямо мехонько в таз — ха-ха!

Когда я управился со всем этим, было уже четыре часа — но темнота стояла такая же, как в полночь. Едва колокол пробил четыре, в парадную дверь постучали. Я спустился вниз и отворил со спокойной душой — чего мне теперь было бояться? Вошли трое и как нельзя более учтиво сообщили, что они из полиции. Сосед слышал ночью крик; возникло подозрение, что совершено злодеяние; об этом сообщили в полицейский участок, и они (полицейские) получили приказ обыскать дом.

Я улыбнулся — в самом деле, чего мне было бояться? Я любезно пригласил их в комнаты. Я объяснил, что это сам я вскрикнул во сне. А старика нет, заметил я мимоходом, он уехал из города. Я водил их по всему дому. Я просил искать — искать хорошенько. Наконец я провел их в его комнату. Я показал им все его драгоценности, целехонькие, нетронутые. Самонадеянность моя была столь велика, что я принес в комнату стулья и предложил им отдохнуть здесь от трудов, а сам, преисполненный торжества, с отчаянной дерзостью поставил свой стул на то самое место, где покоился труп моей жертвы.

Полицейские были удовлетворены. Мое поведение их убедило. Я держался с редкой непринужденностью. Они сели и принялись болтать о всяких пустяках, а я оживленно поддержал разговор. Но в скором времени я почувствовал, что бледнею, и мне захотелось поскорей их спровадить. У меня болела голова и, кажется, звенело в ушах; а они все сидели и болтали. Звон становился явственней; он не смолкал, нет, он становился явственней: я заговорил еще более развязно, чтобы избавиться от него; но он не смолкал, а лишь обретал отчетливость, — и наконец я обнаружил, что он раздается вовсе не у меня в ушах.

Без сомнения, я очень побледнел; теперь я говорил без умолку и повысил голос. Но звук нарастал — и что мог я поделать? Это был тихий, глухой, частый стук —

очень похожий на тиканье часов, если их завернуть в вату. Я задыхался, мне не хватало воздуха, — а полицейские ничего не слышали. Я заговорил еще быстрее — еще иступленней; но звук нарастал неотвратимо. Я вскочил и затеял какой-то нелепый спор, громогласно нес всякую чушь, неистово размахивал руками; но звук неотвратимо нарастал. Отчего они не хотят уйти? Я расхаживал по комнате и топал ногами, как будто слова этих людей привели меня в ярость, — но звук неотвратимо нарастал. О Господи! Что мог я поделать? Я брызгал слюной — я бушевал — я ругался! Я двигал стул, на котором только что сидел, со скрежетом возил его по половицам, но звук перекрывал все и нарастал непрерывно. Он становился все громче — громче — громче! А эти люди мило болтали и улыбались. Возможно ли, что они ничего не слышали? Господи Всемогущий!.. Нет, нет! Они слышали!.. они подозревали!.. они знали!.. они забавлялись моим ужасом! — так думал я и так думаю посейчас. Но нет, что угодно, только не это мучение! Будь что будет, только бы положить конец этому издевательству! Я не мог более выносить их лицемерные улыбки! Я чувствовал, что крик должен вырваться из моей груди, иначе я умру!.. Вот.. опять!.. Чу! Громче! Громче! Громче! Громче!

«Негодяи! — возопил я. — Будет вам притворяться! Я сознаюсь!.. оторвите половицы!.. вот здесь, здесь!.. это стучит его мерзкое сердце!»



ОЧКИ

Некогда принято было насмехаться над понятием «любовь с первого взглядов»; однако люди, способные мыслить, равно как и те, кто способен глубоко чувствовать, всегда утверждали, что она существует. И действительно, новейшие открытия в области, так сказать, нравственного магнетизма или магнетоэстетики заставляют предполагать, что самыми естественными, а, следовательно, самыми искренними и сильными из человеческих чувств являются те, которые возникают в сердце, точно электрическая искра, — словом, лучшие и самые прочные из душевных цепей куются с одного взгляда. Признание, которое я намерен сделать, будет еще одним из бесчисленных подтверждений этой истины.

Повесть моя требует, чтобы я сообщил некоторые подробности. Я еще очень молод — мне не исполнилось и двадцати двух лет. Моя нынешняя фамилия — весьма распространенная и довольно-таки плебейская — Симпсон. Я говорю «нынешняя», ибо я принял ее всего лишь в прошлом году, ради получения большого наследства, доставшегося мне от дальнего родственника, Адольфуса Симпсона, эсквайра. По условиям завещания требовалось принять фамилию завещателя — но только фамилию, а не имя; имя мое — Наполеон Бонапарт.

Фамилию Симпсон я принял неохотно; ибо с полным основанием горжусь своей настоящей фамилией — Фруассар и считаю, что мог бы доказать свое происхождение от бессмертного автора «Хроник». Если говорить о фамилиях, отмечу кстати любопытные звуковые совпадения в фамилиях моих ближайших предков. Отцом моим был некий мсье Фруассар из Парижа. Моя мать, вышедшая за него в возрасте пятнадцати лет, — урожденная Кру-

ассар, старшая дочь банкира Круассара; а супруга того, вышедшая замуж шестнадцати лет, была старшей дочерью некоего Виктора Вуассара. Мсье Вуассар, как ни странно, также женился в свое время на барышне с похожей фамилией — Муассар. Она тоже вышла замуж почти ребенком; а ее мать, мадам Муассар, венчалась четырнадцати лет. Впрочем, столь ранние браки во Франции довольно обычны. Как бы то ни было, четыре ближайших поколения моих предков звались Муассар, Вуассар, Круассар и Фруассар. Я же, как уже говорилось, официально сделался Симпсоном, но с такой неохотой, что даже колебался, принять ли наследство на подобных никому не нужных и неприятных proviso¹.

Личными достоинствами я отнюдь не обделен. Напротив, я считаю, что хорошо сложен и обладаю внешностью, которую девять человек из десяти назовут красивой. Мой рост — пять футов одиннадцать дюймов. Волосы у меня темные и кудрявые. Нос — довольно правильной формы. Глаза большие и серые; и хотя крайняя близорукость причиняет мне большие неудобства, внешне это совершенно незаметно. Против докучной близорукости я применял всевозможные средства, за исключением очков. Будучи молод и красив, я их, естественно, не любил и всегда решительно от них отказывался. Ничто так не обезобразит молодое лицо, придавая ему нечто излишне чопорное или даже ханжеское и старообразное. Что касается монокля, в нем есть какая-то жеманность и фатоватость. До сих пор я старался обходиться без того и другого. Но довольно этих подробностей, не имеющих, в сущности, большого значения. Добавлю еще, что темперамент у меня сангвинический; я горяч, опрометчив и восторжен и всегда был пылким поклонником женщин.

Однажды прошлой зимой в театре П. я вошел в одну из лож в сопровождении моего приятеля, мистера Толбота. В тот вечер давали оперу, в афише значилось много заманчивого, так что зрительный зал был полон. Мы, однако, вовремя явились занять оставленные для нас места в первом ряду, куда не без труда протиснулись.

¹ Условиях (лат).

В течение двух часов внимание моего спутника, настоящего музыкального *fanatico*¹, было всецело поглощено сценой; а я тем временем разглядывал публику, по большей части представлявшую *elite*² нашего города. Удостоверясь в этом, я приготовился перевести взгляд на *prima donna*³, как вдруг его приковала к себе дама в одной из лож, прежде мной не замеченная.

Проживи я хоть тысячу лет, мне не позабыть охватившего меня глубокого волнения. То была прекраснейшая из всех женщин, до тех пор виденных мною. Лицо ее было обращено к сцене, так что в первые несколько минут оставалось невидным, но фигура была божественна — никакое иное слово не могло бы передать ее дивные пропорции и даже это кажется мне смехотворно слабым.

Прелесть женских форм, колдовские чары женской грации всегда привлекали меня с неодолимой силой; но тут передо мной была воплощенная грация, *beau ideal*⁴ моих самых пылких и безумных мечтаний. Видная мне почти целиком, благодаря устройству ложи, она была несколько выше среднего роста и могла быть названа почти величавой. Округлость фигуры, ее *tournure*⁵ были восхитительны. Голова, видная мне только с затылка, могла соперничать с головкой Психеи; очертания ее скорее подчеркивались, чем скрывались изящным убором из *gaze aerie*⁶, напомнившим мне о *ventum textilem*⁷ Апулея. Правая рука покоилась на барьере ложи и своей восхитительной формой заставляла трепетать каждый нерв моего существа. Верхняя часть ее скрывалась модным широким рукавом. Он спускался чуть ниже локтя. Под ним был другой, облегаящий рукав, из какой-то тонкой ткани, законченный пышной кружевной манжетой, красиво лежавшей на кисти руки, оставляя наружу лишь тонкие пальцы, один из которых был украшен бриллиан-

¹ Фанатика (*ит.*).

² Избранную часть, цвет (*фр.*).

³ Примадонну, певицу, исполняющую главную роль (*ит.*).

⁴ Идеал (*фр.*).

⁵ Осанка (*фр.*).

⁶ Воздушного газа (*фр.*).

⁷ Ткани воздушной (*лат.*).

товым кольцом, несомненно огромной ценности. Прелестная округлость запястья подчеркивалась браслетом, также украшенным *aigrette*¹ из драгоценных камней, который яснее всяких слов свидетельствовал как о богатстве, так и об изысканном вкусе владелицы.

Словно окаменев, я не менее получаса любовался этим царственным обликом и в полной мере ощутил силу и истинность всего, что говорится и поется о «любви с первого взгляда». Чувства мои совершенно не походили на те, какие я испытывал прежде, даже при виде наиболее знаменитых красавиц. Какое-то необъяснимое, магнетическое влечение души к душе, казалось, приковало не только мой взор, но все мои помыслы и чувства к восхитительному созданию, сидевшему передо мной. Я понял — я почувствовал — я знал, что глубоко, безумно и беззаветно влюбился — даже прежде чем увидел лицо любимой. Так сильна была сжигавшая меня страсть, что я едва ли охладел бы, если бы черты еще невидимого мне лица оказались самыми заурядными — настолько причудлива природа единственной истинной любви и так мало она зависит от внешних условий, которые только по видимости рождают и питают ее.

Пока я таким образом самозабвенно любовался прелестным видением, какой-то внезапный шум в зале заставил даму слегка повернуться в мою сторону, и я увидел ее профиль. Красота его даже превзошла мои ожидания — и, однако, что-то в нем разочаровало меня, хотя я не сумел бы объяснить, что именно. Я сказал «разочаровало», но это слово не вполне подходит. Чувства мои успокоились и одновременно сделались как бы возвышеннее. Причиной могло быть выражение достоинства и кротости, придававшее ей облик матроны или мадонны. Однако я тотчас понял, что дело не только в этом. Было еще нечто — какая-то непостижимая тайна — что-то неуловимое в ее лице, что несколько встревожило меня, усилив, вместе с тем, мой интерес. Словом, я пришел в то состояние духа, когда молодой и впечатлительный человек готов на любое безумство. Если бы дама была в одиночестве,

¹ Плюмажем, пучком (фр.).

я наверняка вошел бы в ее ложу и рискнул заговорить с ней; но, по счастью, с ней были двое — мужчина и поразительно красивая женщина, по виду несколько моложе ее.

Я перебирал в уме всевозможные способы быть представленным старшей из дам или хотя бы рассмотреть ее более отчетливо. Я готов был пересесть к ней поближе, но для этого театр был слишком переполнен, а неумолимые законы приличия запрещают в наше время пользоваться в подобных случаях биноклем, даже если бы он у меня оказался,— но его не было, и я был в отчаянии.

Наконец мне пришло в голову обратиться к моему спутнику,

— Толбот,— сказал я,— у вас есть бинокль. Дайте его мне.

— Бинокль? Нет. К чему мне бинокль? — И он нетерпеливо повернулся к сцене.

— Толбот,— продолжал я, теребя его за плечо,— послушайте! Видите вон ту ложу? Вон ту. Нет, соседнюю — встречали вы когда-нибудь такую красавицу?

— Да, хороша, — сказал он.

— Интересно, кто такая?

— Бог ты мой, неужели вы не знаете? «Сказав, что вы не знаете ее, в ничтожестве своем вы сознаетесь». Это известная мадам Лаланд — первая красавица — о ней говорит весь город. Безмерно богата, к тому же — вдова, завидная партия — и только что из Парижа.

— Вы с ней знакомы?

— Да, имею честь.

— А меня представите?

— Разумеется, с большим удовольствием; но когда?

— Завтра в час дня я зайду за вами в отель Б.

— Отлично; а сейчас помолчите, если можете.

В этом мне пришлось подчиниться Толботу, ибо он остался глух ко всем дальнейшим расспросам и замечаниям и до конца вечера был занят только тем, что происходило на сцене.

Я тем временем не сводил глаз с мадам Лаланд, и мне наконец посчастливилось увидеть ее en face¹. Лицо ее было

¹ Спереди (фр.).

прелестно — но это подсказало мне сердце, еще прежде чем Толбот удовлетворил мое любопытство; и все же нечто непонятное продолжало меня тревожить. Наконец я решил, что это должно быть выражение серьезности, печали или, пожалуй, усталости, которое лишало лица части свежести и юности, но зато придавало ему ангельскую кротость и величавость, то есть делало несравненно привлекательнее для моей восторженной и романтической натуры.

Пожирая ее глазами, я с волнением заметил по едва уловимому движению дамы, что она почувствовала на себе мой пламенный взгляд. Но я был так очарован, что не мог отвести его хотя бы на миг. Она отвернулась, и мне снова стал виден только ее изящный затылок. Через несколько минут, как видно, желая убедиться, продолжаю ли я смотреть на нее, она медленно обернулась и вновь встретила мой горящий взгляд. Она тотчас потупила свои большие темные глаза, а щеки ее густо залились румянцем. Но каково было мое удивление, когда она, вместо того чтобы вторично отвернуться, взяла двойной лорнет, висевший у нее на поясе, поднесла его к глазам — навела — и несколько минут внимательно и неторопливо меня разглядывала.

Если бы у моих ног ударила молния, я был бы менее поражен — но именно поражен, а отнюдь не возмущен, хотя в любой другой женщине подобная смелость могла и возмутить, и оттолкнуть. Но она проделала все это столь спокойно — с такой *nonchalance*¹ — с такой безмятежностью — словом, с такой безупречной воспитанностью, что это не содержало и тени бесстыдства, и единственными моими чувствами были удивление и восторг.

Когда она направила на меня свой лорнет, я заметил, что она, бегло оглядев меня, уже готовилась отвести его, но потом, словно спохватившись, вновь приставила к глазам и с пристальным вниманием разглядывала меня никак не менее пяти минут.

Поведение, столь необычное в американском театральном зале, привлекло общее внимание и вызвало в публи-

¹ Небрежностью (*фр.*).

ке движение и шепот, которые на миг смутили меня, но, казалось, не произвели никакого впечатления на мадам Лаланд.

Удовлетворив свое любопытство — если это было любопытством, — она опустила лорнет и снова спокойно обратила лицо к сцене, повернув ко мне, как и вначале, свой профиль. Я по-прежнему не спускал с нее глаз, хотя вполне сознавал неприличность своего поведения. Но вот голова ее медленно изменила положение, и вскоре я убедился, что дама, делая вид, будто смотрит на сцену, на самом деле внимательно глядит на меня. Излишне говорить, как подействовало на мою пламенную натуру подобное поведение столь обворожительной женщины.

Посвятив осмотру моей особы, пожалуй, с четверть часа, прекрасный предмет моей страсти обратился к сопровождавшему ее джентльмену, и я по взглядам их обоих ясно понял, что разговор идет обо мне.

Затем мадам Лаланд вновь повернулась к сцене и на несколько минут, по-видимому, заинтересовалась представлением. По прошествии этого времени я с неизъяснимым волнением увидел, что она еще раз взялась за лорнет, снова повернулась ко мне и, пренебрегая возобновившимся перешептыванием в публике, оглядела меня с головы до ног с тем же удивительным спокойствием, которое уже в первый раз так восхитило и потрясло меня.

Эти необычайные поступки, окончательно вскружив мне голову и доведя до истинного безумия мою страсть, скорее придали мне смелости, чем смутили. В любовном угаре я позабыл обо всем, кроме присутствия очаровательницы и ее царственной красоты. Улучив минуту, когда, как мне казалось, внимание публики было поглощено оперой, я поймал взгляд мадам Лаланд и тотчас же отвесил ей легкий поклон.

Она сильно покраснела — отвела глаза — медленно и осторожно огляделась, видимо, желая убедиться, что мой дерзкий поступок остался незамеченным — а затем наклонилась к джентльмену, сидевшему с нею рядом.

Я уже сторал от стыда за совершенную мною бестактность и ожидал немедленного скандала; в уме моем промелькнула предстоящая наутро неприятная встреча на

пистолетах. Но тут я с большим облегчением увидел, что дама просто молча передала своему спутнику программу; и пусть читатель хотя бы отдаленно представит себе мое удивление — мое глубокое изумление — и безумное смятение чувств, когда дама, снова украдкой оглянувшись вокруг, устремила прямо на меня свои сияющие глаза, а затем, с легкой улыбкой, открывшей жемчужный ряд зубов, два раза утвердительно наклонила голову.

Невозможно описать мою радость — мой восторг — мое безмерное ликование. Если кто-нибудь терял рассудок от избытка счастья, таким безумцем был в ту минуту я. Я любил. То была моя первая любовь — так я чувствовал. То была любовь — безграничная — неизъяснимая. То была «любовь с первого взгляда», и с первого же взгляда меня оценили и ответили мне взаимностью.

Да, взаимностью. Как мог я в этом усомниться хотя бы на минуту? Как мог иначе истолковать подобное поведение со стороны дамы столь прекрасной — столь богатой — несомненно образованной и отлично воспитанной — занимающей столь высокое положение в обществе и достойной всяческого уважения, какою, по моему убеждению, являлась мадам Лаланд? Да, она полюбила меня — она ответила на мою безумную любовь чувством столь же безотчетным — столь же беззаветным — столь же бескорыстным — и столь же безмерным, как мое! Эти восхитительные размышления были, однако, тут же прерваны опустившимся занавесом. Зрители встали с мест, и началась обычная суতোлка. Покинув Толбота, я силился приблизиться к мадам Лаланд. Не сумев этого сделать из-за толпившейся публики, я должен был отказаться от погони и направился домой, тоскуя, что не смог хотя бы коснуться края ее одежды, но утешаясь мыслью, что назавтра Толбот представит меня ей по всей форме.

Этот день, наконец, настал; то есть долгая и томительная ночь нетерпеливого ожидания сменилась рассветом; но и после этого время до «часу дня» ползло нескончаемо, точно улитка. Но говорят, что даже Стамбулу когда-нибудь придет конец; наступил он и для моего ожидания. Часы пробили. При последнем отголоске их боя я вошел в отель Б. и спросил Толбота.

— Нету,— ответил слуга — собственный лакей Толбота.

— Нету? — переспросил я, пошатнувшись и отступая на несколько шагов.— Это, любезный, совершенно немыслимо и невозможно. Как это *нету*?

— Дома нету, сэр. Мистер Толбот сейчас же как позавтракал, уехал в С.— и велел сказать, что не будет в городе всю неделю.

Я окаменел от ужаса и негодования. Я пытался что-то сказать, но язык мне не повиновался. Наконец я пошел прочь, бледный от злобы, мысленно посылая в преисподнюю весь род Толботов. Было ясно, что мой внимательный друг, *il fanatico*, совершенно позабыл о своем обещании — позабыл сразу же, как обещал. Он никогда не отличался верностью своему слову. Делать было нечего; я подавил, как сумел, свое раздражение и уныло шел по улице, тщетно расспрашивая о мадам Лаланд каждого встречавшегося мне знакомого мужчину. Оказалось, что понаслышке ее знали все — а многие и в лицо,— но она находилась в городе всего несколько недель, и поэтому лишь очень немногие могли похвастать знакомством с нею. Эти немногие, сами будучи еще малознакомыми для нее людьми, не могли или не хотели взять на себя смелость явиться к ней с утренним визитом ради того, чтобы меня представить. Пока я, уже отчаявшись, беседовал с тремя приятелями все на ту же поглощавшую меня тему, предмет этой беседы внезапно сам появился перед нами.

— Клянусь, вот и она! — вскричал один из приятелей.

— Изумительна, хороша! — воскликнул второй.

— Суший ангел! — промолвил третий.

Я взглянул; в открытом экипаже, который медленно ехал по улице, к нам приближалось волшебное видение, представшее мне в опере, а рядом сидела та же молодая особа, что была тогда с нею в ложе.

— Ее спутница тоже удивительно хорошо выглядит,— заметил тот из троих, кто заговорил первым.

— Да, поразительно,— сказал второй,— до сих пор весьма эффектна; но ведь искусство творит чудеса. Честное слово, она выглядит лучше, чем пять лет назад, в

Париже. Все еще хороша — не правда ли, Фруассар, то бишь, Симпсон?

— *Все еще?* — переспросил я; почему бы нет? — Но в сравнении со своей спутницей она все равно, что свечка рядом с вечерней звездой — или светлячок по сравнению с Антаресом.

— Ха, ха, ха! Однако ж, Симпсон, у вас истинный дар на открытия, и весьма оригинальные.

На этом мы расстались; а один из трио принял мурлыкать водевильные куплеты, в которых я уловил лишь несколько слов:

Ninon, Ninon, Ninon a bas —
A bas Ninon De L'Enclos!¹

Во время этого разговора произошло событие, которое меня очень обрадовало, но еще усилило сжигавшую меня страсть. Когда экипаж мадам Лаланд поравнялся с нами, она явно меня узнала; более того — ошастливила ангельскою улыбкой, ясно говорившей, что я узнал.

Всякую надежду на знакомство пришлось оставить до того времени, когда Толбот сочтет нужным вернуться в город. А пока я усердно посещал все приличные места общественных увеселений и, наконец, в том самом театре, где я увидел ее впервые, я имел несказанное счастье встретить ее еще раз и обменяться с ней взглядами. Это, однако, произошло лишь по прошествии двух недель. Все это время я ежедневно справлялся о Толботе в его отеле и ежедневно приходил в ярость, слыша от его слуги неизменное «еще не приезжал».

Вот почему в описываемый вечер я был уже близок к помешательству. Мне сказали, что мадам Лаланд — парижанка, недавно приехала из Парижа — она могла ведь и уехать обратно — уехать до возвращения Толбота — а тогда будет потеряна для меня навеки. Мысль эта была непереносима. На карту было поставлено мое будущее счастье, и я решил действовать, как подобает настоящему мужчине. Словом, по окончании представления я после-

¹ Долой Нинон, Нинон, Нинон —
Долой Нинон де Ланкло! (фр.)

довал за дамой, заметил себе ее адрес, а на следующее утро послал ей пространное письмо, в котором излил свои чувства.

Я писал свободно, смело — словом, писал со страстью. Я ничего не скрыл — даже своих слабостей. Я упомянул о романтических обстоятельствах нашей первой встречи и даже о взглядах, которыми мы обменялись. Я решился написать, что уверен в ее любви; этой уверенностью, а также пылкостью моего собственного чувства я оправдывал поступок, который иначе был бы непростителен. В качестве третьего оправдания я написал о своем опасении, что она может уехать из города, прежде чем мне явится возможность быть ей представленным. Я заключил это самое безумное и восторженное из посланий откровенным отчетом о своих денежных обстоятельствах — о своих немалых средствах — и предложением руки и сердца.

Ответа я ждал с мучительным нетерпением. Спустя какое-то время, показавшееся мне столетием, ответ пришел.

Да, *пришел*. Как ни романтично все это может показаться, я действительно получил письмо от мадам Лаланд — от прекрасной, богатой, всех восхищавшей мадам Лаланд. Ее глаза — ее чудесные глаза — не обманывали: сердце ее было благородно. Как истая француженка, она послушалась честного голоса природы — щедрых побуждений сердца и презрела чопорные условности света. Она *не* отвергла мое предложение. Она *не* замкнулась в молчании. Она *не* возвратила мое письмо нераспечатанным. Она даже прислала ответ, начертанный ее собственной прелестной рукой. Ответ этот гласил:

«Мсье Симпсон будет извинить если плохо пишу прекрасного языка его contree¹. Я приехал недавно и не был еще случай его studier².

С эта извинения, я скажу, helas!³ Мсье Симпсон очень истинно догадалась. Не надо добавлять? Helas! Я уже слишком много сказать.

Эжени Лаланд».

¹ Страны (фр.).

² Изучить (фр.).

³ Увы! (фр.)

Я тысячи раз целовал эту благородную записку и, вероятно, совершил множество других безумств, которых сейчас уж и не припомню. А Толбот *все еще* не возвращался. Ах, если б он хоть смутно догадывался о страданиях, какие причинял другу своим отсутствием, неужели он не поспешил бы их облегчить? Однако он не возвращался. Я написал ему. Он ответил. Его задерживали неотложные дела — но он скоро вернется. Он просил меня быть терпеливее — умерить мой пыл — читать успокоительные книги — не пить ничего крепче рейнвейна — и искать утешения в философии. Глупец! Если он не мог приехать сам, отчего, во имя всего разумного, он не прислал в своем письме рекомендательной записки? Я написал ему вторично, умоляя прислать таковую. Письмо мое было мне возвращено *все тем же* слугой со следующей карандашной надписью — негодяй уехал к своему господину:

«Уехали вчера из С., а куда и надолго ли — не сказали. Поэтому я решил лучше письмо вернуть, узнавши Вашу руку, потому что Вам всегда спешно.

*Ваш покорный слуга
Стаббс».*

Надо ли говорить, как я после этого проклинал и господина и слугу,— но от гнева было мало пользы, а от жалоб — ни малейшего утешения.

Моей последней надеждой оставалась моя врожденная смелость. Она уже сослужила мне службу, и я решил положиться на нее и далее. К тому же, после обмена письмами что мог я совершить такого, что мадам Лаланд сочла бы за дерзость? После получения от нее письма я постоянно наблюдал за ее домом и обнаружил, что она имела обыкновение прогуливаться по вечерам в парке, куда выходили ее окна, в сопровождении одного лишь негра в ливрее. Здесь, под роскошными тенистыми купами, в сумерках теплого летнего дня я дождался случая и подошел к ней.

Чтобы ввести в заблуждение сопровождавшего ее слугу, я принял уверенный вид старого, близкого знакомого. Она сразу поняла это и с истинно парижским присутствием духа протянула мне в качестве приветствия обворожительную маленькую ручку. Слуга тотчас же отстал на несколько шагов, и мы излили наши переполненные сердца в долгой беседе о нашей любви.

Так как мадам Лаланд изъяснялась по-английски еще менее свободно, чем писала, разговор мог идти только по-французски. На этом сладостном языке, созданном для любовных признаний, я дал волю своей необузданной страстности и со всем красноречием, на какое был способен, умолял ее согласиться на немедленный брак.

Мое нетерпение вызвало у нее улыбку. Она напомнила о светских приличиях — об этом пугале, которое столь многим преграждает путь к счастью, пока возможность его не бывает потеряна навеки. Она сказала, что я весьма неосторожно разгласил среди своих друзей, что ищу знакомства с нею, показав тем самым, что мы еще не знакомы, и теперь нам не удастся скрыть, когда именно мы познакомились. Тут она, смущаясь, назвала эту столь недавнюю дату. Немедленное венчание было бы неприлично поспешным — неудобным — *outré*¹. Все это она высказала с очаровательной *naïvete*², которая восхитила меня, хотя я с огорчением сознавал, что она права. Она даже обвинила меня, смеясь, в опрометчивости и безрассудстве. Она напомнила мне, что я не знаю, кто она, каковы ее средства, ее семья и положение в обществе. Она со вздохом попросила меня не спешить и назвала мою любовь ослеплением — вспышкой — минутной фантазией — непрочным созданием скорее воображения, нежели сердца. Пока она говорила, блаженные сумерки все более сгущались вокруг нас — и вдруг, нежным пожатием своей волшебной ручки она в один сладостный миг опрокинула все здание своих доводов.

Я отвечал, как умел, — как умеют одни лишь истинно влюбленные. Я пространно и убедительно говорил о своей

¹ Вызывающим (фр.).

² Наивностью (фр.).

любви, о своей страсти — о ее дивной красоте и о моем безмерном восхищении. В заключение я энергично указал на опасности, окружающие любовь — ту истинную любовь, чей путь никогда не бывает гладким, и вывел отсюда, что путь этот надлежит по возможности сократить.

Последний мой довод, казалось, несколько поколебал ее суровую решимость. Она смягчилась; но оставалось еще одно препятствие, о котором, по ее словам, я должным образом не подумал. Вопрос был щекотливый — женщине особенно не хотелось бы его касаться; делая это, она пересиливала себя, но ради *меня* она готова на любую жертву. Она имела в виду возраст. Знаю ли я — точно ли я знаю, какая разница в годах нас разделяет? Когда муж бывает на несколько лет и даже на пятнадцать — двадцать лет старше жены, это свет считает допустимым и даже одобряет; но чтобы жена была старше мужа, этого мадам Лаланд *никогда* не одобряла. Подобное противоестественное различие слишком часто, увы! бывает причиной несчастливости супружества. Она знает, что мне всего лишь двадцать два года; а вот мне, возможно, не известно, что моя Эжени значительно старше.

В этих словах звучало душевное благородство, достоинство и прямота, которые очаровали меня — привели в восхищение — и еще прочнее привязали к ней. Я едва мог сдерживать свой безмерный восторг.

— Прелестная Эжени! — вскричал я; — о чем вы толкуете? Вы несколько старше меня годами. Что ж из того? Обычай света — всего лишь пустые условности. Для такой любви; как наша, не все ли равно — год или час? Вы говорите, что мне всего двадцать два, хотя мне уже почти двадцать три. Ну, а вам, милая Эжени, не может быть более — более чем — чем...

Тут я остановился, надеясь, что мадам Лаланд договорит за меня и назовет свой возраст. Но француженка редко отвечает прямо и на щекотливый вопрос всегда имеет наготове какую-нибудь увертку. В этом случае Эжени, перед тем искавшая что-то у себя на груди, уронила в траву медальон, который я немедленно подобрал и подал ей.

— Возьмите его! — сказала она с самой обворожительной своей улыбкой.— Примите его от той, которая здесь так лестно изображена. К тому же на обороте медальона вы, быть может, найдете ответ на свой вопрос. Сейчас слишком темно — вы рассмотрите его завтра утром. А теперь проводите меня домой. Мои друзья устраивают сегодня небольшой домашний *levee*¹. Обещаю, что вы услышите неплохое пение. Мы, французы, не столь чопорны, как вы, американцы, и я без труда проведу вас к себе, как будто старого знакомого.

Она оперлась на мою руку, и я проводил ее домой. Особняк ее был красив и, кажется, обставлен со вкусом. Об этом, впрочем, я едва ли мог судить, ибо к тому времени совсем стемнело, а в лучших американских домах редко зажигают лампы в летние вечера. Разумеется, спустя час после моего прихода в большой гостиной зажгли карельскую лампу под абажуром; и я смог увидеть, что эта комната была убрана с необыкновенным вкусом и даже роскошью; но две соседние, в которых главным образом и собрались гости, в течение всего вечера оставались погруженными в весьма приятный полумрак. Это отличный обычай, дающий гостям возможность выбирать между светом и сумраком, и нашим заморским друзьям следовало бы принять его немедленно.

Проведенный там вечер был, несомненно, счастливейшим в моей жизни. Мадам Лаланд не преувеличила музыкальные дарования своих друзей; я услышал пение, лучше которого еще не слышал в домашних концертах, разве лишь в Вене. Много было также талантливых исполнителей на музыкальных инструментах. Пели главным образом дамы и все — по меньшей мере хорошо. Когда собравшиеся требовательно закричали «Мадам Лаланд», она, не жеманясь и не отнекиваясь, встала с шезлонга, где сидела рядом со мною, и, в сопровождении одного-двух мужчин, а также подруги, с которой была в опере, направилась к фортепиано, стоявшему в большой гостиной. Я охотно сам проводил бы ее туда, но чувствовал, что обстоятельства моего появления в доме требова-

¹ Прием (фр.).

ли, чтобы я не был слишком на виду. Поэтому я был лишен удовольствия смотреть на певицу — но мог слышать ее.

Впечатление, произведенное ею на слушателей, было потрясающим, но на меня действие ее пения было еще сильнее. Я не сумею описать его должным образом. Отчасти оно вызывалось переполнявшей меня любовью; но более всего — глубоким чувством, с каким она пела. Никакое мастерство не могло придать арии или речитативу более страстной *выразительности*. Ее исполнение романса из «Отелло», — интонация, с какою она пропела слова «*Sul mio zasso*»¹ из «Капулетти», донныне звучат в моей памяти. В низком регистре она поистине творила чудеса. Голос ее обнимал три полные октавы, от контральтового D до верхнего D сопрано, и, хотя он был достаточно силен, чтобы наполнить Сан Карло, она настолько владела им, что с легкостью справлялась со всеми вокальными сложностями — восходящими и нисходящими гаммами, каденциями и фиоритурами. Особенно эффектно прозвучал у нее финал «Сомнамбулы»:

Ah! non giunge uman pensiero
Al contento ond'io son piena².

Тут, в подражание Малибран, она изменила сочиненную Беллини фразу, взяв теноровое G, а затем сразу перебросив звук G на две октавы вверх.

После этих чудес вокального искусства она вернулась на свое место рядом со мной, и я в самых восторженных словах выразил ей мое восхищение. Я ничего не сказал о моем удивлении, а между тем я был немало удивлен, ибо некоторая слабость и как бы дрожание ее голоса при разговоре не позволяли ожидать, что пение ее окажется столь хорошо.

Тут между нами произошел долгий, серьезный, откровенный и никем не прерываемый разговор. Она заставила меня рассказать о моем детстве и слушала с

¹ Над моим утесом (*ит.*).

² Ум человеческий постичь не может
Той радости, которой я полна (*ит.*).

напряженным вниманием. Я не утаил от нее ничего — я не чувствовал себя вправе что-либо скрывать от ее доверчивого и ласкового участия. Ободренный ее собственной откровенностью в деликатном вопросе о возрасте, я сознался не только в многочисленных дурных привычках, но также и в нравственных и даже физических недостатках, что требует гораздо большего мужества и тем самым служит вернейшим доказательством любви. Я коснулся студенческих лет — мотовства — пирушек — долгов — и любовных увлечений. Я пошел еще дальше и признался в небольшом легочном кашле, который мне одно время докучал — в хроническом ревматизме — в наследственном расположении к подагре и, наконец, в неприятной, но доныне тщательно скрываемой слабости зрения.

— Что касается последнего, — сказала, смеясь, мадам Ла ланд, — то вы напрасно сознались, ибо без этого признания вас никто бы не заподозрил. Кстати, — продолжала она, — помните ли вы, — и тут мне, несмотря на царивший в комнате полумрак, почудилось, что она покраснела, — помните ли вы, *mon cher ami*¹, средство для улучшения зрения, которое и сейчас висит у меня на шее?

Говоря это, она вертела в руках тот самый двойной лорнет, который привел меня в такое смущение тогда в опере.

— Еще бы не помнить! — воскликнул я, страстно сжимая нежную ручку, протянувшую мне лорнет. Это была роскошная и затейливая игрушка, богато украшенная резьбой, филигранью и драгоценными камнями, высокая стоимость которых была мне видна даже в полумраке.

— *Eh bien, mon ami*², — продолжала она с *empressement*³, несколько меня удивившей. — *Eh bien, mon ami*, вы просите меня о даре, который называете бесценным. Вы просите моей руки и притом завтра же. Если я уступлю вашим мольбам — и, вместе, голосу собственного сердца — разве нельзя и мне требовать исполнения одной, очень маленькой, просьбы?

¹ Дорогой друг (фр.).

² Так вот, мой друг (фр.).

³ Поспешностью, готовностью (фр.).

— Назовите ее! — воскликнул я так пылко, что едва не привлек внимание гостей, и готовый, если б не они, броситься к ее ногам.— Назовите ее, моя любимая, моя Эжени, назовите! — но ах! Она уже исполнена прежде, чем высказана.

— Вы должны, *mon ami*,— сказала она,— ради любимой вами Эжени побороть маленькую слабость, в которой вы мне только что сознались,— слабость скорее моральную, чем физическую и, поверьте, недостойную вашей благородной души — несовместимую с вашей прирожденной честностью — и которая наверняка навлечет когда-нибудь на вас большие неприятности. Ради меня вы должны победить кокетство, которое, как вы сами признаете, заставляет вас скрывать близорукость. Ибо вы скрываете ее, когда отказываетесь прибегнуть к обычному средству против нее. Словом, вы меня поняли; я хочу, чтобы вы носили очки,— тсс! Вы ведь уже обещали *ради меня*. Примите же от меня в подарок вот эту вещицу, что я держу в руке; стекла в ней отличные, хотя ценность оправы и невелика. Видите, ее можно носить и так — и вот так — на носу, как очки, или в жилетном кармане в качестве лорнета. Но вы, *ради меня*, будете носить ее именно в виде очков и притом постоянно.

Должен признаться, что эта просьба немало меня смутила. Однако условие, с которым она была связана, не допускало ни малейших колебаний.

— Согласен! — вскричал я со всем энтузиазмом, на какой я был в тот миг способен.— Согласен, и притом с радостью. Ради вас я готов на все. Сегодня я буду носить этот милый лорнет как лорнет, у сердца; но на заре того дня, когда я буду иметь счастье назвать вас своей женой, я надену его на нос и так стану носить всегда, в том менее романтическом и менее модном, но, несомненно, более полезном виде, какой вам угоден.

После этого разговор у нас перешел на подробности нашего завтрашнего плана. Толбот, как я узнал от своей нареченной, как раз вернулся в город. Я должен был немедленно с ним увидеться, а также нанять экипаж. Гости разойдутся не ранее чем к двум часам, и тогда, в суматохе разъезда, мадам Лаланд сможет незаметно в него сесть.

Мы поедem к дому одного священника, который уже будет нас ждать; тут мы обвенчаемcя, простимcя с Толботом и отправимcя в небольшое путешествие на Восток, предоставив фешенебельному обществу города говорить о нас все, что ему угодно.

Уговорившись обо всем этом, я тотчас отправился к Толботу, но по дороге не утерпел и зашел в один из отелей, чтобы рассмотреть портрет в медальоне; это я сделал при мощном содействии очков. Лицо на миниатюрном портрете было несказанно прекрасно! Эти большие лучезарные глаза! — этот гордый греческий нос! — эти пышные темные локоны! — «О,— сказал я себе, ликуя,— какое поразительное сходство!» На обратной стороне медальона я прочел: «Эжени Лаланд, двадцати семи лет и семи месяцев».

Я застал Толбота дома и немедленно сообщил ему о своем счастье. Он, разумеется, выразил крайнее удивление, однако от души меня поздравил и предложил помочь, чем только сможет. Словом, мы выполнили наш план; и в два часа пополудни, спустя десять минут после брачной церемонии, я уже сидел с мадам Лаланд — то есть с миссис Симпсон — в закрытом экипаже, с большой скоростью мчавшемся на северо-восток.

Поскольку нам предстояло ехать всю ночь, Толбот посоветовал сделать первую остановку в селении К.— милях в двадцати от города, чтобы позавтракать и отдохнуть, прежде чем продолжать путешествие. И вот, ровно в четыре часа утра, наш экипаж подъехал к лучшей тамошней гостинице. Я помог своей обожаемой жене выйти и тотчас же заказал завтрак. В ожидании его нас провели в небольшую гостиную, и мы сели.

Было уже почти, хотя и не совсем, светло; и глядя в восхищении на ангела, сидевшего рядом со мною, я вдруг вспомнил, что, как ни странно, с тех пор как я впервые увидел несравненную красоту мадам Лаланд, я еще ни разу не созерцал эту красоту вблизи и при свете дня.

— А теперь, mon ami, — сказала она, взяв меня за руку и прервав таким образом мои размышления, — а теперь, mon cher ami, когда мы сочетались нерасторжимыми узами — когда я уступила вашим пылким мольбам

и исполнила уговор, я надеюсь, вы не забыли, что ж вам надлежит кое-что для меня сделать и сдержать свое обещание. Как это было? Дайте вспомнить. Да, вот точные слова обещания, которое вы дали вчера вечером своей Эжени. Слушайте! Вот, что вы сказали: «Согласен, и притом с радостью. Ради вас я готов на все. Сегодня я буду носить этот милый лорнет как лорнет, у сердца; но на заре того дня, когда я буду иметь счастье назвать вас своей женой, я надену его на — на нос, и так стану носить всегда, в том менее романтическом и менее модном, но, несомненно, более полезном виде, какой вам угоден». Вот точные ваши слова, милый супруг, не правда ли?

— Да, — ответил я, — у вас отличная память; и поверьте, прекрасная моя Эжени, я не намерен уклоняться от выполнения этого пустяшного обещания. Вот! Смотрите. Они мне даже к лицу, не так ли? — И, придав лорнету форму очков, я осторожно водрузил их на подобающее место; тем временем мадам Симпсон, поправив шляпку и скрестив руки, уселась на стуле в какой-то странной, напряженной и, пожалуй, неизящной позе.

— Боже! — вскричал я почти в тот же миг, как оправа очков коснулась моей переносицы. — Боже великий! Что же это за очки? — И быстро сняв их, я тщательно протер их шелковым платком и снова надел.

Но если в первый миг я был удивлен, то теперь удивление сменилось ошеломлением; ошеломление это было безгранично и могу даже сказать — ужасно. Во имя всего отвратительного, что это? Как поверить своим глазам — как? Неужели — неужели это румяна? А это — а это — неужели же это морщины на лице Эжени Лаланд? О Юпитер и все боги и богини, великие и малые! — что — что — что случилось с ее зубами? — Я в бешенстве швырнул очки на пол, вскочил со стула и стал перед миссис Симпсон, уперевшись руками в бока, скрежеща зубами с пеною у рта, но не в силах ничего сказать от ужаса и ярости.

Я говорил уже, что мадам Эжени Лаланд — то есть Симпсон — говорила на английском языке почти так же плохо, как писала, и поэтому обычно к нему не прибегала. Но гнев способен довести женщину до любой крайности;

на этот раз он толкнул миссис Симпсон на нечто необычайное: на попытку говорить на языке, которого она почти не знала.

— Ну и что, мсье,— сказала она, глядя на меня с видом крайнего удивления.— Ну и что, мсье? Что случилось? Вам есть танец святой Витт? Если меня не нравиться, зачем купите кот в мешок?

— Негодяйка! — произнес я, задыхаясь. — Мерзкая старая ведьма!

— Едьма? Стари? Не *такой* вообще стари. Только восемьдесят два лета.

— Восемьдесят два! — вскричал я, пятась к стене.— Восемьдесят две тысячи образин! Ведь на медальоне было написано: двадцать семь лет и семь месяцев!

— Конечно! Все есть верно! Но портрет рисовал уже пятьдесят пять год. Когда шел замуж, второй брак, с мсье Лаланд, делал портрет для мой дочь от первый брак с мсье Муассар.

— Муассар? — сказал я.

— Да, Муассар, Муассар, — повторила она, передразнивая мой выговор, который был, по правде сказать, не из лучших.— И что? Что вы знать о Муассар?

— Ничего, старая карга. Я ничего о нем не знаю. Просто один из моих предков носил эту фамилию.

— Этот фамиль? Ну, что вы против этой фамиль имей? Очень *хороший* фамиль; и Вуассар — *тоже* очень хороший. Мой дочь мадемуазель Муассар выходил за мсье Вуассар; *тоже* очень почтенный фамиль.

— Муассар! — воскликнул я. — И Вуассар! Да что же это такое?

— Что такой? Я говорю Муассар и Вуассар, а еще могу сказать, если хочу, Круассар и Фруассар. Дочь моей дочи, мадемуазель Вуассар, она женился на мсье Круассар, а моей дочи внучь, мадемуазель Круассар, она выходил мсье Фруассар. Вы будет сказать, что *эти* *тоже* не есть почтенный фамиль?

— Фруассар! — сказал я, чувствуя, что близок к обмороку. — Неужели действительно Муассар, Вуассар, Круассар и Фруассар?

— Да! — ответила она, откидываясь на спинку стула и вытягивая ноги — да! Муассар, Вуассар, Круассар и Фруассар. Но мсье Фруассар — это один большой, как говорит, дюрак — один очень большой осел, как вы сам — потому что оставлял *la belle France*¹ и ехал этой *stupide Amerique*² — а там имел один *ошень* глупи, *ошень-ошень* глупи сын, так я слышал, но еще не видал, и мой подруга, мадам Стефани Лаланд, тоже не видал. Его имья — Наполеон Бонапарт Фруассар. Вы может говорить, что *это* не почтенный фамиль?

То ли продолжительность этой речи, то ли ее содержание привели миссис Симпсон в настоящее исступление. С большим трудом закончив ее, она вскочила со стула, как одержимая, уронив при этом на пол турниор величиною с целую гору. Она скалила десны, размахивала руками и, засучив рукава, грозила мне кулаком; в заключение она сорвала с головы шляпку, а с нею вместе — огромный парик из весьма дорогих и красивых черных волос, с визгом швырнула их на пол и, растоптав ногами, в совершенном остервенении сплясала на них какое-то подобие фанданго.

Я, между тем, ошеломленно опустился на ее стул. «Муассар и Вуассар», — повторял я в раздумье, пока она выкидывала одно из своих коленец. «Круассар и Фруассар», — твердил я, пока она заканчивала другое. «Муассар, Вуассар, Круассар и Наполеон Бонапарт Фруассар! — Да знаешь ли ты, невыразимая старая змея, ведь это *я-я* — слышишь? — *я-а-а!* Наполеон Бонапарт Фруассар — это я, и будь я проклят, если я не женился на собственной прапрабабушке!

Мадам Эжени Лаланд *quasi*³ Симпсон — по первому мужу Муассар — действительно приходилась мне прапрабабушкой. В молодости она была очень хороша собой и даже в восемьдесят два года сохранила величавую осанку, скульптурные очертания головы, великолепные глаза и греческий нос своих девических лет. Добавляя к этому

¹ Прекрасную Францию (фр.).

² Дурацкую Америку (фр.).

³ Почти (фр.).

жемчужную пудру, румяна, накладные волосы, вставные зубы, турнюр, а также искусство лучших парижских модисток, она сохраняла не последнее место среди красавиц — *un peu passees*¹ французской столицы. В этом отношении она могла соперничать с прославленной Нинон де Ланкло.

Она была очень богата; оставшись вторично вдовою, на этот раз бездетной, она вспомнила о моем существовании в Америке и, решив сделать меня своим наследником, отправилась в Соединенные Штаты в сопровождении дальней и на редкость красивой родственницы своего второго мужа — мадам Стефани Лаланд.

В опере моя прапрабабка заметила мой устремленный на нее взор; поглядев на меня в лорнет, она нашла некоторое фамильное сходство. Заинтересовавшись этим и зная, что разыскиваемый ею наследник проживает в том же городе, она спросила обо мне своих спутников. Сопровождавший ее джентльмен знал меня в лицо и сообщил ей, кто я. Это побудило ее оглядеть меня еще внимательнее и, в свою очередь, придало мне смелость вести себя уже описанным нелепым образом. Впрочем, отвечая на мой поклон, она думала, что я откуда-либо случайно узнал, кто она такая. Когда я, обманутый своей близорукостью и косметическими средствами относительно возраста и красоты незнакомой дамы, так настойчиво стал расспрашивать о ней Толбота, он, разумеется, решил, что я имею в виду ее молодую спутницу и в полном соответствии с истиной сообщил мне, что это «известная вдова, мадам Лаланд».

На следующее утро моя прапрабабушка встретила на улице Толбота, своего старого знакомого по Парижу, и разговор, естественно, зашел обо мне. Ей рассказали о моей близорукости, всем известной, хотя я этого не подозревал; и моя добрая старая родственница, к большому своему огорчению, убедилась, что я вовсе не знал, кто она, а просто делал из себя посмешище, ухаживая на виду у всех за незнакомой старухой. Решив проучить меня, она составила с Толботом целый заговор. Он нарочно от

¹ Несколько поблекших (фр.).

меня прятался, чтобы не быть вынужденным представить меня ей. Мои расспросы на улицах о «прелестной вдове, мадам Лаланд» все, разумеется, относили к младшей из дам; в таком случае стал понятен и разговор трех джентльменов, встреченных мною по выходе от Толбота, так же как и их упоминание о Нинон де Ланкло. При дневном свете мне не пришлось видеть мадам Лаланд вблизи; а на ее музыкальном *soiree*¹ я не смог обнаружить ее возраст из-за своего глупого отказа воспользоваться очками. Когда «мадам Лаланд» просили спеть, это относилось к младшей; она и подошла к фортепиано, а моя прапрабабушка, чтобы оставить меня и дальше в заблуждении, поднялась одновременно с нею и вместе с нею пошла в большую гостиную. На случай, если бы я захотел проводить ее туда, она намеревалась посоветовать мне оставаться там, где я был; но собственная моя осторожность сделала это излишним. Арии, которые так меня взволновали и еще раз убедили в молодости моей возлюбленной, были исполнены мадам Стефани Лаланд. Лорнет был мне подарен в назидание и чтобы добавить соли к насмешке. Это дало повод побранить меня за кокетство, каковое назидание так на меня подействовало.

Излишне говорить, что стекла, которыми пользовалась старая дама, были ею заменены на пару других, более подходящих для моего возраста. Они действительно оказались мне как раз по глазам.

Священник, будто бы сочетавший нас узами брака, был вовсе не священником, а закадычным приятелем Толбота. Зато он искусно правил лошадьми и, сменив свое облачение на кучерскую одежду, увез «счастливую чету» из города. Толбот сидел с ним рядом. Негодяи, таким образом, присутствовали при развязке. Подглядывая в полуотворенное окно гостиничной комнаты, они потешались над *dénouement*² моей драмы. Боюсь, как бы не пришлось вызвать их обоих на дуэль.

Итак, я не стал мужем своей прапрабабушки; и это сознание несказанно меня радует — но я все же стал

¹ Вечер (фр.).

² Развязкой (фр.).

мужем мадам Лаланд — мадам Стефани Лаланд, с которой меня сосватала моя добрая старая родственница, сделавшая меня к тому же единственным наследником после своей смерти — если только она когда-нибудь умрет. Добавлю в заключение, что я навсегда покончил с billets doux¹ и нигде не появляюсь без ОЧКОВ.

¹ Любовными письмами (фр.).



ОВАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ

«Egli e vivo e parlerebbe se non osservasse la regola del silenzio»¹.

(Подпись на итальянской картине св. Бруно.)

Лихорадка моя была сильна и упорна. Я перепробовал все средства, какие только можно было достать в дикой области Апеннин, и все без успеха. Мой слуга и единственный помощник, с которым мы очутились в уединенном замке, был слишком нервен и неловок, чтобы пустить мне кровь, да я и без того немало потерял ее в схватке с бандитами. За помощью я его также не мог послать. Наконец я вспомнил о небольшом запасе опиума, который хранился у меня вместе с табаком: в Константинополе я привык курить табак с этим зельем. Педро подал мне ящик. Я отыскал в нем опиум. Но тут возникло затруднение: я не знал, сколько его полагается брать на один прием. При курении количество опиума не имело значения. Обычно я смешивал пополам опиум с табаком, набивал трубку и выкуривал ее, не испытывая иной раз никакого особенного действия. Случалось, что, выкурив две трети, я замечал признаки умственного расстройства, которые заставляли меня бросить трубку. Во всяком случае, действие опиума проявлялось так постепенно, что не представляло серьезной опасности. Теперь случай был совсем другой. Я никогда еще не принимал опиума внутрь. Мне случалось прибегать к лаудануму и морфию, и относительно этих средств я бы не стал колебаться. Но с употреблением опиума я вовсе не был знаком. Педро знал об

¹ Он жив и заговорил бы, если бы не соблюдал обета молчания (*um*).

этом не больше моего, так что приходилось действовать наудачу. Впрочем, я недолго колебался, решившись принимать его постепенно. На первый раз, думал я, приму совсем мало. Если это не подействует, буду увеличивать дозу до тех пор, пока не спадет лихорадка или не явится благодетельный сон, который так был мне нужен, но уже неделю бежал от моих смятенных чувств. Без сомнения, состояние, в котором я находился, — а я был уже в преддверии бреда, — помешало мне уразуметь нелепость моего намерения устанавливать большие и малые дозы, не имея никакого масштаба для сравнения. Мне и в голову не приходило, что доза чистого опиума, которая кажется мне ничтожной, на самом деле может быть огромной. Напротив, я хорошо помню, что с полной уверенностью определил количество, необходимое для первого приема, сравнивая его с целым куском опиума, находившимся в моем распоряжении. Порция, которую я проглотил без всяких опасений, представляла очень малую часть всего куска, находившегося в моих руках.

Замок, в который мой слуга решился вломиться силой, лишь бы не оставить меня, раненого, под открытым небом, был одной из тех угрюмых и величавых громад, которые Бог знает сколько веков хмуро высятся среди Апеннин, не только в воображении миссис Рэдклиф, но и в действительности. По-видимому, он был покинут хозяевами очень недавно и только на время. Мы выбрали комнату поменьше и попроще в отдаленной башенке. Обстановка ее была богатая, но ветхая и старинная. Стены были увешаны гобеленами, трофеями охоты и невероятным числом прекрасных современных картин в богатых золотых рамах. Эти картины, висевшие не только на гладких стенах, но и по всем закоулкам, созданным причудливой архитектурой здания, возбуждали во мне глубокое любопытство, быть может, порожденное начинающимся бредом, так что я велел Педро закрыть тяжелые ставни (ночь уже наступила), зажечь свечи в высоком канделябре, стоявшем у изголовья кровати, и отдернуть черный бархатный полог с бахромой, закрывавший постель. Я рассчитывал, что если мне не удастся уснуть, то я буду по крайней мере рассматривать картины и читать их описания в маленьком томике, который нашел на подушке.

Долго, долго читал я — и пристально, благоговейно рассматривал картины. Часы летели быстрой и чудной чередой. Наступила полночь. Положение канделябра казалось мне неудобным и, не желая будить уснувшего слугу, я, с трудом протянув руку, переставил его так, чтобы свет ярче освещал книгу.

Но эта перестановка произвела совершенно неожиданное действие. Лучи многочисленных свечей (их было действительно много) упали в нишу, которая до тех пор была окутана густою тенью от одного из столбов кровати. Я увидел ярко освещенную картину, которой не заметил раньше. То был портрет молодой девушки в первом расцвете пробудившейся женственности. Я только взглянул на картину — и сразу закрыл глаза. Почему, я и сам не понял в первую минуту. Но, пока мои веки оставались сомкнутыми, я стал обдумывать, почему я опустил их. Это было невольное движение, с целью выиграть время для размышления, удостовериться, что зрение не обмануло меня, унять и обуздать фантазию более надежным и трезвым наблюдением. Спустя несколько мгновений я снова устремил на картину пристальный взгляд.

Теперь я не мог сомневаться, что вижу ясно и не обманываюсь, потому что первая вспышка свечей, озарившая картину, по-видимому, рассеяла сонное оцепенение, овладевшее моими чувствами, и разом вернула меня к действительности.

Как я уже сказал, то был портрет молодой девушки; голова и плечи были выполнены, если употребить технический термин, в стиле виньетки, напомиравшем головки Селли. Руки, грудь и даже концы золотистых прядей незаметно сливались с неопределенной, но глубокой тенью, составлявшею фон картины. Овальная вызолоченная рама была филигранной работы, в мавританском стиле. Живопись представляла верх совершенства. Но не образцовое исполнение, не божественная прелесть лица потрясли меня так внезапно и так могущественно. Менее всего мог я допустить, чтобы моя фантазия, пробудившаяся от полудремоты, приняла это лицо за живое. Я сразу увидел, что особенности рисунка, стиля, рамы должны были в первое же мгновение уничтожить подобную мысль, не допустить

даже мимолетного самообмана. Упорно раздумывая об этом, я провел, быть может, около часа полусидя, полулежа и не сводя глаз с портрета. Наконец, поняв, в чем секрет его воздействия, я откинулся на подушки. Я убедился, что очарование картины заключалось в совершенной *жизненности* выражения, которая в первую минуту поразила меня, а потом смутила, подавила и ужаснула. С глубоким и благоговейным страхом я поставил канделябр на прежнее место. Устранив таким образом причину моего волнения, я торопливо перелистал томик, в котором объяснялись достоинства картин и излагалась их история. Отыскав номер, под которым значился овальный портрет, я прочел следующие странные и загадочные строки:

«Она была девушка редкой красоты и столь же веселая, сколь прекрасная. В недобрый час увидела она художника, полюбила и сделалась его женой. Он — страстный, прилежный, суровый и уже нашедший невесту в своем искусстве; а она — девушка редкой красоты, столь же веселая, сколь прекрасная, вся радость и смех, резвая, как молодая лань, полная любви и ласки ко всему, ненавидевшая только свою соперницу — искусство, фугавшаяся только палитры, кистей и других досадных предметов, отнимавших у нее возлюбленного. Ужасным ударом было для новобрачной услышать, что художник желает запечатлеть на холсте свою молодую жену. Но она была кротка и послушна и покорно сидела целые недели в высокой темной башенке, где свет только сверху струился на бледный холст. Он же, Художник, вложил всю свою душу в это произведение, которое подвигалось вперед с часу на час, со дня на день. Он был страстный, дикий и своенравный человек, поглощенный своими грезами; и не видел он, что свет, зловеще озарявший уединенную башню, губил здоровье и душу его молодой жены, — она таяла на глазах у всех, и только он один не замечал этого. Но она улыбалась и не хотела жаловаться, так как видела, что художник (который пользовался громкой славой) находил лихорадочное и жгучее наслаждение в своей работе и дни и ночи трудился над портретом той, которая так любила его — и все-таки теряла силы и чахла со дня на день. И правда, те, кто видел портрет,

говорили вполголоса о чудесном сходстве и находили в нем доказательство не только таланта художника, но и его глубокой любви к той, которую писал он с таким изумительным совершенством. Но, когда работа уже близилась к концу, в башню перестали пускать посторонних, потому что художник предавался работе с безумным увлечением и почти не отводил глаз от полотна, не глядел даже на лицо жены. И не хотел он видеть, что краски, которые он набрасывал на полотно, сбегали с лица той, которая сидела подле него. И, когда прошло много недель и оставалось только довершить картину, тронув кистью рот и глаза, дух молодой женщины снова вспыхнул, как пламя угасающей лампы. И вот сделан последний мазок, последний штрих положен, и на мгновение художник застыл, очарованный своим творением, — но в ту же минуту, еще не отрывая глаз от портрета, затрепетал, побледнел и ужаснулся.

— Да это сама жизнь! — воскликнул он и быстро обернулся, чтобы взглянуть на свою возлюбленную.

Она была мертва!»



ЭЛЕОНОРА

Sub conservatione formae specificae
salva anima.

Raymond Lully¹

Я родом из тех, кто отмечен силой фантазии и пыланием страсти. Меня называли безумным, но вопрос еще далеко не решен, не есть ли безумие высший разум и не проистекает ли многое из того, что славно, и все, что глубоко, из болезненного состояния мысли, из особых настроений ума, вознесшегося ценой утраты разумности. Тем, кто видят сны наяву, открыто многое, что ускользает от тех, кто грезит лишь ночью во сне. В туманных видениях мелькают им проблески вечности, и, пробудясь, они трепещут, помня, что были на грани великой тайны. Мгновениями им открывается нечто от мудрости, которая есть добро, и несколько больше от простого знания, которое есть зло, и все же без руля и ветрил проникают они в безбрежный океан «света неизреченного» и вновь, словно мореплаватели нубийского географа, «*agressi sunt mare tenebrarum, quid in eo esset exploraturi*»².

Что ж, пусть я безумен. Я готов, впрочем, признать, что есть два различных состояния для моего духа: состояние неоспоримого ясного разума, принадлежащего к памяти о событиях, образующих первую пору моей жизни, и состояние сомнения и тени, относящихся к настоящему и воспоминаниям о том, что составляет вторую великую эру моего бытия. А потому рассказу о ранних моих днях —

¹ При сохранении особой формы душа остается неприкосновенной. Раймунд Луллий (лат).

² Вступают в море тьмы, чтобы исследовать, что в нем (лат).

верьте; а к тому, что поведаю я о времени более позднем, отнеситесь с той долей доверия, какую оно заслуживает, или вовсе в нем усомнитесь, или, если и сомневаться вы не можете, разгадайте, подобно Эдипу, эту загадку.

Та, кого любил я в юности и о которой теперь спокойно и ясно пишу я эти воспоминания, была единственным ребенком единственной сестры моей матери, давно усопшей. Элеонора — это имя носила моя кузина. Всю жизнь мы прожили вместе под тропическим солнцем, в Долине Многоцветных Трав. Путник никогда не забредал ненадолго в эту долину, ибо лежала она далеко-далеко, за цепью гигантских гор, тяжело нависших над нею со всех сторон, изгоняя солнечный свет из прекрасных ее уголков. К нам не вела ни одна тропа, и, чтобы попасть в наш счастливый край, нужно было пробраться сквозь заросли многих тысяч лесных деревьев, растоптав каблуком прелесть многих миллионов душистых цветов. Вот почему жили мы совсем одни, не зная ничего о внешнем мире, — я, моя кузина и мать ее.

Из утрюмых краев, что лежали за далекими вершинами гор, замкнувших наш мир, пробивалась к нам узкая глубокая река, блеск которой превосходил все — все, кроме глаз Элеоноры; неслышно вилась она по долине и наконец исчезала в тенистом ущелье, среди гор, еще утрюмее тех, из которых она вытекала. Мы называли ее Рекой Молчания, ибо была в ее водах какая-то сила беззвучия. На ее берегах не раздавалось ни шороха, и так тихо скользила она, что жемчужная галька на глубоком ее дне, которой мы любовались, не двигалась, а лежала в недвижимом покое на месте, блистая неизменным своим сиянием.

Берега этой реки — и множества ослепительных ручейков, бегущих, извиваясь, к ее волнам, и все пространство, что шло от склонов вниз, в самую глубь ее потоков, до ложа из гальки на дне, все это — и поверхность долины, от реки и до самых гор, вставших кругом, были, словно ковром, покрыты мягкой зеленой травой, густой, короткой, удивительно ровной, издававшей запах ванили, по которой рассыпаны были желтые лютики, белые маргаритки, лиловые фиалки и рубиново-красные асфодели, и безмерная их красота громко вещала нашим сердцам о любви и о славе Господней.

Тут и там над этой травой, словно порождения причудливых снов, вздымались стройные стволы невиданные деревья; они не стояли прямо, как свечи, но, выгибаясь изящно, тянулись к солнечному свету, который в час полудня заглядывал в сердце долины. Кора их была испещрена изменчивым ярким сиянием черни и серебра, и была она нежной — нежнее всего, кроме щек Элеоноры; и если б не яркая зелень огромных листьев, что спадали с вершин длинным, трепещущим рядом, играя с легким ветерком, деревья эти можно было б принять за гигантских сирийских змеев, воздающих хвалу своему властелину Солнцу.

Пятнадцать лет рука об руку бродил я с Элеонорой по этой долине, пока любовь не вошла в наши сердца. Это случилось однажды вечером, на исходе третьего пятилетия ее жизни, и четвертого пятилетия — моей; мы сидели, сомкнув объятия, под змееподобными стволами и смотрели в Реку Молчания, на свои отражения в ней. Мы не произнесли ни слова за весь этот дивный день, и даже на завтра сказали друг другу лишь несколько робких слов. Из волн мы вызвали бога Эроса и знали теперь, что он зажег в нас пламенный дух наших предков. Страсти, которыми веками славился наш род, слились в своем биении с мечтами, которые равно нас отличали, и пронеслись горячкой блаженства над Долиной Многоцветных Трав. Все в ней переменялось. Странные, яркие цветы раскрылись, словно звезды, на деревьях, которые раньше не знали цветения. Зелень изумрудных ковров стала глубже; а когда, одна за другой, белые маргаритки увяли, вместо них засверкали десятки рубиново-красных асфodelей. И жизнь засияла повсюду, куда мы ступали, ибо стройный фламинго, никогда не виданный ранее, вместе с другими веселыми светлыми птицами развернул перед нами алые крылья. В реке заиграли золотые и серебряные рыбы, а в глубине родился ропот, который, все ширясь, зазвучал наконец колыбельной, слаще эоловой арфы, краше всего на свете, кроме голоса Элеоноры. И огромное облако, которое давно замечали мы возле Геспера, выплыло, сверкая золотом и багрянцем и, мирно всгав над нами, день за днем опускалось все ниже, пока наконец не

коснулось краями вершук гор, превратив их угрюмость в сияние и заключив нас, как бы навеки, в волшебной темнице величия и славы.

Элеонора красой подобна была серафиму, бесхитростна и невинна, как та недолгая жизнь, что провела она среди цветов. Она не скрывала лукаво пламя любви, что охватило ее сердце, и вместе со мной заглянула в его тайники, когда мы бродили вдвоем по долине, беседуя о переменах, недавно свершившихся здесь.

И, наконец, заговорив однажды в слезах о последней печальной перемене, что выпадает всем людям, она стала с тех пор грустна, не расставалась с этой мыслью, то и дело возвращаясь к ней, подобно тому, как в песнях певца Ширази во всех величавых вариациях снова и снова возникают все те же образы.

Она видела, что Смерть коснулась своим перстом ее груди, — подобно мотыльку, она создана была бесконечно прелестной лишь для того, чтоб погибнуть; но ужас могилы был для нее лишь в одном; она поведала мне об этом однажды в сумерках на берегу Реки Молчания. Ей горестно было думать, что, похоронив ее в Долине Многоцветных Трав, я навсегда покину этот счастливый край, отдав свою любовь, так страстно ей теперь посвященную, деве из мира будничного и чужого. И тогда, ни минуты не медля, я бросился к ногам Элеоноры и поклялся ей и небесам, что никогда не соединюсь браком с дочерью Земли, что ни в чем не изменю ее благословенной памяти и памяти о том неземном чувстве, которым она меня одарила. И я призвал Великого Владыку Мира в свидетели того, что обет этот свят и нерушим. И кара, ниспослать которую я молил Его и ее, святую, чье жилище будет в Элизииуме, если нарушу я свой обет, кара эта была столь чудовищно страшной, что я не решусь говорить о ней здесь. И ясные глаза Элеоноры прояснились при этих словах, она вздохнула, словно смертельная тяжесть спала у нее с груди, и, трепеща, заплакала горько; но приняла мой обет (ибо была всего лишь ребенком), и он принес ей облегчение на ложе смерти. Несколько дней спустя, умирая спокойно и мирно, она мне сказала: за то, что сделал я для спокойствия ее духа, дух ее после кончины

будет меня охранять, и если будет ей то дозволено, то по ночам будет она являться мне зримо; но если не дано это душам рая, то будет часто посылать мне весть о своем присутствии — вечерний ветерок обвеет ее вздохом мне щеку или напоит воздух, которым я дышу, благоуханием небесных кадила. И с этими словами она рассталась со своей безгрешной жизнью, кладя предел первой поре моего бытия.

Истинно излагал я все до сего мгновения. Но, пересекая преграду на путях Времени, преграду, воздвигнутую смертью любимой, и вступая во вторую пору моего существования, чувствую, как тени окутывают мой мозг, и не доверяю своему разуму и памяти. Но продолжаю.— Годы тяжко влачили свой груз, а я не покидал Долины Многоцветных Трав; и снова все в ней переменялось. Звездоподобные цветы исчезли и более не появлялись на деревьях. Зеленые ковры поблекли, и одна за другой увяли рубиново-красные асфодели, а на их месте раскрыли свои глаза десятки черных фиалок, беспокойно трепещущих и вечно отягощенных влагой. И Жизнь покинула те края, где мы когда-то ступали, ибо стройный фламинго сложил свои алые крылья и с другими веселыми светлыми птицами, что появились когда-то с ним вместе, с грустью покинул Долину. Золотые и серебряные рыбы уплыли по ущелью в самый дальний конец края и не украшали больше нашей реки. И колыбельная, что звучала слаще эоловой арфы, волшебней всего — кроме голоса Элеоноры,— начала затихать и понемногу вовсе замолкла; ропот волн становился все глуше, пока наконец река не погрузилась снова в торжественное свое молчание; и огромное облако поднялось и, возвращая вершинам гор прежнюю их угрюмость, пало назад, в край Геспера, унеся из Долины Многоцветных Трав всю многокрасочную и золотую прелесть сияния.

Но обет, данный Элеонорой, не был забыт — я слышал звон небесных кадила, волны нездешнего благоухания плыли по долине, и в часы одиночества, когда сердце тяжело стучало в груди, ветерок, обвевавший мое чело, доносил до меня тихий вздох. Часто воздух ночи исполнен был невнятного шепота, и раз — о, только раз! —

я пробудился от глубокого, словно смертельного, сна, ощутив на своих губах прикосновение призрачных уст.

Но пустота в моем сердце все не заполнялась. Я тосковал по любви, которая прежде заполняла его до краев. Настало время, когда долина стала меня тяготить памятью об Элеоноре, и я покинул наш край навсегда ради бурных волнений и суетных радостей мира.

* * *

Я очутился в незнакомом городе, где все, казалось, служило тому, чтобы изгнать из памяти сладкие сны, которым предавался я так давно в Долине Многоцветных Трав. Великолепие и пышность блестящего двора, и упительный звон оружия, и сияние женских очей, смутив, опьянили мой ум. Но душа моя все еще оставалась верна своему обету, и по ночам мне все еще было дано знать о присутствии Элеоноры. Внезапно все прекратилось; и мир потемнел у меня пред глазами; и я пришел в ужас от неотступных мучительных мыслей и страшных соблазнов, ибо из далекой-далекой, чужой, неизвестной земли прибыла к веселому двору короля, которому я служил, дева, чьей красотой пленилось мое неверное сердце — к ее ногам склонил я без колебаний колена в пылком самозабвении любви. Разве могла моя страсть к девочке из Долины сравниться с тем лихорадочным жаром, с тем возвышающим дух восторгом и преклонением, с которым излил я в слезах свое сердце божественной Эрменгарде? О, светел был ангельский лик Эрменгарды! — и, зная об этом, я не помышлял ни о ком другом. О божественный свет Эрменгарды! — и, глядя в самую глубь ее всепомящих очей, я думал только о них — и о ней.

Я обвенчался и не трепетал той кары, которую призывал на себя, и горечь ее меня миновала. И раз — но только раз! — в ночной тиши сквозь решетку окна слышались давно замолкшие тихие вздохи, и милый, такой знакомый голос сказал:

— Спи с миром! — ибо над всем царит Дух Любви, и, отдав свое сердце той, кого зовешь Эрменгардой, ты получишь отпущение — почему, узнаешь на небесах — от клятвы, данной Элеоноре.



ЧЕРНЫЙ КОТ

Я не надеюсь и не притязая на то, что кто-нибудь поверит самой чудовищной и вместе с тем самой обыденной истории, которую я собираюсь рассказать. Только сумасшедший мог бы на это надеяться, коль скоро я сам себе не могу поверить. А я не сумасшедший — и все это явно не сон. Но завтра меня уже не будет в живых, и сегодня я должен облегчить свою душу покаянием. Единственное мое намерение — это ясно, кратко, не мудрствуя лукаво, поведать миру о некоторых чисто семейных событиях. Мне эти события в конце концов принесли лишь ужас — они извели, они погубили меня. И все же я не стану искать разгадки. Я из-за них натерпелся страху — многим же они покажутся безобидней самых несуразных фантазий. Потом, быть может, какой-нибудь умный человек найдет сгубившему меня призраку самое простое объяснение — такой человек, с умом, более холодным, более логическим и, главное, не столь впечатлительным, как у меня, усмотрит в обстоятельствах, о которых я не могу говорить без благоговейного трепета, всего только цепь закономерных причин и следствий.

С детских лет я отличался послушанием и кротостью нрава. Нежность моей души проявлялась столь открыто, что сверстники даже дразнили меня из-за этого. В особенности любил я разных зверюшек, и родители не препятствовали мне держать домашних животных. С ними я проводил всякую свободную минуту и бывал на вершине блаженства, когда мог их кормить и ласкать. С годами эта особенность моего характера развивалась, и когда я вырос, немного в жизни могло доставить мне более удовольствия. Кто испытал привязанность к верной и умной собаке, тому нет нужды объяснять, какой горячей благо-

дарностью платит она за это. В бескорыстной и самоотверженной любви зверя есть нечто, покоряющее сердце всякого, кому не раз довелось изведать вероломную дружбу и обманчивую преданность, свойственные Человеку.

Женился я рано и, по счастью, обнаружил в своей супруге близкие мне наклонности. Видя мое пристрастие к домашним животным, она не упускала случая меня порадовать. У нас были птицы, золотые рыбки, породистая собака, кролики, обезьянка и кот.

Кот, необычайно крупный, красивый и сплошь черный, без единого пятнышка, отличался редким умом. Когда заходила речь о его сообразительности, моя жена, в душе не чуждая суеверий, часто намекала на старинную народную примету, по которой всех черных котов считали оборотнями. Намекала, разумеется, не всерьез — и я привожу эту подробность единственно для того, что сейчас самое время о ней вспомнить.

Плутон — так звали кота — был моим любимцем, и я часто играл с ним. Я всегда сам кормил его, и он ходил за мной по пятам, когда я бывал дома. Он норовил даже увязаться со мной на улицу, и мне стоило немалого труда отвадить его от этого.

Дружба наша продолжалась несколько лет, и за это время мой нрав и характер — под влиянием Дьявольского Соблазна — резко изменились (я сгораю от стыда, признаваясь в этом) в худшую сторону. День ото дня я становился все мрачней, раздражительней, безразличней к чувствам окружающих. Я позволял себе грубо кричать на жену. В конце концов я даже поднял на нее руку. Мои питомцы, разумеется, тоже чувствовали эту перемену. Я не только перестал обращать на них внимание, но даже обходился с ними дурно. Однако к Плутону я все же сохранил довольно почтительности и не позволял себе его обижать, как обижал без зазрения совести кроликов, обезьянку и даже собаку, когда они ласкались ко мне или случайно попадались под руку. Но болезнь развивалась во мне, — з нет болезни ужаснее пристрастия к Алкоголю! — и наконец даже Плутон, который уже состарился и от этого стал капризнее, — даже Плутон начал страдать от моего скверного нрава.

Однажды ночью я вернулся в сильном подпитии, побывав в одном из своих любимых кабачков, и тут мне взбрело в голову, будто кот меня избегает. Я поймал его; испуганный моей грубостью, он не сильно, но все же до крови, укусил меня за руку. Демон ярости тотчас вселился в меня. Я более не владел собою. Душа моя, казалось, вдруг покинула тело; и злоба, свирепее дьявольской, распалаемая джином, мгновенно обуяла все мое существо. Я выхватил из кармана жилетки перочинный нож, открыл его, стиснул шею несчастного кота и без жалости вырезал ему глаз! Я краснею, я весь горю, я содрогаюсь, описывая это чудовищное злодейство.

Наутро, когда рассудок вернулся ко мне — когда я проспался после ночной попойки и винные пары выветрились, — грязное дело, лежавшее на моей совести, вызвало у меня раскаяние, смешанное со страхом; но то было лишь смутное и двойственное чувство, не оставившее следа в моей душе. Я снова стал пить запоем и вскоре утопил в вине самое воспоминание о содеянном.

Рана у кота тем временем понемногу заживала. Правда, пустая глазница производила ужасающее впечатление, но боль, по-видимому, утихла. Он все так же расхаживал по дому, но, как и следовало ожидать, в страхе бежал, едва завидя меня. Сердце мое еще не совсем ожесточилось, и поначалу я горько сожалел, что существо, некогда так ко мне привязанное, теперь не скрывает своей ненависти. Но вскоре чувство это уступило место озлоблению. И тогда, словно в довершение окончательной моей гибели, во мне пробудился дух противоречия. Философы оставляют его без внимания. Но я убежден до глубины души, что дух противоречия принадлежит к извечным побуждающим началам в сердце человеческом — к неотторжимым, первозданным способностям или чувствам, которые определяют самую природу Человека. Кому не случалось сотню раз совершить дурной или бессмысленный поступок безо всякой на то причины, лишь потому, что этого нельзя делать? И разве не испытываем мы, вопреки здравому смыслу, постоянного искушения нарушить Закон лишь потому, что это запрещено? Так вот, дух противоречия пробудился во мне в довершение

окончательной моей гибели. Эта непостижимая склонность души к самоистязанию — к насилию над собственным своим естеством, склонность творить зло ради зла — и побудила меня довести до конца мучительство над бессловесной тварью. Как-то утром я хладнокровно накинул коту на шею петлю и повесил его на суку — повесил, хотя слезы текли у меня из глаз и сердце разрывалось от раскаянья, — повесил, потому что знал, как он некогда меня любил, потому что чувствовал, как несправедливо я с ним поступаю, — повесил, потому что знал, какой совершаю грех — смертный грех, обрекающий мою бессмертную душу на столь страшное проклятие, что она оказалась бы низвергнута — будь это возможно — в такие глубины, куда не простирается даже милосердие Всеблагого и Всекарающего Господа.

В ночь после совершения этого злодеяния меня разбудил крик: «Пожар!» Занавеси у моей кровати полыхали. Весь дом был объят пламенем. Моя жена, слуга и я сам едва не сгорели заживо. Я был разорен совершенно. Огонь поглотил все мое имущество, и с тех пор отчаянье стало моим уделом.

Во мне довольно твердости, дабы не пытаться изыскать причину и следствие, связать несчастье со своим безжалостным поступком. Я хочу лишь проследить в подробности всю цепь событий — и не намерен пренебречь ни единым, пусть даже сомнительным звеном. На другой день после пожара я побывал на пепелище. Все стены, кроме одной, рухнули. Уцелела лишь довольно тонкая внутренняя перегородка посреди дома, к которой примыкало изголовье моей кровати. Здесь штукатурка вполне противостояла огню — я объяснил это тем, что стена была оштукатурена совсем недавно. Подле нее собралась большая толпа, множество глаз пристально и жадно всматривались все в одно место. Слова: «Странно!», «Поразительно!» и всякие восклицания в том же роде возбудили мое любопытство. Я подошел ближе и увидел на белой поверхности нечто вроде барельефа, изображавшего огромного кота. Точность изображения поистине казалась непостижимой. На шее у кота была веревка.

Сначала этот призрак — я попросту не могу назвать его иначе — поверг меня в ужас и недоумение. Но, поразмыслив, я несколько успокоился. Я вспомнил, что повесил кота в саду подле дома. Во время переполоха, поднятого пожаром, сад наводнила толпа — кто-то перерезал веревку и швырнул кота через открытое окно ко мне в комнату. Возможно, таким способом он хотел меня разбудить. Когда стены рухнули, развалины притиснули жертву моей жестокости к свежоштукатуренной перегородке, и от жара пламени и едких испарений на ней запечатлелся рисунок, который я видел.

Хотя я успокоил если не свою совесть, то по крайней мере ум, быстро объяснив поразительное явление, которое только что описал, оно все же оставило во мне глубокий след. Долгие месяцы меня неотступно преследовал призрак кота; и тут в душу мою вернулось смутное чувство, внешне, но только внешне, похожее на раскаяние. Я начал даже жалеть об утрате и искал в грязных притонах, откуда теперь почти не вылезал, похожего кота той же породы, который заменил бы мне бывшего моего любимца.

Однажды ночью, когда я сидел, томимый полузабытьем, в каком-то богомерзком месте, внимание мое вдруг привлекло что-то черное на одной из огромных бочек с джином или ромом, из которых состояла едва ли не вся обстановка заведения. Несколько минут я не сводил глаз с бочки, недоумевая, как это я до сих пор не замечал столь странной штуки. Я подошел и коснулся ее рукой. То был черный кот, очень крупный — под стать Плутону — и похожий на него как две капли воды, с одним лишь отличием. В шкуре Плутона не было ни единой белой шерстинки; а у этого кота оказалось грязно-белое пятно чуть ли не во всю грудь.

Когда я коснулся его, он вскочил с громким мурлыканьем и потерялся о мою руку, видимо очень обрадованный моим вниманием. А ведь я как раз искал такого кота. Я тотчас пожелал его купить; но хозяин заведения отказался от денег — он не знал, откуда этот кот взялся, — никогда его раньше не видел.

Я все время гладил кота, а когда собрался домой, он явно пожелал идти со мною. Я ему не препятствовал; по дороге я иногда нагибался и поглаживал его. Дома он быстро освоился и сразу стал любимцем моей жены.

Но сам я вскоре начал испытывать к нему растущую неприязнь. Этого я никак не ожидал; однако — не знаю, как и почему это случилось, — его очевидная любовь вызвала во мне лишь отвращение и досаду. Мало-помалу эти чувства вылились в злейшую ненависть. Я всячески избегал кота; лишь смутный стыд и память о моем прежнем злодеянии удерживали меня от расправы над ним. Проходили недели, а я ни разу не ударил его и вообще не тронул пальцем; но медленно — очень медленно — мною овладело неизъяснимое омерзение, и я молчаливо бежал от пылкой твари, как от чумы.

Я ненавидел этого кота тем сильнее оттого, что, как обнаружилось в первое же утро, у него, подобно Плутону, тоже не было одного глаза. Однако моей жене он стал от этого еще дороже, она ведь, как я уже говорил, сохранила в своей душе ту мягкость, которая некогда была мне свойственна и служила для меня неиссякаемым источником самых простых и чистых удовольствий.

Но, казалось, чем более возрастала моя недоброжелательность, тем крепче кот ко мне привязывался. Он ходил за мной по пятам с упорством, которое трудно описать. Стоило мне сесть, как он забирался под мой стул или прыгал ко мне на колени, донимая меня своими отвратительными ласками. Когда я вставал, намереваясь уйти, он путался у меня под ногами, так что я едва не падал, или, вонзая острые когти в мою одежду, взбирался ко мне на грудь. В такие минуты мне нестерпимо хотелось убить его на месте, но меня удерживало до некоторой степени сознание прежней вины, а главное — не стану скрывать, — страх перед этой тварью.

В сущности, то не был страх перед каким-либо конкретным несчастьем, — но я затрудняюсь определить это чувство другим словом. Мне стыдно признаться — даже теперь, за решеткой, мне стыдно признаться, — что чудовищный ужас, который вселял в меня кот, усугубило самое немислимое наваждение. Жена не раз указывала

мне на белесое пятно, о котором я уже упоминал, единственное, что внешне отличало эту странную тварь от моей жертвы. Читатель, *вероятно*, помнит, что пятно это было довольно большое, однако поначалу очень расплывчатое; но медленно — едва уловимо, так что разум мой долгое время восставал против столь очевидной нелепости, — оно приобрело наконец неумолимо ясные очертания. Не могу без трепета назвать то, что оно отныне изображало — из-за этого главным образом я испытывал отвращение и страх и избавился бы, если б только посмел, от проклятого чудовища, — отныне, да будет вам ведомо, оно являло взору нечто мерзкое — нечто злоеущее, — **ВИСЕЛИЦУ!** — это кровавое и грозное орудие Ужаса и Злодейства — Страдания и Погибели!

Теперь я воистину был несчастнейшим из смертных. Презренная тварь, подобная той, которую я прикончил, не моргнув глазом, — эта презренная тварь причиняла мне — мне, человеку, сотворенному по образу и подобию Всевышнего, — столько невыносимых страданий! Увы! Денно и ночью не знал я более благословенного покоя. Днем кот ни на миг не отходил от меня, ночью же я что ни час пробуждался от мучительных сновидений и ощущал горячее дыхание этого существа на своем лице и его невыносимую тяжесть, — кошмар во плоти, который я не в силах был стряхнуть, — до конца дней навалившуюся мне на сердце!

Эти страдания вытеснили из моей души последние остатки добрых чувств. Я лелеял теперь лишь злобные мысли — самые черные и злобные мысли, какие только могут прийти в голову. Моя обычная мрачность переросла в ненависть ко всему существу и ко всему роду человеческому; и более всех страдала от внезапных, частых и неукротимых взрывов ярости, которым я слепо предавался, моя безропотная и многотерпеливая жена.

Однажды, по какой-то хозяйственной надобности, мы с ней спустились в подвал старого дома, в котором бедность принуждала нас жить. Кот увязался следом за мной по крутой лестнице, я споткнулся, едва не свернул себе шею и обезумел от бешенства. Я схватил топор и, позабыв в гневе презренный страх, который до тех пор меня

останавливал, готов был нанести коту такой удар, что зарубил бы его на месте. Но жена удержала мою руку. В ярости, перед которой бледнеет ярость самого дьявола, я вырвался и раскроил ей голову топором. Она упала без единого стога.

Совершив это чудовищное убийство, я с полнейшим хладнокровием стал искать способ спрятать труп. Я понимал, что не могу вынести его из дома днем или даже под покровом ночи без риска, что это увидят соседи. Много всяких замыслов приходило мне на ум. Сперва я хотел разрубить тело на мелкие куски и сжечь в печке. Потом решил закопать его в подвале. Тут мне подумалось, что лучше, пожалуй, бросить его в колодец на дворе — или забить в ящик, нанять носильщика и велеть вынести его из дома. Наконец, я избрал, как мне казалось, наилучший путь. Я решил замуровать труп в стене, как некогда замуровывали свои жертвы средневековые монахи.

Подвал прекрасно подходил для такой цели. Кладка стен была непрочной, к тому же не столь давно их наспех оштукатурили, и по причине сырости штукатурка до сих пор не просохла. Более того, одна стена имела выступ, в котором для украшения устроено было подобие камина или очага, позднее заложеного кирпичами и тоже оштукатуренного. Я не сомневался, что легко сумею вынуть кирпичи, упрятать туда труп и снова заделать отверстие так, что самый наметанный глаз не обнаружит ничего подозрительного.

Я не ошибся в расчетах. Взяв лом, я легко вывернул кирпичи, поставил труп стоймя, прислонив его к внутренней стене, и без труда водворил кирпичи на место. Со всяческими предосторожностями я добыл известь, песок и паклю, приготовил штукатурку, совершенно неотличимую от прежней, и старательно замазал новую кладку. Покончив с этим, я убедился, что все в полном порядке. До стены словно никто и не касался. Я прибрал с полу весь мусор, до последней крошки. Затем огляделся с торжеством и сказал себе:

«На сей раз по крайней мере труды мои не пропали даром».

После этого я принялся искать тварь, бывшую причиной стольких несчастий; теперь я наконец твердо решил-ся ее убить. Попадись мне кот в то время, участь его была бы решена; но хитрый зверь, напуганный, как видно, моей недавней яростью, исчез, будто в воду канул. Невозможно ни описать, ни даже вообразить, сколь глубокое и блаженное чувство облегчения наполнило мою грудь, едва ненавистный кот исчез. Всю ночь он не показывался; то была первая ночь, с тех пор как он появился в доме, когда я спал крепким и спокойным сном; да, спал, хотя на душе моей лежало бремя преступления.

Прошел второй день, потом третий, а мучителя моего все не было. Я вновь дышал свободно. Чудовище в страхе бежало из дома навсегда! Я более его не увижу! Какое блаженство! Раскаиваться в содеянном я и не думал. Было učinено короткое дознание, но мне не составило труда оправдаться. Сделали даже обыск — но, разумеется, ничего не нашли. Я не сомневался, что отныне буду счастлив.

На четвертый день после убийства ко мне неожиданно нагрянули полицейские и снова произвели в доме тщательный обыск. Однако я был уверен, что тайник невозможно обнаружить, и чувствовал себя преспокойно. Полицейские велели мне присутствовать при обыске. Они обшарили все уголки и закоулки. Наконец они в третий или, четвертый раз спустились в подвал. Я не повел и бровью. Сердце мое билось так ровно, словно я спал сном праведника. Я прохаживался по всему подвалу. Скрестив руки на груди, я неторопливо вышагивал взад-вперед. Полицейские сделали свое дело и собрались уходить. Сердце мое ликовало, и я не мог сдержаться. Для полноты торжества я жаждал сказать хоть словечко и окончательно убедить их в своей невинности.

— Господа,— сказал я наконец, когда они уже поднимались по лестнице,— я счастлив, что рассеял ваши подозрения. Желаю вам всем здоровья и немного более учтивости. Кстати, господа, это... это очень хорошая постройка (в неистовом желании говорить непринужденно я едва отдавал себе отчет в своих словах), я сказал бы даже, что постройка попросту превосходна. В кладке этих

стен — вы торопитесь, господа? — нет ни единой трещинки. — И тут, упиваясь своей безрассудной удачью, я стал с размаху колотить тростью, которую держал в руке, по тем самым кирпичам, где был замурован труп моей благоверной.

Господи Боже, спаси и оборони меня от когтей Сатаны! Едва смолкли отголоски этих ударов, как мне откликнулся голос из могилы!.. Крик, сперва глухой и прерывистый, словно детский плач, быстро перешел в неумолчный, громкий, протяжный вопль, дикий и нечеловеческий, — в звериный вой, в душераздирающее стенание, которое выражало ужас, смешанный с торжеством, и могло исходить только из ада, где вопиют все обреченные на вечную муку и злобно ликууют дьяволы.

Нечего и говорить о том, какие безумные мысли полезли мне в голову. Едва не лишившись чувств, я отшатнулся к противоположной стене. Мгновение полицейские неподвижно стояли на лестнице, скованные ужасом и удивлением. Но тотчас же десяток сильных рук принялись взламывать стену. Она тотчас рухнула. Труп моей жены, уже тронутый распадом и перепачканный запекшейся кровью, открылся взору. На голове у нее, разинув красную пасть и сверкая единственным глазом, восседала гнусная тварь, которая коварно толкнула меня на убийство, а теперь выдала меня своим воем и обрекла на смерть от руки палача. Я замуровал это чудовище в каменной могиле.



ПРАВДА О ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МСЬЕ ВАЛЬДЕМАРОМ

Разумеется, я ничуть не удивляюсь тому, что необыкновенный случай с мсье Вальдемаром возбудил толки. Было бы чудом, если бы об этом не говорили, принимая во внимание все обстоятельства. Вследствие желания всех причастных к этому лиц избежать огласки, хотя бы на ближайшее время или пока мы не нашли возможностей продолжить исследование — именно из-за наших стараний сохранить все случившееся в тайне, — в обществе распространились неверные или преувеличенные слухи, породившие множество неверных представлений, а это, естественно, у многих вызвало недоверие.

Вот почему стало необходимым, чтобы я изложил факты — насколько я сам сумел их понять. Вкратце они сводятся к следующему.

В течение последних трех лет мое внимание не раз привлекал месмеризм, а около девяти месяцев назад меня внезапно поразила мысль, что во всех до сих пор проделанных опытах имелось одно весьма важное и необъяснимое упущение — никто еще не подвергался месмерическому воздействию *in articulo mortis*¹. Следовало выяснить, во-первых, подвержен ли человек в таком состоянии магнетическому воздействию; во-вторых, ослабляется ли оно при этом или же усиливается; а в-третьих, в какой степени и как долго можно с помощью этого процесса задержать наступление смерти. Возникали и другие вопросы, но именно эти интересовали меня более всего — в особенности последний, чреватый следствиями огромной важности.

¹ В состоянии агонии (лат.).

Раздумывая, где бы найти подходящий объект для такого опыта, я вспомнил о своем приятеле мсье Эрнесте Вальдемаре, известном составителе *Bibliotheca Forensica*¹ и авторе (под *nom de plume* Иссахара Маркса) переводов на польский язык «Валленштейна» и «Гаргантюа». Мсье Вальдемар, с 1839 года проживавший главным образом в Гарлеме (штат Нью-Йорк), обращает (или обращал) на себя внимание прежде всего своей необычайной худобой — ноги у него очень походили на ноги Джона Рандолфа, — а также светлыми бакенбардами, составлявшими резкий контраст с темными волосами, которые многие из-за этого принимали за парик. Он был чрезвычайно нервен, что, следовательно, делало его подходящим объектом для месмерических опытов. Два раза или три мне без труда удавалось его усыпить, но в других отношениях он не оправдал ожиданий, которые, естественно, вызывала у меня его конституция. Я ни разу не смог вполне подчинить себе его волю, а что касается *clairvoyance*², то опыты с ним вообще не дали надежных результатов. Свои неудачи в этом отношении я всегда объяснял состоянием его здоровья. За несколько месяцев до моего с ним знакомства доктора нашли у него чахотку. О своей близкой кончине он имел обыкновение говорить спокойно, как о чем-то неизбежном и не вызывающем сожалений.

Когда у меня возникли приведенные выше замыслы, я, естественно, вспомнил о мсье Вальдемаре. Я хорошо знал его философскую твердость и не опасался возражений с его стороны; и у него не было в Америке родных, которые могли бы вмешаться. Я откровенно поговорил с ним на эту тему, и, к моему удивлению, он ею живо заинтересовался. Я говорю «к моему удивлению», ибо, хотя он всегда соглашался подвергаться моим опытам, я ни разу не слышал, чтобы он им сочувствовал. Болезнь его была такова, что позволяла точно определить срок ее смертельного исхода; и мы условились, что он пошлет за мной примерно за сутки до того момента, который доктора укажут как его возможный смертный час.

¹ Судебной библиотеки (лат.).

² Ясновидения (фр.).

Сейчас прошло уже более семи месяцев с тех пор, как я получил от мсье Вальдемара следующую собственноручную записку:

Любезный П.!

Пожалуй, вам следует присхать немедленно. Д. и Ф. оба считают, что я не протяну дольше завтрашней полуночи, и мне кажется, что они угадали точно.

Вальдемар.

Я получил эту записку через полчаса после того, как она была написана, а спустя еще пятнадцать минут уже был в комнате умирающего. Я не видел его десять дней и был поражен страшной переменой, происшедшей в нем за это короткое время. Лицо его приняло свинцовый оттенок, глаза потухли, а исхудал он настолько, что скулы едва не прорывали кожу. Мокрота выделялась крайне обильно. Пульс прощупывался с трудом. Несмотря на это, он сохранил удивительную ясность ума и даже кое-какие физические силы. У него еще были силы говорить, он без посторонней помощи принимал некоторые лекарства, облегчавшие его состояние, а когда я вошел, писал что-то карандашом в записной книжке. Он сидел, опираясь на подушки. При нем были доктора Д. и Ф.

Пожав руку Вальдемара, я отвел врачей в сторону и получил от них подробные сведения о состоянии больного. Левое легкое уже полтора года как наполовину обызвестилось и было, разумеется, неспособно к жизненным функциям. Верхушка правого также частично подверглась обызвествлению, а нижняя доля представляла собой сплошную массу гнойных туберкулезных бугорков. В ней было несколько обширных каверн, а в одном месте имелись сращения с ребром. Эти изменения в правом легком были сравнительно недавними. Обызвествление шло необычайно быстро; еще за месяц до того оно отсутствовало, а сращения были обнаружены лишь в последние три дня. Помимо чахотки, у больного подозревали аневризм аорты, однако обызвествление не позволяло установить это точно. По мнению обоих докторов, мсье Вальдемар должен был умереть на следующий день (воскресенье)

около полуночи. Сейчас был седьмой час субботнего вечера.

Когда доктора Д. и Ф. отошли от постели больного, чтобы побеседовать со мной, они уже простились с ним. Они не собирались возвращаться; однако по моей просьбе обещали заглянуть к больному на следующий день около десяти часов вечера.

После их ухода я решился заговорить с мсье Вальдемаром о его близкой кончине, а также более подробно описал предполагаемый опыт. Он подтвердил свою готовность и даже интерес к нему и попросил меня начать немедленно. При нем находились сиделка и служитель, но я не чувствовал себя вправе начинать подобный эксперимент, не имея более надежных свидетелей, чем эти люди, на случай какой-либо неожиданности. Поэтому я отложил опыт до восьми часов вечера следующего дня, когда приход студента-медика (мистера Теодора Л—ла), с которым я был немного знаком, вывел меня из затруднения. Сперва я намеревался дождаться врачей; но пришлось начать раньше, во-первых, по настоянию мсье Вальдемара, а во-вторых, потому, что я и сам видел, как мало оставалось времени и как быстро он угасал.

Мистер Л — л любезно согласился вести записи всего происходящего; все, что я сейчас должен буду рассказать, взято из этих записей *verbatim*¹ или с некоторыми сокращениями.

Было без пяти минут восемь, когда я, взяв больного за руку, попросил его подтвердить, как можно яснее, что он (мсье Вальдемар) по доброй воле подвергается в своем нынешнем состоянии месмеризации.

Он отвечал слабым голосом, но вполне внятно: «Да, я хочу подвергнуться месмеризации», и тут же добавил: «Боюсь, что вы слишком долго медлили».

Пока он говорил, я приступил к тем пассам, которые прежде оказывали на него наибольшее действие. Едва я провел ладонью поперек его лба, как это сразу подействовало, но затем, несмотря на все мои усилия, я не добился дальнейших результатов до начала одиннадцатого,

¹ Дословно (лат.).

когда пришли, как было условлено, доктора Д. и Ф. Я в нескольких словах объяснил им мои намерения, и, так как они не возражали, указав, что больной уже находится в агонии, я, не колеблясь, продолжал, перейдя, однако, от поперечного поглаживания к продольному и устремив взгляд на правый глаз умирающего.

К этому времени пульс у него уже не ощущался, дышал он хрипло, с интервалами в полминуты.

В таком состоянии он пробыл четверть часа. Потом умирающий глубоко вздохнул, и хрипы прекратились, то есть не стали слышны. Дыхание оставалось все таким же редким. Конечности больного были холодны как лед.

Без пяти минут одиннадцать я заметил первые признаки месмерического воздействия. В остекленевших глазах появилось тоскливое выражение, устремленное вовнутрь, которое наблюдается только при сомнамбулизме и которое невозможно не узнать. Несколькими быстрыми поперечными пассажами я заставил веки затрепетать, как при засыпании, а еще несколькими — закрыл их. Этим я, однако, не удовлетворился и продолжал энергичные манипуляции, напрягая всю свою волю, пока не достиг полного оцепенения тела спящего, предварительно уложив его поудобнее. Ноги были вытянуты, руки положены вдоль тела, на некотором расстоянии от бедер. Голова была слегка приподнята.

Между тем наступила полночь, и я попросил присутствующих освидетельствовать мсье Вальдемара. Проведя несколько опытов, они констатировали у него необычайно глубокий месмерический транс. Любопытство обоих медиков было сильно возбуждено. Доктор Д. тут же решил остаться при больном на всю ночь, а доктор Ф. ушел, обещав вернуться на рассвете. Мистер Л — л, сиделка и служитель остались.

Мы не тревожили мсье Вальдемара почти до трех часов утра; подойдя к нему, я нашел его в том же состоянии, в каком он был перед уходом доктора Ф., то есть он лежал в той же позе; пульс не ощущался; дыхание было очень слабым, и обнаружить его было можно лишь при помощи зеркала, поднесенного к губам; глаза были закрыты, как у спящего, а тело твердо и холодно, как мрамор. Тем не менее это отнюдь не была картина смерти.

Приблизившись к мсье Вальдемару, я попробовал заставить его правую руку следовать за своей, которой тихонько водил над ним. Такой опыт никогда не удавался мне с ним прежде, и я не рассчитывал на успех и теперь, но, к моему удивлению, рука его послушно, хотя и слабо, стала повторять движения моей. Я решил попытаться с ним заговорить.

— Мсье Вальдемар, — спросил я, — вы спите?

Он не ответил, но я заметил, что губы его дрогнули, и повторил вопрос снова и снова. После третьего раза по всему его телу пробежала легкая дрожь; веки приоткрылись, обнаружив полоски белков; губы с усилием задвигались, и из них послышался едва различимый шепот:

— Да, сейчас сплю. Не будите меня! Дайте мне умереть так!

Я ощупал его тело, — оно было по-прежнему окоченелым. Правая рука его продолжала повторять движения моей. Я снова спросил сомнамбулу:

— Вы все еще ощущаете боль в груди, мсье Вальдемар?

На этот раз он ответил немедленно, но еще тише, чем прежде:

— Ничего не болит... Я умираю.

Я решил пока не тревожить его больше, и мы ничего не говорили и не делали до прихода доктора Ф., который явился незадолго перед восходом солнца и был несказанно удивлен, застав пациента еще живым. Пощупав его пульс и поднеся к его губам зеркало, он попросил меня снова заговорить с ним. Я спросил:

— Мсье Вальдемар, вы все еще спите?

Как и раньше, прошло несколько минут, прежде чем он ответил; умирающий словно собирался с силами, чтобы заговорить. Когда я повторил свой вопрос в четвертый раз, он произнес очень тихо, почти неслышно:

— Да, все еще сплю... Умираю.

По мнению, вернее, по желанию врачей, мсье Вальдемара надо было теперь оставить в его, по-видимому, спокойном состоянии вплоть до наступления смерти, которая, как все были уверены, должна была последовать через несколько минут. Я, однако, решил еще раз заговорить с ним и просто повторил свой предыдущий вопрос.

В это время в лице сомнамбулы произошла заметная перемена. Веки его медленно раскрылись, глаза закатились, кожа приобрела трупный оттенок, не пергамента, но скорее белой бумаги, а пятна лихорадочного румянца, до тех пор ясно обозначавшиеся на его щеках, мгновенно погасли. Я употребляю это слово потому, что их внезапное исчезновение напомнило мне именно свечу, которую задули. Одновременно его верхняя губа поднялась и обнажила зубы, которые она прежде целиком закрывала; нижняя челюсть отвалилась с отчетливым щелканьем, и в широко раскрывшемся рту стал целиком виден распухший и почерневший язык. Я полагаю, что среди нас не было никого, кто бы впервые встретился тогда с ужасным зрелищем смерти; но так страшен был в тот миг вид мсье Вальдемара, что все отпрянуло от постели.

Я чувствую, что достиг здесь того места в моем повествовании, когда любой читатель может решительно отказаться мне верить. Однако я буду просто продолжать рассказ.

Теперь мсье Вальдемар не обнаруживал ни малейших признаков жизни; сочтя его мертвым, мы уже собирались поручить его попечениям сиделки и служителя, как вдруг язык его сильно задрожал. Эта вибрация длилась несколько минут. Затем из неподвижного, разинутого рта послышался голос — такой, что пытаться рассказать о нем было бы безумием. Есть, правда, два-три эпитета, которые отчасти можно к нему применить. Я могу, например, сказать, что звуки были хриплые, отрывистые, глухие, но описать этот кошмарный голос в целом невозможно по той причине, что подобные звуки никогда еще не оскорбляли человеческого слуха. Однако две особенности я счел тогда — и считаю сейчас — характерными, ибо они дают некоторое представление об их нездешнем звучании. Во-первых, голос доносился до нас — по крайней мере до меня — словно издалека или из глубокого подземелья. Во-вторых (тут я боюсь оказаться совершенно непонятым), он действовал на слух так, как действует на наше осязание прикосновение чего-то студенистого или клейкого.

Я говорю о «звучах» и «голос». Этим я хочу сказать, что звуки были вполне — и даже пугающе — членораздельны. Мсье Вальдемар заговорил — явно в ответ на вопрос, заданный мною за несколько минут до этого. Если читатель помнит, я спросил его, продолжает ли он спать. Он сказал:

— Да... нет... я спал... а теперь... теперь... я умер.

Никто из присутствующих не пытался скрыть и не отрицал потом невыразимого, леденящего ужаса, вызванного этими немногими словами. Мистер Л — л (студент-медик) лишился чувств. Служитель и сиделка бросились вон из комнаты и не вернулись, несмотря ни на какие уговоры. Собственные мои ощущения я не берусь описывать.

Почти час мы в полном молчании приводили в чувство мистера Л—ла. Когда он очнулся, мы снова занялись исследованием состояния мсье Вальдемара.

Оно оставалось во всем таким же, как я его описал, не считая того, что зеркало не обнаруживало теперь никаких признаков дыхания. Попытка пустить кровь из руки не удалась. Следует также сказать, что эта рука уже не повиновалась моей воле. Я тщетно пробовал заставить ее следовать за движениями моей. Единственным признаком месмерического влияния было теперь дрожание языка всякий раз, когда я обращался к мсье Вальдемару с вопросом. Казалось, он пытался ответить, но усилий было недостаточно. К вопросам, задаваемым другими, он оставался совершенно нечувствительным, хотя я и старался создать между ним и каждым из присутствующих месмерическую гаррот¹. Кажется, я сообщил теперь все, что может дать понятие о тогдашнем состоянии сомнамбулы. Мы нашли новых сиделок, и в десять часов я ушел вместе с обоими докторами и мистером Л — лом.

После полудня мы снова пришли взглянуть на мсье Вальдемара. Состояние его оставалось прежним. Мы не сразу решили, следует ли и возможно ли его разбудить, однако вскоре все согласилось, что ни к чему хорошему это привести не может. Было очевидно, что смерть (или

¹ Связь (фр.).

то, что под нею разумеют) приостановлена месмерическим воздействием. Всем нам стало ясно, что, разбудив мсье Вальдемара, мы вызовем немедленную или, во всяком случае, скорую смерть.

С тех пор и до конца прошлой недели — в течение почти семи месяцев — мы ежедневно посещали дом мсье Вальдемара, иногда в сопровождении знакомых врачей или просто друзей. Все это время он оставался в точности таким, как я его описал в последний раз. Сиделки находились при нем безотлучно.

В прошлую пятницу мы наконец решили разбудить или попытаться разбудить его; и (быть может) именно злополучный результат этого последнего опыта породил столько толков в различных кругах и столько безосновательного, на мой взгляд, возмущения.

Чтобы вывести мсье Вальдемара из месмерического транса, я прибегнул к обычным пассам. Некоторое время они оставались безрезультатными. Первым признаком пробуждения было то, что из-под век появились полумесяцы радужной оболочки. Мы отметили, что это движение глаз сопровождалось обильным выделением (из-под век) желтоватой жидкости с крайне неприятным запахом.

Мне предложили воздействовать, как прежде, на руку сомнамбулы. Я попытался это сделать, но безуспешно. Тогда доктор Ф. пожелал, чтобы я задал ему вопрос. Я спросил:

— Мсье Вальдемар, можете ли вы сказать нам, что вы чувствуете или чего хотите?

На его щеки мгновенно вернулись пятна чахоточного румянца; язык задрожал, вернее, задергался во рту (хотя челюсти и губы оставались окоченелыми), и тот же отвратительный голос, уже описанный мною, произнес:

— Ради Бога!.. скорее! скорее!.. усыпите меня, или скорее... разбудите! скорее!.. Говорю вам, что я умер!

Я был потрясен и несколько мгновений не знал, на что решиться. Сперва я попробовал снова усыпить его, но, не сумев этого сделать, ибо воля совсем ослабла, я пошел в обратном направлении и столь же энергично попытался его разбудить. Скоро я увидел, что мне это уда-

ется,— по крайней мере я рассчитывал на полный успех и был уверен, что все присутствующие тоже ждали пробуждения мсье Вальдемара.

Но того, что произошло в действительности, не мог ожидать никто.

Пока я торопливо проделывал месмерические пассы, а с языка, но не с губ страдальца рвались крики: «умер!», «умер!», все его тело — в течение минуты или даже быстрее — осело, расплзлось, буквально разложилось под моими руками. На постели перед нами лежала полужидкая, отвратительная, гниющая масса.



ПОВЕСТЬ КРУТЫХ ГОР

Осенью 1827 года, когда я некоторое время жил в штате Виргиния под Шарлоттсвиллом, мне довелось познакомиться с мистером Огестесом Бедлоу. Это был молодой человек, замечательный во всех отношениях, и он пробудил во мне глубокий интерес и любопытство. Я обнаружил, что и телесный и духовный его облик равно для меня непостижимы. О его семье я не смог получить никаких достоверных сведений. Мне так и не удалось узнать, откуда он приехал. Даже его возраст — хотя я и назвал его «молодым человеком» — в немалой степени смущал меня. Бесспорно, он выглядел молодым и имел обыкновенные ссылаться на свою молодость, и все же бывали минуты, когда мне начинало чудиться, что ему не менее ста лет. Однако более всего поражала в нем его внешность. Он был очень высок и тощ. Он всегда горбился. Его руки и ноги были необыкновенно худы, лоб — широк и низко. Лицо его покрывала восковая бледность. Рот был большим и подвижным, а зубы, хотя и совершенно крепкие, отличались удивительной неровностью, какой мне не доводилось видеть ни у кого другого. Однако его улыбка вовсе не была неприятной, как можно предположить, но она никогда не изменялась и свидетельствовала лишь о глубочайшей меланхолии, о постоянной неизбывной тоске. Его глаза были неестественно велики и круглы, как у кота. И зрачки их при усилении или уменьшении света суживались и расширялись так, как это наблюдается у всего кошачьего племени. В минуты волнения они начинали сверкать самым невероятным образом и как бы испускали яркие лучи — не отраженные, но зарождающиеся внутри, как в светильнике или в солнце; впрочем, чаще всего они оставались пустыми, мутными и тусклыми, какими могут быть глаза давно погребенного трупа.

Эти особенности его наружности, по-видимому, были ему крайне тягостны, и он постоянно упоминал о них виноватым и оправдывающимся тоном, который вначале производил на меня самое гнетущее впечатление. Вскоре, однако, я привык к нему, и неприятное чувство рассеялось. Казалось, Бедлоу пытался, избегая прямых утверждений, дать мне понять, что он не всегда был таким и что постоянные невралгические припадки лишили его более чем незаурядной красоты и сделали таким, каким я его вижу теперь. В течение многих лет его лечил врач по фамилии Темплтон — человек весьма преклонного возраста, лет семидесяти, если не более, — к которому он впервые обратился в Саратогe и получил (или лишь вообразил, будто получил) большое облегчение. В результате Бедлоу, человек очень богатый, предложил доктору Темплтону весьма значительное годовое содержание, и тот согласился посвятить все свое время и весь свой медицинский опыт ему одному.

В молодости доктор Темплтон много путешествовал и в Париже стал приверженцем многих доктрин Месмера. Те мучительные боли, которые постоянно испытывал его пациент, он облегчал исключительно с помощью магнетических средств, и вполне естественно, что Бедлоу проникся определенным доверием к идеям, эти средства породившим. Однако доктор, подобно всем энтузиастам, прилагал все усилия, чтобы окончательно убедить своего пациента в их истинности, и преуспел в этом настолько, что страдалец согласился участвовать в различных экспериментах. Постоянное повторение этих экспериментов привело к возникновению феномена, который в наши дни стал настолько обычным, что уже почти не привлекает внимания, но в эпоху, мною описываемую, был в Америке почти неизвестен. Я хочу сказать, что между доктором Темплтоном и Бедлоу установилась весьма четкая и сильно выраженная магнетическая связь, или rapport. Впрочем, я не склонен утверждать, что этот rapport выходил за пределы простой власти вызывать сон, но зато эта власть достигла необыкновенной силы. При первой попытке вызвать магнетический сон месмерист потерпел полную неудачу. Пятая или шестая попытка частично достигла цели,

причем ценой долгих и напряженных стараний. И только двенадцатая увенчалась полным успехом. Но вскоре после этого воля врача окончательно возобладала над волей пациента, и в те дни, когда я познакомился с ними обоими, первый мог вызвать у больного сон мысленным приказанием, даже когда тот не подозревал о его присутствии. Только теперь, в 1845 году, когда подобные чудеса совершаются ежедневно на глазах тысяч свидетелей, я осмеливаюсь занести на бумагу, как неоспоримый факт, то, что на первый взгляд представляется немислимым.

Натура Бедлоу была в высшей степени чувствительной, восприимчивой и восторженной. Он обладал чрезвычайно деятельным и творческим воображением, и, без сомнения, оно приобретало дополнительную силу благодаря морфину, который Бедлоу принимал постоянно и в огромных количествах и без которого он просто не мог существовать. Он имел привычку глотать большую дозу каждое утро сразу же после завтрака, а вернее, сразу же после чашки крепкого черного кофе, ибо в первую половину дня он ничего не ел,— и затем отправлялся в одиночестве или сопровождаемый только собакой на прогулку среды диких и унылых холмов, протянувшихся к западу и к югу от Шарлоттсвилла и удвоенных от местных жителей почетного наименования «Крутые горы».

Как-то в конце ноября, в пасмурное, теплое и туманное утро, принадлежащее тому странному междуцарствию времен года, которое в Америке называют «индейским летом», мистер Бедлоу по своему обыкновению ушел в холмы. День уже кончался, а он все еще не возвратился.

Примерно в восемь часов вечера, серьезно обеспокоенные его столь длительным отсутствием, мы уже собрались отправиться на поиски, как вдруг он вернулся,— чувствовал он себя не хуже, чем обыкновенно, и был в состоянии возбуждения, для него редкого. То, что он поведал нам о своей прогулке и о событиях, его задержавших, было поистине необычайным.

— Как вы, несомненно, помните,— начал он,— я покинул Шарлоттсвилл около девяти часов утра. Я сразу же направился к горам и в десять часов вступил в узкую долину, дотоле мне неизвестную. С большим интересом

следовал я по ее извилам. Ландшафт, открывавшийся моему взору, вряд ли можно назвать величественным, однако его отличала неопишуемая — а для меня восхитительная — унылая пустынность. В безлюдии и дикости долины была какая-то девственная нетронутость, и я невольно подумал, что на этот зеленый дерн и серые камни до меня еще не ступала нога человека. Вход в эту долину настолько укрыт и настолько трудно доступен, что попасть туда можно лишь в результате стечения ряда случайностей, и я действительно мог быть первым, кто вторгся в нее, первым и единственным смельчаком, проникшим в ее тайные пределы.

На долину вскоре спустился тот особый молочный туман, который свойствен только поре индейского лета, и оттого все вокруг стало казаться еще более смутным и неопределенным. Этот приятный туман был столь густ, что порой я различал предметы впереди себя не более чем в десяти ярдах. Долина была чрезвычайно извилиста, и, так-как солнце исчезло за непроницаемой пеленой, я скоро потерял всякое представление о том, в какую сторону иду. Тем временем морфий оказал свое обычное действие, и каждая деталь внешнего мира представлялась мне теперь необыкновенно интересной. В трепетании листа, в оттенке стебелька травы, в очертаниях трилистника, в жужжании пчелы, в сверкании росинки, в дыхании ветра, в легких ароматах, доносившихся из леса, — во всем обреталась целая вселенная намеков, все давало пищу для веселого и пестрого хоровода прихотливых и бессистемных мыслей.

Погруженный в них, я шел так несколько часов, а туман становился все гуще, и в конце концов мне пришлось пробираться на ощупь в самом прямом смысле слова. И тут мною овладела неопишуемая тревога, порождение нервной нерешительности и боязливости. Я страшился сделать шаг, опасаясь, что под моими ногами вот-вот разверзнется бездна. К тому же мне на ум пришли странные истории, которые рассказываются об этих Крутых горах, о свирепых полудиких людях, которые обитали в их рощах и пещерах. Тысячи неясных фантазий — фантазий, еще более тягостных из-за своей неясности, — угнетали

мой дух и усугубляли овладевшую мной робость. Внезапно мое внимание привлёк громкий барабанный бой.

Изумление мое, разумеется, было чрезвычайным. Эти горы никогда не видели барабана. Мое удивление не было бы сильнее, услышь я трубу архангела. Однако вскоре мое недоумение и любопытство стократно возросли — раздалось оглушительное бряцание, точно кто-то взмахнул связкой гигантских ключей, и мгновение спустя мимо меня с воплем пробежал полунагой смуглый человек. Он промчался настолько близко от меня, что я почувствовал на своем лице его горячее дыхание. В одной руке он нес инструмент, состоявший из множества стальных колец, и на бегу энергично им встряхивал. Не успел он исчезнуть в тумане, как следом за ним, хрипло дыша, пробежал огромный зверь с ощеренной пастью и горящими глазами. Я не мог ошибиться — это была гиена!

Вид чудовища скорее развеял, нежели усугубил мой ужас, ибо теперь я убедился, что грежу, и попытался заставить себя очнуться. Я смело и решительно пошел вперед. Я протер глаза. Я громко закричал. Я несколько раз ущипнул себя. Увидев журчащий ключ, я ополоснул руки и смочил водой голову и шею. Это как будто рассеяло одолевавшие меня неясные ощущения. Я поднялся на ноги, чувствуя себя другим человеком, и спокойно и безмятежно продолжал свой неведомый путь.

Наконец, утомленный ходьбой и странной духотой, разлитой в воздухе, я сел отдохнуть под деревом. Вскоре сквозь туман забрезжили слабые солнечные лучи, и на траву легли прозрачные, но четкие тени листьев. С изумлением я долго смотрел на эти тени. Их очертания ошеломили меня. Я поднял глаза вверх. Это дерево было пальмой!

Я поспешно вскочил, охваченный страшным волнением, ибо уже не мог убеждать себя, будто я грежу. Я видел... я понимал, что полностью владею всеми своими чувствами — и теперь эти чувства распахнули передо мной мир новых и необычных ощущений. Жара мгновенно стала невыносимой. Ветер наполнился странными запахами. До моих ушей донесся слабый непрерывный ропот, словно поблизости струилась полноводная, но тихая река,

и к этому ропоту примешивался своеобразный гул множества человеческих голосов.

Пока я прислушивался, вне себя от изумления, которое и не буду пытаться описывать, краткий, но сильный порыв ветра рассеял туман, словно по мановению магического жезла.

Я увидел, что нахожусь у подножия высокой горы, а передо мной простирается бескрайняя равнина, по которой катит свои могучие воды величественная река. На ее берегу раскинулся восточного вида город, о каких мы читаем в арабских сказках, но своеобразием превосходящий их все. С того места, где я стоял высоко над городом, моему взгляду были доступны все самые укромные его уголки, как будто я смотрел на его план. Бесчисленные улицы вились во всех направлениях, беспорядочно пересекая друг друга,— собственно говоря, это были даже не улицы, а узкие длинные проулки, заполненные кишацими толпами. Дома поражали причудливой живописностью. Повсюду изобилие балконов, веранд, минаретов, святилиц и круглых окошек с резными решетками. Базары во множестве манили покупателей бесконечным разнообразием дорогих товаров, количество которых превосходило всякое вероятие, — шелка, муслины, сверкающие ножи и кинжалы, великолепнейшие драгоценные камни и жемчуг. И повсюду взгляд встречал знамена и паланкины, носилки с закутанными в покрывала знатными дамами, слонов в расшитых пополах, уродливых каменных идолов, барабаны, знамена, гонги, копьа, серебряные и позолоченные палицы. И среди этих толп и суеты, по запутанному, хаотичному лабиринту улочек, среди миллионов темнокожих и желтокожих людей в тюрбанах, в свободных одеждах, с пышными кудрявыми бородами, бродили мириады украшенных лентами храмовых быков, а гигантские полчища грязных, но священных обезьян прыгали, лопотали и визжали на карнизах мечетей или резвились на минаретах и в оконных нишах. От заполненных народом улиц к берегу реки спускались неисчислимые лестницы, ведущие к местам омовений, а сама река, казалось, с трудом пролагала себе путь между колоссальными флотилиями тяжело нагруженных судов, скрывав-

шими от глаз самую ее поверхность. За пределами города к небу тянулись купы кокосовых и иных пальм, а также других диковинных деревьев небывалой высоты и толщины. Там и сям взор встречал рисовое поле, крытую листьями крестьянскую хижину, водоем, одинокий храм, цыганский табор или грациозную девушку, которая с кувшином на голове спускалась к берегу величавой реки.

Теперь вы, конечно, скажете, что я спал и грезил, но это было не так. Тому, что я видел, что я слышал, что ощущал, что думал, ни в чем не была свойственна смутность, всегда присущая снам. Вся картина была исполнена строгих соответствий и логики. Вначале, сомневаясь, не чудится ли мне это, я применил несколько проверок, которые скоро убедили меня, что я бодрствую и сознание мое ясно. А ведь когда человеку снится сон и он во сне подозревает, что все происходящее ему только снится, это подозрение всегда и непременно находит подтверждение в том, что спящий тотчас пробуждается. Вот почему прав Новалис, утверждая: «Мы близки к пробуждению, когда нам снится, что нам снится сон». Если бы, когда это видение предстало передо мною, я не заподозрил бы, что оно может быть сном, тогда оно, несомненно, оказалось бы именно сном, но раз я заподозрил, что это может быть сон, и проверил свои подозрения, то приходится счесть его каким-то иным явлением.

— Я не скажу, что вы в этом ошиблись,— заметил доктор Темплтон.— Однако продолжайте. Вы встали и спустились в город.

— Я встал,— произнес Бедлоу, глядя на доктора с глубочайшим изумлением,— я встал, как вы сказали, и спустился в город. На пути туда я скоро оказался среди людей, бесчисленными потоками заполнявших все ведущие к нему дороги и каждым своим жестом выдававших бурное возбуждение и волнение. Внезапно под влиянием неизъяснимого импульса я проникся всепоглощающим личным интересом к тому, что происходило вокруг. Я, казалось, чувствовал, что мне предстоит сыграть какую-то важную роль, хотя и не знал, какую и в чем. Однако окружающие меня людские толпы внушали мне глубокую враждебность. Я поспешил удалиться от них и быс-

тро добрался до города кружным путем. Там царило величайшее смятение и раздор. Небольшой отряд солдат, облаченных в полуиндийские, полуевропейские одежды, под командой офицеров в мундирах, схожих с британскими, отражал натиск городской черни, несравненно более многочисленной. Я присоединился к слабейшим, взял оружие одного из убитых офицеров и вступил в бой, не зная, против кого, хотя и сражался с нервной яростью, рожденной отчаянием. Однако нас было слишком мало, и вскоре, вынужденные отступить, мы укрылись в здании, напоминавшем павильон. Там мы забаррикадировались и на некоторое время получили передышку. Сквозь амбразуру у самого свода я увидел, как огромная буйствующая толпа окружила и принялась штурмовать изящный дворец над рекой. Вскоре в одном из окон верхнего этажа этого дворца показался изнеженного вида человек и начал спускаться вниз по веревке, свитой из тюрбанов его приверженцев. Тут же ему подали лодку, и он уплыл на ней на противоположный берег реки.

И тут моей душой овладело новое стремление. Я обратился к моим товарищам с кратким, но настойчивым призывом и, убедив некоторых из них, предпринял отважную вылазку. Покинув павильон, мы врезались в окружающую его толпу. Сначала враги расступились перед нами, затем оправились от неожиданности и бросились на нас как бешеные, но снова отступили. Тем временем, однако, мы оказались в стороне от павильона, среди узких проулков, над которыми почти смыкались верхние этажи домов, так что сюда никогда не заглядывало солнце. Городская чернь дерзко окружила нас, грозя нам копьями, пуская в нас тучи стрел. Эти последние были весьма примечательны и по виду несколько напоминали извилистые лезвия малайских крисов. Им придавалось сходство с телом ползущей змеи. Длинные и темные, они завершались отравленными наконечниками. Одна такая стрела впилась мне в правый висок. Я зашатался и упал. Мной овладела мгновенная и невыразимая ужасная дурнота. Я забился в судорогах... я испустил конвульсивный вздох... я умер.

— Ну, уж теперь-то вы вряд ли будете отрицать,— сказал я с улыбкой,— что все ваше приключение было сном! Не станете же вы утверждать, что вы мертвы?

Произнося эти слова, я, разумеется, ждал, что Бедлоу ответит мне какой-нибудь веселой шуткой, но, к моему удивлению, он запнулся, вздрогнул, побелел как полотно и ничего не сказал. Я поглядел на Темплтона. Он сидел, выпрямившись и словно окостенев, его зубы стучали, а глаза вылезали из орбит.

— Продолжайте! — хрипло сказал он наконец, обращаясь к Бедлоу.

— В течение нескольких минут,— заговорил тот,— моим единственным ощущением, моим единственным чувством были бездонная темнота, растворение в ничто и осознание себя мертвым. Затем мою душу как бы сотряс внезапно удар, словно электрический. И он принес с собой ощущение упругости и света, но свет этот я не видел, а только чувствовал. В одно мгновение я казался, воспарил над землей. Но я не обладал никакой телесной, видимой, слышимой или осязаемой сущностью. Толпа разошлась. Смятение улеглось. В городе воцарилось относительное спокойствие. Внизу подо мной лежал мой труп — из виска торчала стрела, голова сильно распухла и приобрела ужасный вид. Но все это я чувствовал, а не видел. Меня ничто не интересовало. Даже труп, казалось, не имел ко мне никакого отношения. Воля моя исчезла без следа, но что-то побуждало меня двигаться, и я легко полетел прочь от города, следуя тому же окольному пути, каким вступил в него. Когда я снова достиг того места в долине, где видел гиену, я снова испытал сотрясение, точно от прикосновения к гальванической батарее; ко мне вернулось ощущение весомости, воли, телесного бытия. Я снова стал самим собой и поспешно направился в сторону дома, однако случившееся со мной нисколько не утратило живости и реальности, и даже теперь, в эту самую минуту, я не могу заставить себя признать, что все это было лишь сном.

— О нет,— с глубокой и торжественной серьезностью сказал Темплтон,— хотя и трудно найти иное наименование для того, что с вами произошло. Предположим лишь,

что душа современного человека находится на пороге каких-то невероятных открытий в области психического. И удовлетворимся этим предположением. Остальное же я могу в какой-то мере объяснить. Вот акварельный рисунок, который мне следовало бы показать вам ранее, чему мешал неизъяснимый ужас, охватывавший меня всякий раз, когда я собирался это сделать.

Мы посмотрели на акварель, которую он протянул нам. Я не обнаружил в ней ничего необычайного, однако на Бедлоу она произвела поразительное впечатление. Он чуть не упал в обморок. А ведь это был всего лишь портрет, воспроизводивший — правда, с неподражаемой точностью, — его собственные примечательные черты. Во всяком случае, так думал я, глядя на миниатюру.

— Посмотрите, — сказал Темплтон, — на год, каким помечена акварель. Видите, вон в том углу еле заметные цифры — тысяча семьсот восемьдесят? Это год написания портрета. Он изображает моего покойного друга, некоего мистера Олдеба, с которым я близко сошелся в Калькутте в губернаторство Уоррена Гастингса. Мне было тогда лишь двадцать лет. Когда я увидел вас в Саратогге, мистер Бедлоу, именно чудесное сходство между вами и портретом побудило меня искать знакомства и дружбы с вами, а также принять ваше предложение, которое позволило мне стать вашим постоянным спутником. Мною при этом руководили главным образом скорбные воспоминания о покойном друге, но в определенной степени и тревожное, не свободное от ужаса любопытство, которое возбуждали во мне вы сами. Рассказывая о видении, явившемся вам среди холмов, вы с величайшей точностью описали индийский город Бенарес на священной реке Ганге. Уличные беспорядки, схватка с толпой и гибель части отряда представляют собой реальные события, имевшие место во время восстания Чейт Сингха, которое произошло в тысяча семьсот восьмидесятом году, когда Уоррен Гастингс чуть было не распростился с жизнью. Человек, спустившийся по веревке, сплетенной из тюрбанов, был Чейт Сингх. В павильоне укрылись сипаи и английские офицеры во главе с самим Гастингсом. Среди них был и я. Когда один из офицеров безрассудно ре-

шился на вылазку, я приложил все усилия, чтобы отговорить его, но тщетно — он пал в одной из улиц, пораженный отравленной стрелой бенгальца. Этот офицер был моим самым близким другом. Это был Олдеб. Как покажут вот эти записи, — доктор достал тетрадь, несколько страниц которой были исписаны и, очевидно, совсем недавно, — в те самые часы, когда вы грезили среди холмов, я здесь, дома, заносил эти события на бумагу.

Примерно через неделю после этого разговора в шарлоттсвиллской газете появилось следующее сообщение:

«Мы должны с прискорбием объявить о кончине мистера Огестеса Бедло, джентльмена, чьи любезные манеры и многие достоинства завоевали сердца обитателей Шарлоттсвилла.

Мистер Б. последние годы страдал невралгией, припадки которой не раз грозили стать роковыми, однако этот недуг следует считать лишь косвенной причиной его смерти. Непосредственная же причина поистине необыкновенна. Во время прогулки по Крутым горам несколько дней тому назад покойный простудился, и у него началась лихорадка, сопровождавшаяся сильными приливами крови к голове. Поэтому доктор Темплтон решил прибегнуть к местному кровопусканию, и к вискам больного были приложены пиявки. Через ужасающе короткий срок больной скончался, и тогда выяснилось, что в банку с медицинскими пиявками случайно попал ядовитый кровосос — один из тех, которые иногда встречаются в пригородных прудах. Этот мерзкий кровопийца присосался к малой артерии на правом виске. Его сходство с медицинской пиявкой привело к тому, что ошибка была обнаружена слишком поздно.

Примечание. Шарлоттсвилльский ядовитый кровосос отличается от медицинской пиявки черной окраской, а главное, особой манерой извиваться, напоминающей движение змеи».

Я беседовал с издателем шарлоттсвиллской газеты об этом необыкновенном происшествии и между прочим спросил, почему фамилия покойного была напечатана «Бедло».

— Полагаю,— сказал я,— у вас были какие-то основания для такого ее написания, но мне всегда казалось, что она оканчивается на «у».

— Основания? — переспросил он.— Нет, это просто типографская опечатка. Конечно, фамилия покойного пишется с «у» на конце — Бедлоу, и я ни разу в жизни не встречал иного ее написания.

— В таком случае,— пробормотал я, поворачиваясь, чтобы уйти,— в таком случае остается только признать, что правда действительно бывает любого вымысла странней: ведь «Бедлоу» без «у» — это же фамилия «Олдеб», написанная наоборот! А он хочет убедить меня, что это просто типографская ошибка!



СФИНКС

В ту пору, когда Нью-Йорк посетила свирепая эпидемия холеры, один мой родственник пригласил меня пожить недели две в его уединенном, комфортабельном коттедже на берегу реки Гудзон. Здесь к нашим услугам были все возможности для летнего отдыха; прогулки по лесам, занятия живописью, катание на лодке, рыбная ловля, купание, музыка и книги изрядно скрасили бы наш досуг, если б не ужасные известия, которые всякое утро приходили из многолюдного города. Не проходило и дня, чтобы мы не узнали о болезни того или другого знакомого. А бедствие все разрасталось, и вскоре мы стали повседневно ожидать смерти кого-нибудь из друзей. Дошло до того, что, едва завидя почтальона, мы содрогались. В самом ветре, когда он дул с юга, нам чудилось смрадное дыхание смерти. Мысль об этом леденила мне душу. Я не мог говорить, не мог думать ни о чем другом и даже во сне лишился покоя. Хозяин дома был по природе менее впечатлителен и, хотя сам не на шутку упал духом, всеми силами старался меня ободрить. Его серьезный, философский ум был чужд беспочвенных фантазий. Разумеется, действительные несчастья удручали его, но он не знал страха пред их зловещими призраками.

Однако его усилия рассеять мою болезненную мрачность оказались тщетны, и главной причиной тому были книги, которые я отыскал в его библиотеке. Книги эти были такого рода, что семена наследственных суеверий, сокрытые в моей душе, дали быстрые всходы. Я читал их без ведома моего друга, и он часто не мог понять, что же так сильно влияет на мое воображение.

Излюбленной темой разговора были для меня народные приметы — истинность их я готов был в то время

доказывать чуть ли не с пеной у рта. Мы вели на эту тему долгие и горячие споры; мой друг утверждал, что все это лишь пустые суеверия, я же возражал, что предчувствия, возникающие в народе совершенно произвольно — то есть без какого-либо определенного повода, — обязательно содержат в себе зерно истины и, несомненно, заслуживают внимания.

Надо сказать, что вскоре после приезда со мной произошел случай, столь необъяснимый и зловещий, что вполне простительно было счесть его за дурную примету. Он поверг меня в такой беспредельный ужас и смятение, что лишь много дней спустя я решился рассказать об этом случае своему другу.

На исходе знойного дня я сидел с книгой у открытого окна, из которого открывался прекрасный вид на берега реки и на склон дальнего холма, почти безлесный после сильного оползня. Я давно уже забыл о книге и мысленно перенесся в город, погруженный в скорбь и отчаянье. Подняв глаза, я рассеянно скользнул взглядом по обнаженному склону холма и увидел там нечто невероятное — какое-то мерзкое чудовище быстро спускалось с вершины и вскоре исчезло в густом лесу у подножия. При виде этой твари я подумал, что сошел с ума, — и уж, во всяком случае, не поверил своим глазам, — а потому прошло порядочно времени, прежде чем мне удалось убедить себя, что я не повредился в рассудке и все это не было сном. Боюсь, однако, что, когда я опишу чудовище (я видел его совершенно явственно и без помехи наблюдал, пока оно спускалось с холма), у читателей возникнет еще более сомнений, чем у меня самого.

Я прикинул на глаз величину чудовища, соразмерив его с толщиной вековых деревьев, меж которыми оно совершало свой путь, — тех немногих лесных великанов, каких пощадила оползень, — и убедился, что оно несравненно превосходит все существующие линейные корабли. Сравнение с линейным кораблем напрашивается само собой — корпус любого из наших семидесятичетырехпушечных судов может дать зримое представление о форме чудовища. Пасть его была расположена на конце хобота длиной футов в шестьдесят или семьдесят и толщиной

едва ли не с туловище слона. Основание хобота сплошь заросло черной косматой шерстью — столько шерсти не настричь и с двух десятков буйволов; из нее, загибаясь вниз и в стороны, торчали два сверкающих клыка, похожих на кабаньи, но неизмеримо более длинных. По обе стороны от хобота, параллельно ему, выступали вперед громадные отростки длиной футов в тридцать, а то и сорок, похожие на кристалльно-прозрачные призмы безупречной формы — они во всем великолепии отражали закат. Туловище напоминало клин, острием обращенный к земле. С боков распростерлись одна над другой две пары крыльев — размахом в добрую сотню ярдов, — густо усеянные металлической чешуей; каждая чешуйчатая пластина имела в поперечнике футов десять или двадцать. Мне показалось, что верхние и нижние крылья скованы тяжелой цепью. Но всего поразительней и ужасней было изображение Черепа едва ли не во всю грудь, так отчетливо выделявшееся в ослепительном свете на темном туловище, словно оно было выписано кистью художника. Когда я в ужасе и удивлении разглядывал это страшное лицо, и в особенности его грудь, с предчувствием близкой беды, которое не могли заглушить никакие доводы рассудка, огромная пасть на конце хобота вдруг разверзлась и исторгла звук, столь громкий и неизъяснимо горестный, что он сокрушил мое сердце, как похоронный звон, и когда чудовище исчезло у подножия холма, я без чувств рухнул на пол.

Едва я опомнился, первой моей мыслью было поделиться с другом всем, что я видел и слышал, — но какое-то необъяснимое чувство отвращения заставило меня промолчать.

Лишь дня три или четыре спустя, под вечер, нам случилось быть вдвоем в той самой комнате, откуда я видел призрак, — я опять сидел в кресле у окна, а мой друг прилег на диване. Совпадение места и времени побудило меня рассказать ему о необычайном явлении, которое я наблюдал. Он выслушал, не перебивая, — сначала посмеялся от души, потом стал необычайно серьезен, словно убедился в моем безумии. В этот миг я снова явственно увидел чудовище и с криком ужаса указал на него другу.

Он стал пристально вглядываться, но сказал, что ничего не видит, хотя я подробно описал весь путь зверя, спускавшегося по обнаженному склону холма.

Теперь я пришел в совершеннейший ужас, решив, что видение предвещает либо мою смерть, либо, еще того страшней, надвигающееся помешательство. В отчаянье я откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. Когда я опустил руки, призрак уже исчез.

Однако к хозяину дома вернулось его хладнокровие, и он принялся обстоятельно расспрашивать меня, как выглядело это невероятное существо. Когда я ответил на все его вопросы, он глубоко вздохнул, словно сбросив с души тяжкое бремя, и с невозмутимостью, которая показалась мне бесчеловечной, возобновил прерванный разговор об отвлеченных философских материях. Помнится, между прочим, он настоятельно подчеркивал ту мысль, что ошибки в исследованиях обычно проистекают из собственной человеческому разуму склонности недооценивать или же преувеличивать значение исследуемого предмета из-за неверного определения его удаленности от нас.

— Так, например,— сказал он,— чтобы правильно оценить то влияние, которое может иметь на человечество всеобщая и подлинная демократия, необходимо учесть, насколько удалена от нас та эпоха, в которую это возможно осуществить. Не сумеете ли вы назвать хоть одно сочинение о государстве, где автор уделял бы этой стороне вопроса хоть сколько-нибудь внимания?

Помолчав немного, он подошел к книжному шкафу и взял с полки начальный курс «Естественной истории». Затем он попросил меня поменяться с ним местами, чтобы ему легче было читать мелкий шрифт, сел в кресло у окна и, открыв книгу, продолжал разговор в том же тоне.

— Если бы вы не описали чудовище во всех подробностях,— сказал он,— я попросту не мог бы объяснить, что это было. Но позвольте для начала прочитать вам из школьного учебника описание одного из представителей рода сфинксов — семейство бражников, отряд чешуекрылых, класс насекомых. Вот что здесь сказано:

«Две пары перепончатых крыльев усеяны мелкими цветными чешуйками с металлическим отливом; ротовые органы имеют вид спирально закрученного хоботка, образованного удлинёнными челюстями, причем по бокам от него находятся недоразвитые челюстные придатки и ворсистые щупики; верхние крылья сцеплены с нижними посредством жестких щетинок; усики имеют продолговатую, призматическую форму; брюшко заострено книзу. Сфинкс вида Мертвая голова внушает простонародью суеверный ужас своим тоскливым писком, а также эмблемой смерти на грудном покрове».

Тут он закрыл книгу и подался вперед, старательно приняв то самое положение, в каком сидел я, когда увидел «чудовище».

— Ага, вот оно где! — тотчас воскликнул он.— Опять лезет на холм, и должен признать, что вид у него престранный. Но оно отнюдь не так огромно и не так удалено отсюда, как вам почудилось: дело в том, что оно взбирается по паутинке, которую соткал за окном паук, и, сколько я могу судить, имеет в длину не более одной шестнадцатой дюйма, да и расстояние от него до моего глаза никак не более одной шестнадцатой дюйма.



ПОМЕСТЬЕ АРНГЕЙМ

Прекрасной даме был подобен сад,
Блаженно распростертой в полусне,
Смежив под солнцем утомленный взгляд.

Поля небесные синели мне,
В цветении лучей сомкнувшись в вышине.
Роса, блестя у лилий на главе
И на лазурных листьях и в траве,
Была, что звездный рой в вечерней синеве.

Джеймс Флетчер

От колыбели до могилы в паруса моего друга Эллисона дул попутный ветер процветания. И я употребляю слово «процветание» не в сугубо земном смысле. Для меня оно тождественно понятию «счастье». Человек, о котором я говорю, казался рожденным для предвозвещения доктрин Тюрго, Прайса, Пристли и Кондорсе — для частного воплощения всего, что считалось химерою перфекционистов. По моему мнению, недолгая жизнь Эллисона опровергала догму о существовании в самой природе человека некоего скрытого начала, враждебного блаженству. Внимательное изучение его жизни дало мне понять, что нарушение немногих простых законов гуманности обусловило несчастье человечества — что мы обладаем еще неразвитыми началами, способными принести нам довольство, — и что даже теперь, при нынешнем невежестве и безумии всех мыслей относительно великого вопроса о социальных условиях, не лишено вероятности, что отдельное лицо, при неких необычайных и весьма благоприятных условиях, может быть счастливым.

Мнений, подобных этому, целиком придерживался и мой молодой друг, и поэтому следует принять во внимание, что ничем не омраченная радость, которой отмечена

его жизнь, была в значительной мере обусловлена заранее. И в самом деле, очевидно, что, располагая он меньшими способностями к бессознательной философии, которая порою так успешно заменяет жизненный опыт, мистер Эллисон обнаружил бы себя ввергнутым самою своею невероятною жизненною удачею во всеобщий водоворот горя, разверзтый перед всеми, наделенными чем-либо незаурядным. Но я отнюдь не ставлю себе целью сочинение трактата о счастии. Идеи моего друга можно изложить в нескольких словах. Он допускал лишь четыре простые основы или, точнее говоря, четыре условия блаженства. То, что он почитал главным, были (странно сказать!) всего лишь физические упражнения на свежем воздухе. «Здоровье, достигаемое иными средствами,— говорил он,— едва ли достойно зваться здоровьем». Он приводил как пример блаженства охоту на лис и указывал на землекопов как на единственных людей, которые как сословие могут по справедливости почитаться счастливее прочих. Его вторым условием была женская любовь. Третьим, и наиболее трудно осуществимым, было презрение к честолюбивым помыслам. Четвертым была цель, которая требовала постоянного к себе стремления; и он держался того мнения, что степень достижимого счастья пропорциональна духовности и возвышенности этой цели. Замечателен был непрерывный поток даров, которые фортуна в изобилии обрушивала на Эллисона. Красотою и грацией он превосходил всех. Разум его был такого склада, что приобретение познаний являлось для него не трудом, а скорее наитием и необходимостью. Он принадлежал к одной из знатнейших фамилий империи. Его невеста была самая прелестная и самая верная из женщин. Его владения всегда были обширны; но, когда он достиг совершеннолетия, обнаружилось, что судьба сделала его объектом одного из тех необычайных своих капризов, что потрясают общество и почти всегда коренным образом переменяют моральный склад тех, на кого направлены.

Оказалось, что примерно за сто лет до совершеннолетия мистера Эллисона в одной отдаленной провинции скончался некий мистер Сибрайт Эллисон. Этот джен-

тльмен скопил огромное состояние и, не имея прямых потомков, измыслил прихотливый план: дать своему богатству расти в течение ста лет после своей смерти. Мудро, до мельчайших подробностей, распорядившись различными вложениями, он завещал всю сумму ближайшему из своих родственников по фамилии Эллисон, который будет жить через сто лет. Было предпринято много попыток отменить это необычайное завещание; но то, что они носили характер *ex post facto*¹, обрекало их на провал; зато было привлечено внимание ревностного правительства и удалось провести законодательный акт, запрещающий подобные накопления. Этот акт, однако, не помешал юному Эллисону в свой двадцать первый день рождения вступить во владение наследством своего предка Сибрайта, составлявшим *четыреста пятьдесят миллионов долларов*².

Когда стали известны столь огромные размеры унаследованного богатства, то, разумеется, начали строить всяческие предположения относительно того, как им распорядятся. Величина и безусловное наличие суммы привели в растерянность всех, размышлявших об этом предмете. Про обладателя какого-либо *умопостигаемого* количества денег можно было вообразить что угодно. Владей он богатствами, только превосходящими богатства любого гражданина, легко было представить себе, что он пустится в безудержный разгул соответственно модам своего времени — или займется политическими интрига-

¹ Предпринятых задним числом (*лат.*).

² Случай, подобный вымышленному здесь, не так давно произошел в Англии. Фамилия счастливого наследника — Теллусон. Впервые я увидел сообщение об этом в «Путевых заметках» принца Шюклера-Мускалу, который пишет, что унаследованная сумма составляет девятьсот миллионов фунтов, и справедливо замечает, что «в размышлениях о столь обширной сумме и о службе, которую она может сослужить, есть даже нечто возвышенное». Для соответствия со взглядами, исповедуемыми в настоящем рассказе, я последовал сообщению принца, хотя оно и непомерно преувеличено. набросок и фактически первая часть настоящего произведения были обнародованы много лет назад — до выхода в свет первого выпуска восхитительного романа Сю «Вечный жид», на идею которого, быть может, навел его записки Мускалу. — *Примеч. автора.*

ми — или начнет метить в министры — или купит себе высокий титул — или примется коллекционировать целые музеи *virtu*¹ — или станет щедрым покровителем изящной словесности, наук, искусств — или свяжет свое имя с благотворительными учреждениями, известными широкою сферою деятельности. Но при столь невообразимом богатстве, действительным владельцем которого сделался наследник, чувствовалось, что эти цели, да и все обычные цели представляют слишком ограниченное поле. Обратились к цифрам, и они лишь привели в смущение. Стало ясно, что даже при трех процентах годовых капитал принесет не менее тринадцати миллионов пятисот тысяч годового дохода, что составляло миллион сто двадцать пять тысяч в месяц; или тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть долларов в день; или тысячу пятьсот сорок один доллар в час; или двадцать шесть долларов в каждую быстролетную минуту. И вследствие этого обычные предположения решительно отбросили. Не знали, что и вообразить. Некоторые даже предположили, будто мистер Эллисон избавится по крайней мере от половины своего состояния, — ибо такое множество денег уж совершенно ни на что не нужно — и обогатит целую рать родственников разделом избытков. Ближайшим из них он и в самом деле уступил то весьма необычное богатство, которым владел до получения наследства.

Однако я не был удивлен, узнав, что он давно принял решение по вопросу, послужившему среди его друзей поводом для многих обсуждений. И я не очень-то изумился, обнаружив, что именно он решил. В отношении частной благотворительности он успокоил свою совесть. В возможность отдельного человека хоть как-либо, в прямом значении слова, улучшить общее состояние человечества он (мне жаль в этом признаться) мало верил. В целом, к счастью или нет, он в значительной степени был предоставлен самому себе.

Он был поэт в самом благородном и широком смысле слова. Кроме того, он постиг истинную природу, высокие цели, высшее величие поэтического чувства. Он бессо-

¹Произведений искусства, редкостей (*ит.*).

знательно понял, что самое полное, а быть может, единственно возможное удовлетворение этого чувства заключается в созидании новых форм прекрасного. Некоторые странности, исходящие то ли из его раннего образования, то ли из самой природы его ума, придали всем его этическим представлениям характер так называемого материализма; и, быть может, это и внушило ему убеждение, что наиболее плодотворная, если только не единственная область воистину поэтического деяния заключается в созидании новых видов чисто материальной красоты. И случилось так, что он не стал ни музыкантом, ни поэтом — если употреблять последний термин в его повседневном значении. А может быть, он пренебрег такую возможность просто в соответствии со своим убеждением, что одно из основных условий счастья на земле заключается в презрении к честолюбивым помыслам. И, право, невероятно ли, что если высокий гений по необходимости честолюбив, то наивысший чуждается того, что зовется честолюбием? И не может ли быть так, что иной, более великий, нежели Мильтон, оставался доволен, пребывая «немым и бесславным»? Я убежден, что мир никогда не видел — и если только цепь случайностей не вынудит ум благороднейшего склада к изменным усилиям, то мир никогда и не увидит — полную меру победоносного свершения в самых богатых возможностях областях искусства, на которую вполне способна природа человеческая.

Эллисон не стал ни музыкантом, ни поэтом, хотя не жил на свете человек, более глубоко поглощенный музыкой и поэзией. Весьма возможно, что при других обстоятельствах он стал бы живописцем. Скульптура, хотя она и сугубо поэтична по природе своей, слишком ограничена в размахе и результатах и поэтому не могла когда-либо обратить на себя его пристальное внимание. Я успел упомянуть все отрасли искусства, на которые поэтическое чувство, по общепринятому мнению, распространяется. Но Эллисон утверждал, что наиболее богатая возможностями, наиболее истинная, наиболее естественная и, быть может, наиболее широкая отрасль его пребывает в необъяснимом небрежении. Никто еще не относил декоративное садоводство к видам поэзии; но друг мой полагал,

что оно предоставляет истинной Музе великолепнейшие возможности. И вправду, здесь простирается обширнейшее поле для демонстрации фантазии, выражаемой в бесконечном сочетании форм невиданной ранее красоты; и элементы, ее составляющие, неизмеримо превосходят все, что может дать земля. В многообразных и многокрасочных цветах и деревьях он усматривал самые прямые и энергичные усилия Природы, направленные на сотворение материальной красоты. И в направлении или в концентрации этих усилий — точнее, в приспособлении этих усилий к глазам, что должны увидеть их на земле, — в применении лучших средств — в трудах ради полнейшего совершенства — и заключалось, как он понял, исполнение не только его судьбы как поэта, но и высокой цели, с коей Божество наделило человека поэтическим чувством.

«В приспособлении этих усилий к глазам, что должны увидеть их на земле». Объясняя это выражение, мистер Эллисон во многом приблизил меня к разгадке того, что всегда казалось мне загадочным: разумею тот факт (его же оспорит разве лишь невежда), что в природе не существуют сочетания элементов пейзажа, равного тем, что способен сотворить гениальный живописец. Не сыщется в действительности райских мест, подобных тем, что сияют нам с полотен Клода. В самых пленительных из естественных ландшафтов всегда сыщется избыток или недостаток чего-либо — многие избытки и многие недостатки. Если составные части и могут по отдельности превзойти даже наивысшее мастерство живописца, то в размещении этих частей всегда найдется нечто, могущее быть улучшенным. Коротко говоря, на широких *естественных* просторах земли нет точки, внимательно смотря с которой взор живописца не найдет погрешностей в том, что называется «композицией» пейзажа. И все же, до чего это непостижимо! В иных областях мы справедливо привыкли считать природу непревзойденной. Мы уклоняемся от состязаний с ее деталями. Кто дерзнет воспроизводить расцветку тюльпана или улучшать пропорции ландыша? Критическая школа, которая считает, что скульптура или портретная живопись должны ско-

рее возвышать, идеализировать натуру, а не подражать ей, пребывает в заблуждении. Все сочетания черт человеческой красоты в живописи или скульптуре лишь приближаются к прекрасному, которое живет и дышит. Этот эстетический принцип верен лишь применительно к пейзажу; и, почувствовав здесь его верность, из-за опрометчивой тяги к обобщениям критики почли, будто он распространяется на все области искусства. Я сказал: почувствовав, ибо это чувство — не аффектация и не химера. И в математике явления — не точнее тех, которые открываются художнику, почувствовавшему природу своего искусства. Он не только предполагает, но положительно знает, что такие-то и такие-то, на первый взгляд, произвольные сочетания материи образуют — и лишь они образуют — истинно прекрасное. Его мотивы, однако, еще не дозрели до выражения. Потребен более глубокий анализ, нежели тот, что ведом ныне, дабы вполне их исследовать и выразить. Тем не менее, художника в его инстинктивных понятиях поддерживают голоса всех его собратьев. Пусть в «композиции» будет недостаток; пусть в ее простое расположение форм внесут поправку; пусть эту поправку покажут всем художникам на свете; необходимость этой поправки признает каждый. И даже еще более того: для улучшения композиционного изъяна каждый из содружества в отдельности предложил бы одну и ту же поправку.

Повторяю, что материальная природа подлежит улучшению лишь в упорядочении элементов пейзажа и, следовательно, лишь в этой области возможность ее усовершенствования представлялась мне неразрешимой загадкой. Мои мысли о настоящем предмете ограничивались предположением, будто природа вначале тщила создать поверхность земли в полном согласии с человеческими понятиями о совершенной степени прекрасного, высокого или живописного; но что это начальное стремление не было выполнено ввиду известных геологических нарушений — нарушений форм и цветовых сочетаний, подлинный же смысл искусства состоит в исправлении и сглаживании подобных нарушений. Однако убедительность такого предположения значительно ослаблялась сопря-

женною с ним необходимостью расценивать эти геологические нарушения как противоестественные и не имеющие никакой цели. Эллисон высказал догадку, что они предвещают *смерть*. Объяснил он это следующим образом: допустим, что вначале на долю человека предназначалось бессмертие. Тогда первоначальный вид земной поверхности, отвечающий блаженному состоянию человека, не просто существовал, но был сотворен по расчету. Геологические же нарушения предвещали смертность, приуроченную человеку в дальнейшем.

«Так вот,— сказал мой друг,— то, что мы считали идеализацией пейзажа, может таковою быть и в действительности, но лишь со смертной, или *человеческой, точки зрения*. Каждая перемена в естественном облике земли может, по всей вероятности, оказаться изъяном в картине, если вообразить, что картину эту видят целиком — во всем ее объеме — с точки, далекой от поверхности земли, хотя и не за пределами земной атмосферы. Легко понять, что поправка в детали, рассматриваемой на близком расстоянии, может в то же время повредить более общему или цельному впечатлению. Ведь *могут* быть существа, некогда люди, а теперь людям невидимые, которым издалека наш беспорядок может показаться порядком, наша неживописность — живописною; одним словом, это земные ангелы, и необозримые декоративные сады обоих полушарий Бог, быть может, скомпоновал для их, а не для нашего созерцания, для их восприятия красоты, восприятия, утонченного смертью».

Во время обсуждения друг мой процитировал некоторые отрывки из сочинения о декоративном садоводстве, автор которого, по общему мнению, успешно трактовал свою тему:

«Собственно, есть лишь два стиля декоративного садоводства. Первый стремится напомнить первоначальную красоту местности, приспособляясь к окружающей природе; деревья выращивают, приводя их в гармонию с окрестными холмами или долинами; выявляют те приятные сочетания размеров, пропорций и цвета, которые, будучи скрыты от неопытного наблюдателя, повсеместно обнаруживаются перед истинным ценителем природы. Резуль-

тат этого естественного стиля в садоводстве заключается скорее в отсутствии всяческих недостатков и несоответствий — в преобладании здоровой гармонии и порядка — нежели в создании каких-либо особых чудес или красот. У искусственного стиля столько же разновидностей, сколько существует индивидуальных вкусов, подлежащих удовлетворению. В известном смысле он соотносится с различными стилями архитектуры. Возьмите величественные аллеи и уединенные уголки Версаля, итальянские террасы, разновидности смешанного староанглийского стиля, родственного готике или елизаветинскому зодчеству. Что бы ни говорили против злоупотреблений в искусственном стиле садоводства, привнесение искусства придает саду большую красоту. Это отчасти радует глаз благодаря наличию порядка и плана, отчасти благодаря интеллектуальным причинам. Терраса с обветшалой, обросшей мохом балюстрадой напоминает прекрасные облики проходивших по ней в былые дни. И даже малейший признак искусства свидетельствует о заботе и человеческом участии».

«Из того, что я ранее заметил,— продолжал Эллисон,— вы поймете, что я отвергаю выраженную здесь идею о возврате к естественной красоте данной местности. Естественная красота никогда не сравнится с созданной. Конечно, все зависит от выбора места. Сказанное здесь о выявлении приятных сочетаний размеров, пропорций и цвета — лишь неясные слова, потребные для сокрытия неточной мысли. Процитированная фраза может значить что угодно, или ничего, и никуда нас не приводит. Что истинный результат естественного стиля в садоводстве заключается скорее в отсутствии всяческих недостатков и несоответствий, нежели в создании каких-либо особых чудес или красот — положение, пригодное более для низменного стадного восприятия, нежели для пылких мечтаний гения. Негативные достоинства, здесь подразумеваемые, относятся к воззрениям той неуклюжей критической школы, которая в словесности готова почитать апофеозом Аддисона. А ведь правда, что добродетель, состоящая единственно в уклонении от порока, непосредственно воздействует на рассудок и поэтому может быть

отнесена к *правилам*, но добродетель более высокого рода, пылающая в мироздании, постижима только по своим следствиям. Правила применимы лишь к заслугам отречения — к великолепию воздержания. Вне этих правил критическое искусство способно лишь строить предположения. Можно научить построению «Катона», но тщетны попытки рассказать, как замыслить Парфенон или «Ад». Однако создание готово; чудо совершилось, и способность воспринимать делается всеобщей. Обнаруживается, что софисты негативной школы, которые по своей неспособности творить насмехались над творчеством, теперь громче всех расточают похвалы творению. То, что в своем зачаточном состоянии возмущало их ограниченный разум, по созревании неизменно исторгает восхищение, рожденное их инстинктивным чувством прекрасного».

«Наблюдения автора относительно искусственного стиля, — продолжал Эллисон, — вызывают меньше возражений. То, что добавление искусства придает саду большую красоту, справедливо, так же как и упоминание о свидетельстве человеческого участия. Выраженный принцип неоспорим — но и вне его может заключаться нечто. В следовании этому принципу *может* заключаться цель — цель, недостижимая средствами, как правило, доступными отдельным лицам, но которая, в случае достижения, придала бы декоративному саду очарование, далеко превосходящее то очарование, что возникает от простого сознания человеческого участия. Поэт, обладая денежными ресурсами, был бы способен, сохраняя необходимую идею искусства или культуры, или, как выразился наш автор, участия, придать своим эскизам такую степень красоты и новизны, дабы внушить чувство вмешательства высших сил. Станет ясно, что, добиваясь подобного результата, он сохраняет все достоинства участия или *плана*, в то же время избавляя свою работу от жесткости или техницизма земного *искусства*. В самой дикой глуши — в самых нетронутых уголках девственной природы — очевидно *искусство* творца; но искусство это очевидно лишь для рассудка и ни в каком смысле не обладает явную силою чувства. Предположим теперь, что это сознание плана, созданного Всемогущим, *понижится на одну ступень* —

придет в нечто, подобное гармонии или соответствию с сознанием человеческого искусства — образует нечто среднее между тем и другим; вообразим, к примеру, ландшафт, где сочетаются простор и определенность — который одновременно прекрасен, великолепен и *странен*, и это сочетание показывает, что о нем заботятся, его возделывают, за ним наблюдают существа высшего порядка, но родственные человеку — тогда сознание *участия* сохраняется, в то время как элемент искусства приобретает характер промежуточной или вторичной природы — природы, которая не Бог и не эманация Бога, но именно природа, то есть нечто, сотворенное ангелами, парящими между человеком и Богом».

И посвятив свое огромное богатство осуществлению подобной грезы — в простых физических упражнениях на свежем воздухе, обусловленных его личным надзором над выполнением его замыслов, — в вечной цели, созданной этими замыслами, — в возвышенной духовности этой цели — в презрении к честолюбивым помыслам, которое эта цель позволила ему всемерно ощутить, — в неиссякаемом источнике, утолявшем без пресыщения главную страсть его души, жажду прекрасного; и, сверх всего, в сочувствии женщины, чары и любовь которой обволокли его существование царственной атмосферой рая, Эллисон думал обрести и обрел избавление от обыденных забот рода человеческого вкупе с большим количеством прямого счастья, нежели представлялось госпоже де Сталь в самых восторженных ее мечтах.

Я не надеюсь дать читателю хоть какое-то отдаленное представление о тех чудесах, которые моему другу удалось осуществить. Я хочу описать их, но меня обескураживает трудность описания, я останавливаюсь на полпути между подробностями и целым. Быть может, лучшим способом явится сочетание и того и другого в их крайнем выражении.

Первый шаг мистера Эллисона заключался, разумеется, в выборе места; и едва начал он раздумывать об этом, как внимание его привлекла роскошная природа тихоокеанских островов. Он уж решился было отправиться путешествовать в южные моря, но, поразмыслив в тече-

ние ночи, отказался от этой идеи. «Будь я мизантроп,— объяснил он,— подобная *местность* подошла бы мне. Ее полная уединенность и замкнутость, затруднительность прибытия и отбытия составили бы в этом случае главную прелесть ее; но пока что я еще не Тимон. В одиночестве я ищу покоя, но не уныния. Да ведь будет и много часов, когда от поэтических натур мне потребуется сочувствие сделанному мною. В этом случае мне надобно искать место недалеко от многолюдного города — а близость его вдобавок послужит мне лучшим подспорьем в выполнении моих замыслов».

В поисках подходящего места, подобным образом расположенного, Эллисон путешествовал несколько лет, и мне позволено было сопровождать его. Тысячу участков, приводивших меня в восторг, он отвергал без колебаний по причинам, в конце концов убеждавшим меня в его правоте. Наконец, мы достигли возвышенного плоскогорья, отличающегося удивительно плодородной землею и очень красивого, откуда открывался панорамический вид обширнее того, что открывается с Этны, и, по мнению Эллисона, равно как и моему, превосходящий вид с прославленной горы в отношении всех истинных элементов живописного.

«Я сознаю,— сказал искатель, вздохнув с глубоким удовлетворением, после того, как зачарованно взирал на эту сцену около часа,— я знаю, что здесь на моем месте девять десятых из самых придирчивых ничего бы не пожелали. Панорама воистину великолепна, и я восторгался бы ею, если бы великолепие ее не было бы чрезмерно. Вкус всех когда-либо знакомых мне архитекторов заставляет их ради «вида» помещать здания на вершинах холмов. Ошибка очевидна. Величие в любом своем выражении, особенно же в смысле протяженности, удивляет и волнует — а затем утомляет и гнетет. Для недолгого впечатления не может быть ничего лучшего, но для постоянного созерцания — ничего худшего. А для постоянного созерцания самый нежелательный вид грандиозности — это грандиозность протяженности, а худший вид протяженности — это расстояние. Оно враждебно чувству и ощущению замкнутости — чувству и ощущению, которые мы пытаемся удовлетворить, когда удаляемся «на покой в

деревню». Смотри с горной вершины, мы не можем не почувствовать себя затерянными в пространстве. Павшие духом избегают подобных видов, как чумы».

Только к концу четвертого года наших поисков мы нашли местность, которую Эллисон остался доволен. Разумеется, излишне говорить, где она расположена. Недавняя смерть моего друга привела к тому, что некоторому разряду посетителей был открыт доступ в его поместье *Аригейм*, и оно снискало себе род утаенной славы, хотя и значительно большей по степени, но сходной по характеру со славою, которою так долго отличался Фонтхилл.

Обычно к Аригейму приближались по реке. Посетитель покидал город ранним утром. До полудня он следовал между берегов, исполненных спокойной, безмятежной красоты, на которых паслись бесчисленные стада овец — белые пятна среди яркой зелени холмистых лугов. Постепенно создавалось впечатление, будто из края землепашцев мы переходим в более дикий, пастушеский, — и впечатление это понемногу растворялось в чувстве замкнутости — а там и в сознании уединения. По мере того, как приближался вечер, русло сужалось; берега делались все более и более обрывисты, покрыты более густой, буйной и суровой по окраске растительностью. Вода становилась прозрачнее. Поток струился по тысяче излучин, так что вперед было видно не далее, чем на фурлонг. Каждое мгновение судно казалось заключенным в заколдованный круг, обнесенный непреодолимыми и непроницаемыми стенами из листвы, накрытый крышею из ультрамаринового атласа и без пола — а киль с завидной ловкостью балансировал на киле призрачной ладьи, которая, перевернувшись по какой-то случайности вверх дном, плыла, постоянно сопутствуя настоящему судну ради того, чтобы держать его на поверхности. Теперь русло проходило по ущелью — пусть термин этот не вполне годится, я употребляю его лишь потому, что в языке нет слова, которое лучше бы обозначило самую примечательную, хотя и не самую характерную черту местности. На ущелье она походила лишь высотой и параллельностью берегов и ничем другим. Берега (между которыми прозрачная вода по-прежнему спокойно струилась) подни-

мались до ста, а порою и до ста пятидесяти футов и так наклонялись друг к другу, что в весьма большой мере заслоняли дневной свет; а длинный, перистый мох, в обилии свисавший с кустов, переплетенных над головою, придавал всему погребальное уныние. Поток извивался все чаще и все запутаннее, как бы петляя, так что путешественник давно уж терял всякое понятие о направлении. Кроме того, его охватывало восхитительное чувство странного. Мысль о природе оставалась, но характер ее казался подвергнутым изменениям, жуткая симметрия, волнующее единообразие, колдовская упорядоченность наблюдались во всех ее созданиях. Ни единой сухой ветви — ни увядшего листа — ни случайно скатившегося камешка — ни полосы бурой земли нигде не было видно. Хрустальная влага плескалась о чистый гранит или о незапятнанный мох, и резкость линий восхищала взор, хотя и приводила в растерянность.

Пройдя по этому лабиринту в течение нескольких часов, пока сумрак сгущался с каждым мигом, судно делало крутой и неожиданный поворот и внезапно, как бы пав с неба, оказывалось в круглом водоеме, весьма обширном по сравнению с шириною ущелья. Он насчитывал около двухсот ярдов в диаметре и всюду, кроме одной точки — расположенной прямо напротив входящего судна, — был окружен холмами, в общем, одной высоты со стенами ущелья, хотя и совсем другого характера. Их стороны сбегали к воде под углом примерно в сорок пять градусов, и от подошвы до вершины их обволакивали роскошнейшие цветы; вряд ли можно было бы заметить хоть один зеленый лист в этом море благоуханного и переливчатого цвета. Водоем был очень глубокий, но из-за необычайно прозрачной воды дно его, видимо, образованное густым скоплением маленьких круглых алебастровых камешков, порою было ясно видно — то есть, когда глаз мог позволить себе *не увидеть* в опрокинутом небе удвоенное цветение холмов. На них не росло никаких деревьев и даже кустов. Зрителя охватывало впечатление пышности, теплоты, цвета, покоя, гармонии, мягкости, нежности, изящества, сладострастия и чудотворного, чрезвычайно заботливого ухода, внушавшего мечтания о новой породе

фей, трудолюбивых, наделенных вкусом, великолепных и изысканных; но, пока взор скользил кверху по многоцветному склону от резкой черты, отмечавшей границу его с водою, до его неясно видной вершины; растворенной в складках свисающих облаков, то, право, трудно было не вообразить панорамический поток рубинов, сапфиров, опалов и золотых ониксов, беззвучно низвергающихся с небес.

Внезапно вылетев в эту бухту из мрачного ущелья, гость восхищен, но и ошеломлен, увидев шар заходящего солнца, которое, по его предположениям, давно опустилось за горизонт, — но оно встает перед ним, образуя единственный предел бесконечной перспективы, видной в еще одной расселине среди холмов.

Но тут путник покидает судно, на котором следовал дотоле, и спускается в легкую пирогу из слоновой кости, снаружи и внутри испещренную ярко-алыми арабесками. Острый нос и острая корма челна высоко вздымаются над водою, так что в целом его форма напоминает неправильный полумесяц. Он покоится на глади водоема, исполненный горделивой грации лебедя. На палубе, устланной горностаевым мехом, лежит единственное весло из атласного дерева, легкое, как перышко; но нигде не видно ни гребца, ни слуги. Гостя уверяют, что судьба о нем позаботится. Большое судно исчезает, и он остается один в челне, по всей видимости, недвижимо стоящем посередине озера. Но, размышляя о том, что ему предпринять далее, он ощущает легкое движение волшебной ладьи. Она медленно поворачивается, пока нос ее не начинает указывать на солнце. Она движется, мягко, но равномерно ускоряя ход, а легкая рябь, ею поднятая, как бы рождает, ударяясь в борт, божественную мелодию — как бы единственно возможное объяснение успокоительной, но грустной музыки, источник которой, растерянно оглядываясь окрест, путник напрасно ищет.

Ладья идет ровно и приближается к утесистым вратам канала, так что его глубины можно рассмотреть яснее. Справа поднимается высокая цепь холмов, покрытых дикими и густыми лесами. Заметно, однако, что восхитительная чистота на границе берега и воды остается пре-

жней. Нет и следа обычного речного мусора. Пейзаж слева не столь суров, и его искусственность более заметна. Берег здесь поднимается весьма отлого, образуя широкий газон, трава на котором похожа более всего на бархат, а ярким цветом выдерживает сравнение с чистейшим изумрудом. Ширина плато колеблется от десяти до трехсот ярдов; оно доходит до стены в пятьдесят футов, которая тянется, бесконечно извиваясь, но все же, в общем, следует направлению реки, пока не теряется из виду, удаляясь к западу. Стена эта образована из цельной скалы и создана путем стесывания некогда неровного обрыва на южном берегу реки; но никаким следам рук человеческих не дозволено было остаться. Обработанный камень как бы окрашен столетиями, он густо увешан и покрыт плющом, коралловой жимолостью, шиповником и ломоносом. Тождество верхней и нижней линий стены ясно оттеняется там и сям гигантскими деревьями, растущими поодиночке и маленькими группами как вдоль плато, так и по ту сторону стены, но в непосредственной к ней близости; так что очень часто ветви (особенно ветви черных ореховых деревьев) перегибаются и окунают свисающие конечности в воду. Что дальше — мешает увидеть непроницаемая лиственная завеса.

Все это видно во время постепенного продвижения челна к тому, что я назвал воротами перспективы. По мере приближения, однако, путник замечает, что сходство с ущельем пропало; слева открывается новый выход из бухты — туда же тянется и стена, по-прежнему следуя общему направлению потока. Вдоль этого нового русла видно не очень далеко, потому что поток вместе со стеною все еще загибается влево, пока обоих не поглощает листва.

Тем не менее, ладья волшебным образом скользит в извилистый канал; и здесь берег, противоположный стене, оказывается похож на берег, противоположный стене в канале. Высокие холмы, порою по высоте равные горам и покрытые буйной и дикой растительностью, все же не дают увидеть то, что вдали.

Спокойно, хотя и с несколько большей скоростью двигаясь вперед, путник после многих коротких поворотов

видит, что дальнейшую дорогу ему преграждают гигантские ворота или скорее дверь из отполированного золота, покрытая сложной резьбой и чеканкой и отражающая отвесные лучи к тому времени стремительно заходящего солнца, от чего весь окрестный лес как будто охвачен огненными языками. Дверь врезана в высокую стену, которая здесь кажется пересекающей реку под прямым углом. Однако через несколько мгновений становится видно, что главное русло все еще описывает широкую и плавную дугу влево и стена, как прежде, идет вдоль потока, а от него ответвляется довольно большой рукав и, протекая с легким плеском под дверь, скрывается из глаз. Челн входит в рукав и приближается к воротам. Тяжкие створы медленно и музыкально распахиваются. Ладья проскальзывает между ними и начинает неудержимое нисхождение в обширный амфитеатр, полностью опоясанный лиловыми горами, чьи подножия омывает серебристая река. И разом является взору Арнгеймский Эдем. Там льется чарующая мелодия; там одурманивает странный, сладкий аромат; там сновиденно свиваются перед глазами высокие, стройные восточные деревья — там раскидистые кусты — стаи золотых и пунцовых птиц — озера, окаймленные лилиями, — луга, покрытые фиалками, тюльпанами, маками, гиацинтами и туберозами, — длинные, переплетенные извивы серебристых ручейков — и воздымается полуготическое, полумавеританское нагромождение, волшебным парит в воздухе, сверкает в багровых закатных лучах сотнею террас, минаретов и шпилей и кажется призрачным творением сифид, фей, джиннов и гномов.



ДОМИК ЛЭНДОРА

ДОПОЛНЕНИЕ К «ПОМЕСТЬЮ АРНГЕЙМ»

Прошлым летом, во время пешего путешествия по одному-двум приречным графствам штата Нью-Йорк, однажды, когда день клонился к вечеру, я обнаружил, что сбился с пути. Местность была замечательно холмиста; и тропинка, по которой я шел, в течение часа так петляла и запутывалась, пытаюсь удержаться в долине, что я не мог более определить, в каком направлении находится прелестная деревенька Б., где я намеревался заночевать. Строго говоря, солнце днем, почитай, и не светило, хотя и стояла тягостная жара. Все обволакивала туманная дымка, какая бывает порою бабьего лета, что, разумеется, увеличивало мою неуверенность. Не то чтоб это меня беспокоило. Если бы я не дошел до деревни к закату или даже затемно, то более чем вероятно, что мне попадется какая-нибудь маленькая голландская ферма или нечто подобное — хотя вообще-то окрестность (быть может, потому, что она более живописна, нежели пригодна для земледелия) была заселена в очень малой степени. Во всяком случае, если бы мой ранец послужил мне подушкой, а мой пес — часовым, бивуак на открытом воздухе освежил бы меня. Поэтому я шел, не торопясь и не волнуясь — Понта нес мое ружье, — пока, наконец, я не стал размышлять, ведут ли куда-нибудь многочисленные прогалины, и одна из них как раз навела меня на несомненную проезжую дорогу. Ошибиться было невозможно. Ясно виднелись следы легких колес; и хотя высокие кусты и разросшийся подлесок сходились над головою, но они не воспрепятствовали бы проезду даже виргинского горного фургона — самого высокого экипажа из ему

подобных, Дорога, однако, не считая того, что пролегла в лесу — если не будет чрезмерным назвать лесом подобное скопление тонких деревьев — и не считая отчетливых следов колес — ничем не походила ни на какую дорогу, мною дотоле виденную. Следы, о которых я говорю, были едва заметны, отпечатанные на упругой, но приятно влажной поверхности того, что больше всего напоминало зеленый гемузский бархат. Ясно, что это была трава, но такую траву редко увидишь за пределами Англии — такую короткую, густую, ровную и яркую. Ничто не мешало ходу колес — ни единой щепочки или сухой ветки. Камни, некогда преграждавшие дорогу, были тщательно *размещены* — а не отброшены — по обеим сторонам тропы, определяя ее границы полуточным, полунебрежным, но весьма живописным образом. Между камнями пышно разрослись дикие цветы.

Что обо всем этом подумать, я, конечно, не знал. Несомненно, здесь было *искусство* — это меня не удивило: все дороги, в обычном смысле слова, суть произведения искусства; не могу сказать, что удивлял избыток обнаруживаемого искусства; все, что было сделано, могло быть сделано именно здесь с использованием природных «возможностей» (как выражаются в книгах о декоративном садоводстве) — и с очень малой затратой труда и денег. Нет, не изобилие, а *качество* искусства заставило меня сесть на окруженный цветами камень и в течение целого получаса растерянно и восторженно любоваться волшебною тропой. Чем дальше я смотрел, тем яснее становилось одно: работою руководил художник, и художник, наделенный острейшим чувством формы. С крайнею заботою соблюдена была надлежащая середина между аккуратностью и грациозностью, с одной стороны, и *pittoresco*¹ в истинном значении итальянского термина — с другой. Прямых линий было немного, а длинные и непрерывные и вовсе отсутствовали. Одинаковый линейный или цветовой эффект был виден с каждой данной точки зрения обычно дважды, но не чаще того. Всюду в пределах

¹ Живописным (*ит.*).

единства наблюдалось разнообразие. Это был образец «композиции», в которую и самый придирчивый критический вкус не мог бы предложить улучшений.

Вступив на эту дорогу, я повернул направо и теперь, встав, продолжал путь в том же направлении. Тропа так извивалась, что ни на миг я не видел впереди себя более чем на два или на три шага. Характер дороги ни в чем существенном не менялся.

Затем слух мой уловил мягкий рокот воды — и несколько мгновений спустя, сделав более крутой поворот, нежели до того, я увидел, что прямо передо мною у подножия пологого спуска стоит какое-то здание. Я ничего не мог ясно рассмотреть из-за тумана, окутавшего маленькую долину внизу. Однако перед самым закатом солнца подул нежный ветерок; и, пока я стоял на верху откоса, туман постепенно развеялся клочьями и пополз по ложине.

Когда она целиком открылась мне — постепенно, как я описываю, по частям: тут покажется дерево, там блеснет водная гладь, а там станет видна труба на крыше дома, — мне померещилось, будто передо мною одна из тех хитроумных иллюзий, которые иногда демонстрируют под названием «туманных картин».

Однако к тому времени, как туман совершенно рассеялся, солнце зашло за пологие холмы, а оттуда, как бы с легким *chassez*¹ к югу, снова переместилось в поле зрения, струя пурпурное сияние сквозь расселину в западной части долины. И иногда мгновенно, как бы по волшебству, стала отчетливо видна вся долина и все вокруг.

При первом взгляде, как только солнце соскользнуло за горизонт, я испытал то, что испытывал в детстве от финальной сцены хорошо поставленного театрального зрелища или мелодрамы. Соблюдалась даже фантастичность освещения; потому что свет солнца прорывался сквозь расселину, переливаясь оранжевыми и лиловыми оттенками; а ярко-зеленая трава долины отбрасывала

¹ Здесь: поворотом (фр.).

блики на все предметы, отражаясь от туманной завесы, все еще висящей над головою, как бы в нежелании покинуть навсегда столь чарующе прекрасное место.

Маленькая долина, в которую я заглянул из-под туманного полога, длиною не превосходила четырехсот ярдов; в ширину же насчитывала от пятидесяти до ста пятидесяти, быть может, двухсот ярдов. Она была уже всего в северной своей части, отчасти расширяясь к югу. Самая широкая часть ее простиралась ярдах в восьмидесяти от южной оконечности. Пологие скаты, окружающие долину, вряд ли можно было бы назвать холмами, разве только на северной ее стороне. Здесь отвесная скала из гранита поднималась на высоту примерно в девяносто футов; и, как я упоминал, долина в этом месте была не шире пятидесяти футов; но, по мере движения к югу, путник находил справа и слева склоны менее высокие, менее крутые и менее скалистые. Одним словом, от севера к югу все понижалось и сглаживалось; но при этом всю долину, за исключением двух мест, окружали возвышенности. Об одном из этих мест я уже говорил. Оно было расположено на северо-западе, и там, как я ранее описывал, заходящее солнце устремлялось в амфитеатр, сквозь глубокую расселину в граните; эта трещина, если можно судить на глаз, в самом широком месте расходилась на десять ярдов. Видимо, она образовывала естественный коридор, ведущий к незнакомым горам и чащам. Другой выход находился точно на юге долины. Здесь в целом склоны были едва заметны, простираясь с востока к западу примерно на сто пятьдесят ярдов. В середине находилось углубление на одном уровне с долиною. Что до растительности, то она, как и все здесь, смягчалась и сглаживалась к югу. На севере — под утесистым обрывом — в нескольких шагах от края — вздымались великолепные стволы каштанов, ореховых деревьев, а кое-где — дубов; и крепкие горизонтальные ветви, особенно у ореховых деревьев, простирались далеко за край обрыва. Продвигаясь к югу, путешественник вначале видел такие же деревья, но менее высокие и не столь похожие на деревья с полотен Сальватора; потом он замечал и менее суровый вяз, а за ним — белую акацию и сассафрас; их

сменяли еще более мягкие по очертаниям липа, красноцвет, катальпа и клен, а их — еще более грациозные и скромные породы. Южный выход полностью оброс диким кустарником, среди которого лишь изредка попадались белые тополя или серебристые ивы. На дне самой долины (следует помнить, что растительность, о которой шла речь, находилась только на склонах и на утесах) видны были три одиноких дерева. Одно из них, вяз, большой и стройный; он стерег южные врата долины. Другое — ореховое дерево, гораздо выше вяза, хотя оба они были весьма красивы; оно как бы опекало северо-западный вход, воздымаясь из груды камней в самом зеве ущелья и простирая свой стройный стан почти под углом в сорок пять градусов далеко в освещенный солнцем амфитеатр. А примерно в тридцати ярдах к востоку от этого дерева видна была краса долины, вне всякого сомнения, самое великолепное дерево из всех, что я видел, если, пожалуй, не считать итчиатуканских кипарисов. Это было трехствольное тюльпанное дерево — *Liriodendron Tulipifera* — семейства магнолиевых. Три ствола начинали едва заметно расходиться на высоте около трех футов от земли и отстояли друг от друга не более, нежели на четыре фута в том месте, где самый большой из стволов зеленел листвою, то есть на высоте футов в восемьдесят. Ничто не превзошло бы красотой форму дерева или глянцевицую, яркую зелень его листьев. Шириною они насчитывали целых восемь дюймов; но красоту их полностью затмевало пышное великолепие многоизобильных цветов. Вообразите себе миллион огромных, роскошнейших тюльпанов! Только так читатель и сможет составить хоть какое-нибудь представление о картине, про которую я хотел бы рассказать. Добавьте к этому горделивую стройность гладких колоннообразных стволов, из которых самые большие доходили до четырех футов в диаметре и возвышались на двадцать футов от земли. Бесчисленные цветы, смешиваясь с цветами других деревьев, едва ли менее красивых, но бесконечно менее величественных, наполняли долину ароматом, превосходящим все арабские благовония.

Долина была покрыта *травой*, такой же, что и на дороге, но, быть может, еще более восхитительно мягкой, густой, бархатистой и чудесно зеленою. Трудно было представить себе, как добились такой красоты.

Я говорил о двух входах в долину. По северо-западному протекал ручей, покрытый легкой пеною, и с тихим ропотом струился по расселине, пока не ударялся о груды камней, из которой вздымалось одинокое ореховое дерево. Опоясав ее, ручей шел к северо-востоку, оставляя тюльпанное дерево футах в двадцати к югу, и не менял направления, пока не приближался к средней точке между восточной и западной границами долины. Здесь он несколько раз извивался, поворачивал под прямым углом и следовал на юг, все время петляя, пока не впадал в маленькое озеро неправильной (говоря неточно, овальной) формы, которое блестело у нижнего края долины. Озерцо это в самой широкой своей части достигало, быть может, ста ярдов в диаметре. Никакой хрусталь не превзошел бы чистотою его влаги. Дно его, ясно видимое, целиком усевивала ослепительно белая галька. Берега, покрытые описанною ранее изумрудною травой, не опускались, а скорее *стекали* в чистый небосвод, и небосвод этот был столь ясен, порою столь безупречно отражал все над собою, что немалых трудов стоило определить, где кончается настоящий берег и где начинается призрачный. Форели и рыбы родственных им пород, которыми пруд был наполнен почти до тесноты, прямо-таки казались летучими рыбами. Почти невозможно было разувериться в том, что они парят в воздухе. Берестяной челн, покоившийся на водной глади, каждым своим волоконцем отражался в ней с точностью, которую не превзошло бы и тщательнейшим образом отполированное зеркало. Островок, утопавший в пышных, веселых цветах, едва оставлявших место для живописного домика, видимо, птичника, поднимался из воды недалеко от северного берега, с которым его соединял мостик, на вид необычайно легкий и крайне примитивный. Его образовывала одна доска из тюльпанного дерева, толстая и широкая. Длиною она была сорока футов и соединяла берега, легко, но заметно выгибаясь в арку, что не позволяло ей качаться. Из южной оконечности озера вытекало

продолжение ручья, который, извиваясь на протяжении, быть может, тридцати ярдов, наконец проходил сквозь «углубление» (ранее описанное) посередине южного входа и, низвергаясь с отвесного стофутового обрыва, незаметно впадал в Гудзон.

Глубина озера местами доходила до тридцати футов — но ручеек редко превосходил глубиною три фута, в ширину же достигал не более восьми. Его берега и дно были такие же, что и у пруда, — и если уж можно было там к чему-нибудь придраться, то разве к чрезмерной опрятности, шедшей в ущерб живописности.

Зеленая трава там и сям разнообразилась декоративными кустами, такими, как гортензия или гевея; а чаще того — геранью, цветущей в великом обилии и разнообразии. Горшки с этими цветами были тщательно врыты в землю для видимости свободного произрастания. Помимо всего этого, на зеленом бархате луга белели овцы — их довольно большое стадо гуляло по долине, а с ними — три ручных оленя и множество уток яркого пера. Очень большой мастиф, казалось, зорко сторожил всех вообще и каждого в отдельности.

Скалы на западе и на востоке — там, где в верхней части амфитеатра границы становились более или менее обрывисты, — поросли густым плющом, так что лишь изредка можно было заметить голый камень. Подобным же образом северный обрыв покрывали виноградные лозы редкостной пышности; иные росли из почвы у подножия утеса, иные — на его выступях.

Легкое возвышение, образующее южную границу этого маленького поместья, завершилось аккуратной каменной стеною, достаточно высокой для того, чтобы не позволить оленям уйти. Более нигде никаких изгородей не было видно, потому что в других местах искусственной ограды и не требовалось: к примеру, если бы какая-нибудь отбившаяся от стада овца попыталась покинуть долину сквозь расселину, то через несколько ярдов обнаружила бы, что путь ей преграждает отвесная скала, с которой падает каскад, привлечший мое внимание, когда я начал приближаться к поместью. Коротко говоря, единственным входом и выходом служили ворота в проходе между ска-

лами, на несколько шагов ниже той точки, где я остановился для обозрения местности.

Я описал вам весьма извилистый путь ручья на всем его протяжении. Два его *главных* направления, как я сказал, были сначала с запада на восток, а затем с севера на юг. На *повороте* ручей шел назад, почти замыкая *круг*, и образовывал полуостров, площадью около одной шестнадцатой акра. На этом полуострове стоял жилой дом — и когда я хочу сказать, что дом этот, подобно адской террасе, увиденной Ватеком, «*etait d'une architecture inconnue dans les annales de la terre*»¹, я разумею лишь то, что общий вид его крайне поразил меня сочетанием новизны и скромности — одним словом, *поэтичностью* (ибо только употребленными словами я бы мог дать наиболее строгое определение поэтичного в отвлеченном смысле) — и я *не хочу* сказать, что в нем было хоть что-либо *outré*².

Да, вряд ли сыскалось бы что-нибудь скромнее и неприязнательнее этого домика. Чудесный эффект, им производимый, исходил из его *живописной композиции*. Смотря на него, я мог бы вообразить, будто его создал своей кистью некий прославленный пейзажист.

Место, с которого я впервые увидел домик, было почти, но *не самым* лучшим для его обозрения. Поэтому опишу его таким, каким я увидел его впоследствии — с каменной стены на южной стороне амфитеатра.

Основная часть здания насчитывала около двадцати четырех футов в длину и шестнадцати в ширину — никак не более. Общая высота его, от земли до конька крыши, не могла превышать восемнадцати футов. К западному концу здания примыкала пристройка, меньшая во всех измерениях на треть; линия ее фасада отстояла от линии фасада главной части ярда на два; и крыша, разумеется, была значительно ниже той, к которой примыкала. Под прямым углом к ним, от тыльной части здания — не строго посередине его — отходила другая пристройка, очень маленькая, в общем на одну треть меньше западного крыла. Крыши больших помещений были очень круты, — опус-

¹ По архитектуре являл собою нечто, неизвестное в летописях земли (фр.).

² Преувеличено (фр.).

каясь от коньковой балки, они образовывали большие вогнутые плоскости и простирались фута на четыре дальше стен, служа навесами двух веранд. Эти навесы, разумеется, не нуждались в подпорках, но так как *по виду* казалось, что нуждаются, то были снабжены легкими и совсем простыми столбами, и только по углам. Крыша северной пристройки была попросту продолжением главной крыши. Между основной частью и западным крылом поднималась очень высокая и довольно тонкая квадратная труба, сложенная из крепких голландских кирпичей, то черных, то красных, с небольшим карнизом, выступающим на верхушке. Крыши также далеко выступали: в главной части около четырех футов к востоку и двух к западу. Парадная дверь находилась не точно посередине главного здания, з чуть к востоку, два же окна фасада — чуть к западу. Эти последние не доходили до земли, но все же были значительно длиннее и уже обычного — одностворчатые, как двери, — а стекла большие и ромбовидные. Верхняя половина двери была стеклянная, тоже со стеклами в виде ромбов, закрываемая на ночь ставнею. Дверь западного крыла, очень простая, помещалась в его торцовой части, единственное окно его выходило на юг. В северном крыле наружной двери не было, и окно его, тоже единственное, выходило на восток.

Глухая стена восточного торца оживлялась лестницей (с балюстрадаю), пересекавшей ее по диагонали с юга. Ступени ее вели под широко выступавшим навесом на мансарду или скорее на чердак — в нем было единственное окно с северной стороны, и служил он, видимо, кладовою.

У веранд при главной части здания и при западном его крыле полов, как водится, не было; но у дверей и под каждым окном, угнездясь в восхитительном дерне, лежали большие, плоские, неправильные по форме гранитные плиты, при любой погоде служившие удобной опорой. Тропинки, выложенные такими же плитами — без *чрезмерной* подгонки, но с частыми промежутками, заполненными бархатистым дерном, — вели в разных направлениях от дома: к хрустальному ручью шагах в пяти, к дороге, к флигелям, стоявшим к северу, на том берегу ручья и скрытым несколькими акациями и катальпами.

Я оставался на гребне холма не очень долго, но достаточно для того, чтобы во всех подробностях рассмотреть вид подо мною. Было ясно, что я сбился с пути в деревню и поэтому по праву путника мог открыть ворота и хотя бы спросить дорогу; и, без дальнейших церемоний, я направился внутрь.

Тропинка внутри ворот вела по естественному выступу и понемногу плавно опускалась по склону скал на северо-востоке. Она повела меня к подножию обрыва в северной стороне, оттуда — через мост и, обогнув дом с восточной его оконечности, подвела к парадному. Я заметил, что флигели пропали из вида.

Когда я поворачивал за угол, ко мне в напряженной тишине по-тигриному прынул мастиф. Однако в залог дружбы я протянул ему руку — и я не встречал еще собаку, способную воспротивиться, когда подобным образом взывают к ее вежливости. Пес не только захлопнул пасть и завил хвостом, но и дал мне лапу — а затем распространил свою любезность и на Понто.

Не обнаружив звонка, я постучал тростью в полуоткрытую дверь. И тут же к порогу приблизилась фигура — молодая женщина лет двадцати восьми — стройная или скорее даже хрупкая, чуть выше среднего роста. Пока она приближалась, с некоторой не поддающейся описанию скромною решимостью, я сказал себе: «Право же, я увидел совершенство естественного, нечто прямо противоположное заученной *грациозности*». Второе впечатление, произведенное ею на меня, и куда более живое, нежели первое, было впечатление *горячего радушия*. Столь ярко выраженная, я бы сказал, *возвышенность* или чуждость низменным интересам, как та, что сияла в ее глубоко посаженных глазах, никогда еще дотоле не проникала мне в самое сердце сердца. Не знаю почему, но именно это выражение глаз, а иногда и губ — самая сильная, если не единственная чара, способная вызвать у меня интерес к женщине. «*Возвышенность*», — если мои читатели вполне понимают, что я хотел бы выразить этим словом — «возвышенность» и «женственность» кажутся мне обратимыми терминами; и, в конце концов, то, что мужчина по-настоящему *любит* в женщине — просто-

напросто ее *женственность*. Глаза Энни (я услышал, как кто-то внутри позвал ее: «Энни, милая!») были «одухотворенно серого» цвета; ее волосы — светло-каштановые; вот все, что я успел в ней заметить.

По ее приглашению, весьма учтивому, я вошел в дом и сперва очутился в довольно широкой прихожей. Я пришел главным образом для *наблюдений* и поэтому обратил внимание, что справа от меня находилось окно, такое, как на фасаде; налево — дверь, ведущая в главную комнату; а прямо передо мною открытая дверь давала мне увидеть маленькую комнату, одной величины с прихожей, обставленную как кабинет, в котором большое окно фонарем выходило на север.

Пройдя в гостиную, я оказался в обществе *мистера Лэндора* — ибо, как я узнал впоследствии, такова была его фамилия. В обращении он был приветлив, даже сердечен; но именно тогда мое внимание более привлекала обстановка жилья, столь меня заинтересовавшего, нежели облик его хозяина.

В северном крыле, как я теперь увидел, помещалась спальня, дверь соединяла ее с гостинойю. К западу от двери выходило на ручей единственное окно. В западной стене гостинойю был камин и дверь, ведущая в западное крыло — вероятно, в кухню.

Ничто не могло бы суровою простотою превзойти об-
меблировку комнаты. Пол устилал ковер превосходной выработки — с круглыми зелеными узорами по белому полю. На окнах висели занавески из белоснежного жако-
нета: они были достаточно пышны и ниспадали к полу *резкими*, быть может, чрезмерно жесткими складками — и доходили *точно* до пола. Стены были оклеены бумажными французскими обоями весьма тонкого вкуса, с бледно-зеленым зигзагообразным орнаментом по серебряному полю. Стена оживлялась тремя изысканными литографиями Жюльена *a trois crayons*¹, повешенными без рамы. Одна из них изображала сцену восточной роскоши или, скорее, сладострастия; другая — карнавальная эпизод, исполненный несравненного задора; третья — голову гре-

¹ Трехцветные (фр.).

чанки, и лицо, столь божественно прекрасное и в то же время со столь дразнящею неопределенностью выражения, никогда дотоле не привлекало моего внимания.

Более основательная мебель состояла из круглого стола, нескольких стульев (в том числе большой качалки) и софы или, скорее, небольшого дивана; материалом ему служил простой клен, окрашенный в молочно-белый цвет, слегка перемежаемый зелеными полосками; сидение плетеное. Стулья и стол — того же стиля; но формы их всех, очевидно, являлись порождением ума, который измыслил и весь «участок»; ничего изящнее и представить себе невозможно.

На столе лежали несколько книг, стоял большой квадратный флакон из хрусталя с какими-то новыми духами; простая астральная (не солнечная) лампа из матового стекла, с итальянским абажуром, и большая ваза, полная великолепных цветов. Цветы с многообразной яркой окраской и нежным ароматом были единственным, что находилось в комнате только ради украшения. Камин почти целиком занимала ваза с яркой геранью. На треугольных полках по всем углам стояли такие же вазы, отличные друг от друга лишь своим прелестным содержимым. Один-два букета поменьше украшали каминную полку, а поздние фиалки усеивали подоконники открытых окон.

Цель настоящего рассказа заключается единственно в том, чтобы дать подробное описание жилища мистера Лэндора, *каким я его нашел.*

Причина этой суматохи вскоре выяснилась. Из-за резко очерченной массы огромного облака медленно выступил и обрисовался на ясной лазури какой-то странный, весьма пестрый, но, по-видимому, плотный предмет такой курьезной формы и из такого замысловатого материала, что толпа крепкоголовых бюргеров, стоявшая внизу разинув рты, могла только дивиться, ничего не понимая. Что же это такое! Ради всех чертей роттердамских, что бы это могло означать? Никто не знал, никто даже вообразить не мог, никто — даже сам бургомистр мингер Супербус ван Ундердук — не обладал ключом к этой тайне; и так как ничего более разумного нельзя было придумать, то в конце концов каждый из бюргеров сунул трубку обратно в угол рта и, не спуская глаз с загадочного явления, выпустил клуб дыма, приостановился, переступил с ноги на ногу, значительно хмыкнул — затем снова переступил с ноги на ногу, хмыкнул, приостановился и выпустил клуб дыма.

Тем временем объект столь усиленного любопытства и причина столь многочисленных затяжек спускался все ниже и ниже над этим прекрасным городом. Через несколько минут его можно было рассмотреть в подробностях. Казалось, это был... нет, это действительно был воздушный шар; но, без сомнения, такого шара еще не видывали в Роттердаме. Кто же, позвольте вас спросить, слышал когда-нибудь о воздушном шаре, склеенном из старых газет? В Голландии — никто, могу вас уверить; тем не менее в настоящую минуту под самым носом у собравшихся, или, точнее сказать, над носом, колыхалась на некоторой высоте именно эта самая штука, сделанная, по сообщению вполне авторитетного лица, из упомянутого материала, как всем известно, никогда дотоле не употреблявшегося для подобных целей, и этим наносилось жестокое оскорбление здравому смыслу роттердамских бюргеров. Форма «шара» оказалась еще обиднее. Он имел вид огромного дурацкого колпака, опрокинутого верхушкой вниз. Это сходство ничуть не уменьшилось, когда, при более внимательном осмотре, толпа заметила огромную кисть, подвешенную к его заостренному концу, а вокруг верхнего края, или основания конуса, — ряд ма-

леньких инструментов вроде бубенчиков, которые весело позванивали. Мало того, к этой фантастической машине была привешена вместо гондолы огромная темная касторовая шляпа с широчайшими полями и обвитая вокруг тульи черной лентой с серебряной пряжкой. Но странное дело: многие из роттердамских граждан готовы были побожиться, что им уже не раз случалось видеть эту самую шляпу, да и все сборище смотрело на нее, как на старую знакомую, а фрау Греттель Пфааль, испустив радостное восклицание, объявила, что это собственная шляпа ее дорогого муженька. Необходимо заметить, что лет пять тому назад Пфааль с тремя товарищами исчез из Роттердама самым неожиданным и необычным образом, и с тех пор не было о нем ни слуху ни духу. Позднее в глухом закоулке на восточной окраине города была обнаружена куча костей, по-видимому человеческих, вперемешку с какими-то странными тряпками и обломками, и некоторые из граждан даже вообразили, что здесь совершилось кровавое злодеяние, жертвой которого пали Ганс Пфааль и его товарищи. Но вернемся к происшествию.

Воздушный шар (так как это был несомненно воздушный шар) находился теперь на высоте какой-нибудь сотни футов, и публика могла свободно рассмотреть его пассажира. Правду сказать, это было очень странное создание. Рост его не превышал двух футов; но и при таком маленьком росте он легко мог потерять равновесие и кувырнуться за борт своей удивительной гондолы, если бы не обруч, помещенный на высоте его груди и прикрепленный к шару веревками. Толщина человечка совершенно не соответствовала росту и придавала всей его фигуре чрезвычайно нелепый шарообразный вид. Ног его, разумеется, не было видно. Руки отличались громадными размерами. Серые волосы были собраны на затылке и заплетены в косу. У него был красный, непомерно длинный, крючковатый нос, блестящие пронзительные глаза, морщинистые и вместе с тем пухлые щеки, но ни малейшего признака ушей где-либо в голове; странный старичок был одет в просторный атласный камзол небесно-голубого цвета и такого же цвета короткие панталоны в обтяжку, с серебряными пряжками у колен. Кроме того, на нем

был жилет из какой-то ярко-желтой материи, мягкая белая шляпа, молодцевато сдвинутая набекрень, и кроваво-красный шелковый шейный платок, завязанный огромным бантом, концы которого франтовато спадали на грудь.

Когда оставалось, как уже сказано, каких-нибудь сто футов до Земли, старичок внезапно засуетился, по-видимому не желая приближаться еще ближе к *terra firma*¹.

С большим усилием подняв полотняный мешок, он отсыпал из него немного песку, и шар на мгновение остановился в воздухе. Затем старичок торопливо вытащил из бокового кармана большую записную книжку в сафьяновом переплете и подозрительно взвесил в руке, глядя на нее с величайшим изумлением, очевидно пораженный ее тяжестью. Потом открыл книжку и, достав из нее пакет, запечатанный сургучом и тщательно перевязанный красною тесемкой, бросил его прямо к ногам бургомистра Супербуса ван Ундердука. Его превосходительство нагнулся, чтобы поднять пакет. Но аэронавт, по-прежнему в сильнейшем волнении и, очевидно, считая свои дела в Роттердаме поконченными, начал в ту самую минуту готовиться к отлету. Для этого потребовалось облегчить гондолу, и вот с полдюжины мешков, которые он выбросил, не потрудившись предварительно опорожнить их, один за другим шлепнулись на спину бургомистра и заставили этого сановника столько же раз перекувырнуться на глазах у всего города. Не следует думать, однако, что великий Ундердук оставил безнаказанной наглую выходку старикашки. Напротив, рассказывают, будто он, падая, каждый раз выпускал не менее полдюжины огромных и яростных клубов из своей трубки, которую все время крепко держал в зубах и намерен был держать (с Божьей помощью) до последнего своего вздоха.

Тем временем воздушный шар взвился, точно жаворонок, на громадную высоту и вскоре, исчезнув за облаком, в точности похожим на то, из-за которого он так неожиданно выплыл, скрылся навеки от изумленных взоров добрых роттердамцев. Внимание всех устремилось

¹ Твердой земле (*лат.*).

теперь на письмо, падение которого и последовавшие затем происшествия оказались столь оскорбительными для персоны и персонального достоинства его превосходительства ван Ундердука. Тем не менее этот сановник во время своих коловращений не упускал из вида письмо, которое, как оказалось при ближайшем рассмотрении, попало в надлежащие руки, будучи адресовано ему и профессору Рубадубу как президенту и вице-президенту Роттердамского астрономического общества. Итак, названные сановники распечатали письмо тут же на месте и нашли в нем следующее необычное и весьма важное сообщение:

«Их превосходительствам господину ван Ундердуку и господину Рубадубу, президенту и вице-президенту Астрономического общества в городе Роттердаме.

Быть может, ваши превосходительства соизволят припомнить Ганса Пфааля, скромного ремесленника, занимавшегося починкой мехов для раздувания огня,— который вместе с тремя другими обывателями исчез из города Роттердама около пяти лет тому назад при обстоятельствах, можно сказать, чрезвычайных. Как бы то ни было, с позволения ваших превосходительств, я, автор настоящего сообщения, и есть тот самый Ганс Пфааль. Большинству моих сограждан известно, что в течение сорока лет я занимал небольшой кирпичный дом в конце переулка, именуемого переулком Кислой Капусты, где проживал вплоть до дня моего исчезновения. Предки мои с незапамятных времен обитали там же, подвизаясь на том же почетном и весьма прибыльном поприще починки мехов для раздувания огня. Ибо, говоря откровенно, до последних лет, когда весь народ прямо помешался на политике, ни один честный роттердамский гражданин не мог бы пожелать или заслужить право на лучшую профессию. Я пользовался широким кредитом, в работе никогда не было недостатка — словом, и денег и заказов было вдоволь. Но, как я уже сказал, мы скоро почувствовали, к чему ведет пресловутая свобода, бесконечные речи, радикализм и тому подобные штуки. Людям, которые раньше являлись нашими лучшими клиентами, теперь некогда было и подумать о нас, грешных. Они только

и знали, что читать о революциях, следить за успехами человеческой мысли и приспосабливаться к духу времени. Если требовалось растопить очаг, огонь раздували газетой; я не сомневаюсь, что, по мере того как правительство становилось слабее, железо и кожа выигрывали в прочности, так как в самое короткое время во всем Роттердаме не осталось и пары мехов, которые требовали бы помощи иглы или молотка. Словом, положение сделалось невыносимым. Вскоре я уже был беден как мышь, а надо было кормить жену и детей. В конце концов мне стало просто невтерпеж, и я проводил целые часы, обдумывая, каким бы способом лишиться себя жизни; но кредиторы не оставляли мне времени для размышлений. Мой дом буквально подвергался осаде с утра до вечера. Трое заимодавцев особенно допекали меня, часами подстерегая у дверей и грозя судом. Я поклялся жестоко отомстить им, если только когда-нибудь они попадут мне в лапы, и думаю, что лишь предвкушение этой мести помешало мне немедленно привести в исполнение мой план покончить с жизнью и раздробить себе череп выстрелом из мушкетона. Как бы то ни было, я счел за лучшее затаить свою злобу и умягчать их ласковыми словами и обещаниями, пока благоприятный оборот судьбы не доставит мне случая для мести.

Однажды, ускользнув от них и чувствуя себя более чем когда-либо в угнетенном настроении, я бесцельно бродил по самым глухим улицам, пока не завернул случайно в лавочку букиниста. Увидев стул, приготовленный для посетителей, я угрюмо опустил на него и машинально раскрыл первую попавшуюся книгу. Это оказался небольшой полемический трактат по теоретической астрономии, сочинение не то берлинского профессора Энке, не то француза с такой же фамилией. Я немножко маракую в астрономии и вскоре совершенно углубился в чтение; я прочел книгу дважды, прежде чем сообразил, где я и что я. Тем временем стемнело, и пора было идти домой. Но книжка (в связи с новым открытием по части пневматики, тайну которого сообщил мне недавно один мой родственник из Нанта) произвела на меня неизгладимое впечатление, и, блуждая по темным улицам, я раз-

мышлял о странных и не всегда понятных рассуждениях автора. Некоторые места особенно поразили мое воображение. Чем больше я раздумывал над ними, тем сильнее они занимали меня. Недостаточность моего образования и, в частности, отсутствие знаний по естественным наукам отнюдь не внушали мне недоверия к моей способности понять прочтенное или к тем смутным сведениям, которые явились результатом чтения,— все это только пуще разжигало мое воображение. Я был настолько безрассуден или настолько рассудителен, что спрашивал себя: точно ли нелепы фантастические идеи, возникающие в причудливых умах, и не обладают ли они в ряде случаев силой, реальностью и другими свойствами, присущими инстинкту или вдохновению?

Я пришел домой поздно и тотчас лег в постель. Но голова моя была слишком возбуждена, и я целую ночь провел в размышлениях. Поднявшись спозаранку, я поспешил в книжную лавку и купил несколько трактатов по механике и практической астрономии, истратив на них всю имевшуюся у меня скудную наличность. Затем, благополучно вернувшись домой с приобретенными книгами, я стал посвящать чтению каждую свободную минуту и вскоре достиг знаний, которые счел достаточными для того, чтобы привести в исполнение план, внушенный мне дьяволом или моим добрым гением. В то же время я всеми силами старался умяснить трех кредиторов, столь жестоко донимавших меня. В конце концов я преуспел в этом, уплатив половину долга из денег, вырученных от продажи кое-каких домашних вещей, и обещав уплатить остальное, когда приведу в исполнение один проект, в осуществлении которого они (люди совершенно невежественные) согласились мне помочь.

Уладив таким образом свои дела, я при помощи жены и с соблюдением строжайшей тайны постарался сбыть свое остальное имущество и собрал порядочную сумму денег, занимая по мелочам, где придется, под разными предложениями (со стыдом должен сознаться), не имея притом никаких надежд возратить эти долги в будущем. На деньги, добытые таким путем, я помаленьку накопил: очень тонкого кембриковского муслина, кусками по двенадцати

ярдов каждый, веревок, каучукового лака, широкую и глубокую плетеную корзину, сделанную по заказу, и разных других материалов, необходимых для сооружения и оснастки воздушного шара огромных размеров. Изготовление шара я поручил жене, дав ей надлежащие указания, и просил окончить работу как можно скорее; сам же тем временем сплел сетку, снабдив ее обручами и крепкими веревками, и приобрел множество инструментов и материалов для опытов в верхних слоях атмосферы. Далее, я перевез ночью в глухой закоулок на восточной окраине Роттердама пять бочек, обитых железными обручами, вместимостью в пятьдесят галлонов каждая, и шестую побольше, полдюжины жестяных труб в десять футов длиной и в три дюйма диаметром, запас *особого металлического вещества, или полуметалла*, название которого я не могу открыть, и двенадцать бутылей *самой обыкновенной кислоты*. Газа, получаемого с помощью этих материалов, еще никто, кроме меня, не добывал — или по крайней мере он никогда не применялся для подобной цели. Я могу только сообщить, что он является составной частью азота, так долго считавшегося неразложимым, и что плотность его в 37,4 раза *меньше плотности водорода*. Он не имеет вкуса, но обладает запахом; очищенный — горит зеленоватым пламенем и безусловно смертелен для всякого живого существа. Я мог бы описать его во всех подробностях, но, как уже наметнул выше, право на это открытие принадлежит по справедливости одному нантскому гражданину, который поделился со мною своей тайной на известных условиях. Он же сообщил мне, ничего не зная о моих намерениях, способ изготовления воздушных шаров из кожи одного животного, сквозь которую газ почти не проникает. Я, однако, нашел этот способ слишком дорогим и решил, что в конце концов кембриковый муслин, покрытый слоем каучука, ничуть не хуже. Упоминаю об этом, так как считаю весьма возможным, что мой нантский родственник попытается сделать воздушный шар с помощью нового газа и материала, о котором я говорил выше, — и отнюдь не желаю отнимать у него честь столь замечательного открытия.

На тех местах, где во время наполнения шара должны были находиться бочки поменьше, я выкопал небольшие ямы, так что они образовали круг диаметром в двадцать пять футов. В центре этого круга была вырыта яма поглубже, над которой я намеревался поставить большую бочку. Затем я опустил в каждую из пяти маленьких ям ящик с порохом, по пятидесяти фунтов в каждом, а в большую — бочонок со ста пятьюдесятью фунтами пушечного пороха. Соединив бочонок и ящики подземными проводами и приспособив к одному из ящиков фитиль в четыре фута длиною, я прикрыл его бочкой, так что конец фитиля высывался из-под нее только на дюйм; потом засыпал остальные ямы и установил над ними бочки в надлежащем положении.

Кроме перечисленных выше приспособлений, я припрятал в своей мастерской аппарат господина Гримма для сгущения атмосферного воздуха. Впрочем, эта машина, чтобы удовлетворить моим целям, потребовала значительных изменений. Но путем упорного труда и неутомимой настойчивости мне удалось преодолеть все эти трудности. Вскоре мой шар был готов. Он вмещал более сорока тысяч кубических футов газа и легко мог поднять меня, мои запасы и сто семьдесят пять фунтов балласта. Шар был покрыт тройным слоем лака, и я убедился, что кембриковый муслин ничуть не уступает шелку, так же прочен, но гораздо дешевле.

Когда все было готово, я взял со своей жены клятву хранить в тайне все мои действия с того дня, когда я в первый раз посетил книжную лавку; затем, обещав вернуться, как только позволят обстоятельства, я отдал ей оставшиеся у меня деньги и распростился с нею. Мне нечего было беспокоиться на ее счет. Моя жена, что называется, ловкая баба и сумеет прожить на свете без моей помощи. Говоря откровенно, мне сдается, что она всегда считала меня лентяем, дармоедом, способным только строить воздушные замки, и была очень рада отделаться от меня. Итак, простившись с ней в одну темную ночь, я захватил с собой в качестве адъютантов трех кредиторов, доставивших мне столько неприятностей, и мы потащили шар, корзину и прочие принадлежности окольным

путем к месту отправки, где уже были заготовлены все остальные материалы. Все оказалось в порядке, и я немедленно приступил к делу.

Было 1 апреля. Как я уже сказал, ночь стояла темная, на небе ни звездочки; моросил мелкий дождь, по милости которого мы чувствовали себя весьма скверно. Но хуже всего меня беспокоил шар, который, хотя и был покрыт лаком, однако сильно отяжелел от сырости; да и порох мог подмокнуть. Итак, я попросил моих трех кредиторов приняться за работу, и как можно ретивее: толочь лед около большой бочки и размешивать кислоту в остальных. Однако они смертельно надоели мне вопросами — к чему все эти приготовления, и страшно злились на тяжелую работу, которую я заставил их делать. Какой прок, говорили они, выйдет из того, что они промокнут до костей, принимая участие в таком ужасном колдовстве? Я начинал чувствовать себя очень неловко и работал изо всех сил, так как эти дураки, видимо, действительно вообразили, будто я заключил договор с дьяволом. Я ужасно боялся, что они совсем уйдут от меня. Как бы то ни было, я старался уговорить их, обещая расплатиться полностью, лишь только мы доведем мое предприятие до конца. Без сомнения, они по-своему истолковали эти слова, решив, что я должен получить изрядную сумму чистоганом; а до моей души им, конечно, не было никакого дела,— лишь бы я уплатил долг да прибавил малую толику за услуги.

Через четыре с половиной часа шар был в достаточной степени наполнен. Я привязал корзину и положил в нее мой багаж: зрительную трубку, высотомер с некоторыми важными усовершенствованиями, термометр, электрометр, компас, циркуль, секундные часы, колокольчик, рупор и прочее и прочее; кроме того, тщательно закупоренный пробкой стеклянный шар, из которого был выкачан воздух, аппарат для сгущения воздуха, запас негашеной извести, кусок воска и обильный запас воды и съестных припасов, главным образом пеммикана, который содержит много питательных веществ при сравнительно небольшом объеме. Я захватил также пару голубей и кошку.

Рассвет был близок, и я решил, что пора лететь. Уровни, словно нечаянно, сигарету, я воспользовался этим предложением и, поднимая ее, зажег кончик фитиля, высовывавшийся, как было описано выше, из-под одной бочки меньшего размера. Этот маневр остался совершенно незамеченным моими кредиторами. Затем я вскочил в корзину, одним махом перерезал веревку, прикреплявшую шар к Земле, и с удовольствием убедился, что поднимаюсь с головокружительной быстротой, унося с собою сто семьдесят пять фунтов балласта (а мог бы унести вдвое больше). В минуту взлета высотомер показывал тридцать дюймов, а термометр — девятнадцать градусов.

Но едва я поднялся на высоту пятидесяти ярдов, как вдогонку мне взвился с ужаснейшим ревом и свистом такой страшный вихрь огня, песку, горящих обломков, раскаленного металла, растерзанных тел, что сердце мое замерло, и я повалился на дно корзины, дрожа от страха. Мне стало ясно, что я переусердствовал и что главные последствия толчка еще впереди. И точно, не прошло секунды, как вся моя кровь хлынула к вискам, и тотчас раздался взрыв, которого я никогда не забуду. Казалось, рушится самый небосвод. Впоследствии, размышляя над этим приключением, я понял, что причиной столь непомерной силы взрыва было положение моего шара как раз на линии сильнейшего действия этого взрыва. Но в ту минуту я думал только о спасении жизни. Сначала шар съежился, потом завертелся с ужасающей быстротой и, наконец, крутясь и шатаясь, точно пьяный, выбросил меня из корзины, так что я повис на страшной высоте вниз головой на тонкой бечевке фута в три длиною, случайно проскользнувшей в отверстие близ дна корзины и каким-то чудом обмотавшейся вокруг моей левой ноги. Невозможно, решительно невозможно изобразить ужас моего положения. Я задыхался, дрожь, точно при лихорадке, сотрясала каждый нерв, каждый мускул моего тела, я чувствовал, что глаза мои вылезают из орбит, отвратительная тошнота подступала к горлу, — и наконец я лишился чувств.

Долго ли я провисел в таком положении, решительно не знаю. Должно быть, немало времени, ибо, когда я на-

чал приходиться в сознание, утро уже наступило, шар несся на чудовищной высоте над безбрежным океаном, и ни признака земли не было видно по всему широкому кругу горизонта. Я, однако, вовсе не испытывал такого отчаяния, как можно было ожидать. В самом деле, было что-то безумное в том спокойствии, с каким я принялся обсуждать свое положение. Я поднес к глазам одну руку, потом другую и удивился, отчего это вены на них налились кровью и ногти так страшно посинели. Затем тщательно исследовал голову, несколько раз потрянул ею, ощупал очень подробно и наконец убедился, к своему удовольствию, что она отнюдь не больше воздушного шара, как мне сначала представилось. Потом я ощупал карманы брюк и, не найдя в них записной книжки и футлярика с зубочистками, долго старался объяснить себе, куда они девались, но, не успев в этом, почувствовал невыразимое огорчение. Тут я ощутил крайнюю неловкость в левой лодыжке, и у меня явилось смутное сознание моего положения. Но странное дело — я не был удивлен и не ужаснулся. Напротив, я чувствовал какое-то острое удовольствие при мысли о том, что так ловко выпутаюсь из стоявшей передо мной дилеммы, и ни на секунду не сомневался в том, что не погибну. В течение нескольких минут я предавался глубокому раздумью. Совершенно отчетливо помню, что я поджимал губы, приставлял палец к носу и делал другие жесты и гримасы, как это в обычае у людей, когда они, спокойно сидя в своем кресле, размышляют над запутанными или сугубо важными вопросами. Наконец, собравшись с мыслями, я очень спокойно и осторожно засунул руки за спину и снял с ремня, стягивавшего мои панталоны, большую железную пряжку. На ней было три зубца, несколько заржавевшие и потому с трудом повертывавшиеся вокруг своей оси. Тем не менее мне удалось поставить их под прямым углом к пряжке, и я с удовольствием убедился, что они держатся в этом положении очень прочно. Затем, взяв в зубы пряжку, я постарался развязать галстук, что мне удалось не сразу, но в конце концов удалось. К одному концу галстука я прикрепил пряжку, а другой крепко обвязал вокруг

запястья. Затем со страшным усилием мускулов качнулся вперед и забросил ее в корзину, где, как я и ожидал, она застряла в петлях плетения.

Теперь мое тело по отношению к краю корзины образовало угол градусов в сорок пять. Но это вовсе не значит, что оно только на сорок пять градусов отклонилось от вертикальной линии. Напротив, я лежал почти горизонтально, так как, переменив положение, заставил корзину сильно накрениться, и мне по-прежнему угрожала большая опасность. Но если бы, вылетев из корзины, я повис лицом к шару, а не наружу, если бы веревка, за которую я зацепился, перекинулась через край корзины, а не выскользнула в отверстие на дне, мне не удалось бы даже то небольшое, что удалось теперь, и мои открытия были бы утрачены для потомства. Итак, я имел все основания благодарить судьбу. Впрочем, в эту минуту я все еще был слишком ошеломлен, чтобы испытывать какие-либо чувства, и с добрые четверть часа провисел совершенно спокойно, в бессмысленно-радостном настроении. Вскоре, однако, это настроение сменилось ужасом и отчаянием. Я понял всю меру своей беспомощности и близости к гибели. Дело в том, что кровь, застоявшаяся так долго в сосудах головы и гортани и доведшая мой мозг почти до бреда, мало-помалу отхлынула, и прояснившееся сознание, раскрыв передо мною весь ужас положения, в котором я очутился, только лишило меня самообладания и мужества. К счастью, этот припадок слабости не был продолжителен. На помощь мне явилось отчаяние: с яростным криком, судорожно извиваясь и раскачиваясь, я стал метаться, как безумный, пока наконец, уцепившись, точно клещами, за край корзины, не перекинулся через него и, весь дрожа, не свалился на дно.

Лишь спустя некоторое время я опомнился настолько, что мог приняться за осмотр воздушного шара. К моей великой радости, он оказался неповрежденным. Все мои запасы уцелели; я не потерял ни провизии, ни балласта. Впрочем, я уложил их так тщательно, что это и не могло случиться. Часы показывали шесть. Я все еще быстро поднимался; высотомер показывал высоту в три и три четверти мили. Как раз подо мною, на океане, виднелся

маленький черный предмет — продолговатый, величиной с косточку домино, да и всем видом напоминавший ее. Направив на него зрительную трубку, я убедился, что это девяносточетырехпушечный, тяжело нагруженный английский корабль, — он медленно шел в направлении вест-зюйд-вест. Кроме него, я видел только море, небо и солнце, которое давно уже взошло.

Но пора мне объяснить вашим превосходительствам цель моего путешествия. Ваши превосходительства со-благоволят припомнить, что расстроенные обстоя-тельства в конце концов заставили меня прийти к мысли о самоубийстве. Это не значит, однако, что жизнь сама по себе мне опротивела, — нет, мне стало только невтерпез мое бедственное положение. В этом-то состоянии, желая жить и в то же время измученный жизнью, я случайно прочел книжку, которая, в связи с открытием моего на-нтского родственника, доставила обильную пищу моему воображению. И тут я наконец нашел выход. Я решил исчезнуть с лица земли, оставшись тем не менее в жи-вых; покинуть этот мир, продолжая существовать, — од-ним словом, я решил во что бы то ни стало добраться до Луны. Чтобы не показаться совсем сумасшедшим, я те-перь постараюсь изложить, как умею, соображения, в силу которых считал это предприятие — бесспорно трудное и опасное — все же не совсем безнадежным для человека отважного.

Прежде всего, конечно, возник вопрос о расстоянии Луны от Земли. Известно, что среднее расстояние между *центрами* этих двух небесных тел равно 59,9643 эквато-риальных *радиусов* земного шара, что составляет всего 237000 миль. Я говорю о среднем расстоянии; но так как орбита Луны представляет собой эллипс, эксцентриситет которого достигает в длину не менее 0,05484 большой по-луоси самого эллипса, а Земля расположена в фокусе последнего, — то, если бы мне удалось встретить Луну в перигелии, вышеуказанное расстояние сократилось бы весьма значительно. Но, даже оставив в стороне эту воз-можность, достаточно вычесть из этого расстояния ради-ус Земли, то есть 4000, и радиус Луны, то есть 1080, а всего 5080 миль, и окажется, что средняя длина пути при

обыкновенных условиях составит 231920 миль. Расстояние это не представляет собой ничего чрезвычайного. Путешествия на Земле сплошь и рядом совершаются со средней скоростью шестьдесят миль в час, и, без сомнения, есть полная возможность увеличить эту скорость. Но даже если ограничиться ею, то, чтобы достичь Луны, потребуется не более 161 дня. Однако различные соображения заставляли меня думать, что средняя скорость моего путешествия намного превзойдет шестьдесят миль в час, и так как эти соображения оказали глубокое воздействие на мой ум, то я изложу их подробнее.

Прежде всего остановлюсь на следующем весьма важном пункте. Показания приборов при полетах говорят нам, что на высоте 1000 футов над поверхностью Земли мы оставляем под собой около одной тридцатой части всей массы атмосферного воздуха, на высоте 10600 футов — около трети, а на высоте 18000 футов, то есть почти на высоте Котопахи, под нами остается половина, — по крайней мере половина весомой массы воздуха, облегающего нашу планету. Вычислено также, что на высоте, не превосходящей одну сотую земного диаметра, то есть не более восьмидесяти миль, атмосфера разрежена до такой степени, что самые чувствительные приборы не могут обнаружить ее присутствия, и жизнь животного организма становится невозможной. Но я знал, что все эти расчеты основаны на опытном изучении свойств воздуха и законов его расширения и сжатия в непосредственном соседстве с Землей, причем считается доказанным, что свойства животного организма не могут меняться ни на каком расстоянии от земной поверхности. Между тем выводы, основанные на таких данных, без сомнения проблематичны. Наибольшая высота, на которую когда-либо поднимался человек, достигнута аэронавтами гг. Гей-Люссаком и Био, поднявшимися на 25000 футов. Высота очень незначительная, даже в сравнении с упомянутыми восьмьюдесятью милями. Стало быть, рассуждал я, тут останется мне немало места для сомнений и полный простор для догадок.

Кроме того, количество весомой атмосферы, которую шар оставляет за собой при подъеме, отнюдь не находит-

ся в прямой пропорции к высоте, а (как видно из вышеприведенных данных) в постоянно убывающем *ratio*¹. Отсюда ясно, что, на какую бы высоту мы ни поднялись, мы никогда не достигнем такой границы, выше которой вовсе не существует атмосферы. Она должна существовать, рассуждал я, хотя, быть может, в состоянии бесконечного разрежения.

С другой стороны, мне было известно, что есть достаточно оснований допускать существование реальной определенной границы атмосферы, выше которой воздуха безусловно нет. Но одно обстоятельство, упущенное из виду защитниками этой точки зрения, заставляло меня сомневаться в ее справедливости и, во всяком случае, считать необходимой серьезную проверку. Если сравнить интервалы между регулярными появлениями кометы Энке в ее перигелии, принимая в расчет возмущающее действие притяжения планет, то окажется, что эти интервалы постепенно уменьшаются, то есть главная ось орбиты становится все короче. Так и должно быть, если допустить существование чрезвычайно разреженной эфирной среды, сквозь которую проходит орбита кометы. Ибо сопротивление подобной среды, замедляя движение кометы, очевидно, должно увеличивать ее центростремительную силу, уменьшая центробежную. Иными словами, действие солнечного притяжения постоянно усиливается, и комета с каждым периодом приближается к Солнцу. Другого объяснения этому изменению орбиты не придумаешь. Кроме того, замечено, что поперечник кометы быстро уменьшается с приближением к Солнцу и столь же быстро принимает прежнюю величину при возвращении кометы в афелий. И разве это кажущееся уменьшение объема кометы нельзя объяснить, вместе с господином Вальцом, сгущением вышеупомянутой эфирной среды, плотность которой увеличивается по мере приближения к Солнцу? Явление, известное под именем зодиакального света, также заслуживает внимания. Чаще всего оно наблюдается под тропиками и не имеет ничего общего со светом, излучаемым метеорами. Это светлые полосы,

¹ Здесь: порядке (*лат.*).

тянущиеся от горизонта наискось и вверх, по направлению солнечного экватора. Они, несомненно, имеют связь не только с разреженной атмосферой, простирающейся от солнца по меньшей мере до орбиты Венеры, а по моему мнению, и гораздо дальше¹. В самом деле, я не могу допустить, что эта среда ограничивалась орбитой кометы или пространством, непосредственно примыкающим к Солнцу. Напротив, гораздо легче предположить, что она наполняет всю нашу планетную систему, сгущаясь поблизости от планет и образуя то, что мы называем атмосферными оболочками, которые, быть может, также изменились под влиянием геологических факторов, то есть смешивались с испарениями, выделявшимися той или другой планетой.

Остановившись на этой точке зрения, я больше не стал колебаться. Предполагая, что всюду на своем пути найду атмосферу, в основных чертах сходную с земной, я надеялся, что мне удастся с помощью остроумного аппарата господина Гримма сгустить ее в достаточной степени, чтобы дышать. Таким образом, главное препятствие для полета на Луну устранялось. Я затратил немало труда и изрядную сумму денег на покупку и усовершенствование аппарата и не сомневался, что он успешно выполнит свое назначение, лишь бы путешествие не затянулось. Это соображение заставляет меня вернуться к вопросу о возможной скорости такого путешествия.

Известно, что воздушные шары в первые минуты взлета поднимаются сравнительно медленно. Быстрота подъема всецело зависит от разницы между плотностью атмосферного воздуха и газа, наполняющего шар. Если принять в расчет это обстоятельство, то покажется совершенно невероятным, чтобы скорость восхождения могла увеличиться в верхних слоях атмосферы, плотность которых быстро уменьшается. С другой стороны, я не знаю

¹ Этот зодиакальный свет, по всей вероятности, то же самое, что древние называли «огненными столбцами»: *Emitant Trabes quos docos vocant*. См.: П л и н и й, II, 26. — *Примеч. автора.*

ни одного отчета о воздушном путешествии, в котором бы сообщалось об уменьшении скорости по мере подъема; а между тем она, несомненно, должна бы была уменьшаться — хотя бы вследствие просачиванья газа сквозь оболочку шара, покрытую обыкновенным лаком,— не говоря о других причинах. Одна эта потеря газа должна бы тормозить ускорение, возникающее в результате удаления шара от центра Земли. Имея в виду все эти обстоятельства, я полагал, что если только найду на моем пути среду, о которой упоминал выше, и если эта среда в основных своих свойствах будет представлять собой то самое, что мы называем атмосферным воздухом, то степень ее разрежения не окажет особого влияния — то есть не отразится на быстроте моего взлета,— так как по мере разрежения среды станет соответственно разрежаться и газ внутри шара (для предотвращения разрыва оболочки я могу выпускать его по мере надобности с помощью клапана); в то же время, оставаясь тем, что он есть, газ всегда окажется относительно легче, чем какая бы то ни была смесь азота с кислородом. Таким образом, я имел основание надеяться — даже, собственно говоря, быть почти уверенным,— что ни в какой момент моего взлета мне не придется достигнуть пункта, в котором вес моего огромного шара, заключенного в нем газа, корзины и ее содержимого превзойдет вес вытесняемого ими воздуха. А только это последнее обстоятельство могло бы остановить мое восхождение. Но если даже я *и* достигну такого пункта, то могу выбросить около трехсот фунтов балласта и других материалов. Тем временем сила тяготения будет непрерывно уменьшаться пропорционально квадратам расстояний, а скорость полета увеличиваться в чудовищной прогрессии, так что в конце концов я попаду в сферу, где земное притяжение уступит место притяжению Луны.

Еще одно обстоятельство несколько смущало меня. Замечено, что при подъеме воздушного шара на значительную высоту воздухоплаватель испытывает, помимо затрудненного дыхания, ряд болезненных ощущений, сопровождающихся кровотоением из носа и другими тревожными признаками, которые усиливаются по мере

подъема¹. Это обстоятельство наводило на размышления весьма неприятного свойства. Что, если эти болезненные явления будут все усиливаться и окончатся смертью? Однако я решил, что этого вряд ли следует опасаться. Ведь их причина заключается в постепенном уменьшении обычного атмосферного давления на поверхность тела и в соответственном расширении поверхностных кровяных сосудов, а не в расстройстве органической системы, как при затрудненном дыхании, вызванном тем, что разреженный воздух по своему химическому составу недостаточен для обновления крови в желудочках сердца. Оставив в стороне это недостаточное обновление крови, я не вижу, почему бы жизнь не могла продолжаться даже в вакууме, так как расширение и сжатие груди, называемое обычно дыханием, есть чисто мышечное явление и вовсе не следствие, а причина дыхания. Словом, я рассудил, что, когда тело привыкнет к недостаточному атмосферному давлению, болезненные ощущения постепенно уменьшатся, а я пока что уж как-нибудь перетерплю, здоровье у меня железное.

Таким образом, я, с позволения ваших превосходительств, подробно изложил некоторые — хотя далеко не все — соображения, которые легли в основу моего плана путешествия на Луну. А теперь возвращусь к описанию результата моей попытки — с виду столь безрассудной и, во всяком случае, единственной в летописях человечества.

Достигнув уже упомянутой высоты в три и три четверти мили, я выбросил из корзины горсть перьев и убедился, что шар мой продолжает подниматься с достаточной быстротой и, следовательно, пока нет надобности выбрасывать балласт. Я был очень доволен этим обстоятельством, так как хотел сохранить как можно больше тяжести, не зная наверняка, какова степень притяжения Луны и плотность лунной атмосферы. Пока я не испытывал ни-

¹ После опубликования отчета Ганса Пфаали я узнал, что известный aeronавт мистер Грин и другие позднейшие воздухоплаватели опровергают мнение Гумбольдта об этом предмете и говорят об уменьшении болезненных явлений, — вполне согласно с изложенной здесь теорией.— *Примеч. автора.*

каких болезненных ощущений, дышал вполне свободно и не чувствовал ни малейшей головной боли. Кошка расположилась на моем пальто, которое я снял, и с напускным равнодушием поглядывала на голубей. Голуби, которых я привязал за ноги, чтобы они не улетели, деловито клевали зерна риса, насыпанные на дно корзины. В двадцать минут седьмого высотомер показал высоту в 26400 футов, то есть пять с лишним миль. Простор, открывавшийся передо мною, казался безграничным. На самом деле, с помощью сферической тригонометрии нетрудно вычислить, какую часть земной поверхности я мог охватить взглядом. Ведь выпуклая поверхность сегмента шара относится ко всей его поверхности, как обращенный синус сегмента к диаметру шара. В данном случае обращенный синус — то есть, иными словами, толщина сегмента, находившегося подо мною, почти равнялась расстоянию, на котором я находился от земли, или высоте пункта наблюдения; следовательно, часть земной поверхности, доступная моему взору, выражалась отношением пяти миль к восьми тысячам. Иными словами, я видел одну тысячестисотую часть всей земной поверхности. Море казалось гладким, как зеркало, хотя в зрительную трубку я мог убедиться, что волнение на нем очень сильное. Корабль давно исчез в восточном направлении. Теперь я по временам испытывал жестокую головную боль, в особенности за ушами, хотя дышал довольно свободно. Кошка и голуби чувствовали себя, по-видимому, как нельзя лучше.

Без двадцати минут семь мой шар попал в слой густых облаков, которые причинили мне немало неприятностей, повредив сгущающий аппарат и промочив меня до костей. Эта была, без сомнения, весьма странная встреча: я никак не ожидал, что подобные облака могут быть на такой огромной высоте. Все же я счел за лучшее выбросить два пятифунтовых мешка с балластом, оставив про запас сто шестьдесят пять фунтов. После этого я быстро выбрался из облаков и убедился, что скорость подъема значительно возросла. Спустя несколько секунд после того, как я оставил под собой облако, молния прорезала его с одного конца до другого, и все оно вспыхнуло, точно гряда раскаленного угля. Напомню, что это происходило

при ясном дневном свете. Никакая фантазия не в силах представить себе великолепие подобного явления; случись оно ночью, оно было бы точной картиной ада. Даже теперь волосы поднялись дыбом на моей голове, когда я смотрел в глубь этих зияющих бездн и мое воображение блуждало среди огненных зал с причудливыми сводами, развалин и пропастей, озаренных багровым, нездешним светом. Я едва избежал опасности. Если бы шар помедлил еще немного внутри облака — иными словами, если бы сырость не заставила меня выбросить два мешка с балластом — последствием могла быть — и была бы, по всей вероятности, — моя гибель. Такие случайности для воздушного шара, может быть, опаснее всего, хотя их обычно не принимают в расчет. Тем временем я оказался уже на достаточной высоте, чтобы считать себя застрахованным от дальнейших приключений в том же роде.

Я продолжал быстро подниматься, и к семи часам высотомер показал высоту не менее девяти с половиной миль. Мне уже становилось трудно дышать, голова мучительно болела, с некоторых пор я чувствовал какую-то влагу на щеках и вскоре убедился, что из ушей у меня течет кровь. Глаза тоже болели; когда я провел по ним рукой, мне показалось, что они вылезли из орбит; все предметы в корзине и самый шар приняли уродливые очертания. Эти болезненные симптомы оказались сильнее, чем я ожидал, и не на шутку встревожили меня. Расстроенный, хорошенько не отдавая себе отчета в том, что делаю, я совершил нечто в высшей степени неблагоприятное: выбросил из корзины три пятифунтовых мешка с балластом. Шар рванулся и перенес меня сразу в столь разреженный слой атмосферы, что результат едва не оказался роковым для меня и моего предприятия. Я внезапно почувствовал припадок удушья, продолжавшийся не менее пяти минут; даже когда он прекратился, я не мог вздохнуть как следует. Кровь струилась у меня из носа, из ушей и даже из глаз. Голуби отчаянно бились, стараясь вырваться на волю; кошка жалобно мяукала и, высунув язык, металась туда и сюда, точно проглотила отраву. Слишком поздно поняв свою ошибку, я пришел в отчаяние. Я ожидал неминуемой и близкой смерти. Фи-

зические страдания почти лишили меня способности предпринять что-либо для спасения своей жизни, мозг почти отказывался работать, а головная боль усиливалась с каждой минутой. Чувствуя близость обморока, я хотел было дернуть веревку, соединенную с клапаном, чтобы спуститься на землю, — как вдруг вспомнил о том, что я проделал с кредиторами, и о вероятных последствиях, ожидающих меня в случае возвращения на землю. Это воспоминание остановило меня. Я лег на дно корзины и постарался собраться с мыслями. Это удалось мне настолько, что я решил пустить себе кровь. За неимением ланцета я произвел эту операцию, открыв вену на левой руке с помощью перочинного ножа. Как только потекла кровь, я почувствовал большое облегчение, а когда вышло с полчашки, худшие из болезненных симптомов совершенно исчезли. Все же я не решился встать и, кое-как забинтовав руку, пролежал еще с четверть часа. Наконец я поднялся; оказалось, что все болезненные ощущения, преследовавшие меня в течение последнего часа, исчезли. Только дыхание было по-прежнему затруднено, и я понимал, что вскоре придется прибегнуть к конденсатору. Случайно взглянув на кошку, которая снова улеглась на пальто, я увидел, к своему крайнему изумлению, что во время моего припадка она разрешилась тремя котятками. Этого прибавления пассажиров я отнюдь не ожидал, но был им очень доволен: оно давало мне возможность проверить гипотезу, которая более чем что-либо другое повлияла на мое решение. Я объяснял болезненные явления, испытываемые воздухоплателем на известной высоте, привычкой к определенному давлению атмосферы около земной поверхности. Если котята будут страдать в такой же степени, как мать, то моя теория, видимо, ошибочна, если же нет — она вполне подтвердится.

К восьми часам я достиг семнадцати миль над поверхностью Земли. Очевидно, скорость подъема возрастала, и если бы даже я не выбросил балласта, то заметил бы это ускорение, хотя, конечно, оно не совершилось бы так быстро. Жестокая боль в голове и ушах по временам возвращалась; иногда текла из носа кровь; но, в общем, страдания мои были гораздо незначительнее, чем я ожидал.

Только дышать становилось все труднее, и каждый вздох сопровождался мучительными спазмами в груди. Я распахнул аппарат для конденсации воздуха и принялся налаживать его.

С этой высоты на Землю открывался великолепный вид. К западу, к северу и к югу, насколько мог охватить глаз, расстилалась бесконечная гладь океана, приобретающая с каждой минутой все более яркий голубой оттенок. Вдали на высоте вырисовывалась Великобритания, все атлантическое побережье Франции и Испании и часть северной окраины Африканского материка. Деталей, разумеется, не было видно, и самые пышные города точно исчезли с лица земли.

Больше всего удивила меня кажущаяся вогнутость земной поверхности. Я, напротив, ожидал, что по мере подъема она будет представлять мне все более выпуклой; но, подумав немного, сообразил, что этого не могло быть. Перпендикуляр, опущенный из пункта моего наблюдения к земной поверхности, представлял бы собой один из катетов прямоугольного треугольника, основание которого простиралось до горизонта, а гипотенуза — от горизонта к моему шару. Но высота, на которой я находился, была ничтожна сравнительно с пространством, которое я мог обозреть. Иными словами, основание и гипотенуза упомянутого треугольника были бы так велики сравнительно с высотой, что могли бы считаться почти параллельными линиями. Поэтому горизонт для аэронавта остается всегда на одном уровне с корзиной. Но точка, находящаяся под ним внизу, кажется отстоящей и действительно отстоит на огромное расстояние — следовательно, ниже горизонта. Отсюда — впечатление вогнутости, которое и останется до тех пор, пока высота не достигнет такого отношения к диаметру видимого пространства, при котором кажущаяся параллельность основания и гипотенузы исчезнет.

Так как голуби все время жестоко страдали, я решил выпустить их. Сначала я отвязал одного — серого крапчатого красавца — и посадил на обруч сетки. Он очень забеспокоился, жалобно поглядывал кругом, хлопал крыльями, ворковал, но не решался вылететь из корзины. Тог-

да я взял его и отбросил ярдов на пять-шесть от шара. Однако он не полетел вниз, как я ожидал, а изо всех сил устремился обратно к шару, издавая резкие, пронзительные крики. Наконец ему удалось вернуться на старое место, но, едва усевшись на обруч, он уронил головку на грудь и упал мертвым в корзину. Другой был счастливее. Чтобы предупредить его возвращение, я изо всех сил швырнул его вниз и с радостью увидел, что он продолжает спускаться, быстро, легко и свободно взмахивая крыльями. Вскоре он исчез из вида и, не сомневаюсь, благополучно добрался до земли. Кошка, по-видимому, оправившаяся от своего припадка, с аппетитом съела мертвого голубя и улеглась спать. Котята были живы и не обнаруживали пока ни малейших признаков заболевания.

В четверть девятого, испытывая почти невыносимые страдания при каждом затрудненном вздохе, я стал прилаживать к корзине аппарат, составлявший часть конденсатора. Он требует, однако, более подробного описания. Ваши превосходительства благоволят заметить, что целью моею было защитить себя и корзину как бы барьером от разреженного воздуха, который теперь окружал меня, с тем чтобы ввести внутрь корзины нужный для дыхания конденсированный воздух. С этой целью я заготовил плотную, совершенно непроницаемую, но достаточно эластичную каучуковую камеру в виде мешка. В этот мешок поместилась вся моя корзина, то есть он охватывал ее дно и края до верхнего обруча, к которому была прикреплена сетка. Оставалось только стянуть края наверху, над обручем, то есть просунуть эти края между обручем и сеткой. Но если отделить сетку от обруча, чтобы пропустить края мешка, — на чем будет держаться корзина? Я разрешил это затруднение следующим образом: сетка не была наглухо соединена с обручем, а прикреплена посредством петель. Я снял несколько петель, предоставив корзине держаться на остальных, просунул край мешка над обручем и снова пристегнул петли, — не к обручу, разумеется, оттого что он находился под мешком, а к пуговицам на мешке, соответствовавшим петлям и пришитым фута на три ниже края; затем отстегнул еще

несколько петель, просунул еще часть мешка и снова пристегнул петли к пуговицам. Таким образом, мне мало-помалу удалось пропустить весь верхний край мешка между обручем и сеткой. Понятно, что обруч опустился в корзину, которая со всем содержимым держалась теперь только на пуговицах. На первый взгляд это грозило опасностью — но лишь на первый взгляд; пуговицы были не только прочны сами по себе, но и посажены так тесно, что на каждую приходилась лишь незначительная часть всей тяжести. Если бы корзина с ее содержимым была даже втрое тяжелее, меня это ничуть бы не беспокоило. Я снова приподнял обруч и прикрепил его почти на прежней высоте с помощью трех заранее приготовленных перекладин. Это я сделал для того, чтобы мешок оставался наверху растянутым и нижняя часть сетки не изменила своего положения. Теперь оставалось только закрыть мешок, что я и сделал без труда, собрав складками его верхний край и стянув их туго-натуго при помощи устойчивого вертлюга.

В боковых стенках мешка были сделаны три круглые окошка с толстыми, но прозрачными стеклами, сквозь которые я мог смотреть во все стороны по горизонтали. Такое же окошко находилось внизу и соответствовало небольшому отверстию в дне корзины: сквозь него я мог смотреть вниз. Но вверху нельзя было устроить такое окно, ибо верхний, стянутый край мешка был собран складками. Впрочем, в этом окне и надобности не было, так как шар все заслонил бы собою.

Под одним из боковых окошек, примерно на расстоянии фута, имелось отверстие дюйма в три диаметром; а в отверстие было вставлено медное кольцо с винтовыми нарезками на внутренней поверхности. В это кольцо ввинчивалась трубка конденсатора, помещавшегося, само собою разумеется, внутри каучуковой камеры. Через эту трубку разреженный воздух втягивался с помощью вакуума, образовавшегося в аппарате, сгущался и проходил в камеру. Повторив эту операцию несколько раз, можно было наполнить камеру воздухом, вполне пригодным для дыхания. Но в столь тесном помещении воздух, разумеется, должен был быстро портиться вследствие час-

того соприкосновения с легкими и становиться не пригодным для дыхания. Тогда его можно было выбрасывать посредством небольшого клапана на дне мешка; будучи более тяжелым, этот воздух быстро опускался вниз, рассеиваясь в более легкой наружной атмосфере. Из опасения создать полный вакуум в камере при выпуске воздуха, очистка последнего никогда не производилась сразу, а лишь постепенно. Клапан открывался секунды на две — на три, потом замыкался, и так — несколько раз, пока конденсатор не заменял вытесненный воздух запасом нового. Ради опыта я положил кошку и котят в корзиночку, которую подвесил снаружи к пуговице, находящейся подле клапана; открывая клапан, я мог кормить кошек по мере надобности. Я сделал это раньше, чем затянул камеру, с помощью одного из упомянутых выше шестов, поддерживавших обруч. Как только камера наполнилась сконденсированным воздухом, шесты и обруч оказались излишними, ибо, расширяясь, внутренняя атмосфера и без них растягивала каучуковый мешок.

Когда я приладил все эти приборы и наполнил камеру, было всего без десяти минут девять. Все это время я жестоко страдал от недостатка воздуха и горько упрекал себя за небрежность, или скорее за безрассудную смелость, побудившую меня отложить до последней минуты столь важное дело. Но, когда наконец все было готово, я тотчас почувствовал благотворные последствия своего изобретения. Я снова дышал легко и свободно, — да и почему бы мне не дышать? К моему удовольствию и удивлению, жестокие страдания, терзавшие меня до сих пор, почти совершенно исчезли. Осталось только ощущение какой-то раздутости или растяжения в запястьях, лодыжках и гортани. Очевидно, мучительные ощущения, вызванные недостаточным атмосферным давлением, давно прекратились, а болезненное состояние, которое я испытывал в течение последних двух часов, происходило только вследствие затрудненного дыхания.

В сорок минут девятого, то есть незадолго до того, как я затянул отверстие мешка, ртуть опустилась до нижнего уровня в высотомере. Я находился на высоте 132000

футов, то есть двадцати пяти миль, и, следовательно, мог обозревать не менее одной треста двадцатой всей земной поверхности. В девять часов я снова потерял из виду Землю на востоке, заметив при этом, что шар быстро несется в направлении норд-норд-вест. Расстилавшийся подо мною океан все еще казался вогнутым; впрочем, облака часто скрывали его от меня.

В половине десятого я снова выбросил из корзины горсть перьев. Они не полетели, как я ожидал, но упали, как пуля, — всей кучей, с невероятною быстротою, — и в несколько секунд исчезли из виду. Сначала я не мог объяснить себе это странное явление; мне казалось невероятным, чтобы быстрота подъема так страшно возросла. Но вскоре я сообразил, что разреженная атмосфера уже не могла поддерживать перья, — они действительно упали с огромной быстротой; и поразившее меня явление обусловлено было сочетанием скорости падения перьев со скоростью подъема моего шара.

Часам к десяти мне уже нечего было особенно наблюдать. Все шло исправно; быстрота подъема, как мне казалось, постоянно возрастала, хотя я не мог определить степень этого возрастания. Я не испытывал никаких болезненных ощущений, а настроение духа было бодрее, чем когда-либо после моего вылета из Роттердама! Я коротал время, осматривая инструменты и обновляя воздух в камере. Я решил повторять это через каждые сорок минут — скорее для того, чтобы предохранить свой организм от возможных нарушений его деятельности, чем по действительной необходимости. В то же время я невольно уносился мыслями вперед. Воображение мое блуждало в диких, сказочных областях Луны, необузданная фантазия рисовала мне обманчивые чудеса этого призрачного и неустойчивого мира. То мне мерещились дремучие вековые леса, крутые утесы, шумные водопады, низвергавшиеся в бездонные пропасти. То я переносился в пустынные просторы, залитые лучами полуденного солнца, куда ветерок не залетал от века, где воздух точно окаменел и всюду, куда хватает глаз, расстилаются луговины, поросшие маком и стройными лилиями, безмолвными,

словно оцепеневшими. То вдруг являлось передо мною озеро, темное, неясное, сливавшееся вдаль с грядями облаков. Но не только эти картины рисовались моему воображению. Мне рисовались ужасы, один другого грознее и причудливее, и даже мысль об их возможности потрясла меня до глубины души. Впрочем, я старался не думать о них, справедливо полагая, что действительные и осязаемые опасности моего предприятия должны поглотить все мое внимание.

В пять часов пополудни, обновляя воздух в камере, я заглянул в корзину с кошками. Мать, по-видимому, жестоко страдала, несомненно, вследствие затрудненного дыхания; но котята изумили меня. Я ожидал, что они тоже будут страдать, хотя и в меньшей степени, чем кошка, что подтвердило бы мою теорию насчет нашей привычки к известному атмосферному давлению. Оказалось, однако,— чего я вовсе не ожидал,— что они совершенно здоровы, дышат легко и свободно и не обнаруживают ни малейших признаков какого-либо органического расстройства. Я могу объяснить это явление, только расширив мою теорию и предположив, что крайне разреженная атмосфера не представляет (как я вначале думал) со стороны ее химического состава никакого препятствия для жизни и существо, родившееся в такой среде, будет дышать в ней без всякого труда, а попавши в более плотные слои по соседству с Землей, испытает те же мучения, которым я подвергался так недавно. Очень сожалею, что вследствие несчастной случайности я потерял эту кошачью семейку и не мог продолжать свои опыты. Просунув чашку с водой для старой кошки в отверстие мешка, я зацепил рукавом за шнурок, на котором висела корзинка, и сдернул его с пуговицы. Если бы корзинка с кошками каким-нибудь чудом испарилась в воздухе — она не могла бы исчезнуть с моих глаз быстрее, чем сейчас. Не прошло положительно и десятой доли секунды, как она уже скрылась со всеми своими пассажирами. Я пожелал им счастливого пути, но, разумеется, не питал никакой надежды, что кошка или котята останутся в живых, дабы рассказать о своих бедствиях.

В шесть часов значительная часть Земли на востоке покрылась густою тенью, которая быстро надвигалась, так что в семь без пяти минут вся видимая поверхность Земли погрузилась в ночную тьму. Но долго еще после этого лучи заходящего солнца освещали мой шар; и это обстоятельство, которое, конечно, можно было предвидеть заранее, доставляло мне большую радость. Значит, я и утром увижу восходящее светило гораздо раньше, чем добрые граждане Роттердама, несмотря на более восточное положение этого города, и, таким образом, буду пользоваться все более и более продолжительным днем соответственно с высотой, которой буду достигать. Я решил вести дневник моего путешествия, отмечая дни через каждые двадцать четыре часа и не принимая в расчет ночей.

В десять часов меня стало клонить ко сну, и я решил было улечься, но меня остановило одно обстоятельство, о котором я совершенно забыл, хотя должен был предвидеть его заранее. Если я засну, кто же будет накачивать воздух в камеру? Дышать в ней можно было самое большее час; если продлить этот срок даже на четверть часа, последствия могли быть самые губельные. Затруднение это очень смутило меня, и, хотя едва ли поверят, но, несмотря на преодоление стольких опасностей, я готов был отчаяться перед новым, потерял всякую надежду на исполнение моего плана и уже подумывал о спуске. Впрочем, то было лишь минутное колебание. Я рассудил, что человек — верный раб привычек, и многие мелочи повседневной жизни только кажутся ему существенно важными, а на самом деле они сделались такими единственно в результате привычки. Конечно, я не мог обойтись без сна, но что мешало мне приучить себя просыпаться через каждый час в течение всей ночи? Для полного обновления воздуха достаточно было пяти минут. Меня затруднял только способ, каким я буду будить себя в надлежащее время. Правду сказать, я долго ломал себе голову над разрешением этого вопроса. Я слышал, что студенты прибегают к такому приему: взяв в руку медную пулю, держат ее над медным тазиком; и, если студенту случится задремать над книгой, пуля падает, и ее звон о тазик будит его. Но для меня подобный способ вовсе не годился,

так как я не намерен был бодрствовать все время, а хотел лишь просыпаться через определенные промежутки времени. Наконец я придумал приспособление, которое при всей своей простоте показалось мне в первую минуту открытием не менее блестящим, чем изобретение телескопа, паровой машины или даже книгопечатания.

Необходимо заметить, что на той высоте, которой я достиг в настоящее время, шар продолжал подниматься без толчков и отклонений, совершенно равномерно, так что корзина не испытывала ни малейшей тряски. Это обстоятельство явилось как нельзя более кстати для моего изобретения. Мой запас воды помещался в бочонках, по пяти галлонов каждый, они были выстроены вдоль стенки корзины. Я отвязал один бочонок и, достав две веревки, натянул их поперек корзины вверху, на расстоянии фута одну от другой, так что они образовали нечто вроде полки. На эту полку я взгромоздил бочонок, положив его горизонтально. Под бочонком, на расстоянии восьми дюймов от веревок и четырех футов от дна корзины, прикрепил другую полку, употребив для этого тонкую дощечку, единственную, имевшуюся у меня в запасе. На дощечку поставил небольшой глиняный кувшинчик. Затем провертел дырку в стенке бочонка над кувшином и заткнул ее втулкой из мягкого дерева. Вдвигая и выдвигая втулку, я наконец установил ее так, чтобы вода, просачиваясь сквозь отверстие, наполняла кувшинчик до краев за шестьдесят минут. Рассчитать это было нетрудно, проследив, какая часть кувшина наполняется в известный промежуток времени. Остальное понятно само собою. Я устроил себе постель на дне корзины так, чтобы голова приходилась под носиком кувшина. Ясно, что по истечении часа вода, наполнив кувшин, должна была выливаться из носика, находящегося несколько ниже его краев. Ясно также, что, орошая лицо мое с высоты четырех футов, вода должна была разбудить меня, хотя бы я заснул мертвым сном.

Было уже одиннадцать часов, когда я покончил с устройством этого будильника. Затем я немедленно улегся спать, вполне положившись на мое изобретение. И мне не пришлось разочароваться в нем. Точно через каждые шестьдесят минут я вставал, разбуженный моим верным

хронометром, выливал из кувшина воду обратно в бочонок и, обновив воздух с помощью конденсатора, снова укладывался спать. Эти регулярные перерывы в сне успокоили меня даже меньше, чем я ожидал. Когда я встал утром, было уже семь часов, и солнце поднялось на несколько градусов над линией горизонта.

3 апреля. Я убедился, что мой шар находится на огромной высоте, так как выпуклость Земли была теперь ясно видна. Подо мной, в океане, можно было различить скопление каких-то темных пятен — без сомнения, острова. Небо над головой казалось агатово-черным, звезды блистали; они стали видны с первого же дня моего полета. Далеко по направлению к северу я заметил тонкую белую, ярко блестящую линию, или полосу, на краю неба, в которой не колеблясь признал южную окраину полярных льдов. Мое любопытство было сильно возбуждено, так как я рассчитывал, что буду лететь гораздо дальше к северу и, может быть, окажусь над самым полюсом. Я пожалел, что огромная высота, на которой я находился, не позволит мне осмотреть его как следует. Но все-таки я мог заметить многое.

В течение дня не случилось ничего особенного. Все мои приборы действовали исправно, и шар поднимался без всяких толчков. Сильный холод заставил меня плотнее закутаться в пальто. Когда Земля оделась ночным мраком, я улегся спать, хотя еще много часов спустя вокруг моего шара стоял белый день. Водяные часы добросовестно исполняли свою обязанность, и я спокойно проспал до утра, пробуждаясь лишь для того, чтобы обновить воздух.

4 апреля. Встал здоровым и бодрым и был поражен тем, как странно изменился вид океана. Он утратил свою темно-голубую окраску и казался серовато-белым, притом он ослепительно блестел. Выпуклость океана была видна так четко, что громада воды, находившейся подо мною, точно низвергалась в пучину по краям неба, и я невольно прислушивался, стараясь расслышать грохот этих мощных водопадов. Островов не было видно, потому ли, что они исчезли за горизонтом в юго-восточном направлении, или все растущая высота уже лишала меня

возможности видеть их. Последнее предположение казалось мне, однако, более вероятным. Полоса льдов на севере выступала все яснее. Холод не усиливался. Ничего особенного не случилось, и я провел день за чтением книг, которые захватил с собою.

5 апреля. Отмечаю любопытный феномен: солнце взошло, однако вся видимая поверхность Земли все еще была погружена в темноту. Но мало-помалу она осветилась, и снова показалась на севере полоса льдов. Теперь она выступала очень ясно и казалась гораздо темнее, чем воды океана. Я, очевидно, приближался к ней, и очень быстро. Мне казалось, что я различаю землю на востоке и на западе, но я не был в этом уверен. Температура умеренная. В течение дня не случилось ничего особенного. Рано лег спать.

6 апреля. Был удивлен, увидев полосу льда на очень близком расстоянии, а также бесконечное ледяное поле, простиравшееся к северу. Если шар сохранит то же направление, то я скоро окажусь над Ледовитым океаном и, несомненно, увижу полюс. В течение дня я неуклонно приближался ко льдам. К ночи пределы моего горизонта неожиданно и значительно расширились, без сомнения, потому, что Земля имеет форму сплюснутого сфероида, и я находился теперь над плоскими областями вблизи Полярного круга. Когда наступила ночь, я лег спать, охваченный тревогой, ибо опасался, что предмет моего любопытства, скрытый ночной темнотой, ускользнет от моих наблюдений.

7 апреля. Встал рано и, к своей великой радости, действительно увидел Северный полюс. Не было никакого сомнения, что это именно полюс и он находится прямо подо мною. Но, увы! Я поднялся на такую высоту, что ничего не мог рассмотреть в подробностях. В самом деле, если составить прогрессию моего восхождения на основании чисел, указывавших высоту шара в различные моменты между шестью утра 2 апреля и девятью без двадцати минут утра того же дня (когда высотомер перестал действовать), то теперь, в четыре утра 7 апреля, шар должен был находиться на высоте не менее 7254 миль над поверхностью океана. (С первого взгляда эта цифра

может показаться грандиозной, но, по всей вероятности, она была гораздо ниже действительной.) Во всяком случае, я видел всю площадь, соответствовавшую большому диаметру Земли; все северное полушарие лежало подо мною наподобие карты в ортографической проекции, и линия экватора образовывала линию моего горизонта. Итак, ваши превосходительства без труда поймут, что лежавшие подо мною неизведанные области в пределах Полярного круга находились на столь громадном расстоянии и в столь уменьшенном виде, что рассмотреть их подробно было невозможно. Все жё мне удалось увидеть кое-что замечательное. К северу от упомянутой линии, которую можно считать крайней границей человеческих открытий в этих областях, расстиралось сплошное, или почти сплошное, поле. Поверхность его, будучи вначале плоской, мало-помалу понижалась, принимая заметно вогнутую форму, и завершалась у самого полюса круглой, резко очерченной впадиной. Последняя казалась гораздо темнее остального полушария и была местами совершенно черного цвета. Диаметр впадины соответствовал углу зрения в шестьдесят пять секунд. Больше ничего нельзя было рассмотреть. К двенадцати часам впадина значительно уменьшилась, а в семь пополудни я потерял ее из вида: шар миновал западную окраину льдов и несся по направлению к экватору.

8 апреля. Видимый диаметр Земли заметно уменьшился, окраска совершенно изменилась. Вся доступная наблюдению площадь казалась бледно-желтого цвета различных оттенков, местами блестела так, что больно было смотреть. Кроме того, мне сильно мешала насыщенная испарениями плотная земная атмосфера; я лишь изредка видел самую землю в просветах между облаками. В течение последних сорока восьми часов эта помеха давала себя чувствовать в более или менее сильной степени; а при той высоте, которой теперь достиг шар, груды облаков сблизилась в поле зрения еще теснее, и наблюдать землю становилось все затруднительнее. Тем не менее я убедился, что шар летит над областью Великих озер в Северной Америке, стремясь к югу, я скоро достигну тропиков. Это обстоятельство весьма обрадовало

меня, так как сулило успех моему предприятию. В самом деле, направление, в котором я несся до сих пор, крайне тревожило меня, так как, продолжая двигаться в том же направлении, я бы вовсе не попал на Луну, орбита которой наклонена к эклиптике под небольшим углом в $5^{\circ}8'48''$. Странно, что я так поздно уразумел свою ошибку: мне следовало подняться из какого-нибудь пункта в плоскости лунного эллипса.

9 апреля. Сегодня диаметр Земли значительно уменьшился, окраска ее приняла более яркий желтый оттенок. Мой шар держал курс на юг, и в девять утра он достиг северной окраины Мексиканского залива.

10 апреля. Около пяти часов утра меня разбудил оглушительный треск, который я решительно не мог себе объяснить. Он продолжался всего несколько мгновений и не походил ни на один из слышанных мною доселе звуков. Нечего и говорить, что я страшно перепугался; в первую минуту мне почудилось, что шар лопнул. Я осмотрел свои приборы, однако все они оказались в порядке. Большую часть дня я провел в размышлениях об этом странном треске, но не мог никак его объяснить. Лег спать крайне обеспокоенный и взволнованный.

11 апреля. Диаметр Земли поразительно уменьшился, и я в первый раз заметил значительное увеличение диаметра Луны. Теперь приходилось затрачивать немало труда и времени, чтобы сгустить достаточно воздуха, нужного для дыхания.

12 апреля. Странно изменилось направление шара; и хотя я предвидел это заранее, но все-таки обрадовался несказанно. Достигнув двадцатой параллели южного полушария, шар внезапно повернул под острым углом на восток и весь день летел в этом направлении, оставаясь в плоскости лунного эллипса. Достоин замечания, что следствием этой перемены было довольно заметное колебание корзины, ощущавшееся в течение нескольких часов.

13 апреля. Снова был крайне встревожен громким треском, который так меня напугал десятого. Долго думал об этом явлении, но ничего не мог придумать. Значительное уменьшение диаметра Земли: теперь его угловая величина лишь чуть побольше двадцати пяти градусов.

Луна находится почти у меня над головой, так что я не могу ее видеть. Шар по-прежнему летит в ее плоскости, переместившись несколько на восток.

14 апреля. Стремительное уменьшение диаметра Земли. Шар, по-видимому, поднялся над линией абсид по направлению к перигелию — то есть, иными словами, стремится прямо к Луне, в части ее орбиты, наиболее близкой к земному шару. Сама Луна находится над моей головой, то есть недоступна наблюдению. Обновление воздуха в камере потребовало усиленного и продолжительного труда.

15 апреля. На Земле нельзя рассмотреть даже самых общих очертаний материков и морей. Около полудня я в третий раз услышал загадочный треск, столь поразивший меня раньше. Теперь он продолжался несколько секунд, постепенно усиливаясь. Оцепенев от ужаса, я ожидал какой-нибудь страшной катастрофы, когда корзину вдруг сильно встряхнуло и мимо моего шара с ревом, свистом и грохотом пронеслась огромная огненная масса. Оправившись от ужаса и изумления, я сообразил, что это должен быть вулканический обломок, выброшенный с небесного тела, к которому я так быстро приближался, и, по всей вероятности, принадлежащий к разряду тех странных камней, которые попадают иногда на нашу Землю и называются метеоритами.

16 апреля. Сегодня, заглянув в боковые окна камеры, я, к своему великому удовольствию, увидел, что край лунного диска выступает над шаром со всех сторон. Я был очень взволнован, чувствуя, что скоро наступит конец моему опасному путешествию. Действительно, конденсация воздуха требовала таких усилий, что она отнимала у меня все время. Спать почти не приходилось. Я чувствовал мучительную усталость и совсем обессилел. Человеческая природа не способна долго выдерживать такие страдания. Во время короткой ночи мимо меня опять пронесся метеор. Они появлялись все чаще, и это не на шутку стало пугать меня.

17 апреля. Сегодня — достопамятный день моего путешествия. Если припомните, 13 апреля угловая величина Земли достигала всего двадцати пяти градусов.

Четырнадцатого она очень уменьшилась, пятнадцатого — еще значительно, а шестнадцатого, ложась спать, я отметил угол в $7^{\circ}15'$. Каково же было мое удивление, когда, пробудившись после непродолжительного и тревожного сна утром 17 апреля, я увидел, что поверхность, находившаяся подо мною, вопреки всяким ожиданиям увеличилась и достигла не менее тридцати девяти градусов в угловом диаметре! Меня точно обухом по голове ударили. Безграничный ужас и изумление, которых не передашь никакими словами, поразили, ошеломили, раздавили меня. Колени мои дрожали, зубы выбивали дробь, волосы поднялись дыбом. «Значит, шар лопнул! — мелькнуло в моем уме.— Шар лопнул! Я падаю! Падаю с невероятной, неслыханной быстротой! Судя по тому громадному расстоянию, которое я уже пролетел, не пройдет и десяти минут, как я ударюсь о землю и разобьюсь вдребезги. Наконец ко мне вернулась способность мыслить; я опомнился, подумал, стал сомневаться. Нет, это невероятно. Я не мог так быстро спуститься. К тому же, хотя я, очевидно, приближался к расстилавшейся подо мною поверхности, но вовсе не так быстро, как мне показалось в первую минуту. Эти размышления несколько успокоили меня, и я наконец понял, в чем дело. Если бы испуг и удивление не отбили у меня всякую способность соображать, я бы с первого взгляда заметил, что поверхность, находившаяся подо мною, ничуть не похожа на поверхность моей матери-Земли. Последняя находилась теперь наверху, над моей головой, а внизу, под моими ногами, была Луна во всем ее великолепии.

Мои растерянность и изумление при таком необычайном повороте дела непонятны мне самому. Этот *bouleversement*¹ не только был совершенно естествен и необходим, но я заранее знал, что он неизбежно свершится, когда шар достигнет того пункта, где земное притяжение уступит место притяжению Луны,— или, точнее, тяготение шара к Земле будет слабее его тяготения к Луне. Правда, я только что проснулся и не успел еще прийти в себя, когда заметил нечто поразительное; и хотя я мог это пред-

¹ Переворот (*фр.*).

видеть, но в настоящую минуту вовсе не ожидал. Поворот шара, очевидно, произошел спокойно и постепенно, и если бы я даже проснулся вовремя, то вряд ли мог бы заметить его по какому-нибудь изменению внутри камеры.

Нужно ли говорить, что, опомнившись после первого изумления и ужаса и ясно сообразив, в чем дело, я с жадностью принялся рассматривать поверхность Луны. Она расстилалась подо мною, точно карта, и, хотя находилась еще очень далеко, все ее очертания выступали вполне ясно. Полное отсутствие океанов, морей, даже озер и рек — словом, каких бы то ни было водных бассейнов — сразу бросилось мне в глаза, как самая поразительная черта лунной топографии. При всем том, как это ни странно, я мог различить обширные равнины, очевидно, наносного характера, хотя большая часть поверхности была усеяна бесчисленными вулканами конической формы, которые казались скорее насыпными, чем естественными возвышениями. Самый большой не превосходил трех — трех с четвертью миль. Впрочем, карта вулканической области Флегрейских полей даст вашим превосходительствам лучшее представление об этом ландшафте, чем какое-либо описание. Большая часть вулканов действовала, и я мог судить о бешеной силе извержений по обилию принятых мной за метеоры камней, все чаще пролетающих с грохотом мимо шара.

18 апреля. Объем Луны очень увеличился, и быстрота моего спуска стала сильно тревожить меня. Я уже говорил, что мысль о существовании лунной атмосферы, плотность которой соответствует массе Луны, играла немаловажную роль в моих соображениях о путешествии на Луну, — несмотря на существование противоположных теорий и широко распространенное убеждение, что на нашем спутнике нет никакой атмосферы. Но, независимо от вышеупомянутых соображений относительно кометы Энке и Зодиакального света, мое мнение в значительной мере опиралось на некоторые наблюдения г-на Шретера из Лилиенталя. Он наблюдал Луну на третий день после новолуния, вскоре после заката солнца, когда темная часть диска была еще незрима, и продолжал сле-

дить за ней до тех пор, пока она не стала видима. Оба рога казались удлинёнными, и их тонкие бледные кончики были слабо освещены лучами заходящего солнца. Вскоре по наступлении ночи темный диск осветился. Я объясняю это удлинение рогов преломлением солнечных лучей в лунной атмосфере. Высоту этой атмосферы (которая может преломлять достаточное количество лучей, чтобы вызвать в темной части диска свечение, вдвое более сильное, чем свет, отражаемый от Земли, когда луна отстоит на тридцать два градуса от точки новолуния) я принимал в 1356 парижских футов; следовательно, максимальную высоту преломления солнечного луча — в 5376 футов. Подтверждение моих взглядов я нашел в восьмидесят втором томе «Философских трудов», где говорится об оккультации спутников Юпитера, причем третий спутник стал неясным за одну или две секунды до исчезновения, а четвертый исчез на некотором расстоянии от диска¹.

От степени сопротивления, или, вернее сказать, от поддержки, которую эта предполагаемая атмосфера могла оказать моему шару, зависел всецело и благополучный исход путешествия. Если же я ошибся, то мог ожидать только конца своим приключениям: мне предстояло разлететься на атомы, ударившись о скалистую поверхность Луны. Судя по всему, я имел полное основание опасаться подобного конца. Расстояние до Луны было сравнительно ничтожно, а обновление воздуха в камере требовало такой же работы, и я не замечал никаких признаков увеличения плотности атмосферы.

¹ Гевелий пишет, что, наблюдая Луну на той же высоте, в том же расстоянии от Земли и в тот же превосходный телескоп, при совершенно ясном небе, даже когда были видимы звезды шестой и седьмой величины, он, однако, не всегда находил ее одинаково ясной. Наблюдения показывают, что причину этого нельзя искать в нашей атмосфере, в свойствах телескопа или в глазу наблюдателя, а что она коренится в чем-то (в атмосфере?), присущем самой Луне.

Кассини часто замечал, что при оккультации Сатурна, Юпитера, неподвижных звезд их круглая форма сменяется овальной в момент сближения с лунным диском, хотя при многих оккультациях этого изменения формы не замечается. Отсюда можно заключить, что, по крайней мере иногда, лучи планет и звезд встречают лунную атмосферу и преломляются в ней.— *Примеч. автора.*

19 апреля. Сегодня утром, около девяти часов, когда поверхность Луны угрожающе приблизилась и мои опасения дошли до крайних пределов, насос конденсатора, к великой моей радости, показал наконец очевидные признаки изменения плотности атмосферы.

К десяти часам плотность эта значительно возросла. К одиннадцати аппарат требовал лишь ничтожных усилий, а в двенадцать я решился — после некоторого колебания — отвинтить вертлюг, и, убедившись, что ничего вредного для меня не последовало, я развязал гуттаперчевый мешок и отогнул его края. Как и следовало ожидать, непосредственным результатом этого слишком поспешного и рискованного опыта были жесточайшая головная боль и удушье. Но, так как они не угрожали моей жизни, я решился претерпеть их в надежде на облегчение при спуске в более плотные слои атмосферы. Спуск, однако, происходил с невероятной быстротой, и хотя мои расчеты на существование лунной атмосферы, плотность которой соответствовала бы массе спутника, по-видимому, оправдывались, но я, очевидно, ошибся, полагая, что она способна поддержать корзину со всем грузом. А между тем этого надо было ожидать, так как сила тяготения и, следовательно, вес предметов также соответствуют массе небесного тела. Но головокружительная быстрота моего спуска ясно доказывала, что этого на самом деле не было. Почему?.. Единственное объяснение я вижу в тех геологических возмущениях, на которые указывал выше. Во всяком случае, я находился теперь совсем близко от Луны и стремился к ней со страшной быстротой. Итак, не теряя ни минуты, я выбросил за борт балласт, бочки с водой, конденсирующий прибор, каучуковую камеру и, наконец, все, что только было в корзине. Ничто не помогало. Я по-прежнему падал с ужасающей быстротой и находился, самое большее, в полумиле от поверхности. Оставалось последнее средство: выбросив сюртук и сапоги, я отрезал даже корзину, повис на веревках и, успев только заметить, что вся площадь подо мной, насколько видит глаз, усеяна крошечными домиками, очутился в центре странного, фантастического города, среди толпы уродцев, которые, не говоря ни слова, не издавая ни зву-

ка, словно какое-то сборище идиотов, потешно скалили зубы и, подбоченившись, разглядывали меня и мой шар. Я с презрением отвернулся от них, посмотрел, подняв глаза, на Землю, так недавно — и, может быть, навсегда — покинутую мной, и увидел её в виде большого медного щита, около двух градусов в диаметре, тускло блестящего высоко над моей головой, причем один край его, в форме серпа, горел ослепительным золотым блеском. Никаких признаков воды или суши не было видно, — я заметил только тусклые, изменчивые пятна да тропический и экваториальный пояс.

Так, с позволения ваших превосходительств, после жестоких страданий, неслыханных опасностей, невероятных приключений, на девятнадцатый день моего отбытия из Роттердама я благополучно завершил свое путешествие, — без сомнения, самое необычайное и самое замечательное из всех путешествий, когда-либо совершенных, предпринятых или задуманных жителями Земли. Но рассказ о моих приключениях еще далеко не кончен. Ваши превосходительства сами понимают, что, проведя около пяти лет на спутнике Земли, представляющем глубокий интерес не только в силу своих особенностей, но и вследствие своей тесной связи с миром, обитаемым людьми, я мог бы сообщить Астрономическому обществу немало сведений, гораздо более интересных, чем описание моего путешествия, как бы оно ни было удивительно само по себе. И я действительно могу открыть многое и сделал бы это с величайшим удовольствием. Я мог бы рассказать вам о климате Луны и о странных колебаниях температуры — невыносимом тропическом зное, который сменяется почти полярным холодом, — о постоянном перемещении влаги вследствие испарения, точно в вакууме, из пунктов, находящихся ближе к Солнцу, в пункты, наиболее удаленные от него; об изменчивом поясе текучих вод; о здешнем населении — его обычаях, нравах, политических убеждениях; об особой физической организации здешних обитателей, об их уродливости, отсутствии ушей — придатков, совершенно излишних в этой своеобразной атмосфере; об их способе общения, заменяющем здесь дар слова, которого лишены лунные жители; о таинственной

связи между каждым обитателем Луны и определенным обитателем Земли (подобная же связь существует между орбитами планеты и спутника), благодаря чему жизнь и участь населения одного мира теснейшим образом переплетаются с жизнью и участью населения другого; а главное — главное, ваши превосходительства, — об ужасных и отвратительных тайнах, существующих на той стороне Луны, которая, вследствие удивительного совпадения периодов вращения спутника вокруг собственной оси и обращения его вокруг Земли, недоступна и, к счастью, никогда не станет доступной для земных телескопов. Все это — и многое, многое еще — я охотно изложил бы в подобном сообщении. Но скажу прямо, я требую за это вознаграждения. Я жажду вернуться к родному очагу, к семье. И в награду за дальнейшие сообщения — принимая во внимание, какой свет я могу пролить на многие отрасли физического и метафизического знания, — я желал бы выхлопотать себе через посредство вашего почтенного общества прощение за убийство трех кредиторов при моем отбытии из Роттердама. Такова цель настоящего письма. Податель его — один из жителей Луны, которому я растолковал все, что нужно, — к услугам ваших превосходительств, он сообщит мне о прощении, буде его можно получить.

Примите и проч. Ваших превосходительств покорнейший слуга

Ганс Пфааль»

Окончив чтение этого необычайного послания, профессор Рубадуб, говорят, даже трубку выронил, так он был изумлен, а мингер Супербус ван Ундердук снял очки, протер их, положил в карман и от удивления настолько забыл о собственном достоинстве, что, стоя на одной ноге, завертелся волчком. Разумеется, прощение будет выхлопотано, — об этом и толковать нечего. Так, по крайней мере, поклялся в самых энергических выражениях профессор Рубадуб. То же подумал и блистательный ван Ундердук, когда, опомнившись наконец, взял под руку своего ученого собрата и направился домой, чтобы обсудить на досуге, как лучше взяться за дело. Однако, дойдя до две-

ри бургомистра дома, профессор решился заметить, что в прощении едва ли окажется нужда, так как посланец с Луны исчез, без сомнения, испугавшись суровой и дикой наружности роттердамских граждан, — а кто, кроме обитателя Луны, отважится на такое путешествие? Бургомистр признал справедливость этого замечания, чем дело и кончилось. Но не кончились толки и сплетни. Письмо было напечатано и вызвало немало обсуждений и споров. Нашлись умники, не побоявшиеся выставить самих себя в смешном виде, утверждая, будто все это происшествие сплошная выдумка. Но эти господа называют выдумкой все, что превосходит их понимание. Я, со своей стороны, решительно не вижу, на чем они основывают такое обвинение.

Вот их доказательства.

Во-первых: в городе Роттердаме есть такие-то шутники (имярек), которые имеют зуб против таких-то бургомистров и астрономов (имярек).

Во-вторых: некий уродливый карлик-фокусник с на-чисто отрезанными за какую-то проделку ушами недавно исчез из соседнего города Брюгге и не возвращался в течение нескольких дней.

В-третьих: газеты, которые всюду были наклеплены на шар, — это голландские газеты, и, стало быть, выходили не на Луне. Они были очень, очень грязные, и типограф Глюк готов поклясться, что не кто иной, как он сам, печатал их в Роттердаме.

В-четвертых: пьяницу Ганса Пфааля с тремя бездельниками, будто бы его кредиторами, видели два-три дня тому назад в кабаке, в предместье Роттердама: они были при деньгах и только что вернулись из поездки за море.

И наконец: согласно общепринятому (по крайней мере, ему бы следовало быть общепринятым) мнению, Астрономическое общество в городе Роттердаме, подобно всем другим обществам во всех других частях света, оставляя в стороне общества и астрономов вообще, ничуть не лучше, не выше, не умнее, чем ему следует быть.

Примечание. Строго говоря, наш беглый очерк представляет очень мало общего с знаменитым «Рассказом о Луне» мистера Локка, но, так как оба рассказа являются выдумкой (хотя один написан в шутливом, другой в сугубо серьезном тоне), оба трактуют об одном и том же предмете, мало того — в обоих правдоподобие достигается с помощью чисто научных подробностей, — то автор «Ганса Пфаала» считает необходимым заметить в целях самозащиты, что его «jeu d'esprit»¹ была напечатана в «Саутерн литерери мессенджер» за три недели до появления рассказа мистера Локка в «Нью-Йорк. сан». Тем не менее некоторые нью-йоркские газеты, усмотрев между обоими рассказами сходство, которого, быть может, на деле не существует, решили, что они принадлежат перу одного и того же автора.

Так как читателей, обманутых «Рассказом о Луне», гораздо больше, чем сознавших в своей легковерии, то мы считаем нелишним остановиться на этом рассказе, — то есть отметить те его особенности, которые должны бы были устранить возможность подобного легковерия, ибо выдают истинный характер этого произведения. В самом деле, несмотря на богатую фантазию и бесспорное остроумие автора, произведение его сильно хромает в смысле убедительности, ибо он недостаточно уделяет внимания фактам и аналогиям. Если публика могла хоть на минуту поверить ему, то это лишь доказывает ее глубокое невежество по части астрономии.

Расстояние Луны от Земли в круглых цифрах составляет 240000 миль. Чтобы узнать, насколько сократится это расстояние благодаря телескопу, нужно разделить его на цифру, выражающую степень увеличительной силы последнего. Телескоп, фигурирующий в рассказе мистера Локка, увеличивает в 42000 раз. Разделив на это число 240000 (расстояние от Луны), получаем пять и пять седьмых мили. На таком расстоянии невозможно рассмотреть каких-либо животных, а тем более всякие мелочи, о которых упоминается в рассказе. У мистера Локка сэр

¹ Игра ума (фр.).

Джон Гершель видит на Луне цветы (из семейства маковых и др.), даже различает форму и цвет глаз маленьких птичек. А незадолго перед тем сам автор говорит, что в его телескоп нельзя разглядеть предметы менее восемнадцати дюймов в диаметре. Но и это преувеличение: для таких предметов требуется гораздо более сильный объектив. Заметим мимоходом, что гигантский телескоп мистера Локка изготовлен в мастерской г. г. Гартлей и Грант в Домбардоне; но г. г. Гартлей и Грант прекратили свою деятельность за много лет до появления этой сказки.

На странице 13 отдельного издания, упоминая о «волосяной вуали» на глазах буйвола, автор говорит: «Проницательный ум доктора Гершеля усмотрел в этой вуали созданную самим Провидением защиту глаз животного от резких перемен света и мрака, которым периодически подвергаются все обитатели Луны, живущие на стороне, обращенной к нам». Однако подобное замечание отнюдь не свидетельствует о «проницательности» доктора. У обитателей, о которых идет речь, никогда не бывает темноты, следовательно, не подвергаются они и упомянутым резким световым переменам. В отсутствие Солнца они получают свет от Земли, равный по яркости свету четырнадцати лун.

Топография Луны у мистера Локка, даже там, где он старается согласовать ее с картой Луны Блента, расходится не только с нею и со всеми остальными картами, но и с собой. Относительно стран света у него царит жестокая путаница; автор, по-видимому, не знает, что на лунной карте они расположены иначе, чем на Земле: восток приходится налево и т. д.

Мистер Локк, быть может; сбитый с толку неясными названиями «Mare Nubium», «Mare tranquillitatis», «Mare Fecunditatis»¹, которыми прежние астрономы окрестили темные лунные пятна, очень обстоятельно описывает океаны и другие обширные водные бассейны на Луне; между тем отсутствие подобных бассейнов доказано. Граница между светом и тенью на убывающем или растущем сер-

¹ Облачное Море, Море Спокойствия, Море Изобилия (лат.).

пе, пересекая темные пятна, образует ломаную зубчатую линию; будь эти пятна морями, она, очевидно, была бы ровною.

Описание крыльев человека — летучей мыши на с. 21 — буквально копия с описания крыльев летающих островитян Питера Уилкинса. Уже одно это обстоятельство должно было бы возбудить сомнение.

На с. 23 читаем: «Какое чудовищное влияние должен был оказывать наш земной шар, в тринадцать раз превосходящий размеры своего спутника, на природу последнего, когда, зарождаясь в недрах времени, оба были игралищем химических сил!» Это отлично сказано, конечно; но ни один астроном не сделал бы подобного замечания, особенно в научном журнале, так как Земля не в тринадцать, а в сорок девять раз больше Луны. То же можно сказать и о заключительных страницах, где ученый-корреспондент распространяется насчет некоторых недавних открытий, сделанных в связи с Сатурном, и дает подробное ученическое описание этой планеты — и это для «Эдинбургского научного журнала»!

Есть одно обстоятельство, которое особенно выдает автора. Допустим, что изобретен телескоп, с помощью которого можно увидеть животных на Луне, — что прежде всего бросится в глаза наблюдателю, находящемуся на Земле? Без сомнения, не форма, не рост, не другие особенности, а странное положение лунных жителей. Ему покажется, что они ходят вверх ногами, как мухи на потолке. Невымысленный наблюдатель едва ли удержался бы от восклицания при виде столь странного положения живых существ (хотя бы и предвидел его заранее), наблюдатель вымысленный не только не отметил этого обстоятельства, но говорит о форме всего тела, хотя мог видеть только форму головы!

Заметим в заключение, что величина и особенно сила человека — летучей мыши (например, способность летать в разреженной атмосфере, если, впрочем, на Луне есть какая-нибудь атмосфера) противоречат всякой вероятности. Вряд ли нужно прибавлять, что все соображения, приписываемые Брюстеру и Гершелю в начале статьи — «передача искусственного света с помощью предмета,

находящегося в фокусе поля зрения», и проч. и проч., — относятся к разряду высказываний, именуемых в просторечии чепухой.

Существует предел для оптического изучения звезд — предел, о котором достаточно упомянуть, чтобы понять его значение. Если бы все зависело от силы оптических стекол, человеческая изобретательность, несомненно, справилась бы в конце концов с этой задачей, и у нас были бы чечевицы каких угодно размеров. К несчастью, по мере возрастания увеличительной силы стекол, вследствие рассеяния лучей уменьшается сила света, испускаемого объектом. Этой беде мы не в силах помочь, так как видим объект только благодаря исходящему от него свету — его собственному или отраженному. «Искусственный» свет, о котором толкует мистер Л., мог бы иметь значение лишь в том случае, если бы был направлен не на «объект, находящийся в поле зрения», а на действительный изучаемый объект — *то есть на Луну*. Нетрудно вычислить, что если свет, исходящий от небесного тела, достигает такой степени расстояния, при которой окажется не сильнее естественного света всей массы звезд в ясную, безлунную ночь, то это тело станет недоступным для изучения.

Телескоп лорда Росса, недавно построенный в Англии, имеет зеркало с отражающей поверхностью в 4071 квадратный дюйм; телескоп Гершеля — только в 1811 дюймов. Труба телескопа лорда Росса имеет 6 футов в диаметре, толщина ее на краях — $5\frac{1}{2}$, в центре — 5 дюймов. Фокусное расстояние — 50 футов. Вес — 3 тонны.

Недавно мне случилось прочесть любопытную и довольно остроумную книжку, на титуле которой значится: «L'Homme dans la Lune, ou le Voyage Chimerique fait au Monde la Lune, nouvellement decouvert par Dominique Gonzales, Advanturier Espagnol, autremeent dit le Courier volant. Mis en notre langue par J. B. D. A. Paris, chez Franois Piot, pres la Fontaine de Saint Benoist. Et chez

J. Goignard, au premier pilier de la grand, salle du Palais, proche les Consultations, MDCXLVIII», p. 176¹

Автор говорит, что перевел книжку с английского подлинника некоего мистера Д'Ависсона (Дэвидсон?), хотя выражается крайне неопределенно.

«J'en ai eu,— говорит он,— l'original de Monsieur D'Avisson medecin des mieux versez qui soient aujourd' huy dans la conoissance des Belles Lettres, et sur tout de la Philosophie Naturelle. Je lui ai cette obligation entre les autres, de m'auoir non seulement mis en main ce Livre en anglois, mais encore de Manuscrit du Sieur Thomas D'Anan, gentilhomme Eccossois, recommandable pour sa vertu, sur la version duquel j'ad voue j'ay tire le plan de la mienne»².

После разнообразных приключений во вкусе Жиль Блаза, рассказ о которых занимает первые тридцать страниц, автор попадает на остров Святой Елены, где возмущившийся экипаж оставляет его вдвоем со служителем негром. Ради успешнейшего добывания пищи они разошлись и поселились в разных концах острова. Потом им вздумалось общаться друг с другом с помощью птиц, дрессированных на манер почтовых голубей. Мало-помалу птицы выучились переносить тяжести, вес которых постоянно увеличивался. Наконец, автору пришло в голову воспользоваться соединенными силами целой стаи птиц и подняться самому. Для этого он построил машину, ко-

¹ «Человек на Луне, или же Химерическое путешествие в Лунный мир, незадолго перед тем открытый Домиником Гонзалесом, испанским авантюристом, иначе именуемым Летучим Вестником. Переведено на наш язык Ж. Б. Д. А. Продается в Париже, у Франсуа Пио, возле фонтана Сен-Бенуа, и у Ж. Гуаньяра, возле первой колонны в большой дворцовой зале, близ Консультаций, MDCXLVIII», с. 176. (фр.).

² Оригинал я получил от господина Д'Ависсона, врача, одного из наиболее сведущих в области изящной словесности, особливо же в натурфилософии. Среди прочего я обязан ему тем, что он не только дал мне свою аглицкую книгу, но также и рукопись господина Томаса Д'Анана, шотландского дворянина, за свою доблесть достойного хвалы, из коей я, должен признаться, заимствовал и план собственного моего повествования (искаж. фр.).

торая подробно описана и изображена в книжке. На рисунке мы видим сеньора Гонзалеса в кружевных брыжах и огромном парике, верхом на каком-то подобии метлы, уносимого стаей диких лебедей (*ganzas*), к хвостам которых привязана машина.

Главное приключение сеньора обусловлено очень важным фактом, о котором читатель узнает только в конце книги. Дело в том, что пернатые, которых он приручил, оказываются уроженцами не острова Святой Елены, а Луны. С незапамятных времен они ежегодно прилетают на Землю; но в надлежащее время, конечно, возвращаются обратно. Таким образом, автор, рассчитывавший на непродолжительное путешествие, поднимается прямо в небо и в самое короткое время достигает Луны. Тут он находит среди прочих курьезов — население, которое вполне счастливо. Обитатели Луны, не зная законов, умирают без страданий; ростом они от десяти до тридцати футов; живут пять тысяч лет. У них есть император, по имени Ирдонозур; они могут подпрыгивать на высоту шестидесяти футов и, выйдя, таким образом, из сферы притяжения, летать с помощью особых крыльев.

Не могу не привести здесь образчик философствования автора:

«Теперь я расскажу вам, — говорит сеньор Гонзалес, — о природе тех мест, где я находился. Облака скопились под моими ногами, то есть между мною и Землей. Что касается звезд, то они все время казались одинаковыми, так как здесь вовсе не было ночи; они не блестели, а слабо мерцали, точно на рассвете. Немногие из них были видимы и казались вдесятеро больше (приблизительно), чем когда смотришь на них с Земли. Луна, которой недоставало двух дней до полнолуния, казалась громадной величины.

Не следует забывать, что я видел звезды только с той стороны Земли, которая обращена к Луне, и что чем ближе они были к ней, тем казались больше. Замечу также, что и в тихую погоду, и в бурю я всегда находился *между Землей и Луной*. Это подтверждалось двумя обстоятельствами: во-первых, лебеди поднимались все время по прямой линии; во-вторых, всякий раз, когда они останав-

ливались отдохнуть, мы все же двигались вокруг земного шара. Я разделяю мнение Коперника, согласно которому Земля вращается с востока на запад не вокруг полюсов Равноденствия, называемых в просторечии полюсами мира, а вокруг полюсов Зодиака. Об этом вопросе я намерен поговорить более подробно впоследствии, когда освежу в памяти сведения из астрологии, которую изучал в молодые годы, будучи в Саламанке, но с тех пор успел позабыть».

Несмотря на грубые ошибки, книжка заслуживает внимания как простодушный образчик наивных астрономических понятий того времени. Между прочим, автор полагает, что «притягательная сила» Земли действует лишь на незначительное расстояние от ее поверхности, и вот почему он «все же двигался вокруг земного шара» и т. д.

Есть и другие «путешествия на Луну», но их уровень не выше этой книжки. Книга Бержерака не заслуживает внимания. В третьем томе «Американ куотерли ревью» помещен обстоятельный критический разбор одного из таких «путешествий», — разбор, свидетельствующий столько же о нелепости книжки, сколько и о глубоком невежестве критика. Я не помню заглавия, но способ путешествия еще глупее, чем полет нашего приятеля сеньора Гонзалеса. Путешественник случайно находит в земле неведомый металл, притяжение которого к Луне сильнее, чем к Земле, делает из него ящик и улетает на Луну. «Бегство Томаса О'Рука» — не лишенный остроумия *jeu d'esprit*; книжка эта переведена на немецкий язык. Герой рассказа Томас — лесничий одного ирландского пэра, эксцентричные выходы которого послужили поводом для рассказа, — улетает на спине орла с Хангри-Хилл, высокой горы, расположенной в конце Бантри Бей.

Все упомянутые брошюры преследуют сатирическую цель; тема — сравнение наших обычаев с обычаями жителей Луны. Ни в одной из них не сделано попытки придать с помощью научных подробностей правдоподобный характер самому путешествию. Авторы делают вид, что они люди вполне осведомленные в области астрономии. Своеобразие «Ганса Пфааля» заключается в попытке достигнуть этого правдоподобия, пользуясь научными принципами в той мере, в какой это допускает фантастический характер самой темы.



ЧЕРТ НА КОЛОКОЛЬНЕ

Который час?

Известное выражение

Решительно всем известно, что прекраснейшим местом в мире является — или, увы, являлся — голландский городок Школькофремен. Но ввиду того, что он расположен на значительном расстоянии от больших дорог, в захолустной местности, быть может, лишь весьма немногим из моих читателей довелось в нем побывать. Поэтому ради тех, кто в нем не побывал, будет вполне уместно сообщить о нем некоторые сведения. Это тем более необходимо, что, надеясь пробудить сочувствие публики к его жителям, я намереваюсь поведать здесь историю бедственных событий, недавно происшедших в его пределах. Никто из знающих меня не усомнится в том, что долг, мною на себя добровольно возложенный, будет выполнен в полную меру моих способностей, с тем строгим беспристрастием, скрупулезным изучением фактов и тщательным сличением источников, коими ни в коей мере не должен пренебрегать тот, кто претендует на звание историка.

Пользуясь помощью летописей купно с надписями и древними монетами, я могу утверждать о Школькофрене, что он со своего основания находился совершенно в таком же состоянии, в каком пребывает и ныне. Однако с сожалением замечу, что о дате его основания я могу говорить лишь с той неопределенной определенностью, с какой математики иногда принуждены мириться в некоторых алгебраических формулах. Поэтому могу сказать одно: городок стар, как все на земле, и существует с сотворения мира.

С прискорбием сознаюсь, что происхождение названия «Школькофремен» мне также неведомо. Среди множества мнений по этому щекотливому вопросу — из коих некоторые остроумны, некоторые учены, а некоторые в достаточной мере им противоположны — не могу выбрать ни одного, которое следовало бы счесть удовлетворительным. Быть может, гипотеза Шнапстринкена, почти совпадающая с гипотезой Тугодумма, при известных отговорках заслуживает предпочтения. Она гласит: «Школько» — читай — «горький» — горячий; «фремен» — непр. — вм. «кремень»; видимо, идиом. для «молния». Такое происхождение этого названия, по правде говоря, поддерживается также некоторыми следами электрического флюида, еще замечаемыми на острие шпиля ратуши. Однако я не желаю компрометировать себя, высказывая мнения о столь важной теме, и должен отослать интересующегося читателя к труду «Oratiunculce de Rebus Proeter-Veteris»¹ сочинения Брюкенгромма. Также смотри Вандерстервен, «De Derivationibus»² (с. 27 — 5010, фолио, готич. изд., красный и черный шрифт, колонтитул и без арабской пагинации), где можно также ознакомиться с заметками на полях Сорундвздора и комментариями Тшафкенхрюкена.

Несмотря на тьму, которой покрыты дата основания Школькофремена и происхождение его названия, не может быть сомнения, как я уже указывал выше, что он всегда выглядел совершенно так же, как и в нашу эпоху. Старейший из жителей не может вспомнить даже малейшего изменения в облике какой-либо его части; да и самое допущение подобной возможности сочли бы оскорбительным. Городок расположен в долине, имеющей форму правильного круга, — около четверти мили в окружности, — и со всех сторон его обступают пологие холмы, перейти которые еще никто не отважился. При этом они ссылаются на вполне здравую причину: они не верят, что по ту сторону холмов хоть что-нибудь есть.

По краю долины (совершенно ровной и полностью вымощенной кафелем) расположены, примыкая друг к

¹ «Небольшие речи о давнем прошлом» (лат.).

² «Об образованиях» (лат.).

другу, шестьдесят маленьких домиков. Домики эти, поскольку задом они обращены к холмам, фасадами выходят к центру долины, находящемуся ровно в шестидесяти ярдах от входа в каждый дом. Перед каждым домиком маленький садик, а в нем — круговая дорожка, солнечные часы и двадцать четыре кочана капусты. Все здания так схожи между собой, что никак невозможно отличить одно от другого. Ввиду большой древности архитектура у них довольно странная, но тем не менее она весьма живописна. Выстроены они из огнеупорных кирпичиков — красных с черными концами, так что стены похожи на большие шахматные доски. Коньки крыш обращены к центру площади; вторые этажи далеко выступают над первыми. Окна узкие и глубокие, с маленькими стеклами и частым переплетом. Крыши покрыты черепицей с высокими гребнями. Деревянные части — темного цвета; и хоть на них много резьбы, но разнообразия в ее рисунке мало, ибо с незапамятных времен резчики Школькофремена умели изображать только два предмета — часы и капустный кочан. Но вырезают они их отлично, и притом с поразительной изобретательностью — везде, где только хватит места для резца.

Жилища так же сходны между собой внутри, как и снаружи, и мебель расставлена по одному плану. Полы покрыты квадратиками кафеля; стулья и столы с тонкими изогнутыми ножками сделаны из дерева, похожего на черное. Полки над каминами высокие и черные, и на них имеются не только изображения часов и кочанов, но и настоящие часы, которые помещаются на самой середине полка; часы необычайно громко тикают; по концам полка, в качестве пристяжных, стоят цветочные горшки; в каждом горшке по капустному кочану. Между горшками и часами стоят толстопузые фарфоровые человечки; в животе у каждого из них большое круглое отверстие, в котором виден часовой циферблат.

Камины большие и глубокие, со стоячками самого фантастического вида. Над вечно горящим огнем — громадный котел, полный кислой капусты и свинины, за которым всегда наблюдает хозяйка дома. Это маленькая толстая старушка, голубоглазая и краснолицая, в огром-

ном, похожем на сахарную голову, чепце, украшенном лиловыми и желтыми лентами. На ней оранжевое платье из полушерсти, очень широкое сзади и очень короткое в талии, да и вообще не длинное, ибо доходит только до икр. Икры у нее толстоватые, щиколотки — тоже, но обтягивают их нарядные зеленые чулки. Ее туфли — из розовой кожи, с пышными пучками желтых лент, которым придана форма капустных кочанов. В левой руке у нее тяжелые голландские часы, в правой — половник для помешивания свинины с капустой. Рядом с ней стоит жирная полосатая кошка, к хвосту которой мальчики потехи ради привязали позолоченные игрушечные часы с репетиром.

Сами мальчики — их трое — в саду присматривают за свиньей. Все они ростом в два фута. На них треуголки, доходящие до бедер лиловые жилеты, короткие панталоны из оленьей кожи, красные шерстяные чулки, тяжелые башмаки с большими серебряными пряжками и длинные сюртуки с крупными перламутровыми пуговицами. У каждого в зубах трубка, а в правой руке — маленькие пузатые часы. Затянутся они — и посмотрят на часы, посмотрят — и затянутся. Дородная ленивая свинья то подбирает опавшие капустные листья, то пытается лягнуть позолоченные часы с репетиром, которые мальчишки привязали к ее хвосту, дабы она была такой же красивой, как и кошка.

У самой парадной двери, в обитых кожей креслах с высокой спинкой и такими же изогнутыми ножками, как у столов, сидит сам хозяин дома. Это весьма пухлый старичок с большими круглыми глазами и огромным двойным подбородком. Одет он так же, как и дети, — и я могу об этом более не говорить. Вся разница в том, что трубка у него несколько больше и дым он пускает обильнее. Как и у мальчиков, у него есть часы, но он их носит в кармане. Говоря по правде, ему надо следить кое за чем поважнее часов, — а за чем, я скоро объясню. Он сидит, положив правую ногу на левое колено, облик его строг, и по крайней мере один его глаз всегда прикован к некоей примечательной точке в центре долины.

Точка эта находится на башне городской ратуши. Советники ратуши — все очень маленькие, кругленькие, масляные и смышленные человечки с большими, как блюдца, глазами и толстыми двойными подбородками, а сюртуки у них гораздо длиннее и пряжки на башмаках гораздо больше, нежели у обитателей Школькофремена. За время моего пребывания в городе у них состоялось несколько особых совещаний, и они приняли следующие три важных решения:

«Что изменять добрый старый порядок жизни нехорошо»;

«Что вне Школькофремена нет ничего даже сносного» и

«Что мы будем держаться наших часов и нашей капусты».

Над залом ратуши высится башня, а на башне есть колокольня, на которой находятся и находились с времен незапамятных гордость и диво этого города — главные часы Школькофремена. Это и есть точка, к которой обращены взоры старичков, сидящих в кожаных креслах.

У часов семь циферблатов — по одному на каждую из сторон колокольни, — так что их легко увидеть отовсюду. Циферблаты большие, белые, а стрелки тяжелые, черные. Есть специальный смотритель, единственной обязанностью которого является надзор за часами; но эта обязанность — совершеннейший вид синекуры, ибо со школькофременскими часами никогда еще ничего не случилось. До недавнего времени даже предположение об этом считалось ересью. В самые древние времена, о каких только есть упоминания в архивах, большой колокол регулярно отбивал время. Да, впрочем, и все другие часы в городе тоже. Нигде так не следили за точным временем, как в этом городе. Когда большой колокол находил нужным сказать: «Двенадцать часов!» — все его верные последователи одновременно разверзали глотки и откликались, как само эхо. Короче говоря, добрые бюргеры любили кислую капусту, но своими часами они гордились.

Всех, чья должность является синекурой, в той или иной степени уважают, а так как у школькофременского смотрителя колокольни совершеннейший вид синекуры, то и уважают его больше, нежели кого-нибудь на свете.

Он главный городской сановник, и даже свиньи взирают на него снизу вверх с глубоким почтением. Фалды его сюртука гораздо длиннее, трубка, пряжки на башмаках, глаза и живот гораздо больше, нежели у других городских старцев. Что до его подбородка, то он не только двойной, а даже тройной.

Вот я и описал счастливый уголок Школькофремен. Какая жалость, что столь прекрасная картина должна была перемениться на обратную!

Давно уж мудрейшие обитатели его повторяли: «Из-за холмов добра не жди», — и в этих словах оказалось нечто пророческое. Два дня назад, когда до полудня оставалось пять минут, на вершине холмов с восточной стороны появился предмет весьма необычного вида. Такое происшествие, конечно, привлекло всеобщее внимание, и каждый старичок, сидевший в кожаных креслах, смятенно устремил один глаз на это явление, не отрывая второго глаза от башенных часов.

Когда до полудня оставалось всего три минуты, любопытный предмет на горизонте оказался миниатюрным молодым человеком чужеземного вида. Он с необычайной быстротой спускался с холмов, так что скоро все могли подробно рассмотреть его. Воистину это был самый жеманный франт из всех, каких когда-либо видели в Школькофрене. Цвет его лица напоминал темный нюхательный табак, у него был длинный крючковатый нос, глаза — как горошины, широкий рот и прекрасные зубы, которыми он, казалось, стремился перед всеми похвастаться, улыбаясь до ушей; бакенбарды и усы скрывали остальную часть его лица. Он был без шляпы, с аккуратными папильотками в волосах. На нем был плотно облегающий фрак (из заднего кармана которого высовывался длиннейший угол белого платка), черные кашемировые панталоны до колен, черные чулки и тупоносые черные лакированные туфли с громадными пучками черных атласных лент вместо бантов. К одному боку он прижимал локтем громадную шляпу, а к другому — скрипку, почти в пять раз больше него самого. В левой руке он держал золотую табакерку, из которой, сбегая с прискоком с холма и выделявая самые фантастические па, в то же время

непрерывно брал табак и нюхал его с видом величайшего самодовольства. Вот это, доложу я вам, было зрелище для честных бюргеров Школькофремена!

Проще говоря, у этого малого, несмотря на его ухмылку, лицо было дерзкое и зловещее; и когда он, выделявая курбеты, влетел в городок, странные, словно обрубленные носки его туфель вызвали немалое подозрение; и многие бюргеры, видевшие его в тот день, согласились бы даже пожертвовать малой толикой, лишь бы заглянуть под белый батистовый платок, столь досадно свисавший из кармана его фрака. Но главным образом этот наглого вида франтик возбудил праведное негодование тем, что, откалывая тут фанданго, там джигу, казалось, не имел ни малейшего понятия о необходимости соблюдать в танце правильный *счет*.

Добрые горожане, впрочем, и глаз-то как следует открыть не успели, когда этот негодяй — до полудня оставалось всего полминуты — очутился в самой их гуще; тут «шассе», там «балансе», а потом, сделав пируэт и па-де-зефир, вспорхнул прямо на башню, где пораженный смотритель сидел и курил, исполненный достоинства и отчаяния. А человек тут же схватил его за нос и дернул как следует, нахлобучил ему на голову шляпу, закрыв ему глаза и рот, а потом замахнулся большой скрипкой и стал бить его так долго и старательно, что при соприкосновении столь полой скрипки со столь толстым зрителем можно было подумать, будто целый полк барабанщиков выбивает сатанинскую дробь на башне школькофременской ратуши.

Кто знает, к какому отчаянному возмездию побудило бы жителей это бесчестное нападение, если бы не одно важное обстоятельство: до полудня оставалось только полсекунды. Колокол должен был вот-вот ударить, а внимательное наблюдение за своими часами было абсолютной и насущной необходимостью. Однако было очевидно, что в тот самый миг пришелец проделывал с часами что-то неподобающее. Но часы забили, и ни у кого не было времени следить за его действиями, ибо всем надо было считать удары колокола.

— Раз! — сказали часы.

— Расс! — отозвался каждый маленький старичок с каждого обитого кожей кресла в Школькофремене. «Расс!» — сказали его часы; «расс!» — сказали часы его супруги, и «расс!» — сказали часы мальчиков и позолоченные часики с репетиром на хвостах у кошки и у свиньи.

— Два! — продолжал большой колокол; и

— Тфа! — повторили все за ним.

— Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Десять! — сказал колокол.

— Три! Тшетире! Пиать! Шшесть! Зем! Фосем! Тефять! Тесять! — ответили остальные.

— Одиннадцать! — сказал большой,

— Отиннатсать! — подтвердили маленькие.

— Двенадцать! — сказал колокол.

— Тфенатсать! — согласились все, удовлетворенно понизив голос.

— Унд тфенатсать тшасофф и есть! — сказали все старички, поднимая часы.

Но большой колокол еще с ними не покончил.

— Тринадцать! — сказал он.

— Дер Тейфель! — ахнули старички, бледнея, роняя трубки и снимая правые ноги с левых колен.

— Дер Тейфель! — стонали они.— Дряннатсать! Дряннатсать! Майн Готт, сейтшас, сейтшас дряннатсать тшасофф!

К чему пытаться описать последовавшую ужасную сцену? Всем Школькофременом овладело прискорбное смятение.

— Што с моим шифотом! — возопили все мальчики.— Я целый тшас колотаю!

— Што с моей капустой? — визжали все хозяйки. — Она за тшас вся расфарилась!

— Што с моей трупкой? — бранились все старички.— Кром и молния! Она целый тшас как покасла! — И в гнев они снова набили трубки и, откинувшись на спинки кресел, запыхтели так стремительно и свирепо, что вся долина мгновенно окуталась непроницаемым дымом.

Тем временем все капустные кочаны покраснели, и казалось, сам нечистый вселился во все, имеющее вид часо́в. Часы, вырезанные на мебели, заплясали, точно бес-

новатые; часы на каминных полках едва сдерживали ярость и не переставали отбивать тринадцать часов, а маятники так дрыгались и дергались, что страшно было смотреть. Но еще хуже то, что ни кошки, ни свиньи не могли больше мириться с поведением часиков, привязанных к их хвостам, и выражали свое возмущение тем, что метались, царапались, повсюду совали рыла, визжали и верещали, мяукали и хрюкали, кидались людям в лицо и забирались под юбки — словом, устроили самый омерзительный гомон и смятение, какие только может вообразить здравомыслящий человек. А в довершение всех зол негодный маленький шалопай на колокольне, по-видимому, старался всюю. Время от времени мерзавца можно было увидеть сквозь клубы дыма. Он сидел в башне на упавшем навзничь смотрителе. В зубах злодей держал веревку колокола, которую дергал, мотая головой, и при этом поднимал такой шум, что у меня до сих пор в ушах звенит, как вспомню. На коленях у него лежала скрипка, которую он скреб обеими руками, немилосердно фальшивя и делая вид, бездельник, будто играет «Джуди О'Фланнаган и Пэдди О'Рафферти».

При столь горестном положении вещей я с отвращением покинул этот город и теперь взываю о помощи ко всем любителям точного времени и кислой капусты. Направимся туда в боевом порядке и восстановим в Школькофремене былой уклад жизни, изгнав этого малого с колокольни.



БЕСЕДА МОНОСА И УНЫ

Μελλοντα ταυτα.

То в будущем.

С о ф о к л. «Антигона».

Уна. «Новое рождение»?

Монос. Да, прекраснейшая и любимейшая Уна, «новое рождение». Над загадочным смыслом этих слов я долго раздумывал, отвергая толкования священнослужителей, пока сама Смерть не раскрыла мне тайну.

Уна. Смерть!

Монос. Как странно, милая Уна, повторяешь ты мои слова! Я замечаю также неровность твоей поступи и радостную тревогу твоего взора. Ты растеряна и подавлена величавой новизною Жизни Вечной. Да, я говорил о Смерти. И как по-особому звучит здесь это слово, в былом вселявшее ужас во все сердца, покрывавшее плесенью все отрады!

Уна. Ах, Смерть, призрак, что восседал на всех пиршествах! Как часто, Монос, мы терялись в предположениях относительно ее природы! Как загадочно обуздывала она блаженство человеческое, говоря ему: «Доселе и не дале!» Та искренняя взаимная любовь, что пылала в наших сердцах, мой Монос,— о, сколь самонадеянно были мы убеждены, испытывая счастье при ее первом проблеске, что наше счастье возрастет вместе с нею! Увы! По мере ее роста рос в наших сердцах и ужас перед тем злым часом, что спешил разлучить нас навеки! И так, со временем, любовь стала причинять муки. Тогда ненависть явилась бы милостью.

Монос. Не говори здесь об этих горестях, дорогая Уна,— теперь ты моя, моя навеки!

Уна. Но память страданий прошлого — разве она не отрада в настоящем? Я еще многое поведаю о том, что было. Но прежде всего я сгораю от желаний узнать о твоём пути через темный Дол и Тень.

Монос. Когда же лучезарная Уна понапрасну просила о чем-либо ее Моноса? Я перескажу все до мельчайших подробностей — но с чего начать мне мое страшное повествование?

Уна. С чего?

Монос. Да.

Уна. Я поняла тебя, Монос. В Смерти мы оба узнали о склонности людской к определению неопределяемого. Поэтому я не скажу: начни с мгновения, когда жизнь прекратилась, — нет, начни с того печального, печального мига, когда жар схлынул и ты погрузился в бездыханное и недвижимое оцепенение, а я опустила тебе веки пыльными перстами любви.

Монос. Сначала два слова, моя Уна, касательно общего состояния человечества в ту эпоху. Ты припомнишь, что двое или трое мудрецов из числа наших пращуров — мудрецов разумом, а не славой мирскою — отважились усомниться в том, что термин «улучшение» подобает прогрессу нашей цивилизации. В каждом из пяти или шести столетий, непосредственно предшествовавших нашему упадку, рождался какой-то могучий ум, смело встававший на защиту тех принципов, чья истинность ныне предстает нашему освобожденному рассудку столь самоочевидной, тех принципов, что должны были бы научить наш род скорее повиноваться зову законов природы, нежели пытаться управлять ими. Через длительные промежутки появлялся какой-нибудь великий ум, который видел в каждом шаге вперед практической науки некий шаг назад в смысле истинной полезности. Время от времени поэтический интеллект — тот интеллект, что, как теперь мы чувствуем, является самым возвышенным, — ибо истины, полные для нас наиболее долговечного значения, достижимы лишь путем *аналогии*, доказательной для одного лишь воображения и бессильной перед ничем не подкрепленным рассудком, — время от времени этот поэтический интеллект делал новый шаг в развитии неясной

философской мысли и обретал в мистической параболе, повествующей о древе познания и запретном плоде, приносящем смерть, точное указание на то, что познание не пристало человеку в пору младенчества его души. И они, поэты, что жили и гибли, окруженные презрением «утилитаристов» — сиречь низменных педантов, присвоивших себе титул, подобающий лишь презираемым, — они, поэты, размышляли — в унынии, но не без мудрости, — о стародавних днях, когда нужды наши были столь же просты, сколь живы были наши утехи, — о днях, когда не ведали слова *всеслость*, ибо столь торжественно и величаво было счастье, — о священных, царственных, блаженных днях, когда голубые реки струились, не перекрытые плотинами, среди неразрытых холмов в дальнюю лесную глушь, перевозданную, благоуханную и неизведанную.

И все же эти благородные исключения из общего самоуправства лишь укрепляли его, рождая в нем противодействие. Увы! настал злейший из наших злых дней. Великое «движение» — таково было его избитое название — продолжалось: смута, тлетворная и телесно и духовно. Промысел — промыслы возвысились и, заняв престол, заковали в цепи интеллект, возведший их к верховной власти. Человек не мог не признать величие Природы и поэтому впал в детский восторг от достигнутой и все возрастающей власти над ее стихиями. И, надменный Бог в своем представлении о себе, он впал в ребяческое неразумие. Как можно было предположить, исходя из причины его расстройств, его заразила страсть к системе и абстракции. Он запутался в обобщениях. Среди прочих странных идей обрела почву идея всеобщего равенства; и пред ликом аналогии и Бога — невзирая на упреждения, громогласно сделанные законами *градацци*, столь явно объемлющими все сущее на Земле и Небе, — были предприняты безумные попытки установления всеобщей Демократии. Но это зло по необходимости было рождено главным злом — Познанием. Человек не мог и знать и подчиняться. Тем временем выросли бесчисленные города, громадные и задымленные. Зеленая листва увядала под горячим дыханием горнов. Прекрасный лик Природы был обезображен, словно после какой-либо мер-

зостной болезни. И мнится мне, милая Уна, что даже наше дремавшее чувство, говорящее о принуждении и насилии, еще могло бы тогда остановить нас. Но теперь делается ясным, что мы сами уготовили себе гибель извращением нашего *вкуса*, или, скорее, слепым небрежением его развитием в школах. Воистину, при этом кризисе один лишь вкус — то качество, которое, находясь между чистым интеллектом и нравственным чувством, не могло быть презрено безнаказанно, — один лишь вкус тогда еще мог неприметно вернуть нас к Красоте, Природе и Жизни. Но горе духу чистого созерцания и царственной интуиции Платона! Горе *μουσική*¹, которую он справедливо почитал достаточной для воспитания души! Горе ему и ей! — ибо в них была особо отчаянная нужда, когда их постигло полное забвение или полное презрение².

Паскаль, философ, которого мы оба любили, сказал — и как справедливо! — «*que tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment*»³ и вполне возможно, что чувство естественного, если бы время позволило, могло бы вернуть прежнее главенство над жестоким математическим рассудком школ. Но так не было суждено. Преждевременно вызванная неумеренностью знаний, наступила дряхлость мира. Большинство человечества этого не видело, или, живя энергической, но несчастливой жизнью, притворялось, что не видит. Меня же летописи Земли научили

¹ Музыка (*греч.*).

² «Трудно найти лучший [метод воспитания], чем тот, что уже найден опытом столь многих веков; его можно вкратце определить как состоящий из гимнастики для тела и музыки для души». — «Государство». Кн. 2.

«По этой причине музыкальное образование чрезвычайно важно, ибо оно дает Ритму и Гармонии проникнуть в душу как можно глубже, полна ее прекрасным и наделяя человека чувством прекрасного; он будет любоваться прекрасным и восхвалять его; с восторгом примет его к себе в душу, обретет в нем пищу для души и сольет с ним свое существование». — Там же с. Кн. 3.

Музыка (*μουσική*) у афинян значила гораздо более, нежели у нас. Она обнимала не только гармонию ритма и мотива, но и поэтический стиль, чувство и творчество — все в самом широком смысле слова. Изучение музыки для них являлось фактически общим развитием вкуса чувства прекрасного — в отличие от разума, изучающего только истинное. — *Примеч. автора.*

³ Что всякое наше рассуждение готово уступить чувству (*фр.*).

усматривать в величайшем разрушении плату за высочайшую цивилизацию. Я почерпнул предвидение нашего Рока из сравнения простого и выносливого Китая с зодчим Вавилоном, с астрологом Египтом, с Нубией, более хитроумной, нежели они, бурной матерью всех промыслов. В истории¹ этих стран мне сверкнул луч из Будущего. Присущие трем последним государствам вычурности были локальными заболеваниями Земли, и в падении каждого мы видели применение местного лекарства; но для мира, зараженного целиком, я видел возрождение только в смерти. Для того, чтобы род человеческий не прекратился, он должен был, как открылось мне, испытать «новое рождение».

И тогда-то, прекраснейшая и дражайшая, мы стали каждый день погружаться в грезы. Тогда-то в сумерках мы рассуждали о грядущих днях, когда израненная промыслом поверхность Земли, пройдя пурификацию², которая одна сможет стереть ее непристойные прямоугольники, вновь облачится в зелень, горные склоны и улыбочивые райские воды и станет постепенно достойным обиталищем человеку — человеку, очищенному Смертью, — человеку, для чьего возвышенного ума познание тогда не будет ядом, — искупленному, возрожденному, блаженному и тогда уже бессмертному, но все же *материальному* человеку.

Уна. Я отлично помню эти разговоры, дорогой Монос; но эпоха огненной катастрофы была не так близка, как мы верили и как заставляла нас верить упомянутая тобою испорченность. Люди жили и умирали, каждый сам по себе. Заболел и ты и сошел в могилу; и вскоре за тобою последовала твоя верная Уна. И хотя с той поры миновало столетие, конец которого вновь соединил нас, и пусть на его протяжении наши дремлющие чувства не томились долгою разлукою, но все же, мой Монос, это было столетие.

¹ От греческого *ιωτορστν* — созерцать. — *Примеч. автора.*

² Слово «пурификация» (очищение), видимо, соотнесено здесь с греческим корнем *τρ* — «огонь». — *Примеч. автора.*

Монос. Скажи лучше: точка в неопределенной бесконечности. Несомненно, я умер в пору одряхления Земли. Измученный тревогами, рожденными всеобщей смутой и разложением, я пал жертвою свирепой лихорадки. После немногих дней, исполненных страдания, и многих — исполненных бредовых грез, пронизанных экстазом, проявления которого ты считала страданиями, а я жаждал тебя разуверить, но не мог — через несколько дней на меня сошло, как ты сказала, бездыханное и недвижимое оцепенение; и его называли *Смертью* те, кто стоял вокруг меня.

Слова *зыбки*. Мое состояние не лишило меня способности воспринимать. Я усмотрел в нем известное сходство с полным покоем того, кто после долгой и глубокой дремоты лежит недвижимо в летний полдень и к кому начинает постепенно возвращаться сознание — оттого, что он выспался, а не от каких-либо внешних помех его сну.

Я перестал дышать. Пульс затих. Сердце не билось. Волевое начало не оставило меня, но было бессильно. Чувства необычно обострились, хотя часто и беспорядочно заимствовали одно у другого свои функции. Вкус и обоняние нерасторжимо смешались и стали единым чувством, ненормальным и напряженным. Розовая вода, которою ты нежно увлажняла мне губы до последнего часа, пробуждала во мне отрадные грезы о цветах, о фантастических цветах, куда более прекрасных, нежели любые цветы старой Земли, о цветах, чьи прообразы мы видим расцветающими здесь вокруг нас. Веки, бескровные и прозрачные, не препятствовали зрению. Так как волевое начало бездействовало, глазные яблоки не могли вращаться в орбитах — но все предметы в поле зрения были видны с большею или меньшею отчетливостью; лучи, попадавшие на наружную ретину или в угол глаза, производили более сильное действие, нежели те, что касались передней поверхности. И все же в первом случае эффект был столь ненормален, что я воспринимал его только в качестве *звука* — приятного или резкого в зависимости от того, были ли предметы, находящиеся сбоку от меня, светлыми или темными по тону, закругленными или угловатыми по очертаниям. В то же время слух, хотя и

крайне возбужденный, не менял своей природы, оценивая реальные звуки с удивительной точностью. Осязание претерпело более любопытную перемену. Его впечатления поступали с запозданием, но держались очень долго, неизменно разрешаясь огромным физическим наслаждением. Так, то, что твои милые персты нажали мне на веки, сначала я ощутил только зрением, и лишь через много времени после того, как ты отняла их, все мое существо преисполнилось неизмеримым чувственным восторгом. Я говорю — чувственным. Все мои восприятия были сугубо чувственны по природе. Показания, сообщаемые пассивному мозгу чувствами, ни в коей мере не осмыслились умершим рассудком. Было немного больно и очень приятно; но моральных страданий или отрад никаких. Так, твои исступленные рыдания влились в мой слух со всеми горестными каденциями, и были восприняты все вариации их скорбного строя; но для меня они звучали нежно и музыкально, не более; они не давали угасшему рассудку никакого представления о породившем их горе; а крупные слезы, долго падавшие мне на лицо, говоря очевидцам о разбитом сердце, охватывали меня всего экстазом — и только. И это воистину была *Смерть*, о которой стоявшие рядом почтительно говорили таким шепотом, а ты, милая Уна, — с громкими стенаниями и задыхаясь.

Меня обрядили во гроб — три или четыре темные фигуры, озабоченно сновавшие взад и вперед. Пересекаясь с прямой моего зрения, они воспринимались мною как формы; но, переходя вбок от меня, давали мне понятие о пронзительных криках, столах и других исступленных выражениях страха, ужаса и горя. Ты одна, облаченная в белое, двигалась музыкально во всех направлениях.

День угасал; и, пока убывал свет, мною овладевала смутная неловкость — волнение, подобное тому, что испытывает спящий, когда грубые звуки действительности все время поражают его слух, — тихий отдаленный звон, похожий на колокольный, торжественный, с длинными, но равномерными перерывами, смешивающийся с меланхолическими грезами. Настала ночь; а с ее тенями мною овладела тягостная тревога. Ясно ощутимая, она давила

на мои члены, как некий изнурительный груз. Слышался также звук, подобный стону, несколько напоминающий отдаленный рокот прибоя, но более длительный; он возник с началом сумерек и усиливался по мере того, как сгущалась тьма. Внезапно в комнату внесли огонь, и раскаты превратились в частые, но неравномерные взрывы того же звука, только менее унылого и менее отчетливого. Тягостное состояние значительно облегчилось; и, исходя от пламени каждой лампы (а их было много), в мой слух вливалась непрерывная, монотонная мелодия. И когда, дорогая Уна, ты приблизилась к одру, на котором я был простерт, и тихо села рядом, а твои сладостные уста, прижимаясь к моему лбу, источали благоухание, в груди моей трепетно возникло, мешаясь с сугубо физическими ощущениями, порожденными обстоятельствами, нечто родственное самому чувству, — полупризнание, полутклик на твою искреннюю любовь и скорбь; но это чувство не укоренилось в недвижимом сердце и, право же, казалось скорее тенью, нежели реальностью, и быстро поблекло, вначале став полным бездействием, а затем — чисто физической отрадой, как и прежде.

И тогда из обломков и хаоса обычных чувств как бы возникло во мне шестое, совершенное. В нем обрел я бурное наслаждение — но все еще физическое, поскольку в нем не было места пониманию. Движение в теле полностью прекратилось. Не сокращалась ни одна мышца; не напрягался ни один нерв; не трепетала ни одна артерия. Но в мозгу как бы всплыло *то*, о чем никакие слова не могут дать человеческому разуму хотя бы смутное представление. Позволь мне назвать его качательной пульсацией ума. Это было внутреннее воплощение абстрактной идеи *Времени*, доступной человеку. Путем абсолютного выравнивания этого движения — или чего-то подобного — были установлены циклы небесных орбит. С его помощью я определил ошибку часов на каминной полке, а также часов, принадлежавших тем, кто присутствовал. Тиканье всех часов звучно отдавалось у меня в ушах. Малейшее отклонение от истинной меры — а этим отклонениям не было числа — действовало на меня так же, как на земле поправление абстрактных истин способно воздействовать на

нравственное чувство. Хотя никакие два часовых механизма в комнате не отсчитывали секунды точно в унисон, все же я без труда различал звуки и ошибки каждого. И это — это острое, совершенное, самодовлеющее чувство *протяженности* во времени — это чувство, существующее (ибо ни один человек не в силах представить его) независимо от какого-либо чередования событий, — эта идея — это шестое чувство, рождающееся из праха остальных, было первым шагом вневременной души на пороге временной Вечности.

Была полночь; ты все еще сидела рядом со мною. Все другие оставили покой Смерти. Меня положили в гроб. Лампы мигали; я знал это по дрожи монотонных звуков. Но внезапно отчетливость и сила этих звуков стала убывать. Наконец, они замолкли. Аромат в моих ноздрях исчез. Зрение больше не отражало никаких форм. Тягостный Мрак перестал давить мне на грудь. Тупой удар, похожий на электрический, пронизал мое тело, после чего полностью исчезло самое понятие о соприкосновении. Все, что человек называет чувством, смешалось воедино в сознании существования, единственном оставшемся, и в непреходящем чувстве протяженности во времени. Смертное тело, наконец, получило удар десницы смертельного *Разложения*. Но не все ощущения исчезли: летаргическое наитие оставило мне что-то небольшое. Я сознавал ужасные перемены, которым теперь подвергалась плоть, и, подобно тому, как спящий порою ощущает присутствие кого-то, над ним склонившегося, так и я, милая Уна, в оцепенении чувствовал, что ты сидишь рядом со мною. И когда настал следующий полдень, я как-то еще сознавал то, что разлучило тебя со мною, что замкнуло меня в гробу, что поместило меня на катафалк, что доставило меня к могиле, что опустило меня в могилу, что засыпало меня тяжелой землей и так оставило меня среди черноты и гниения для сурового и скорбного сна с червями.

И здесь, в темнице, скрывавшей мало тайн, миновали дни и недели и месяцы; и душа пристально следила за каждой пролетающей секундой и без усилия отмечала ее полет — без усилия и без цели.

Прошел год. Сознание того, что я *есть*, с каждым часом тускнело, в значительной мере вытесняясь всего лишь сознанием *положения в пространстве*. Идея сущности сливалась с идеей *места*. Узкое пространство, вплотную окружавшее то, что некогда было телом, теперь само становилось телом. Наконец, как часто бывает со спящим (только при помощи сна и мира сна можно вообразить *Смерть*),— наконец, как порою на Земле случается с погруженным в глубокий сон, когда какой-нибудь скользнувший блик света полупробудит его, оставив наполовину погруженным в сновидения, так и мне, заключенному в строгие объятия *Тени*, явился *тот самый свет*, который один был бы в силах тронуть меня,— свет непреходящей *Любви*. Над могилою, где я лежал во мраке, трудились люди. Они раскидали влажную землю. На мои истлевающие кости опустился гроб *Уны*.

И вновь все опустело. Призрачный свет погас. Слабое трепетание заглохло. Протекли многие десятилетия. Прах вернулся в прах. Не стало пищи у червей. Чувство того, что *я есть*, наконец ушло, и взамен ему — взамен всему — воцарились, властные и вечные, самодержцы *Место* и *Время*. И для того, что *не было*, — для того, что не имело формы,— для того, что не имело мысли,— для того, что не имело ощущений,— для того, что было бездушно, но и нематериально,— для всего этого *Ничто*, все же бессмертного, могила еще оставалась обиталищем, а часы распада — братьями.



РАЗГОВОР С МУМИЕЙ

Вчерашняя наша застольная беседа оказалась чересчур утомительной для моих нервов. Разыгралась головная боль, появилась сонливость. Словом, нынче, вместо того чтобы идти со двора, как я прежде намеревался, я предпочел подобию-поздорову остаться дома, поужинать самую малость и отправиться спать.

Ужин, разумеется, совсем легкий. Я страстный любитель гренков с сыром. Но даже их больше фунта в один присест не всегда съешь. Впрочем, и два фунта не могут вызвать серьезных возражений. А где два, там и три, разницы почти никакой. Я, помнится, отважился на четыре. Жена, правда, утверждает, что на пять, но она, очевидно, просто перепутала. Цифру пять, взятую как таковую, я и сам признаю, но в конкретном применении она может относиться только к пяти бутылкам черного портера, без каковой приправы гренки с сыром никак не идут.

Завершив таким образом мою скромную трапезу и надевши ночной колпак, я в предвкушении сладостного отдыха до полудня приклонил голову на подушку и, как человек с совершенно незапятнанной совестью, немедленно погрузился в сон.

Но когда сбывались людские надежды? Я не всхрипнул еще и в третий раз, как у входной двери яростно зазвонили и вслед за этим нетерпеливо застучали дверным молотком, отчего я тут же и проснулся. А минуту спустя, пока я еще продираал глаза, жена сунула мне под нос записку от моего старого друга доктора Ейбогуса. В ней значилось:

«Во что бы то ни стало приходите ко мне, мой добрый друг, как только получите это письмо. Приходите и разделите нашу радость. Я наконец, благодаря упорству и дипломатии, добился от дирекции Городского музея согласия на обследование мумии — вы помните какой. Мне разрешено распеленать ее и, если потребуется, вскрыть. При этом будут присутствовать лишь двое-трое близких друзей, вы, разумеется, в том числе. Мумия уже у меня дома, и мы начнем ее разматывать сегодня в одиннадцать часов вечера.

*Всегда ваши
Ейбогус».*

Дойдя до слова «Ейбогус», я почувствовал, что совершенно, окончательно проснулся. В восторге выпрыгнул я из-под одеяла, сокрушая все на своем пути, оделся с быстротой прямо-таки фантастической и со всех ног бросился к дому доктора.

Там я застал уже всех в сборе, с нетерпением ожидающими моего прибытия. Мумия лежала распростертая на обеденном столе, и лишь только я вошел, было приступлено к обследованию.

Это была одна из двух мумий, привезенных несколько лет назад кузеном Ейбогуса капитаном Артуром Менстиком с Ливийского нагорья, где он их нашел в одном захоронении близ Элейтиаса, на много миль вверх по Нилу от Фив. В этой местности пещеры хотя и не столь величественны, как фиванские гробницы, зато представляют большой интерес, ибо содержат многочисленные изображения, проливающие свет на жизнь и быт древних египтян. Камера, из которой был извлечен лежащий перед нами экземпляр, по рассказам, особенно изобиловала такими изображениями — ее стены были сплошь покрыты фресками и барельефами, в то время как статуи, вазы и мозаичные узоры свидетельствовали о незаурядном богатстве погребенного.

Драгоценная находка была передана музеем в том самом виде, в коком впервые попала на глаза капитану Менстику,— саркофаг остался не вскрыт. И так он про-

стоял восемь лет, доступный лишь наружному осмотру публики. Иначе говоря, в нашем распоряжении сейчас была цельная, нетронутая мумия, и те, кто отдает себе отчет в том, сколь редко достигают наших берегов непопорченные памятники древности, сразу же поймут, что мы имели полное право поздравить себя с такой удачей.

Подойдя к столу, я увидел большой короб, или ящик, едва ли не семи футов в длину, трех в ширину и высотой не менее двух с половиной футов. Он имел правильную овальную форму, а не суживающуюся к одному концу, как гроб. Материал, из которого он был сделан, мы сначала приняли за дерево сикоморы (*Platanus*), но оказалось, когда сделали разрез, что это картон, вернее, papier-mache из папируса. Снаружи его густо покрывали рисунки — сцены похорон и другие печальные сюжеты, между которыми тут и там во всевозможных положениях повторялись одинаковые иероглифические письма, знаменующие собою, вне всякого сомнения, имя усопшего. По счастью, среди нас находился мистер Глиддон, который без труда расшифровал эту надпись: она была сделана просто фонетическим письмом и читалась как «Бестолково».

Нам не сразу удалось вскрыть ящик так, чтобы не повредить его, но когда наконец мы в этом преуспели, нашим глазам открылся другой ящик, уже в форме гроба и значительно меньших размеров, чем наружный, но во всем прочем — его совершенная копия. Промежуток между ними был заполнен смолой, отчего краски на втором ящике несколько пострадали.

Открыв и его (что мы осуществили с легкостью), мы обнаружили третий ящик, также сужающийся с одного конца и вообще отличающийся от второго лишь материалом: он был сделан из кедра и все еще источал присущий этому дереву своеобразный аромат. Никакого зазора между вторым и третьим ящиком не было — стенки одного вплотную прилегли к стенкам другого.

Сняв третий ящик, мы обнаружили и извлекли саму мумию. Мы ожидали, что она, как всегда в таких случаях, будет плотно обернута, как бы забинтована, полосами ткани, но вместо этого оказалось, что тело заключено в своего рода футляр из папируса, покрытый толстым сло-

ем лака, раззолоченный и испещренный рисунками. На них изображены были всевозможные мытарства души и ее встречи с различными богами. Повторялись одни и те же человеческие фигуры, — по всей видимости, портреты набальзамированных особ. От головы до ног перпендикулярной колонкой шла надпись, также сделанная фонетическими иероглифами и указывающая имя и различные титулы усопшего, а кроме того, имена и титулы его родственников.

На шее мумии мы обнаружили ожерелье из разноцветных цилиндрических бусин с изображениями божеств, скарабеев и прочего, а также крылатого шара. Второе подобное, так сказать, ожерелье стягивало мумию в поясе.

Содрав папирус, мы обнажили тело, которое оказалось в отличной сохранности и совершенно не пахло. Кожа имела красноватый оттенок. Она была гладкой, плотной и блестящей. В прекрасном состоянии были и зубы, и волосы. Глаза, по-видимому, были вынуты, и на их место вставлены стеклянные, выполненные очень красиво и с большим правдоподобием. Только, пожалуй, взгляд получился слишком уж решительный. Ногти и концы пальцев были щедро позолочены.

Мистер Глиддон высказал мнение, что, судя по красноватой окраске эпидермиса, бальзамирование осуществлено исключительно асфальтовыми смолами. Однако, когда с поверхности тела соскребли стальным инструментом некоторое количество порошкообразной субстанции и бросили в пламя, стало очевидным присутствие камфоры и других пахучих веществ.

Мы тщательно осмотрели тело в поисках отверстия, через которое были извлечены внутренности, но, к нашему недоумению, таковое не обнаружили. Никто из присутствовавших тогда не знал, что цельные или нескрытые мумии — явление не столь уж редкое. Нам было известно, что, как правило, мозг покойника удаляли через нос, для извлечения кишок делали надрез сбоку живота, после чего труп обривали, мыли и опускали в рассол, и только позднее, по прошествии нескольких недель, приступали к собственно бальзамированию.

Так и не обнаружив надреза, доктор Ейбогус приготовил свой хирургический инструмент, чтобы начать вскрытие, но тут я спохватился, что уже третий час ночи. Было решено отложить внутреннее обследование до завтрашнего вечера, и мы уже собирались разойтись, когда кто-то предложил один-два опыта с вольтовой батареей.

Мысль воздействовать электричеством на мумию трех- или четырехтысячелетнего возраста была если и не очень умна, то, во всяком случае, оригинальна, и мы все тотчас же ею загорелись. На девять десятых в шутку и на одну десятую всерьез мы установили у доктора в кабинете батарею, а затем перенесли туда египтянина.

Нам стоило немалых трудов обнажить край височной мышцы, которая оказалась значительно менее окостенелой, чем остальная мускулатура тела, однако же, как и следовало ожидать, при соприкосновении с проводом не проявила, разумеется, ни малейшей гальванической чувствительности. Эту первую попытку мы сочли достаточно убедительной и, от души смеясь над собственной глупостью, стали прощаться, как вдруг я мельком взглянул на мумию и замер в изумлении. Одного беглого взгляда было довольно, чтобы удостовериться, что глазные яблоки, которые мы все принимали за стеклянные, хотя и было замечено их странное выражение, теперь оказались прикрыты веками, так что оставались видны только узкие полоски *tunica albuginea*¹.

Громким возгласом я обратил на это обстоятельство внимание остальных, и все сразу же убедились в моей правоте.

Не могу сказать, чтобы я был встревожен этим явлением, «встревожен» — не совсем то слово. Думаю, что, если бы не портер, можно было бы утверждать, что я испытывал некоторое беспокойство. Из остальных же собравшихся никто даже не делал попытки скрыть самый обыкновенный испуг. На доктора Ейбогуса просто жалко было смотреть. Мистер Глиддон вообще умудрился куда-то скрыться. А у мистера Силка Бакингема, я надеюсь, не останется храбрости отрицать, что он на четвереньках ретировался под стол.

¹ Белки глаз (лат).

Однако, когда первое потрясение прошло, мы, нимало не колеблясь, немедленно приступили к дальнейшим экспериментам. Теперь наши действия были направлены против большого пальца правой ноги. Был сделан нарез над наружной *os sesamoideum pollicis pedis*¹ и тем самым обнажен корень *musculus abductor*². Снова наладив батарею, мы подействовали током на рассеченный нерв, и тут мумия, ну прямо совершенно как живая, сначала согнула правое колено, подтянув ногу чуть не к самому животу, а затем, выпрямив ее необыкновенно сильным толчком, так брыкнула доктора Ейбогуса, что этот солидный ученый муж вылетел, словно стрела из катапульты, через окно третьего этажа на улицу.

Мы все *en masse*³ ринулись вон из дома, чтобы подобрать разбитые останки нашего погибшего друга, но имели счастье повстречать на лестнице его самого, задыхающегося от спешки, исполненного философическим пылом испытателя и еще более прежнего убежденного в необходимости с усердием и тщанием продолжить наши опыты.

По его указанию, мы, не медля ни минуты, сделали глубокий надрез на кончике носа испытуемого, и доктор, крепко ухватившись, притянул его в соприкосновение с проводом.

Эффект — морально и физически, в прямом и переносном смысле — был электрический. Во-первых, покойник открыл глаза и часто замигал, точно мистер Барнс в пантомиме; во-вторых, он чихнул; в-третьих, сел; в-четвертых, потряс кулаком под носом у доктора Ейбогуса; и в-пятых, обратившись к господам Глиддону и Бакингему, адресовался к ним на безупречном египетском языке со следующей речью:

— Должен сказать, джентльмены, что нахожу ваше поведение столь же оскорбительным, сколь и непонятным. Ну, хорошо, от доктора Ейбогуса ничего другого и не приходится ожидать. Он просто жирный неуч, где ему,

¹ Сесамовидной костью большого пальца ноги (*лат.*).

² Отводящей мышцы (*лат.*).

³ Скопом (*фр.*).

бедняге, понять, как нужно обращаться с порядочным человеком. Мне жаль его. Я его прощаю. Но вы, мистер Глиддон, и вы, Силк, вы столько путешествовали и жили в Египте, почти, можно сказать, родились там, вы, так долго жившие среди нас, что говорите по-египетски, вероятно, так же хорошо, как пишете на своем родном языке, вы, кого я всегда был склонен считать верными друзьями мумий,— право же, уж кто-кто, а вы могли бы вести себя лучше. Вы видите, что со мною возмутительно обращаются, но преспокойно стоите в стороне и смотрите. Как это надо понимать? Вы позволяете всякому встречному и поперечному снимать с меня мои саркофаги и облачения в таком непереносимо холодном климате. Что я, по-вашему, должен об этом думать? И наконец, самое вопиющее, вы содействуете и попустительствуете этому жалкому грубияну доктору Ейбогусу, решившемуся потянуть меня за нос. Что все это значит?

Естественно предположить, что, услышав эти речи, мы все бросились бежать, или впали в истерическое состояние, или же дружно шлепнулись в обморок. Любое из этих трех предположений напрашивается само собой. Я убежден, что, поведи мы себя таким образом, никто бы не удивился. Более того, честью клянусь, что сам не понимаю, как и почему ничего подобного с нами не произошло. Разве только причину нужно искать в так называемом духе времени, который действует по принципу «все наоборот» и которым в наши дни легко объясняют любые нелепицы и противоречия. А может быть, дело тут в том, что мумия держалась уж очень естественно и непринужденно, и потому речи ее не прозвучали так жутко, как должны были бы. Словом, как бы то ни было, но из нас ни один не испытал особого трепета и вообще не нашел в этом явлении ничего из ряда вон выходящего.

Я, например, ничуть не удивился и просто отступил на шаг подальше от египетского кулака. Доктор Ейбогус побагровел и уставился в лицо мумии, глубоко засунув руки в карманы панталон. Мистер Глиддон погладил бороду и поправил крахмальный воротничок. Мистер Бакингом низко опустил голову и сунул в левый угол рта большой палец правой руки.

Египтянин посмотрел на него с негодованием, помолчал минуту, а затем с язвительной усмешкой продолжал:

— Что же вы не отвечаете, мистер Бакингом? Вы слышали, о чем вас спрашивают? Выньте-ка палец изо рта, сделайте милость!

При этом мистер Бакингом вздрогнул, вынул из левого угла рта большой палец правой руки и тут же возместил понесенный урон тем, что всунул в правый угол названного отверстия большой палец левой руки.

Так и не добившись ответа от мистера Б., мумия обратилась к мистеру Глиддону и тем же безапелляционным тоном потребовала объяснений от него.

И мистер Глиддон дал пространные объяснения на разговорном египетском языке. Не будь в наших американских типографиях так плохо с египетскими иероглифами, я бы с огромным удовольствием привел здесь целиком в исконном виде его превосходную речь.

Кстати замечу, что вся последующая беседа с мумией происходила на разговорном египетском через посредство (что касается меня и остальных необразованных членов нашей компании) — через посредство, стало быть, переводчиков Глиддона и Бакингема. Эти джентльмены говорили на родном языке мумии совершенно свободно и бегло, однако я заметил, что временами (когда речь заходила о понятиях и вещах исключительно современных и для нашего гостя совершенно незнакомых) они бывали принуждены переходить на язык вещественный. Мистер Глиддон, например, оказался бессилён сообщить египтянину смысл термина «политика», покуда не взял уголек и не нарисовал на стене маленького красноносого субъекта с продранными локтями, который стоит на помосте, отставив левую ногу, выбросив вперед сжатую в кулак правую руку, закатив глаза и разинув рот под углом в 90 градусов. Точно так же мистеру Бакингему не удавалось выразить современное понятие «прорехи в экономике» до тех пор, пока, сильно побледнев, он не решился (по совету доктора Ейбогуса) снять свой новехонький сюртук и показать спину крахмальной сорочки.

Как вы сами понимаете, мистер Глиддон говорил главным образом о той великой пользе, какую приносит на-

уже распеленывание и потрошение мумий. Выразив сожаление о тех неудобствах, которые эта операция доставит ему, одной мумифицированной личности по имени Бестолковое, он кончил свою речь, намекнув (право, это был не больше чем тонкий намек), что теперь, когда все разъяснилось, неплохо бы продолжить исследование. При этих словах доктор Ейбогус опять стал готовить инструменты.

Относительно последнего предложения оратора у Бестолковое нашлись кое-какие контрдоводы идейного свойства, какие именно, я не понял; но он выразил удовлетворение принесенными ему извинениями, слез со стола и пожал руки всем присутствующим.

По окончании этой церемонии мы все занялись возмещением ущерба, понесенного нашим гостем от скальпеля. Зашили рану на виске, перебинтовали колено и наклепили на кончик носа добрый дюйм черного пластыря.

Затем мы обратили внимание на то, что граф (ибо таков был титул Бестолковое) слегка дрожит — без сомнения, от холода. Доктор сразу же удалился к себе в гардеробную и вынес оттуда черный фрак наимоднейшего покроя, пару небесно-голубых клетчатых панталон со штрипками, розовую, в полоску chemise¹, широкий расшитый жилет, трость с загнутой ручкой, цилиндр без полей, лакированные штиблеты, желтые замшевые перчатки, монокль, пару накладных бакенбард и пышный шелковый галстук. Из-за некоторой разницы в росте между графом и доктором (соотношение было примерно два к одному) при облачении египтянина возникли небольшие трудности; но потом все кое-как уладилось, и наш гость был в общем и целом одет. Мистер Глиддон взял его под руку и подвел к креслу перед камином, между тем как доктор позвонил и распорядился принести ему сигар и вина.

Разговор вскоре оживился. Всех, естественно, весьма заинтересовал тот довольно-таки потрясающий факт, что Бестолковое оказался живым.

¹ Сорочку (фр.).

— На мой взгляд, вам давно бы следовало помереть,— заметил мистер Бакингом.

— Что вы! — крайне удивленно ответил граф.— Ведь мне немногим больше семисот лет! Мой папаша прожил тысячу и умер молодец молодцом.

Тут посыпались вопросы и выкладки, с помощью каких-то было скоро выяснено, что предполагаемая древность мумии сильно преуменьшена. Со времени заключения ее в элейтиадские катакомбы прошло на самом деле пять тысяч пятьдесят лет и несколько месяцев.

— Мое замечание вовсе не относилось к вашему возрасту в момент захоронения,— пояснил Бакингом.— Готов признать, что вы еще сравнительно молоды. Я просто имел в виду тот огромный промежуток времени, который, по вашему же собственному признанию, вы пролежали в асфальтовых смолах.

— В чем, в чем? — переспросил граф.

— В асфальтовых смолах.

— А-а, кажется, я знаю, что это такое. Их, вероятно, тоже можно использовать. Но в мое время употреблялся исключительно бихлорид ртути, иначе — сулема.

— Вот еще чего мы никак не можем понять,— сказал доктор Ейбогус.— Каким образом получилось, что вы умерли и похоронены в Египте пять тысяч лет назад, а теперь разговариваете с нами живой и, можно сказать, цветущий?

— Если б я действительно, как вы говорите, умер,— отвечал граф,— весьма вероятно, что я бы и сейчас оставался мертвым, ибо, я вижу, вы еще совершенные дети в гальванизме и не умеете того, что у нас когда-то почиталось делом пустяковым. Но я просто впал в каталептический сон, и мои близкие решили, что я либо уже умер, либо должен очень скоро умереть, и поспешили меня бальзамирить. Полагаю, вам знакомы основные принципы бальзамиривания?

— М-м, не совсем, знаете ли.

— Понятно. Плачевная необразованность! Входить в подробности я сейчас не могу, но следует вам сказать, что бальзамирить — значило у нас в Египте остановить на неопределенный срок в животном организме абсолют-

но все процессы. Я употребляю слово «животный» в самом широком смысле, включающем как физическое, так и духовное, и витальное бытие. Повторяю, ведущим принципом бальзамирования у нас была моментальная и полная остановка всех животных функций. Иными словами, в каком состоянии человек находился в момент бальзамирования, в таком он и сохраняется. Я имею счастье принадлежать к роду Скарабея и поэтому был забальзамирован живым, как вы можете теперь убедиться.

— К роду Скарабея? — воскликнул доктор Ейбогус.

— Да. Скарабей был своего рода наследственным гербом одной очень знатной и высокой фамилии. Принадлежать к роду Скарабея означало просто быть членом этой фамилии. Мои слова надо понимать фигурально.

— Но как это связано с тем, что вы остались живы?

— Да ведь у нас в Египте повсеместно принято было перед бальзамированием трупа удалять внутренности и мозг. Одни только Скарабеи не подчинялись этому обычаю. Следовательно, не будь я Скарабеем, я остался бы без мозга и внутренностей, а в таком виде жить довольно неудобно.

— Я понял,— сказал мистер Бакингом.— Стало быть, все попадающиеся нам цельные мумии принадлежали к роду Скарабея?

— Без сомнения.

— Я думал,— кротко заметил мистер Глиддон,— что Скарабей — один из египетских богов.

— Из египетских богов? — вскочив, воскликнула мумия.

— Да,— подтвердил известный путешественник.

— Мистер Глиддон, вы меня удивляете,— произнес граф, снова усевшись в кресло.— Ни один народ на земле никогда не поклонялся более чем одному Богу. Скарабей, ибис и прочие были для нас (как иные подобные существа для других) всего лишь символами, *media*¹ при поклонении Создателю, который слишком велик, чтобы обращаться к нему прямо.

¹ Посредниками (*лат.*).

Наступила пауза. Потом доктор Эйбогус продолжил разговор.

— Правильно ли будет предположить на основании ваших слов,— спросил он,— что в нильских катакомбах лежат и другие мумии из рода Скарабея, сохранившие состояние витальности?

— В этом не может быть сомнения,— отвечал граф.— Все Скарабеи, по случайности бальзамированные заживо, живы и в настоящее время. Даже среди тех, кого забальзамировали нарочно, тоже могут отыскаться по недосмотру душеприказчиков оставшиеся в гробницах.

— Не будете ли вы столь добры объяснить, что означает «забальзамировали нарочно»? — попросил я.

— С великим удовольствием,— отозвалась мумия, доброжелательно осмотрев меня в монокль, поскольку это был первый вопрос, который задал ей лично я.— С великим удовольствием. Обычная продолжительность человеческой жизни в мое время была примерно восемьсот лет. Крайне редко случалось, если не считать экстраординарных происшествий, что человек умирал, не достигнув шестисотлетнего возраста. Бывали и такие, что проживали дольше десяти сотен. Но естественным сроком жизни считалось восемьсот лет. После того как был открыт принцип бальзамирования, который я вам ранее изложил, нашим философам пришла мысль удовлетворить похвальную людскую любознательность, а заодно содействовать развитию наук, устроив проживание этого естественного срока по частям, с перерывами. Для истории, например, такой способ жизни, как показывает опыт, просто необходим. Скажем, ученый-историк, дожив до пятисот лет и употребив немало стараний, напишет толстый труд. Затем прикажет себя тщательно забальзамировать и оставит своим будущим душеприказчикам строгое указание оживить его по прошествии какого-то времени — допустим, шестисот лет. Возвратившись через этот срок к жизни, он обнаружит, что из его книги сделали какой-то бессвязный набор цитат, превратив ее в литературную арену для столкновения противоречивых мнений, догадок и недомыслий целой своры драчливых комментаторов. Все эти недомыслия и проч. под общим

названием «исправлений и добавлений» до такой степени исказили, затопили и поглотили текст, что автор принужден ходить с фонарем в поисках своей книги. И, найдя, убедиться, что не стоило стараться. Он садится и все переписывает заново, а кроме того, долг ученого-историка велит ему внести поправки в ходячие предания новых людей о той эпохе, в которой он когда-то жил. Благодаря такому самопереписыванию и поправкам живых свидетелей длительные старания отдельных мудрецов привели к тому, что наша история не выродилась в пустые побасенки.

— Прошу прощения,— проговорил тут доктор Ейбогус, кладя ладонь на руку египтянина.— Прошу прощения, сэр, но позвольте мне на минутку перебить вас.

— Сделайте одолжение, сэр,— ответил граф, убирая руку.

— Я только хотел задать вопрос, — сказал доктор. — Вы говорили о поправках, вносимых историком в предания о его эпохе. Скажите, сэр, велика ли в среднем доля истины в этой абракадабре?

— В этой абракадабре, как вы справедливо ее именуете, сэр, как правило, содержится ровно такая же доля истины, как и в исторических трудах, ждущих переписывания. Иными словами, ни в тех, ни в других нельзя отыскать ни единого сведения, которое не было бы совершенно, стопроцентно ложным.

— А раз так,— продолжал доктор,— то поскольку мы точно установили, что с момента ваших похорон прошло по крайней мере пять тысяч лет, можно предположить, что в ваших книгах, равно как и в ваших преданиях, имелись богатые данные о том, что так интересует все человечество,— о сотворении мира, которое произошло, как вы, конечно, знаете, всего за тысячу лет до вас.

— Что это значит, сэр? — спросил граф Бестолково.

Доктор повторил свою мысль, но потребовалось немало дополнительных объяснений, прежде чем чужеземец смог его понять. Наконец тот с сомнением сказал:

— То, что вы сейчас мне сообщили, признаюсь, для меня абсолютно ново. В мое время я не знал никого, кто бы придерживался столь фантастического взгляда, что будто бы вселенная (или этот мир, если вам угодно) имела некогда начало. Вспоминаю, что однажды, но только однажды, я имел случай побеседовать с одним премудрым человеком, который говорил что-то о происхождении человеческого рода. Он употреблял, кстати, имя Адам, или Красная Глина, которое и у вас в ходу. Но он им пользовался в обобщенном смысле, в связи с самозарождением из плодородной почвы (как зародились до того тысячи низших видов) — в связи с одновременным самозарождением, говорю я, пяти человеческих орд на пяти различных частях земного шара

Здесь мы все легонько пожали плечами, а кое-кто еще и многозначительно постучал себя пальцем по лбу. Мистер Силк Бакингом скользнул взглядом по затылочному бугру, а затем по надбровным дугам Бестолковою и сказал:

— Большая продолжительность жизни в ваше время, да к тому же еще эта практика проживания ее по частям, как вы нам объяснили, должны были бы привести к существенному развитию и накоплению знаний. Поэтому тот факт, что древние египтяне тем не менее уступают современным людям, особенно американцам, во всех достижениях науки, я объясняю превосходящей толщиной египетского черепа.

— Признаюсь, — любезнейшим тоном ответил граф, — что опять не вполне понимаю вас. Не могли ли бы вы пояснить, какие именно достижения науки вы имеете в виду?

Тут все присутствующие принялись хором излагать основные положения френологии и перечислять чудеса животного магнетизма.

Граф выслушал нас до конца, а затем рассказал два-три забавных анекдота, из которых явствовало, что прототипы наших Галля и Шпурцгейма пользовались славой, а потом впали в безвестность в Египте так давно, что о них уже успели забыть, и что демонстрации Месмера — не более как жалкие фокусы в сравнении с подлинными

чудодействиями фиванских savants¹, которые умели сотворять вшей и прочих им подобных существ.

Тогда я спросил у графа, а умели ли его соотечественники предсказывать затмения. Он с довольно презрительной улыбкой ответил, что умели.

Это меня несколько озадачило, но я продолжал выспрашивать, что они еще понимают в астрономии, пока один из нашей компании, до сих пор не раскрывавший рта, шепнул мне на ухо, что за сведениями на этот счет мне лучше всего обратиться к Птолемею (не знаю такого, не слышал), да еще к некоему Плутарху, написавшему труд «De facielunae»².

Тогда я задал мумии вопрос о зажигательных и увеличительных стеклах и вообще о производстве стекла. Но не успел еще и договорить, как все тот же молчаливый гость тихонько тронул меня за локоть и покорнейше попросил познакомиться, хотя бы слегка, с Диодором Сицилийским. Граф же вместо ответа только осведомился, есть ли у нас, современных людей, такие микроскопы, которые позволили бы нам резать камни, подобные египетским. Пока я размышлял, что бы ему такое сказать на это, в разговор вмешался наш маленький доктор Ейбогус, и при этом довольно неудачно.

— А наша архитектура! — воскликнул он, к глубокому возмущению обоих путешественников, которые незаметно пинали его и щипали, но все напрасно.— Посмотрите фонтан на Боулинг-грин у нас в Нью-Йорке! Или — если это сооружение уж слишком величаво для сопоставления — возьмите здание Капитолия в Вашингтоне.

И наш коротышка-лекарь пустился подробно перечислять и описывать прекрасные линии и пропорции упомянутого сооружения. «Только в портале,— с жаром восклицал он,— имеется ни много ни мало как двадцать четыре колонны пяти футов в диаметре каждая и в десяти футах одна от другой».

Граф сказал на это, что, к своему сожалению, не может сейчас назвать точные цифры пропорций ни одного

¹ Мудрецов (фр.).

² «О лике, видимом на Луне» (лат).

из главных зданий в городе Карнаке, который был заложен некогда во тьме времен, но развалины которого в его эпоху еще можно было видеть в песчаной пустыне к западу от Фив. Однако, если говорить о порталах, он помнит, что у одного из малых загородных дворцов в предместье, именуемом Азнаком, был портал из ста сорока четырех колонн по тридцати семи футов в обхвате и в двадцати пяти футах одна от другой. Подъезд к этому portalу со стороны Нила был обстроен сфинксами, статуями и обелисками двадцати, шестидесяти и ста футов высотой. А сам дворец, если он не путает, имел две мили в длину и, вероятно, миль семь в окружности. Стены и снаружи и изнутри были сверху донизу расписаны иероглифами. Он не берется положительно утверждать, что на этой площади поместилось бы пятьдесят — шестьдесят таких Капитолиев, как рисовал тут доктор, но, с другой стороны, допускает, что с грехом пополам их вполне можно было бы туда напихать штук этак двести или триста. В сущности-то, это был малый дворец, так себе, загородная постройка. Однако граф не может не признать великолепия, прихотливости и своеобразия фонтана на Боулинг-грин, так красочно описанного доктором. Ничего подобного, он вынужден признать, у них в Египте, да и вообще нигде и никогда не было.

Тут я спросил графа, что он скажет о наших железных дорогах.

— Ничего особенного, — ответил он. По его мнению, они довольно ненадежны, неважно продуманы и плоховато уложены. И не идут, разумеется, ни в какое сравнение с безукоризненно ровными и прямыми, снабженными металлической колеей широкими дорогами, по которым египтяне транспортировали целые храмы и монолитные обелиски ста пятидесяти футов высотой.

Я сослался на наши могучие механические двигатели.

Он согласился, сказал, что слышал об этом кое-что, но спросил, как бы я смог расположить пять арок на такой высоте, как хотя бы в самом маленьком из дворцов Карнака.

Этот вопрос я счел за благо не расслышать и поинтересовался, имели ли они какое-нибудь понятие об арте-

зианских колодцах. Он только поднял брови, а мистер Глиддон стал мне яростно подмигивать и зашептал, что как раз недавно во время буровых работ в поисках воды для Большого Оазиса рабочие обнаружили древнеегипетский артезианский колодец.

Я упомянул нашу сталь; но чужеземец задрал нос и спросил, можно ли нашей сталью резать камень, как на египетских обелисках, где все работы производились медными резцами.

Это нас совсем обескуражило, и мы решили перенести свои атаки в область метафизики. Была принесена книга под заглавием «Дайел», и оттуда ему зачитали две-три главы, посвященные чему-то довольно непонятному, что в Бостоне называют «великим движением», или «прогрессом».

Граф на это сказал только, что в его дни великие движения попадались на каждом шагу, а что до прогресса, то от него одно время просто житья не было, но потом он как-то рассосался.

Тогда мы заговорили о красоте и величии демократии и очень старались внушить графу правильное сознание тех преимуществ, какими мы пользуемся, обладая правом голосования *ad libitum*¹ и не имея над собой короля.

Наши речи его заметно заинтересовали и даже явно позабавили. Когда же мы кончили, он пояснил, что у них в Египте тоже в незапамятные времена было нечто в совершенно подобном роде. Тринадцать египетских провинций вдруг решили, что им надо освободиться и положить великий почин для всего человечества. Их мудрецы собрались и сочинили самую что ни на есть замечательную конституцию. Сначала все шло хорошо, только необычайно развилось хвастовство. Кончилось, однако, дело тем, что эти тринадцать провинций объединились с остальными не то пятнадцатью, не то двадцатью в одну деспотию, такую гнусную и невыносимую, какой еще свет не видывал.

Я спросил, каково было имя деспота-узурпатора.

¹ Едоволь (*лат.*).

Он ответил, что, насколько помнит, имя ему было — Толпа.

Не зная, что сказать на это, я громогласно выразил сожаление по поводу того, что египтяне не знали пара.

Граф посмотрел на меня с изумлением и ничего не ответил. А молчаливый господин довольно чувствительно пихнул меня локтем под ребро и прошипел, что я и без того достаточно обнаружил свою безграмотность и что неужели я действительно настолько глуп и не слыхал, что современный паровой двигатель основан на изобретении Герона, дошедшем до нас благодаря Соломону де Ко.

Было ясно, что нам угрожает полное поражение, но тут, по счастью, на выручку пришел доктор, который успел собраться с мыслями и попросил египтянина ответить, могут ли его соотечественники всерьез тягаться с современными людьми в такой важной области, как одежда.

Граф опустил глаза, задержал взгляд на штрипках своих панталон, потом взял в руку одну фалду фрака, поднял к лицу и несколько мгновений молча рассматривал. Потом выпустил, и рот его медленно растянулся от уха до уха; но, по-моему, он так ничего и не ответил.

Мы приободрились, и доктор, величаво приблизившись к мумии, потребовал, чтобы она со всей откровенностью, по чести признала, умели ли египтяне в какую-либо эпоху изготавливать «Слабительное Ейбогуса» или «Пилули Брандрета».

С замиранием сердца ждали мы ответа, но напрасно. Ответа не последовало. Египтянин покраснел и опустил голову. То был полнейший триумф. Он был побежден и имел весьма жалкий вид. Честно признаюсь, мне просто больно было смотреть на его унижение. Я взял шляпу, сдержанно поклонился мумии и ушел.

Придя домой, я обнаружил, что уже пятый час, и немедленно улегся спать. Сейчас десять часов утра. Я не сплю с семи и все это время был занят составлением настоящей памятной записки на благо моей семье и всему человечеству в целом. Семью свою я больше не увижу. Моя жена — мегера. Да и вообще, по совести сказать, мне

давно поперек горла встали эта жизнь и наш девятнадцатый век. Убежден, что все идет как-то не так. К тому же мне очень хочется узнать, кто будет президентом в 2025 году. Так что я вот только побрежусь и выпью чашку кофе и, не мешкая, отправлюсь к Ейбогусу.— пусть меня забальзамируют лет на двести.



ПРОДОЛГОВАТЫЙ ЯЩИК

Несколько лет тому назад, направляясь в Нью-Йорк из Чарлстона в штате Южная Каролина, я взял каюту на превосходном пакетботе «Индепенденс», которым командовал капитан Харди. Отплытие — если не воспрепятствует погода — было назначено на пятнадцатое число текущего месяца (июня), и четырнадцатого я поднялся на борт, чтобы присмотреть за размещением моих вещей.

На пакетботе я узнал, что пассажиров будет очень много, причем число дам среди них заметно превышало обычное. В списке я заметил фамилии нескольких моих знакомых и с большим удовольствием обнаружил, что моим спутником будет также мистер Корнелий Уайет, молодой художник, к которому я питал чувство живейшей дружбы. Мы вместе учились в Ш-ском университете, где были почти неразлучны. Он обладал темпераментом, обычным для гениев, и натура его слагалась из мизантропии, впечатлительности и пылкости. К этим качествам следует добавить еще самое горячее и верное сердце, какое когда-либо билось в человеческой груди.

Я заметил, что его фамилией были помечены целых три каюты, и, вновь обратившись к списку пассажиров, узнал, что он едет не один, но с женой и двумя своими сестрами. Каюты были достаточно просторны, и в каждой имелось по две койки — одна над другой. Правда, койки эти были настолько узки, что на каждой мог уместиться только один человек, но тем не менее я не понимал, почему этим четверем людям понадобились три каюты, а не две. Тем летом мною владело то мрачное душевное настроение, которому нередко сопутствует неестественное любопытство ко всяким пустякам, и со стыдом сознаюсь, что по поводу этой лишней каюты я строил немало не

делающих мне чести нелепых предположений. Разумеется, меня все это нисколько не касалось, однако я упрямо продолжал ломать голову над тайной лишней каюты. Наконец я нашел отгадку и даже удивился тому, что такое простое решение не пришло мне в голову раньше. «Конечно же, с ними едет горничная! — сказал я себе.— Как глупо было с моей стороны не подумать об этом сразу!» Я еще раз справился со списком, но оказалось, что они отправляются в путь без прислуги, хотя первоначально и собирались взять с собой служанку, ибо в список были внесены, а затем вычеркнуты слова «с горничной». «О, все дело, без сомнения, в лишнем багаже! — сказал я себе.— Что-то из своих вещей он не хочет везти в трюме и предпочитает хранить возле себя... А, понимаю! Какая-нибудь картина... Так вот о чем он вел переговоры с Николини, итальянским евреем!» Такой вывод вполне меня удовлетворил, и этот пустяк перестал тревожить мое любопытство.

Сестер Уайета, очаровательных и умных барышень, я знал очень хорошо, но жены его никогда не видел, так как они обвенчались совсем недавно. Однако он часто говорил мне о ней с обычной своей пылкой восторженностью. По его словам, она была необыкновенно красива, остроумна и одарена всевозможными талантами. Поэтому мне не терпелось познакомиться с ней.

В тот день, когда я посетил пакетбот, то есть четырнадцатого, там собирался побывать и Уайет с супругой и сестрами, о чем мне сообщил капитан, а потому я задержался на борту еще час, в надежде, что буду представлен новобрачной. Но затем капитан получил записку с извинениями:

«Миссис У. нездоровится, а потому она прибудет на пакетбот только завтра перед самым отплытием».

На следующий день, когда я уже покинул отель и направился к пристани, меня встретил капитан Харди и сказал, что «ввиду некоторых обстоятельств» (глупая, но удобная ссылка) «Индепенденс», вероятно, задержится в порту еще на день-два и что он пришлет мне сказать, когда все будет готово к отплытию. Мне это показалось странным, так как дул свежий южный бриз, но, поскольку

ку капитан не объяснил, в чем заключались эти «обстоятельства», хотя я настойчиво выспрашивал его о них, мне оставалось только вернуться в отель и на досуге изнывать от любопытства.

Чуть ли не неделю я тщетно ждал известия от капитана, но наконец оно пришло, и я немедленно отправился на пакетбот. Почти все пассажиры были уже на борту, где царил обычная суматоха, предшествующая отплытию. Уайет и его спутницы прибыли через десять минут после меня. Сестры, новобрачная и сам художник поднялись на корабль, и я заметил, что последний был в одном из самых своих мизантропических настроений, но я давно к ним привык и перестал обращать на них внимание. Он даже не представил меня жене, так что исполнить этот долг вежливости пришлось его сестре Мэриэн, очень милой и тактичной барышне, которая и произнесла торопливо несколько отвечающих случаю слов.

Лицо миссис Уайет было скрыто густой вуалью, и когда они в ответ на мой поклон приподняла ее, признаюсь, я был глубоко поражен. Изумление мое было бы еще больше, если бы долгий опыт не научил меня лишь с оглядкой полагаться на восторженные описания моего друга-художника, когда речь шла о женской прелести. Я прекрасно знал, с какой легкостью уносился он в сферы идеального, если темой нашей беседы служила красота.

Дело в том, что миссис Уайет показалась мне настоящей дурнушкой. На мой взгляд, ее почти можно было назвать безобразной. Однако одета она была с изысканным вкусом, и тогда у меня не возникло сомнения в том, что она пленила сердце моего друга менее преходящими чарами ума и души. Сказав мне лишь два-три слова, она тотчас удалилась в свою каюту вместе с мистером Уайетом.

Во мне вновь вспыхнуло неутолимое любопытство. Горничной с ними не было — в этом я убедился собственными глазами. Оставалось подождать, не появится ли еще какой-нибудь багаж. Некоторое время спустя на пристани показалась повозка с продолговатым сосновым ящиком — по-видимому, пакетбот ждал только его, чтобы отплыть. Едва ящик перенесли на борт, как мы отчалили

и вскоре, благополучно миновав мель в устье реки, вышли в открытое море.

Ящик этот, как я уже сказал, был продолговатым. Он имел примерно шесть футов в длину и два с половиной в ширину — я внимательно рассмотрел его, и я люблю быть точным. Подобная форма встречается не часто, и едва я увидел ящик, как похвалил себя за догадливость. Читатель, вероятно, помнит, что, по моим предположениям, особый багаж моего друга художника должен был состоять из картин или по крайней мере из одной картины. Мне было известно, что в течение нескольких недель он часто виделся с Николини, и вот теперь на пакетбот доставили ящик, который, судя по его форме, мог служить только вместительным для копии «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Я же знал, что Николини некоторое время назад приобрел копию «Тайной вечери», сделанную во Флоренции Рубини-младшим. Таким образом, можно было считать, что и этот вопрос разрешен. Думая о своей проныцательности, я весело посмеивался. Никогда раньше Уайет не имел от меня секретов во всем, что касалось его профессии, но теперь, по-видимому, ему захотелось подшутить надо мной и прямо у меня на глазах тайком привезти в Нью-Йорк превосходное полотно, с расчетом, что я ни о чем не догадаюсь. Я решил, что буду в отместку всячески поддразнивать его.

Одно обстоятельство тем не менее весьма меня раздосадовало: ящик отнесли не в третью каюту, а в собственную каюту Уайета, где он и остался, занимая почти весь пол и, вероятно, причиняя множество неудобств художнику и его жене, тем более что на его крышке большими корявыми буквами была выведена надпись не то смолой, не то краской, которая пахла очень сильно и дурно — мне этот запах показалось отвратительным. Надпись на крышке гласила: «Миссис Аделаида Кертис, Олбани, штат Нью-Йорк, под надзором Корнелия Уайета, эс-вайра. Верх. Обращаться с осторожностью».

Я знал, что миссис Аделаида Кертис, проживающая в Олбани,— это мать жены художника, но решил, что ее адрес написан на ящике ради мистификации, для того чтобы ввести в заблуждение именно меня. Я не сомне-

вался в том, что крайней точкой, которой достигнет ящик на своем пути на север, будет мастерская моего друга на Чемберс-стрит в Нью-Йорке.

Первые три-четыре дня нашего плавания погода стояла прекрасная, хотя ветер все время был лобовым — он задул с севера, едва берег скрылся за кормой. Пассажиры, разумеется, были в превосходном расположении духа и весьма общительны. Исключение составляли только Уайет и его сестры, которые были со всеми настолько сухи и сдержанны, что, на мой взгляд, это даже граничило с неучтивостью. Поведение самого Уайета меня не очень удивляло. Он был мрачен еще больше обыкновенного — можно даже сказать, угрюм, — но я и привык ждать от него чудачеств. Для его сестер, однако, я не находил оправдания. Они почти все время уединялись у себя в каюте и, как я их ни уговаривал, наотрез отказывались присоединиться к корабельному обществу.

Миссис Уайет держалась куда более любезно. Вернее сказать, она была очень словоохотлива, а словоохотливость во время морского путешествия — весьма приятный светский талант. Она завязала самое короткое знакомство с большинством дам и, к глубочайшему моему изумлению, чрезвычайно охотно кокетничала с мужчинами. Она нас всех очень развлекала. Я употребил слово «развлекала», не зная, как выразить мою мысль точнее. Откровенно говоря, я скоро убедился, что общество чаще смеялось над миссис У., чем вместе с ней. Мужчины воздерживались от каких-либо замечаний на ее счет, а дамы не замедлили объявить ее «добросердечной простушкой, довольно невзрачной, совершенно невоспитанной и, бесспорно, вульгарной». И все недоумевали, что заставило Уайета решиться на подобный брак. Богатство — таков был всеобщий приговор; но я-то знал, что эта догадка неверна. В свое время Уайет сказал мне, что она не принесла ему в приданое ни доллара и что у нее нет состоятельных родственников, которые могли бы оставить ей наследство. Он говорил мне, что женился «по любви и ради одной любви, найдя ту, кто была более чем достойна любви». Когда я вспомнил эти слова моего друга, меня охватило глубочайшее недоумение. Неужели он помешал-

ся? Какое другое объяснение мог я найти? Ведь он был таким утонченным, таким возвышенным, таким взыскательным, таким чутким к малейшим недостаткам и изъянам, таким страстным ценителем всего прекрасного! Правда, сама дама, по-видимому, питала к нему нежнейшую привязанность — это становилось особенно заметно в его отсутствие, когда она ставила себя в весьма и весьма смешное положение, постоянно сообщая что-нибудь, что ей говорил «ее возлюбленный муж, мистер Уайет». Слово «муж» — если прибегнуть к одному из ее собственных изящных выражений — казалось, «все время вертелось у нее на языке». Тем не менее все, кто был на борту, постоянно замечали, что он избегает ее общества самым подчеркнутым образом и все время затворяется у себя в каюте, которую, собственно говоря, он почти не покидал, предоставляя жене полную свободу развлекаться в салоне как ей угодно.

То, что я видел и слышал, заставило меня прийти к заключению, что мой друг по необъяснимому капризу судьбы, а может быть, под влиянием слепого увлечения связал себя с особой, стоящей во всех отношениях ниже него, и, вполне естественно, вскоре проникся к ней величайшим отвращением. Я всем сердцем жалел его, но все-таки не мог вполне простить ему, что он скрыл от меня покупку «Тайной вечера». За это я решил с ним по квитаться.

Однажды он вышел на палубу, и я, по своему обыкновению взяв его под руку, начал прогуливаться с ним взад и вперед. Однако мрачность его нисколько не рассеялась (что я счел при таких обстоятельствах вполне извинительным). Он почти все время молчал, а если и говорил, то угрюмо, с видимым усилием. Я раза два рискнул пошутить, и он сделал мучительную попытку улыбнуться. Бедняга! Вспомнив его жену, я удивился, что у него хватило сил даже на такую притворную улыбку. Наконец я приступил к исполнению моего плана: я намеревался сделать несколько скрытых намеков на продолговатый ящик — лишь так, чтобы он постепенно понял, что ему не удалось меня провести и я не стал жертвой его остроумной мистификации. И вот я открыл огонь моей замаскированной

батареи, сказав что-то о «своеобразной форме этого ящика». Свои слова я сопровождал многозначительной улыбкой, чуть-чуть подмигнул и легонько ткнул художника указательным пальцем в ребра.

То, как Уайет воспринял эту безобидную шутку, немедленно убедило меня в его безумии. Сначала он уставился на меня так, словно был не в силах понять моих слов, но по мере того, как его мозг медленно постигал их скрытый смысл, глаза его все больше вылезали из орбит. Затем он побагровел, затем страшно побледнел, а затем, словно мой намек чрезвычайно его позабавил, он разразился буйным смехом и, к моему удивлению, продолжал хохотать все громче и исступленнее более десяти минут. В заключение он тяжело упал на палубу. Я нагнулся, чтобы помочь ему встать, и мне показалось, что он мертв.

Я позвал на помощь, и нам лишь с большим трудом удалось привести его в чувство. Очнувшись, он что-то неразборчиво забормотал. Тогда мы пустили ему кровь и уложили его в постель. На другое утро он совсем оправился — то есть телесно. О его рассудке я, конечно, промолчу. С этого дня я старательно избегал его, как посоветовал мне капитан, который, видимо, вполне разделял мое мнение о его помешательстве, но настоятельно попросил меня никому на пакетботе ничего об этом не говорить.

После этого припадка Уайета мое пробудившееся любопытство продолжало распалтаться все сильнее, чему способствовали кое-какие обстоятельства. В их числе следует упомянуть следующее: я был в нервическом состоянии — пил слишком много зеленого чая и дурно спал. Собственно говоря, были две ночи, когда я почти вовсе не сомкнул глаз. Дверь моей каюты выходила в главный салон, служивший также столовой, — туда же выходили все мужские каюты. Три каюты Уайета сообщались с малым салоном, отделенным от главного лишь легкой скользящей дверью, которая на ночь никогда не запиралась. Так как мы почти все время шли против лобового ветра, причем довольно крепкого, то наше судно непрерывно лавировало, и когда оно кренилось на правый борт, скользящая дверь между салонами открывалась и оста-

валась открытой — никто не брал на себя труд вставить с постели и закрывать ее. Однако моя койка располагалась так, что в тех случаях, когда скользящая дверь открывалась, а дверь моей каюты была открыта (из-за жары же она бывала открыта постоянно), я мог видеть почти весь малый салон, причем именно ту его часть, где находились каюты мистера У. Так вот, в те две ночи (не следовавшие одна за другой), когда меня томила бессонница, я совершенно ясно видел, как около одиннадцати часов и в ту и в другую ночь миссис У. крадучись выходила из каюты мистера У. и скрывалась в третьей каюте, где оставалась до рассвета, а тогда по зову мужа возвращалась обратно. Это неопровержимо доказывало, что разрыв между ними был полным. Они уже отказались от общей спальни, вероятно, помышляя о формальном разводе, и я опять решил, что тайна третьей каюты наконец разъяснилась.

Было и еще одно обстоятельство, которое весьма меня заинтересовало. В обе упомянутые бессонные ночи, немедленно после того, как миссис Уайет удалялась в третью каюту, мой слух начинал различать в каюте ее мужа легкие шорохи и постукивания. Я некоторое время сосредоточенно к ним прислушивался, и в конце концов мне удалось найти верное их истолкование. Их производил художник, вскрывая продолговатый ящик с помощью стамески и деревянного молотка, который был, по-видимому, обернут какой-то мягкой шерстяной или бумажной материей, чтобы приглушить стук.

Мне казалось, что я способен совершенно точно различить миг, когда он открывал крышку, и когда снимал ее, и когда клал ее на нижнюю койку. Последнее, например, я определял по тихому постукиванию крышки о деревянную закраину койки, которого он не мог избежать, хотя и опускал крышку на койку с большой осторожностью. На полу же места для крышки просто не нашлось бы. Вслед за этим наступала мертвая тишина и до рассвета я ни в первый, ни во второй раз больше ничего не слышал; правда, порой мне чудилось, что там раздаются почти беззвучные рыдания или шепот, но это, возможно, было лишь плодом моего воображения. Я сказал, что звуки эти походили на рыдания или вздохи, но, разумеется,

они не могли быть ни тем, ни другим. Я склонен думать, что у меня просто звенело в ушах. Без сомнения, мистер Уайет в полном соответствии с обычными представлениями всего лишь давал волю своему артистическому темпераменту, подчиняясь властительной страсти. Он вскрывал продолговатый ящик, чтобы насладиться созерцанием спрятанной там бесценной картины. Но с какой стати он начал бы над ней рыдать? А потому, повторяю, меня, несомненно, вводила в заблуждение моя фантазия, подстегнутая зеленым чаем почтенного капитана Харди. Перед зарей я оба раза ясно слышал, как мистер Уайет вновь закрывал продолговатый ящик крышкой и возвращал гвозди в прежнее положение с помощью обернутого материей молотка. Вслед за тем он выходил из каюты совершенно одетый и вызывал миссис Уайет из третьей каюты.

Наше плавание продолжалось уже семь дней, и мы находились на траверзе мыса Гаттерас, когда с юго-запада налетел шторм. Однако мы в известной мере были готовы к нему, так как погода уже некоторое время угрожающе портилась. Люки были задраены, багаж и все предметы внизу и на палубе надежно закреплены. По мере того как ветер крепчал, мы убрали паруса и несли теперь только контрбизань и фор-марсель, взяв на них по два рифа.

Мы шли таким образом двое суток — наш пакетбот во многих отношениях показал себя отличным мореходом, и мы совсем не набрали воды в трюм. Однако на исходе второго дня ветер стал ураганным, наша контрбизань была разорвана в клочья, мы потеряли ход, и на нас обрушилось подряд несколько гигантских валов. Они увлекли за собой в море трех матросов, камбуз и почти весь левый фальшборт. Не успели мы прийти в себя, как лопнул фор-марсель, но мы поставили штормовые паруса, и в течение нескольких часов наше судно продолжало благополучно продвигаться вперед.

Однако ураган не стихал, и ничто не свидетельствовало о скором его прекращении. Ванты, как оказалось, были плохо натянуты и все время испытывали излишнее напряжение — в результате на третий день около пяти

часов дня, когда корабль резко вильнул, бизань-мачта не выдержала и рухнула на палубу. Более часа мы тщетно пытались освободить от нее судно, которое теперь подвергалось чудовищной боковой качке, а затем на корму явился плотник и доложил, что вода в трюме поднялась на четыре фута. В довершение всех бед выяснилось, что помпы засорены и ничего не откачивают.

Теперь на судне воцарилось отчаяние и смятение, однако была сделана попытка облегчить его, выбросив за борт весь груз, до которого удалось добраться, и срубив оставшиеся две мачты. В конце концов нам удалось это сделать, но помпы по-прежнему бездействовали, а вода в трюме стремительно прибывала.

На закате ураган заметно стих, а с ним немного улеглось и волнение, и у нас появилась слабая надежда спастись в шлюпках. В восемь часов вечера тучи с наветренной стороны разошлись, и нас озарили лучи полной луны,— эта нежданная удача немало нас подбодрила.

Ценой невероятных усилий нам удалось благополучно спустить на воду вельбот, и в него погрузилась команда и почти все пассажиры. Вельбот тотчас же отвалил от судна, и на третий день после кораблекрушения те, кто в нем находился, немало настрадавшись, добрались до Ок-ракок-Инлет.

На борту пакетбота осталось четырнадцать человек, включая капитана, которые решились доверить свою судьбу кормовой шлюпке. Мы спустили ее без особых затруднений, хотя, когда она коснулась воды, волна не залила ее лишь чудом. В эту шлюпку сели капитан с супругой, мистер Уайет и его спутницы, мексиканский офицер, его жена и четверо детей, а также я сам со слугой-негром.

Разумеется, в шлюпке почти не оставалось места, а потому мы могли взять с собой лишь несколько совершенно необходимых навигационных инструментов и немного провизии. Все наши вещи, кроме одежды, которая была на нас, остались на борту, и, разумеется, никто даже не помышлял о том, чтобы спасти хоть часть своего багажа. Как же должны были изумиться мы все, когда сидевший на корме шлюпки мистер Уайет вдруг поднялся на ноги, едва мы отошли от пакетбота на несколько саже-

ней, и спокойно потребовал от капитана Харди повернуть назад к пакетботу, чтобы он мог взять с собой свой продолговатый ящик!

— Сядьте, мистер Уайет,— сурово сказал капитан.— Вы опрокинете нас, если не будете сидеть неподвижно. Ведь шлюпка и так погружена в воду по самый планшир.

— Ящик! — воскликнул мистер Уайет, продолжая стоять. — Я говорю о ящике! Капитан Харди, вы не можете... вы не посмеете мне отказать. Его вес... это же пустяк, сущая безделица. Матерью, родившей вас, милостью небесной, вашей надеждой на вечное спасение заклинаю вас — вернитесь за ящиком!

Капитан, казалось, был на миг тронут отчаянным призывом художника, но его лицо тут же обрело прежнее суровое выражение, и он ответил только:

— Мистер Уайет, вы безумны! Я не буду вас слушать. Сядьте же, или вы утопите шлюпку. Погодите... Хватайте его!.. Держите!.. Он хочет прыгнуть за борт! Ну вот... я предвидел это... он бросился в море!

И действительно, мистер Уайет кинулся в волны, и, так как мы были еще совсем рядом с пакетботом, заслонявшим нас от ветра, ему удалось ценой сверхчеловеческих усилий схватиться за канат, свисавший из носового клюза. Секунду спустя он был уже на палубе и стремглав бросился вниз в каюту.

Тем временем нас отнесло за корму судна, и мы оказались в полной власти все еще бушевавших волн. Мы попытались вернуться к пакетботу, но буря гнала нашу скорлупку куда хотела. И мы поняли, что злополучный художник обречен.

От разбитого пакетбота нас отделяло уже довольно большое расстояние, когда безумец (ибо мы были убеждены, что он лишился рассудка) поднялся по трапу и, хотя это должно было потребовать поистине колоссальной силы, вытащил на палубу продолговатый ящик. Пока мы смотрели на него, пораженные удивлением, он быстро обмотал ящик трехдюймовым канатом и тем же канатом обвязал себя. В следующий миг ящик с художником были уже в море, которое сразу же поглотило их.

Несколько мгновений мы удерживали шлюпку в неподвижности и с грустью глядели на роковое место. Потом мы начали грести и поплыли прочь. Больше часа в нашей шлюпке царило полное молчание. Наконец я осмелился прервать его:

— Вы заметили, капитан, что они сразу пошли ко дну? Разве это не странно? Признаюсь, когда я увидел, что он привязывает себя к ящику перед тем, как предаться волнам, во мне пробудилась слабая надежда на его спасение.

— Они и должны были пойти ко дну,— ответил капитан. — Как камень. Впрочем, они вскоре вновь всплывут — однако не прежде чем растворится соль.

— Соль?! — воскликнул я.

— Шшш,— сказал капитан, указывая на жену и сестер покойного.— Мы поговорим об этом после, в более подходящее время.

Нам пришлось перенести немало страданий, и мы с трудом избежали смерти в пучине, однако счастье улыбнулось не только вельботу, но и нашей шлюпке. Короче говоря, мы, еле живые, причалили после четырех дней тяжелых испытаний к песчаному берегу напротив острова Роанок. Там мы провели неделю, не претерпев никакого ущерба от тех, кто наживается на кораблекрушениях, и в конце концов нас подобрало судно, шедшее в Нью-Йорк.

Примерно через месяц после гибели «Индепенденса» я случайно встретил на Бродвее капитана Харди. Как и следовало ожидать, мы вскоре разговорились о случившемся и о печальной судьбе бедного Уайета. Тогда-то я и узнал следующие подробности.

Художник взял каюты для себя, своей жены и двух сестер, а также для горничной. Его жена действительно была, как он и утверждал, необыкновенно красивой и необыкновенно одаренной женщиной. Утром четырнадцатого июня (в тот день, когда я в первый раз приехал на пакетбот) она внезапно занемогла и через несколько часов скончалась. Молодой муж был вне себя от горя, но по некоторым причинам не мог отложить свое возвращение в Нью-Йорк. Он должен был отвезти тело своей обожае-

мой жены к ее матери, однако не мог сделать этого открыто, так как широко известный предрассудок воспрепятствовал бы ему привести его намерение в исполнение. Девять десятых пассажиров предпочли бы вовсе отказаться от поездки, лишь бы не путешествовать на одном корабле с покойником.

Чтобы выйти из этого затруднения, капитан Харди устроил так, что труп, частично набальзамированный и уложенный в соль в ящике соответствующих размеров, был доставлен на борт как багаж. Смерть новобрачной держали в тайне, и, так как всем было известно, что мистер Уайет собирался в Нью-Йорк с женой, нужно было найти женщину, которая выдавала бы себя за нее во время плавания. На это без долгих уговоров дала согласие горничная покойной. Третью каюту, первоначально предназначавшуюся для нее, мистер Уайет оставил за собой, а лжежена, разумеется, проводила там все ночи. Днем она в меру способностей разыгрывала роль своей покойной хозяйки, которую — как они позаботились выяснить заранее — никто из пассажиров не знал в лицо.

В моей вполне естественной ошибке был повинен мой слишком беспечный, слишком любопытный и слишком импульсивный характер. Однако последнее время я по ночам почти не смыкаю глаз. Как ни ворочаюсь я с боку на бок, перед моим взором все время стоит некое лицо. И в моих ушах никогда не умолкает пронзительный истерический хохот.



АНГЕЛ НЕОБЪЯСНИМОГО ЭКСТРАВАГАНЦА

Был холодный ноябрьский вечер. Я только что покончил с весьма плотным обедом, в составе коего не последнее место занимали неудобоваримые французские трюфели, и теперь сидел один в столовой, задрав ноги на каминный экран и облокотясь о маленький столик, нарочно передвинутый мною к огню,— на нем размещался мой, с позволения сказать, десерт в окружении некоторого количества бутылок с разными винами, коньяками и ликерами. С утра я читал «Леониды» Гловера, «Эпигониаду» Уилки, «Паломничество» Ламартина, «Колумбиаду» Барлоу, «Сицилию» Таккермана и «Диковины» Гризуолда и потому, признаюсь, слегка отупел. Сколько я ни пытался взбодриться с помощью лафита, все было тщетно, и с горя я развернул попавшуюся под руку газету. Внимательно изучив колонку «Сдается дом», и колонку «Пропала собака», и две колонки «Сбежала жена», я храбро взялся за передовицу и прочел ее с начала до конца, не поняв при этом ни единого слова, так что я даже подумал, не по-китайски ли она написана, и прочел еще раз, с конца до начала, ровно с тем же успехом. Я уже готов был отшвырнуть в сердцах

Сей фолиант из четырех листов завидных,
Который даже критики не критикуют,—

когда внимание мое остановила одна заметка.

«Многочисленны и странны пути, ведущие к смерти,— говорилось в ней.— Одна лондонская газета сообщает о таком удивительном случае. Во время игры в так называ-

емые «летучие стрелы», в которой партнеры дуют в жестяную трубку, выстреливая длинной иглой, вставленной в клубок шерсти, некто зарядил трубку иглой острием назад и сделал сильный вдох перед выстрелом — игла вошла ему в горло, проникла в легкие, и через несколько дней он умер».

Прочитав это, я пришел в страшную ярость, сам точно не знаю почему. «Презренная ложь! — воскликнул я. — Жалкая газетная утка. Лежалая стряпня какого-то газетного писаки, специалиста по сочинению немислимых происшествий. Эти люди пользуются удивительной доверчивостью нашего века и употребляют свои мозги на изобретение самых невероятных историй, необъяснимых случаев, как они это называют, однако для мыслящего человека (вроде меня, — добавил я в скобках, машинально дернув себя за кончик коса), для ума рассудительного и глубокого, каким обладаю я, сразу ясно, что необъяснимо тут только удивительное количество этих вымышленных необъяснимых случаев. Что до меня, то я лично отныне не верю ничему, что хоть немного отдает необъяснимым».

— Майн готт, тогда ты большой турак! — возразил мне на это голос, удивительнее которого я в жизни ничего не слышал. Поначалу я принял было его за шум в ушах — какой слышишь иногда спяну, но потом сообразил, что он гораздо больше походит на гул, издаваемый пустой бочкой, если бить по ней большой палкой; так что на этом бы объяснении я и остановился, когда бы не членораздельное произнесение слогов и слов. По натуре я нельзя сказать чтобы нервный, да и несколько стаканов лафита, выпитые мною, придали мне храбрости, так что никакого трепета я не испытал, а просто поднял глаза и не спеша, внимательно огляделся, ища непрошеного гостя. Однако никого не увидел.

— Кхе-кхе, — продолжал голос, между тем как я озирался вокруг, — ты, ферно, пьян как свинья, раз не фидишь меня, федей я сижую у тебя под носом.

Тут я и в самом деле надумал взглянуть прямо перед собой и действительно вижу — против меня за столом сидит некто, прямо сказать, невообразимый и неопи-суюе-

мый. Тело его представляло собой винную бочку или нечто в подобном роде и вид имело вполне фальстафовский. К нижней ее части были приставлены два бочонка, по всей видимости, исполнявшие роль ног. Вместо рук на верху туловища болтались две довольно большие бутылки горлышками вниз. Головой чудовищу, насколько я понял, служила гессенская фляга из тех, что напоминают большую табакерку с отверстием в середине. Фляга эта (с воронкой на верхушке, сдвинутой набок на манер кавалерийской фуражки) стояла на бочке ребром и была повернута отверстием ко мне, и из этого отверстия, поджатого, точно рот жеманной старой девы, исходили раскатыстые, гулкие звуки, которые это существо, очевидно, пыталось выдать за членораздельную речь.

— Ты, говорю, ферно, пьян как свинья,— произнес он.— Сидишь прямо тут, а меня не фидишь. И ферно, глуп как осел, что не феришь писанному в газетах. Это — прафда. Все как есть — прафда.

— Помилуйте, кто вы такой? — с достоинством, хотя и слегка озадаченно спросил я.— Как вы сюда попали? И что вы тут такое говорите?

— Как я сюда попал, не тфоя забота,— отвечала фигура. — А что я гофору, так я гофору то, что надо. А кто такой, так я затем и пришел сюда, чтобы ты это уфидел сфоими глазами.

— Вы просто пьяный бродяга,— сказал я.— Я сейчас позвоню и велю моему лакею вытолкать вас взащей.

— Хе-хе-хе! — засмеялся он.— Хо-хо-хо! Да ты федь не можешь!

— Чего не могу? — возмутился я.— Как вас прикажете понять?

— Позфонить не можешь,— отвечал он, и нечто вроде ухмылки растянуло его злобно круглый ротик.

Тут я сделал попытку встать на ноги, дабы осуществить мою угрозу, но негодяй преспокойно протянул через стол одну из своих бутылок и ткнул меня в лоб, отчего я снова упал в кресло, с которого начал было подниматься. Вне себя от изумления, я совершенно растерялся и не знал, как поступить. Он же между тем продолжал говорить:

— Сам фидишь, лучше фсега тебе сидеть смирно. Так фот, теперь ты узнаешь, кто я. Фзгляни на меня! Смотри хорошенько! Я — Ангел Необъяснимого.

— Необъяснимо,— ответил я.— У меня всегда было такое впечатление, что у ангелов должны быть крылышки.

— Крылышки! — воскликнул он, сразу распаясь.— Фот еще! На что они мне? Майн готт! Разфе я цыпленок?

— Нет, нет,— поспешил я его уверить,— вы не цыпленок. Отнюдь.

— Тогда сиди и феди себя мирно, не то опять получишь от меня кулаком по лбу. Крылья имеет цыпленок, и софа в лесу имеет крылья, и черти с чертенятами, и главный тойфель, но ангелы крыльеф не имеют, а я — Ангел Необъяснимого.

— И какое же у вас ко мне дело?

— Дело? — воскликнула эта комбинация предметов.— Как же ты турно фоспитан, если спрашиваешь у тженльмена, и к тому же ангела, о деле!

Таких речей я, понятно, даже от ангела снести не мог; поэтому, призвав на помощь всю мою храбрость, я протянул руку, схватил со столика солонку и запустил в голову непрошеному гостю. Однако то ли он пригнулся, то ли я плохо метил, но все, чего я добился, это разнес вдребезги стекло на циферблате каминных часов. Ангел же, со своей стороны, не оставил мои действия без внимания, ответив на них тремя новыми затрещинами, не менее увесистыми, чем первая. Я принужден был покориться, и стыдно признаться, но на глаза мои то ли от боли, то ли от обиды набежала слеза.

— Майн готт! — промолвил Ангел Необъяснимого, сразу заметно подобрев.— Майн готт, этот челофек либо очень пьян, либо горько стратает. Тебе нельзя пить крепкую, надо разбафлять фодой. Ну, ну, на-ка, фыпей фот этого, мой труг, и не плачь.

И Ангел Необъяснимого до краев наполнил мой бокал (в котором примерно на треть было налито портвейну) какой-то бесцветной жидкостью из своих рук-бутылок. Я заметил, что на них вокруг горлышка были наклейки со словом «Kirschenwasser»¹.

¹ Вишневая пастойка (нем.).

Доброта и внимание Ангела несколько успокоили меня, и, наконец, с помощью воды, которой он неоднократно доливал мое вино, я вернул себе присутствие духа настолько, чтобы слушать его удивительные речи. Я даже не пытаюсь пересказать здесь все, что от него услышал, но в общем я понял так, что он является неким гением, по чьему велению случаются все *contretemps*¹ рода человеческого, чье дело — устраивать все те необъяснимые случаи, которые постоянно озадачивают скептиков. Раза два во время разговора, когда я отваживался выразить ему мое полнейшее недоверие, он страшно свирепел, так что в конце концов я почел за благо помалкивать и не оспаривать его утверждений. Он продолжал разглагольствовать, а я откинулся в кресле, закрыл глаза и только забавлялся тем, что жевал изюм, а черенки разбрасывал по комнате. Но через некоторое время Ангел вдруг возомнил, что и это для него оскорбительно. В страшном гневе он вскочил, надвинул воронку на самые глаза и с громовым проклятием произнес какую-то угрозу, которой я не понял, после чего отвесил низкий поклон и удалился, пожелав мне словами архиепископа из «Жиль Блаза» «*beaucoup de bonheur et un peu plus de bon sens*»².

Его уход принес мне облегчение. Несколько стаканчиков лафита, которые я выпил, вызвали у меня сонливость, и я был более чем расположен вздремнуть минут пятнадцать, как обычно после обеда. В шесть часов у меня было важное свидание, пропустить которое я ни в коем случае не мог. Накануне истек срок страховки на мой дом, и поскольку возникли кое-какие разногласия, было решено, что я приду на заседание правления страховой компании и на месте договорюсь о возобновлении страховки. Подняв глаза к каминным часам (мне так хотелось спать, что вытащить часы из кармана просто не было сил), я с удовольствием обнаружил, что у меня в запасе целых двадцать пять минут. Была половина шестого, до страховой конторы ходьбы от силы пять минут, а моя сиеста ни разу в жизни не затягивалась дольше двадцати пяти. Так что я мог не беспокоиться и не мешкая погрузился в сон.

¹ Нсурядицы (фр.).

² Много счастья и немного больше здравого смысла (фр.).

Проснувшись, я снова взглянул на каминные часы и, право, почти готов был поверить в пресловутые необъяснимые случаи, когда обнаружил, что вместо обычных пятнадцати — двадцати минут проспал всего три, ибо до назначенного мне часа все еще оставалось добрых двадцать семь минут. Тогда я снова сладко задремал, но когда наконец опять проснулся, то, к величайшему моему изумлению, на часах все еще было без двадцати семи минут шесть. Я вскочил, снял их с каминной полки — они стояли. Мои карманные часы показывали половину восьмого; я проспал добрых два часа и в страховую контору, естественно, опоздал. «Не важно,— сказал я себе,— зайду завтра утром и извинюсь. Однако что могло произойти с часами?» Я внимательно осмотрел их, и оказалось, что один из черенков от изюма, которые я разбрасывал по комнате во время рассуждений Ангела, влетел через разбитое стекло циферблата прямо в скважину для завода и торчал оттуда, препятствуя вращению минутной стрелки.

— Ага,— сказал я,— понятно. Такие вещи говорят сами за себя. Вполне естественная случайность, со всяким может произойти.

Тут не над чем было ломать голову, и в положенный час я отправился спать. В спальне, поставив свечку на столик у кровати, я сделал было попытку проштудировать несколько страниц из книги «Вездесущность Бога», однако, к сожалению, менее чем за двадцать секунд погрузился в сон, а свеча так и осталась гореть у моего изголовья.

Спал я тревожно — во сне мне без конца являлся Ангел Необъяснимого. Мне мерещилось, будто он стоит у меня в ногах, раздвигает шторы и гулким, отвратительным голосом винной бочки грозит мне ужасной мезтью за неуважительное с ним обращение. Кончил он свою длинную гневную речь тем, что сорвал с головы фуражкворонку, вставил ее мне в глотку и буквально затопил меня вишневою настойкой, которую изливал непрерывной струей из правой длинногорлой бутылки, заменявшей ему руку. Он все лил и лил, мне стало невмоготу, я не вытерпел и проснулся — и как раз успел заметить,

как крыса убегает в подполье с моей зажженной свечой в зубах, однако помешать ей в этом уже не успел. Очень скоро я почувствовал сильный удушливый запах: стало совершенно ясно, что дом горит. Через несколько минут языки пламени вырвались на волю и с невероятной быстротой охватили здание. Все пути отступления из моей спальни были отрезаны — оставалось только окно. Люди, толпившиеся на улице, быстро раздобыли длинную лестницу, подняли и приставили ее к подоконнику. По этой лестнице я стал было торопливо спускаться, как вдруг прежирный боров, чье округлое брюхо, да и вообще весь облик и выражение лица напомнили мне Ангела Необъяснимого, — так вот этот боров, мирно дремавший в грязи по соседству, ни с того ни с сего надумал вдруг почесать левое плечо и не нашел ничего лучшего, как воспользоваться для этой цели лестницей, на которой я находился. Я кувырком полетел вниз и, преследуемый неудачами, сломал руку.

Это несчастье, а также потеря страховки и еще более серьезная утрата всей шевелюры, под корень спаленной пожаром, настроили меня на серьезный лад, так что в конце концов я принял решение жениться. В городе у нас жила богатая вдова, безутешно оплакивавшая как раз кончину седьмого мужа, и ее-то страждущей душе я и предложил бальзам моих сердечных признаний. Она стыдливо даровала мне свое согласие. Я с восторгом и благодарностью пал к ее ногам. Тогда, зардевшись, она склонила головку, и ее роскошные локоны соприкоснулись с моими — доставшимися мне во временное пользование от Гранжана. Как именно случилось, что они переплелись, не знаю, но с колен я поднялся без парика, с голой, сияющей лысиной, а негодующая вдова — вся опутанная чужими волосами. Так рухнули мои надежды на прекрасную вдову — из-за случайности, предвидеть которую, правда, было совершенно невозможно, но которую вызвала цепь вполне естественных причин.

Однако я не отчаялся и предпринял осаду сердца не столь неумолимого. И снова в течение краткого времени судьба благоприятствовала мне, но, как и в предыдущий раз, все сорвалось из-за пустячной случайности. Встре-

тившись однажды с моей нареченной на улице, где толпилось избранное общество нашего города, я поспешил было отвесить ей один из моих самых изысканных поклонов, как вдруг в глаз мне влетела крупца некоей посторонней материи, и я на какое-то время совершенно ослеп. Не успело зрение мое ко мне возвратиться, как уже моя возлюбленная исчезла, оскорбленная до глубины души таким, как она считала, вызывающим поступком — пройти мимо и не заметить ее! Пока, растерявшись от неожиданности (хотя это могло бы случиться со всяким смертным), я стоял, все еще не владея зрением, ко мне приблизился Ангел Необъяснимого и с любезностью, какой я от него вовсе не ожидал, предложил свою помощь. Бережно и весьма искусно исследовав мой пострадавший глаз, он объяснил, что в него «попало», извлек это — что бы оно ни было, — и мне сразу полегчало.

Тогда я решил, что настала пора мне умереть (раз уж судьба так меня преследует), и с этим намерением направился к ближайшей речке. Там, сняв одежду (ибо нет никаких причин нам умирать в ином виде, чем мы появились на свет), я бросился в воду вниз головой. Видела все это только одинокая ворона, которая отбилась от своего племени, пристрастившись к зерну, из которого гонят спирт. И эта самая ворона, лишь только я плюхнулся в воду, не нашла ничего лучше, как ухватить в клюв самый важный предмет моего туалета и полететь прочь. Тогда, отложив исполнение моего самоубийственного замысла до другого времени, я спешно сунул нижние конечности в рукава и пустился вдогонку за грабительницей со всей скоростью, какую предписывала потребность и допускала возможность. Но злой рок по-прежнему преследовал меня. Я бежал во всю прыть, задрав голову в небо и все внимание сосредоточив на похитительнице моей собственности, как вдруг почувствовал, что мои ноги уже больше не касаются твердой земли; оказалось, что я сорвался и лечу в пропасть, на дне которой я неизбежно переломал бы себе все кости, если бы, по счастью, не успел ухватиться за волочившийся канатгайдроп от гондолы летевшего надо мною воздушного шара.

Едва только успел я настолько оправиться от растерянности, чтобы осознать, перед какой страшной опасностью я стою, вернее, вижу, как я тут же во всю силу легких принялся оповещать об этой опасности находящегося надо мною аэронавта. Долгое время мои старания оставались безуспешны. То ли этот дурак меня не видел, то ли, подлец, не обращал внимания. Его летательный аппарат между тем быстро взмывал ввысь, и с такой же быстротой падали мои силы. Я уже готов был смириться с неизбежной гибелью и покорно свалиться в море, но тут настроение мое вновь поднялось, ибо сверху раздался гулкий голос, лениво напевавший какую-то оперную арию. Я поглядел вверх — на меня смотрел Ангел Необъяснимого. Сложив руки на груди, он свесился за борт гондолы: во рту у него торчала трубка, он ею попыхивал и имел вид человека весьма довольного и собой, и белым светом. У меня уже не оставалось сил говорить, и я только устремил на него умоляющий взор.

Он смотрел мне прямо в лицо, но несколько минут не произносил ни слова. Затем наконец переложил трубку из правого угла рта в левый и соблаговолил заговорить.

— Кто фы такой? — спросил он. — И какофо тойфеля фам надо?

На столь вопиющее нахальство, жестокосердие и притворство я мог ответить только кратким призывом:

— Помогите!

— Фам помочь? — переспросил этот злодей. — Ну уж нет. Фот фам бутылка — не зефайте, она фам поможет!

С этими словами он выпустил из рук тяжелую бутылку с вишневой настойкой и попал ею мне прямо по темени, так что у меня создалось впечатление, будто она вышибла мне все мозги. Под этим впечатлением я уже готов был разжать руки и с миром отдать Богу душу, но меня остановил окрик Ангела, который велел мне держаться.

— Тержись! — крикнул он. — Не надо торопиться. Хочешь еще бутылочку? Или ты уже тофольно отрезфел и пришел в себя?

В ответ я поспешил дважды помотать головой: отрицательно — в знак того, что еще одна бутылка мне сейчас

не очень нужна; и утвердительно, желая этим заверить его, что я совершенно трезв и полностью пришел в себя. Ангел немного смягчился.

— Тогда, значит, ты наконец поферил? — спросил он.— Ты теперь феришь в необъяснимое?

Я снова кивнул утвердительно.

— И феришь в меня, Ангела Необъяснимого?

Я опять кивнул.

— И признаешь, что ты пьян ф стельку и глуп как осел?

И я снова кивнул.

— Раз так, положи прафую руку в лефый карман панталон в знак полного подчинения Ангелу Необъяснимого.

Этого я по очевидным причинам сделать не мог. Начать с того, что левая рука у меня была сломана при падении с пожарной лестницы, так что если бы я разжал теперь правую руку и выпустил канат, то выпустил бы его безвозвратно. Кроме того, у меня не было панталон, и чтобы их получить, я должен был догнать ворону. Вследствие всего этого я вынужден был, к величайшему моему сожалению, отрицательно покачать головой, желая этим сообщить Ангелу, что в данный момент мне было бы несколько затруднительно удовлетворить его вполне разумные требования. Но лишь только я перестал качать головой, как...

— Ну катись ко фсем чертям! — рявкнул с неба Ангел Необъяснимого.

При этом он полоснул острым ножом по канату, на котором я висел, а так как в это самое мгновение мы пролетали над моим домом (который за время моих странствий успели заново отстроить), вышло так, что я угодил прямо в дымоход и обрушился в камин у себя в столовой.

Когда я пришел в себя (ибо падение меня порядком оглушило), оказалось, что было около четырех часов утра. Я лежал ничком на том самом месте, куда упал с воздушного шара, лицом уткнувшись в холодную золу вчерашнего огня, а ногами попирая обломки опрокинутого столика, а вокруг валялись всевозможные остатки десерта вперемешку с газетой, несколькими разбитыми стаканами и бутылками и пустым графином из-под вишневого настоя. Так отомстил мне Ангел Необъяснимого.



ЧЕТЫРЕ ЗВЕРЯ В ОДНОМ (ЧЕЛОВЕКО-ЖИРАФ)

Chacun a ses vertus¹.

Кребийон. «Ксеркс»

Антиоха Эпифана обычно отождествляют с Гогом из пророчеств Иезекииля. Эта честь, однако, более подобает Камбизу, сыну Кира. А личность сирийского монарха ни в коей мере не нуждается в каких-либо добавочных прикрасах. Его восшествие на престол, вернее, его захват царской власти за сто семьдесят один год до Рождества Христова; его попытка разграбить храм Дианы в Эфесе; его беспощадные преследования евреев; учиненное им осквернение Святая Святых и его жалкая кончина в Табе после бурного одиннадцатилетнего царствования — события выдающиеся и, следовательно, более отмеченные историками его времени, нежели незаконные, трусливые, жестокие, глупые и своевольные деяния, составляющие в совокупности его частную жизнь и славу.

* * *

Предположим, любезный читатель, что сейчас — лето от сотворения мира три тысячи восемьсот тридцатое, и вообразим на несколько минут, что мы находимся невдалеке от самого уродливого обиталища людского, замечательного города Антиохии. Правда, в Сирии и в других странах стояли еще шестнадцать городов, так наименованных, помимо того, который я имею в виду. Но перед нами — тот, что был известен под именем Антиохии Эпи-

¹ У каждого свои добродетели (фр.).

дафны ввиду своей близости к маленькой деревне Дафне, где стоял хари, посвященный этому божеству. Город был построен (хотя мнения на этот счет расходятся) Селевком Никанором, первым царем страны после Александра Македонского, в память своего отца Антиоха, и сразу же стал столицей сирийских монархов. В пору процветания Римской империи в нем обычно жил префект восточных провинций; и многие императоры из Вечного Города (в особенности Вер и Валент) проводили здесь большую часть своей жизни. Но я вижу, что мы уже в городе. Давайте взойдем на этот парапет и окинем взглядом Эпифанью и ее окрестности.

«Что это за бурная и широкая река, которая, образуя многочисленные водопады, прокладывает путь сквозь унылые горы, а затем — меж унылыми домами?

Это Оронт; другой воды не видно, если не считать Средиземного моря, простирающегося широким зеркалом около двенадцати миль южнее. Все видели Средиземное море; но, уверяю вас, лишь немногие могли взглянуть на Антиохию. Под немногими разумею тех, что, подобно нам с вами, при этом наделены преимуществом современного образования. Поэтому перестаньте смотреть на море и направьте все внимание вниз, на громадное скопление домов. Припомните, что сейчас — лето от сотворения мира три тысячи восемьсот тридцатое. Будь это позже — например, в лето от Рождества Христова тысяча восемьсот сорок пятое, — нам не довелось бы увидеть это необычайное зрелище. В девятнадцатом веке Антиохия находится — то есть Антиохия *будет* находится в плачевном состоянии упадка. К тому времени город будет полностью уничтожен тремя землетрясениями. По правде говоря, то немногое, что от него тогда останется, окажется в таком разоре и запустении, что патриарху придется перенести свою резиденцию в Дамаск... А, хорошо. Я вижу, что вы вняли моему совету и используете время, обозревая местность — и теща

взгляд

Прославленную древностью которой
Гордится этот город.

Прошу прощения; я забыл, что Шекспир станет знаменит лишь тысячу семьсот пятьдесят лет спустя. Но разве я не был прав, называя Эпидифну уродливой?

«Город хорошо укреплен; и в этом смысле столько же обязан природе, сколько искусству».

Весьма справедливо.

«Здесь поразительно много величавых дворцов».

Согласен.

«А бесчисленные храмы, пышные и великолепные, выдерживают сравнение с лучшими образцами античного зодчества».

Все это я должен признать. Но тут же бесчисленное множество глинобитных хижин и омерзительных лачуг. Нельзя не увидеть обилия грязи в любой конуре, и, если бы не густые клубы языческого фимиама, то я не сомневаюсь, что мы бы учуяли невыносимое зловоние. Видели ли вы когда-нибудь такие невозможно узкие улицы, такие невероятно высокие дома? Как темно на земле от их тени! Хорошо, что висячие светильники на бесконечных колоннадах оставляют гореть весь день напролет, а то здесь царил бы тьма египетская.

«Да, странное это место! А это что за необычайное здание? Видите, оно возвышается над всеми остальными, а находится к востоку от того строения, очевидно, царского дворца!»

Это новый храм Солнца, которому в Сирии поклоняются под именем Эла Габала. Позже некий недоброй памяти римский император учредит его культ в Риме и заимствует от него свое прозвище — Гелиогабал. Думаю, что вы хотели бы подглядеть, какому божеству поклоняются в этом храме. Можете не смотреть на небо: его Солнечного Сиятельства там нет — по крайней мере того, которому поклоняются сирийцы. То божество вы найдете внутри вон того храма. Оно имеет вид большого каменного столба с конусом или пирамидою наверху, что символизирует Огонь.

«Смотрите! — да что это за нелепые существа, полуголые, с размалеванными лицами, которые вопят и кривляются перед черню?»

Некоторые из них скоморохи. Другие принадлежат к племени философов. Большинство из них, однако, — особенно те, что отделяют население дубинками, — суть важные вельможи из дворца, исполняющие по долгу службы какую-нибудь достохвальную царскую прихоть.

«Но что это? Боже! город кишит дикими зверями! Какое страшное зрелище! — какая опасная особенность!»

Согласен, это страшно; но ни в малейшей степени не опасно. Каждый зверь, если соизволите посмотреть, совершенно спокойно следует за своим хозяином. Некоторых, правда, ведут на веревке, но это главным образом меньшие или самые робкие особи. — Лев, тигр и леопард пользуются полной свободой. Их без труда обучили новой профессии, и теперь они служат *камердинерами*. Правда, случается, что Природа пытается восстановить свои права, но съедение воина или удушение священного быка — для Эпидифны такое незначительное событие, что о нем говорят разве лишь вскользь.

«Но что за необычайный шум я слышу? Право же, он громок даже для Антиохии! Он предвещает нечто из ряда вон выходящее».

Да, несомненно. Видимо, царь повелел устроить какое-то новое зрелище — бой гладиаторов на ипподроме — или, быть может, избиение пленных из Скифии — или сожжение своего нового дворца — или разрушение какого-нибудь красивого храма — а то и костер из нескольких евреев. Шум усиливается. Взрывы хохота возносятся к небесам. Воздух наполняется нестройными звуками труб и ужасным криком миллиона глоток. Давайте спустимся забавы ради и посмотрим, что там происходит! Сюда — осторожнее! Вот мы и на главной улице, улице Тимарха. Море людей устремилось в эту сторону, и нам трудно будет идти против его прилива. Он течет по аллее Гераклида, ведущей прямо от дворца, — так что, по всей вероятности, среди гуляк находится и царь. Да — я слышу клики глашатая, возвещающие его приближение в витиеватых восточных оборотах. Мы сможем взглянуть на его особу, когда он проследует мимо храма Ашимы, а пока укроемся в преддверии капища; он скоро будет здесь. А тем временем рассмотрим это изваяние. Что это? А! это

бог Ашима, собственной персоной. Вы видите, что он ни ягненок, ни козел, ни сатир; также нет у него большого сходства с аркадским Паном. И все-таки ученые последующих веков приписывали — прощу прощения, *будут* приписывать — эти обличья Ашиму Сирийскому. Наденьте очки и скажите: «Кто он? Кто он?»

«Батюшки! Обезьяна!»

Именно — павиан; но от этого божественность его не меньше. Его имя — производное от греческого *Simia*¹ — что за болваны археологи! Но смотрите! — смотрите! — вон сквозь толпу продирается оборванный мальчишка. Куда он идет? О чем он вопит? Что он говорит? А, он говорит, что царь движется сюда во главе торжественного шествия; что на нем полное царское облачение; что он только что собственноручно предал смерти тысячу закованных в цепи пленных израильтян! За этот подвиг оборвыш перевозносит его до небес! Чу! сюда движется толпа таких же голодранцев. Они сочинили латинский гимн², восхваляющий отвагу царя, и поют его по мере своего продвижения:

Mille, mille, mille,
Mille, mille, mille,
Deccolavimus unus homol
Mille, mille, mille, mille deccolavimus!
Mille, mille, mille,
Vivat qui mille mille occidit!
Tantum vini habet nemo
Quantum sanguinis effudit!

Что можно передать следующим образом:

Тысячу, тысячу, тысячу,
Тысячу, тысячу, тысячу
Мы поразили десницей одной!
Тысячу, тысячу, тысячу, тысячу.

¹ Обезьяна (греч.).

² Флавий Вописк указывает, что чернь пела приведенный гимн, когда во время сарматской войны Аврелиан собственноручно убил девяносто пятьдесят врагов.— *Примеч. автора.*

Снова припев этот пой!
Вновь повторю:
Слава царю!
Им тысяча смело была сражена!
Честь ему воздадим!
Больше одним
Крови пролито им,
Чем в Сирии целой — вина!

«Слышите трубы?»

Да — царь приближается! Смотрите! Все оцепенели от восторга и благоговейно возводят глаза к небесам! Он идет! — он приближается! — вот он!

«Кто? — где? — царь? — я его не вижу — не могу сказать, что вижу».

Тогда вы, должно быть, слепы.

«Очень может быть. И все же я ничего не вижу, кроме буйной толпы идиотов и сумасшедших, которые падают ниц перед гигантским жирафом и пытаются лобызнуть ему копыта. Смотрите! Зверь поделом сшиб кого-то из черни — и еще — и еще — и еще. Право, нельзя не похвалить эту скотину за то, какое прекрасное применение нашла она своим копытам».

Хороша чернь! — Да это же благородные и вольные граждане Эпидафны! Скотина, говорите? — Берегитесь, чтобы вас не услышали. Разве вы не видите, что у этой скотины человеческое лицо? Сударь вы мой, да этот жираф не кто иной, как Антиох Эпифан — Антиох Высокородный, царь сирийский, могущественнейший из всех самодержцев Востока! Правда, его иногда называют Антиохом Эпиманом — Антиохом сумасшедшим, — но это потому, что не все способны оценить его заслуги. Так же очевидно, что сейчас он скрыт звериной шкурой и усердно старается изображать жирафа; но это делается для вящего укрепления его царского достоинства. Вдобавок, царь — гигантского роста, поэтому такое одеяние ему идет и не слишком велико. Мы можем, однако, предположить, что он его надел только по какому-то особо торжественному случаю. Вы согласитесь, что избиение тысячи евреев таковым случаем является. Как величаво и надменно перемещается он на четвереньках! Его хвост, как видите,

торжественно несут две его главные наложницы, Эллина и Аргелаида; и вся его наружность была бы бесконечно внушительна, если бы не глаза навывкате да не странный цвет лица, ставший безобразным под действием обильных возлияний. Проследуем за ним к ипподрому, куда он направляется, и послушаем триумфальную песнь, которую он запекает:

Нет царя, кроме Эпифана!
Слава ему, слава!
Нет царя, кроме Эпифана!
Браво! — Браво!
Нет царя, кроме Эпифана,
На земле и в небесах,
Так погасим солнце,
Повергнем храмы в прах!

Отлично, сильно спето! Жители величают его: «Первейший из Поэтов», а также «Слава Востока», «Отрада Вселенной» и «Замечательнейший из Камелеопардов». Его просят повторить песнь, и — слышите? — он снова поет ее. Когда он прибудет на ипподром, его наградят венком поэтов, предвосхищая его победу на будущих Олимпийских играх.

«Юпитер милостивый! Что происходит в толпе за нами?»

За нами, говорите? — а! — о! — вижу. Друг мой, хорошо, что вы сказали вовремя. Идемте-ка в безопасное место, да поскорее. Вот! — спрячемся под аркой этого акведука, и я не замедлю уведомить вас о причине возникшего волнения. Случилось так, как я и ожидал. Необычное появление жирафа с человеческой головой, как видно, нарушило правила приличия, общие для всех ручных зверей города. Из-за этого вспыхнул мятеж; и, как обычно бывает в подобных случаях, все попытки унять толпу окажутся бесплодными. Уже съели нескольких сирийцев; но мнение большинства четвероногих патриотов, по-видимому, склоняется к съедению Камелеопарда. Вследствие этого «Первейший из Поэтов» бежит что есть силы на задних ногах. Вельможи бросили его на произвол судьбы, а наложницы последовали столь превосход-

ному примеру. «Отрада Вселенной», в печальном ты положении! «Слава Востока», берегись, как бы тебя не разжевали! Поэтому не взирай так печально на свой хвост; он, несомненно, изваливается в грязи, и этому не поможешь. Так не оглядывайся на его неизбежное унижение; лучше мужайся, придай резвость стопам твоим и улепетьвай к ипподрому! Помни, что ты — Антиох Эпифан, Антиох Высокородный! — а также «Первейший из Поэтов», «Слава Востока», «Отрада Вселенной» и «Замечательнейший из Камелеопардов»! О небо! Сколь изумительную быстроту ты обнаруживаешь! Какую способность к бегу ты выказываешь! Беги, Первейший! — Bravo, Эпифан! — Молодец, Камелеопард! — Славный Антиох! — Он бежит! — он скачет! — он летит! Как стрела из катапульти, он приближается к ипподрому! Он бежит! — он визжит! — он там! И прекрасно; а то если бы, «Слава Востока», ты опоздал на полсекунды, все медвежата Эпидафны откусили бы от тебя по кусочку. Но пора — идемте! — нежные уши рожденных в наше время не вынесут оглушительного гомона, который вот-вот начнется в честь спасения царя! Слушайте! Он уже начался. Смотрите! — весь город на голове ходит.

«Право же, это самый многолюдный город Востока! Что за обилие народа! Что за смешение всех сословий и возрастов! Что за множество вероисповеданий и народностей! Что за разнообразие одежд! Что за вавилонское столпотворение языков! Что за рев зверей! Что за бречание струн! Что за скопление философов!»

Ну, идемте, идемте.

«Подождите минутку! На ипподроме какая-то суматоха; скажите, почему?»

Это? — а, ничего! Благородные и вольные граждане Эпидафны, будучи, как они заявляют, вполне убеждены в правоте, отваге, мудрости и божественности своего повелителя и вдобавок сумев воочию удостовериться в его сверхчеловеческом проворстве, считают не больше чем своим долгом возложить на его главу (дополнительно к венку поэтов) венок победителей в состязаниях по бегу — венок, который, несомненно, он должен завоевать на следующей Олимпиаде и который поэты ему вручают заранее.



БЕС ПРОТИВОРЕЧИЯ

Рассматривая способности и импульсы, то есть *prima mobilia*¹ человеческой души, френологи в своей системе не отвели места склонности, которая, хотя она, несомненно, существует в виде коренного, первоначального и неукротимого чувства, тем не менее не была замечена ни одним из моралистов, им предшествовавших. Высокомерие чистого разума не позволило никому из нас распознать ее, и мы допускаем, чтобы наши чувства пребывали в неведении о ней, потому лишь, что нам недостает веры, будь то вера в Откровение или вера в Каббалу. Наше представление не включает ничего подобного просто за ненужностью. Мы не видим никакой нужды в таком импульсе, в таком свойстве. Мы не осознаем его необходимости. Мы не понимаем... вернее, мы не могли бы понять, если бы вдруг нам открылась возможность такого *primum mobile*,— мы не могли бы понять, каким образом он способствует достижению целей человечества, как преходящих, так и вечных. Нельзя отрицать, что френология и в значительной мере все метафизические доктрины были состряпаны *a priori*². Не чуткий и наблюдательный, но рассудочный и логичный человек принялся придумывать предназначения и приписывать Богу те или иные цели. Измерив таким образом к вящему своему удовольствию умыслы Иеговы, он из этих умыслов настроил множество умозрительных систем. Во френологии, например, мы сперва с полным на то основанием усматриваем Божественное предназначение в том, что человек ест. Затем мы наделяем человека органом потребности в пище, и этот

¹ Основные движущие силы (*лат.*).

² До и вне всякого опыта (*лат.*).

орган превращается в бич, с помощью которого Бог по-нуждает человека есть, хочет он того или нет. Во-вторых, установив для себя, что Бог повелевает человеку продолжать свой род, мы незамедлительно открываем орган наклонности к любви. И точно то же можно сказать о воинственности, о поэтичности, о логичности, о созидательности — короче говоря, о любом органе, представляющем склонность, нравственное чувство или свойство чистого разума. И в этом распределении *principia*¹ человеческих действий ученики Шпурцгейма, правы они или не правы, частично или в целом, — они, говорю я, в принципе лишь следовали по стопам своих предшественников, выводя и устанавливая все лишь из заранее предопределенной судьбы человека и на основании намерений его Творца.

Было бы мудрее, было бы благоразумнее создавать классификацию (если уж мы должны создавать классификации), опираясь на то, что человек делает обычно или изредка, — на то, что он всегда изредка делает, — а не на то, что, согласно нашему предвзятому мнению, ему назначил делать Бог. Если мы не в состоянии постичь Бога в его видимых творениях, то неужели же он постижим для нас в своих неисповедимых промыслах, которые воплощаются в этих творениях? Если мы не понимаем его в созданиях, имеющих внешнее бытие, то как же можем мы понять внутреннее движение его воли и фазы созидания?

Индукция *a posteriori*² вынудила бы френологию признать врожденным и первоначальным принципом человеческих поступков то парадоксальное нечто, которое за неимением лучшего определения мы назовем «склонностью к противоречию». В том смысле, который я имею в виду, это — *mobile* без мотива, немотивированный мотив. Побуждаемые этой склонностью, мы действуем без какой-либо понятной цели; или же, если тут будет усмотрена логическая неувязка, можно несколько изменить формулу и сказать, что, побуждаемые этой склонностью, мы

¹ Принципы (*лат.*).

² На основании опыта (*лат.*).

совершаем поступки именно потому, что не *должны* их совершать. В теории, казалось бы, нет побудительной причины более беспричинной, но на самом деле могущество ее невероятно. Определенные натуры при определенных обстоятельствах вообще неспособны ей противостоять. Сознание непозволительности или ошибочности какого-то поступка очень часто превращается в неодолимую силу, и она, одна она понуждает нас его совершить — в этом я убежден так же, как в том, что я дышу. И это всепобеждающее стремление поступать не так, как надо, только ради самого поступка, не поддается никакому анализу, никакому разложению на составные элементы. Это коренной, первозданный импульс — элементарный и первичный. Я знаю, можно возразить, что наше поведение, когда мы настаиваем на определенных действиях, хотя никак не должны их совершать, представляет собой лишь видоизменение обычных проявлений «воинственности», о которой говорят френологи. Но ошибочность этой идеи обнаруживается с первого взгляда. Суть френологической «воинственности» — это потребность в самозащите. Это наша оборона от всего, что может нанести нам ущерб. Ее принцип — забота о нашем благополучии, и потому развитие этого свойства совпадает с возникновением стремления к благополучию. Отсюда следует, что желание пребывать в благополучии должно возникать одновременно с любым принципом, который представляет собой лишь видоизменение «воинственности», однако склонность к *противоречию*, как я ее называю, не только не сопровождается желанием пребывать в благополучии, но и связана с прямо противоположным чувством.

Обращение к собственному сердцу — вот в конце концов наилучший ответ на вышеуказанный софизм. Тот, кто доверчиво советуется с собственной душой и подробно и придирчиво ее изучает, вряд ли будет склонен отрицать глубокую врожденность указанной склонности. Ее непостижимость равна ее несомненности. На земле не найдется человека, который хотя бы раз в жизни не испытывал, например, мучительного желания подразнить собеседника излишней обстоятельностью. Говорящий понимает, что он раздражает собеседника, его же цель —

быть приятным; обычно он излагает свои мысли кратко, точно и ясно; с его губ так и рвутся лаконичнейшие и выразительнейшие фразы, и он лишь с большим трудом удерживается от их произнесения. Он страшится и смущается гнева того, с кем беседует, и тут ему приходит в голову мысль, что гнев этот можно вызвать с помощью ненужных обиняков и отступлений. И этой мысли достаточно. Импульс переходит в соблазн, соблазн — в желание, желание — в жгучую потребность, после чего потребность эта (к глубокому сожалению и стыду говорящего и невзирая на все возможные последствия) незамедлительно удовлетворяется.

Нам нужно как можно скорее выполнить какую-то работу. Мы знаем, что любая отсрочка окажется губельной. Важнейший кризис нашей жизни, как боевая труба, призывает нас к немедленным действиям. Мы полны рвения, мы жаждем скорее приступить к выполнению задачи, предвкушая упоительные результаты, мысль о которых преисполняет нас восторгом. Это нужно, это необходимо сделать именно сегодня, и тем не менее мы откладываем все на завтра. А почему? Ответ один: из духа противоречия, хотя мы и не осведомлены о принципе, кроющемся за этим словом. Наступает новый день и приносит с собой еще более нетерпеливое желание поскорее выполнить возложенный на нас долг, но, усиливаясь, наше нетерпение приносит с собой, кроме того, безымянную, пугающую своей необъяснимостью жажду мешкать. Жажда эта с каждой проходящей минутой становится все необоримей. Приближается последний срок, когда еще можно что-то сделать. Мы содрогаемся от ярости происходящей в нашей душе борьбы определенного с неопределенным, материального с тенью. Но если уж борьба зашла так далеко, победа останется за тенью — сопротивление наше тщетно. Бьют часы — это отходная нашему благополучию. Но это же и петушиный крик, спугивающий призрака, столь долго порабоцевавшего нас. Он бежит, он исчезает. Мы свободны. Былая энергия возвращается к нам. *Теперь мы готовы трудиться. Увы, уже поздно.*

Мы стоим на краю пропасти. Мы заглядываем в бездну, и нами овладевают головокружение и дурнота. Пер-

вый наш импульс — скорее отойти от опасного места. Но почему-то мы остаемся. Медленно и постепенно головокружение, дурнота и ужас сливаются в облако чувства, которому нет названия. Мало-помалу, еле заметно, это облако обретает форму, точно дым, поднявшийся из бутылки, в которой был заключен джинн, как повествуется в сказках «Тысячи и одной ночи». Однако из нашего облака над краем бездны рождается образ несравненно более ужасный, чем любые сказочные джинны или демоны, хотя это всего лишь мысль — правда, мысль чудовищная, пронизывающая нас до мозга костей леденящим экстатическим ужасом. Это — всего лишь попытка вообразить, что успели бы мы почувствовать во время стремительного падения с подобной высоты. И вот этого-то падения, этого стремительного превращения в ничто — именно потому, что оно связано с одним из самых отвратительных и мерзких способов смерти и страдания, какой только рождался в нашем воображении, — мы теперь томительно жаждем. И лишь потому, что разум настойчиво требует, чтобы мы отошли от пропасти, лишь поэтому мы упрямо к ней приближаемся. Нет в природе другой столь демонически нетерпеливой страсти, как страсть, обуревающая человека, который, трепеща на краю пропасти, вот так смакует падение туда. Прислушаться хотя бы на миг к голосу рассудка значит неминуемо погибнуть, ибо рассудок побуждает нас отступить, а этого, утверждаю я, мы сделать неспособны. И если рядом не окажется дружеской руки, чтобы остановить нас, если нам не удастся броситься навзничь в сторону, противоположную бездне, мы прыгнем в нее и погибнем.

Как бы мы ни рассматривали эти и подобные им поступки, мы неизбежно приходим к выводу, что причиной их был только дух противоречия. Мы совершаем их лишь в силу чувства, что не должны их совершать. Под этим или за этим не кроется никакого разумного принципа, и мы были бы вправе считать такое поведение прямым плодом подстрекательства врага рода человеческого, если бы иной раз оно не служило благим целям.

Все это я сообщаю для того, чтобы в какой-то мере дать ответ на ваш вопрос, чтобы объяснить вам, почему я

нахожусь здесь, чтобы подсказать вам хотя бы слабое подобие причины того, что я отягощен этими оковами и сижу в камере обреченных. Без этих пространных объяснений вы либо совсем меня не поняли бы, либо, подобно бессмысленной черни, сочли бы меня сумасшедшим. Теперь же вы без труда поймете, что я — одна из бесчисленных жертв беса противоречия.

Ни одно деяние не подготавливалось с такой тщательностью. Много недель, много месяцев размышлял я о том, как совершить это убийство. Я отверг тысячи планов, потому что их исполнение таило в себе хотя бы отдаленную возможность разоблачения. Наконец в каких-то французских мемуарах я натолкнулся на описание болезни, едва не ставшей роковой, которая сразила мадам Пило после того, как возле нее некоторое время горела случайно отравленная свеча. Эта идея поразила мое воображение. Мне было известно обыкновение моей будущей жертвы читать в постели. Я знал также, что спальня узка и плохо проветривается. Но не стану докучать вам ненужными подробностями. Не стану описывать те незамысловатые хитрости, с помощью которых я подменил свечу в подсвечнике у его кровати палочкой из воска, отлитой мною самим. Наутро его нашли в постели мертвым, и вердикт следственного судьи гласил: «Скоропостижная смерть».

Я унаследовал его состояние и в течение многих лет не знал никаких забот. Возможность разоблачения представлялась мне невероятной. Огарок смертоносной свечи я успешно уничтожил. Я не оставил ни одной улики, на основании которой можно было бы вынести мне обвинительный приговор или хотя бы заподозрить меня в преступлении. Думая о своей полной неуязвимости, я испытывал неизъяснимое удовольствие. Годы и годы я упивался этим чувством. Оно приносило мне больше настоящей радости, чем всего лишь материальные плоды моего греха. Однако в конце концов наступил день, когда это приятное ощущение начало незаметно и постепенно превращаться в неотвязную и тревожную мысль. Она тревожила своей неотвязностью. Мне не удавалось отделаться от нее ни на мгновение. Как часто досаждают нам звенящая в наших ушах, а вернее, в нашей памяти про-

стенная песенка или ничем не примечательная оперная ария! И нам не становится легче оттого, что песенка эта очень хороша, а ария написана прославленным композитором. Вот так с какого-то времени я начал постоянно ловить себя на том, что размышляю о своей полной безопасности и вполголоса повторяю слова: «Мне ничто не угрожает».

Однажды, прогуливаясь по городу, я смолк, заметив, что произношу эту привычную фразу вслух. В припадке раздражения я переиначил ее следующим образом: «Мне ничто не угрожает, мне ничто не угрожает... да, если я не буду так глуп, чтобы признаться самому!»

Не успел я произнести эти слова, как в мое сердце проник леденящий холод. Я по опыту знал, что человек нередко поступает наперекор себе (о природе этого явления я уже сказал достаточно), и помнил, что мне еще ни разу не удалось успешно справиться с собой, когда мной овладевал дух противоречия. И вот теперь мое собственное случайное предположение, будто я могу оказаться настолько глуп, что добровольно признаюсь в совершенном мною убийстве, предстало передо мной, словно призрак того, кого я убил, и начало манить меня на путь, ведущий к смерти.

Сначала я попытался рассеять кошмар, овладевший моей душой. Я пошел энергичной походкой, все быстрее, быстрее... и наконец побежал. Меня охватило безумное желание вопить во весь голос. Каждый новый приступ мыслей преисполнял меня новым ужасом, ибо, увы, я слишком, слишком хорошо понимал, что думать теперь означало погибнуть. Я еще ускорил свой бег. Я мчался как сумасшедший среди толп, заполнявших улицы. Наконец прохожие, заподозрив что-то неладное, бросились за мной в погоню. И тут я почувствовал, что моя судьба свершается. Если бы я мог вырвать свой язык, я сделал бы это... но в ушах у меня зазвучал грубый голос, еще более грубая рука схватила меня за плечо. Я повернулся, я судорожно попытался вздохнуть. Несколько секунд я испытывал все муки удушья. Я ослеп, оглох, я лишился сознания, и тут какой-то невидимый дьявол, показалось мне, ударил меня широкой ладонью по спине. Долго хранящая в душе тайна вырвалась из плена.

Рассказывают, что я говорил очень четко, но взволнованно и со страстной торопливостью, словно боялся, как бы меня не прервали прежде, чем я закончу краткие, но зловещие фразы, обрекавшие меня палачу и аду.

Сообщив все, что было необходимо для вынесения смертного приговора, я упал в обморок.

Но к чему продолжать? Сегодня я закован в эти цепи и нахожусь здесь. Завтра я буду свободен от оков — но где?



БОН-БОН

Quand un bon vin meuble mon estomac,
Je suis plus savant que Balzac—
Plus sage que Pibrac;
Mon bras seul faisant l'attaque
De la nation Cossaque,
La mettroit au sac;
De Charon je passerois le lac
En dormant dans son bac;
J'irois au fier Eac,
Sans que mon coeur fit tic ni tac,
Presenter du tabac.¹

Французский водевиль

То обстоятельство, что Пьер Бон-Бон был restaurateur² необычайной квалификации, не осмелится, я полагаю, оспаривать ни единый человек из тех, кто в царствование посещал маленькое Cafe в cul-de-sac Le Febvre³ в Руане. То обстоятельство, что Пьер Бон-Бон приобрел в равной степени сноровку в философии того времени, я

¹ Когда я в глотку лью коньяк,
Я сам ученей, чем Бальзак,
И я мудрее, чем Пибрак,
Мне нипочем любой казак.
Пойду на рать таких вояк
И запихну их в свой рюкзак.
Могу залезть к Харону в бак
И спать, пока везет чудак,
А позови меня Эак,
Опять не струшу я никак.
И сердце тут ни тик, ни так,
Я только гаркну: «Сыпь табак!» (фр.)
(Перев. В. В. Левика.)

² Ресторатор (фр.).

³ Тунике Ле Февр (фр.).

считаю еще более неоспоримым. Его *pates a la foie*¹ были, несомненно, безупречными, но где перо, которое воздаст должное его эссе *sur la Nature*², — его мыслям *sur l'Amé*³, — его замечаниям *sur l'Esprit*⁴? Если его *omelettes*⁵ — если его *fricandeaux*⁶ были неопределимыми, то какой *litterateur*⁷ того времени не дал бы за одну «*Idee de Bon-Bon*»⁸ вдвое больше, чем за весь хлам «*Idees*»⁹ всех остальных *savants*¹⁰? Бон-Бон обшаривал библиотеки, как не обшаривал их никто, — читал столько, что другому и в голову не могла бы закрасться мысль так много прочитать, — понимал столько, что другой и помыслить не мог бы о возможности столь многое понимать. И хотя в Руане, в эпоху его расцвета, находились некие авторы, которые утверждали, будто его *dicta*¹¹ не отличаются ни ясностью Академии, ни глубиной Ликейя, хотя, заметьте, его доктрины никоим образом не были всеобщим достоянием умов, отсюда все же не следует, будто они были трудны для понимания. По-моему, именно по причине их самоочевидности многие стали считать их непостижимыми. Именно Бон-Бону — однако не будем продвигаться в этом вопросе слишком далеко — именно Бон-Бону в основном обязан Кант своей метафизикой. Первый из них на самом-то деле не был платоником, не был он, строго говоря, и последователем Аристотеля и не растрачивал, словно некий самоновейший Лейбниц, драгоценные часы, кои можно было употребить на изобретенье *fricassée*¹² или *facili gradu*¹³, на анализ ощущений, в легкомысленных попытках примирить друг с другом упрямые масло и воду этичес-

1 Паштетты (*фр.*).

2 О природе (*фр.*).

3 О душе (*фр.*).

4 О разуме (*фр.*).

5 Омлеты (*фр.*).

6 Фрикандо — жареные кусочки напшигованного мяса или рыбы (*фр.*).

7 Литератор (*фр.*).

8 «Идею Бон-Бона» (*фр.*).

9 «Идей» (*фр.*).

10 Ученых (*фр.*).

11 Афоризмы (*лат.*).

12 Фрикасе (*фр.*).

13 С легкостью (*лат.*).

кого рассуждения. никоим образом! Бон-Бон был ионийцем — в той же мере Бон-Бон был италийцем. Он рассуждал *a priori* — он рассуждал также *a posteriori*. Его идеи были врожденными — или же совсем наоборот. Он верил в Георгия Трапезундского. — Он верил в Бессариона. Бон-Бон был ярко выраженным... бон-бонианцем.

Я говорил о компетенции этого философа как *restaurateur*. Да не помыслит, однако, кто-либо из моих друзей, будто, выполняя унаследованные им обязанности, наш герой страдал недооценкой их важности или достоинства. Отнюдь нет. Невозможно сказать, какая из сторон его профессий служила для него предметом наибольшей гордости. Он считал, что силы интеллекта находятся в тонкой связи с возможностями желудка. И в сущности я не стал бы утверждать, что он так уж расходился с китайцами, которые помещают душу в брюшную полость. Во всяком случае, думал он, правы были греки, употреблявшие одно и то же слово для обозначения разума и грудобрюшной преграды¹. Говоря все это, я вовсе не хочу выдвинуть обвинение в чревоугодии или какое-либо другое серьезное обвинение, в ущерб нашему метафизику. Если у Пьера Бон-Бона и были слабости — а кто из великих людей не имел их тысячами — если, повторяю, Пьер Бон-Бон и имел свои слабости, то они были слабостями незначительными, — недостатками, которые при другом складе характера рассматривались бы скорее как добродетели. Что касается одной из этих слабых струнок, то я бы даже не упомянул о ней в своем рассказе, если б она не выделялась с особой выпуклостью — наподобие резко выраженного *alto rilievo*² — из плоскости обычного расположения Бон-Бона. Он не упускал ни одной возможности заключить сделку.

Не то, чтобы он страдал алчностью — нет! Для удовлетворения нашего философа вовсе не нужно было, чтобы сделка шла ему на пользу. Если совершался товарообмен — любого рода, на любых условиях и при любых обстоятельствах, — то много дней после этого торжествующая

1 *Φρεσς* (греч.). — *Примеч. автора.*

2 *Горельсфа* (ит.).

улыбка освещала лицо философа, а заговорщицкое подмигивание свидетельствовало о его прозорливости.

Не представляется удивительным, если столь своеобразный характер, как тот, о котором я только что упоминал, привлекает внимание и вызывает комментарии. Следовало бы поистине удивляться, если бы в эпоху, к которой относится наш рассказ, это своеобразие не привлекло бы внимания. Вскоре было замечено, что во всех случаях подобного рода ухмылка Бон-Бона имела склонность резко отличаться от той широкой улыбки, в которой он расплывался, приветствуя знакомых или смеясь собственным шуткам. Распространялись тревожные слухи, рассказывались истории о губительных сделках, заключенных в спешке и оплакиваемых на досуге; присовокуплялись примеры необъяснимых способностей, смутных вождедений и противоестественных наклонностей, насаждаемых автором всяческого зла в его собственных премудрых целях.

Наш философ имел и другие слабости — но они едва ли заслуживают серьезного исследования. К примеру, мало кто из людей неисчерпаемой глубины не имеет склонности к бутылке. Является ли эта склонность побудительной причиной подобной глубины или же скорее ее веским подтверждением — вопрос тонкий. Бон-Бон, насколько я мог установить, не расценивал сей предмет как пригодный для детального исследования; — я придерживаюсь того же мнения. Однако же при всем потворстве этому предрасположению, столь классическому, не следует думать, будто *restaurateur* утрачивал ту интуитивную разборчивость, которая обычно характеризовала его *essais*¹ и, в то же самое время, его *omelettes*. При уединенных бдениях его жребий падал на *Vin de Bourgogne*², но находились и моменты, подходящие для *Cotes du Rhone*³. С точки зрения Бон-Бона — сотерн относился к медуку так же, как Катулл — к Гомеру. Он был не прочь позабавиться силлогизмом, потягивал сен-пере, но вскрывал сущ-

¹ Эссе (фр.).

² Бургундское (фр.).

³ Котдюрон (фр.).

ность рассуждения за бокалом клодвужо и опрокидывал теорию в потоке шамбертена. Было бы прекрасно, если б столь же острое чувство уместности сопровождало его торговые склонности, о которых я говорил ранее, — однако последнее отнюдь не имело места. Если сказать по правде, так *эта* черта ума философического Бон-Бона стала *принимать* с течением времени характер странной напряженности и мистицизма и несла в себе значительную примесь *diablerie*¹ излюбленных им германских авторов.

Войти в маленькое Cafe в *cul-de-sac* Le Febvre означало, в эпоху нашего рассказа, войти в *sanctum*² гения. А Бон-Бон был гением. Не было в Руане *sous-cuisinier*³, который не сказал бы вам, что Бон-Бон был гением. Даже его кошка знала это и не позволяла себе размахивать хвостом в присутствии гения. Его огромный пудель был знаком с этим фактом и при приближении своего хозяина выражал чувство собственного ничтожества смиренной благовоспитанностью, опаданьем ушей и опусканием нижней челюсти в манере, не вовсе недостойной собаки. Впрочем, верно, что многое в этом привычном уважении надлежало бы приписать внешности метафизика. Выдающаяся наружность, должен я сказать, действует даже на животных, и я готов допустить, что многое во внешнем человеческом облике *restaurateur* было рассчитано на то, чтобы производить впечатление на четвероногих. От великого коротышки — да будет мне дозволено употребить столь двусмысленное выражение — веет какой-то особой царственностью, которую чисто физические объемы сами по себе ни при каких обстоятельствах создать не способны. Бон-Бон едва достигал трех футов роста, и если голова его была преуморительно мала, то все же было невозможно созерцать округлость его живота, не ощущая великолепия, граничащего с возвышенным. В его размерах собакам и людям надлежало усматривать образец достижений Бон-Бона, в его обширности — достойное вместилище для бессмертной души философа.

¹ Дьявольщины (фр.).

² Святилище (лат.).

³ Поваренка (фр.).

Я мог бы здесь — если б мне того захотелось — подробно остановиться на экипировке и на других привходящих обстоятельствах, касающихся внешней стороны метафизика. Я мог бы намекнуть, что волосы нашего героя были острижены коротко, гладко зачесаны на лоб и увенчаны белым фланелевым коническим колпаком с кисточками — что его гороховый камзол не следовал фасону, который носили обычные *restaurateurs* того времени — что рукава были несколько пышнее, чем позволяла то господствующая мода — что обшлага их, в отличие от того, что было принято в ту варварскую эпоху, не были подбиты материей того же качества и цвета, что и само одеяние, но были прихотливо отделаны переливчатым генуэзским бархатом — что его ночные туфли, изящно украшенные филигранью, были ярко-пурпурного цвета и их можно было бы принять за изготовленные в Японии, если б не утонченная заостренность их носов и бриллиантовый блеск гаруса и шитья — что его штаны были из желтой атласной материи, называемой *aimable*¹, — что его лазурно-голубой плащ, напоминающий своей формой халат, весь в малиновых узорах, небрежно струился с его плеч, подобно утреннему туману — и что *tout ensemble*² вызвало следующие замечательные слова Беневенуты, импровизатриссы из Флоренции: «Быть может, Пьер Бон-Бон и явился к нам точно райская птица, но скорее всего он — воплощение райского совершенства». Я мог бы, повторяю, пуститься в детальное обсуждение всех этих предметов, если б я того захотел, — однако же я воздержусь; я оставляю чисто личные подробности авторам исторических романов — голый факт по своим этическим достоинствам куда выше таких деталей. «Войти в маленькое *Cafe* в *cul-de-sac* *Le Febvre* означало», писал я выше, «войти в *sanctum* гения», но только будучи гением, можно было надлежащим образом оценить достоинства этого *sanctum*. У входа, исполняя роль вывески, раскачивался огромный фолиант, на одной стороне которого была изображена бутылка, а на другой — *rate*. На корешке вид-

¹ Любезная (*фр.*).

² Все в целом (*фр.*).

нелись большие буквы «Oeuvres de Bon-Bon»¹. Эта аллегория утонченно передавала двойкость занятий владельца.

Переступив порог, можно было тотчас окинуть взглядом всю внутренность дома. Длинная низкая комната старинной архитектуры составляла единственное помещение этого Cafe. В углу стояла кровать метафизика. Вереница занавесей и полог *a la Grecque*² придавали ей классический, а вместе с тем и уютный вид. В углу, противоположном по диагонали, объединились в дружное семейство кухонные принадлежности и *bibliothèque*³. Блюдо полемики мирно покоилось на кухонном столе. Тут — полный противень новейшей этики, там — котел *melanges in duodecimo*⁴, здесь — сочинения германских моралистов в обнимку с рашпером. Вилку для подрумянивания хлеба можно было отыскать рядом с Евсевием, Платон прикорнул отдохнуть на сковороде, а современные писания были насажены на вертел.

В остальном Cafe de Bon-Bon, пожалуй, мало чем отличалось от обычных *restaurants* того времени. Прямо напротив двери зиял очаг, справа от него в открытом буфете виднелись устрашающие ряды бутылочных этикеток.

Здесь, суровой зимой — — года, около полуночи, Пьер Бон-Бон, выслушав замечания соседей по поводу его странных наклонностей и выпроводив их из своего дома, — здесь, повторяю, Пьер Бон-Бон запер за ними с проклятьем дверь и погрузился, в не слишком мирном расположении духа, в объятия кожаного кресла перед вязанками хвоста, пылавшими в очаге.

Стояла одна из тех страшных ночей, которые выпадают раз или два в столетие. Снег валил с яростью, а весь дом до основания содрогался под струями ветра, которые, прорываясь сквозь щели в стене и вырываясь из дымохода, вздували занавеси у постели философа и приводили в беспорядок все хозяйство его манускриптов и

1 Сочинения Бон-Бона (фр.).

2 На греческий манер (фр.).

3 Библиотека (фр.).

4 Всякой всячины (фр.) в одну двенадцатую долю листа (лат.).

сотейников. Внушительный фолиант, качающийся снаружи вывески, отданной на ярость бури, зловеще скрипел под стонущий звук своих крепких дубовых кронштейнов.

В настроении, повторяю, отнюдь не миролюбивом, метафизик пододвинул свое кресло к обычному месту у очага. За день произошло много досадных событий, которые нарушили безмятежность его размышлений. Взавшись за *des oeufs a la Princesse*¹, он нечаянно состряпал *omelette a la Reine*². Открытие нового этического принципа свелось на нет опрокинутым рагу, а самой последней, но отнюдь не самой малой неприятностью было то, что философу поставили препоны при заключении одной из тех восхитительных сделок, доводить которые до успешного конца всегда служило ему особой отрадой. Однако, наряду со всеми этими необъяснимыми неприятностями, в приведенье его ума в раздраженное состояние не преминула принять участие и известная доля той нервной напряженности, на создание которой столь точно рассчитана ярость неистовой ночи. Подозвав легким свистом своего огромного черного пуделя, о котором мы упоминали ранее, и устроясь с недобрим предчувствием в кресле, он невольно окинул подозрительным и тревожным взглядом те отдаленные уголки своего жилища, непокорные тени которых даже красное пламя очага могло разогнать лишь частично. Закончив осмотр, точную цель которого, пожалуй, он и сам не понимал, философ придвинул к себе маленький столик, заваленный книгами и бумагами, и вскоре погрузился в правку объемистой рукописи, предназначенной к публикации на завтра.

Бон-Бон был занят этим уже несколько минут, как вдруг в комнате раздался внезапно чей-то плаксивый шепот:

— Мне ведь не к спеху, *monsieur* Бон-Бон.

— О, черт! — возопил наш герой, вскакивая на ноги, опрокидывая столик и с изумленьем озираясь вокруг.

— Он самый, — невозмутимо ответил тот же голос.

¹ Глазунью а-ля принцесса (фр.).

² Омлет а-ля королева (фр.).

— Он самый? Кто это он самый? Как вы сюда попали? — выкрикивал метафизик, меж тем как взгляд его упал на что-то, растянувшееся во всю длину на кровати.

— Так вот, я и говорю, — продолжал незванный гость, не обращая никакого внимания на вопросы. — Я и говорю, что мне торопиться ни к чему. Дело, из-за которого я взял на себя смелость нанести вам визит, не такой уж неотложной важности, словом, я вполне могу подождать, пока вы не кончите ваше Толкование.

— Мое Толкование — скажите на милость! — откуда вы это знаете? Как вы догадались, что я пишу Толкование? — О, Боже!

— Тсс... — пронзительно прошипел гость; и, быстро поднявшись с кровати, сделал шаг к нашему герою, меж тем как железная лампа, подвешенная к потолку, судорожно отшатнулась при его приближении.

Изумление философа не помешало ему подробно рассмотреть одежду и наружность незнакомца. Линии его фигуры, изрядно тощей, но вместе с тем необычайно высокой, подчеркивались до мельчайших штрихов потертым костюмом из черной ткани, плотно облегающим тело, но скроенным по моде прошлого века. Это одеяние предназначалось, безусловно, для особы гораздо меньшего роста, чем его нынешний владелец. Лодыжки и запястья незнакомца высывались из одежды на несколько дюймов. Пара сверкающих пряжек на башмаках отводила подозрение о нищенской бедности, создаваемое остальными частями одежды. Голова незнакомца была обнаженной и совершенно лысой, если не считать весьма длинной queue¹, свисавшей с затылка. Зеленые очки с дополнительными боковыми стеклами защищали его глаза от воздействия света, а вместе с тем препятствовали нашему герою установить их цвет или их форму. На этом субъекте не было и следа рубашки; однако на шее с большой тщательностью был повязан белый замызганный галстук, а его концы, свисающие строго вниз, придавали незнакомцу (смею сказать, неумышленно) вид духовной особы.

¹ Здесь: косицы (фр.).

Да и многие другие особенности его наружности и манер вполне могли бы подкрепить идею подобного рода. За левым ухом он носил некий инструмент, как делают это нынешние клерки, похожий на античный стилос. В нагрудном кармане сюртука виднелся маленький черный томик, скрепленный стальными застешками. Эта книга, случайно или нет, была повернута таким образом, что открывались слова «Rituel Catholique»¹, обозначенные белыми буквами на ее корешке. Печать загадочной утрюмости лежала на мертвенно-бледной физиономии незнакомца. Глубокие размышления провели на высоком лбу свои борозды. Углы рта были опущены вниз с выражением самой покорной смиренности. Сложив руки, он подошел с тяжким вздохом к нашему герою, и весь его вид предельной святости не мог не располагать в его пользу. Последняя тень гнева исчезла с лица метафизика, когда, завершив удовлетворивший его осмотр личности посетителя, он сердечно пожал ему руку и подвел к креслу.

Было бы, однако, серьезной ошибкой приписать эту мгновенную перемену в чувствованиях философа одной из тех естественных причин, которые могли оказать здесь влияние. В самом деле, Пьер Бон-Бон, в той мере, в какой я был способен понять его характер, менее кого бы то ни было мог поддаваться показной обходительности. Невозможно было предположить, чтобы столь тонкий наблюдатель людей и предметов не раскусил бы с первого взгляда подлинный характер субъекта, явившегося злоупотреблять его гостеприимством. Помимо всего прочего, заметим, что строение ног посетителя было достаточно примечательным — что он с легкостью удерживал на голове необычайно высокую шляпу, что на задней части его панталон было видно трепетное вздутие, а подрагивание фалд его сюртука было вполне осязаемым фактом. Судите же поэтому сами, с чувством какого удовлетворения наш герой увидел себя внезапно в обществе персоны, к которой он всегда питал самое безоговорочное почтение. Он был, однако, слишком хорошим дипломатом, чтобы хоть малейшим намеком выдать свои подозрения по поводу реального

¹ Католический требник (фр.).

положения дел. Показывать, что он хоть сколько-нибудь осознает ту высокую честь, которой он столь неожиданно удостоился, не входило в его намерения. Напротив, он хотел вовлечь гостя в разговор и выудить у него кое-что из важных этических идей, которые могли бы, получив место в предвкушаемой им публикации, просветить человеческий род, а вместе с тем и обессмертить имя самого автора; идей, выработать которые, должен я добавить, вполне позволял посетителю его изрядный возраст и его всем известная поднаторелость в этических науках.

Побуждаемый сими просвещенными взглядами, наш герой предложил джентльмену присесть, а сам, воспользовавшись случаем, подбросил в огонь несколько вязанок, поднял опрокинутый столик и расставил на нем несколько бутылок *mousseux*¹. Быстро завершив эти операции, он поставил свое кресло *vis-a-vis*² кресла своего партнера и стал ждать, когда же тот начнет разговор. Но даже план, разработанный с наибольшим искусством, часто опрокидывается при малейшей попытке его осуществить, и наш *restaurateur* был совершенно обескуражен первыми же словами посетителя.

— Я вижу, вы меня знаете, Бон-Бон, — начал гость, — ха! ха! ха! — хе! хе! хе! — хи! хи! хи! — хо! хо! хо! — ху! ху! ху! — и дьявол, тут же отбросив личину святости, разинул во всю ширь, от уха до уха рот, так что обнажился частокол клыкастых зубов, запрокинул назад голову и закатился долгим, громким, зловещим и неуправляемым хохотом, меж тем, как черный пудель, припав задом к земле, принялся с наслаждением ему вторить, а пятнистая кошка, отпрянув неожиданно в самый дальний угол комнаты, стала на задние лапы и пронзительно завопила.

Философ же повел себя иначе; он был слишком светским человеком, чтобы смеяться подобно собаке или визгом обнаруживать кошачий испуг дурного тона. Он испытывал, следует признать, легкое удивление при виде того, как белые буквы, составляющие слова «*Rituel Cat-*

¹ Игристого (*фр.*).

² Напротив (*фр.*).

holique» на книге в кармане гостя, мгновенно изменили свой цвет и форму, и через несколько секунд на месте прежнего заглавия уже пылали красными буквами слова «Regitre des Condamnes»¹. Этим поразительным обстоятельством и объясняется тот оттенок смущения, который появился у Бон-Бона, когда он отвечал на слова своего гостя, и который, в противном случае, по всей вероятности, не наблюдался бы.

— Видите ли, сэр,— начал философ,— видите ли, по правде говоря... Я уверен, что вы... клянусь честью... и что вы прокл... то есть, я думаю, я полагаю... смутно догадываюсь... весьма смутно догадываюсь... о высокой чести...

— О! — а! — да! — отлично! — прервал философа его величество,— довольно, я все уже понял.— И вслед за этим он снял свои зеленые очки, тщательно протер стекла рукавом сюртука и спрятал очки в карман.

Если происшествие с книгой удивило Бон-Бона, то теперь его изумление сильно возросло от зрелища, представшего перед ним. Горя желанием установить, наконец, какого же цвета глаза у его гостя, Бон-Бон взглянул на них. И тут он обнаружил, что вопреки его ожиданиям цвет их вовсе не был черным. Не был он и серым, вопреки тому, что можно было бы предположить — не был ни карим, ни голубым — ни желтым — ни красным — ни пурпурным — ни белым — ни зеленым — и вообще не был никаким цветом, который можно сыскать вверху в небесах, или внизу на земле, или же в водах под землей. Словом, Пьер Бон-Бон не только увидел, что у его величества попросту нет никаких глаз, но и не мог обнаружить ни единого признака их существования в прежние времена, ибо пространство, где глазам полагается пребывать по естеству, было совершенно гладким.

Воздержание от вопросов по поводу причин столь странного явления вовсе не входило в натуру метафизика, а ответ его величества отличался прямоотой, достоинством и убедительностью.

¹ Ресстр обреченных (фр.).

— Глаза! — мой дорогой Бон-Бон — глаза, говорите вы? — о! — а! — Понимаю! Нелепые картинки — не правда ль? — нелепые картинки, которые ходят среди публики, создали ложное представление о моей наружности. Глаза!!! — Конечно! Глаза, Пьер Бон-Бон, хороши на подходящем для них месте — их место на голове, скажете вы! — верно — на голове червя. Точно так же и вам необходимы эти окуляры, и все ж вы сейчас убедитесь, что мое зрение проникает глубже вашего. Вон там в углу я вижу кошку — миленькая кошка — взгляните на нее — понаблюдайте за ней хорошенько. Ну как, Бон-Бон, видите ли вы ее мысли — мысли, говорю я, — идеи — концепции, — которые зарождаются под ее черепной коробкой? Вот то-то же, не видите! Она думает, что мы восхищены длиной ее хвоста и глубиной ее разума. Только что она пришла к заключению, что я — весьма важное духовное лицо, а вы — крайне поверхностный метафизик. Итак, вы видите, я не вполне слеп; но тому, кто имеет мою профессию, глаза, о которых вы говорите, были бы попросту обузой, того и гляди их выколят вилами или вертелом для подрумянивания грешников. Вам эти оптические штуковины необходимы, я готов это признать. Постарайтесь, Бон-Бон, использовать их хорошо; мое же зрение — душа.

С этими словами гость налил себе вина и, наполнив до краев стакан Бон-Бона, предложил ему выпить без всякого стеснения и вообще чувствовать себя совсем как дома.

— Неглупая вышла у вас книга, Пьер,— продолжал его величество, похлопывая с хитрым видом нашего приятеля по плечу, когда тот поставил стакан, в точности выполнив предписание гостя.— Неглупая вышла книга, клянусь честью. Такая работа мне по сердцу. Однако расположение материала, я думаю, можно улучшить, к тому же многие ваши взгляды напоминают мне Аристотеля. Этот философ был одним из моих ближайших знакомых. Я обожал его за отвратительный нрав и за счастливое умение попадать впросак. Есть только одна твердая истина во всем, что он написал, да и ту из чистого сострадания к его бестолковости я ему подсказал. Я полагаю, Пьер

Бон-Бон, вы хорошо знаете ту восхитительную этическую истину, на которую я намекаю?

— Не могу сказать, чтоб я...

— Ну, конечно! Да ведь это я сказал Аристотелю, что избыток идей люди удаляют через ноздри посредством чихания.

— Что, безусловно, -и-ик — и имеет место,— заметил метафизик, наливая себе еще один стакан муссо и подставляя гостю свою табакерку.

— Был там еще такой Платон,— продолжал его величество, скромно отклоняя табакерку и подразумеваемый комплимент,— был там еще Платон, к которому одно время я питал самую дружескую привязанность. Вы знавали Платона, Бон-Бон? — ах, да,— приношу тысячу извинений. Однажды он встретил меня в Афинах, в Парфеноне, и сказал, что хочет разжиться идеей. Я посоветовал ему написать, что *ο νοϋς εστιν αϋλος*¹. Он обещал именно так и поступить, и отправился домой, а я заглянул к пирамидам. Однако моя совесть грызла меня за то, что я высказал истину, хотя бы и в помощь другу, и, поспешив назад в Афины, я подошел к креслу философа как раз в тот момент, когда он выводил словечко «αυλος». Я дал лямбде щелчка, и она опрокинулась; поэтому фраза читается теперь как «ο νοϋς εστιν αυουος»² и составляет, видите ли, основную доктрину его метафизики.

— Вы бывали когда-нибудь в Риме? — спросил restaurateur, прикончив вторую бутылку mousseux и доставая из буфета приличный запас шамбертена.

— Только однажды, monsieur Бон-Бон, только однажды. В то время,— продолжал дьявол, словно читая по книге,— в то время настал период анархии, длившийся пять лет, когда в республике, лишенной всех ее должностных лиц, не осталось иных управителей, кроме народных трибунов, да к тому же не облеченных полномочиями исполнительной власти. В то время, monsieur Бон-бон, только в то время я побывал в Риме, и, как следствие

¹ Разум есть свирель (греч.).

² Разум есть глаз (испорч. греч.).

этого, я не имею ни малейшего знакомства с его философией¹.

— Что вы думаете — и-ик — думаете об — и-ик — Эпикуре?

— Что я думаю о ком, о ком? — переспросил с изумлением дьявол.— Ну, уж в Эпикуре вы не найдете ни малейшего изъяна! Что я думаю об Эпикуре! Вы имеете в виду меня, сэр? — Эпикур — это я! Я — тот самый философ, который написал все до единого триста трактатов, упоминаемых Диогеном Лаэртцем.

— Это ложь! — сказал метафизик, которому вино слегка ударило в голову.

— Прекрасно! — Прекрасно, сэр! — Поистине прекрасно, сэр! — проговорил его величество, по всей видимости весьма польщенный.

— Это ложь! — повторил restaurateur, не допуская возражений,— это — и-ик — ложь!

— Ну, ну, пусть будет по-вашему! — сказал миролюбиво дьявол, а Бон-Бон, побив его величество в споре, счел своим долгом прикончить вторую бутылку шамбертена.

— Как я уже говорил,— продолжал посетитель,— как я отмечал немного ранее, некоторые понятия в этой вашей книге, monsieur Бон-Бон, весьма outre². Вот, к слову сказать, что за околесицу несете вы там о душе? Скажите на милость, сэр, что такое душа?

— Дуу — и-ик — ша,— ответил метафизик, заглядывая в рукопись,— душа несомненно...

— Нет, сэр!

— Безусловно...

— Нет, сэр!

— Неоспоримо...

— Нет, сэр!..

— Очевидно...

¹ Ils écrivaient sur la Philosophie (Cicero, Lucretius, Seneca) mais c'était la Philosophie Grecque.— Condorcet. Они писали о философии (Цицерон, Лукреций, Сенека), но то была греческая философия. — Кондорсе (фр.). — Примеч. автора.

² Вычурны (фр.).

— Нет, сэр!

— Неопровержимо...

— Нет, сэр!

— И-ик!..

— Нет, сэр!

— И вне всякого сомнения, ду...

— Нет, сэр, душа вовсе не это! (Тут философ, бросая по сторонам свирепые взгляды, воспользовался случаем прикончить без промедления третью бутылку шамбертена.)

— Тогда — и — и — ик — скажите на милость, сэр, что ж — что же это такое?

— Это несущественно, *monsieur* Бон-Бон,— ответил его величество, погружаясь в воспоминания.— Мне доводилось отведывать — я имею в виду знавать — весьма скверные души, а подчас и весьма недурные.— Тут он причмокнул губами и, ухватясь машинально рукой за том, лежащий в кармане, затрясся в неудержимом припадке чиханья.

Затем он продолжал:

— У Кратина душа была сносной; у Аристофана — пикантной; у Платона — изысканной — не у вашего Платона, а у того, у комического поэта; от вашего Платона стало бы дурно и Церберу — тьфу! Позвольте, кто ж дальше? Были там еще Невий, Андроник, Плавт и Теренций. А затем Луцилий, Катулл, Назон, и Квинт Флакк — миляга Квинти, чтобы потешить меня, распевал *seculare*¹, пока я поддурманивал его, в благодушнейшем настроении, на вилке. Но все ж им недоставало настоящего вкуса, этим римлянам. Один упитанный грек стоил дюжины, и к тому ж не начинал припахивать, чего не скажешь о квиритах. Отведаем вашего сотерна!

К этому времени Бон-Бон твердо решил *nil admirari*² и сделал попытку подать требуемые бутылки. Он услышал, однако, в комнате странный звук, словно кто-то махал хвостом. На этот, хотя и крайне недостойный со стороны его величества, звук наш философ не стал обра-

¹ Юбилейный гимн (*лат.*).

² Ничему не удивляться (*лат.*).

щать внимания, он попросту дал пуделю пинка и велел ему лежать смирно. Меж тем посетитель продолжал свой рассказ:

— Я нашел, что Гораций на вкус очень схож с Аристотелем,— а вы знаете, я люблю разнообразие. Теренция я не мог отличить от Менандра. Назон, к моему удивлению, обманчиво напоминал Никандра под другим соусом. Вергилий сильно отдавал Феокритом. Марциал напомнил мне Архилоха, а Тит Ливий определенно был Полибием и не кем другим.

— И — и-ик! — ответил Бон-Бон, а его величество продолжал:

— Но если у меня и есть *страстишка*, monsieur Бон-Бон,— если и есть *страстишка*, так это к философам. Однако ж, позвольте мне сказать вам, сэръ, что не всякий чер...— я хочу сказать, не всякий джентльмен умеет *выбрать* философа. Те, что подлиннее,— не хороши, и даже лучшие, если их не зачистишь, становятся горклыми из-за желчи.

— Зачистишь?

— Я хотел сказать, не вынешь из тела.

— Ну, а как вы находите — и — и-ик — врачей?

— И *не упоминайте* о них! — мерзость! (Здесь его величество потянуло на рвоту.) — Я откусал лишь одного ракалю Гиппократу — ну и вонял же он асафетидой — тьфу! тьфу! тьфу! — я подцепил простуду, полоща его в Стиксе, и вдобавок он наградил меня азиатской холерой.

— Ско — ик — тина! — выкрикнул Бон-Бон.— Клистирная — и-и-ик — кишка! — И философ уронил слезу.

— В конце-то концов,— продолжал посетитель,— в конце-то концов, если чер...— если джентльмен хочет остаться в живых, он должен обладать хоть некоторыми талантами; у нас круглая физиономия — признак дипломатических способностей.

— Как это?

— Видите ли, иной раз бывает очень туго с провиантом. Надо сказать, что в нашем знойном климате зачастую трудно сохранить душу в живых свыше двух или трех часов; а после смерти, если ее немедленно не сунуть в

рассол (а соленые души — совсем не то, что свежие), она начинает припахивать — понятно, а? Каждый раз опасаться порчи, если получаешь душу обычным способом.

— И-их! — И-ик! — Да как же вы там живете?

Тут железная лампа закачалась с удвоенной силой, а дьявол привстал со своего кресла; однако же, с легким вздохом он занял прежнюю позицию и лишь сказал нашему герою вполголоса: — Прошу вас, Пьер Бон-Бон, не надо больше браниться.

В знак полного понимания и молчаливого согласия хозяин опрокинул еще один стакан, и посетитель продолжал:

— Живем? Живем мы по-разному. Большинство умирает с голоду, иные — питаются солониной; что ж касается меня, то я покупаю мои душа *vivente corpore*¹, в каком случае они сохраняются очень неплохо.

— Ну, а тело?! — и-ик — а тело?!

— Тела, тело — а при чем тут тело? — о! — а! — понимаю! Что же, сэр, тело *нисколько* не страдает от подобной коммерции. В свое время я сделал множество покупок такого рода, и стороны ни разу не испытывали ни малейшего неудобства. Были тут и Каин, и Немврод, и Нерон, и Калигула, и Дионисий, и Писистрат, и тысячи других, которые во второй половине своей жизни попросту позабыли, что значит иметь душу, а меж тем, сэр, эти люди служили украшением общества. Да взять хотя бы А., которого вы знаете столь же хорошо, как и я! Разве он не владеет всеми своими способностями, телесными и духовными? Кто напишет эпиграмму острее? Кто рассуждает остроумней? Но, погодите, договор с ним находится у меня здесь, в записной книжке.

Говоря это, он достал красное кожаное портмоне и вынул из него пачку бумаг. Перед Бон-Боном мелькнули буквы *Маки... Маза... Робесп...* и слова *Калигула, Георг, Елизавета*. Его величество выбрал узенькую полоску пергамента и прочел вслух следующее:

— Сим, в компенсацию за определенные умственные дарования, а также в обмен на тысячу луидоров, я, в

¹ Здесь: в живом теле, на корню (*лат.*).

возрасте одного года и одного месяца, уступаю предьявителю данного соглашения все права пользования, распоряжения и владения тенью, именуемой моею душой. Подписано: А...¹ (Тут его величество прочел фамилию, указать которую более определенно я не считаю для себя возможным.)

— Неглупый малый,— прибавил он,— но, как и вы, Бон-Бон, он заблуждался насчет души. Душа это тень! Как бы не так! Душа — тень! Ха! ха! ха! — хе! хе! — хе! хо! хо! хо! Подумать только — фрикасе из тени!

— Подумать *только* — и-ик! — фрикасе из тени! — воскликнул наш герой, в голове у которого наступало прояснение от глубочайших мыслей, высказанных его величеством.

— Подумать *только* — фри-ик-касе из тени! Черт подери! — И-ик! — Хм! — Да будь я на месте — и-ик! — этого простофили! *Моя* душа, Мистер... Хм!

— Ваша душа, monsieur Бон-Бон?

— Да, сэр — и-ик! — *моя* душа была бы...

— Чем, сэр?

— *Не тенью*, черт подери!

— Вы хотите сказать...

— Да, сэр, *моя* душа была бы — и-ик! — хм! — да, сэр.

— Уж не станете ли вы утверждать...

— *Моя* душа особенно — и-ик! — годилась бы — и-ик! для...

— Для чего, сэр?

— Для рагу.

— Неужто?

— Для суфле!

— Не может быть!

— Для фрикасе!

— Правда?

— Для рагу и для фрикандо — послушай-ка, приятель, я тебе ее уступлю — и-ик — идет! — Тут философ шлепнул его величество по спине.

¹ Читать — Аруо?

— Это немыслимо! — невозмутимо ответил последний, поднимаясь с кресла. Метафизик недоуменно уставился на него.

— У меня их сейчас предостаточно,— пояснил его величество.

— Да — и-ик — разве? — сказал философ.

— Не располагаю средствами.

— Что?

— К тому ж, с моей стороны, было бы некрасиво...

— Сэр!

— Воспользоваться...

— И-ик!

— Вашим нынешним омерзительным и недостойным состоянием.

Гость поклонился и исчез — трудно установить, каким способом, — но бутылка, точным броском запущенная в «злодея», перебила подвешенную к потолку цепочку, и метафизик распостерся на полу под рухнувшей вниз лампой.



КОРОЛЬ ЧУМА

Аллегорический рассказ

С чем боги в королях мирятся,
что приемлют,
То в низкой черни гневно отвергают.
«Трагедия о Феррексе и Поррексе»

Однажды в царствование доблестного Эдуарда Третьего, в октябре, два матроса с торговой шхуны «Независимая», плавающей между Слау и Темзой, а тогда стоявшей на Темзе, около полуночи, к своему величайшему изумлению, обнаружили, что сидят в лондонском трактире «Веселый матрос» в приходе св. Эндрюса.

Эта убогая, закопченная распивочная с низким потолком ничем не отличалась от любого заведения подобного рода, какими они были в те времена; и все же посетители, расположившиеся в ней причудливыми группами, нашли бы, что она вполне отвечает своему назначению.

Наши матросы, люди простые и немудрящие, тем не менее представляли собой весьма занятную парочку.

Один из них, тот, которого не без основания прозвали «Дылдой», был как будто старше своего спутника и чуть не вдвое выше его. Из-за своего огромного роста — в нем было футов шесть с половиной — он сильно сутулился. Впрочем, излишек длины с лихвой искупался нехваткой ширины. Он был до того худ, что, как уверяли товарищи, пьяный мог бы служить флагштоком на мачте, а трезвый — сойти за бушприт. Но ни одна из подобных шуток не вызывала даже тени улыбки у этого матроса. У него был крупный ястребиный нос, острые скулы, круто срезанный подбородок, запавшая нижняя губа, а глаза навыва-

те — большие и белесые. Казалось, ко всему на свете он относился с тупым безразличием, причем лицо его выражало такую торжественную важность, что описать или воспроизвести это выражение невозможно.

Второй матрос, тот, который был моложе, являлся его полной противоположностью. Рост матроса едва достигал четырех футов. Приземистое нелепое туловище держалось на коротких и толстых кривых ногах; куцые руки с массивными кулаками висели наподобие плавников морской черепахи. Маленькие бесцветные глазки поблескивали откуда-то из глубины, нос утопал в лиловых подушках щек; толстая верхняя губа, покоясь на еще более толстой нижней, придавала его лицу презрительное выражение, а привычка облизываться еще подчеркивала его. Нельзя было не заметить, что Дылда вызывает в нем удивление и насмешку, он поглядывал на своего долговязого приятеля снизу вверх, точь-в-точь как багровое закатное солнце смотрит на крутые склоны Бен-Невиса.

Странствия сей достойной парочки из трактира в трактир сопровождалась в тот вечер самыми невообразимыми происшествиями. В распивочную «Веселый матрос» друзья явились без гроша в кармане — запасы денег, даже самые солидные, когда-нибудь да иссякают.

В ту минуту, с которой, собственно, и начинается наш рассказ, Дылда и его дружок Хью Смоленый сидели посреди комнаты, положив локти на большой дубовый стол и подпирая ладонями щеки. Скрытые огромной бутылкой от эля, который они успели выпить, но не оплатили, приятели взирали на зловещие слова «мела нет» (что означало — нет кредита), выведенные, к их величайшему изумлению и негодованию, над входной дверью тем самым мелом, наличие коего отрицалось. Не думайте, что хотя бы один из этих детей моря умел читать по писаному, — способность, считавшаяся в те времена простым народом не менее магической, чем дар сочинительства, — но буквы, как хмельные, делали резкий крен в подветренную сторону, а это, по мнению обоих матросов, предвещало долгое ненастье; волей-неволей пришлось тут же, как аллегорически выразился Дылда, «откачивать воду из трюма, брать паруса на гитовы и ложиться по ветру».

И матросы, расправившись наскоро с остатками эля и затянув шнуры коротких курток, устремились на улицу. Несмотря на то, что Хью Смоленый дважды сунул голову в камин, приняв его за дверь, наши герои благополучно выбрались из трактира и в половине первого ночи уже во всю прыть неслись по темному переулку к лестнице св. Эндрюса, навстречу новым бедам и упорно преследуемые разъяренной хозяйкой «Веселого матроса».

В эпоху, к которой относится этот богатый происшествиями рассказ, по всей Англии, и особенно по ее столице, долгие годы разносился душераздирающий вопль: «Чума!» Лондон совсем обезлюдел; по темным, узким, грязным улицам и переулкам близ Темзы, где, как полагали, и появился призрак Черной смерти, свободно разгуливали только Ужас, Страх и Суеверие.

Указом короля на эти районы был наложен запрет, и под страхом смертной казни никто не смел нарушить их мрачное безлюдье. Но ни указ монарха, ни высокие заставы перед зачумленными улицами, ни смертельная угроза погибнуть от богомерзкой болезни, подстерегавшей несчастного, который, презрев опасность, рисковал всем,— ничто не могло спасти от ночных грабителей покинутые жителями дома; хотя оттуда и был вывезен весь скарб, воры уносили железо, медь, свинец,— словом все, что имело какую-нибудь ценность.

Каждый год, когда снимали заставы, оказывалось, что владельцы многочисленных в тех местах лавок, стремившиеся избежать риска и хлопот, связанных с перевозкой, напрасно доверили замкам, засовам и потайным погребам свои обширные запасы вин и других спиртных напитков.

Впрочем, лишь немногие приписывали эти деяния рукам человеческим. Люди обезумели от страха и считали, что во всем повинны духи чумы, бесы моровой язвы или демоны горячки. Ежечасно возникали леденящие кровь легенды, и неодолимый страх словно саваном окутал эти здания, находившиеся под запретом,— не раз случалось, что ужасы обступали грабителя, и он в трепете бежал, оставляя обезлюдевшие улицы во власти заразы, безмолвия и смерти.

Одна из тех зловещих застав, которые ограждали зачумленные районы, внезапно выросла на пути Дылды и его достойного дружка Хью Смоленого, когда они, спотыкаясь, бежали по переулку. О возвращении не могло быть и речи; нельзя было терять ни минуты, так как преследователи гнались за ними по пятам. Да и что стоит настоящим морякам взобраться на сколоченную наспех ограду! И вот приятели, разгоряченные быстрым бегом и вином, уже перескочили барьер, понеслись дальше с громкими криками и пьяным гиканием и вскоре затерялись в лабиринте зловонных извилистых улиц.

Конечно, если бы они не были пьяны до бесчувствия, сознание безвыходности их положения парализовало бы их, а они и без того стояли нетвердо на ногах. Стало холодно, моросил дождь. Камни, вывороченные из мостовой, валялись где попало среди высокой, цеплявшейся за ноги, буйно разросшейся травы. Обломки домов завалили улицы. Кругом стоял удушливый смрад, и при мертвенно-бледном свете, излучаемом мглистым тлетворным воздухом даже в самую темную ночь, можно было увидеть то там, то здесь в переулках и в жилищах с выбитыми стеклами разлагающийся труп ночного разбойника, настигнутого рукою чумы в ту самую минуту, когда он грабил.

Но даже эти препятствия и картины ужасов не могли остановить людей от природы храбрых, отвага которых была к тому же подогрета элем,— и вот уже наши матросы, пошатываясь и стараясь, насколько позволял им алкоголь, не уклоняться в сторону, спешили прямо в пасть смерти. Вперед, все вперед бежал угрюмый Дылда, пробуждая многоголосое тоскливое эхо своим диким гиканьем, напоминавшим военный клич индейцев; вперед, все вперед спешил за ним вразвалку коротышка Хью Смоленый, вцепившись в куртку своего более предприимчивого товарища, и из глубины его могучих легких вырывались басовые ноты, подобные бычьему реву, еще более оглушительными, чем музыкальные упражнения Дылды.

Теперь приятели, видимо, добрались до главного оплота чумы. С каждым их шагом воздух становился все зловоннее и удушливее, а переулки все более узкими и

извилистыми. С прогнутых крыш поминутно срывались громадные камни и балки, а грохот, с каким они падали, свидетельствовал о высоте окружающих зданий; с трудом прокладывая себе дорогу среди развалин, матросы нередко задевали рукой скелет или разлагающийся труп.

Вдруг, когда они наткнулись на подъезд какого-то высокого мрачного дома и у разгоряченного Дылды вырвался особенно пронзительный вопль, в глубине здания раздался взрыв неистового сатанинского гогота и визга. Ничуть не испугавшись этого гогота, от которого в такое время да еще в таком месте у людей не столь отчаянных кровь застыла бы в жилах, пьяницы очертя голову ринулись к двери, с градом проклятий распахнули ее настежь и очутились в самом пекле.

Комната, куда они попали, была лавкой гробовщика; через открытый люк в углу у входа был виден ряд винных погребов, а доносившееся оттуда хлопанье пробок свидетельствовало о том, что там хранятся изрядные запасы спиртного.

Посредине лавки стоял стол, в центре которого возвышалась огромная кадка, наполненная, по всей вероятности, пуншем. Весь стол был заставлен бутылками со всевозможными винами; попережку стояли баклаги, фляги, кувшины самого разнообразного вида с другими спиртными напитками. Вокруг стола на козлах для гробов разместилась компания из шести человек. Попытаемся описать каждого из них.

Против двери, на возвышении, сидел, по-видимому, распорядитель пира Он был высок и очень тощ. Дылда даже растерялся, увидев человека, еще более тощего, чем он сам. Председатель был желт, как шафран, но черты его лица не привлекли бы внимания и о них не стоило бы упоминать, если бы не одно обстоятельство: лоб у него был до того безобразный и неестественно высокий, что казалось, будто поверх головы надето нечто вроде колпака или кивера в виде огромного нароста. Стянутый, точно кисет, ввалившийся рот улыбался с какой-то дьявольской приветливостью, и глаза от действия винных паров казались остекленевшими, как, впрочем, у всех сидящих за столом. На этом джентльмене была богато расшитая

мантия из черного бархата, в которую он небрежно завернулся с головы до ног, словно в испанский плащ. Голова его была утыкана черными перьями, какими обычно украшают катафалки, и он непринужденно, с франтоватым видом, покачивал этим плюмажем из стороны в сторону; в правой руке распорядитель сжимал берцовую кость, которой, видимо, только что потехи ради огрел одного из своих собутыльников.

Напротив, спиной к двери, восседала леди, наружности ничуть не менее ошеломляющей. Будучи почти одного роста с вышеописанным джентльменом, она, однако, не могла пожаловаться на худобу — ее явно мучила водянка, к тому же в последней стадии; фигура этой леди больше всего походила на огромную бочку из-под октябрьского пива, с пробитым верхом, стоявшую в углу. Ее круглое, как шар, красное и распухшее лицо отличалось той же странностью, что и лицо председателя, — вернее сказать, в нем тоже не было ничего примечательного, кроме одной черты, которая настолько бросалась в глаза, что не упомянуть о ней невозможно. Наблюдательный Хью Смоленый тут же заметил, что каждый из присутствующих отмечен какой-нибудь чудовищной особенностью, словно он взял себе монополию на одну часть физиономии. У леди, о которой мы ведем речь, выделялся рот. Он протянулся зияющей щелью от правого до левого уха, и подвески ее серег то и дело проваливались в эту щель. Однако бедняжка изо всех сил старалась держать рот закрытым — уж очень ей хотелось сохранять тот величественный вид, который придавал ей тесный, туго накрахмаленный, тщательно отутюженный саван, стянутый у шеи батистовым гофрированным рюшем.

По правую руку от нее сидела миниатюрная молодая особа, которой она, видимо, покровительствовала. Дрожь исхудалых пальцев, синева губ, легкий лихорадочный румянец, пятнами окрасивший свинцово-серое лицо этого нежного создания, — все говорило о том, что у нее скоротечная чахотка. В манерах молодой леди чувствовался подлинный *haut ton*¹; с непринужденной грацией носила

¹ Светский тон (фр.).

она свободную, очень элегантную погребальную сорочку из тончайшего батиста; волосы кольцами ниспадали на шею; на губах играла томная улыбка; но ее нос, необычайно длинный и тонкий, подвижный, похожий на хобот, весь в угрях, закрывал нижнюю губу и, несмотря на изящество, с каким она перебрасывала его кончиком языка туда и сюда, придавал ее лицу какое-то непристойное выражение.

По другую сторону стола, налево от леди, страдавшей водянкой, расположился отекавший, страдающий астмой и подагрой старичок; его щеки лежали на плечах, как два бурдюка, полных красного портвейна. Руки он скрестил на груди, свою забинтованную ногу положил на стол и, по всей видимости, чувствовал себя очень важной персоной. Старичок явно гордился каждым дюймою своей наружности, но больше всего он наслаждался тем вниманием, какое вызывал его пестрый сюртук. Еще бы — сюртук этот, наверное, стоил ему больших денег и сидел на нем превосходно; скроен он был из причудливо расшитого шелкового шарфа, какими обвивают щиты с пышными гербами, которые в Англии и в других странах вывешиваются на домах старой аристократии.

Рядом с ним, по правую руку от председателя, матросы увидели джентльмена в длинных белых чулках и бязевых кальсонах. Он уморительно дергался всем телом в приступе «трясучки», как определил про себя Хью Смоленый. Его гладко выбритые щеки и подбородок стягивала муслиновая повязка, запястья ему также связали, и таким образом он был лишен возможности злоупотреблять горячительными напитками, в изобилии стоявшими на столе, — предосторожность, как подумал Дылда, необходимая, принимая во внимание бессмысленное выражение лица этого закоренелого пьянчуги, который, наверное, и забыл, когда был трезв. Но его гигантские уши уж никак не удалось бы связать, и они тянулись вверх, судорожно настораживаясь всякий раз, когда хлопала пробка.

Лицом к нему возлежал шестой и последний собутыльник — до странности одеревенелый джентльмен; он был разбит параличом и, честно говоря, должен был прекверно себя чувствовать в своем неудобном, хоть и весь-

ма оригинальном туалете. Одет он был в новешенький нарядный гроб. Поперечная стенка давила на голову этого облаченного в гроб человека, нависая подобно капюшону, что придавало его лицу неопишимо забавный вид. По бокам гроба были сделаны отверстия для рук, скорее ради удобства, чем ради красоты. При всем том, наряд этот не позволял его обладателю сидеть прямо, как остальные, и, лежа под углом в сорок пять градусов, откинувшись назад к стенке, он закатывал к потолку белки своих огромных вытаращенных глаз, словно сам бесконечно изумлялся их чудовищной величине.

Перед каждым из пирующих стоял разбитый череп, заменявший ему кубок. Над столом показывался скелет, он висел на веревке, обвязанной вокруг ноги и протянутой через кольцо в потолке. Другая нога отскакивала под прямым углом, отчего костяк при малейшем дуновении ветерка, проникавшего в комнату, дребезжал, подпрыгивал и раскачивался во все стороны. В черепе мерзостного скелета пылали угли, они освещали всю эту сцену резким мерцающим светом; между тем гробы и прочие товары похоронной конторы, наваленные высокими кучами по всему помещению и у окон, не давали ни единому лучу света прорваться на улицу.

При виде столь необычайного общества и еще более необычайных одеяний наши матросы повели себя далеко не так пристойно, как можно было ожидать. Дылда, прислонившись к стене, у которой стоял, широко разинул рот, — нижняя губа у него отвисла еще больше обычного, а глаза чуть не вылезли из орбит; а Хью, присев на корточки так, что нос его оказался на одном уровне со столом, и хлопая себя по коленям, разразился неудержимым и совершенно неприличным смехом.

Все же верзила-председатель не счел оскорблением такую вопиющую неучтивость: он милостиво улыбнулся незванным гостям и, величаво качнув головой, утыканной траурными перьями, поднялся, взял матросов за руки и подвел к козлам, которые услужливо притащил кто-то из пирующих. Дылда без малейшего сопротивления сел, куда ему было указано, между тем как галантный Хью придвинул свои козлы поближе к миниатюрной чахоточной

леди в погребальной сорочке и превесело плюхнулся рядом с нею; плеснув в череп красного вина, он осушил его за более близкое знакомство. Но возможностью такого знакомства был крайне рассержен одеревенелый джентльмен в гробу, и это привело бы к весьма неприятным последствиям, если бы председатель, постучав по столу своим жезлом, не отвлек внимания присутствующих следующей речью:

— Мы считаем своим долгом, ввиду счастливого случая...

— Стоп! — с серьезным видом прервал его Дылда. — Погоди, говорю, минутку! Скажи нам сперва, кто вы такие, дьявол вас забери, и что вы тут делаете, разрядившись как черти на шабаш? Почему хлебаете славное винцо и пиво, которое гробовщик Уилл Уимбл — честный мой дружок, мы немало с ним поплавали, — припас себе на зиму?

Выслушав столь непозволительно наглую речь, чудная компания привстала и ответила таким же неистовым гоготом, какой незадолго перед тем привлек внимание наших моряков.

Первым овладел собой председатель и, обратившись к Дылде, заговорил с еще большим достоинством:

— Мы готовы любезно удовлетворить любопытство наших именитых, хоть и непрошенных гостей и ответить на любой разумный вопрос. Так знайте: я государь этих владений и правлю здесь единодержавно под именем король Чума Первый.

Эти покои, что вы по невежеству сочли лавкой Уилла Уимбла, гробовщика, человека нам не известного, чье плебейское имя до сей ночи не оскверняло наших королевских ушей, это — Тронная зала нашего дворца, которая служит нам для совещаний с сановниками, а также для других священных и возвышенных целей. Благородная леди, что сидит напротив, — королева Чума, ее величество наша супруга, а прочие высокие особы, которых вы здесь видите, — члены нашего августейшего семейства. Все они королевской крови и носят соответствующие звания: его светлость эрцгерцог Чума-Мор, ее светлость

герцогиня Чума Бубонная, его светлость герцог Чума-Смерч и ее высочество Чумная Язва.

А на ваш вопрос,— продолжал председатель,— по какому поводу мы собрались здесь, мы позволим себе ответить, что это касается исключительно наших личных королевских интересов и ни для кого, кроме нас, значения не имеет. Однако, исходя из тех прав, на кои вы, как наши гости и чужеземцы, имеете основание претендовать, объясняем: мы собрались здесь нынче ночью для того, чтобы путем глубоких изысканий и самых тщательных исследований проверить, испробовать и до конца распознать неуловимый дух, непостижимые качества, природу и бесценные вкусовые свойства вина, эля и иных крепких напитков нашей прекрасной столицы. Делаем мы это не столько ради личного нашего преуспеяния, сколько ради подлинного благоденствия той неземной владычицы, которая царит над всеми, владения коей безграничны,— имя же ей — Смерть!

— Имя же ей Деви Джонс! — крикнул Хью Смоленый, наполняя вином два черепа — для себя и для своей соседки.

— Нечестивый раб! — воскликнул председатель, окидывая взглядом милейшего Хью.— Нечестивый жалкий ублюдок! Мы заявили тебе, что из уважения к правам, кои мы не склонны нарушать, даже имея дело с такой гнусной личностью, как ты, мы снизошли до ответа на оскорбительные и дурацкие расспросы. Однако за то, что вы так кощунственно вторглись сюда на наш совет, мы считаем своим долгом наложить штраф на тебя и твоего дружка: вы должны, стоя на коленях, осушить за процветание нашего королевства по галлону рома, смешанного с патокой, после чего можете продолжать свой путь или остаться и разделить с нами все привилегии нашего общества, как это вам самим заблагорассудится.

— Никак невозможно,— отозвался Дылда. Достоинство, с которым держался король Чума Первый, очевидно внушило Дылде некоторое почтение; он поднялся и, опершись о стол, продолжал: — С дозволения вашего величества, невозможное это дело — спустить в трюм хоть четверть того пойла, о котором ваше величество сейчас

изволило упомянуть. Не считая жидкости, принятой на борт утром в качестве балласта, не говоря об эле и других крепких напитках, принятых нынешним вечером в разных портах, мой трюм доверху полон пивом, которым я нагрузился, расплатившись за него сполна в трактире под вывеской «Веселый матрос». Так вот, прошу ваше величество довольствоваться моими добрыми намерениями, ибо я никоим образом не могу вместить в себя еще хоть каплю чего-либо, а тем более этой мерзкой трюмной водички, которая зовется ромом с патокой.

— Заткни глотку! — прервал его Хью Смолений, ошарашенный столь длинной речью товарища, а еще больше его отказом. — Заткни глотку, пустомеля! Я скажу — а я зря болтать не стану: в моем трюме еще найдется место, хоть ты, видать, и перебрал лишнее. А что до твоей доли груза, так я найду и для нее место, нечего поднимать бурю!..

— Это не отвечает смыслу приговора, — остановил его председатель. — Наше решение как мидийский закон: оно не может быть ни изменено, ни отменено. Условия должны быть выполнены неукоснительно и без малейшего промедления. А не выполните, прикажем привязать вам ноги к шее и, как бунтовщиков, утопить вон в том бочонке октябрьского пива!

— Таков приговор! Правильный и справедливый! Прекрасное решение! Самое достойное, самое честное и праведное! — хором завопило чумное семейство.

На лбу короля собрались бесчисленные складки; старичок с подагрой запыхтел, как кузнечные мехи; молодая особа в погребальной сорочке вертела косом во все стороны; леди в саване ловила ртом воздух, словно издыхающая рыба; а тот, что был облачен в гроб, лежал, как колода, и тарасил свои чудовищные глаза.

— Хи-хи-хи! — посмеивался Хью Смолений, словно не замечая общего волнения. — Хи-хи-хи! Хи-хи-хи! Я же говорил, когда мистер король Чума стучал своей свайкой, что такому крепкому, малонагруженному судну, как мое, ничего не стоит опрокинуть в себя лишних два галлона рома с патокой. Но пить за здоровье сатаны (да простит ему Господь!), стоя на коленях перед этим паршивым

величеством, когда я уверен, что он еще больший грешник, чем я, и всего-навсего Тим Херлигерли, комедиант, — нет, дудки! По моим понятиям это дело другого сорта и совсем не по моим мозгам.

Ему не дали кончить. Едва он упомянул имя Тима Херлигерли, все разом вскочили.

— Измена! — закричал его величество король Чума Первый.

— Измена! — проскрипел человек с подагрой.

— Измена! — взвизгнула ее высочество Чумная Язва.

— Измена! — прощамкал человек со связанной челюстью.

— Измена! — прорычал человек, облаченный в гроб.

— Измена! Измена! — завопила ее величество Ротщелью и, ухватив злополучного Хью Смоленого сзади за штаны, высоко подняла его и без всяких церемоний бросила в огромный открытый бочонок с его излюбленным октябрьским пивом. Несколько секунд он то погружался на дно, то всплывал, словно яблоко в чаше с пуншем, пока не исчез в водовороте пенистого пива, которое забурлило еще больше от судорожных усилий Хью.

Видя поражение своего товарища, в дело вмешался долговязый матрос. Столкнув короля Чуму в открытый люк, отважный Дылда с проклятием захлопнул за ним дверцу и вышел на середину комнаты. Он сорвал качавшийся над столом скелет и принялся молотить им по головам пирующих, да с таким усердием и добросовестностью, что с последней вспышкой гаснувших углей вышиб дух из подагрического старикашки. Навалившись потом изо всей силы на роковой бочонок с октябрьским пивом и Хью Смоленым, он тут же опрокинул его. Из бочонка хлынуло пиво потоком, таким бурным и стремительным, что сразу залило всю лавку от стенки до стенки. Уставленный напитками стол перевернулся, козлы для гробов поплыли ножками вверх, кадка с пуншем скатилась в камин, и обе леди закатали истерику. Оплетенные соломой фляги наскакивали на портерные бутылки; кубки, кружки, стаканы — все смешалось в общей *melee*¹.

¹ Схватке (*фр.*).

Человек-трясучка захлебнулся тут же, одеревенелый джентльмен выплыл из своего гроба, а победоносный Дылда, обхватив за талию могучую леди в саване, ринулся с нею на улицу, беря прямой курс на «Независимую»; следом за ним, чихнув три или четыре раза, пыхтя и задыхаясь, под легкими парусами неся Хью Смоленый, прихватив с собою ее высочество Чумную Язву.



ФОН КЕМПЕЛЕН И ЕГО ОТКРЫТИЕ

После весьма детальной и обстоятельной работы Араго, — я не говорю сейчас о резюме, опубликованном в «Журнале Простака» вместе с подробным заявлением лейтенанта Мори, — вряд ли меня можно заподозрить в том, что, предлагая несколько беглых замечаний об открытии фон Кемпелена, я претендую на шумное рассмотрение предмета. Мне хотелось бы, прежде всего, просто сказать несколько слов о самом фон Кемпелене (с которым несколько лет тому назад я имел честь быть лично немного знакомым), ибо все связанное с ним не может не представлять и сейчас интереса, и, во-вторых, взглянуть на *результаты* его открытия в целом и поразмыслить над ними.

Возможно, однако, что тем поверхностным наблюдениям, которые я хочу здесь высказать, следует предпослать решительное опровержение распространенного, по-видимому, мнения (возникшего, как всегда бывает в таких случаях, благодаря газетам), что в открытии этом, как оно ни поразительно, что не вызывает никаких сомнений, у фон Кемпелена не было предшественников.

Сошлюсь на с. 53 и 82 «Дневника сэра Хамфри Дэви» (Коттл и Манро, Лондон, 150 с.). Из этих страниц явствует, что прославленный химик не только пришел к тому же выводу, но и предпринял также *весьма существенные шаги в направлении того же эксперимента*, который с таким триумфом завершил сейчас фон Кемпелен. Хотя последний нигде ни словом об этом не упоминает, он, *безусловно* (я говорю это, не колеблясь, и готов, если потребуется, привести доказательства), обязан «Дневнику», по крайней мере первым намеком на свое начинание. Не могу не привести два отрывка из «Дневника», содер-

жащие одно из уравнений сэра Хамфри, хотя они и носят несколько технический характер. [Поскольку мы не располагаем необходимыми алгебраическими символами и поскольку «Дневник» можно найти в библиотеке Атенеума, мы опускаем здесь некоторую часть рукописи мистера По.— Издатель.]

Подхваченный всеми газетами абзац из «Курьера в карьер», в котором заявляется, что честь открытия принадлежит якобы некоему мистеру Джульстону из Брунсвика в штате Мен, сознаюсь, в силу ряда причин представляется мне несколько апокрифическим, хотя в самом этом заявлении нет ничего невозможного или слишком невероятного. Вряд ли мне следует входить в подробности. В мнении своем об этом абзаце я исхожу в основном из его *стиля*. Он не производит правдивого *впечатления*. Люди, излагающие *факты*, редко так заботятся о дне и часе, и точном местоположении, как это делает мистер Джульстон. К тому же, если мистер Джульстон *действительно натолкнулся*, как он заявляет, на это открытие в означенное время — почти восемь лет тому назад — как могло случиться, что он тут же, не медля ни минуты, не принял мер к тому, чтобы воспользоваться огромными преимуществами, которые это открытие предоставляет если не всему миру, то лично ему, — о чем не мог не догадаться и деревенский дурачок? Мне представляется совершенно невероятным, чтобы человек заурядных способностей мог сделать, как заявляет мистер Джульстон, такое открытие и вместе с тем действовать, *по признанию самого мистера Джульстона*, до такой степени как младенец — как желторотый птенец! Кстати, кто такой мистер Джульстон? *Откуда* он взялся? И не является ли весь абзац в «Курьере в карьер» фальшивкой, рассчитанной на то, чтобы «наделать шума»? Должен сознаться, все это чрезвычайно отдает подделкой. По скромному моему понятию, на сообщение это никак нельзя полагаться, и если бы я по опыту не знал, как легко *мистифицировать* мужей науки в вопросах, лежащих за пределами обычного круга их исследования, я был бы глубоко поражен, узнав, что такой выдающийся химик, как профессор Дрейпер, всерьез обсуждает при-

тязания мистера Джульстона (или, возможно, мистера Джуликстона?).

Однако вернемся к «Дневнику сэра Хамфри Дэви». Сочинение это не предназначалось для публикации даже после смерти автора,— человеку, хоть сколько-нибудь сведущему в писательском деле, легко убедиться в этом при самом поверхностном ознакомлении с его стилем. На с. 13, например, посередине, там, где говорится об опытах с закисью азота, читаем: «Не прошло и тридцати секунд, как дыхание, продолжаясь, стало постепенно затихать, затем возникло аналогичное легкому давлению на все мускулы». Что *дыхание* не «затихало», ясно не только из последующего текста, но и из формы множественного числа «стали». Эту фразу, вне сомнения, следует читать так: «Не прошло и полуминуты, как дыхание продолжалось, (а эти ощущения) стали постепенно затихать, затем возникло (чувство), аналогичное легкому давлению на все мускулы».

Множество таких примеров доказывает, что рукопись, столь поспешно опубликованная, содержала всего лишь *черновые наброски*, предназначенные исключительно для автора, — просмотр этого сочинения убедит любого мыслящего человека в правоте моих предположений. Дело в том, что сэр Хамфри Дэви менее всего был склонен к тому, чтобы *компрометировать* себя в вопросах науки. Он не только в высшей степени не одобрял шарлатанство, но и смертельно боялся *прослыть* эмпириком; так что, как бы ни был он убежден в правильности своей догадки по интересующему нас вопросу, он никогда не позволил бы себе выступить с заявлением до тех пор, пока не был бы готов к наглядной демонстрации своей идеи. Я глубоко убежден в том, что его последние минуты были бы омрачены, узнай он, что его желание, чтобы «Дневник» (во многом содержащий самые общие соображения) был сожжен, будет оставлено без внимания, как, по всей видимости, и произошло. Я говорю «его желание», ибо уверен, что невозможно сомневаться в том, что он намеревался включить эту тетрадь в число разнообразных бумаг, на которых поставил пометку «Сжечь». На счастье или несчастье они уцелели от огня, покажет будущее. В том,

что отрывки, приведенные выше, вместе с аналогичными им другими, на которые я ссылаюсь, натолкнули фон Кемпелена на *догадку*, я совершенно уверен; но, повторяю, лишь будущее покажет, послужит ли это важное открытие (*важно* при любых обстоятельствах) на пользу всему человечеству или во вред. В том, что фон Кемпелен и его ближайшие друзья соберут богатый урожай, было бы безумием усомниться хоть на минуту. Вряд ли будут они столь легкомысленны, чтобы со временем не «реализовать» своего открытия, широко приобретая дома и земли, вкуче с прочей недвижимостью, имеющей *непреодолимую* ценность.

В краткой заметке о фон Кемпелене, которая появилась в «Семейном журнале» и многократно воспроизводилась в последнее время, переводчик, взявший, по его собственным словам, этот отрывок из последнего номера пресбургского «Шнельпост», допустил несколько ошибок в понимании немецкого оригинала. «Viele»¹ было искажено, как это часто бывает, а то, что переводится как «печали», было, по-видимому, «Leiden», что при правильном понимании [«страдания»] дало бы совершенно иную окраску всей публикации. Но, разумеется, многое из того, что я пишу,— всего лишь догадка с моей стороны.

Фон Кемпелен, правда, далеко не «мизантроп», во всяком случае внешне, что бы там ни было на деле. Мое знакомство с ним было самым поверхностным, и вряд ли я имею основание говорить, что хоть сколько-нибудь его знаю; но видеться и беседовать с человеком, который получил или в ближайшее время получит такую *колоссальную* известность, в наши времена не так-то мало.

«Литературный мир» с уверенностью говорит о фон Кемпелене как об *уроженце* Пресбурга (очевидно, его ввела в заблуждение публикация в «Семейном журнале»); мне очень приятно, что я могу категорически, ибо я слышал об этом из собственных его уст, заявить, что он родился в Утике, штат Нью-Йорк, хотя родители его, насколько мне известно, родом из Пресбурга. Семья эта каким-то образом связана с Мельцелем, коего помнят в связи с шах-

¹ Многое (*нем.*).

матным автоматом. [Если мы не ошибаемся, *изобретателем* этого автомата звали не то Кемпелен, не то фон Кемпелен, не то как-то вроде этого.— Издатель.] Сам фон Кемпелен невысок ростом и тучен, глаза большие, *масляные*, голубые, волосы и усы песочного цвета, рот широкий, но приятной формы, прекрасные зубы и, кажется, римский нос. Одна нога с дефектом. Обращение открытое и вся манера отличается *bonhomie*¹. В целом во внешности его, речи, поступках нет и намека на «мизантропию». Лет шесть назад мы жили с неделю вместе в «Отеле герцога» в Провиденсе, Род-Айленд; предполагаю, что я имел случай беседовать с ним, в общей сложности, часа три-четыре. Беседа его не выходила за рамки обычных тем; и то, что я от него услышал, не заставило меня заподозрить в нем ученого. Уехал он раньше, чем я, направляясь в Нью-Йорк, а оттуда — в Бремен. В этом-то городе и узнали впервые о его великом открытии, вернее, там-то впервые о нем и заподозрили. Вот, в сущности, и все, что я знаю о бессмертном ныне фон Кемпелене. Но мне казалось, что даже эти скудные подробности могут представлять для публики интерес.

Совершенно очевидно, что добрая половина невероятных слухов, распространившихся об этом деле,— чистый вымысел, заслуживающий доверия не больше, чем сказка о волшебной лампе Аладдина; и все же тут, так же как и с открытиями в Калифорнии,— приходится признать, что правда подчас бывает всякой выдумки странней. Во всяком случае следующий анекдот почерпнут из столь надежных источников, что можно не сомневаться в его подлинности.

Во время своей жизни в Бремене фон Кемпелен не был хоть сколько-нибудь обеспечен; часто — и это хорошо известно — ему приходилось прибегать ко всевозможным ухищрениям для того, чтобы раздобыть самые ничтожные суммы. Когда поднялся шум из-за поддельных векселей фирмы Гутсмут и К°, подозрение пало на фон Кемпелена, ибо он к тому времени обзавелся недвижимой собственностью на Гасперитч-лейн и отказывался

¹ Добродушием (*фр.*).

дать объяснения относительно того, откуда у него взялись деньги на эту покупку. В конце концов его арестовали, но, так как ничего решительно против него не было, по прошествии некоторого времени он был освобожден. Полиция, однако, внимательно следила за каждым его шагом; таким образом было обнаружено, что он часто уходит из дому, идет всегда одним и тем же путем и неизменно ускользает от наблюдения в лабиринте узеньких кривых улочек, который на воровском жаргоне зовется Дондергат. Наконец, после многих безуспешных попыток обнаружили, что он поднимается на чердак старого семиэтажного дома в переулочке под названием Флетплатц: нагрянув туда нежданно-негаданно, застали его, как и предполагали, в самом разгаре фальшивых операций. Волнение его, как передают, было настолько явным, что у полицейских не осталось ни малейшего сомнения в его виновности. Надев на него наручники, они обыскали комнату или, вернее, комнаты, ибо оказалось, что он занимает всю mansarde¹.

На чердак, где его схватили, выходил чулан размером десять футов на восемь, там стояла химическая аппаратура, назначение которой так и не установлено. В одном углу чулана находился небольшой горн, в котором пылал огонь, а на огне стоял необычный двойной тигель — вернее, два тигля, соединенных трубкой. В одном из них почти до верха был налит расплавленный свинец — впрочем, он не доставал до отверстия трубки, расположенного близко к краю. В другом находилась какая-то жидкость, которая в тот момент, когда вошли полицейские, бурно кипела, наполняя комнату клубами пара. Рассказывают, что, увидав полицейских, фон Кемпелен схватил тигель обеими руками (которые были защищены рукавицами — впоследствии оказалось, что они асбестовые) и вылил содержимое на плиты пола. Полицейские тут же надели на него наручники; прежде чем приступить к осмотру помещения, они обыскали его самого, но ничего необычного на нем найдено не было, если не считать завернутого в бумагу пакета; как было установлено впоследствии, в нем

¹ Чердак, мансарда (*фр.*).

находилась смесь антимония и какого-то *неизвестного вещества*, в почти (но не совсем) равных пропорциях. Попытки выяснить состав этого вещества не дали до сих пор никаких результатов; не подлежит сомнению, однако, что в конце концов они увенчаются успехом.

Выйдя вместе с арестованным из чулана, полицейские прошли через некое подобие передней, где не обнаружили ничего существенного, в спальню химика. Они перерыли здесь все столы и ящики, но нашли только какие-то бумаги, не представляющие интереса, и несколько настоящих монет, серебряных и золотых. Наконец, заглянув под кровать, они увидели *старый большой волосяной чемодан без пстель, крючков или замка*, с небрежно положенной наискось крышкой. Они попытались вытащить его из-под кровати, но обнаружили, что даже объединенными усилиями (а там было трое сильных мужчин) они «не могут сдвинуть его ни на дюйм», что крайне их озадачило. Тогда один из них залез под кровать и, заглянув в чемодан, сказал:

— Немудрено, что мы не можем его вытащить. Да он до краев полон медным ломом!

Упершись ногами в стену, чтобы легче было тянуть, он стал изо всех сил толкать чемодан, в то время как товарищи его изо всех своих сил тянули его на себя. Наконец, с большим трудом чемодан вытащили из-под кровати и рассмотрели содержимое. Мнимая медь, заполнявшая его, была вся в небольших гладких кусках, от горошины до доллара величиной; куски эти были неправильной формы, хотя все более или менее плоские, словно свинец, который выплеснули расплавленным на землю и дали там остыть. Никому из полицейских и на ум не пришло, что металл этот, возможно, вовсе не медь. Мысль о том, что это *золото*, конечно, ни на минуту не мелькнула в их головах; как там могла родиться такая дикая фантазия? Легко представить себе их удивление, когда на следующий день всему Бремену стало известно, что «куча меди», которую они с таким презрением привезли в полицейский участок, не дав себе труда прикарманить ни кусочка, оказалась золотом — золотом не только на-

стоящим, но и гораздо лучшего качества, чем то, которое употребляют для чеканки монет, — золотом абсолютно чистым, незапятнанным, без малейшей примеси!

Нет нужды излагать здесь подробности признания фон Кемпелена (вернее, того, что он нашел нужным рассказать) и его освобождения, ибо все это публике уже известно. Ни один здравомыслящий человек не станет больше сомневаться в том, что фон Кемпелену на деле удалось осуществить — по мысли и по духу, если и не по букве — старую химеру о философском камне. К мнению Араго следует, конечно, отнестись с большим вниманием, но и он не вовсе непогрешим, и то, что он пишет о *бисмуте* в своем докладе Академии, должно быть воспринято *cum grano salis*¹. Как бы то ни было, приходится признать, что до сего времени все попытки анализа ни к чему не привели; и до тех пор, пока фон Кемпелен сам не пожелает дать нам ключ к собственной загадке, ставшей достоянием публики, более чем вероятно, что дело это на годы останется *in statu quo*². В настоящее время остается лишь утверждать, что *«чистое золото можно легко и спокойно получить из свинца в соединении с некоторыми другими веществами, состав которых и пропорции неизвестны»*.

Многие задумываются, конечно, над тем, к каким результатам приведет в ближайшем и отдаленном будущем это открытие — открытие, которое люди думающие не преминут поставить в связь с ростом интереса к золоту, связанным с последними событиями в Калифорнии; а это соображение неизбежно приводит нас к другому — исключительной *несовременности* открытия фон Кемпелена. Если и раньше многие не решались ехать в Калифорнию, опасаясь, что золото, которым изобилуют тамошние прииски, столь значительно упадет в цене, что целесообразность такого далекого путешествия станет весьма сомнительной, — какое же впечатление произведет *сейчас* на тех, кто готовится к эмиграции, и особенно на тех, кто уже прибыл на прииски, сообщение о потря-

¹ С крупницей соли, т. е. с осторожностью (*лат.*).

² Без перемен (*лат.*).

сающем открытии фон Кемпелена? Открытия, смысл которого состоит попросту в том, что, помимо существенно-го своего значения для промышленных нужд (каково бы ни было это значение), золото сейчас имеет или, по крайней мере, будет скоро иметь (ибо трудно предположить, что фон Кемпелен сможет долго хранить свое открытие в тайне) ценность не большую, чем свинец, и значительно меньшую, чем серебро. Строить какие-либо прогнозы относительно последствий этого открытия чрезвычайно трудно, однако можно с уверенностью утверждать одно, что сообщение об этом открытии полгода назад оказало бы решающее влияние на заселение Калифорнии.

В Европе пока что наиболее заметным последствием было то, что цена на свинец повысилась на двести процентов, а на серебро — на двадцать пять.



БЕЗ ДЫХАНИЯ

(Рассказ не для журнала «Блэквуд»
и отнюдь не из него)

О, не дыши и т. д.
«Мелодии» Мура

Самая жестокая судьба рано или поздно должна отступить перед тою неодолимой бодростью духа, какую вселяет в нас философия,— подобно тому, как самая неприступная крепость сдается под упорным натиском неприятеля. Салманассар (судя по Священному Писанию) вынужден был три года осаждать Самарию, но все же она пала. Сарданапал (см. у Диодора) целых семь лет держался в Ниневии, но это ни к чему не повело. Силы Трои истощились через десять лет, а город Азот, — Аристей в этом ручается словом джентльмена,— тоже в конце концов открыл Псамметиху свои ворота, которые держал на запоре в течение пятой части столетия.

— Ах ты гадина! ах ты ведьма! ах ты мегера,— сказал я жене наутро после свадьбы,— ах ты чертова кукла, ах ты подлая, гнусная тварь, клоака порока, красноречее исчадие мерзости, ах ты, ах ты... — В тот самый миг, когда я встал на цыпочки, схватил жену за горло и, приблизив губы к ее уху, собрался было наградить ее каким-нибудь еще более оскорбительным эпитетом, который, будучи произнесен достаточно громко, должен был окончательно доказать ее полнейшее ничтожество,— в тот самый миг, к своему величайшему ужасу и изумлению, я вдруг обнаружил, что *у меня захватило дух*.

Выражения: «захватило дух», «перехватило дыхание» и т. п. довольно часто употребляются в повседневном оби-

ходе, но я, *bona fide*¹, никогда не думал, что ужасный случай, о котором я говорю, мог бы произойти в действительности. Вообразите — разумеется, если вы обладаете фантазией,— вообразите мое изумление, мой ужас, мое отчаяние!

Однако мой добрый гений еще ни разу не покидал меня окончательно. Даже в тех случаях, когда я от ярости едва в состоянии владеть собой, я все же сохраняю некоторое чувство собственного достоинства, *et le chemin des passions me conduit* (как лорда Эдуарда в «Юлии») *a la philosophie veritable*².

Хотя мне в первую минуту не удалось с точностью установить размеры постигшего меня несчастья, тем не менее я решил во что бы то ни стало скрыть все от жены — по крайней мере до тех пор, пока не получу возможность определить объем столь неслыханной катастрофы. Итак, мгновенно придав моей искаженной бешенством физиономии кокетливое выражение добродушного лукавства, я потрепал свою супругу по одной щечке, чмокнул в другую и, не произнеся ни звука (о фурии! ведь я не мог), оставил ее одну дивиться моему чудачеству, а сам легким па-де-зефир выпорхнул из комнаты.

И вот я, являющий собой ужасный пример того, к чему приводит человека раздражительность, благополучно укрылся в своем будуаре живой, но со всеми свойствами мертвеца, мертвый, но со всеми наклонностями живых,— нечто противоестественное в мире людей,— очень спокойный, но лишенный дыхания.

Да, лишенный дыхания! Я совершенно серьезно утверждаю, что полностью утратил дыхание. Его не хватило бы и на то, чтобы сдуть пушинку или затуманить гладкую поверхность зеркала,— даже если бы от этого зависело спасение моей собственной жизни. О, злая судьба! Однако даже в этом первом приступе всепоглощающего отчаяния я все же обрел некоторое утешение. Тщательная проверка убедила меня в том, что я не окончательно лишился дара речи, как мне показалось вначале, когда я

¹ По чистой совести (*лат.*).

² И дорога страстей ведет меня к истинной философии (*фр.*).

не смог продолжать свою интересную беседу с женой. Речь у меня была нарушена лишь частично, и я обнаружил, что стоило мне в ту критическую минуту понизить голос и перейти на гортанные звуки,— я мог бы и дальше изливать свои чувства. Ведь данная высота тона, как я сообразил, зависит не от потока воздуха, а от определенных спазматических движений, производимых мышцами гортани.

Я упал в кресло и некоторое время предавался размышлениям. Думы мои были, разумеется, весьма малоутешительны. Сотни смутных, печальных фантазий теснились в моем мозгу, и на мгновение у меня даже мелькнула мысль, не покончить ли с собой; но такова уж извращенность человеческой природы — она предпочитает отдаленное и неясное близкому и определенному. Итак, я содрогнулся при мысли о самоубийстве, как о самом ужасном злодеянии, одновременно прислушиваясь к тому, как полосатая кошка довольно мурлычет на своей подстилке и даже ньюфаундленд старательно выводит носом рулады, растянувшись под столом. Оба словно нарочно демонстрировали силу своих легких, явно насмехаясь над бессилием моих.

Терзаемый то страхом, то надеждой, я наконец услышал шаги жены, спускавшейся по лестнице. Когда я убедился, что она ушла, я с замиранием сердца вернулся на место катастрофы.

Тщательно заперев дверь изнутри, я предпринял лихорадочные поиски. Быть может, думал я, то, что я ищу, скрывается где-нибудь в темном углу, в чулане, или притаилось на дне какого-нибудь ящика. Может быть, оно имеет газообразную или даже осязаемую форму. Большинство философов до сих пор придерживается весьма нефилософских воззрений на многие вопросы философии. Однако Вильям Годвин в своем «Мандевиле» говорит, что «невидимое — единственная реальность»; а всякий согласится, что именно об этом и идет речь в моем случае. Я бы хотел, чтобы здравомыслящий читатель подумал, прежде чем называть подобные открытия пределом абсурда. Ведь Анаксагор, как известно, утверждал, что снег черный, и я не раз имел случай в этом убедиться.

Долго и сосредоточенно продолжал я свои поиски, но жалкой наградой за мои труды и рвение были всего лишь одна фальшивая челюсть, два турнюра, вставной глаз да несколько *billet-doux*¹, адресованных моей жене мистером Вовесьдух. Кстати, надо сказать, что это доказательство пристрастия моей супруги к мистеру Вовесьдух не причинило мне особого беспокойства. То, что миссис Духвон питает нежные чувства к существу, столь не похожему на меня,— вполне законное и неизбежное зло. Всем известно, что я дороден и крепок, хотя в то же время несколько мал ростом. Что же удивительного, если миссис Духвон предпочла моего тощего, как жердь, приятеля, нескладность которого вошла в поговорку. Но вернемся к моему рассказу.

Как я уже сказал, мои усилия оказались напрасными. Шкаф за шкафом, ящик за ящиком, чулан за чуланом — все подверглось тщательному осмотру, но все втуне. Была, правда, минута, когда мне показалось, что труды мои увенчались успехом,— роясь в одном несессере, я нечаянно разбил флакон гранжановского «Елея архангелов» (беру на себя смелость рекомендовать его, как весьма приятные духи).

С тяжелым сердцем воротился я в свой будуар, чтобы измыслить какой-нибудь способ обмануть проникательность жены хотя бы на то время, пока я успею подготовить все необходимое для отъезда за границу,— ибо на это я уже решился. В чужой стране, где меня никто не знает, мне, быть может, удастся скрыть свою ужасную беду, способную даже в большей степени, чем нищета, отвратить симпатии толпы и навлечь на несчастную жертву вполне заслуженное негодование людей добродетельных и счастливых. Я колебался недолго. Обладая от природы прекрасной памятью, я целиком выучил наизусть трагедию «Метамора». К счастью, я вспомнил, что при исполнении этой пьесы (или, во всяком случае, той ее части, которая составляет роль героя) нет никакой надобности в оттенках голоса, коих я был лишен, и что всю ее

¹ Любовных записочек (*фр.*).

следует декламировать монотонно, причем должны преобладать низкие гортанные звуки.

Некоторое время я практиковался на краю одного болота, где было отнюдь не безлюдно, и поэтому мои упражнения не имели, по существу, ничего общего с аналогичными действиями Демосфена, а, напротив, основывались на моем собственном, специально разработанном методе. Чувствуя себя теперь во всеоружии, я решил внушить жене, будто мною внезапно овладела страсть к драматическому искусству. Это мне удалось как нельзя лучше, и в ответ на всякий вопрос или замечание я мог своим замогильным лягушачьим голосом с легкостью продекламировать какой-нибудь отрывок из упомянутой трагедии, — любыми строчками из нее, как я вскоре с удовольствием отметил, можно было пользоваться при разговоре на любую тему. Не следует, однако, полагать, что, исполняя подобные отрывки, я обходился без косых взглядов, шарканья ногами, зубовного скрежета, дрожи в коленях или иных невыразимо изящных телодвижений, которые ныне по справедливости считаются непременным атрибутом популярного актера. В конце концов заговорили о том, не надеть ли на меня смирительную рубашку, но — хвала Господу! — никто не заподозрил, что я лишился дыхания.

Наконец я привел свои дела в порядок и однажды на рассвете сел в почтовый дилижанс, направлявшийся в N, распространив среди знакомых слух, будто дело чрезвычайной важности срочно требует моего личного присутствия в этом городе.

Дилижанс был битком набит, но в неясном свете раннего утра невозможно было разглядеть моих спутников. Я позволил втиснуть себя между двумя джентльменами грандиозных размеров, не оказав сколько-нибудь энергичного сопротивления, а третий джентльмен, еще большей величины, предварительно попросив извинения за вольность, во всю длину растянулся на мне и, мгновенно погрузившись в сон, заглушил мои гортанные крики о помощи таким храпом, который вогнал бы в краску и ревущего быка Фаларида. К счастью, состояние моих дыхательных способностей совершенно исключало возможность такого несчастного случая, как удушение.

Когда мы приблизились к окраинам города, уже совсем рассвело, и мой мучитель, пробудившись от сна и приладив свой воротничок, весьма учтиво поблагодарил меня за любезность. Но, увидев, что я остаюсь недвижим (все мои суставы были как бы вывихнуты, а голова свернута набок), он встревожился и, растолкав остальных пассажиров, в весьма решительной форме высказал мнение, что ночью под видом находившегося в полном здравии и рассудке пассажира им подсунули труп; при этом, желая доказать справедливость своего предположения, он изо всех сил ткнул меня большим пальцем в правый глаз.

Вслед за этим каждый пассажир (а их было девять) счел своим долгом подергать меня за ухо. А когда молодой врач поднес к моим губам карманное зеркальце и убедился, что я бездыханен, присяжные единогласно подтвердили обвинение моего преследователя, и вся компания выразила твердую решимость не только в дальнейшем не мириться с подобным мошенничеством, но и в настоящее время не ехать ни шагу дальше с подобной падалью.

В соответствии с этим меня вышвырнули из дилижанса перед «Вороном» (наш экипаж как раз проезжал мимо названной таверны), причем со мною не произошло больше никаких неприятностей, если не считать перелома обеих рук, попавших под левое заднее колесо. Кроме того, следует воздать должное кучеру — он не преминул выбросить вслед за мной самый объемистый из моих чемоданов, который, по несчастью, свалившись мне на голову, раскроил мне череп весьма любопытным и в то же время необыкновенным образом.

Хозяин «Ворона», человек весьма гостеприимный, убедившись, что содержимого моего сундука вполне достаточно, дабы вознаградить его за некоторую возню со мной, тут же послал за знакомым хирургом и передал меня в руки последнего вместе со счетом на десять долларов.

Совершив сию покупку, хирург отвез меня на свою квартиру и немедленно приступил к соответствующим операциям. Однако, отрезав мне уши, он обнаружил в моем теле признаки жизни. Тогда он позвонил слуге и послал его за соседом-аптекарем, чтобы посоветоваться,

как поступить в столь критических обстоятельствах. На тот случай, если его подозрения, что я еще жив, в конце концов подтвердятся, он пока что сделал надрез на моем животе и вынул оттуда часть внутренностей для будущих анатомических исследований.

Аптекарь выразил мнение, что я в самом деле мертв. Это мнение я попытался опровергнуть, изо всех сил брыкаясь и корчась в жестоких конвульсиях, ибо операции хирурга в известной мере вновь пробудили мои жизненные силы. Однако все это было приписано действию новой гальванической батареи, при помощи которой аптекарь — человек действительно весьма сведущий — произвел несколько любопытнейших опытов, каковыми, ввиду моего непосредственного в них участия, я не мог не заинтересоваться самым пристальным образом. Тем не менее для меня явился источником унижения тот факт, что хотя я и сделал несколько попыток вступить в разговор, но до такой степени не владел даром речи, что не мог даже открыть рот, а тем более возражать против некоторых остроумных, но фантастических теорий, каковые я при иных обстоятельствах мог бы с легкостью опровергнуть благодаря близкому знакомству с гиппократовой патологией.

Не будучи в состоянии прийти к какому-либо заключению, искусные медики решили оставить меня для дальнейших исследований и отнесли на чердак. Жена хирурга одолжила мне панталоны и чулки, а сам хирург связал мне руки, подвязал носовым платком мою челюсть, после чего запер дверь снаружи и поспешил к обеду, оставив меня наедине со своими размышлениями.

Теперь, к своему величайшему восторгу, я обнаружил, что мог бы говорить, если б только мои челюсти не были стеснены носовым платком. В то время как я утешался этой мыслью, повторяя про себя некоторые отрывки из «Вездесущности Бога», как я имею обыкновение делать перед отходом ко сну, две жадные и сварливые кошки забрались на чердак сквозь дыру, подпрыгнули, издавая фиоритуры *a la Каталани*, и, сев друг против друга прямо на моей физиономии, вступили в неприличный поединок за грошовое право владеть моим носом.

Однако, подобно тому, как потеря ушей способствовала восшествию персидского мага Гауматы на престол Кира, а отрезанный нос дал Зопиру возможность овладеть Вавилоном, так потеря нескольких унций моей физиономии оказалась спасительной для моего тела. Возбужденный болью и горя негодованием, я одним усилием разорвал свои путы и повязки. Пройдя через комнату, я бросил полный презрения взгляд на воюющие стороны и, распахнув, к их величайшему ужасу и разочарованию, оконные рамы, с необычайной ловкостью ринулся вниз из окна.

Грабитель почтовых дилижансов В., на которого я поразительно похож, в это самое время ехал из городской тюрьмы к виселице, воздвигнутой для его казни в предместье. Вследствие своей крайней слабости и продолжительной болезни он пользовался привилегией и не был закован в кандалы. Облаченный в костюм висельника, чрезвычайно напоминавший мой собственный, он лежал, вытянувшись во всю длину, на дне повозки палача (которая случайно оказалась под окнами хирурга в момент моего низвержения), не охраняемый никем, кроме кучера, который спал, и двух рекрутов шестого пехотного полка, которые были пьяны.

Злой судьбе было угодно, чтобы я спрыгнул прямо на дно повозки. В.— малый сообразительный — не преминул воспользоваться удобным случаем. Мгновенно поднявшись на ноги, он соскочил с повозки и, завернув за угол, исчез. Рекруты, разбуженные шумом, не сообразили, в чем дело. Однако при виде человека — точной копии осужденного, — который стоял во весь рост в повозке прямо у них перед глазами, они решили, что мошенник (они подразумевали В.) собирается удрать (их подлинное выражение), и, поделившись этим мнением друг с другом, они хлебнули по глотку, а затем сбили меня с ног прикладами своих мушкетов.

Вскоре мы достигли места назначения. Разумеется, мне нечего было сказать в свою защиту. Меня ожидала виселица. Я безропотно покорился своей неизбежной участи с чувством тупой обиды. Не будучи ни в коей мере киником, я, должен признаться, чувствовал себя какой-то собакой. Между тем палач надел мне на шею петлю. Спускная доска виселицы упала.

Воздерживаюсь от описаний того, что я ощутил на виселице, хотя, конечно, я мог бы многое сказать на эту тему, относительно которой никто еще не высказывался с достаточной полнотой. Ведь, в сущности, чтобы писать о таком предмете, необходимо пройти через повешение. Каждому автору следует ограничиваться тем, что он испытал на собственном опыте. Так, Марк Антоний сочинил трактат об опьянении.

Могу только упомянуть, что я отнюдь не умер. Тело мое действительно было повешено, но я никак не мог испустить дух, потому что у меня его уже не было; и должен сказать, что, если бы не узел под левым ухом (который на ощупь напоминал твердый крахмальный воротничок), я не испытывал бы особых неудобств. Что касается толчка, который был сообщен моей шее при падении спускной доски, то он лишь вернул на прежнее место мою голову, свернутую набок тучным джентльменом в дилижансе.

У меня были, однако, достаточно веские причины, чтобы постараться вознаградить толпу за ее труды. Все признали мои конвульсии из ряда вон выходящими. Судороги мои трудно было превзойти. Чернь кричала «бис». Несколько джентльменов упало в обморок, и множество дам было в истерике увезено домой. Один художник воспользовался случаем, чтобы наброском с натуры дополнить свою замечательную картину «Марсий, с которого сдирают кожу живьем».

Когда я достаточно развлек публику, власти сочли уместным снять мое тело с виселицы, тем более что к этому времени настоящий преступник был снова схвачен и опознан,— факт, оставшийся мне, к сожалению, неизвестным.

Много сочувственных слов было, разумеется, сказано по моему адресу, и, так как никто не претендовал на мой труп, поступил приказ похоронить меня в общественном склепе.

На это место, по истечении надлежащего срока, я и был водворен. Могильщик удалился, и я остался в одиночестве. В эту минуту мне пришло в голову, что строчка из «Недовольного» Марстона:

содержит явную ложь.

Тем не менее я взломал крышку своего гроба и выбрался наружу. Кругом было страшно сыро и уныло, и я изнывал от скуки. Чтобы развлечься, я принялся бродить между аккуратно расставленными рядами гробов. Стаскивая гробы на землю один за другим, я вскрывал их и предавался рассуждениям о заключенных в них бранных останках.

— Это,— произнес я, споткнувшись о рыхлый, одутловатый труп,— это, без сомнения, был в полном смысле слова неудачник, несчастный человек. Ему суждена была жестокая судьба: он не ходил, а переваливался; он шел через жизнь не как человек, а как слон, не как мужчина, а как бегемот.

Его попытки передвигаться по прямой были обречены на неудачу, а его вращательные движения кончались полным провалом. Делая шаг вперед, он имел несчастье всякий раз делать два шага вправо и три влево. Его занятия ограничивались изучением поэзии Крабба. Он не мог иметь никакого представления о прелести пируэта. Для него паде-папильон всегда был абстрактным понятием. Он никогда не восходил на вершину холма. Никогда, ни с какой вышки не созерцал он славных красот столицы. Жара была его заклятым врагом. Когда солнце находилось в созвездии Пса, он вел поистине собачью жизнь,— в эти дни ему снились геенна огненная, горы, взгромоздившиеся на горы, Пелион — на Оссу. Ему не хватало воздуха,— да, если выразить это кратко, не хватало воздуха. Игру на духовых инструментах он считал безумием. Он был изобретателем самодвижущихся вееров и вентиляторов. Он покровительствовал Дюпону, фабриканту кузнечных мехов, и умер самым жалким образом, пытаясь выкурить сигару. Он внушает мне глубокий интерес, его судьба вызывает во мне искреннее сочувствие.

— Но вот,— сказал я злорадно, извлекая из гроба сухопарого, длинного, странного мертвеца, примечательная внешность которого неприятно поразила меня сходством с чем-то хорошо знакомым,— вот презренная тварь,

не достойная ни малейшего сострадания.— Произнося эти слова, я, чтобы лучше разглядеть свой объект, схватил его двумя пальцами за нос, усадил и, держа таким образом на расстоянии вытянутой руки, продолжал свой монолог.

— Не достойная,— повторил я,— не достойная ни малейшего сострадания. Кому же, в самом деле, придет в голову сочувствовать тени? Да и разве не получил он сполна причитавшейся ему доли земных благ? Он был создателем высоких памятников, башен для литья дробы, громоотводов и пирамидальных тополей. Его трактат «Тени и оттенки» обессмертил его имя. Он с большим талантом обработал последнее издание Саута «О костях». В молодом возрасте поступил он в колледж, где изучал пневматику. Затем он возвратился домой, вечно болтал всякую чепуху и играл на валторне. Он покровительствовал волынщикам. Известный скороход капитан Баркли ни за что не соглашался состязаться с ним в ходьбе. О'Ветри и Выдыхауэр были его любимыми писателями, а Физ — его любимым художником. Он умер смертью славных, вдыхая газ,— *levique flatu corrumpitur*¹, как *fama pudicitiae*² у Иеронима³. Он, несомненно, был...

— Как вы смеете!.. Как... вы... смеете! — задыхаясь, прервал меня объект моей гневной филиппики и отчаянным усилием сорвал платок, которым была подвязана его нижняя челюсть.— Как вы смеете, мистер Духвон, с такой дьявольской жестокостью зажимать мне нос?! Разве вы не видите, что они завязали мне рот? А вам должно быть известно,— если вам вообще что-либо известно,— каким огромным избытком дыхания я располагаю! Если же вам об этом неизвестно, то присядьте и убедитесь сами. В моем положении поистине огромное облегчение иметь возможность открыть рот... иметь возможность беседовать

¹ От слабого дуновения погибает (*лат.*).

² Добрая слава целомудренности (*лат.*).

³ *Tenera res in feminis fama pudicitiae est, et quasi flos pulcherrimus, cito ad levem marcessit auram, levique flatu corrumpitur, maxime, etc.— Hieronymus ad Salvinam* [Нежная вещь — добрая слава целомудренности и, как прекраснейший цветок, вянет от легкого ветра, от слабого дуновения погибает... — Иероним к Сальвиану].— Примеч. автора.

с человеком вроде вас, который не считает своим долгом каждую минуту прерывать нить рассуждений джентльмена. Следовало бы запретить прерывать друг друга... не правда ли?.. Прошу вас, не отвечайте... достаточно, когда говорит один человек... Рано или поздно я кончу, и тогда вы сможете начать... За каким чертом, сэр, принесло вас сюда?.. ни слова, умоляю... я сам пробыл здесь некоторое время... кошмарный случай!.. Слыхали, наверное?.. ужасающая катастрофа!.. Проходил под вашими окнами... приблизительно в то время, когда вы помешались на драматическом искусстве... жуткое происшествие!.. Знаете выражение: «перехватило дыхание»?.. придержите язык, говорю я вам!.. так вот: я перехватил чье-то чужое дыхание!.. когда мне и своего всегда хватало... Встретил на углу Пустослова... не дал мне ни слова вымолвить... я ни звука произнести не мог... в результате припадок эпилепсии... Пустослов сбежал... черт бы побрал этих идиотов!.. Приняли меня за мертвого и сунули сюда... не правда ли, мило? Слышал все, что вы обо мне говорили... каждое слово — ложь... ужасно!.. поразительно!.. гнусно!.. мерзко!.. непостижимо!.. et cetera... et cetera... et cetera...¹

Невозможно представить себе, как я изумился, услышав столь неожиданную тираду, и как обрадовался, когда мало-помалу сообразил, что дыхание, столь удачно перехваченное этим джентльменом (в котором я вскоре узнал соседа моего Вовесьдуха), было то самое, которого я лишился в ходе беседы с женой. Время, место и обстоятельства дела не оставляли в том и тени сомнения. Однако я все еще держал мистера Вовесьдуха за его обонятельный орган — по крайней мере в течение того весьма продолжительного периода, пока изобретатель пирамидальных тополей давал мне свои объяснения.

К этому побуждала меня осторожность, которая всегда была моей отличительной чертой. На пути моего извещения, подумал я, лежит еще немало препятствий, которые мне удастся преодолеть лишь с величайшим трудом. Следует принять во внимание, что многим людям

¹ И прочее... и прочее... и прочее... (лат.).

свойственно оценивать находящуюся в их владении собственность (хотя бы эти люди в данный момент и в грош ее не ставили, хотя бы собственность, о которой идет речь, доставляла им одни хлопоты и беспокойства) прямо пропорционально той выгоде, которую могут извлечь другие, приобретая ее, или они сами, расставаясь с нею. Не принадлежит ли мистер Вовесьдух к подобным людям? Не подвергну ли я себя опасности стать объектом его вымогательств, слишком явно выказывая стремление завладеть дыханием, от которого он в настоящее время так страстно желает избавиться? Ведь есть же на этом свете такие негодяи, подумал я со вздохом, которые не постесняются воспользоваться затруднительным положением даже ближайшего своего соседа; и (последнее замечание принадлежит Эпиктету) именно тогда, когда люди особенно стремятся сбросить с себя бремя собственных невзгод, они меньше всего озабочены тем, как бы облегчить участь своего ближнего.

Все еще не выпуская нос мистера Вовесьдуха, я счел необходимым построить свой ответ, руководствуясь подобными соображениями.

— Чудовище! — начал я тоном, исполненным глубочайшего негодования.— Чудовище и двудышащий идиот! Да как же ты, которого небу угодно было покарать за грехи двойным дыханием,— как же ты посмел обратиться ко мне с фамильярностью старого знакомого? «Каждое слово ложь»... подумать только! Да еще «придержите язык». Как бы не так! Нечего сказать, приятная беседа с джентльменом, у которого нормальное дыхание! И все это в тот момент, когда в моей власти облегчить бремя твоих бедствий, отняв тот излишек дыхания, от которого ты вполне заслуженно страдаешь.— Произнеся эти слова, я, подобно Бруту, жду ответа, и мистер Вовесьдух тотчас обрушился на меня целым шквалом протестов и каскадом извинений. Он соглашался на любые условия, чем я не преминул воспользоваться с максимальной выгодой для себя.

Когда предварительные переговоры наконец завершились, мой приятель вручил мне дыхание, в получении коего (разумеется, после тщательной проверки) я впоследствии выдал ему расписку.

Многие, несомненно, станут порицать меня за то, что я слишком поверхностно описал коммерческую операцию, объектом которой было нечто столь неосязаемое. Мне, вероятно, укажут, что следовало остановиться более подробно на деталях этого происшествия, которое (и я с этим совершенно согласен) могло бы пролить новый свет на чрезвычайно любопытный раздел натурфилософии.

На все это — увы! — мне нечего ответить. Намек — вот единственное, что мне дозволено. Таковы обстоятельства. Однако по здравом размышлении я решил как можно меньше распространяться о деле столь щекотливом, — повторяю, *столь щекотливом* и, сверх того, затрагивавшем в то время интересы третьего лица, гнев которого в настоящее время я меньше всего желал бы навлечь на себя.

Вскоре после этой необходимой операции мы предприняли попытку выбраться из подземных казематов нашего склепа. Соединенные силы наших вновь обретенных голосов были столь велики, что мы очень скоро заставили себя услышать. Мистер Ножницы, редактор органа вигов, опубликовал трактат «О природе и происхождении подземных шумов». Газета партии демократов незамедлительно поместила на своих столбцах ответ, за которым последовало возражение, опровержение и наконец подтверждение. Лишь после вскрытия склепа удалось разрешить этот спор: появление мистера Вовесдуха и мое собственное доказало, что обе стороны были совершенно не правы.

Заканчивая подробный отчет о некоторых весьма примечательных эпизодах из моей и без того богатой событиями жизни, я не могу еще раз не обратить внимание читателя на преимущества такой универсальной философии, ибо она служит надежным и верным щитом против тех стрел судьбы, кои невозможно ни увидеть, ни ощутить, ни даже окончательно постигнуть. Уверенность древних иудеев, что врата рая не преминут раскрыться перед тем грешником или святым, который, обладая здоровыми легкими и слепую верой, возопит «аминь!», была совершенно в духе этой философии. Совет Эпименида (как рассказывает об этом философе Лаэртий во второй книге

своих сочинений) воздвигнуть алтарь и храм «надлежащему божеству», данный им афинянам в те дни, когда в городе свирепствовала моровая язва и все средства против нее были исчерпаны,— также совершенно в духе этой философии.

Литтлтон Бэрри



MELLONTA TAUTA¹

Редактору «Ледиз бук».

Имею честь послать вам для вашего журнала материал, который вы, надеюсь, поймете несколько лучше, чем я. Это перевод, сделанный моим другом Мартином Ван Бюрен Мэвисом (иногда называемым Пророком из Покипси) со странной рукописи, которую я, около года назад, обнаружил в плотно закупоренной бутылке, плававшей в *Mare Tenebrarum*², — море это отлично описано нубийским географом, но в наши дни посещается мало, разве только трансценденталистами и ловцами редкостей.

Преданный вам

Эдгар А. По.

С борта воздушного шара «Жаворонок»

1 апреля 2848

Ну-с, дорогой друг, за ваши грехи вы будете наказаны длинным, болтливym письмом. Да, повторяю, за все ваши выходы я намерена покарать вас самым скучным, многословным, бессвязным и бестолковым письмом, какое только мыслимо. К тому же я томлюсь в тесноте на этом мерзком шаре, вместе с сотней-другой *canaille*³, отправившихся в увеселительную поездку (странное понятие об увеселениях имеют иные люди!), и, очевидно, не ступлю на *terra firma*⁴, по крайней мере, месяц. погово-

¹ То в будущем (греч.).

² Море мрака (лат.).

³ Сброта (фр.).

⁴ Твердую землю (лат.).

ритель не с кем. Делать нечего. А когда нечего делать — это самое подходящее время для переписки с друзьями. Видите теперь, отчего я пишу это письмо,— из-за своей ennui¹ и ваших прегрешений.

Итак, достаньте очки и приготовьтесь скучать. Во время этого несносного полета я намерена писать вам ежедневно.

Ах, когда же наконец человеческий ум создаст нечто *Новое*? Неужели мы осуждены вечно терпеть бесчисленные неудобства воздушного шара? Неужели никто не изобретет более быстрого способа передвижения? По-моему, эта мелкая рысца — сушая пытка. Честное слово, мы делаем не более ста миль в час, с тех пор как отправились! Птицы и те нас обгоняют, во всяком случае, некоторые из них. Поверьте, я ничуть не преувеличиваю. Разумеется, наше движение кажется медленнее, чем оно есть в действительности, ибо вокруг нас нет предметов, которые позволили бы судить о нашей скорости, а также потому, что мы летим по ветру. Конечно, когда нам встречается другой шар, мы замечаем собственную скорость, и тогда, надо признать, дело выглядит не столь уж плохо. Хотя я и привыкла к этому способу передвижения, у меня кружится голова всякий раз, когда какой-нибудь шар пролетает в воздушном течении прямо над нами. Он всегда кажется мне гигантской хищной птицей, готовой ринуться на нас и унести в когтях. Один такой пролетел над нами сегодня на восходе солнца, и настолько близко, что его гайдроп задел сетку, на которой подвешена наша корзина, и немало нас напугал. Наш капитан сказал, что, если бы наша оболочка была сделана из дрянного лакированного «шелка», применявшегося пятьсот и тысячу лет назад, мы наверняка получили бы повреждения. Этот шелк, как он мне объяснил, был тканью, изготовленной из внутренностей особого земляного червя. Червя заботливо откармливали туговыми ягодами — это нечто вроде арбуза, — а когда он был достаточно жирен, его размалывали. Полученная паста в первоначальном виде называлась *папирусом*, а затем подвергалась дальнейшей обработке,

¹ Скуки (фр.).

пока не превращалась в «шелк». Как это ни странно, он некогда очень ценился в качестве материи для женской одежды! Из него же обычно делались и оболочки воздушных шаров. Впоследствии, по-видимому, удалось найти лучший материал в семенных коробочках растения, которое в просторечии называлось *euphorbium*, а тогдашним ботаникам было известно под названием молочая. Этот вид шелка за особую прочность называли шелковым бекингом и обычно покрывали раствором каучука, кое в чем, видимо, похожего на *гуттаперчу*, широко применяемую и в наше время. Каучук иногда называли также гуммиластиком или гуммиарабиком; это несомненно был один из многочисленных видов грибов. Надеюсь, вы не станете теперь отрицать, что я в душе археолог.

Кстати, о гайдропах — наш только что сбил человека с борта одного из небольших пароходиков на магнитной тяге, которыми кишит поверхность океана, измещением около шести тысяч тонн и, очевидно, безобразно перегруженного. Этим малым судам следовало бы запретить перевозить больше установленного числа пассажиров. Разумеется, человека не приняли обратно на борт, и он вскоре исчез из виду вместе со своим спасательным кругом. Как я рада, дорогой друг, что мы живем в истинно просвещенный век, когда отдельная личность ничего не значит. Подлинное Человеколюбие заботится только о массе. Кстати о Человеколюбии — известно ли вам, что наш бессмертный Уиггинс не столь уж оригинален в своей концепции социальных Условий и т. п., как склонны думать его современники? Пандит уверяет меня, что те же мысли и почти в той же форме были высказаны около тысячи лет назад одним ирландским философом, носившим имя Фурже, потому что он торговал в розницу фуражом. А уж Пандит *знает*, что говорит, никакой ошибки тут быть не может. Удивительно, как подтверждается ежедневно глубокомысленное замечание индуса Арис Тоттля (цитирую по Пандиту): «Вот и приходится нам сказать, что не однажды и не дважды или несколько раз, но почти до бесконечности одни и те же взгляды имеют хождение среди людей».

2 апреля. Окликнули сегодня магнитный катер, ведающий средней секцией плавучих телеграфных проводов. Я слышала, что, когда Хорзе впервые сконструировал этот тип телеграфа, никто не знал, как проложить провода через океан, а сейчас нам просто непонятно, в чем заключалась трудность! Такова жизнь. Tempora mutantur¹ — извините, что цитирую этруска. Что бы мы *делали* без атлантического телеграфа? (Согласно Пандиту, древняя форма этого прилагательного была «атлантический».) Мы на несколько минут легли в дрейф, чтобы задать катеру ряд вопросов, и в числе других интересных новостей услышали, что в Африке бушует гражданская война, а чума делает свое благое дело и в Европе и в Айшии. Подумать только, что раньше, до того как Гуманизм озарил философию своим ярким светом, человечество считало Войну и Чуму бедствиями. В древних храмах даже молились об избавлении людей от этих бед (!). Право, трудно понять, какую выгоду находили в этом наши предки! Неужели они были так слепы, что не понимали, насколько уничтожение какого-нибудь миллиарда отдельных личностей полезно для общества в целом?

3 апреля. Очень интересно взбираться по веревочной лестнице на верхушку шара и обозревать оттуда окружающее. В корзине, как вы знаете, видимость не так хороша — по вертикали мало что можно увидеть. Но там, где я сейчас пишу это письмо, на открытой площадке, устланной роскошными подушками, отлично видно во все стороны. Сейчас я как раз вижу множество воздушных шаров, представляющих весьма оживленное зрелище, а в воздухе стоит гул многих миллионов голосов. Я слышала, что, когда Брин (Пандит утверждает, что правильнее будет: Дрин), считающийся первым аэронавтом, доказывал возможность двигаться в воздухе во всех направлениях и для этого подниматься или опускаться, пока не попадешь в нужное воздушное течение, современники не хотели об этом слышать и считали его за одаренного безумца, а все потому, что тогдашние философы (?) объявили это неосуществимым. Право, я совершенно не постигаю,

¹ Времена меняются (лат.).

как такая очевидная вещь могла быть недоступна пониманию древних savants¹. Впрочем, во все времена самые большие препятствия прогрессу Искусств чинили так называемые люди науки. Конечно, наши ученые далеко не столь нетерпимы, как прежние,— ах, на эту тему я могу сообщить нечто удивительное. Представьте себе, что всего каких-нибудь тысячу лет назад философы освободили людей от странного заблуждения, будто бы постижение Истины возможно лишь двумя путями! Хотите верьте, хотите нет! Оказывается, в очень далекие и темные времена жил турецкий (а возможно, индусский) философ по имени Арис Тоттль. Этот человек ввел, и во всяком случае проповедовал, так называемый дедуктивный, или *априорный*, метод исследования. Он начинал с аксиом, то есть «самоочевидных истин», а от них «логически» шел к результатам. Его лучшими учениками были Невклид и Кэнт. Так вот, Арис Тоттль владел умами вплоть до появления некоего Хогга, прозванного «эттрикский пастух», который предложил совершенно иной метод, названный им *a posteriori*, или *индуктивным*. Он полагался исключительно на Ощущения. От фактов, которые он наблюдал, анализировал и классифицировал,— их высокопарно называли *instantinae naturae*² — он шел к общим законам. Одним словом, система Ариса Тоттля основывалась на *noumena*³; система Хогга — на *phenomena*⁴. Восхищение новой теорией было столь велико, что Арис Тоттль утратил всякое значение; правда, позднее он вернул свои позиции и ему позволили разделить трон Истины со своим более современным соперником. Savants стали считать метод Ариса Тоттля и метод *бэконовский* единственными путями к познанию. Надо заметить, что слово «бэконовский» было введено в качестве более благозвучного и пристойного эквивалента слова «хогговский».

И уверяю вас, дорогой друг, что я излагаю все это объективно и по самым надежным источникам; понятно, насколько эта явно нелепая концепция задерживала про-

¹ Ученых (*фр.*).

² Природными данностями (*лат.*).

³ Вещах в себе (*лат.*).

⁴ Явлениях (*лат.*).

гресс всякого истинного знания, которое почти всегда развивается интуитивно и скачкообразно. Старая же система сводила научное исследование к продвижению ползком; в течение сотен лет влияние Хогга было столь велико, что, по существу, закрыло путь всякому подлинному мышлению. Никто не решался провозгласить ни одной истины, если был обязан ею только собственному *Духу*. Пусть даже эта истина была *доказуема*, все равно тогдашних твердолобых *savants* интересовал только *путь*, каким она была достигнута. На результат они не желали и *смотреть*. «Каким путем? — вопрошали они.— Покажите, каким путем». Если оказывалось, что этот путь не подходил ни под Ариса (по-латыни: Овна), ни под Хогга, ученые не шли дальше, а попросту объявляли «теоретика» глупцом и знать не хотели ни его, ни его открытия.

Между тем ползучая система не давала возможности постичь наибольшего числа истин, даже за долгие века, ибо подавление *воображения* является таким злом, которого не может искупить никакая точность старых методов исследования. Заблуждение этих гурманцев, ранцуссов, аглинчан и амрикканцев (последние, кстати сказать, являются нашими предками) было подобно заблуждению человека, который полагает, что видит предмет тем лучше, чем ближе подносит его к глазам. Они ослепляли себя созерцанием мелких подробностей. Когда они рассуждали по-хогговски, их «факты» отнюдь не всегда были фактами, но это бы еще не имело большого значения, если бы они не утверждали, что факты *должны* быть таковыми, раз таковыми кажутся. Когда они шли за Овном, их путь получался едва ли не извилистей его рогов, ибо у них никогда не *оказывалось аксиомы*, которая была бы действительно аксиомой. Надо было быть совершенно слепым, чтобы не видеть этого даже в те времена, ибо уже тогда многие из давно «установленных» аксиом были отвергнуты. Например, «*Ex nihilo nihil fit*»¹; «Никто не может действовать там, где его нет»; «Антиподов не существует»; «Из света не может возникнуть тьма» — все эти и десяток других подобных положений, прежде

¹ Ничто не происходит из ничего (*лат.*).

безоговорочно принимавшихся за аксиомы, в то время, о котором я говорю, уже были признаны несостоятельными. До чего же нелепа была упорная вера в «аксиомы» как непоколебимые основы Истины! Тщету и призрачность всех их аксиом можно доказать даже цитатами из наиболее серьезных тогдашних логиков. А кто был у них наиболее серьезным логиком? Минутку! Пойду спрошу Пандита и мигом вернусь... Вот! Передо мною книга, написанная почти тысячу лет назад, а недавно переведенная с аглисского — от которого, кстати, произошел, видимо, и амриканский. Пандит говорит, что это несомненно лучшее из древних сочинений по логике. Автором его (в свое время очень чтимым) был некто Миллер или Милль; сохранились сведения, что у него была лошадь по имени Бентам. Заглянем, однако, в его трактат.

Вот! «Способность или неспособность познать что-либо, — весьма резонно замечает мистер Милль, — ни в коем случае не должна приниматься за критерий неопровержимой истины». Ну, какой нормальный человек *нашего времени* станет оспаривать подобный трюизм? Приходится лишь удивляться, почему мистер Милль вообще счел нужным указывать на нечто столь очевидное. Пока все хорошо — но перевернем страницу. Что же мы читаем? «Противоречащие один другому факты не могут быть оба верны, то есть не уживаются в природе». Здесь мистер Милль хочет сказать, что, например, дерево должно либо быть деревом, либо нет и не может одновременно быть и деревом и недеревом. Отлично; но я спрашиваю его, *отчего?* Он отвечает следующим образом, именно следующим образом: «Потому что невозможно постичь, как противоречащие друг другу вещи могут быть обе верны». Но ведь это вовсе не ответ, как сам же он признает; ведь признал же он только что за очевидную истину, что «способность или неспособность познать *ни в коем случае* не должна приниматься за критерий истины».

Однако эти древние возмущают меня не столько тем, что их логика, по собственному их признанию, совершенно несостоятельна, беспочвенна и непригодна, сколько той надменностью и тупостью, с какой они налагали запрет на все иные пути к Истине, на все *иные* способы ее до-

стичь, кроме двух абсурдных путей, где надо либо ползти, либо карабкаться, на которые они осмелились обречь Душу, тогда как она стремится прежде всего *парить*.

Кстати, дорогой друг, эти древние догматики ни за что не догадались бы, — не правда ли? — каким из их двух путей была достигнута наиболее важная и высокая из трех их истин. Я имею в виду закон Тяготения. Ньютон обязан им Кеплеру. А Кеплер признавал, что угадал свои три закона — те три важнейших закона, которые привели великого аглисского математика к его главному принципу, основному для всей физики, за которым начинается уже Царство Метафизики. Кеплер угадал их, иными словами, *вообразил*. Он был истинным «теоретиком» — это слово, ныне священное, некогда было презрительной кличкой. Ну, как сумели бы эти старые кроты объяснить, каким из двух «путей» специалист по криптографии расшифровывает особо сложную криптограмму и по какому из них Шампольон направил человечество к тем непреходящим и почти неисчислимым истинам, которые явились следствием прочтения им Иероглифов?

Еще два слова на эту тему, которая вам уже, наверное, наскучила. Не странно ли *свыше всякой меры*, что при их вечной болтовне о путях к Истине эти рутинеры не нашли самой широкой дороги к ней, той, которая сейчас видна нам так ясно, — дороги Последовательности? Не странно ли, что из созерцания творений Бога они не сумели извлечь наиболее важного факта, а именно, что абсолютная последовательность *должна быть* и абсолютной истиной? Насколько упростился путь прогресса после этого недавнего открытия! Исследования были отняты у кротов, рывшихся в земле, и поручены единственным подлинным мыслителям — людям пылкого воображения. Они *теоретизируют*. Воображаете, какое презрение вызвали бы мои слова у наших пращуров, если бы они могли сейчас видеть, что я пишу! Повторяю, эти люди *теоретизируют*; а затем остается эти теории выправить, систематизировать, постепенно очищая их от примесей непоследовательности, пока не выявится абсолютная последовательность, а ее — именно потому, что это есть последовательность, — даже тупицы признают за абсолютную и бесспорную истину.

4 апреля. Новый газ творит чудеса в сочетании с новой, усовершенствованной гуттаперчей. Насколько наши современные воздушные шары надежны, комфортабельны, легко управляемы и во всех отношениях удобны! Сейчас один из таких огромных шаров приближается к нам со скоростью, по крайней мере, ста пятидесяти миль в час. Он, по-видимому, полон пассажиров — их три или четыре сотни, — но тем не менее парит на высоте около мили, презрительно поглядывая сверху на нас, бедных. И все же сто и даже двести миль в час — это, в сущности, медленно. *Помните* наш поезд, мчавшийся через Канадский материк? Добрых триста миль в час — вот это уже было недурно. Правда, никакого обзора, оставалось только флиртовать, угощаться и танцевать в роскошных салон-вагонах. А помните, какое странное возникало чувство, когда из бешено мчащегося вагона перед нами на мгновение мелькал внешний мир? Все сливалось в сплошную массу. Что касается меня, то я, пожалуй, предпочитала тихоходный поезд, миль на сто в час. Там разрешены остекленные окна — их даже можно открывать — и с некоторой отчетливостью видеть местность... Пандит говорит, что Канадская железная дорога была проложена почти девятьсот лет назад! Он утверждает даже, будто еще можно различить следы дороги, оставшиеся именно от тех далеких времен. Тогда, по-видимому, было всего две колеи; у нас, как вы знаете, их двенадцать; а скоро будут добавлены еще три или четыре. Древние рельсы были очень тонкими и лежали так близко один к другому, что езда по ним, согласно нынешним понятиям, была делом весьма легкомысленным, чтобы не сказать опасным. Даже современная ширина колеи — пятьдесят футов — считается едва достаточной для безопасности движения. Я тоже не сомневаюсь, что какая-то колея должна была существовать уже в весьма давние времена, как утверждает Пандит; мне кажется бесспорным, что в какой-то период — разумеется, не менее семисот лет назад — Северный и Южный Канадские материки составляли *одно целое*; так что канадийцы по необходимости должны были иметь трансконтинентальную железную дорогу.

5 апреля. Погибаю от епнуі. Кроме Пандита, не с кем поговорить, а он, бедняга, способен беседовать только о древностях. Он весь день занят тем, что пытается убедить меня, будто у древних амриканцев было *самоуправленис!* — ну где это слыхана подобная нелепость? — будто они жили неким сообществом, где каждый был сам по себе, вроде «луговых собак», о которых мы читаем в преданиях. Он говорит, будто они исходили из чрезвычайно странного принципа, а именно: что все люди рождаются свободными и равными — и это наперекор законам *градацуи*, столь отчетливо проявляющимся всюду, как в духовном, так и в материальном мире. Каждый у них «голосовал», как это называлось, то есть вмешивался в общественные дела, пока наконец не выяснилось, что общее дело всегда ничье дело и что «Республика» (так именовалась эта нелепость), по существу, не имеет правительства. Рассказывают, впрочем, будто первым, что поколебало самодовольство философов, создавших ту «Республику», явилось ошеломляющее открытие, что всеобщее избирательное право дает возможности для мошенничества, посредством которого любая партия, достаточно подлая, чтобы не стыдиться этих махинаций, всегда может собрать любое число голосов, не опасаясь помех или хотя бы разоблачения. Достаточно было немного поразмыслить над этим открытием, чтобы стало ясно, что мошенники *обязательно* возьмут верх и что республиканское правительство может быть *только* жульническим. Но пока философы краснели, устыдясь своей неспособности предвидеть это неизбежное зло, и усердно изобретали новые учения, появился некий молодчик по имени Чернь, который быстро решил дело, забрав все в свои руки и установив такой деспотизм, рядом с которым деспотизм легендарных Зерона и Геллофага была был почетным и приятным. Этот Чернь (кстати сказать, иностранец) был, как говорят, одним из гнуснейших созданий, когда-либо обременявших землю. Он был гигантского роста — нагл, жаден и неопрятен; обладал злобностью быка, сердцем гиены и мозгами павлина. В конце концов он скончался от избытка собственной энергии, которая его истощила. Однако и от него была своя польза — как вообще

от всего, даже самого гадкого, — он преподавал человечеству урок, которого оно не забывает доныне, а именно: никогда не идти наперекор аналогиям, существующим в природе. Что касается Республиканского принципа, то ему на земле не находится даже аналогий, не считая «луговых собак», а это исключение если что-либо доказывает, так только то, что демократия является отличной формой правления — для собак.

6 апреля. Вчера ночью нам была отлично видна альфа Лиры; диск ее, если смотреть в подзорную трубу нашего капитана, стягивает угол в полградуса и очень похож на наше солнце, как оно видно в туманный день невооруженным глазом. Кстати, альфа Лиры, хотя и несравненно большего размера, вообще весьма похожа на солнце и своими пятнами, и своей атмосферой, и многими другими особенностями. О бинарной зависимости, существующей между этими двумя светилами, стали догадываться лишь в последние сто лет — так говорит мне Пандит. Несомненное движение нашей системы в небесах принималось (как это ни странно!) за вращение ее вокруг колоссальной звезды, находящейся в центре Галактики. Считали, что именно вокруг этого светила или, во всяком случае, вокруг центра притяжения, общего для всех планет Млечного Пути и находящегося предположительно вблизи Альционы, в созвездии Плеяд, вращаются все эти планеты, причем наша оборачивается вокруг него за 117 000 000 лет! Нам при нашем уровне знаний после крупных усовершенствований телескопа и т. п., разумеется, трудно понять, на каком основании возникла подобная идея. Первым, кто ее провозгласил, был некто Мадлер. Надо полагать, что к этой странной гипотезе его привела вначале простая аналогия; но если так, ему следовало хотя бы держаться аналогий и далее, развивая ее. Он предположил существование большого центрального светила — и тут он был последователен. Однако это центральное светило динамически должно было быть больше, чем все окружающие светила, взятые вместе. А тогда можно было бы спросить: «Почему же его не видно?» — особенно нам, находящимся в середине скопления, именно там, где должно бы находиться это немислимое цен-

тральное солнце, или, во всяком случае, вблизи него. Вероятно, астроном ухватился здесь за гипотезу о несветящемся теле и сразу перестал прибегать к аналогиям. Но, даже допустив, что центральное светило не излучает света, как сумел он объяснить его невидимость, когда вокруг со всех сторон сияли бесчисленные солнца? Несомненно, что в конце концов он стал говорить лишь о центре притяжения, общем для всех вращающихся небесных тел, но для этого ему опять-таки пришлось оставить аналогии. Наша система действительно вращается вокруг общего центра притяжения, но это объясняется существованием настоящего солнца, чья масса более чем уравнивает остальную систему. Математическая окружность представляет собой кривую, состоящую из бесконечного числа прямых; но это представление об окружности, которое в земной геометрии считается именно математическим, в отличие от практического, оно-то именно и является *практическим*, единственным, которое мы имеем право принять для исполинских окружностей, с какими приходится иметь дело, по крайней мере мысленно, когда мы воображаем вращение нашей системы и соседних с нею вокруг некоей точки в центре Галактики. Пусть самое смелое человеческое воображение сделает хотя бы попытку постичь подобную окружность! Едва ли будет парадоксом сказать, что даже молния, вечно мчащаяся по этой невообразимой окружности, будет вечно мчаться по прямой. Нельзя допустить, что путь нашего солнца по этой окружности и вращение всей нашей системы по такой орбите может, в восприятии человека, отклониться в малейшей степени от прямой даже за миллион лет; а между тем древних астрономов, как видно, удалось убедить, что за краткий период их астрономической истории, то есть за какие-нибудь ничтожные две-три тысячи лет, появилась заметная кривизна! Непонятно, как такие соображения сразу же не указали им на истинное положение вещей — а именно, на двойное обращение нашего солнца и альфы Лиры вокруг общего центра притяжения.

7 апреля. Продолжали вчера ночью наши астрономические развлечения. Отчетливо видели пять астероидов

Нептуна и с большим интересом наблюдали, как кладут огромный пятовый камень на дверные перекрытия в новом храме в Дафнисе на Луне. Любопытно, что столь миниатюрные и мало похожие на людей создания обладают техническими способностями, намного превосходящими наши. Трудно также поверить, что огромные глыбы, которые они с легкостью передвигают, на самом деле весят так мало, хотя об этом напоминает нам наш разум.

8 апреля. Эврика! Пандит может блеснуть. Сегодня нас окликнули с канадийского воздушного шара и бросили нам несколько свежих газет; в них содержатся чрезвычайно любопытные сообщения о канадийских, а точнее, амриканских, древностях. Вы, должно быть, знаете, что вот уже несколько месяцев рабочие роют новый водоем в Парадизе, главном увеселительном саду императора. Парадиз с незапамятных времен был, собственно говоря, островом, то есть (уже во времена древнейших письменных памятников, какие сохранились) был ограничен с севера речушкой, вернее, очень узким морским протоком. Этот проток постепенно расширяли, и сейчас он имеет в ширину милю. В длину остров имеет девять миль; ширина в разных местах весьма различна. Все это пространство (как говорит Пандит) около восьмисот лет назад было сплошь застроено домами, достигавшими иногда двадцати этажей, так как земля (по неизвестной причине) была именно в этой местности особенно дорога. Однако сильнейшее землетрясение 2050 года настолько разрушило город (ибо он был, пожалуй, великоват для того, чтобы назвать его деревней), что самые усердные из наших археологов так и не смогли найти на этом месте достаточно материала (в виде монет, медалей или надписей), чтобы составить себе хоть самое общее понятие о нравах, обычаях и пр. и пр. прежних жителей. Почти все, что нам было до сих пор о них известно, это — что они принадлежали к дикому племени никербокеров, населявшему материк ко времени его открытия Рекордером Райкером, кавалером Ордена Золотого Руна. Впрочем, совершенно дикими они не были, ибо на свой лад развивали некоторые искусства и даже науки. О них рассказывают, что они во многом обнаруживали смышленность, но были

одержимы странной манией: строить «церкви» — так назывались на древнеамериканском языке пагоды, где поклонялись двум идолам, звавшимся Богатством и Модой. Говорят, что в конце концов остров на девять десятых состоял из церквей. А женщины были у них обезображены разросшимися выпуклостями пониже спины — хотя это уродство, совершенно неизвестно почему, считалось у них красотой. Сохранилась пара чудом уцелевших изображений этих диковинных женщин. Они действительно выглядят очень странно, напоминая одновременно индюка и дромадера.

Эти немногие мелочи составляют почти все, что нам было известно о древних никербокерах. Но сейчас, копая землю в центре императорского сада (который, как вы знаете, занимает весь остров), рабочие откопали обтесанный гранитный куб весом в несколько сот фунтов. Он был в хорошей сохранности и, как видно, почти не пострадал от землетрясения, которое погребло его под слоем земли. К одной из его поверхностей была прикреплена мраморная доска, а на ней (подумать только!) надпись — ясно различимая надпись. Пандит просто вне себя от восторга! Когда доску сняли, под ней оказалось углубление, а в нем — свинцовый ящик, заполненный различными монетами, длинный свиток каких-то имен, несколько печатных листов, похожих на газеты, и другие материалы, столь ценные для археолога! Все это, несомненно, — подлинные американские древности, оставшиеся от племени никербокеров. В газетах, которые забросили в корзину нашего воздушного шара, помещено много списков с монет, рукописей, печатных документов и др. Привожу, чтобы вас позабавить, текст никербокеровской надписи на мраморной доске:

*Этот красугольный камень памятника
ДЖОРДЖУ ВАШИНГТОНУ
Заложен с подобающей торжественностью
19 октября 1847 года
в годовщину сдачи лорда Корнваллиса
генералу Вашингтону в Йорктауне
в год и. э. 1781-й
трусами
ню-йоркской ассоциации по установке
памятника Вашингтону*

Таков дословный перевод надписи, сделанный самим Пандитом, так что никакой ошибки быть *не может*. Из этих немногих дошедших до нас слов мы узнаем ряд важных вещей, в том числе тот интересный факт, что уже тысячу лет назад *настоящие* памятники вышли из употребления — как и следовало — и люди стали довольствоваться, как и мы сейчас, простым заявлением о своем намерении воздвигнуть памятник когда-нибудь в будущем; для этого тщательно закладывали краеугольный камень «один, совсем один» (простите эту цитату из великого амриканского поэта Бентона!), в залог великодушного *намерения*. Из той же интересной надписи мы можем с несомненностью установить способ, а также место и объект примечательной сдачи, о которой идет речь. Место указано ясно: Йорктаун (где бы он ни был), а что касается объекта, им был генерал Кормваллис (очевидно, торговал кормами). Именно *его* и сдали. Надпись увековечила сдачу — чего? Ну, разумеется, «лорда Корнваллиса». Неясным остается только одно: куда эти дикари могли его сдавать? Однако если вспомнить, что дикари наверняка были каннибалами, то мы придем к выводу, что сдавали его на колбасу. А как именно происходила сдача лорда Корнваллиса (на колбасу), сказано со всей ясностью: «трудами нью-йоркской ассоциации по установке памятника Вашингтону» — это, несомненно, была благотворительная организация, занимавшаяся закладкой краеугольных камней. Но, Боже! Что случилось? Оказывается, шар лопнул, и нам предстоит падение в море. Поэтому я едва успею добавить, что бегло ознакомилась с фотографическими копиями тогдашних газет и обнаружила, что *великими людьми* среди тогдашних амриканцев был некто Джон, кузнец, и некто Захарий, портной.

До свидания, до встречи. Не важно, дойдет ли до вас это письмо; ведь я пишу исключительно для собственного развлечения. Тем не менее я запечатаю его в бутылку и брошу в море.

Неизменно ваша
Пандита.



МИСТИФИКАЦИЯ

Ну, уж коли ваши пассадо и монтанты
таковы, то мне их не надобно.

Нед Ноулз.

Барон Ритцнер фон Юнг происходил из знатного венгерского рода, все представители которого (по крайней мере, насколько проникают в глубь веков некоторые летописи) в той или иной степени отличались каким-либо талантом — а большинство из них талантом к тому виду *grotesquerie*¹, живые, хотя и не самые яркие примеры коей дал Тик, состоявший с ними в родстве. Знакомство мое с бароном Ритцнером началось в великолепном замке Юнг, куда цепь забавных приключений, не подлежащих обнародованию, забросила меня в летние месяцы 18-- года. Там Ритцнер обратил на меня внимание, а я, с некоторым трудом, постиг отчасти склад его ума. Впоследствии, по мере того, как дружба наша, позволявшая это понимание, становилась все теснее, росло и понимание; и когда, после трехлетней разлуки, мы встретились в Г-не, я знал все, что следовало знать о характере барона Ритцнера фон Юнга.

Помню гул любопытства, вызванный его появлением в университетских стенах вечером двадцать пятого июня. Помню еще яснее, что, хотя с первого взгляда все провозгласили его «самым замечательным человеком на свете», никто не предпринял ни малейшей попытки обосновать подобное мнение. Его *уникальность* представлялась столь неопровержимою, что попытка определить, в чем же она

¹ Гротескного, причудливого (*фр.*).

состоит, казалась дерзкою. Но, покамест оставляя это в стороне, замечу лишь, что не успел он вступить в пределы университета, как начал оказывать на привычки, манеры, характеры, кошельки и склонности всех, его окружающих, влияние совершенно беспредельное и деспотическое и в то же время совершенно неопределенное и никак не объяснимое. Поэтому его недолгое пребывание образует в анналах университета целую эру, и все категории лиц, имеющих к университету прямое или косвенное отношение, называют ее «весьма экстраординарным временем владычества барона Ритцнера фон Юнга».

По прибытии в Г-н он пришел ко мне домой. Тогда он был неопределенного возраста, то есть не давал никакой возможности догадаться о своем возрасте. Ему могли дать пятнадцать или пятьдесят, а *было* ему двадцать один год семь месяцев. Он отнюдь не был красавцем — скорее наоборот. Контуры его лица отличались угловатостью и резкостью: вздернутый нос; высокий и очень чистый лоб; глаза большие, остекленелые; взор тяжелый, ничего не выражающий. По его слегка выпяченным губам можно было догадаться о большем. Верхняя так покоилась на нижней, что невозможно было вообразить какое-либо сочетание черт, даже самое сложное, способное производить столь полное и неповторимое впечатление безграничной гордости, достоинства и покоя.

Несомненно, из вышеуказанного можно вывести, что барон относился к тем диковинным людям, встречающимся время от времени, которые делают науку *мистификации* предметом своих изучений и делом всей своей жизни. Особое направление ума инстинктивно обратило его к этой науке, а его наружность неимоверно облегчила ему претворение в действие его замыслов. Я непререкаемо убежден, что в прославленную пору, столь причудливо называемую временем владычества барона Ритцнера фон Юнга, ни один г-нский студент не мог хоть сколько-нибудь проникнуть в тайну его характера. Я и вправду держусь того мнения, что никто в университете, исключая меня, ни разу и не помыслил, будто он способен шутить словом или делом — скорее в этом заподозрили бы старого бульдога, сторожившего садовые ворота, призрак

Гераклита, или парик отставного профессора богословия. Так было, даже когда делалось очевидно, что самые дикие и непростительные выходки, шутовские бесчинства и плутни если не прямо исходили от него, то, во всяком случае, совершались при его посредничестве или потворстве. С позволения сказать, изящество его мистификаций состояло в его виртуозной способности (обусловленной почти инстинктивным постижением человеческой природы, а также беспримерным самообладанием) неизменно представлять учиняемые им проделки совершающимися отчасти вопреки, отчасти же благодаря его похвальным усилиям предотвратить их ради того, дабы *Alma Mater*¹ сохраняла в неприкосновенности свое благоприличие и достоинство. Острое, глубокое и крайнее огорчение при всякой неудаче столь достохвальных тцаний пронизывало каждую черточку его облика, не оставляя в сердцах даже самых недоверчивых из его однокашников никакого места для сомнений в искренности. Не менее того заслуживала внимания ловкость, с какою он умудрялся перемещать внимание с творца на творение — со своей персоны на те нелепые затеи, которые он измышлял. Я ни разу более не видывал, чтобы заправский мистификатор избегал естественного следствия своих маневров — всеобщего несерьезного отношения к собственной персоне. Постоянно пребывая в атмосфере причуд, друг мой казался человеком самых строгих правил; и даже домашние его ни на мгновение не думали о бароне Ритцнере фон Юнге иначе, как о человеке чопорном и надменном.

Во время его г-нских дней воистину казалось, что над университетом, точно инкуб, распростерся демон *dolce far niente*². Во всяком случае, тогда ничего не делали — только ели, пили да веселились. Квартиры многих студентов превратились в прямые кабаки, и не было среди них кабака более знаменитого или чаще посещаемого, нежели тот, что держал барон. Наши кутежи у него были многочисленны, буйны, длительны и неизменно изобиловали событиями.

¹ Мать-кормилица (название студентами университета) (*лат.*).

² Сладостного безделья (*ит.*).

Как-то раз мы затянули веселье почти до рассвета и выпили необычайно много. Помимо барона и меня, сборище состояло из семи или восьми человек, по большей части богатых молодых людей с весьма высокопоставленной родней, гордых своей знатностью и распираемых повышенным чувством чести. Они держались самых ультра-немецких воззрений относительно дуэльного кодекса. Эти донкихотские понятия укрепились после знакомства с некоторыми недавними парижскими изданиями да после трех-четырёх отчаянных и фатальных поединков в Г-не; так что беседа почти все время вертелась вокруг захватившей всех злобы дня. Барон, в начале вечера необыкновенно молчаливый и рассеянный, наконец, видимо, стряхнул с себя апатию, возглавил разговор и начал рассуждать о выгоде и особенно о красоте принятого кодекса дуэльных правил с жаром, красноречием, убедительностью и восторгом, что возбудило пылкий энтузиазм всех присутствующих и потрясло даже меня, отлично знавшего, что в душе барон презирал именно то, что превозносил, в особенности же фанфаронство дуэльных традиций он презирал глубочайшим образом, чего оно и заслуживает.

Оглядываясь при паузе в речи барона (о которой мои читатели могут составить смутное представление, когда я скажу, что она походила на страстную, певучую, монотонную, но музыкальную проповедническую манеру Колриджа), я заметил на лице одного из присутствующих признаки даже большей заинтересованности, нежели у всех остальных. Господин этот, которого назову Германом, был во всех смыслах оригинал — кроме, быть может, единственной частности, а именно той, что он был отменный дурак. Однако ему удалось приобрести в некоем узком университетском кругу репутацию глубокого мыслителя-метафизика и, кажется, к тому же наделенного даром логического мышления. Как дуэлянт он весьма прославился, даже в Г-не. Не припомню, сколько именно жертв пало от его руки, но их насчитывалось много. Он был несомненно смелый человек. Но особенно он гордился доскональным знанием дуэльного кодекса и своей *утонченностью* в вопросах чести. Это было его коньком. Рит-

цнера, вечно поглощенного поисками нелепого, его увлечение давно уж вызывало на мистификацию. Этого, однако, я тогда не знал, хотя и понял, что друг мой готовит какую-то проделку, наметив себе жертвой Германна.

Пока Ритцнер продолжал рассуждения или, скорее, монолог, я заметил, что взволнованность Германна все возрастает. Наконец, он заговорил, возражая против какой-то частности, на которой Ритцнер настаивал, и приводя свои доводы с мельчайшими подробностями. На это барон пространно отвечал (все еще держась преувеличенно патетического тона) и заключил свои слова, на мой взгляд, весьма бестактно, едкой и невежливой насмешкой. Тут Германн закусил удила. Это я мог понять по тщательной продуманности возражений. Отчетливо помню его последние слова. «Ваши мнения, барон фон Юнг, позвольте мне заметить, хотя и верны в целом, но во многих частностях деликатного свойства они дискредитируют и вас, и университет, к которому вы принадлежите. В некоторых частностях они недостойны даже серьезного опровержения. Я бы сказал больше, милостивый государь, ежели бы не боялся вас обидеть (тут говорящий ласково улыбнулся), я сказал бы, милостивый государь, что мнения ваши — не те, каких мы вправе ждать от благородного человека».

Германн договорил эту двусмысленную фразу, и все взоры направились на барона. Он побледнел, затем густо покраснел; затем уронил носовой платок, и, пока он за ним нагибался, я, единственный за столом, успел заметить его лицо. Оно озарилось выражением присущей Ритцнеру насмешливости, выражением, которое он позволял себе обнаруживать лишь наедине со мною, переставая притворяться. Миг — и он выпрямился, став лицом к Германну; и столь полной и мгновенной перемены выражения я дотоле не видывал. Казалось, он задыхается от ярости, он побледнел, как мертвец. Какое-то время он молчал, как бы сдерживаясь. Наконец, когда это ему, как видно, удалось, он схватил стоявший рядом графин и проговорил, крепко сжав его: «Слова, кои вы, мингеер Германн, сочли приличным употребить, обращаясь ко мне, вызывают протест по столь многим причинам, что у меня

нет ни терпения, ни времени, дабы причины эти оговорить. Однако то, что мои мнения — не те, каких мы вправе ждать от благородного человека — фраза настолько оскорбительная, что мне остается лишь одно. Все же меня вынуждает к известной корректности и присутствие посторонних и то, что в настоящий момент вы мой гость. Поэтому вы извините меня, ежели, исходя из этих соображений, я слегка отклонюсь от правил, принятых среди благородных людей в случае личного оскорбления. Вы простите меня, ежели я попрошу вас немного напрячь воображение и на единый миг счесть отражение вашей особы вои в том зеркале настоящим мингеером Германном. В этом случае не возникнет решительно никаких затруднений. Я швырну этим графином в вашу фигуру, отраженную вои в том зеркале, и так выражу по духу, если не строго по букве, насколько я возмущен вашим оскорблением, а от необходимости применять к вашей особе физическое воздействие я буду избавлен».

С этими словами он швырнул полный графин в зеркало, висевшее прямо напротив Германна, попав в его отражение с большою точностью и, конечно, разбив стекло вдребезги. Все сразу встали с мест и, не считая меня и Ритцнера, откланялись. Когда Германн вышел, барон шепнул мне, чтобы я последовал за ним, и предложил свои услуги. Я согласился, не зная толком, что подумать о столь нелепом происшествии.

Дуэлянт принял мое предложение с присущим ему чопорным и сверхугонченным видом и, взяв меня под руку, повел к себе. Я едва не расхохотался ему в лицо, когда он стал с глубочайшей серьезностью рассуждать о том, что он называл «утонченно необычным характером» полученного им оскорбления. После утомительных разглагольствований в свойственном ему стиле он достал с полки несколько заплесневелых книг о правилах дуэли и долгое время занимал меня их содержанием, читая вслух и увлеченно комментируя прочитанное. Припоминаю некоторые заглавия: «Ордонанс Филиппа Красивого о единоборствах», «Театр чести», сочинение Фавина и трактат Д'Одигье «О разрешении поединков». Весьма напыщенно он продемонстрировал мне «Мемуары о дуэлях» Бранто-

ма, изданные в 1666 году в Кельне,— драгоценный и уникальный том, напечатанный эльзевиром на веленовой бумаге, с большими полями, переплетенный Деромом. Затем он с таинственным и умудренным видом попросил моего сугубого внимания к толстой книге в восьмую листа, написанной на варварской латыни неким Эделеном, французом, и снабженной курьезным заглавием «*Duelli Lex scripta, et non; aliterque*»¹. Оттуда он огласил мне один из самых забавных пассажей на свете, главу относительно «*Injuriae per applicationem, per constructionem, et per se*»², около половины которой, как он меня заверил, было в точности применимо к его «утонченно необычному» случаю, хотя я не мог понять ни слова из того, что услышал, хоть убейте. Дочитав главу, он закрыл книгу и осведомился, что, по-моему, надлежит предпринять. Я ответил, что целиком вверяюсь его тонкому чутью и выполню все, им предлагаемое: Ответ мой, видимо, ему польстил, и он сел за письмо барону. Вот оно.

«Милостивый государь,— друг мой, г-н П., передаст Вам эту записку. Почитаю необходимым просить Вас при первой возможности дать мне объяснения о произошедшем у Вас сегодня вечером. Ежели на мою просьбу Вы ответите отказом, г-н П. будет рад обеспечить, вкупе с любимым из Ваших друзей, коего Вы соблаговолите назвать, возможность для нашей встречи.

Примите уверения в совершеннейшем к Вам почтении.

Имею честь пребыть Вашим покорнейшим слугою,
Иоганн Германн».

«Барону Ритцнеру фон Юнгу,
18 августа 18-- г.»

Не зная, что еще мне делать, я доставил это послание Ритцнеру. Когда я вручил ему письмо, он отвесил поклон; затем с суровым видом указал мне на стул. Изучив кар-

¹ «Закон дуэли, писанный и неписанный и прочее» (лат.).

² «Оскорбление прикосновением, словом и само по себе» (лат.).

тель, он написал следующий ответ, который я отнес Германну.

«Милостивый государь,— наш общий друг, г-н П., передал мне Ваше письмо, написанное сегодня вечером. По должном размышлении откровенно признаюсь в законности требуемого Вами объяснения. Признавшись, все же испытываю большие затруднения (ввиду *уточненно необычного* характера наших разногласий и личной обиды, мною нанесенной) в словесном выражении того, что в виде извинения долженствует от меня последовать, дабы удовлетворить всем самомалейшим требованиям и всем многообразным оттенкам, заключенным в данном инциденте. Однако я в полной мере полагаюсь на глубочайшее проникновение во все тонкости правил этикета, проникновение, коим Вы давно и по справедливости славитесь. Будучи вследствие этого полностью уверен в том, что меня правильно поймут, прошу Вашего соизволения взамен изъявления каких-либо моих чувств отослать Вас к высказываниям сьера Эделена, изложенным в девятом параграфе главы «*Injuriae per applicationem, per constructionem, et per se*» его труда «*Duelli Lex scripta, et non; aliterque*». Глубина и тонкость Ваших познаний во всем, там трактуемом, будет, я вполне уверен, достаточна для того, дабы убедить Вас, что самый факт моей ссылки на этот превосходный пассаж должен удовлетворить Вашу просьбу объясниться, просьбу человека чести.

Примите уверения в глубочайшем к Вам почтении.

Ваш покорный слуга,

Фон Юнг».

«Господину Иоганну Германну,
18 август 18-- г.»

Германн принялся читать это послание со злобной гримасою, которая, однако, превратилась в улыбку, исполненную самого смехотворного самодовольства, как только он дошел до околесицы относительно «*Injuriae per applicationem, per constructionem et per se*». Дочитав письмо, он стал упрашивать меня с наилюбезнейшей из возможных улыбок присесть и обождать, пока он не посмотрит

упомянутый трактат. Найдя нужное место, он прочитал его про себя с величайшим вниманием, а затем закрыл книгу и высказал желание, дабы я в качестве доверенного лица выразил от его имени барону фон Юнгу полный восторг перед его, барона, рыцарственностью, а в качестве секунданта уверить его, что предложенное объяснение отличается абсолютной полнотою, безукоризненным благородством и, безо всяких оговорок, исчерпывающе удовлетворительно.

Несколько пораженный всем этим, я ретировался к барону. Он, казалось, принял дружелюбное письмо Германна как должное и после нескольких общих фраз принес из внутренних покоев неизменный трактат «*Duelli Lex scripta, et non; aliterque*». Он вручил мне книгу и попросил просмотреть в ней страницу-другую. Я так и сделал, но безрезультатно, ибо оказался неспособен извлечь оттуда ни крупицы смысла. Тогда он сам взял книгу и прочитал вслух одну главу. К моему изумлению, прочитанное оказалось до ужаса нелепым описанием дуэли двух павианов. Он объяснил мне, в чем дело, показав, что книга *prima facie*¹ была написана по принципу «вздорных» стихов Дю Бартаса, то есть слова в ней подогнаны таким образом, чтобы, обладая всеми внешними признаками разумности и даже глубины, не заключать на самом деле и тени смысла. Ключ к целому находился в том, чтобы постоянно опускать каждое второе, а затем каждое третье слово, и тогда нам представляли уморительные насмешки над поединками нашего времени.

Барон впоследствии уведомил меня, что он нарочно подсунул трактат Германну за две-три недели до этого приключения, будучи уверен, что тот, судя по общему направлению его бесед, внимательнейшим образом изучит книгу и совершенно убедится в ее необычайных достоинствах. Это послужило Ритцнеру отправной точкой. Германн скорее бы тысячу раз умер, но не признался бы в неспособности понять что-либо на свете, написанное о правилах поединка.

¹ На первый взгляд (лат.).



ТРАГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

КОСА ВРЕМЕНИ

Что так безмерно огорчило вас,
Прекраснейшая дама?

«Комус»

Был тихий и ясный вечер, когда я вышла пройтись по славному городу Эдине. На улицах царил неопиcуемый шум и толкотня. Мужчины разговаривали. Женщины кричали. Дети вопили. Свиньи визжали. А повозки — те громыхали. Быки — те ревели. Коровы — те мычали. Лошади — те ржали. Кошки — те мяукали. Собаки — те танцевали. *Танцевали!* Возможно ли? *Танцевали!* Увы, подумала я, для меня пора танцев миновала! Так бывает всегда. Целый сонм печальных воспоминаний пробуждается порой в душе гения и поэта-созерцателя, в особенности гения, осужденного на непрестанное, постоянное и, можно сказать, *длительное* — да, *длительное и длительносье* — горькое, мучительное, тревожащее — и да позволено мне будет сказать — *очень* тревожащее воздействие ясного, божественного, небесного, возвышенного, возвышающего и очищающего влияния того, что по праву можно назвать самой завидной, *поистине* завидной — нет! самой благотворно прекрасной, самой сладостно неземной и, так сказать, самой *миленькой* (если мне простят столь смелое слово) *вещи* в целом мире (прости, любезный читатель!). Однако я позволила себе увлечься. Повторяю, в такой душе сколько воспоминаний способен пробудить любой пустяк! Собаки танцевали! А я — я *не могла!* Они резвились — я плакала. Они прыгали — я горько рыдала. Волнующая картина! Образованному чи-

тателю она, несомненно, напомнит прелестные строки о всеобщем соответствии в начале третьего тома классического китайского романа, великолепного *Лью-Чай-ли*.

В моих одиноких скитаниях по городу у меня было два смиренных, но верных спутника. Диана, милый мой пудель! Прелестное создание! На ее единственный глаз свешивался клочок шерсти, на шее был изящно повязан голубой бант. Диана была не более пяти дюймов росту, но голова ее была несколько больше туловища, а хвост, отрубленный чрезвычайно коротко, делал ее общей любимицей и придавал этому незаурядному животному вид оскорбленной невинности.

А Помпей, мой негр! — милый Помпей! Как мне забыть тебя? Я опиралась на руку Помпея. Его рост был три фута (я люблю точность), возраст — семьдесят, а быть может, и восемьдесят лет. Он был кривоног и тучен. Рот его, равно как и уши, нельзя было назвать маленьким. Однако зубы его были подобны жемчугу, а огромные выпуклые белки сверкали белизной. Природа не наделила его шеей, а щиколотки (что обычно для представителей его расы) поместила в середине верхней части стопы. Он был одет с удивительной простотой. Весь его костюм состоял из шейного платка в девять дюймов и почти нового суконного пальто, принадлежавшего прежде высокому и статному знаменитому доктору Денегрошу. Это было отличное пальто. Хорошо скроенное. Хорошо сшитое. Пальто было почти новым. Помпей придерживал его обеими руками, чтобы оно не попало в грязь.

Нас было трое, и двоих я уже описала. Был еще и третий — этим третьим была я сама. Я — синьора Психея Зенобия. А вовсе не Сьюки Снобз. У меня очень импонирующая наружность. В тот памятный день на мне было платье малинового атласа и небесно-голубая арабская мантилья. Платье было отделано зелеными аграфами и семью изящными оборками из оранжевых аурикул. Итак, я была третьей. Был пудель. Был Помпей. И была я. Нас было *трос*. Говорят, что и фурий было первоначально всего три — Мельти, Нимми и Хетти — Размышление, Память и Пиликанье.

Опираясь на руку галантного Помпея и сопровождаемая на почтительном расстоянии Дианой, я шла по одной из людных и живописных улиц ныне опустелой Эдины. Внезапно моим глазам предстала церковь — готический собор — огромный, старинный, с высоким шпилем, уходящим в небо. Что за безумие овладело мною? Зачем поспешила я навстречу року? Меня охватило неудержимое желание подняться на головокружительную высоту и оттуда взглянуть на огромный город. Дверь собора была открыта, словно приглашая войти. Судьба моя решилась. Я вступила под мрачные своды. Где был мой ангел-хранитель — если такие ангелы существуют? *Если!* Короткое, но зловещее слово! Целый мир тайн, значений, сомнений и неизвестности заключен в твоих четырех буквах! Я вступила под мрачные своды! Я вошла; ничего не задев своими оранжевыми оборками, я прошла под порталом и оказалась в преддверии храма. Так, говорят, огромная река Альфред протекала под морским дном, не портясь и не промокая.

Я думала, что лестнице не будет конца. *Кругом!* Да, ступени шли кругом и вверх, кругом и вверх, кругом и вверх, пока мне и догадливому Помпею, на которого я опиралась со всей доверчивостью первой привязанности, не пришло в голову, что верхний конец этой колоссальной винтовой лестницы был случайно, а быть может, и намеренно, снят. Я остановилась, чтобы передохнуть; и тут произошло нечто слишком важное как в моральном, так и в философском смысле, чтобы можно было обойти это молчанием. Мне показалось — я даже была уверена и не могла ошибиться — ведь я уже несколько минут внимательно и тревожно наблюдала движения моей Дианы — повторяю, ошибиться я не могла — Диана — *почуяла крысу!* Я тотчас обратила на это внимание Помпея, и он — он согласился со мной. Сомнений быть не могло. Крысу почувяли — и почувяла ее Диана. Силы небесные! Как мне забыть глубокое волнение этой минуты? Увы! Что такое хваленый ум человека? Крыса! — она была тут, то есть где-то поблизости. Диана почувяла крысу. А я — я не могла! Так, говорят, прусский Ирис обладает для некоторых сладким и очень сильным ароматом, тогда как для других он совершенно лишен запаха.

Наконец лестница кончилась; всего три-четыре ступеньки отделяли нас от ее верхней площадки. Мы поднялись еще и нам оставался только один шаг. Один шаг! Один маленький шаг! Сколько людского счастья или горя часто зависит от одного такого шага по великой лестнице жизни! Я подумала о себе, потом о Помпее, а затем о таинственной и необъяснимой судьбе, тяготевшей над нами. Я подумала о Помпее — увы, я подумала о любви! Я подумала о многих ложных *шагах*, которые сделаны и еще могут быть сделаны. Я решила быть более сдержанной, более осторожной. Я отняла у Помпея свою руку и сама, без его помощи, преодолела последнюю ступеньку и взошла на колокольню. Мой пудель тотчас последовал за мной. Помпей остался позади. Стоя на верху лестницы, я ободряла его. Он протянул ко мне руку, но при этом, к несчастью, выпустил пальто, которое придерживал. Ужели боги не устанут нас преследовать? Пальто упало, и Помпей наступил на его длинные, волочившиеся полы. Он споткнулся и упал — такое следствие было неизбежно. Он упал вперед и своей проклятой головой ударился в мою — в мою *грудь*; увлекая меня за собою, он свалился на твердый, омерзительно грязный пол колокольни. Но моя месть была решительной, немедленной и полной. Яростно вцепившись обеими руками в его шерстистую голову, я выдрала большие клочья этой жесткой, курчавой черной шерсти и с презрением отшвырнула их прочь. Они упали среди колокольных веревок и там застряли. Помпей поднялся и не произнес ни слова. Он лишь жалобно посмотрел на меня своими большими глазами и — вздохнул. О боги — что это был за вздох! Он проник в мое сердце. А эти волосы — эта шерсть! Если бы я могла до нее дотянуться, я омочила бы ее слезами раскаяния. Но увы! Она была теперь недосягаема. Качаясь среди колокольных веревок, она казалась мне все еще живою. Мне чудилось, что она встала дыбом от негодования. Так, говорят, *Хэпидсенди Флос Аэрис* с острова Ява очень красиво цветет и продолжает жить, если его выдернуть с корнями. Туземцы подвешивают его к потолку и наслаждаются его ароматом в течение нескольких лет.

Мы помирились и оглянулись вокруг себя, ища отверстия, из которого открывался бы вид на город Эдину. Окон там не было. Свет проникал в мрачное помещение только через квадратный проем диаметром около фута, находившийся в семи от пола. Но чего не совершит энергия истинного гения! Я решила добраться до этого отверстия. Под ним находилось множество колес, шестерен и других таинственных частей часового механизма, а сквозь отверстие шел от этого механизма железный стержень. Между колесами и стеной едва можно было протиснуться — но я была исполнена отчаянной решимости и упорствовала в своем намерении. Я подозвала Помпея.

— Видишь это отверстие, Помпей? Я хочу оттуда выглянуть. Стань прямо под ним — вот здесь. Теперь вытяни руку, и я на нее встану — вот так. А теперь другую руку, Помпей, и я влезу тебе на плечи.

Он сделал все, что я хотела, и, когда я выпрямилась, оказалось, что я легко могу просунуть в проем голову и шею. Вид открывался дивный. Ничто не могло быть великопнее. Я только велела Диане вести себя смирно, а Помпея заверила, что буду его щадить и постараюсь не слишком давить ему на плечи. Я сказала, что буду с ним нежна — «*осси тандр ке бифштекс*»¹. Проявив таким образом должное внимание к моему верному другу, я с восторгом и упоением предалась созерцанию пейзажа, столь услужливо представившегося моему взору.

Впрочем, на эту тему я не буду распространяться. Я не стану описывать город Эдинбург. Все побывали в Эдинбурге — древней Эдине. Я ограничусь важнейшими подробностями собственных злоключений. Удовлетворив отчасти свое любопытство относительно размеров, расположения и общего вида города, я успела затем оглядеть церковь, в которой находилась, и изящную архитектуру ее колокольни. Я обнаружила, что отверстие, в которое я просунула голову, находилось в циферблате гигантских часов и снизу должно было казаться дырочкой для ключа, какие бывают у французских карманных часов. Оно, несомненно, предназначалось для того, чтобы часовой

¹ Нежна, как бифштекс (испорч. фр.).

мастер мог просунуть руку и в случае надобности перевести стрелку изнутри. Я с изумлением увидела также, насколько велики эти стрелки, из которых более длинная имела в длину не менее десяти футов, а в самом широком месте — около девяти дюймов ширины. Стрелки были, как видно, из твердой стали, и края их казались очень острыми. Заметив эти и некоторые другие подробности, я снова обратила свой взор на великолепную панораму, расстилавшуюся внизу, и погрузилась в ее созерцание.

Спустя несколько минут меня отвлек от этого голос Помпея, который заявил, что дольше не может выдерживать, и попросил, чтобы я была так добра и слезла. Требование было неблагоразумным, и я ему это высказала в довольно пространной речи. Он отвечал, но явно не понимая моих мыслей по этому поводу. Тогда я рассердилась и напрямик сказала ему, что он дурак, совершил *«игнорабус»* и *«клянчит»*; что все его понятия — *«инсомари лвис»*, и слова не лучше — какие-то *«аниманиаборы»*. Этим он, по-видимому, удовлетворился, а я вернулась к созерцанию.

Через какие-нибудь полчаса после нашей словесной стычки, все еще поглощенная божественным ландшафтом, расстилавшимся подо мною, я вздрогнула от прикосновения чего-то очень холодного, слегка нажавшего мне сзади на шею. Излишне говорить, как я перепугалась. Я знала, что Помпей стоит у меня под ногами, а Диана, по моему строгому приказу, сидит на задних лапках в дальнем углу помещения. Что же это могло быть? Увы! Я слишком скоро это узнала. Слегка повернув голову, я, к своему величайшему ужасу, увидела, что огромная, блестящая минутная стрелка, подобная мечу, обращаясь вокруг циферблата, достигла моей шеи. Я поняла, что нельзя терять ни секунды. Я рванулась назад — но было слишком поздно. Я уже не могла вынуть голову из страшной западни, в которую она попала и которая продолжала смыкаться с ужасающей быстротой. Ужас этого мгновения невозможно себе представить. Я вскинула руки и изо всех сил принялась толкать вверх массивную стальную полосу. С тем же успехом можно было пытаться приподнять весь собор. Стрелка опускалась все ниже, ниже и ниже и

все ближе ко мне. Я позвала на помощь Помпея, но он сказал, что я его обидела, назвав старым дураком, который клянит. Я громко позвала Диану, но та ответила только «вау, вау» и еще, что я «не велела ей ни в коем случае выходить из угла». Итак, от моих спутников нечего было ждать помощи.

Между тем массивная и страшная *Коса Времени* (ибо теперь я поняла буквальное значение этой классической фразы) продолжала свое безостановочное движение. Она опускалась все ниже. Ее острый край уже на целый дюйм впился в мое тело, и мысли мои начали мешаться. Я видела себя то в Филадельфии, в обществе статного доктора Денеггроша, то в приемной мистера Блэквуда, где слушала его драгоценные наставления. А потом вдруг нахлынули сладостные воспоминания о прежних, лучших днях и я перенеслась в то счастливое время, когда мир не был для меня пустыней, а Помпей был менее жестоко-серд.

Тиканье механизма забавляло меня. Повторяю — забавляло, ибо теперь мое состояние граничило с полным блаженством, и каждый пустяк доставлял мне удовольствие. Неумолкающее тик-так, тик-так, тик-так звучало в моих ушах дивной музыкой и порою даже напоминало прекрасные проповеди доктора Оллапода. А крупные цифры на циферблате — какой умный у них был вид! Они принялись танцевать мазурку, и больше всего мне понравилось исполнение ее цифрой V. Она, несомненно, получила отличное воспитание. В ней не было ничего вульгарного, а в движениях — ни малейшей нескромности. Она восхитительно делала пируэты, крутясь на своем остром конце. Я попыталась было предложить ей стул, ибо она казалась утомленной танцем — и только тут вполне поняла свое безвыходное положение. Поистине безвыходное! Стрелка врезалась мне в шею уже на два дюйма. Я ощущала нестерпимую боль. Я призывала смерть и среди своих страданий невольно повторяла прекрасные стихи поэта Мигеля де Сервантеса:

Ванни Бюрен, тап эскондида,
Квори но ти септи венти
Полк на пляже делли мори
Номми, торни, дари види.

Но меня ожидало новое бедствие, невыносимое даже для самых крепких нервов. Под давлением стрелки глаза мои начали вылезать из орбит. Пока я раздумывала, как трудно будет без них обойтись, один из них вывалился и, скатившись с крутой крыши колокольни, упал в водосток, проложенный вдоль крыши главного здания. Не столь обидна была потеря глаза, сколько нахальный, независимый и презрительный вид, с которым он глядел на меня, после того как выпал. Он лежал в водосточном желобе у меня под носом и напускал на себя важность, которая была бы смешна, если бы не была противна. Никогда еще ни один глаз так не хлопал и не подмигивал. Подобное поведение моего глаза не только раздражало меня своей явной дерзостью и гнусной неблагодарностью, но и причиняло мне крайнее неудобство вследствие сродства, которое всегда существует между двумя глазами одной и той же головы, какое бы расстояние их ни разделяло. Поэтому я волей-неволей моргала и подмигивала вместе с мерзавцем, лежавшим у меня перед носом. Вскоре, однако, пришло облегчение, так как выпал и второй глаз. Он упал туда же, куда его собрат (возможно, тут был сговор). Они вместе выкатились из водостока, и я, признаться, была рада от них избавиться.

Стрелка врезалась мне в шею уже на четыре с половиной дюйма, и ей оставалось только перерезать последний лоскуток кожи. Я испытывала полное счастье, ибо сознавала, что всего через несколько минут придет конец моему неприятному положению. В этих ожиданиях я не обманулась. Ровно в двадцать пять минут шестого огромная минутная стрелка продвинулась на своем страшном пути настолько, что перерезала остававшуюся часть моей шеи. Я без сожаления увидела, как голова, причинившая мне столько хлопот, окончательно отделилась от моего туловища. Она скатилась сперва по стене колокольни, на миг задержалась в водосточном желобе, а затем, подпрыгнув, оказалась посреди улицы.

Должна откровенно признаться, что теперь мои ощущения приняли чрезвычайно странный — нет, более того, таинственный и непонятный характер. Мое сознание находилось одновременно и тут, и там. Головой я считала,

что я, то есть голова, и есть настоящая синьора Психея Зенобия, а спустя мгновение убеждалась, что моя личность заключена именно в туловище. Желая прояснить свои мысли на этот счет, я ползла в карман за табакеркой, но, достав ее и попытавшись обычным образом применить щепотку ее приятного содержимого, я тотчас поняла свою несостоятельность и кинула табакерку вниз, своей голове. Она с большим удовольствием понюхала табак и улыбнулась мне в знак признательности. Вскоре после этого она обратилась ко мне с речью, которую я плохо расслышала за неимением ушей. Однако я поняла, что она удивляется моему желанию жить при таких обстоятельствах. В заключение она привела благородные слова Ариосто:

Иль повер омо ке пон серри корти
И лихо бился тенти эрри мертви,

сравнивая меня таким образом с героем, который в пылу битвы не заметил, что он мертв, и продолжал доблестно сражаться. Теперь ничто уже не мешало мне сойти с моего возвышения, что я и сделала. Но что уж такого особенно странного увидел во мне Помпей, я и поныне не знаю. Он разинул рот до ушей, а глаза зажмурил так крепко, точно собирался колоть орехи между век. Затем, бросив свое пальто, он метнулся к лестнице и исчез. Я бросила вслед негодюю страстные слова Демосфена:

Эндрью О'Флегетон, как можешь бросать меня?—

и повернулась к своей любимице, к одноглазой лохматой Диане. Увы! Что за страшное зрелище предстало моим глазам! Неужели это крыса юркнула только что в нору? А это — неужели это обглоданные *кости* моего ангелочка, съеденного злобным чудовищем? О боги! Что я вижу — не тень ли это, не призрак ли, не дух ли моей любимой собачки сидит в углу с такой меланхолической грацией? Но чу! Она заговорила, — и о небо! — на языке Шиллера:

Унт штабби дак, зо штабби дун
Дук зи! Дук зи!

Увы! Сколько правды в ее словах!

Пусть это смерть — я смерть вкусил
У ног, у ног, у милых ног твоих.

Нежное создание! Она *тоже* пожертвовала собою ради меня. Без собаки, без негра, без головы, что еще остается несчастной синьоре Психее Зенобии? Увы — *ничего!* Все кончено.



ТЫСЯЧА ВТОРАЯ СКАЗКА ШЕХЕРЕЗАДЫ

«Правда всякой выдумки странней».

Старая пословица

Когда мне недавно представился случай, занимаясь одним ориенталистским исследованием, заглянуть в «Таклинетли» — сочинение, почти неизвестное даже в Европе (подобно «Зохару» Симона Иохайдеса), и, насколько я знаю, не цитированное ни одним американским ученым, исключая, кажется, автора «Достопримечательностей американской литературы» — итак, когда мне представился случай перелистать некоторые страницы первого, весьма любопытного сочинения, я был немало удивлен, обнаружив, что литературный мир доньше пребывает в заблуждении относительно судьбы дочери визиря Шехерезады, как она описана в «Арабских ночах», и что приведенная там *denouement*¹ не то чтобы совсем неверна, но далеко не доведена до конца.

Любопытного читателя, интересующегося подробностями этой увлекательной темы, я вынужден отослать к самому «Таклинетли», а пока позволю себе вкратце изложить то, что я там прочел.

Как мы помним, согласно общепринятой версии сказок, некий царь, имея серьезные основания приревновать свою царицу, не только казнит её, но клянется своей бородой и пророком ежедневно брать в жены красивейшую девушку своей страны, а на следующее утро отдавать ее в руки палача.

После того как царь уже много лет выполнял этот обет с набожностью и аккуратностью, снискавшими ему репу-

¹ Развязка (*фр.*).

тацию человека праведного и разумного, его посетил как-то под вечер (несомненно, в час молитвы) великий визирь, чьей дочери пришла в голову некая мысль.

Ее звали Шехерезадой, а мысль состояла в том, чтобы избавить страну от разорительного налога на красоту или погибнуть при этой попытке, по примеру всех героинь.

Вот почему, хотя год, как оказалось, не был високосным (что сделало бы ее жертву еще похвальнее), она посылает своего отца, великого визиря, предложить царю ее руку. Это предложение царь спешит принять (он и сам имел подобное намерение и откладывал его со дня на день только из страха перед визирем), но при этом очень ясно дает понять всем участникам дела, что визирь визирем, а он, царь, отнюдь не намерен отступать от своего обета или поступаться своими привилегиями. Поэтому, когда прекрасная Шехерезада пожелала выйти за царя и вышла-таки, наперекор благоразумному совету отца не делать ничего подобного, — когда она, повторяю, захотела выйти замуж и вышла, то ее прекрасные черные глаза были открыты на все последствия такого поступка.

Однако у этой мудрой девицы (несомненно, читавшей Макиавелли) имелся весьма остроумный план. В брачную ночь, не помню уж, под каким благовидным предложением, она устроила так, что ее сестра заняла ложе в достаточной близости от ложа царственных супругов, чтобы можно было без труда переговариваться; и незадолго до первых петухов сумела разбудить доброго государя, своего супруга (который относился к ней ничуть не хуже из-за того, что наутро намеревался ее удавить), итак, она сумела (хотя он, благодаря чистой совести и исправному пищеварению, спал весьма крепко) разбудить его, рассказывая сестре (разумеется, вполголоса) захватывающую историю (если не ошибаюсь, речь там шла о крысе и черной кошкѣ). Когда занялась заря, оказалось, что рассказ не вполне окончен, а Шехерезада, натурально, не может его окончить, ибо ей пора вставать и быть удушенной — процедура едва ли более приятная, чем повешение, хотя и несколько более благородная.

Здесь я вынужден с сожалением отметить, что любопытство царя взяло верх даже над его религиозными принципами и заставило его на сей раз отложить до следующего утра исполнение его обета с целью и надеждой услышать ночью, что же случилось, наконец, с крысой и черной кошкой (кажется, именно черной).

Однако ночью леди Шехерезада не только покончила с черной кошкой и крысой (крыса была голубая), но как-то незаметно для себя пустилась рассказывать запутанную историю (если не ошибаюсь) о розовом коне (с зелеными крыльями), который скакал во весь опор, будучи заведен синим ключом. Эта повесть заинтересовала царя еще больше, чем первая, а поскольку к рассвету она не была окончена (несмотря на все старания царицы быть удушенной вовремя), пришлось еще раз отложить эту церемонию на сутки. Нечто подобное повторилось и в следующую ночь с тем же результатом; а затем еще и еще раз, так что в конце концов наш славный царь, лишенный возможности выполнять свой обет в течение целых тысячи и одной ночи, либо забывает о нем к тому времени, либо снимает его с себя по всем правилам, либо (что всего вероятнее) посылает его к черту, а заодно и своего духовника. Во всяком случае, Шехерезада, происходившая по прямой линии от Евы и, должно быть, получившая по наследству все семь корзин рассказней, которые эта последняя, как известно, собрала под деревьями райского сада, — Шехерезада, говорю я, одержала победу, и подать на красоту была отменена.

Такая развязка (а именно она приведена в общеизвестном источнике), несомненно, весьма приятна и прилична — но увы! подобно очень многим приятным вещам скорее приятна, чем правдива; возможности исправить ошибку я всецело обязан «Таклинетли». «Le mieux, — гласит французская пословица, — est l'ennemi du bien»¹; и, сказав, что Шехерезада унаследовала семь корзин болтовни, мне следовало добавить, что она отдала их в рост, и их стало семьдесят семь.

¹ Лучшее — враг хорошего (фр.).

— Милая сестрица, — сказана она в ночь тысяча вторую (здесь я *verbatim*¹ цитирую «Таклинетли»), милая сестрица, — сказала она, — теперь, когда улажен неприятный вопрос с петлей, а ненавистная подать, к счастью, отменена, я чувствую за собой вину, ибо утаила от тебя и царя (который, к сожалению, храпит, чего не позволил бы себе ни один джентльмен) окончание истории Синбада-Морехода. Этот человек испытал еще множество других, более интересных приключений, кроме тех, о каких я поведала; но мне, по правде сказать, в ту ночь очень хотелось спать, и я поддалась искушению их сократить — весьма дурной поступок, который да простит мне Аллах. Но исправить мое упущение не поздно и сейчас; вот только ущипну пару раз царя и разбужу его хоть настолько, чтобы он прекратил этот ужасный храп, а тогда расскажу тебе (и ему, если ему будет угодно) продолжение этой весьма замечательной повести.

Сестра Шехерезады, по свидетельству «Таклинетли», не выказала при этих словах особого восторга; но царь, после должного числа щипков, перестал храпеть и произнес «гм!», а затем «х-хо!»; и тогда царица, поняв эти слова (несомненно, арабские) в том смысле, что он — весь внимание и постарается больше не храпеть, — царица, повторяю, уладив все это к своему удовольствию, тотчас же принялась рассказывать историю Синбада-Морехода.

— Под старость (таковы были слова Синбада, переданные Шехерезадой), — под старость, много лет проживши дома на покое, я вновь ощутил желание повидать чужие страны; однажды, не предупредив о своем намерении никого из домашних, я увязал в тюки кое-какие товары из тех, что подороже, а места занимают мало, и, наняв для них носильщика, отправился вместе с ним на берег моря, чтобы дожидаться там какого-нибудь корабля, который доставил бы меня в край, где мне еще не удалось побывать.

Сложивши тюки на песок, мы сели в тени деревьев и стали глядеть на море, надеясь увидеть корабль, но в течение нескольких часов ничего не было видно. Наконец

¹ Дословно (*лит.*).

мне послышалось странное жужжание или гудение; носильщик, прислушавшись, подтвердил, что он также его слышит. Оно становилось все громче, и у нас не было сомнения, что издававший его предмет приближается к нам. Наконец мы увидели на горизонте темное пятнышко, которое быстро росло и скоро оказалось огромным чудищем, плывшим по морю, выставляя на поверхность большую часть туловища. Оно приближалось с невиданной быстротой, вздымая грудью пенные волны и освещая море далеко тянувшейся огненной полосой.

Когда оно приблизилось, мы смогли ясно его разглядеть. Длина его равнялась трем величайшим деревьям, а ширина была не меньше, чем у большой залы твоего дворца, о величайший и великодушнейший из калифов. Тело его, не похожее на тело обычных рыб, было твердым, как скала, и совершенно черным в той части, что виднелась над водою, не считая узкой кроваво-красной полосы, которой оно было опоясано. Брюхо его, скрытое под водой и видимое лишь по временам, когда чудище подымалось на волнах, было сплошь покрыто металлической чешуей, а цветом напоминало луну в тумане. Спина была плоской и почти белой, и из нее торчало шесть шипов, длиною едва ли не в половину туловища.

Это ужасное существо, по-видимому, не имело рта; но словно в возмещение этого недостатка было снабжено по крайней мере восьмьюдесятью глазами, вылезавшими из орбит, как у зеленых стрекоз, и расположенными вокруг всего тела в два ряда, один над другим, параллельно красной полосе, которая, видимо, заменяла брови. Два или три из этих страшных глаз были гораздо больше остальных и казались сделанными из чистого золота.

Хотя чудовище, как я уже сказал, приближалось к нам с огромной скоростью, оно, несомненно, двигалось с помощью волшебства — ибо не имело ни плавников, как рыба, ни перепончатых лап, как у утки, ни крыльев, как у раковины-кораблика, подгоняемой ветром; но и не извивалось, как это делает угорь. Голова и хвост были у него совершенно одинаковой формы; но возле этого последнего имелись два небольших отверстия, служивших ноздрями, через которые чудовище выдыхало с большой силой и неприятным пронзительным звуком.

Наш ужас при виде отвратительного создания был велик; но еще большим было наше изумление, когда, всмотревшись в него вблизи, мы заметили на его спине множество тварей, величиной и обликом похожих на людей, только вместо одежды, подобающей людям, облаченных (вероятно, от природы) в уродливые и неудобные оболочки, с виду матерчатые, но прилегающие так плотно к коже, что они придавали бедным созданиям потешный и неуклюжий вид и, видимо, причиняли сильную боль. На макушках у них были квадратные коробки, которые сперва показались мне тюрбанами, но я скоро заметил, что они крайне тяжелы и плотны, и заключил, что их назначение состоит в том, чтобы прочнее удерживать на плечах головы этих существ. Вокруг шеи у них были черные ошейники (несомненно, знаки рабства), какие мы надеваем на собак, только гораздо более широкие и жесткие, так что бедняги не могли повернуть головы, не поворачиваясь одновременно всем туловищем, и были обречены созерцать собственные носы, дивясь их необычайно курносой форме.

Когда чудовище почти вплотную приблизилось к берегу, где мы стояли, один из его глаз внезапно выставился вперед и изрыгнул сноп огня, сопровождавшийся густым облаком дыма и шумом, который можно сравнить лишь с раскатами грома. Едва дым рассеялся, мы увидели, что одна из диковинных человекоподобных тварей стоит подле головы чудища с большой трубой в руке, через которую (приставив ее ко рту) она обратилась к нам, издавая громкие, резкие и неприятные звуки, которые мы приняли бы за слова, если бы они не исходили из носа.

На это обращение я не знал, как отвечать, ибо не понимал, что говорилось; в своей растерянности я обратился к носильщику, едва не лишившемуся чувств от страха, и спросил, какой породы, по его мнению, это чудовище и что за существа копошатся у него на спине. Носильщик, сотрясаясь от ужаса, пролепетал, что однажды уже слышал о таком морском звере, что это — свирепый демон с горячей серой вместо внутренностей и огнем вместо крови, сотворенный злыми джинами на мучение людям; а

создания на его спине — паразиты, вроде тех, что иногда заводятся на собаках и кошках, только крупнее и злее; что они имеют свое назначение, хотя и пагубное; ибо, кусая и жала чудовище, доводят его до бешенства, заставляющего его рычать и творить всяческое зло, осуществляя тем самым мстительный и коварный замысел злых джиннов.

Это объяснение побудило меня пуститься наутек; ни разу не оглянувшись, я со всех ног побежал к холмам; носильщик кинулся бежать с такой же быстротой, но в противоположную сторону, спасая мои тюки, которые он, несомненно, сберег в целости, — этого, впрочем, я не могу утверждать, ибо не помню, чтобы с тех пор с ним встречался.

Что касается меня, то человекоподобные паразиты (которые высадились на берег в лодках) пустились за мною в погоню, и скоро я был схвачен, связан по рукам и ногам и доставлен на спину чудовища, немедленно отплывшего в море.

Теперь я горько раскаивался в безрассудстве, заставившем меня покинуть домашний очаг, чтобы подвергать свою жизнь подобным опасностям; но, так как сожаления были бесполезны, я решил не унывать и постарался снискать расположение человеко-животного, владевшего трубой, который, очевидно, имел какую-то власть над своими спутниками. Это мне настолько удалось, что спустя несколько дней оно уже оказывало мне различные знаки благосклонности, а затем даже взяло на себя труд обучать меня основам того, что в своем тщеславии считало языком, так что я смог свободно с ним объясняться и сообщить о своем пылком желании повидать свет.

— *Уошиш скуошиш, скуик, Синдбад, хэй дидл дидл, грант энд грамбл, хисс, фисс, уисс*, — сказал он мне однажды после обеда, — но прошу прощения! Я позабыл, что ваше величество незнакомы с наречием кок-неев (это нечто среднее между ржанием и кукареканием). С вашего позволения я переведу. «Уошиш скуошиш» и т. д., то есть «Я рад, любезный Синбад, что ты оказался отличным малым; мы сейчас совершаем, как это называется,

кругосветное плавание, и раз уж тебе так хочется повидать свет, я, так и быть, бесплатно повезу тебя на спине чудовища».

Когда леди Шехерезада дошла до этого места, сообщает «Таклинетли», царь повернулся с левого бока на правый и промолвил:

— Поистине, весьма удивительно, дорогая царица, что ты опустила эти последние приключения Синбада. Я, знаешь ли, нахожу их крайне занимательными и необычными.

После того как царь высказал таким образом свое мнение, прекрасная Шехерезада вернулась к своему повествованию:

«Продолжая свой рассказ халифу, Синбад сказал так: «Я поблагодарил человеко-животное за его доброту и скоро совершенно освоился на спине чудовища, с невероятной быстротой плывшего по океану, хотя поверхность последнего в той части света отнюдь не плоская, но выпуклая, наподобие плода граната, так что мы все время плыли то в гору, то под гору».

— Это мне кажется очень странным,— прервал царь.

— Тем не менее это чистая правда,— ответила Шехерезада.

— Сомневаюсь,— возразил царь,— но, прошу тебя, продолжай рассказ.

— Так я и сделаю,— сказала царица.

«Чудовище,— так продолжал Синбад, обращаясь к халифу, — плыло, как я уже говорил, то вверх, то вниз, пока мы наконец не достигли острова, имевшего в окружности много сотен миль и, однако, выстроенного посреди моря колонией крошечных существ, вроде гусениц»¹.

— Гм! — сказал царь.

«Оставив позади этот остров,— продолжал Синбад (ибо Шехерезада не обратила внимания на неучливое замечание супруга),— оставив позади этот остров, мы прибыли к другому, где деревья были из массивного камня, столь

¹ Коралловые полипы.— *Примеч. автора.*

твердого, что о него вдребезги разбивались самые острые топоры, которыми мы пытались их срубить»¹.

— Гм! — снова произнес царь, но Шехерезада, не обращая на него внимания, продолжала рассказ Синбада.

«Миновав и этот остров, мы достигли страны, где была пещера, уходящая на тридцать или сорок миль в глубь земли, а в ней — больше дворцов, и притом более обширных и великолепных, чем во всем Дамаске и Багдаде. С потолка этих дворцов свисали мириады драгоценностей, подобных алмазам, но размерами превышающих рост человека; а среди подземных улиц, образованных башнями, пирамидами и храмами, текли огромные реки, черные, как черное дерево, где обитали безглазые рыбы»².

— Гм! — сказал царь.

¹ Одним из величайших природных чудес Техаса является окаменевший лес у истоков реки Пасиньо. Он состоит из нескольких сот стоящих стоймя деревьев, обратившихся в камень. Другие деревья, продолжающие расти, окаменели частично. Вот поразительный факт, который должен заставить естествоиспытателей изменить существующую теорию окаменения. — *Кеннеди*.

Это сообщение, вначале встреченное недоверчиво, было впоследствии подтверждено открытием совершенно окаменевшего леса в верховьях реки Шайенн или Шьенн, текущей с Черных Холмов в Скалистых горах.

Едва ли существует на земле более удивительное зрелище как для геолога, так и с точки зрения живописности, чем каменный лес вблизи Каира. Миновав гробницы калифов, сразу же за городскими воротами, путешественник направляется к югу, почти под прямым углом к дороге, идущей через пустыню в Суэц, и, проделав несколько миль по бесплодной низменности, покрытой песком, галькой и морскими ракушками, влажными, точно их оставил вчерашний прилив, пересекает гряду низких песчаных холмов, которая некоторое время тянулась вдоль его пути. Предстающее перед ним зрелище необыкновенно странно и уныло. На много миль вокруг простирается поваленный мертвый лес — бесчисленные обломки деревьев, ставших камнем и звенящих под копытами коня, как чугун. Дерево приобрело темно-бурый цвет, но полностью сохранило свою форму; обломки имеют в длину от одного до пятнадцати футов, а в толщину — от полфута до трех; они лежат так тесно, что египетский ослик едва пробирается между ними, а выглядят так естественно, что в Шотландии или Ирландии местность могла бы сойти за огромное осушенное болото, где извлеченные наружу стволы гниют под солнцем. Корни и сучья часто вполне сохранились, а иногда можно различить даже отверстия, проточенные под корой червями. Сохранились тончайшие волокна заболони и строение сердцевины — их можно рассматривать при любом увеличении. И все это настолько окаменело, что способно царапать стекло и принимает какую угодно шлифовку. — *Азиатик мэгезин*. — *Примеч. автора*.

² Мамонтова пещера в Кентукки. — *Примеч. автора*.

«Затем мы попали в такую часть океана, где была высокая гора, по склонам которой струились потоки расплавленного металла, иные — двенадцати миль в ширину и шестидесяти миль в длину¹, а из бездонного отверстия на ее вершине вылетало столько пепла, что он совершенно затмил солнце и вокруг стало темнее, чем в самую темную полночь, так что даже на расстоянии полутораста миль от горы нельзя было различить самых светлых предметов, как бы близко ни подносить их к глазам»².

— Гм! — сказал царь.

«Отплыв от этих берегов, чудовище продолжало свой путь, пока мы не прибыли в страну, где все было словно наоборот — ибо мы увидели там большое озеро, на дне которого, более чем в ста футах от поверхности, зеленел роскошный лес»³.

— Хо! — сказал царь.

«Еще несколько сот миль пути, и мы очутились в таком климате, где в плотном воздухе держались железо и сталь, как у нас — пух»⁴.

— Враки! — сказал царь.

«Плывя дальше в том же направлении, мы достигли прекраснейшей страны в целом свете. Там протекала красивая река длиною в несколько тысяч миль. Эта река была необыкновенно глубока и более прозрачна, чем янтарь. В ширину она имела от трех до шести миль, а на берегах, подымавшихся отвесно на высоту тысячи двухсот футов,

¹ В Исландии, в 1783 году.— *Примеч. автора.*

² «В 1766 году, при извержении вулкана Гекла, подобные тучи настолько затемнили небо над Глаумбой, находящейся более чем в пятидесяти лье от вулкана, что жителям приходилось пробираться ощупью. В 1794 году, во время извержения Везувия в Казерте, в четырех лье от него, можно было ходить только с факелами. Первого мая 1812 года туча вулканического пепла и песка, извергнутая вулканом на острове Св. Винченца, застлала весь остров Барбадос, и там настала такая тьма, что в полдень под открытым небом нельзя было различить ближайšie деревья и другие предметы и даже белый платок на расстоянии шести дюймов от глаз». — *М е р р е й. С. 215, Pbil. edit.* — *Примеч. автора.*

³ «В 1790 году, во время землетрясения в Каракасе, гранитная подпочва осела и образовала озеро диаметром в восемьсот ярдов, а глубиной от восьмидесяти до ста футов. На этом месте находилась часть леса Аринао, и деревья в течение нескольких месяцев оставались зелеными под водой». — *М е р р е й. С. 221.* — *Примеч. автора.*

⁴ Самая твердая сталь, какая была когда-либо изготовлена, с помощью паяльной трубки может быть превращена в неосязаемую пыль, способную легко держаться в атмосферном воздухе.— *Примеч. автора.*

росли вечноцветущие деревья и неувядаемые благоуханные цветы, превращавшие всю местность в сплошной роскошный сад; но эта цветущая страна звалась царством Ужаса и вступить в нее значило неминуемо погибнуть»¹.

— Гм! — сказал царь.

«Мы поспешили покинуть этот край и спустя несколько дней прибыли в другой, где с изумлением увидели мириады чудовищ, имевших на голове рога, острые, как косы. Эти отвратительные существа роют в земле обширные логова в форме воронок и выкладывают их края камнями, размещенными один над другим так, что обрушиваются, едва лишь на них наступит какое-нибудь другое животное, и оно попадает в логово чудовища, которое высасывает из него кровь, а труп с пренебрежением отбрасывает на огромное расстояние от этих пещер смерти»².

— Фу-ты! — сказал царь.

«Продолжая наш путь, мы повидали край, изобилующий растениями, которые растут не на земле, а в воздухе³. Есть и такие, что растут на других растениях⁴ или произрастают на теле живых существ⁵ или ярко светятся⁶;

¹ Область Нигера. См. «Колонизация миссии» Симмондса. — *Примеч. автора.*

² Murgelcon, или муравьиный лев. Слово «чудовище» одинаково применимо как к большим аномалиям, так и к малым, а эпитет «обширный» является относительным. Нора муравьиного льва обширна по сравнению с норкой обыкновенного рыжего муравья. А пещерка — это ведь тоже «камень». — *Примеч. автора.*

³ Epidendron, Flos Aeris из семейства Orchideae растёт, прикрепившись только поверхностью корней к дереву или другому предмету, и не извлекает из него питательных веществ — питание ему доставляет исключительно воздух. — *Примеч. автора.*

⁴ Паразиты вроде удивительного *Pafflesia Arnoldi* — *Примеч. автора.*

⁵ Шоу доказывает существование особой категории растений, растущих на теле животных, — Plantae Epizoae. К ним относятся Fungi и Algae. Мистер Дж. Б. Вильямс, из Салема, штат Массачусетс, подарил «Национальному Институту» новозеландское насекомое, приложив следующее описание: «Notte», несомненно представляющее собой гусеницу или червя, находят у подножия дерева Rata, а из головы его прорастает росток. Это необыкновенное насекомое вползает на деревья Rata и Puriri, проникает в дерево сверху и проедает его ствол, пока не доберется до корня; вылезши оттуда, оно умирает или погружается в спячку, а из его головы начинает расти росток; тело насекомого сохраняется полностью и становится тверже, чем оно было при жизни. Из этого насекомого туземцы готовят краску для татуировки». — *Примеч. автора.*

⁶ В шахтах и в естественных пещерах находят род тайнобрачного fungus (грибкового), испускающего сильное свечение. — *Примеч. автора.*

есть такие, которые способны передвигаться куда захотят¹; а что еще удивительнее, мы обнаружили цветы, которые живут, дышат, произвольно двигают своими членами и вдобавок обладают отвратительной человеческой склонностью поработать другие существа и заключать их в мрачные одиночные темницы, пока те не выполнят заданную работу².

— Пхе! — сказал царь.

«Покинув эту страну, мы вскорости достигли другой, где пчелы и птицы являются столь гениальными и учеными математиками, что ежедневно преподают уроки геометрии самым ученым людям. Когда тамошний царь предложил награду за решение двух весьма трудных задач, они также были решены — одна пчелами, а другая птицами; но, поскольку царь держал их решение в тайне, математики лишь после многолетних трудов и исследований, составивших бесчисленное множество толстых томов, пришли наконец к тем же решениям, какие были немедленно даны пчелами и птицами»³.

¹ Орхидея, скабиоза и валлисперия.— *Примеч. автора.*

² «Трубчатый венчик этого цветка (*Aristolochia Clematitis*), оканчивающийся сверху язычком, внизу расширяется в виде шарика. Трубчатая часть усена внутри жесткими волосками, направленными книзу. В шарообразном расширении находится пестик, состоящий только из завязи и рыльца, вместе с окружающими тычинками. Однако, поскольку тычинки короче завязи, пыльца с них не может попасть на рыльце, ибо цветок до опыления стоит вертикально. Таким образом, без посторонней помощи пыльца попадала бы на дно цветка. В этом случае Природа предусмотрела помощь в виде *Tipula Pennicornis*, маленького насекомого, которое пропикает в трубчатый венчик в поисках меда, спускается на дно и копошится там, пока не покроется пылью; не находя оттуда выхода вследствие расположения волосков, которые направлены книзу и сходятся подобно проволочкам мышеловки, насекомое мечется туда и сюда и тычется во все уголки, не раз проползая и по рыльцу, на котором оставляет достаточно пыльцы для опыления; а когда цветок клонится книзу, волоски прижимаются к стенкам венчика и позволяют насекомому легко выбраться наружу». — *Продобный П. Кейт. «Система физиологической ботаники».*— *Примеч. автора.*

³ Пчелы — с тех пор как существуют — строят свои ячейки с такими именно стенками, в таком именно количестве и под таким именно наклоном, которые, как было доказано (путем весьма сложных математических выкладок), дают им наибольший простор, совместимый с максимальной прочностью их сооружений.

В конце прошлого столетия среди математиков возник замысел «определить наилучшую форму для крыльев ветряной мельницы, при любых возможных расстояниях от вращающихся лопастей, а также от центров вращения». Проблема эта крайне сложна, ибо требует нахождения наилучшего положения при бесконечном числе расстояний и бесконечном числе точек. Известнейшие математики много раз пробовали ее решить, а когда решение было найдено, люди обнаружили, что его можно найти в устройстве птичьих крыльев со времен первой птицы, поднявшейся в воздух.— *Примеч. автора.*

— О, Бог ты мой! — сказал царь.

«Едва скрылась из виду эта страна, как мы оказались вблизи другой, где с берега над нашими головами полетела стая птиц шириною в милю, а длиною в двести сорок миль; так что, хотя они летели со скоростью мили в минуту, потребовалось не менее четырех часов, чтобы над нами пролетела вся стая, в которой были миллионы миллионов птиц»¹.

— Черт-те что! — сказал царь.

«Не успели мы избавиться от этих птиц, которые доставили нам немало хлопот, как были напуганы появлением птицы иного рода, несравненно более крупной, чем даже птица Рух, встречавшаяся мне во время прежних путешествий; ибо она была больше самого большого из куполов над твоим сералем, о великодушнейший из калифов. У этой страшной птицы не было видно головы, а только одно брюхо, удивительно толстое и круглое, из чего-то мягкого, гладкого, блестящего, в разноцветную полосу. Чудовищная птицей уносила в когтях в свое заоблачное гнездо целый дом, с которого она сорвала крышу и внутри которого мы явственно различили людей, очевидно, в отчаянии ожидавших своей страшной участи. Мы кричали что было мочи, надеясь напугать птицу и заставить ее выпустить добычу, но она только запыхтела и зафыркала, точно разозлилась, и уронила нам на голову мешок, оказавшийся полным песку».

— Чепуха! — сказал царь.

«Тотчас же после этого приключения мы достигли материка, который, несмотря на свою огромную протяженность и плотность, целиком покоился на спине небесно-голубой коровы, имевшей не менее четырехсот рогов»².

— Вот этому я верю, — сказал царь, — ибо читал нечто подобное в книге.

¹ Он наблюдал стаю голубей, пролетающую между Франкфортом и территорией Индианы, шириною не менее мили; перелет продолжался четыре часа, а это, при скорости одна миля в минуту, дает расстояние в 240 миль; таким образом, считая по три голубя на квадратный ярд, в стае было 2 230 272 000 голубей.— *Лейтенант Ф. Холл.* «Путешествия по Канаде и Соединенным Штатам».— *Примеч. автора.*

² «Земля покоится на корове голубого цвета, у которой четыреста рогов».— *Коран в переводе Сейла.* — *Примеч. автора.*

«Мы прошли под этим материком (проплыв между ног коровы) и спустя несколько часов оказались в стране поистине удивительной, которая, по словам человеко-животного, была его родиной, населенной такими же, как он, созданиями. Это очень возвысило человеко-животное в моих глазах; и я даже устыдился презрительной фамильярности, с какою до тех пор с ним обращался, ибо обнаружил, что человеко-животные являются нацией могущественных волшебников; в мозгу у них водятся черви¹, которые, извиваясь там, несомненно, возбуждают усиленную работу мышления».

— Вздор! — сказал царь.

«Эти волшебники приручили несколько весьма странных пород животных, например, лошадь с железными костями и кипящей водой вместо крови. Вместо овса она обычно питается черными камнями; но, несмотря на столь твердую пищу, обладает такой силой и резвостью, что может везти тяжести, превосходящие весом самый большой из здешних храмов, и притом со скоростью, какой не достигает в полете большинство птиц»².

— Чуть! — сказал царь.

«Видел я также у этого народа курицу без перьев, но ростом больше верблюда; вместо мяса и костей у нее железо и кирпич; кровь ее, как и у лошади (которой она приходится сродни), состоит из кипящей воды, и, подобно ей, она питается одними лишь деревяшками или же черными камнями. Эта курица часто приносит в день по сотне цыплят, которые потом еще несколько недель остаются в утробе матери»³.

— Бредни! — сказал царь.

«Один из этих могучих чародеев сотворил человека из меди, дерева и кожи, наделив его такой мудростью, что он может обыграть в шахматы кого угодно на свете, кроме великого калифа Гаруна-аль-Рашида⁴. Другой ча-

¹ *Entozoa*, или кишечных червей, нередко обнаруживают в мышцах и в мозгу человека.— *См. Уайт. «Физиология». С. 143.— Примеч. автора.*

² На Западной железной дороге, между Лондоном и Эксетером, достигнута скорость в 71 милю в час. Состав весом в 90 тонн примчался от вокзала Паддингтон в Дидкот (53 мили) за 51 минуту.— *Примеч. автора.*

³ *Eccaleobation* [Инкубатор].— *Примеч. автора.*

⁴ Автоматический игрок в шахматы Мельцеля.— *Примеч. автора.*

родей (из таких же материалов) создал существо, посрамившее даже своего гениального создателя; ибо разум его столь могуч, что за секунду оно производит вычисления, требующие труда пятидесяти тысяч человек в течение целого года¹. А еще более искусный волшебник создал нечто, не похожее ни на человека, ни на животное, но обладающее мозгом из свинца и какого-то черного вещества вроде дегтя, а также пальцами, действующими с невообразимой быстротой и ловкостью, так что оно без труда могло бы сделать за час целых двадцать тысяч списков Корана, и притом с такой безошибочной точностью, что ни один из них не отличался бы от другого даже на волосок. Это создание наделено таким могуществом, что единственным дыханием возводит и свергает величайшие империи; но мощь его используется как во благо, так и во зло».

— Нелепость! — сказал царь.

«Среди этого народа чародеев был один, в чьих жилах текла кровь саламандр; ибо он мог как ни в чем не бывало сидеть и покуривать свою трубку в раскаленной печи, пока там готовился его обед². Другой обладал способностью превращать обыкновенные металлы в золото, даже не глядя на них³. Третий имел столь тонкое осязание, что мог изготавливать проволоку, невидимую глазу⁴. Четвертый обладал такой быстротой соображения, что сосчитать все отдельные движения упругого тела, колеблющегося со скоростью девятисот миллионов раз в секунду»⁵.

— Ерунда! — сказал царь.

«Был и такой чародей, что с помощью флюида, которого еще никто не видел, мог по своей воле заставить трупы своих друзей размахивать руками, дрыгать ногами, драться и даже вставать и плясать⁶. Другой настоль-

¹ Счетная машина Бэббиджа.— *Примеч. автора.*

² Шабер, а после него сотня других.— *Примеч. автора.*

³ Электротигиция.— *Примеч. автора.*

⁴ Волластон изготовил для телескопа платиновую проволоку толщиной в одну восемнадцатитысячную дюйма. Увидеть ее можно было только под микроскопом.

⁵ Ньютон доказал, что под действием фиолетового луча спектра retina глаза колеблется 900 000 000 раз в секунду.— *Примеч. автора.*

⁶ Вольтов столб.— *Примеч. автора.*

ко развил свой голос, что он был слышен из края в край земли¹. У третьего была столь длинная рука, что, находясь в Дамаске, он мог написать письмо в Багдаде и вообще на любом расстоянии². Четвертый повелевал молнией и мог призвать ее с небес, а призвав, забавлялся ею, точно игрушкой. Пятый брал два громких звука и творил из них тишину. Шестой из двух ярких лучей света извлекал густую тьму³.

Еще один изготовлял лед в раскаленной печи⁴. Еще один приказывал солнцу рисовать свой портрет, и солнце повиновалось⁵. Еще один брал это светило, а также луну и планету, взвешивал их с большой точностью, а затем исследовал их недра и определял плотность вещества, из которого они состоят. Впрочем, весь тамошний народ настолько искусен в волшебстве, что не только малые дети, но даже обычные кошки и собаки без труда видят предметы, либо вовсе не существующие, либо такие, которые

¹ Электрический телеграф передает сообщение моментально, во всяком случае, для любого земного расстояния.— *Примеч. автора.*

² Электротелеграфный печатающий аппарат.— *Примеч. автора.*

³ Обычные в естественных науках опыты. Если два красных луча из двух источников света пропустить через темную камеру так, чтобы они падали на белую поверхность, а разница в их длине была 0,0000258 дюйма, их яркость удвоится. Так же будет, если разница в длине равна любому кратному этой дроби, представляющему собой целое число. Если эти кратные — $2\frac{1}{4}$, $3\frac{1}{4}$ и т. п., получаем яркость одного луча; а кратные $2\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$ и т. п. дают полную темноту. Для фиолетовых лучей мы имеем подобное явление при разнице длины в 0,000157 дюйма; те же результаты дают и все другие лучи спектра, причем разница в их длине равномерно возрастает от фиолетовых к красным.

Аналогичные опыты со звуками дают подобный же результат.— *Примеч. автора.*

⁴ Поместите платиновый тигель над спиртовкой и раскалите его докрасна; влейте туда серной кислоты, которая обладает чрезвычайной летучестью при обычных температурах, но в раскаленном тигле будет стойкой, и ни одна капля не испарится — ибо она окружена собственной атмосферой и не соприкасается со стенками сосуда. Если теперь добавить туда несколько капель воды, кислота немедленно войдет в соприкосновение с раскаленными стенками тигля и превратится в пары серной кислоты, притом так быстро, что одновременно уйдет и тепло воды, и на дно сосуда выпадет кусочек льда; если поторопиться и не дать ему растаять, можно извлечь из раскаленного докрасна сосуда кусок льда.— *Примеч. автора.*

⁵ Дагерротип.— *Примеч. автора.*

исчезли с лица земли за двадцать тысяч лет до появления самого этого народа»¹.

— Невероятно! — сказал царь.

«Жены и дочери этих могущественных чародеев,— продолжала Шехерезада, ничуть не смущаясь многократными и весьма невежливыми замечаниями супруга,— жены и дочери этих великих магов обладают всеми талантами и прелестями и были бы совершенством, если бы не некоторые роковые заблуждения, от которых пока еще бессильно избавиться их даже чудодейственное могущество их мужей и отцов. Заблуждения эти принимают то один вид, то другой, но то, о котором я говорю, постигло их в виде турнюра».

— Чего? — переспросил царь.

«Турнюра,— сказала Шехерезада.— Один из злобных джиннов, вечно готовых творить зло, внушил этим изысканным дамам, будто то, что мы зовем телесной красотой, целиком помещается в некоей части тела, расположенной пониже спины. Идеал красоты, как они считают, прямо зависит от величины этой выпуклости; так как они вообразили это уже давно, а подушки в тех краях дешевы, там не помнят времен, когда можно было отличить женщину от дромадера...»

— Довольно! — сказал царь.— Я не желаю больше слушать и не стану. От твоего вранья у меня и так уже разболелась голова. Да и утро, как я вижу, уже наступит. Сколько бишь времени мы женаты? У меня опять про-

¹ Хотя скорость света составляет 200 000 миль в секунду, расстояние до ближайшей, насколько мы знаем, из неподвижных звезд (Сириуса) так бесконечно велико, что его лучам требуется *не менее* трех лет, чтобы достичь Земли. Для более отдаленных звезд, по скромному подсчету, пужно 20 и даже 1000 лет. Таким образом, если они исчезли 20 или 1000 лет назад, они *сейчас* еще видны нам по свету, *испускавшемуся* их поверхностью 20 или 1000 лет назад. Что многие из тех звезд, которые мы ежедневно видим, уже угасли, возможно и даже более того — вероятно.

[Гершель-старший утверждает, что свет самой отдаленной туманности, видимой в его большой телескоп, доходит до Земли за 3 000 000 лет. В таком случае для некоторых звезд, ставших видимыми благодаря инструменту лорда Росса, это должно быть по меньшей мере 20 000 000 лет (Примечание Грисволда.) — *Примеч. автора.*

снулась совесть. Дромадер! Ты, кажется, считаешь меня ослом. Короче говоря, пора тебя удавить.

Эти слова, как я узнал из «Таклинетли», удивили и огорчили Шехерезаду; но, зная царя за человека добросовестного и неспособного нарушить слово, она покори-лась своей участи, не сопротивляясь. Правда, пока на ней затягивали петлю, она обрела немалое утешение в мыс-ли, что столько еще осталось нерассказанным и что ее раздражительный супруг наказал себя, лишившись воз-можности услышать еще много удивительного.

КОММЕНТАРИИ

ТИШИНА

Притча

- С. 11. *Алкман* (VII в. до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик. Приводимый в эпиграфе отрывок (опубликован впервые в 1773 г.), рисующий картину ночного сна природы, послужил основой для известных стихотворений И.-В. Гете («*Über allen Gipfeln ist Ruh...*», 1780) и М. Ю. Лермонтова «*Горные вершины*» (1840). В первой публикации рассказа вместо эпиграфа из Алкмана были две строки из поэмы По «*Аль-Аарааф*»: «*Наш мир — мир слов, и мы зовем «молчаньем» — Спокойствие, гордясь простым названием*» (пер. В. Брюсова).
Заира — старое португальское название реки Конго.
- С. 12. *Бегемот* — имеется в виду мифическое библейское животное (Книга Иова, 40, 10 — 19).
- С. 13. *Додона* — древнегреческий город, где находился оракул Зевса, ответы которого слышались сквозь шум листвы священного дуба.
- С. 14. *...смотрела ему в лицо.* — Согласно народному поверью, взор рыси столь пронзителен, что никто не может его выдержать.

ЛИГЕЙЯ

- С. 15. *Гленвилл Джозеф* (1636 — 1680) — английский священник и философ, автор трактата «*Тщета догматики*» (1661). Источник цитаты не установлен.
- С. 16. *Аштофет* — богиня финикийского города Сидона (II тысячелетие до н. э.), на месте которого ныне находится ливанский город Сайда. В древней Финикии поклонялись также богине плодородия — Ашторет (Астарты), которую почитали и в Египте. Астарты упоминается в стихотворении По «*Улялюм*» (1847).
...дочерей Делоса. — Согласно греческой мифологии на острове Делосе родилась и жила вместе с подругами богиня Артемида, покровительница женского целомудрия.
«Всякая утонченная красота... всегда имеет в своих пропорциях какую-то странность». — Слова Фрэнсиса Бэкона (1561 — 1626), получившего в 1618 г. титул барона Верулама, в его эссе «*О красоте*» (1625). У Бэкона не «*утонченная красота*», а «*совершенная красота*».

- С. 17. *Клеомен* — это имя значится на статуе Венеры Медицейской. Аполлон, покровитель искусств, назван здесь как вдохновитель создателя знаменитой скульптуры.
Нурджахад — имеется в виду «восточный» роман «История Нурджахада» (1767) английской писательницы Фрэнсис Шеридан (1724 - 1786), матери известного драматурга.
- С. 18. ...*колодец Демокрита*...— имеется в виду приписываемое Демокриту (ок. 460 — 370 до н. э.) высказывание «истина обитает на дне колодца». Встречается также у Рабле («Гаргантюа и Пантагрюэль», кн. II, гл. 18) и у Байрона («Дон Жуан», II, 84).
- С. 19. ...*большой звездой Леры*... — Имеется в виду звезда Вега в созвездии Леры.
- С. 20. ...*тайны трансцендентной философии*...— Трансцендентализм — в Америке так называлось движение философского идеализма, возникшее в 1836 г. Группа американских писателей-трансценденталистов (Р. У. Эмерсон, Г. Д. Торо, Б. Олкотт, М. Фуллер и др.) проповедовала демократические взгляды и выступала в 40-е годы XIX века с романтической критикой капитализма и отрицанием буржуазного прогресса. Э. По считал философию трансценденталистов наивной и нередко высмеивал их.
Сатурнов свинец — в алхимии и старой химии свинец назывался сатурном.
Азриил — в мусульманской мифологии ангел смерти.
- С. 24. *Полудридический стиль* — Д р у и д ы — жрецы у древних кельтов. *Луксор* — город в Египте на правом берегу Нила, на месте древних Фив, где находятся руины знаменитого храма бога Амона (XV в. до н. э.).

СВИДАНИЕ

- С. 32. *Кинг Генри* (1592 — 1669) — английский епископ, автор ряда поэтических произведений, в том числе «Элегии на смерть возлюбленной жены» (1657), заключительную часть которой приводит По. *Элизиум* — в античной мифологии место, где обитают души умерших. Поэтическое описание Элизиума, или Елисейских Полей дано в «Одиссее».
Палладио Андреа (1508 — 1580) — итальянский архитектор. В Венеции им построен ряд церквей.
Мост Вздохов — находится в Венеции между Дворцом дождей и государственной тюрьмой. Построен в 1597 г. Через него проходили осужденные на заключение или на казнь, откуда и возникло его название.
- С. 33. *Пьяцца* — имеется в виду площадь Святого Марка в Венеции. Часы на часовой башне на Пьяцце представляют собой двух бронзовых мавров, выбивающих на колоколе количество часов. *Пьяцетта* — примыкающая к Пьяцце со стороны Большого канала маленькая площадь перед Дворцом дождей.
Кампанила — венецианская кампанила, или колокольня Св. Марка на Пьяцце. Построена в X — XII вв.

- С. 34. *Ниобея* — в греческой мифологии жена фиванского царя Амфиона, мать двенадцати детей. Она отказалась принести жертву богине Латоне, матери Аполлона и Артемиды, говоря, что у Латоны всего двое детей. В наказание за это Ниобея лишилась всех детей и была превращена богами в камень.
...фигура юноши, чье имя гремело тогда по всей Европе. — Существует мнение, что в этом рассказе По создал шутливую пародию на Байрона, графиню Терезу Гвиччиоли и ее старого мужа, а в образе рассказчика изобразил друга Байрона английского поэта Томаса Мура, посетившего Байрона в Венеции.
- С. 35. *Плиний-старший* (23 — 79) — римский писатель и ученый, автор «Естественной истории в 37 книгах».
- С. 36. *Коммод* (161-192) — римский император в 180 — 192 гг.
...над водами Большого канала, неподалеку от Риалято. — В этом месте Венеции жил в 1816-1819 гг. Байрон. Риалято — мост через Большой канал Венеции, построен в 1588 — 1591 гг.
- С. 37. *Мор Томас* (1478 — 1535) — английский писатель-гуманист, автор книги «Утопия» (1516). По преданию, поднимаясь на помост перед казнью, он попросил сопровождавшего его офицера: «Помогите мне взойти, вниз я уж как-нибудь сам спущусь».
Текстор Равизий (ок. 1480 — 1524) — французский писатель-гуманист, автор книги «Абсурдности» (1519).
- С. 38. *Чимбуэ Дживованни* (1240 — 1302) — итальянский художник.
Гвидо Рени (1575 — 1642) — итальянский художник.
- С. 39. *Антиной* (ум. 130) — юноша, отличавшийся необычайной красотой, любимец римского императора Адриана (117 — 138). Изображение Антиноя часто встречается среди произведений античного искусства.
...кажется, Сократ — заметил... — очевидно, имеется в виду высказывание Аристотеля, что каждая глыба мрамора заключает в себе статую, которую можно увидеть, если снять лишние части. На это суждение Аристотеля ссылается также А. Поп в «Дунсиаде» (IV, 269).
И высочайший гений не прибавит // Единой мысли к тем, что мрамор сам // Таит в избытке. — Начальные строки сонета 60 Микеланджело, посвященного Виттории Колонне (1490 — 1547), вдове известного полководца маркиза Пескара.
- С. 40. *Полицьяно Анджеоло* (настоящая фамилия — Амброджини, 1454 - 1494) — итальянский гуманист и поэт, в стихах которого нашли отражение аристократические тенденции в культуре Возрождения. «Сказание об Орфее» написано в 1471 г., поставлено в 1480 г., издано в 1491 г.
- С. 41. *Дрожат и плачут ивы!* — стихотворение Э.По.
- С. 49. *Чепмен Джордж* (1559 — 1634) — английский драматург. В трагедии «Отмщение Бюсси д'Амбуа» (1607) обличаются разврат, интриги и преступления, царившие при дворе французского короля Генриха III (1551 — 1589).
Иоганнисбергер — знаменитый сорт немецкого вина, получивший название от деревни на правом берегу Рейна.

РАЗГОВОР ЭЙРОС И ХАРМИОНЫ

- С. 44. *Эйрос и Хармиона* — в пьесе По «Полициан» эти имена носят служанки египетской царицы Клеопатры. (Ср.: Ирада и Хармиана в драме Шекспира «Антоний и Клеопатра» и в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха).
Эврипид (ок. 480 — 406 до н. э.) — эпиграф взят из его трагедии «Андромаха», строка 257.
«Шум от множества вод» — Библия. Откровение Иоанна Богослова, XIV, 2.
- С. 46. *...о новой комете...* — в этом рассказе, по-видимому, отразились наблюдения По над тем, как воспринимали в Балтиморе и Ричмонде метеоритный дождь исключительной силы 13 ноября 1833 г. и комету Галлея, наблюдавшуюся в 1835 г.
- С. 48. *Инкуб* — название злого духа, который, согласно средневековым верованиям, вступал в любовную связь с женщинами во время их сна и посещению которого приписывалось рождение ведьм и колдунов.
- С. 49. *Так завершилось все.* — За несколько месяцев до публикации этого рассказа, 4 июня 1839 г., в газете «Филадельфия паблик леджер», в которой позднее печатался По, появилось аналогичное предсказание о конце мира, который должен был произойти в 1843 году.

ОСТРОВ ФЕИ

- С. 50. *Сервий Гонорат Маур* (IV — V вв.) — римский грамматик и комментатор Вергилия.
Мармонтель Жан Франсуа (1723 — 1799) — французский писатель. Его «Нравоучительные сказки» (1761) отличаются чувствительностью в сочетании с фривольностью.
- С. 52. *...«глибы долины»...* — Библия. Книга Иова, XXI, 33.
Помпоний Мела (I в.) — первый римский географ. Его книга «О положении мира» дает общий очерк всего известного тогда света и является ранним произведением по географии древнего мира.
Циммерман Иоган Георг (1728 — 1795) — швейцарский философ и врач. Имеется в виду его книга «Об одиночестве» (1756), переведенная на многие европейские языки.
- С. 53. *Асфодель* — род травянистых растений семейства лилейных с крупными цветами. В античности считался цветком смерти.
- С. 54. *Коммир Жан* (1625 — 1702) — французский иезуит, писавший стихи на латинском языке («Собрание латинских стихов», 1678).

МЕСМЕРИЧЕСКОЕ ОТКРОВЕНИЕ

- С. 56. *Месмеризм* — названо по имени австрийского врача Фридриха Антона Месмера (1734 — 1815), получившего сенсационную известность своими опытами лечения болезней при помощи «животного магнетизма», в основе которого было гипнотическое внушение.
- С. 57. *Кузель Виктор* (1792 — 1867) — французский философ-идеалист, эклектик, автор восьмитомного «Курса истории философии» (1815 —

1829). Утверждал, что любая философская система может быть создана из «истин», содержащихся в различных учениях.

Браунсон Орест (1803 — 1876) — американский писатель и философ, участник кружка трансценденталистов, автор автобиографической книги «Чарлз Элвуд, или Обращенный вероотступник» (1840). Один из разделов статьи По «Автографы» (1841) посвящен Браунсону.

- С. 58. *Тринкуло* — шут в «Буре» В. Шекспира (III, 2). Говоря о Тринкуло, По допускает неточность, ибо у Шекспира речь идет о королевстве Стефана.

БЕРЕНИКА

- С. 69. *Ибн-Зайат* (XIV.) — арабский поэт.

- С. 71. *Аригейм* — город в Голландии, на правом берегу Рейна, прославившийся живописностью окружающего ландшафта.

- С. 73. *Курион Целий Секундус* (1503 — 1569) — итальянский гуманист. Его книга «О величии блаженного царства Божиия» издана в Базеле в 1554 г.

Августин Аврелий, прозванный «блаженным» (354 — 430) — христианский богослов и писатель, оказавший влияние на всю догматику католицизма. Его сочинение «О граде Божием» написано около 426 г.

Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — ок. 230) — христианский писатель-богослов. Цитата взята из его книги «О теле Христа», часть II, гл. 5.

Птолемей (I в.) — александрийский математик, астроном и географ.

- С. 75. *Гальциона*, или *Альциона* — в греческой мифологии дочь бога ветров Эола. Была превращена в птицу зимородка, которая, согласно легенде, выводила птенцов в гнезде, плавающем по морю в период зимнего солнцестояния, когда море две недели совершенно спокойно.

Симонид Кеосский (556 — ок. 469 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик.

- С. 76. *Салле Мари* (1707 — 1756) — французская балерина, прославившаяся в 20 — 30-е годы XVIII века в театрах Лондона и Парижа.

ТЕНЬ. Парабола

- С. 79. *Если я пойду и долиною тени...* — Библия. Псалом Давида, XXII, 4. ...*распростерлись черные крыла Чумы.* — В этом рассказе, так же как и в «Король Чума», получили отражение впечатления писателя от эпидемии холеры в Балтиморе летом 1835 г.

Птолемиада — древнее название города Акка в Палестине.

- С. 80. ...*песни теосца* — то есть Анакреона. Древнегреческий поэт Анакреон (ок.570 — 478 до н.э.), воспевавший любовь и вино, родился в городе Теосе на побережье Малой Азии.

ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ

- С. 82. *Сердце его — как лютня, // Чуть тронешь — и отзовется —* заключительные строки песни Пьера-Жана Беранже (1780 — 1857) «Отказ» (1831).
- С. 89. *...последнего вальса Вебера.* — Создатель немецкой романтической оперы Карл Мария Вебер (1786 — 1826) не писал такого произведения. Имеются в виду «Блестящие танцы» (1824) немецкого композитора Карла Готлиба Рейзигера (1798 — 1859), один из которых (N 5) известен под названием «Последний вальс Вебера», или «Последняя дума Вебера».
- С. 90. Фюзели (Фюзели) Иоганн Генрих (1741 — 1825) — швейцарский художник, работавший в Англии в 1779 — 1825 гг., где он получил известность под переделанной фамилией Фюзели. Представитель романтического маньеризма, иллюстрировал Шекспира и Мильтона.
- С. 91. «Обитель привидений». — В одном из своих писем Э.По отметил, что в образе заколдованного замка он изобразил «разум, преследуемый призраками».
- С. 92. *Уотсон Ричард* (1737 — 1816) — английский химик, автор пятитомных «Очерков по химии» (1781 — 1787). Он же был епископом Ландаффским, которого По принял, очевидно, за другое лицо. *Пэрсивел Томас* (1740 — 1804) — английский врач, автор «Медицинской этики» (1803). Его работа о чувствительности растительных организмов была опубликована в 1785 г. в «Мемуарах Манчестерского литературного и философского общества». *Сталанцани Лидзаро* (1729 — 1799) — итальянский ученый и путешественник. Идеи о чувствительности растений развиты им в «Диссертации о природе животных и растений» (1780, английский перевод в 1784 г.).
- ...растения способны чувствовать...* — Мысль о том, что чувствительность свойственна всей природе, получила дальнейшее развитие в книге По «Эврика» (1848).
- С. 93. *Грессэ Жан Батист Луи* (1709 — 1777) — французский поэт-сатирик. За поэму «Вер-Вер» (1734), рассказывающую о похождениях попугая, воспитанного в женском монастыре, Грессэ был исключен из ордена иезуитов. Стихотворное послание «Монастырь» (1735) воспекает уединенную жизнь поэта. *Макиавелли Пикколо* (1469 — 1527) — итальянский писатель, историк и политический деятель. Новелла «Бельфагор-архидьявол» (опубл. 1549) повествует о посещении дьяволом земли. *Сведенборг Эммануил* (1688 — 1772) — шведский естествоиспытатель и теолог. Его мистический трактат «Небо и ад» издан в 1758 г. *Хольберг Людвиг* (1684 — 1754) — датский писатель, положивший начало новой датской литературе. Его сатирико-утопический роман «Подземное путешествие Николаса Климма» вышло в 1741 г. *Флид Роберт* (1574 — 1637) — английский врач, автор мистических и псевдонаучных трактатов по алхимии и хиромантии. Одна из его книг была переведена в 1659 г. с латинского на английский.

Д'Эндажинэ Жан (XVI в.) — французский хиромант, автор книги «Хиромантия» (1522).

Делашамбр Марен Кюро (1594 — 1669) — французский хиромант, автор книги «Принципы хиромантии» (1653).

Тик Людвиг (1773 — 1853) — немецкий писатель-романтик. Э. По имеет в виду его сказочный роман «Старая книга, или Путешествие в голубую даль» (1835).

Кампанелла Томмазо (1568 — 1639) — итальянский ученый и писатель. Его социальная утопия «Город Солнца» написана в тюрьме в 1602 г. (издана в 1623 г.).

Хиронн Эймерик де (ок. 1320 — 1399) — испанский инквизитор. Его «Руководство по инквизиции» (издано в 1503 г.) посвящено описанию способов изгнания нечистой силы и определению различных видов еретиков.

Мела Помпоний (I в.) — римский географ. В одном из его произведений рассказывается о полусказочных обитателях Африки.

...*странных и мрачных обрядов...* — как свидетельствуют американские исследователи, эта редкая книга содержит описание обычной католической заупокойной службы в церкви г. Майнца (Германия), мало чем отличающейся от современной. По, очевидно, не видел этой книги и составил впечатление о ней из вторых рук.

- С. 97. «*Безумная печаль*» — существует предположение, что приводимые По отрывки принадлежат ему самому. Этелред — имя одного из древних королей Британии, жившего в конце X — начале XI века.

МОРЕЛЛА

- С. 101. *Пресбург* — университетский город в Словакии, ныне — Братислава.

...*мистические произведения, которые обычно считаются всего лишь жалкой накипью ранней немецкой литературы.* — Интерес По к немецкой литературе появляется в ряде его ранних рассказов. Здесь, возможно, имеются в виду сочинения Агриппы фон Неттесгейма (1486 — 1535), известного своей мистической книгой «Окультурная философия» (1531).

- С. 102. *...Гинном стал Ге-Енной* — Библейское наименование ада — геенна — происходит от названия долины Гинном близ Иерусалима («Долина плача»).

Буйный пантеизм Фихте... — имеется в виду этическая философия Фихте, согласно которой противоположность между Я и не-Я (природой) рассматривается как источник всякого познания и действия.

Пифагорейцы — имеется в виду мистическое учение пифагорейцев, древнегреческой философской школы, основателем которой был Пифагор (ок. 580 — 500 до н. э.)

...*как ее излагал Шеллинг...* — имеется в виду его учение о том, что природа и сознание, объект и субъект совпадают в своем духовном начале («философия тождества»).

...*Локк*,... справедливо определяет... — По имеет в виду его сочинение «Опыт о человеческом разуме» (1690).

- С. 103. ...с *вышины пали радуга*. — После этого абзаца в первоначальном тексте рассказа следовал католический гимн, который пела Морелла.
- С. 104. *Пестум* — город на юге Италии, знаменитый в древности своими цветами. «Дважды цветущие розы Пестума» упоминаются Вергилием («Георгики», IV, 118), Овидием («Метаморфозы», XV, 708), Марциалом (IV, 41, 10) и другими римскими поэтами.
...подобно *Лиагреону*... — см. прим. к с. 80.
- С. 106. *Цикута и кипарис* — Ц и к у т а — ядовитое травянистое растение; также яд, изготавливаемый из корней этого растения. К и п а р и с — эмблема печали и смерти.
...когда положил там вторую Мореллу. — В одном из рукописных вариантов рассказ оканчивался смертью первой Мореллы.

КОЛОДЕЦ И МАЯТНИК

- С. 114. *Якобинского клуба в Париже*. — Эпиграф взят из книги английского писателя Исаака Дизраэли (1766 — 1848) «Достопримечательности литературы» (1791 — 1793; 1823).
- С. 128. *Лисаль Литуан* (1775 — 1809) — французский генерал, участвовал в 1808 г. в завоевании Наполеоном Испании. Французские войска вошли в Толедо 6 мая 1808 г. В том же году Наполеон упразднил в Испании инквизицию, одним из центров которой был Толедо, но с падением Наполеона она была вновь введена и просуществовала до 1834 г.

ВИЛЬЯМ ВИЛЬСОН

- С. 129. *Чемберлен Вильям* (1619 — 1689) — английский писатель. Его «Фаронида» (1659) — героическая поэма в пяти книгах.
- С. 130. *Самые ранние мои школьные воспоминания связаны...* — Описание английской школы в этом рассказе сделано По на основании его собственных детских воспоминаний о жизни в пансионе в Стокньюингтоне (на северной окраине Лондона) в 1818 — 1820 гг., где он был записан под фамилией приемного отца Аллана.
- С. 133. *Бренсби* — По называет фамилию главы стокньюингтонской школы Джона Бренсби (1783 — 1847).
Карфагенские монеты — имеются в виду монеты города-государства Карфагена, выпускавшиеся в IV — II вв. до н. э. и отличавшиеся тщательной чеканкой.
- С. 135. *...девятнадцатого января 1813 года...* — По указывает дату собственного рождения (19 января 1809 г.). В журнальном варианте 1839 г. стояла дата 19 января 1811 г. (именно этот год назвал По годом своего рождения в «Автобиографии», написанной в 1839 г.). В сборнике рассказов «Гротески и арабески» (1840), куда был включен «Вильям Вильсон», значится уже 19 января 1809 г. Таким образом, эти изменения года рождения героя отражают либо

неуверенность. По относительно своего года рождения, либо сознательное желание изменить его.

- С. 143. *Ирод Аттик Тиберий Клавдий* (ок. 101 — 177) — знаменитый афинянин, прославившийся своим богатством и ораторским искусством. По преданию, нашел в одном из своих домов в Афинах богатейший клад.

Престон — По называет своего приятеля по Виргинскому университету Джона Престона. В изображении жизни героя в Итоне и Оксфорде сказались впечатления писателя от его пребывания в Виргинском университете в 1826 г.

- С. 148. *В Риме, во время карнавала...* — Римский карнавал, самый древний в Италии, празднуется в течение нескольких дней перед великим постом и сопровождается процессиями колесниц с аллегорическими фигурами, маскарадными перседеваниями и всевозможными шутками веселящейся толпы.

МЕТЦЕНГЕРШТЕЙН

- С. 151. «*При жизни был для тебя несчастьем; умирая, буду твоей смертью*» — начало латинского стихотворения Мартина Лютера (1483 — 1546).

Лабрюйер Жан (1645 — 1696) — французский писатель, сатирик-моралист. Цитата взята из его книги «Характеры, или Нравы нашего века» (1688), глава XI. О человеке, 99 («*Вся наша беда в том, что мы не умеем быть одни*»).

Мерсье Луи Себастьян (1740 — 1814) — французский писатель. В его утопическом романе «2440 год, сон, каких мало» (1770) нарисован руссоистский идеал общественного и государственного устройства будущего, во многом совпадающий с более поздними представлениями французского утопического социализма. В декабре 1844 г. По вновь возвращается к роману «2440 год» и пишет в «Демократик ревью», что книга Мерсье «будит мысль, заставляет о многом задуматься».

...«*нет ни одной другой системы...*» — слова из главы «Метампсихоз» в книге Исаака Дизраэли «Достопримечательности литературы». Метампсихоз — религиозно-мистическое учение о переходе души из одного организма, после его смерти, в другой организм.

Аллен Итен (1738 — 1789) — участник американской революции, глава отряда повстанцев, известного под именем «Ребята с Зеленой горы». Аллену принадлежит трактат «Разум — единственный оракул человека» (1789), в котором он развивает идеи деизма и перевоплощения.

- С. 153. *...Восемнадцатый год.* — В прижизненных изданиях этого рассказа везде «пятнадцатый год».

...*перейродил...* *Ирода...* — шекспировское выражение («Гамлет», III, 2), ставшее поговоркой. И р о д — царь Иудеи, излюбленный персонаж средневековых религиозных драм, наделявшийся чертами жестокости и кровожадности.

Калигула Гай (12 — 41) — римский император (37 — 41), сумасбродный и развратный деспот, возвел своего коня Резвого в звание

консула. Очевидно, По не случайно дает своему герою имя Фредерика, ибо английским Калигулой называли принца Уэльского Фредерика (1707 — 1751).

НИЗВЕРЖЕНИЕ В МАЛЬСТРЕМ

- С. 161. *Мальстрем* — водоворот у северо-западного побережья Норвегии. По использовал сведения из Британской энциклопедии, позднейшие издания которой ссылались уже на По при описании водоворотов.
...Демокритова колодца. — См. прим. к с. 18.
Гленвилл — см. прим. к с. 15. Цитата взята из книги Дж. Гленвилла «Эссе о некоторых важных вопросах философии и религии» (Лондон, 1676, с. 15).
- С. 162. *...в суровом краю Лофодена*. — Скалистые и безлесные Лофоденские (или Лофотенские) острова расположены у северо-западного побережья Норвегии.
...в описании нубийского географа. — Как поясняет По в своей поэме в прозе «Эврика», имеется в виду александрийский математик, астроном и географ Птолемей (I в.), автор «Географии» в восьми книгах (издана в 1533 г.), представляющей собой свод географических знаний древности. «Морем мрака» на древних картах обозначался Атлантический океан.
- С. 164. *Рамус Ионас* (1649 — 1718) — норвежский историк. Его описание водоворота заимствовано По из Британской энциклопедии.
- С. 166. *Вербное воскресенье* — по церковному календарю, за две недели перед великим постом.
Флегетон — в греческой мифологии огненная река, окружающая подземное царство.
Кирхер Афанасий (1601 — 1680) — немецкий археолог, согласно теории которого Земля представляет собой твердое тело с пустотами внутри, наполненными огнем, водой и воздухом. В его трактатах рядом с точными сведениями сообщаются басни без малейшего критического к ним отношения.
- С. 170. *Планшир* — деревянный или стальной брус по обводу корпуса корабля для придания жесткости и прочности, а также для укрепления такелажа.
Рым — металлическое кольцо, вбиваемое на судне для закрепления за него снастей.

РУКОПИСЬ, ПАЙДЕПНАЯ В БУТЫЛКЕ

- С. 179. *Кино Филипп* (1635 — 1688) — французский поэт и драматург. «Атис» (1676) — либретто написанной им оперы.
Пиррон (ок. 365 — 275 до н. э.) — древнегреческий философ, основатель античного скептицизма.
- С. 180. *Батавия* — голландское название города Джакарта в Индонезии. *Лаккадивские острова* — группа низменных островов в Аравийском море у западного побережья полуострова Индостан.
Фатом — английская мера длины, равная 1 м 83 см.

- С. 182. *Новая Голландия* — прежнее название Австралии, западное побережье которой было открыто и исследовано голландскими мореплавателями в течение XVII века.
- С. 189. *Баальбек* — развалины древнего города в Ливане, где находился храм бога солнца.
Тадмор — населенный пункт в центральной части Ливана, где находятся развалины Пальмиры, столицы одноименного государства, взятой и разрушенной римлянами в 273 г.
Персеполь — столица древней Персии. В 330 г. до н. э. Александр Македонский сжег значительную часть города, разграбив его сокровища; в III веке до н. э. был покинут жителями. Все три древних города — Баальбек, Тадмор и Персеполь — упоминаются в поэме По «Аль-Аараф».
- С. 190. ...*течение ведет нас прямо к Южному полюсу.* — По следует здесь за теорией американца Джона Симмса (1742 — 1814) об «отверстиях на полюсах».
Меркатор Гергард Кремер (1512 — 1594) — фламандский картограф и математик. Главная работа — сборник карт и описаний «Атлас» (1595).

ЛЮСЬ

(Утро на Виссахиконе)

- С. 213. ...*где мчится Рона // Лазурная, подобная стреле.* — Б а й р о н. «Паломничество Чайльд Гарольда», III, 71.
- С. 215. *Кембл Фрэнсис Энн* (1809 — 1893) — английская актриса и писательница. В 1832 г. с отцом приехала в Америку, где вышла замуж за плантатора-южанина. Имеется в виду ее «Дневник» (1835), в котором описывается жизнь на плантации в штате Джорджия.
Мелроз — древний шотландский город, известный красотой окружающего ландшафта и развалинами аббатства. Изображен в романах Вальтера Скотта «Аббат» и «Монастырь».
- С. 217. *Сальватор* — имеется в виду итальянский художник Сальватор Роза (1615 — 1673), известный своими пейзажами.

ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЕ

- С. 218. ...*землетрясение в Лиссабоне...* — 1 ноября 1755 г. в течение пяти минут была разрушена столица Португалии и многие другие города, погибло около 60 000 человек.
...*о чуме в Лондоне...* — имеется в виду большая эпидемия чумы в Лондоне в 1665 — 1666 гг.
...*в калькуттской Черной Яме...* — военная тюрьма в форте Вильям в Калькутте, куда в июне 1756 г. были брошены 146 пленных англичан и за одну ночь 123 из них погибли от удушья.
- С. 220. *Викторина Лафуркад* — история ее преждевременного погребения была опубликована в журнале «Филадельфия каскет» в сентябре 1827 г.

- С. 226. ...«об эпитафиях, гробницах и червях» — В. Шекспир, «Король Ричард II», III, 2.
- С. 228. ...привязать к моей руке.— В американской прессе тех лет рекламировались самооткрывающиеся гробы, сохраняющие жизнь погребенным в них мнимоумершим. Так, в журнале «Колумбиан ледиз энд джентлменс мэгезин», в котором в то время сотрудничал По, в январе 1844 г. была опубликована заметка о «жизнеспасительных гробах», открывавшихся при малейшем движении тела, и об открывающихся изнутри семейных склепах, в которых подвешивался колокол, чтобы пробудившийся «покойник» мог дать о себе знать.
- С. 231. Бьюкен Вильям (1729 — 1805) — шотландский врач, автор книги «Домашняя медицина, или Домашний врач» (1769) — первой подобной книги, выдержавшей при жизни автора 19 изданий, переведенной на большинство европейских языков, в том числе на русский. В Америке эта книга была особенно популярна.
- «Ночные мысли» — имеется в виду дидактическая поэма английского поэта Эдварда Юнга, (1683 — 1765) «Жалоба, или Ночные мысли о жизни, смерти и бессмертии» (1742 — 1745).
- Афрасиаб (VI в.) — туранский царь, ведший длительные войны с Персией; один из героев поэмы Фирдоуси (934 — ок. 1020) «Шахнаме»
- Океус — Аму-Дарья.

СИЛА СЛОВ

- С. 232. Ойнос... Агитос — по-гречески «Ойнос» означает «вино», «Агитос» — «идеальный» (человек).
- С. 233. Только вначале Оно творило. — Согласно учению деизма, существование Бога признается в качестве первопричины мира; с точки зрения деизма мир, будучи сотворен, предоставлен действию своих собственных законов.
- С. 235. ...небесные Интеллекты. — Вероятно, По имеет в виду учение Данте об Интеллектах, которых «в просторечии люди называют Ангелами» («Пир», II, 4). Данте следовал взглядам неоплатоников и полагал, что чисто интеллектуальные субстанции вполне отделимы от материи.

ОЧКИ

- С. 243. ...автора «Хроник» — французский историк и поэт Жан Фруасар (ок. 1337 — 1410). Его «Хроники» охватывают период 1325 — 1400 гг. и посвящены истории Франции, Фландрии, Испании, Португалии и Англии. В 1523 -1525 гг. они были переведены на английский язык.
- С. 245. Апулей Луций (II в.) — римский писатель и философ. Приводимые слова взяты, однако, из «Сатирикона» Петрония (I в.), фрагмент 55.
- С. 247. «Сказав, что вы не знаете ее, в ничтожестве своем вы сознаетесь» — перефразировка стиха из «Потерянного рая» (IV, 830) Дж. Мильтона. У Мильтона вместо «се» — «меня».

- С. 252. *Антарес* — звезда первой величины красного цвета в созвездии Скорпиона.

Ланкло Нинон (1615 — 1705) — французская куртизанка, сохранившая привлекательность до глубокой старости.

- С. 258. «*Отелло*» — опера итальянского композитора Джоаккино Россини (1792 — 1868), поставленная в Неаполе в 1816 г.

«*Капулетти*» — опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801 — 1835), поставленная впервые в Венеции в 1830 г. («Капулетти и Монтекки»).

Сан Карло — оперный театр в Неаполе, один из самых крупных в Европе XIX века. Построен в 1737 г. и перестроен после пожара 1816 г. (партер на 1000 мест).

«*Сомнамбула*» — опера В. Беллини, поставленная впервые в Милане в 1831 году.

Малибран Мария-Фелиция (1808 — 1836) — французская певица (контральто), автор ряда вокальных и инструментальных произведений. В мае 1840 г. в журнале «Бертонс джентлменс мэгезин» По напечатал рецензию на «Воспоминания и письма мадам Малибран», изданные в Филадельфии.

ОВАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ

- С. 269. *Рэдклифф Анна* (1764 — 1823) — английская писательница, автор готических романов «Удольфские тайны» (1794), «Итальянец» (1797), действие которых происходит в Италии.

- С. 270. *Селли Томас* (1783 — 1872) — американский художник, создатель ряда женских портретов, исполненных мягкой интимности.

ЭЛЕОНОРА

- С. 273. *Лулий Раймунд* (1235 — 1315) — испанский схоласт, алхимик и поэт.

«Свет неизреченного» — слова из 117-й строки «Гимна временам года» (1730) английского поэта Джеймса Томсона (1700 — 1748).

Нубийский географ — см. прим. к с. 162.

- С. 274. *Асфодель* — см. прим. к с. 53.

- С. 275. *...гигантских сирийских змеев...* — в мифологии древней Сирии существует несколько легенд об огромных змеях, опустошавших страну. Особенно известны сказания о змеях, охраняющих источники воды.

Геспер — то есть запад. Г е с п е р — вечерняя звезда.

- С. 276. *Певец Ширази* — имеется в виду персидский поэт Саади (1184 — 1291), родившийся и умерший в Ширазе, городе на юге Ирана.

Элизиум — см. прим. к с. 32.

ПРАВДА О ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МСЬЕ ВОЛЬДЕМАРОМ

- С. 289. *Месмеризм* — см. прим. к с. 56.

- С. 290. «*Валленштейн*» — драматургическая трилогия Фридриха Шиллера: «Лагерь Валленштейна» (1798), «Пикколомини» (1799) и «Смерть Валленштейна» (1799).

Рандолф Джон (1773 — 1833) — американский политический деятель. Карикатуристы времен По изображали его с тонкими паучьими ногами.

ПОВЕСТЬ КРУТЫХ ГОР

- С. 299. *Осенью 1827 года...* — В этом рассказе отразились впечатления По от кратковременного пребывания в 1826 г. в Виргинском университете (Шарлотсвилл), когда он любил совершать прогулки по окрестностям.
- С. 305. *Новалис* (Фридрих фон Гарденберг, 1772 — 1801) — немецкий писатель-романтик. Здесь цитируется дневник Новалиса.
- С. 306. *Крис* — изогнутый малайский кинжал.
- С. 308. *Гастингс Уоррен* (1732 — 1818) — британский генерал-губернатор Индии. За хищения и злоупотребления властью был отстранен от должности и в 1788 г. предан суду, однако палата лордов оправдала его. Одним из источников рассказа По была рецензия Т. Б. Маколен на трехтомную биографию Гастингса в «Эдинбургском обозрении» (октябрь 1841), в которой упоминается Вильям Бедлоу (1650 — 1680), известный лжесвидетель, из-за которого были казнены 35 католиков, обвиненных в государственной измене. *Восстание Чейт Сингха* — имеется в виду восстание раджи Бенареса Шейт-Синга в 1781 г., поднятое в ответ на требование Гастингса о выплате английским колонизаторам большой суммы денег. *Сипаи* — солдаты наемной армии, созданной англичанами в XVIII в. в Индии из местного населения.
- С. 310. *...правда действительно бывает любого вымысла странней...* — Байрон. «Дон Жуан», XIV, 101.

СФИКС

- С. 311. *В ту пору, когда Нью-Йорк посетила свирепая эпидемия холеры...* — имеется в виду эпидемия холеры начала 1830-х годов, распространившаяся из Европы на Северную Америку.

ПОМЕСТЬЕ АРНГЕЙМ

- С. 316. *Флетчер Джайлс* (ок. 1585 — 1623) — английский поэт. Цитата взята из его поэмы «Христова победа и торжество на небесах и на земле над смертью» (1610), сюжет которой, основанный на евангельском рассказе, предвосхищает «Возвращенный рай» Мильтона. *Тюрго Анн Робер Жак* (1727 — 1781) — французский политический деятель и экономист. *Прайс Ричард* (1723 — 1791) — английский философ-моралист и экономист. *Пристли Джозеф* (1733 — 1804) — английский естествоиспытатель и философ-материалист.

- Кондорсе Жан Антуан* (1743 — 1794) — французский просветитель, деятель французской буржуазной революции.
- Перфекционисты* — последователи религиозного учения Джона Хамфри Нойса (1811 — 1886). Община перфекционистов, или «библейских коммунистов», возникла в США в 1831 г. Они призывали к всеобщему миру и христианскому согласию.
- С. 318. *Теллусон Питер* (1737 — 1797) — английский купец, который завещал, чтобы доход от его собственности накапливался в течение жизни его детей, внуков и правнуков, родившихся до его смерти, а затем передан оставшимся в живых наследникам. В 1798 г. это завещание было признано правомочным, однако уже в 1800 г. британский парламент принял закон, запрещающий накопление собственности по наследству более 21 года после смерти завещателя.
- Пюклер-Мускау Герман Людвиг Генрих* (1785 — 1871) — немецкий писатель, автор ряда книг о путешествиях, из которых наиболее известны «Записки покойника» (1830 — 1831).
- ...первая часть настоящего произведения была обнаружена много лет назад... — имеется в виду первый сокращенный вариант этого рассказа, опубликованный под названием «Декоративный сад».
- Сю Эжеи* (1804 — 1857) — французский писатель. Его роман «Вечный жид» был опубликован в 1844 — 1845 гг.
- С. 320. «...немым и бесславным»? — слова из «Элегии, написанной на сельском кладбище» (1751) английского поэта Томаса Грея (1716 — 1771).
- С. 321. *Клод* — имеется в виду французский живописец Клод Лоррен (1600 — 1682), создатель возвышенно-прекрасных образов природы, проникнутых элегическим чувством.
- С. 324. *Аддисон Джозеф* (1672 — 1719) — английский писатель, создатель правописательных очерков. Упоминаемая далее его трагедия «Катон» отличается риторичностью.
- С. 325. «*Ад*» — первая часть «Божественной комедии» Данте.
- С. 326. *Де Сталь Анна Луиза Жермен* (1766 — 1817) — французская писательница.
- С. 327. *Тимон* (V в. до н. э.) — афинянин, известный своей мизантропией, упоминается многими античными писателями. Ему посвящена также драма В. Шекспира «Тимон Афинский» (1607).
- С. 328. *Аригейм* — см. прим. к с. 71.
- Фонтхилл* — знаменитый замок в юго-западной Англии, построенный английским писателем Вильямом Бекфордом (1760 — 1844) в 1796 — 1807 гг. в готическом стиле. Роскошь Фонтхилла вошла в поговорку.

ДОМИК ЛЭНДОРА

Дополнение к «Поместью Арнгейм»

- С. 336. *Сальватор* — см. прим. к с. 217.
- Сиссафрас* — североамериканское «укропное дерево» из семейства лавровых; из корня добывается эфирное масло.

- С. 337. *Катальпа* — род растений семейства бигноновых. Деревья этих видов распространены в Северной Америке.
...*все арабские благовония.* — Ср.: В. Ш е к с п и р. «Макбет», V, 1.
- С. 339. *Мастиф* — порода собак.
- С. 340. *Ватек* — герой одноименной фантастической повести В. Бекфорда.
- С. 342. *Трупиал* — птица черного цвета отряда воробьиных.
- С. 343. ...*сердце сердца.* — В. Ш е к с п и р. «Гамлет», III, 2.
- С. 344. *Жюльен Пьер* (1731 — 1804) — французский художник и скульптор.
- С. 345. *Астральная лампа* — лампа, свет которой падает сверху.

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НЕКОЕГО ГАНСА ПФАЛЛЯ

- С. 346. *Песня Тома из Бедлама* — эпиграф взят из главы о странствующем нищем Томе из Бедлама в книге английского писателя Исаака Дизраэли «Достопримечательности литературы».
...*я не могу сообщить точной даты...* — из всего дальнейшего описания следует, что По имеет в виду 1 апреля — день обманов.
- С. 351. *Энке Иоганн Франц* (1791 — 1865) — немецкий астроном, основал Берлинскую обсерваторию, исследовал и определил движение периодической кометы, названной его именем. О комете Энке По пишет в «Эврике».
- С. 360. *Гей-Люссак Жозеф Луи* (1778 — 1850) — французский химик и физик. 2 августа 1804 г. (вместе с Ж. Био) и 16 сентября 1804 г. осуществил полеты на воздушном шаре с научной целью. Во время второго полета достиг высоты 7016 м.
Био Жан Батист (1775 — 1862) — французский физик и астроном. В 1804 г. вместе с Гей-Люссаком совершил полет на аэростате с целью изучения свойств воздуха на различных высотах.
- С. 361. *Вальц Жан* (1787 — 1867) — французский астроном, директор обсерватории в Марселе.
- С. 362. *Плиний* — см. прим. к с. 35.
- С. 364. *Грин Чарльз* (1785 — 1870) — английский воздухоплаватель. 7 ноября 1836 г. совершил перелет на воздушном шаре из Лондона в герцогство Нассау (Германия), после чего его воздушный шар стал известен под именем «шара Нассау».
Гумбольдт Александр (1769 — 1859) — немецкий естествоиспытатель и путешественник. В 1829 г. предпринял экспедицию на Урал, Алтай и к Каспийскому морю. Его главный труд — «Космос» (первые два тома вышли в 1845 — 1847 гг.).
- С. 382. *Шретер Иоганн Иероним* (1745 — 1816) — немецкий астроном, директор обсерватории в Лилиентале (Бремен). О наблюдениях Шретера над атмосферой малых планет, или астероидов, По пишет в заметках к «Эврике».
- С. 383. *Гевелий Ян* (1611 — 1687) — польский астроном, составил первые карты Луны («Селенография, или Описание Луны». 1647) и каталог 1564 звезд.

Кассини Джованни Доменико (1625 — 1712) — французский астроном, по происхождению итальянец. Основал Парижскую обсерваторию и открыл четыре спутника Сатурна.

- С. 388. *Локк Ричард Адамс* (1800 — 1871) — американский журналист, автор мистификации «Великие открытия в астрономии», напечатанной в газете «Нью-Йорк сан» (август 1835 г.), в которой утверждалось, что сын английского астронома Вильяма Гершеля Джон Гершель (1792 — 1871) обнаружил на Луне многочисленное крылатое население.

- С. 390. *Питер Уилкинс* — герой утопического романа Роберта Пелтока (1697 — 1767) «Жизнь и приключения Питера Уилкинса из Корнуолса, о том, как он потерпел кораблекрушение вблизи Южного полюса, через подземную пещеру попал в некий Новый мир, встретился там с летающей женщиной, спас ей жизнь и затем женился на ней», изданного анонимно в 1751 г. и затем многократно переиздававшегося.

Брюстер Дэвид (1781 — 1868) — шотландский физик, член Лондонского королевского общества, изучал явления преломления света.

- С. 391. *Лорд Росс — Парсонс, Вильям* (1800 — 1867), английский астроном, президент Лондонского королевского общества. В 1827 г. начал работу по созданию большого телескопа, которая была завершена в 1845 г.

- С. 392. *Доминик Гонзалес* — псевдоним английского писателя-богослова Фрэнсиса Годвина (1562 — 1633). Его фантастическая книга «Человек на Луне», написанная между 1599 и 1603 гг. и опубликованная посмертно в 1638 г., содержит изложение основных идей Коперника о Вселенной. В 1648 г. была издана в Париже по-французски под тем же псевдонимом.

Жиль Блаз — герой плутовского романа французского писателя Алена Рене Лесажа (1668 — 1747) «История Жиль Блаза из Сан-тильяны» (1715 — 1735).

- С. 394. *Сирано де Бержерак Савиньен* (1619 — 1655) — французский писатель, сторонник материалистической философии. Имеется в виду его утопия «Иной свет, или Государства и империи Луны» (1650).

В третьем томе «Американ куотерли ревью»... — журнал, издававшийся в Филадельфии с 1827 по 1837 г. Третий том вышел в 1828 г.

Бантри Бей — залив на юге Ирландии (графство Корк), на северной стороне которого находится гора Хангри Хилл.

ЧЕРТ НА КОЛОКОЛЬНЕ

- С. 396. ...*комментариями Тшафкенхрюккена*. — По продолжает здесь традицию пародирования «ученых трудов» историков, начатую В. Ирвингом в «Истории Нью-Йорка» (1809). Многие голландские реалии этого рассказа напоминают героикокомическую «эпосию» Ирвинга.

- С. 403. «*Джуды О'Фланнаган и Пэдди О'Рафферти*» — ирландская народная песня.

БЕСЕДА МОНОСА И УШЫ

- С. 404. *То в будущем* — С о ф о к л. «Антигона», 1331.
«Новое рождение» — предвосхищая многие идеи, развитые им позднее в книге «Эврика», По обращается здесь к платоновской идее о перевоплощении душ.
- «Доселе и не дале!» — слова из пьесы английского драматурга Аврора Хилла (1685 — 1750) «Этелуолд» (1709), д. V, сцена «Сад».
- С. 406. *Утилитаристы* — последователи буржуазной этической теории, получившей распространение в Англии конца XVII — начала XIX века. Основатель утилитаризма И. Бентам определял его основной критерий как «обеспечение наибольшего счастья наибольшего числа людей» путем удовлетворения их частных интересов. При этом предполагалось, что нравственность поступка может быть математически исчислена как баланс удовольствий и страданий, полученных в его результате.
- «Великое движение» — обычно так именовался американский трансцендентализм.
- С. 407. «Государство» — П л а т о н. «Государство», кн. 2, 376; кн. 3, 403.
Паскаль Блез (1623 — 1662) — французский философ и ученый. Его основной философский труд «Мысли» был издан посмертно в 1669 г. Приводимые По слова содержатся в главе IX, раздел 4.
- С. 409. *Ретина* — сетчатая оболочка глаза, воспринимающая световые раздражения.

РАЗГОВОР С МУМИЕЙ

- С. 416. *Глиддон* — чтобы придать рассказу видимость достоверности, По называет среди действующих лиц известного английского египтолога Джорджа Робинса Глиддона (1809 — 1857), который был американским консулом в Египте, а затем выступал в США с лекциями по египтологии.
- С. 419. *Барнс Джон* (1761 — 1841) — английский актер-комик, с 1816 г. жил в США и был популярным актером нью-йоркского Парк-театра.
- С. 424. *Скарабей* — жук, обитающий в Южной Европе и Северной Африке. В Древнем Египте один из видов скарабея (скарабей священный) почитался как одна из форм солнечного божества. Его изображения служили предметами заупокойного культа, амулетами, которые клали в гробницы или внутрь мумии вместо вынутого при бальзамировании сердца.
- С. 427. *Галль Франц Иосиф* (1758 — 1828) — немецкий медик, основатель френологии.
Шпурцгейм Иоганн Кристоф (1776 — 1832) — немецкий френолог. До 1813 г. работал вместе с Галлем, затем выступал с чтением лекций по френологии в Англии, Франции и США, куда переселился незадолго перед смертью.
- С. 428. *Боулинг-Грин* — сквер в центре Нью-Йорка.
- С. 429. *Азнак* — вымышленное название.
Карнак — селение в Египте (около столицы Древнего Египта, города Фив), знаменитое развалинами храма, постройка которого восходит к XX в. до н. э.

- С. 430. *Большой Оазис (Эль-Харга)* — крупнейший из египетских оазисов, расположен в Ливийской пустыне. Древние колодцы этого оазиса достигают глубины 120 м. От римской эпохи сохранились акведуки и руины дворцов.
- «Дайсл»* — журнал американских трансценденталистов, выходил с июля 1840 г. до апреля 1844 г., печатал статьи по вопросам литературы, философии и религии.
- ...деспотию, такую гнусную и невыносимую, какой еще свет не видывал.* — История с египетскими провинциями, провозгласившими себя свободными и принявшими конституцию, является сатирической аллегорией истории американской буржуазной демократии, выродившейся после американской революции в деспотию доллара и наживы.
- С. 431. *...на изобретении Герона... Соломону де Ко.* — Греческий инженер и ученый Герон из Александрии в своей книге «Пневматика» (ок. 130 г. до н. э.) описал устройство паровой турбины. Влияние сочинений Герона прослеживается в Европе до эпохи Возрождения, когда французский инженер Соломон де Ко (1576 — 1626) в 1615 г. предложил идею усовершенствованного парового двигателя. *Бридрет Джозеф* (1746 — 1815) — английский врач.

ПРОДОЛГОВАТЫЙ ЯЩИК

- С. 433. *«Индепенденс»* — По упоминает корабль американского флота. Он был спущен на воду в 1834 г. в Нью-Йорке и совершал трансатлантические рейсы.
- Ш-ком* — очевидно, имеется в виду Виргинский университет в г. Шарлотсвилле. В 1826 г. в нем учился По.
- С. 436. *Рубини-младший* — фамилия ряда итальянских художников XVI — XVII вв.
- С. 441. *Гаттерас* — мыс на Атлантическом побережье США (штат Северная Каролина), знаменитый частыми штормами.

АНГЕЛ НЕОБЪЯСНИМОГО

Экстраваганца

- С. 446. *Гловер Ричард* (1712 — 1785) — английский поэт, известный своей балладой «Дух адмирала Хозьера». В 1737 г. опубликовал эпическую поэму «Леонид».
- Уилки Вильям* (1721 — 1772) — шотландский писатель, в 1757 г. опубликовал поэму «Эпигониада», основанную на четвертой книге «Илиады» Гомера.
- Ламартин Альфонс де* (1791 — 1869) — французский поэт-романтик, историк и политический деятель. Здесь имеется в виду его книга «Воспоминания, впечатления и мысли во время поездки на Восток» (1835).
- Барлоу Джозл* (1754 — 1812) — американский поэт, участник американской революции и похода Наполеона в Россию. Его эпическая поэма «Колумбиада» (1807) вызвала скептическое замечание По в статье «Поэтический принцип»: «Гора через посредство простого

чувства физической величины дает нам впечатление возвышенного — но никто не получит этого впечатления таким образом, хотя бы при виде вещественного величин «Колумбиады».

Таккерман Генри Теодор (1813 — 1871) — американский писатель. Имется в виду его книга «Изабел, или Сицилия» (1839). Один из разделов статьи По «Автографы» посвящен Таккерману.

Гризуолд Руфус Уилмот (1815 — 1857) — американский писатель, журналист и составитель ряда антологий американской литературы. Вместе с По редактировал журнал «Грэхемс мэгезин». Здесь имется в виду его книга «Достопримечательности американской литературы» (1844), изданная под одним переплетом с часто упоминаемой у По книгой Исаака Дизраэли «Достопримечательности литературы».

Сей фюлиант из четырех листов завидных, // который даже критики не критикуют... — строки из поэмы английского поэта Вильяма Каунера (1731 — 1809) «Задача» (1785), IV, 50.

- C. 451. «Вездесущность Бога» — христианский догмат вездесущности Бога сформулирован Фомой Аквинским (1225 — 1274) в его трактате «Сумма теологии» и развит немецкими мистиками. По высмеивает религиозные трактаты немецких философов.

ЧЕТЫРЕ ЗВЕРЯ В ОДНОМ

- C. 456. *У каждого свои добродетели.* — Из трагедии «Ксеркс» (1714), действие IV, сцена 2, французского драматурга Проспера Кребийона (1674 — 1762).

Антиох Эпифан (Антиох IV) (II в. до н. э.) — один из селевкидских царей, царствовавших в Сирии в 175 — 163 гг. до н. э. Прозван «Безумным» (Эпиманес), как и озаглавил По первоначально свой рассказ.

Иезекииль (VI в. до н. э.) — библейский пророк, ставивший в своих проповедях морально-этические вопросы. Согласно его пророчеству Гог и Магог в отдаленном будущем придут с севера в Израиль войной, но погибнут в огне (Книга Иезекииля, 39, 1 — 16).

Камбиз (VI в. до н. э.) — древнеперсидский царь (529 — 523 до н. э.) из династии Ахеменидов.

Храм Дианы в Эфесе. — Выдающееся произведение античного искусства; построен в VI в. до н. э. В 356 г. до н. э. сожжен Геростратом, желавшим прославиться этим деянием. Новый храм Дианы, или Артемиды, считавшейся покровительницей города Эфеса на побережье Малой Азии, был отстроен вскоре после пожара и просуществовал до 262 г., когда его сожгли готы.

...преследования евреев... — при Антиохе IV произошло восстание евреев под предводительством Маккавеев (165 г. до н. э.).

...осквернение Святым Святым... — в 170 г. до н. э. Антиох IV разграбил Иерусалимский храм.

...жалкая кончина в Табе... — Антиох IV умер в Табе (Персия) во время военного похода на восток. Перед смертью у него обнаружилось умственное расстройство.

...от сотворения мира три тысячи восемьсот тридцатое... — то есть 174 г. до н. э.

- С. 457. *Селевк Никанор* (правильно: Никатор) (310 — 281 до н. э.) — военачальник Александра Македонского, основатель династии Селевкидов.
Вер Луций (131 — 169) — римский император (161 — 169).
Валент Флавий (329 — 378) — римский император (364 — 378).
...Гордится этот город. — В. Ш е к с п и р. «Двенадцатая ночь», III, 3. Пер. М. Лозинского.
- С. 458. *Гелиогабал* (Элагабал) (204 — 222) — римский император в 218 — 222 гг., провозгласивший сирийского бога солнца Элагабала главным богом римлян, приняв имя этого бога.
- С. 459. *Ашима* — один из сирийских богов, изображавшийся в виде оленя.
- С. 460. *Вописк Флавий* (III — IV вв.) — один из «шести писателей истории императоров». Биография римского императора Аврелиана (270 — 275) написана им около 304 г.

БЕС ПРОТИВОРЕЧИЯ

- С. 464. *Френолог* — сторонник френологии, учения о связи психических свойств человека со строением поверхности его черепа.
Каббала — средневековое религиозно-мистическое учение, получившее распространение в среде наиболее фанатичных представителей иудаизма.

БОИ-БОИ

- С. 472. *Бальзак Жан Луи Гез де* (1597 — 1654) — французский писатель. Его трактаты на античные темы были особенно популярны у писателей-классицистов.
Пибрак Гюи (1529 — 1584) — французский юрист и поэт.
- С. 473. *Академия, Ликей*. — Близ Афин находилась роща, посвященная аттическому божеству Академу, в которой преподавал свое учение Платон. Ликей получил свое название от сада храма Аполлона Ликейского, где учил Аристотель.
...обязан Кант... — эстетика Канта оказала воздействие на формирование романтической концепции искусства Э. По и других романтиков.
- С. 474. *Георгий Трапезундский* (1395 — 1484) — греческий философ, живший в Италии, последователь учения Аристотеля, автор трактата «Сравнение Аристотеля и Платона» (1523).
Бессарион Базилиус (ок. 1395 — 1472) — греческий философ, вселенский патриарх в Константинополе, последователь учения Платона.
- С. 475. *Сотери, медок* — французские виноградные вина разного сорта.
Катулл Гай Валерий (ок. 84 — 54 до н. э.) — римский поэт, прославившийся любовной лирикой.
- С. 478. *Евсевий* (ок. 260 — ок. 340) — римский историк церкви, автор богословских и исторических сочинений.
- С. 487. *Кратил* (ок. 490 — 420 до н. э.) — древнегреческий комедиограф.

...не у вашего Платона, а у того, у комического поэта... — то есть не у известного философа Платона, а афинского комедиографа Платона (428 — 389 до н. э.), представителя «древней комедии».

Невий (ок. 264 — 194 до н. э.) — римский поэт, изгнанный из Рима за выступления против представителей римской знати.

Андроник (Ливий Андроник, III в. до н. э.) — римский поэт, грек по происхождению.

Луцилий Гай (ок. 180 — 102 до н. э.) — римский поэт, автор сатирических стихов.

Квинт Флакк (Гораций Флакк, Квинт, 65 — 8 до н. э.) — римский поэт. Его «Юбилейные гимны» написаны по личному желанию императора Августа к годовщине основания Рима.

Ничему не удивляться. — Г о р а ц и й. «Послания», I, 6, I.

С. 488. *Менандр* (ок. 343 — ок. 291 до н. э.) — древнегреческий драматург.

Никандр (II в. до н. э.) — древнегреческий поэт, оказавший воздействие на поэзию Овидия.

Марциал Марк Валерий (ок. 40 — ок. 102) — римский поэт, автор сатирических эпиграмм.

Архилох (VII в. до н. э.) — древнегреческий поэт, автор сатирических стихов.

Ливий Гит (59 до н. э. — 17 н. э.) — автор «Римской истории от основания города».

Полибий (ок. 201 — 120 до н. э.) — древнегреческий историк, автор «Всеобщей истории».

С. 489. *Немврод* (*Нимврод*) — легендарный охотник и основатель Вавилонского царства.

Дионисий — тиран (правитель) древних Сиракуз (Сицилия) в 406 — 367 гг. до н. э.

Писистрат (ок. 600 — 527 до н. э.) — древнегреческий тиран, захвативший власть в Афинах в 560 г. до н. э.

КОРОЛЬ ЧУМА

Аллегорический рассказ

С. 493. *«Мела нет»* — жаргонное выражение, означающее: «Здесь в кредит не отпускают»

С. 501. *Девы Джонс* — в английском морском жаргоне название духа моря или дьявола.

ФОН КЕМЦЕЛЕН И ЕГО ОТКРЫТИЕ

С. 505. *Араго Доминик Франсуа* (1786 — 1853) — французский ученый, блестящий популяризатор науки, отличавшийся широтой своих научных интересов.

«Журнал Простака» — имеется в виду журнал «Американ дженерал ов сайенс энд арте», издававшийся с 1818 г. американским журналистом и писателем Бенджаминем Силлименом (1779 — 1864). «Силлимен» по-английски означает «простак».

Лейтенант Мори — американский ученый Мэтью Ф. Мори (1806 — 1873), научно-популярные статьи которого пользовались большим успехом в 40-е годы XIX в.

Кемпелен Вольфганг (1734 — 1808) — австрийский механик, венгр по происхождению, изобретатель автоматов.

Дэви Хамфри (1778 — 1829) — английский химик. Открыл опьяняющее действие закиси азота при вдыхании (веселящий газ).

С. 506. *Библиотека Атенеум* — основана в Бостоне в 1805 г.

Дрейпер Джон Вильям (1811 — 1882) — американский ученый, с 1837 г. профессор химии в Нью-Йоркском университете.

С. 508. «*Семейный журнал*» — американский еженедельник, основанный в 1846 г.

«*Литературный мир*» — американский еженедельник, основанный в феврале 1847 г.

Мельцель Иоган Непомук (1772 — 1838) — немецкий изобретатель.

БЕЗ ДЫХАНИЯ

(Рассказ не для журнала «Блэквуд» и отнюдь не из него)

С. 514. «*Блэквуд*» («Блэквуде Эдинбург мэгезин») — английский ежемесячный журнал, основанный в 1817 г. В. Блэквудом (1776-1834).

Мур Томас (1779 — 1852) — английский поэт-романтик, автор «Ирландских мелодий» (1807 — 1834), воспевающих борьбу и скорбь народа Ирландии.

Салманассар IV — ассирийский царь (727 — 722 до н. э.). Согласно Библии, три года осаждал палестинский город Самарию, который был взят уже после его смерти (Четвертая книга Царств, XVII, 5).
Сарданпал (668 — 625 до н. э.) — последний ассирийский царь.

Диодор Сицилийский (ок. 80 — 29 до н. э.) — древнегреческий историк, автор «Исторической библиотеки», в которой излагается всемирная история от древнейших времен до 60 г. до н. э.

Аристей (III в. до н. э.) — грек, которому было поручено привезти из Иерусалима священные книги и ученых для перевода Ветхого завета на греческий язык.

Псамметих I (665 — 611 до н. э.) — египетский фараон, освободивший Египет из-под владычества Ассирии. Согласно свидетельству греческого историка Геродота («История», II, 157), двадцать девять лет осаждал город филистимляни Азот.

С. 515. *Лорд Эдуард* — персонаж из романа «Юлия, или Новая Элоиза» (1760) Жан-Жака Руссо (1712 — 1778).

С. 516. «*Годвин в своем «Мандвиле»...*» — Годвин Вильям (1756 — 1836) — английский писатель.

Ланксагор (ок. 500 — 428 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист.

С. 517. «*Метамора*» — романтическая трагедия из жизни индейцев американского драматурга Джона Л. Стоуна (1800 — 1834).

С. 518. *Демосфен* (384 — 322 до н. э.) — древнегреческий оратор и политический деятель.

Фаларид (VI в. до н. э.) — правитель города Агригента (Сицилия), который подвергал своих подданных жестоким пыткам. По преданию, осужденных помещали внутрь медного быка, под животом которого разводили огонь.

- С. 520. *...гиппократовой патологии*. — Гиппократ (ок. 460 — 377 до н. э.) — древнегреческий врач и естествоиспытатель, один из основоположников античной медицины.
Каталани Анжелика (1780 — 1849) — итальянская певица, колоратурное сопрано, обладавшая гибким голосом огромного диапазона.
- С. 521. *Киник* — представитель древнегреческой философской школы, основанной Антисфеном в IV в. до н. э. Киники отрицательно относились к существующим законам и обычаям, проповедовали возврат к первобытному состоянию.
- С. 522. *Марк Антоний* (83 — 30 до н. э.) — римский политический деятель, член второго триумvirата. Провозгласил себя воплощением бога виноделия Диониса.
Марсий — в греческой мифологии один из силенов, спутников бога виноделия Диониса. Согласно легенде, вступил в музыкальное содействие с богом Аполлоном.
Марстон Джордж (1575 — 1634) — английский драматург.
- С. 523. *Крабб Джордж* (1754 — 1832) — английский поэт, изображавший повседневную жизнь сельских приходов и провинциальных местечек, простых и заурядных людей.
Дюпон Виктор (1767 — 1827) — американский фабрикант.
- С. 524. *Саут Джон Флинт* (1797 — 1882) — английский хирург и анатом, автор книги «Описание костей» (1825), выдержавшей ряд переизданий.
Капитан Баркли — Роберт Баркли Аллардайс (1779 — 1854).
Физ — псевдоним английского художника Хэблота Найта Брауна (1815 — 1882), известного своими иллюстрациями к книгам Диккенса и других английских писателей.
Иероним (ок. 340 — 420) — римский монах и богослов.
- С. 526. *Эпиктет* (ок. 50 — ок. 138) — древнегреческий философ, один из представителей позднего стоицизма.
...подобно Бруту, жду ответа... — В. Шекспир. «Юлий Цезарь», III, 2.
- С. 527. *Эпименид* (VI в. до н. э.) — критский прорицатель и поэт. Когда в 596 г. до н. э. в Афинах свирепствовала чума, он, по преданию, спас город очистительными жертвоприношениями.

MELLONTA TAUTA

- С. 529. *То в Будущем* — см. прим. к с. 404.
Мартин Ван Бюрен Мэвис — обычная для По контаминация имен. Имеется в виду американский шарлатан-спирит Эндрю Джексон Дэвис (1826 — 1910), лекции которого о месмеризме По посещал в Нью-Йорке. Поскольку Дэвиса звали именем седьмого президента США Эндрю Джексона, По иронически называет его именем восьмого президента США Мартина Ван-Бюрена.
Хогг Джеймс (1770 — 1835) — шотландский писатель, печатавшийся в журнале «Блэквудс мэгэзин» под псевдонимом «Эттрикский пастух». У По каламбур, основанный на том, что «хог» по-англий-

ски значит «сви́нья». Таким же образом обыгрывается далее фамилия английского философа Фрэнсиса Бэкона.

- С. 534. *Ничто не происходит из ничего* — древнегреческий афоризм; встречается в «Сатирах» (III, 34) римского поэта Персия (34 — 62).
- С. 535. *Милль Джон Стюарт* (1806 — 1873) — английский экономист и философ.
- С. 538. *Зерон и Геллофагабал* — имеются в виду римские императоры Нерон (37 — 68) и Гелиогабал (218 — 222).
- С. 539. *Мадлер* — имеется в виду немецкий астроном Иоганн Генрих Медлер (1794 — 1874), создатель теории «центрального солнца» (1846), согласно которой центр гравитации Галактики якобы расположен в Плеядах у звезды Альционы. Несоостоятельность теории Медлера доказана в 1859 г. русским астрономом М. А. Ковальским, однако По еще в 1848 г. в «Эврике» подверг критике теорию Медлера.
- С. 541. *Племя Пикербокеров* — обозначение старожилов Нью-Йорка голландского происхождения (в XVII в. Нью-Йорк был голландской колонией Новий Амстердам).
- С. 542. *Корнваллис Чарлз* (1738 — 1805) — английский военачальник, сражался против американцев в войне за независимость США. 19 октября 1781 г. капитулировал в Йорктауне перед объединенными американскими и французскими силами, которые возглавлял Джордж Вашингтон.
- С. 543. *Биттон Томас Харт* (1782 — 1858) — американский государственный деятель, сенатор от штата Миссури (1821 — 1851), отстаивавший интересы Запада и выступавший против Южных штатов. В свое время был известен также как писатель-мемуарист.
- ...*Джон, кузнец*... — каламбур По. Имеется в виду капитан Джон Смит (1580 — 1631), один из первых колонизаторов Северной Америки.
- ...*Захарий, портной*... — каламбур По. Имеется в виду Захарий Тейлор (1784 — 1850), ставший в результате выборов 1848 г. двенадцатым президентом США.

МИСТИФИКАЦИЯ

- С. 544. *Пассадо и монпанты* — присмы в фехтовании.
- С. 546. *Гераклит Эфесский* (ок. 544 — 483 до н. э.) — древнегреческий философ, прозванный «Темным», потому что дошедшее до нас его сочинение «О природе» славилось в древности глубокомыслием и загадочностью.
- С. 547. *Колридж Самюэл* (1772 — 1834) — английский поэт-романтик.
- С. 549. *Филипп IV Красивый* (1268 — 1314) — французский король (1285 — 1314). Дуэли во Франции регламентировались до революции XVIII в. специальными королевскими указами — ордонансами.
- Фавин Андре* (р. ок. 1560) — французский юрист, автор книги «Театр чести и рыцарства», изданной в Париже в 1613 г. и переизданной по-английски в Лондоне в 1623 г.
- Д'Одигье Виталь* (1569 — 1624) — французский писатель, автор «Трактата о дуэлях» (1617).
- Браитон Пьер* (ок. 1540-1614) — французский историк.

- С. 552. *Дю Бартаc Гийом де Саллюст* (1544 — 1590) — французский поэт, пользовавшийся в своих стихах удвоением слогов в отдельных словах.

ТРАГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Коса времени

- С. 553. *...Прекраснейшая дама?* — строки из драматической поэмы «Комус» (1634) Джона Мильтона (1608 — 1674).
Эдина — Эдинбург.
- С. 559. *Олларод* — псевдоним американского журналиста Виллиса Гейлорда Кларка (1808 — 1841).
Ванни Бюрен — шуточная переделка фамилии восьмого президента США (1837 — 1841) Мартина Ван-Бюрена (1782 — 1862).

ТЫСЯЧА ВТОРАЯ СКАЗКА ШЕХЕРЕЗАДЫ

- С. 563. *Симон Иохаидес* (бен Иохай) (XI в.) — палестинский раввин. Ему приписывалась каббалистическая книга «Зохар», созданная, как было позднее установлено, в XIII в.
«Арабские ночи, или Тысяча и одна ночь» — сборник арабских сказок, переведенных в 1704-1717 гг. на французский язык Антуаном Галланом (1646 — 1715). С этого издания было сделано несколько английских переводов.
- С. 569. *...с наречием кок-шев...* — имеется в виду кокши, лондонское просторечие.
- С. 571. *Кеннеди Вильям* (1799 — 1871) — ирландский писатель, в 1842 — 1849 гг. британский консул в Техасе, автор двухтомной книги «Подъем, развитие и будущее Техаса» (1841).
Мамонтова пещера — самая большая пещера на земле общей длиной около 240 км, в которой обитали еще доисторические люди. Открыта в 1809 г. Пещера имеет подземные реки и озера.
- С. 572. *Меррей Хью* (1779 — 1846) — английский географ.
- С. 573. *«Колониял мэгезин» Симмондса* — издавался в Лондоне с 1844 по 1852 г.
Шюу Иоахим Фредерик (1787 — 1852) — датский ботаник, автор «Географии растений» (1822).
- С. 574. *Кейт Патрик* (1769 — 1840) — английский ботаник.
- С. 575. *Холл Фрэнсис* (ум. 1833) — английский путешественник, автор книги «Путешествия по Канаде и Соединенным Штатам в 1816 и 1817 годах», изданной в Лондоне в 1818 г.
Сейл Джордж (ок. 1697 — 1736) — английский востоковед, осуществивший английский перевод Корана.
- С. 576. *Уайет Томас* — американский естествоиспытатель, совместно с которым По написал «Первую книгу конхилиолога» (1839).
- С. 577. *Вэббидж Джордж* (1792 — 1871) — английский математик и изобретатель. Посвятил многие годы конструированию счетной машины.
Шабар Джозеф-Бернар (1724 — 1805) — французский астроном, автор «Путешествия в Северную Америку» (1753).
Воластон Вильям Хайд (1766 — 1828) — английский химик.

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе 5

РАССКАЗЫ, ПРИТЧИ

ТИШИНА. Притча. Пер. В.Рогова	11
ЛИГЕЙЯ. Пер. Гуровой	15
СВИДАНИЕ. Пер. М.Энгельгардта	32
РАЗГОВОР ЭРОС И ХАРМИОНЫ. Пер. В.Рогова	44
ОСТРОВ ФЕИ. Пер. В.Рогова	50
МЕСМЕРИЧЕСКОЕ ОТКРОВЕНИЕ. Пер. В.Неделина	56
БЕРЕНИКА. Пер. В.Неделина	69
ТЕНЬ. Парабола. Пер. В.Рогова	79
ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ. Пер. Н.Галь	82
МОРЕЛЛА. Пер. И.Гуровой	101
МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ. Пер. Р.Померанцевой	107
КОЛОДЕЦ И МАЯТНИК. Пер. С.Маркиша	114
ВИЛЬЯМ ВИЛЬСОН. Пер. Р.Облонской	129
МЕТЦЕНГЕРШТЕЙН. Пер. В.Неделина	151
НИЗВЕРЖЕНИЕ В МАЛЬСТРЕМ. Пер. М.Богословской	161
РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В БУТЫЛКЕ. Пер. М.Беккер	179
СИСТЕМА ДОКТОРА СМОЛЯ И ПРОФЕССОРА ПЕРРО. Пер. С.Маркиша	191
ЛОСЬ. (Утро на Виссахиконе). Пер. З.Александровой	213
ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЕ. Пер. В.Хинкса	218
СИЛА СЛОВ. Пер. В.Рогова	232
СЕРДЦЕ-ОБЛИЧИТЕЛЬ. Пер. В.Хинкса	237
ОЧКИ. Пер. З.Александровой	243
ОВАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ. Пер. М.Энгельгардта	268
ЭЛЕОНОРА. Пер. Н.Демуровой	273
ЧЕРНЫЙ КОТ. Пер. В.Хинкса	279
ПРАВДА О ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МСЬЕ ВАЛЬДЕМАРОМ. Пер. З.Александровой	289
ПОВЕСТЬ КРУТЫХ ГОР. Пер. И.Гуровой	299
СФИНКС. Пер. В.Хинкса	311
ПОМЕСТЬЕ АРНГЕЙМ. Пер. В.Рогова	316
ДОМИК ЛЭНДОРА. (Дополнение к «Поместью Арнгейм»). Пер. В.Рогова	333
НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НЕКОЕГО ГАНСА ПФААЛЯ. Пер. М.Энгельгардта	346
ЧЕРТ НА КОЛОКОЛЬНЕ. Пер. В.Рогова	395
БЕСЕДА МОНОСА И УНЫ. Пер. В.Рогова	404
РАЗГОВОР С МУМИЕЙ. Пер. И.Бернштейн	414
ПРОДОЛГОВАТЫЙ ЯЩИК. Пер. И.Гуровой	433
АНГЕЛ НЕОБЪЯСНИМОГО. Пер. И.Бернштейн	446
ЧЕТЫРЯ ЗВЕРЯ В ОДНОМ. (Человеко-жираф). Пер. Р.Облонской	456
БЕС ПРОТИВОРЕЧИЯ. Пер. В.Рогова	464
БОН-БОН. Пер. Ф.Широкова	472
КОРОЛЬ ЧУМА. Аллегорический рассказ. Пер. Э.Березиной	492
ФОН КЕМПЕЛЕН И ЕГО ОТКРЫТИЕ. Пер. Н.Демуровой	505
БЕЗ ДЫХАНИЯ. (Рассказ не для журнала «Блеквуд» и отнюдь не из него). Пер. М.Беккер	514
MELLONTA TAUTA. Пер. З.Александровой	529
МИСТИФИКАЦИЯ. Пер. В.Рогова	544
ТРАГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Коса времени. Пер. З.Александровой	553
ТЫСЯЧА ВТОРАЯ СКАЗКА ШЕХЕРЕЗАДЫ. Пер. З.Александровой	563
Комментарии	581
Содержание	607

По Эдгар Аллан

Собр. соч. в двух томах. Т.1. Рассказы, притчи. Перев. с англ. (Сост. В.Демитриенко; Оф. Ю.Поснова.— Воронеж: АО «Полиграф», 1995. — 608 с.

В первый том собрания сочинений Эдгара Аллана По вошли его философско-мистические рассказы и притчи, в которых поразительно сочетаются напряженность действия и тончайший анализ сокровенных глубин человеческой души. Мир, созданный писателем, полон удивительных, порой жутких, парадоксов — мир, где непостижимым образом как единое целое существует несовместимое; мир, где в окружении кошмарных ликов Смерти восторженно звучит светло-печальный гимн Любви и Красоте.

Стремительный полет фантазии, остроумие и наблюдательность характерны для юмористических и фантастических рассказов Э.По.

Литературно-художественное издание

ПО ЭДГАР АЛЛАН

Собрание сочинений в двух томах

Том 1

Редактор В.А.Демитриенко

Художник Ю.И.Поснов

Подписано в печать 6.02.95г. Формат 84x108 1/32. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл.печ.л. 38. Уч.-изд.л. 32,66. Тираж 15000 экз. Заказ 5084.

Издательство АО "Полиграф", 394000, г. Воронеж, ул. Цюрупы, 18.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ИПФ «Воронеж».

394000, г. Воронеж, пр. Революции, 39.

